БЕРНАРД ШОУ

ЛЕНИНГРАД
«ИСКУССТВО»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
1980

БЕРНАРД ШОУ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ПЬЕС
В ШЕСТИ ТОМАХ

Под общей редакцией
А. А. Аникста, Н. Я. Дьяконовой,
Ю. В. Ковалева, А. Г. Образцовой,
А. С. Ромм, Б. А. Станчица,
И. В. Ступникова

БЕРНАРД ШОУ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ПЬЕС
В ШЕСТИ ТОМАХ

Том 5

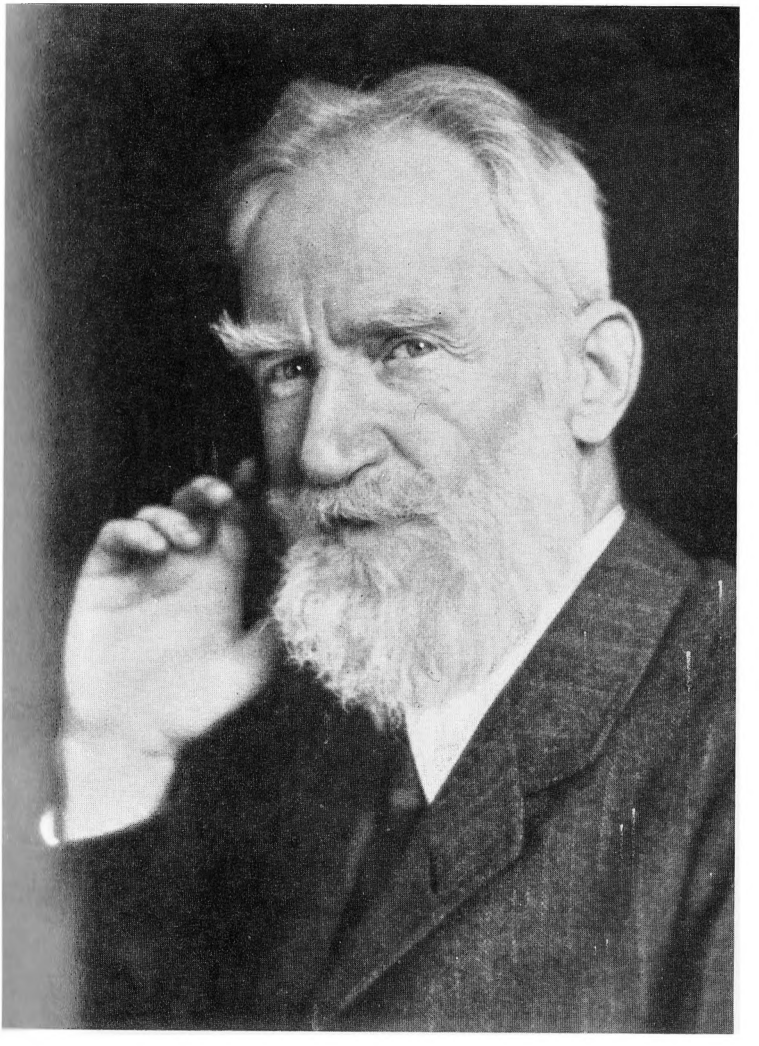
НАЗАД К МАФУСАИЛУ
СВЯТАЯ ИОАННА
ТЕЛЕЖКА С ЯБЛОКАМИ
ГОРЬКО, НО ПРАВДА

ББК 84.34. (Вл)
Ш81

Редактор тома Н. Я. Дьяконова
Художник Б. В. Власов

Ш $\frac{70600\text{-}122}{025(01)\text{-}80}$ подписное 4703000000

© «Искусство», 1980 г.



НАЗАД К МАФУСАИЛУ

Метабиологическая пенталогия

1918 — 1920

НА ЗАРЕ ДАРВИНИЗМА

Как-то (в начале 1860-х годов) я, тогда еще совсем малыш, очутился в дублинской книжной и писчебумажной лавочке на Камден-стрит вместе со своей няней, — она делала там какие-то покупки. Вслед за нами вошел почтенного вида пожилой джентльмен, решительно шагнул к прилавку и властным тоном потребовал сочинения знаменитого Буффона.

Мои собственные сочинения в то время еще не были написаны, иначе продавщица вполне могла бы истолковать их столь превратно, что протянула бы покупателю экземпляр «Человека и сверхчеловека». На самом деле она отлично все поняла, поскольку это происходило до принятого в 1870 году закона об образовании, который способствовал появлению продавцов книг, умеющих читать, но не смыслящих ничего больше. Знаменитый Буффон имел к юмору слабое отношение, будучи на самом деле прославленным естествоиспытателем Бюффоном. В те времена каждому грамотному ребенку «Естественная история» Бюффона была известна так же хорошо, как басни Эзопа. Но зато ни один ребенок на свете не слышал тогда имени, которое вытеснило с тех пор имя Бюффона из общественного сознания — имя Дарвина.

Прошло десять лет. Знаменитого Буффона забыли; я стал вдвое старше и вдвое длиннее — и отрекся от религии моих праотцев. Однажды один мой дядюшка — самый состоятельный и потому самый консервативный — случайно столкнулся со мной в ресторане за обедом и, к явному своему неудовольствию, оказался вовлеченным в беседу с племянником крайне сомнительной репутации. Желая понравиться собеседнику, я заговорил о течениях современной мысли и о Дарвине. Дядя воскликнул: «А, это тот самый тип, которому надо доказать, что все мы хвостатые, как обезьяны!». Я попытался объяснить ему, что в данном случае Дарвин настаивал лишь на существовании обезьян, у которых хвосты отсутствуют. Но дядя остался столь же глух и невосприимчив к действительным словам Дарвина, как и все нынешние неодарвинисты. Он умер нераскаянным и не упомянул меня в своем завещании.

Прошло двадцать лет. Проживи мой дядюшка дольше, он знал бы о Дарвине все — и знал бы все навыворот. Несмотря на все усилия Гранта Аллена просветить его надлежащим обра-

зом, он признал бы Дарвина первооткрывателем эволюции, наследственности и изменчивости видов путем отбора; ведь додарвинская эпоха стала рассматриваться как век невежества и мрака. Тогда люди все еще верили, что Книга Бытия — общепринятый научный трактат, единственными добавлениями к которому были: Галилеево доказательство оброненного Леонардо да Винчи замечания о том, что земля по отношению к солнцу то же самое, что луна по отношению к земле, а также ньютоновский закон всемирного тяготения, изобретение сэром Хамфри Дэви безопасной рудничной лампы, открытие электричества, применение пара в промышленных целях и почтовые марки. Столь же ложно толковалось и все остальное. Так, два-три человека, которым случилось заглянуть в Ницше, сочли его первым, кому пришло в голову, что сами по себе мораль, законность и воспитанность никуда не ведут, как будто Беньян никогда не писал своего Бэдмена. Шопенгауэру приписали установление различия между воздаянием по божьей милости и воздаянием по делам нашим, которое тревожило Кромвела на смертном одре. Разговоры велись так, словно в музыке не существовало драматизма или изобразительности до Вагнера, а в живописи импрессионистического стиля до Уистлера; я на собственном опыте убедился, что нет более верного способа произвести впечатление дерзкого новаторства и оригинальности, чем возродить излюбленный в древности жанр пространных риторических речей, строго следовать творческим методам Мольера и живьем перенести в свои пьесы персонажи со страниц Чарлза Диккенса.

ПРИШЕСТВИЕ НЕОДАРВИНИСТОВ

Описанная выше разновидность невежества далеко не всегда приводит к серьезным последствиям. Но в случае с Дарвином они оказались достаточно важными. Если бы Дарвин в самом деле одним рывком продвинул человечество от Книги Бытия к понятиям о Наследственности, Изменчивости видов путем отбора и об Эволюции, он был бы философом и пророком, а не просто незаурядным профессионалом-естествоиспытателем, занимавшимся на досуге геологией. Заблуждение относительно действительных его заслуг поначалу казалось вполне безобидным: если суждения об эволюции или о любом ином предмете выглядят здравыми, то кому какое дело до того, кто их первым высказал — Том или Дик. Но позднее эта явно несущественная ошибка возымела самые неловкие последствия. Среди огромного большинства тех, кто никогда не читал книг Дарвина, он снискал внушительную репутацию не просто эволюциони-

ста, но Эволюциониста главного и единственного. А тех немногих, кто не читал ничего, кроме книг Дарвина, они заставили искать объяснение всех фактов преобразований и адаптаций, служивших свидетельством эволюции, исключительно в идее Отбора Силой Обстоятельств. Но вскоре выяснилось, что сторонники такого ограниченного истолкования очень далеки от большинства, знавшего Дарвина только по его подложной репутации, и потому они вынуждены были, во избежание путаницы, именовать себя не дарвинистами, но неодарвинистами.

Не прошло еще и десяти лет, как неодарвинисты, по существу, уже заправляли текущим развитием науки. В 1906 году, когда мне исполнилось пятьдесят, я изложил собственную точку зрения на эволюцию в пьесе под названием «Человек и сверхчеловек» и обнаружил очевидную неспособность многих понять, каким же образом я могу принадлежать к эволюционистам, не будучи неодарвинистом, и почему я неизменно выставлял неодарвинизм на посмешище как чудовищную глупость, свирепо обрушиваясь в публичных дискуссиях на исповедующих его.

В надежде помочь мне разъяснить публике этот вопрос Фабианское общество, устраивавшее тогда цикл лекций о пророках XIX столетия, предложило мне выступить с лекцией о пророке Дарвине. Я дал согласие, и наброски этой так и не опубликованной лекции оживляют последующие страницы.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКОПОДОБНОГО ЖИВОТНОГО

Прошло еще десять лет. Неодарвинизм в политике вызвал в Европе катастрофу столь ужасающей силы и размаха столь непредсказуемого, что сейчас, в 1920 году, когда я пишу эти строки, все еще далеко до уверенности, сможет ли наша цивилизация оправиться после нее. Обстоятельства этой катастрофы, мальчишеская, вскормленная кинематографом романтика, позволившая выдать ее за крестовый поход народов, и в особенности невежество западноевропейских победителей и ошибки, допущенные ими как раз тогда, когда пора насилия миновала и наступило время переустройства,— все это, вместе взятое, прочно утвердило в моем сознании сомнение, выросшее за сорок лет общественной деятельности в качестве социалиста. Сомнение в том, способно ли в своем нынешнем виде животное, именуемое человеком, разрешить социальные проблемы, порожденные конгломерацией человекоподобных, или цивилизацией, как они сами ее именуют.

Согласно другому сделанному мной наблюдению, добросердечные, лишенные честолюбия люди склонны к малодушию и трусости, если у них нет религии. Ими владеют и помыкают не только алчные, подчас физически и духовно неполноценные человеческие существа, готовые на все ради сигар, шампанского, автомобилей и еще более ребяческого и эгоистического расточительства, но также и способные, трезвые администраторы, которым остается одно: владеть и помыкать ими. При таком положении дел понятия правительства и эксплуатации стали синонимичными, и в итоге миром правят недоумки, разбойники и проходимцы. Тех, кто отказывается быть с ними заодно преследуют, а то и казнят, если они причиняют слишком много хлопот. Если им недостает умения извлекать выгоду из своих способностей, их ждет нищета. В настоящее время половина Европы положила на обе лопатки другую половину и всеми силами старается забить ее до смерти, в чем, может быть, и преуспеет: такая процедура логически соответствует положениям неодарвинизма. А добросердечное большинство либо взирает на происходящее в беспомощном ужасе, либо позволяет газетам своих правителей убеждать себя в том что такое битье является не только разумным коммерческим предприятием, но и актом божественной справедливости, ревностными орудиями коей эти правители выступают.

Но если человек в самом деле неспособен к достойному устройству большого цивилизованного сообщества, или даже простого поселения, или первобытного племени, то будет ли для него прок в какой бы то ни было религии? Религия может пробудить в нем жажду праведности, но наделит ли она его практической способностью к удовлетворению этой потребности? Благие намерения не несут с собой ни грана науки о политике — науки достаточно серьезной и сложной. Самыми преданными и неустанными, самыми способными и бескорыстными из тех, кто постигает эту науку у нас в Англии, являются, насколько мне известно, мои друзья Сидней и Беатриса Уэбб. Им потребовалось сорок лет предварительной работы, на протяжении которых они опубликовали несколько трудов, сопоставимых по своему значению только с «Богатством народов» Адама Смита, для того, чтобы сформулировать политические установления, соответствующие нынешним нуждам. Если это и есть мера того, чего возможно достичь в течение всей жизни силой редкостного таланта, острой природной наблюдательности и при исключительных возможностях, обусловленных свободой

от необходимости добывать себе хлеб насущный, то чего следует ожидать от парламентского деятеля, кому наука о политике столь же чужда и тягостна, как и дифференциальное исчисление, и для кого столь элементарный, но жизненно важный вопрос, как закон экономической ренты, представляет собой pons asinorum, [1] *к которому он и близко не подойдет, не то что преодолеет? А чего же можно ожидать тогда от рядового избирателя, чаще всего настолько поглощенного поисками средств к существованию, что он засыпает, не просидев за книгой и пяти минут?*

СЛЕДУЕТ ЛИ ВОЗЛАГАТЬ НАДЕЖДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ?

Обычно отвечают, что образование необходимо для наших хозяев — следственно, для нас самих. Мы должны обучать науке гражданственности и политики в школе. Но должны ли? Ничуть, ибо совершенно очевидно, что в школе мы как раз не должны обучать политической и гражданственной науке. Школьный наставник, сделавший такую попытку, в лучшем случае вскоре окажется на улице одиноким и без гроша в кармане, а то и на скамье подсудимых, где ему придется отвечать на напыщенное обвинение в подстрекательстве к бунту против властей. В наших школах преподают феодальную мораль, извращенную духом коммерции, и превозносят ратного завоевателя, барона-грабителя и ловкого торгаша в качестве образцов добродетели и преуспеяния. Тщетно провидцы, уяснившие суть этого жульничества, исповедуют и проповедуют лучшее евангелие: немногие новообращенные обречены на скорый конец, а новые поколения школа насильно тащит к морали пятнадцатого столетия — и те, кто защищает образ мыслей Генриха VII, относят себя к либералам, а те, кто противопоставляет им образ мыслей Ричарда III, мнят себя истинными джентльменами. В итоге от образованного человека вреда еще больше, чем от необразованного; по существу, только беспомощность и лицемерие образовательной системы в наших школах (куда родители, будь на то их воля, не отправляли бы детей вообще, если бы школа не являлась тюрьмой, ограждающей взрослых от излишнего беспокойства со стороны несовершеннолетних) спасают нас от крушения на рифах ложной доктрины, заставляя медленно

---

[1] Мост для ослов *(лат.)* — то есть нечто достаточно простое, но представляющее затруднение для непосвященных.

скользить по течению простого невежества. Итак, школа — не выход.

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

По правде говоря, никто не спасет человечество извне — ни школьный наставник, ни любой другой: они могут только искалечить и поработить его. Если умыть кошку, она, многие говорят, никогда больше не станет умываться сама. Так это или не так, несомненно одно: человек никогда не научится тому, чему его учат, а от излеченного вашим усердием недуга сам он в следующий раз не в силах будет избавиться. Поэтому, если хотите видеть кошку чистой, окатите ее из помойного ведра — и она тотчас приложит все старания, чтобы слизать с себя грязь языком, и в конце концов станет чище прежнего. Сходным образом, когда врачи, знакомые с современными методами лечения (примерно 0,00005 процента из тех, кто практикует официально, и 20 процентов из числа незарегистрированных), хотят избавить вас от заболевания или неприятного симптома, они прививают вам именно это заболевание или прописывают снадобье, вызывающее как раз данный симптом; это провоцирует ваш организм на сопротивление болезни — точно так же, как грязь побуждает кошку наводить чистоту.

Человек с проницательным умом спросит меня, почему же в таком случае наше лживое образование не побуждает наших ученых искать истину. Я отвечу: да, так иногда бывает, Вольтер был учеником иезуитов. Сэмюэл Батлер учился у безнадежно консервативного и несведущего сельского пастора. Но Вольтер был Вольтером, а Батлер Батлером: их на редкость могучий интеллект мог нейтрализовать дозу яда, парализующую интеллект заурядный. Врачебная прививка или гомеопатическое средство содержат крайне ничтожную дозу яда: при больших дозах активный вирус победит сопротивление организма и окажет свое прямое действие. Порции фальшивых доктрин, которыми нас пичкают в школах и университетах, настолько велики, что подавляют сопротивляемость, которую вызвала бы малая доза яда. Обычный студент безнадежно развращен и при малейшей возможности постарается отправить в изгнание непокорных гениев: Байрону и Шелли пришлось бежать в Италию, в то время как Каслрей и Элдон заправляли делами отечества; Руссо травили, вынуждая кочевать из одной страны в другую, Карл Маркс изгнанником впроголодь ютился в Сохо, статьи Раскина возвращались всеми редакциями (он был

слишком богат для иного вида преследований). И все это тогда, как всеми забытые ничтожества правили страной, посылали в тюрьмы и на виселицу повинных в богохульстве и подстрекательстве к мятежу (под каковыми подразумевалась честно высказанная правда о церкви и государстве). Эти правители усердно способствовали разрастанию общественных недугов и пороков, пока они не прорывались наружу в виде гигантских гнойников, которые приходилось вскрывать тысячами штыков. Таков результат аллопатического образования. Гомеопатическое образование еще не было испробовано в официальном порядке — уж очень затруднительно было бы это предприятие. Школьные наставники, подстрекающие воспитанников к микроскопическим грешкам в надежде услышать, как те воскликнут. «Изыди от меня, сатана!» — или с притворной невинностью преподносящие им небылицы вместо исторически достоверных фактов с целью вызвать в ответ споры и негодующие возражения, безусловно, причинили бы меньше вреда, чем наши нынешние аллопаты, но, увы, у гомеопатического образования вовсе нет никаких сторонников. Аллопатия создала опасную иллюзию, будто способствует не помрачению, а просветлению разума. Тем не менее, в то время как большинство поддается гипнотическому влиянию среды, немногие оказывают ей решительное сопротивление, вот почему честные и достойные люди вырастают в воровских трущобах, а скептики и реалисты — в сельских приходах.

ДЬЯВОЛЬСКАЯ ДЕЙСТВЕННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Между тем — и это самое страшное — техническое обучение поставлено у нас на редкость добросовестно и эффективно. Воспитаннику закрытой школы, старательно испорченному, одураченному и ослепленному относительно истинной природы общества, живущего за счет прибылей, внушают почитание паразитического безделья и роскоши. Его обучают стрельбе, езде верхом и укрепляют физически, используя для этого все возможности и средства, продиктованные ревностным стремлением способствовать выдающимся, желательно блестящим, успехам своих подопечных. В армии он учится летать, сбрасывать с самолета бомбы и стрелять из пулемета с самым изощренным искусством. Изобретение мощных взрывчатых средств щедро вознаграждается и поощряется; инструктаж по производству оружия, военных кораблей, подводных лодок

и артиллерии, с помощью которых эти средства используются в разрушительных целях, проводится на совесть, и специалисты инструктируют новичков со знанием дела и с твердым намерением преуспеть в нем. В результате силы разрушения, которые не так-то легко со спокойным сердцем доверить даже безграничной мудрости и безграничному великодушию, отданы в руки недавних подростков, романтически настроенных на патриотический лад. И если они даже и наделены от природы благородством, то с помощью образования превращены в невежд, простофиль, снобов или спортсменов, для которых война — своего рода религия, а убийство чуть ли не подвиг. В то же время политическая власть при данных обстоятельствах нужна только империалистической военщине, охваченной постоянным страхом перед вторжением извне и капитуляцией, спесивым низкопоклонникам, авантюристам от коммерции, для которых национализация промышленного производства означала бы полный крах, финансистам, паразитирующим на денежном рынке, и, наконец, глупцам, цепляющимся за status quo [1] единственно в силу привычки. И эту власть получают по наследству, или просто-напросто покупают, или ради нее берут на содержание газеты, якобы выражающие общественное мнение; ее добиваются с помощью обольстительных интриганок или честолюбцев, проституирующих свой талант в интересах барышников, которые заправляют всеми делами, поскольку они и только они, захватив все награбленное добро, могут заставить плясать под свою дудку кого угодно. Ни правителям, ни управляемым недоступно понимание политики в собственном смысле слова. Им неизвестно даже существование такой области знания, как наука о политике, однако они в совершенстве владеют чудовищным умением принуждать и порабощать — и не остановятся перед уничтожением самой цивилизации, поскольку, обучаясь убийству, прошли добросовестную и основательную подготовку. По существу, все правители умственно неполноценны, а что может быть страшнее правительства, состоящего из умственно неполноценных, но зато владеющих неотразимыми средствами физического подавления? Обыкновенные благоразумные люди покоряются и заставляют всех остальных покоряться вместе с ними, ибо с детства приучены видеть в покорстве верность религии и чести. Те, чья природная просвещенность восстает против искусственного образования, подчиняются силе, однако они могли бы сопротивляться и сопротивлялись бы успешно, если бы их не останавливало малодушие. А малодушны они потому, что не

[1] Существующее положение вещей *(лат.)*.

располагают ни какой-либо формально провозглашенной и утвержденной религией, ни общепризнанным кодексом чести. Запутавшись в собственных замысловатых теориях, они, за неимением настоящих школ, посылают своих детей в школы, где тех ждет неизбежное развращение. Правители сами напуганы непомерным ростом и удешевлением средств массового уничтожения и разрушения. Теперь, когда подводные лодки, бомбы и отравляющие газы сбываются по дешевке, британское правительство больше боится Ирландии, нежели оно боялось германской империи до войны. Соответственно извечная британская осторожность, поддерживавшая равновесие сил через господство над морем, переросла в панический страх, усматривающий путь к безопасности только в абсолютном военном превосходстве над всем земным шаром: то есть нечто неосуществимое военным и доморощенным островным патриотам представляется осуществимым до мельчайших подробностей.

ШАТКОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Подобная ситуация складывалась в прошлом столь часто, приводя к крушению цивилизаций (профессор Флиндерс Петри раскрыл нам тайну предшествовавших катастроф), что богачи инстинктивно провозглашают девиз «будем есть и пить, пока живы», а бедняки вопрошают в муке: «Доколе, о господи, доколе?» Но безжалостный ответ по-прежнему гласит, что бог помогает тем, кто сам не плошает. Это не означает, что, если человек неспособен найти средство спасения, такого средства не существует. Сила, создавшая человека, когда обезьяна оказалась не на высоте требований, может создать и существо более высокого порядка, если человек сам окажется не на высоте требований. В его пользу нет, по-видимому, ни одного неотразимого довода. Человек в своем настоящем виде отнюдь не идеальное создание. Многие из его проявлений настолько отталкивающи, что о них не говорят в приличном обществе, и нередко столь мучительны, что он вынужден выдавать страдание за благо. Природа не отвечает за проводимый человеком эксперимент: успех или провал его зависит от самого экспериментатора. Если человек обнаружит свою непригодность, природа поставит другой эксперимент.

Остается ли все же какая-либо надежда на усовершенствование человека? Согласно неодарвинистам и приверженцам механицизма — никакой: по их теории, улучшение может быть вызвано только некоей слепой случайностью, которая, в со-

ответствии со среднестатистической нормой, в свою очередь легко может быть перечеркнута другой, не менее слепой и бессмысленной случайностью.

ТВОРЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

Однако эта мрачная догма не обескураживает тех, кто верит в творческую силу импульса, вызывающего Эволюцию. Им известен простой факт: желание достигнуть определенного результата, если только оно напрягается до предела, обусловленного осознанием необходимости желаемого, способно создать и создает совершенно новый органический материал. С их точки зрения человечество еще далеко не выдохлось. Если тяжелоатлет, подстрекаемый заурядным желанием добиться успеха на состязаниях, в силах «набрать вес», разумно предположить, что вдумчивый и убежденный философ равным образом способен «набраться ума». Оба этих примера указывают на направленность Жизненной силы к одной определенной цели. Эволюция свидетельствует о самых разнообразных проявлениях такой направленности Жизненной силы, которая снабдила гусениц множеством ножек и отняла их у рыб; дала живущим на суше легкие и конечности, а живущим в воде — плавники и жабры; позволила млекопитающим вынашивать потомство в материнской утробе, а птицам высиживать яйца. Таким образом, можно заключить, что нам предложен широкий выбор средств усовершенствования телесного устройства для поддержания нашей деятельности и развития наших возможностей.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

К факторам, явно подверженным сознательному изменению, относится и продолжительность жизни индивида. Вейсман, весьма одаренный и мыслящий биолог (к несчастью, впавший в слабоумие под воздействием неодарвинизма), указал на то, что смерть не является непременным условием жизни: она только средство для того, чтобы обеспечить непрерывное возобновление без перенаселенности. Но тогда Отбором Силой Обстоятельств нельзя объяснить естественную смерть, ибо такой отбор объясняет только выживание того вида, представители которого настолько благоразумны, что дряхлеют и умирают вполне сознательно. Однако не слишком похоже, что расчеты их логически обоснованы: никто не в состоянии объяс-

шить, почему попугай живет вдесятеро дольше собаки, а черепаха едва ли не бессмертна. В случае с человеком налицо явный промах: люди не живут достаточно долго; в сопоставлении с задачами высокоразвитой цивилизации они умирают сущими детьми, и наши премьер-министры (по общему мнению, достигшие полной зрелости) делят свое время между партией в гольф и правительственной скамьей в парламенте. Можно, однако, предположить, что сила, допустившая такую ошибку, способна и исправить ее. Если в соответствии с обстоятельствами человек ныне устанавливает срок своей жизни в семьдесят лет, он в равной степени может установить его и до трехсот лет, и до трех тысяч лет, или же вплоть до предела, обусловленного подлинным Отбором Силой Обстоятельств, когда какой-либо фатальный случай, рано или поздно неизбежный, положит конец его существованию. Главным толчком для продления нынешней продолжительности жизни человека может стать убеждение, вынесенное из опыта потрясающих катастроф, подобных недавней войне,— убеждение в необходимости жить, по крайней мере, столько, сколько нужно для того, чтобы, повзрослев, отделаться от своего пристрастия к гольфу и сигарам, коль скоро речь идет о спасении рода человеческого. Здесь нет никаких фантастических измышлений: все эти рассуждения — не что иное, как дедуктивная биология, если вообще существует такая наука, как биология. Это тот самый камень преткновения, который мы оставили нетронутым, но его стоит сдвинуть с места. С целью придать данной идее большую привлекательность, чем если бы она была облечена в форму трактата по биологии, я и написал метабиологическое Пятикнижие «Назад к Мафусаилу» — мой вклад в современную Библию.

ПРИШЕСТВИЕ НЕОЛАМАРКИСТОВ

[...] Ламарк, делая множество проницательных предположений относительно влияния внешних причин на образ жизни и поведение (среди них смена климата, проблемы питания, геологические перевороты и так далее), исходил из основного положения, согласно которому живые организмы изменяются, потому что стремятся к этому. По его словам, величайшим фактором Эволюции является упражнение или неупражнение какого-либо органа. Тот, кто лишен глаз, но хочет и настойчиво пытается видеть, в конце концов обретает зрение. Тот, кто, подобно кроту или глубоководной рыбе, обладает глазами, но не желает видеть, тот зрение утрачивает. Те, кому нежная ли-

ства на верхушках деревьев пришлась настолько по вкусу, что они способны сосредоточить всю свою энергию на вытягивании шеи, в конце концов получат длинную шею, как у жирафы. Поверхностным умам на первый взгляд это покажется сплошным абсурдом, но не подтвердит ли каждый из нас, исходя из собственного опыта, что именно такой процесс ведет к тому, что ребенок, ползавший на четвереньках, становится на ноги, а взрослый человек, разбивавший при падении то нос, то затылок, превращается в заправского велосипедиста или конькобежца? Процесс этого превращения не будет непрерывным, так как зависит не только от практики: хотя во время каждого велосипедного урока вы добиваетесь новых успехов, в начале следующего урока вы начинаете не с того места, где остановились прошлый раз, а как будто сначала, пока наконец вам вдруг все удается и возврат к прежним неудачам уже невозможен. Как это ни удивительно, ваша вновь обретенная способность сразу становится бессознательной. Хотя вы поддерживаете переднее колесо в таком сложном равновесии, что, если вы случайно даже на секунду затормозите, вы немедленно свалитесь, действие, минуту назад казавшееся вам невозможным, вдруг становится привычным и таким же бессознательным, как, например, постепенный рост ногтей. Вы обрели новую способность — и, по всей вероятности, некую новую физическую субстанцию в вашем организме, которая управляет данной способностью. И это достигнуто исключительно благодаря вашей собственной воле. Тут не может быть и речи об Отборе Силой Обстоятельств или выживании сильнейших. У человека, обучающегося езде на велосипеде, нет никаких преимуществ в борьбе за существование перед тем, кто ходит пешком,— совсем наоборот. Просто он приобретает новое умение — автоматический, бессознательный навык — единственно потому, что стремился к этому и не оставлял усилий, пока не овладел этим навыком.

КАКИМ ОБРАЗОМ НАВЫКИ НАСЛЕДУЮТСЯ

Но когда ваш сын, в свою очередь, садится на велосипед или пробует кататься на коньках, оказывается, что он ничуть не унаследовал вашего умения — как не появился на свет с бородой и в цилиндре. Регресс, замечавшийся вами в перерывах между тренировками, возникает снова. И весь человеческий род набирается опыта подобно отдельному индивиду. [...]

Постараемся вникнуть в сущность эволюционного процесса по Ламарку. Вам дарована жизнь, но вам хочется большего.

Вы стремитесь к росту самосознания и к развитию своих способностей. Вы нуждаетесь, следовательно, в дополнительных органах или дополнительных функциях уже имеющихся органов — то есть дополнительных навыках. Вы приобретаете эти навыки, так как достаточно сильно стремитесь к ним, чтобы прилагать новые и новые усилия, пока они не приводят к успеху. Никто не знает, как и почему это происходит: мы знаем только, что это так. Мы совершаем одну неловкую попытку за другой до тех пор, пока прежний орган не видоизменяется или не возникает новый орган, управляющий новым навыком,— и тогда невозможное внезапно становится возможным. С первого же момента образования нового навыка мы стремимся сделать его бессознательным, дабы освободить сознание для новых жизненных завоеваний: ведь деятельность его сопряжена с непрекращающимися заботами и трудностями, связанными с решением необходимых задач. Если бы нам приходилось думать о дыхании, пищеварении или кровообращении, у нас недоставало бы внимания ни на что другое (как, увы, случается, если функции эти нарушаются). Мы так же стремимся сделать навыки бессознательными, как стремились приобрести их,— и в итоге добиваемся желаемого. Но бессознательность наших навыков достигается ценой утраты контроля над ними: кроме того, новый навык и сопряженная с ним перестройка органов формируются на основе прежних навыков, которые держат нас в известной зависимости. В результате мы упорствуем в сохранении прежних навыков, даже если они причиняют нам вред. Нельзя перестать дышать для того, чтобы не утонуть или избежать приступа астмы. Мы можем утратить приобретенный навык и отказаться от соответствующего органа, когда перестаем в них нуждаться, однако это процесс длительный и протекающий неровно, поэтому остаточные функции сохранившегося органа надолго переживают свою полезность. И если другие, все еще необходимые нам навыки и перестройки возникли на основе тех, которые мы стремимся изжить, тогда мы должны создать для них новую основу, прежде чем разрушить прежнюю. Это также затяжной и весьма любопытный процесс.

ЧУДО УСКОРЕННОЙ РЕКАПИТУЛЯЦИИ

Регресс, имеющий место между попытками сформировать навык, важен, поскольку, как мы видели, он наступает не только в развитии индивида, но и наличествует при смене поко-

лений всего рода человеческого. Такой регресс является постоянной особенностью эволюционного процесса. Например, Рафаэлю — выходцу из семьи, насчитывавшей восемь поколений художников подряд,— пришлось учиться рисованию, словно никто из Санти никогда раньше не брался за кисть. Но ведь ему пришлось также обучаться и дыханию, и пищеварению, и кровообращению. Хотя его родители уже достигли зрелого возраста ко времени его зачатия, он не был зачат и не был рожден вполне созревшим: ему пришлось возвратиться далеко вспять, начать жизнь комочком протоплазмы и претерпеть эмбриональный период развития, причем на определенной стадии его зародыш ничем не отличался от зародыша собаки и не имел ни черепной кости, ни позвоночника. Когда же эти признаки наконец появились, некоторое время казалось неясным, суждено ему стать птицей или же рыбой. Ему пришлось сжать бессчетные века развития до девяти месяцев, прежде чем достаточно очеловечиться для того, чтобы он смог вырваться на свободу как независимое существо. Но даже тогда несовершенство его было столь очевидно, что его родители вполне могли бы воскликнуть: «Господи боже, неужто ты ничего не перенял из нашего опыта, раз ты появился на свет в таком смехотворно беспомощном виде? Почему бы тебе не встать на ноги, не поговорить с нами, не порисовать и вообще почему бы не вести себя как полагается?» Младенец по имени Рафаэль вряд ли нашелся бы с ответом на этот вопрос. Он мог бы сказать только (если бы умел говорить), что таков путь эволюционного развития. Вероятно, наступит пора, когда сила, спрессовавшая миллионы лет развития в девять месяцев, сможет вместить миллионы миллионов лет в еще более краткий срок,— и тогда Рафаэли будут рождаться готовыми художниками, как ныне от рождения они обладают готовой системой дыхания и кровообращения. Однако они попрежнему начнут жизнь комочками протоплазмы и в материнском чреве обретут способность к живописи лишь на достаточно поздней ступени эмбрионального развития. Они должны повторить предысторию человечества на собственном опыте, сколь бы сжатой она ни оказалась.

Наиболее поразительным и существенным среди открытий эмбриологов (по сию пору до абсурдности мало оцененным по достоинству) было как раз данное явление рекапитуляции, как его теперь называют: рекапитуляция способна ускорить до немногих месяцев процесс, некогда протекавший столь бесконечно долго и томительно, что одна только мысль об этом несносна для людей, которым отпущено на земле всего-то лет семьдесят. Это открытие раздвинуло горизонты человеческих воз-

можностей, позволив надеяться на то, что самые сложные и длительные процессы нашего сознания могут стать моментальными или, как мы говорим, инстинктивными. Оно также обратило наше внимание на самые разнообразные примеры подобного обращения столетий в секунды, а такие примеры встречаются на каждом шагу. [...]

ОТКРЫТИЕ ЭВОЛЮЦИИ

[...] Метафизическая сторона Эволюции не составляла новшества перед приходом Дарвина. [...] В 1819 году Шопенгауэр выпустил свой труд «Мир как воля и представление» — метафизическое дополнение к естественной истории по Ламарку. Эта книга показывает, что движущей силой Эволюции является воля к жизни — и к жизни бесконечной, как Христос сказал задолго до этого. И все предшествующие философы, от Платона до Лейбница, готовили человеческий ум к принятию представления о вселенной как единой Идеи, стоящей за всеми физически воспринимаемыми метаморфозами.

Таково было положение вещей в преддарвиновский период, который до сих пор считается предэволюционным периодом. Однако теории эволюции были в полном ходу, еще прежде чем на трон вступила королева Виктория. В доказательство приведу рассказ Вейсмана о революции 1830 года в Париже, когда французы отделались от Карла X. Гете был еще жив, и один из его французских знакомцев пришел к нему и застал его в состоянии страшного волнения. «Что вы думаете об этом великом событии? — сказал Гете.— Извержение вулкана началось, все объято пламенем, никакие келейные обсуждения теперь немыслимы». Француз ответил, что все это, конечно, ужасно, но чего можно ожидать от такого министерства и такого короля? «Чепуха! — сказал Гете.— Я не об этой публике говорю, а об открытом разрыве между Кювье и Сент Илэром во Французской Академии». Разрыв, о котором толковал Гете, имел отношение к эволюции, поскольку Кювье настаивал на наличии четырех видов, а Сент Илэр — одного.

Однако с 1830 года, когда Дарвин казался малообещающим двадцатилетним пареньком, вплоть до 1859 года, когда он перевернул мир своим «Происхождением видов», в теории эволюции был полный застой. Первое поколение ее сторонников вымирало, а их потомки учились по Книге Исхода в точности как Эдуард VI (да и Эдуард VII тоже, впрочем). Ничего нового в этой области не появлялось. Это и усилило впечатление полной

новизны теорий, выдвинутых Дарвином; это и ему самому, вероятно, помешало понять, сколь много было сделано до него, в том числе его собственным дедом, к которому он, по распространенному мнению, был несправедлив. К тому же он вовсе не продолжал семейную традицию. Он был совершенно оригинален и шел, как мы сейчас увидим, по новому пути. И уж, во всяком случае, он, будучи естествоиспытателем-практиком, очень мало ценил более или менее мистические интеллектуальные медитации деистов 1790—1830-х годов. Ученым того времени деизм ужасно надоел. Они объявили неразрешимой загадку о Великой первопричине и, соответственно, называли себя агностиками. От непостижимого вопроса «почему существует мир» они обратились к черной работе, чтобы разузнать, «что именно происходит в мире» и «как».

Сосредоточив все свое внимание в этом направлении, Дарвин вскоре заметил: очень многое из того, что совершается, не исполнено ни мистического, ни какого бы то ни было другого смысла,— и это положение почти или совсем не было воспринято старшим поколением деистов-эволюционистов. Теперь, когда мы, наскучив и пресытившись неодарвинизмом и механицизмом, обращаемся к витализму и творческой эволюции, трудно вообразить, почему открытия Дарвина могли показаться его современникам увлекательными, радостными и тем более обнадеживающими. Позвольте мне воскресить атмосферу тех времен; я опишу сценку, чрезвычайно характерную для господствующих тогда суеверий. В этой сценке я, по тогдашним понятиям, сыграл в высшей степени непозволительную роль.

ВЫЗОВ ГРОМУ НЕБЕСНОМУ: НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ

Году в 1878-м, когда мне едва перевалило за двадцать, я присутствовал на холостяцкой вечеринке в доме одного лондонского врача в Кенсингтоне, где собрались представители различных, в том числе свободных, профессий. Зашел разговор о возрождении религиозных движений: кто-то рассказал о человеке, который неосторожно высмеял миссионерскую деятельность господ Муди и Сэнки, возглавлявших известную тогда фирму американских евангелистов, и впоследствии был доставлен домой на носилках, пораженный небесным гневом за богохульство. Оказавшиеся в меньшинстве скептики, не пытаясь поставить под сомнение истинность происшествия, ибо сами они явно не стремились подвергнуться риску передвижения

на носилках, выказали, однако, робкое неудовольствие тем злорадством, которое проявилось в связи с этой историей,— и в результате возникло некое подобие диспута. Наконец, один из наиболее евангелически настроенных спорщиков сослался на пример Чарлза Брэдло — самого непримиримого атеиста среди сторонников секуляризма, который однажды публично извлек из жилетного кармана часы и предложил всевышнему, буде тот действительно существует и относится к атеистам с неодобрением, в течение пяти минут сразить его насмерть. Глава скептиков с большой горячностью опроверг это обвинение как чудовищную клевету — и, заявив, что сам Брэдло неоднократно и с негодованием отрицал данный факт, дал понять присутствующим, что знаменитый поборник атеизма был слишком благочестив для того, чтобы совершить подобное богохульство. Столь явное смешение понятий пробудило мое чувство юмора. Мне было ясно, что вызов, якобы брошенный Чарлзом Брэдло, на самом деле представлял собой достаточно простой, открытый и вполне уместный эксперимент с целью установить, сопряжено ли выражение атеистических взглядов с риском для личности. Аналогичный метод изложен в Библии — на тех страницах, где пророк Илия изобличает заблудших поклонников Ваала точно таким же образом, с язвительными насмешками обрушиваясь на их бога за то, что тот сплоховал метнуть в него молнию. Посему я заявил, что, если спорный вопрос заключается в том, влечет ли недоверие к теологии господ Муди и Сэнки за собой немедленное наказание со стороны разъяренного божества в виде незамедлительного поражения насмерть громом, то не может быть более убедительного способа разрешить проблему, чем явно напрашивавшийся эксперимент, приписываемый мистеру Брэдло; следовательно, если он в свое время не попытался поставить такой эксперимент, об этом нельзя не пожалеть. Я добавил также, что подобная оплошность, если таковая была допущена, относится к числу легко исправимых в любой момент — и, поскольку выявилось полное совпадение моих взглядов с мнением мистера Брэдло относительно абсурдности верований в допустимость насильственного вмешательства в природный ход явлений со стороны щепетильного и не в меру вспыльчивого сверхъестественного существа... Тут я умолк — и вынул из кармана часы.

Эффект оказался ошеломляющим. Ни скептики, ни ревнители явно не были расположены дожидаться результата эксперимента. Напрасно убеждал я набожных доверять меткости, свойственной громовым стрелам их божества, а также его способности справедливо воздавать правым и виноватым по де-

лам их. Напрасно призывал я скептиков принять логический вывод, вытекающий из их скептицизма: выяснилось, что, коль скоро речь зашла о громовых стрелах, скептиков больше нет. Наш хозяин, видя, что все гости поспешно разбегутся, едва только нечестивый вызов будет произнесен, и оставят его с глазу на глаз с безбожником-одиночкой, осужденным на страшную погибель в течение пяти минут, торопливо вмешался и прервал эксперимент, обратившись ко мне с просьбой переменить тему разговора. Я, разумеется, подчинился, но не мог не заметить, что, хотя ужасные слова и не были произнесены вслух, сама мысль отчетливо сформулирована у меня в голове — и потому кажется в высшей степени сомнительным, возможно ли избежать последствий путем умолчания. Впрочем, присутствующие, по всей вероятности, считали, что игра пойдет в строгом соответствии с правилами,— и, поскольку я не произнес ни единого слова, мои мысли не имеют особенного значения. И только глава евангелически настроенного большинства обнаруживал, как мне показалось, легкое беспокойство до тех пор, пока не истекло пять минут, а погода все еще оставалась безоблачной.

В ПОИСКАХ ПЕРВОПРИЧИНЫ

Еще одно воспоминание. В те дни, как и в наши дни, мы мыслили категориями времени и пространства, причины и следствия, однако теперь мы не требуем от религии, чтобы она объясняла мироздание всецело причинно-следственными связями и представляла вселенную в качестве некоего изделия, которое принадлежит изготовителю на правах частной собственности. Раньше мы именно это и требовали. Нам предлагалось оплакивать наивные заблуждения язычников, полагавших, будто мир держится на спине у слона, а слон стоит на черепахе. Магомет считал горы тяжелыми гирями, удерживающими мир на месте, дабы его не унесло в пространство. Однако нам удалось опровергнуть всех этих восточных мудрецов торжествующим вопросом: а на чем же тогда держится черепаха? Вольнодумцы доискивались, что появилось раньше — курица или яйцо. Никому не приходило в голову заявить, что основная проблема существования — вопрос о возникновении жизни, явно неразрешимая и даже немыслимая в свете причинно-следственных отношений, вообще не может быть проблемой, связанной с причинной обусловленностью. Для набожных людей такое заявление выглядело бы атеизмом чистейшей воды: они полагали, что Бог должен быть Причиной, именуемой иногда Великой Первопричиной

или — еще более изысканно — Изначальной Первопричиной. Для рационалистов отрицание причинной обусловленности было бы равносильно отрицанию разума. Время от времени кто-нибудь признавался, что чувствует себя так, как будто стоит в густом тумане с тусклым фонарем в руках, свет которого едва рассеивает окружающую его со всех сторон тьму бесконечности. Но на самом деле человек не верил в то, что бесконечность бесконечна и что вечность извечна: он полагал, что все сущее, познанное и непознанное, причинно обусловлено.

Об этом и зашел у нас спор с преподобным отцом Адисом (это было в конце 1870-х годов), когда мы сидели с ним в укромном уголке старинной Бромптонской часовни, куда мой собеседник был приглашен кем-то из его паствы в надежде, что он обратит меня в католичество. Вселенная существует, заявил преподобный отец, значит, кто-то должен был сотворить ее. Если этот кто-то существует, парировал я, кто-то должен был сотворить его. Допустим это в интересах спора, сказал пастырь. Допустим существование того, кто сотворил Бога. Допустим и существование творца того, кто сотворил Бога. Допустим, что творцов существует столько, сколько вашей душе угодно, однако существование бесконечного количества творцов немыслимо и нелепо: поверить в существование пятидесятитысячного и пятидесятимиллионного творца ничуть не затруднительней, чем поверить в существование первого по счету, но почему бы тогда не оставить за ним первенство и не остановиться на этом, раз все попытки пойти дальше бессильны устранить ваше логическое затруднение? С вашего позволения, отвечал я, мне так же легко поверить в то, что вселенная сотворила сама себя, как и в то, что творец вселенной сотворил себя сам,— в сущности, даже легче, ибо существование вселенной очевидно и очевидно то, что она развивается, тогда как существование творца не более чем гипотеза. Разумеется, продолжать разговор в таком духе было бессмысленно. Поднявшись с места, мой собеседник заметил, что мы похожи на двух людей, которые силятся распилить бревно, но каждый тянет пилу к себе,— и все усилия пропадают даром. Когда мы проходили через трапезную, отец Адис прервал молчание и признался, что сошел бы с ума, если бы утратил веру. Я, упивавшийся в то время избытком юношеской черствости и поклонявшийся единственно духу комедии, чувствовал себя преотлично и прямо заявил об этом, хотя, впрочем, и был тронут неподдельной искренностью моего собеседника.

Оба рассказанных мной случая как будто донельзя заурядны и даже забавны, однако за ними таится бездна отчая-

ния. Они вскрывают состояние полного безверия, когда существующая религия означает лишь веру в жупел, которым пугают детей, а несостоятельность религии доказывается пустячной логической дилеммой, причем и то и другое не имеет с подлинной религией ничего общего и недостаточно серьезно для того, чтобы обмануть или смутить любого надлежащим образом воспитанного ребенка старше шести лет. Трудно сказать, что ужаснее: унижение легковерия или легкомысленность скептицизма. Отсюда последовало неизбежное. Все, кто обладал решимостью устоять перед жупелом, оказались на мели, предавшись бесплодному презрительному отрицанию или не менее бесплодным спорам, похожим на мой спор с отцом Адисом, если вообще снисходили до споров. Однако их позиция в духовном отношении безмятежностью не отличалась. Испытываемое ими чувство внутреннего разлада выразил один из членов парламента, возражавший против избрания в парламент Чарлза Брэдло, словами: «Должен же, черт побери, человек верить в кого-то или во что-то!» Нетрудно было бы бросить жупел на свалку, но тем не менее мир — наш уголок вселенной — отнюдь не выглядел простой случайностью: все вокруг нас изобличало присутствие определенного замысла, за которым таилась некая особая цель. Как выразился бы ополчившийся против Брэдло член парламента: если что-то есть, должен же за этим быть кто-то. Против этого любой атеист был бессилен.

ЧАСЫ ПЭЙЛИ

Пэйли поставил свой вопрос в такой форме, в которой на него заведомо невозможно ответить. Если вам в руки попали часы с механизмом, в совершенстве приспособленным для выполнения серии операций, подчиненных единственной цели — определить для человечества суточный ход времени, разве можно не верить, что это обдуманная и предназначенная именно для этой цели работа искусного механика? Человек же со всеми своими органами — связками и рычагами, балками и стропилами, входными и выходными отверстиями, вентилятором и карбюратором, сообщающейся системой сосудов и клапанов, фильтрами и ретортами, устройствами для химических реакций, слуховыми передатчиками и оптическими линзами — изделие несравненно более удивительное, нежели часы: так мыслимо ли представить, что оно создано по чистой случайности, что ни один механик не приложил к нему руку и не руководствовался при этом ни определенным замыслом, ни сознательной целью?

Это казалось невероятным. Тщетно Гельмгольц заявлял, что «глазу свойственны не только все возможные дефекты оптического инструмента, но и особые, только ему присущие несовершенства» и что, если бы оптик попытался навязать ему покупку подобного инструмента, он счел бы себя вправе отослать товар обратно с самым резким осуждением недобросовестности мастера. Дискредитировать умение оптика не значило устранить самого оптика. Глаз, быть может, не так хорошо устроен, как полагал Пэйли, однако глаз тем не менее как-то и кем-то создан. [...]

НУЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК В НУЖНУЮ МИНУТУ

[...] Атеизм был бессилен ответить на вопрос Пэйли, но объяснение всего легко объяснимого входило в задачи науки. Наука чуралась голого отрицания: ей прежде всего требовалось доказать, что наличие в природе замысла можно истолковать, не прибегая к гипотезе о личностном первоначале. Если бы только некий гений, согласившись с выкладками Пэйли, сумел сразить самого Пэйли наповал, открыв способ появления на свет часов без участия часовщика, то этому гению был бы обеспечен такой восторженный прием со стороны мыслящих современников, какой не снился раньше ни одному натурфилософу.

Пришло время, и такой гений явился. Звали его Чарлз Дарвин. Итак, в чем же, собственно, состояло открытие Дарвина?

Боюсь, что тут мне снова придется прибегнуть к услугам жирафы или, как ее называли во времена знаменитого Буффона, камелеопарда. Не знаю, почему, но это бедное животное так упорно навязывалось в качестве довода в спорах об эволюции, что от него спасения не было, а теперь я по своей старомодности и сам не могу без него обойтись. Откуда все же взялась у жирафы длинная шея? Как пояснил бы Ламарк, желание добраться до нежной листвы на верхушках деревьев побуждало животное вытягивать шею, пока эти усилия не привели в конце концов к появлению шеи необходимой длины. Был возможен и другой ответ на этот вопрос, а именно: некий доисторический селекционер, желая произвести редкий природный феномен, взял животных с самыми длинными шеями и настойчиво занимался их разведением до тех пор, пока в результате преднамеренного отбора не возникла порода, обладающая аномально длинной шеей (точно так же вывели, к примеру, породу рысаков или голубей с веерообразным хвостом). Оба эти объяснения содержат

в себе, как видите, признание осознанной воли, цели и замысла либо со стороны самого животного, либо со стороны вышестоящего разума, который управляет судьбой своих подопечных. Дарвин указал на наличие третьего объяснения (и к этому целиком сводится все его прославленное открытие), которое не признает ни воли, ни цели, ни замысла со стороны кого бы то ни было. Тот, чья шея слишком коротка для добывания пищи, обречен на гибель. Так довольно просто объясняется тот факт, что все существующие ныне травоядные обладают достаточно длинной шеей или же хоботом. Значит, конец вере в преднамеренное создание длинных шей для добывания пищи! Но Ламарк не допускал подобного изначального предназначения шей: длина шеи, верил он, постепенно вырабатывается единством желания и старания. Отнюдь не обязательно, заявил Дарвин. Возьмите фактор естественного прироста, на котором особенно настаивал Мальтус, и проследите действие этого фактора на примере жираф. Допустим, что средний рост поедающих листву животных составляет четыре фута и что их поголовье увеличивается до тех пор, пока вся листва деревьев на этой высоте не оказывается объеденной. Тогда те животные, рост которых на дюйм-другой ниже среднего, погибнут от недоедания. Все те животные, рост которых превышает среднюю отметку хотя бы на дюйм, по сравнению с прочими выиграют в упитанности и выносливости. Они изберут себе в пару равных себе, и их потомство окажется жизнеспособным, в то время как хилые недомерки будут обречены на вымирание. Этот процесс, награждающий каждое поколение данной породы, скажем, одним лишним дюймом, будет повторяться до тех пор, пока шея не окажется достаточно длинной для того, чтобы жирафа всегда располагала пищей в пределах досягаемости. Затем селекционный процесс, разумеется, приостанавливается, одновременно приостанавливается и дальнейшее удлинение шеи жирафы — иначе она смогла бы общипывать листья с деревьев, произрастающих на луне. И все это происходит, заметьте, без малейшего вмешательства со стороны селекционера, земного или небесного; и ничто — ни воля, ни цель, ни замысел, ни простое осознание происходящего — не стоит за слепой жаждой насыщения. Верно, что эта слепая жажда — по существу, воля к жизни — исчерпывает суть дела; однако, по сравнению с целеустремленной и осмысленной направленностью усилий у Ламарка, процесс развития у Дарвина представляется совершенно случайным стечением обстоятельств. Поначалу такое истолкование эволюционного процесса выглядит вполне обоснованным, поскольку вы не сразу осознаете все вытекающие из него послед-

ствия. Но когда вы постигаете до конца его подлинный смысл и значение, ваше сердце уходит в пятки. Теория Дарвина скрывает в себе чудовищный фатализм, гнусное и омерзительное низведение красоты и интеллекта, силы, благородства и страстной целеустремленности до уровня хаотически случайных броских перемен, какие в горном ландшафте вызывает обвал лавины, а в человеческой фигуре — железнодорожная катастрофа. Называть это Естественным Отбором — сущее богохульство. Пусть богохульствуют те, для кого Природа — всего лишь случайное скопище инертной и мертвой материи: ум и сердце праведников вовеки не примирятся с этой ересью. А если это не ересь, но научная истина, тогда ни звезды небесные, ни дождь, ни росу, ни зиму, ни лето, ни лед, ни пламень, ни горы, ни долы больше нельзя призывать во свидетели славы господней, ибо тогда все созданное им направлено к одной-единственной цели — метаморфозам всего сущего силой слепого и бездумного голода, обрекающего на погибель всех, кому не посчастливилось уцелеть во всеобщей свалке возле кормушки со свиным пойлом.

У КРАЯ БЕЗДОННОЙ ПРОПАСТИ

Так вот шея бедной жирафы простерлась до небес и внушила людям веру в то, что они присутствуют при сумерках богов. Ибо, если подобный отбор мог создать жирафу из антилопы, совсем нетрудно вообразить превращение кишащей амебами запруды во Французскую Академию. Хотя указанный Ламарком путь — путь жизни, воли, целеустремленности и достижения цели,— оставался возможным, новоявленный путь голода, смерти, тупой покорности и игры случая, управляющих выживанием, стал также возможным, причем несомненно, что именно этот путь вызвал целый ряд метаморфоз, которые ранее казались сознательно задуманными. Не начни я с праздного по видимости рассказа о своем обращении к дискуссионным методам пророка Илии, меня бы спросили, каким чудом случилось так, что исследователя, который разверз перед нами бездну отчаяния, не только не побили камнями и не распяли как всеобщего врага, растоптавшего достоинство рода человеческого и отнявшего у вселенной ее предназначение, но, напротив, восторженно провозгласили Избавителем, Спасителем, Пророком, Просветителем, Освободителем, Глашатаем Надежды, Исцелителем и Провозвестником Новой Эпохи, тогда как Ламарка просто-напросто смахнули в сторону как автора незрелых, из-

живших себя догадок, едва ли достойного считаться заблудшим предшественником Дарвина?

В свете рассказанного мною анекдота объяснение вполне очевидно. Прежде всего эта бездна поглотила Пэйли, и беспорядочного Создателя, и низложенного у Шелли всемогущего Демона, и прочую псевдорелигиозную чепуху, которая преграждала все пути вперед и вверх с тех пор, как людские надежды обратились к науке как единственной спасительнице. Эта бездна казалась такой удобной могилой, что поначалу никто не увидел в ней бездонной пропасти, которая теперь стала поистине страшной. Ибо, хотя Дарвин и оставил обходную тропинку для спасения своей души, его последователи уничтожили ее, расширив пропасть. Однако в начале радость была всеобщей, а ликование ученых прямо-таки буйным.

Мы были предельно угнетены мыслью о воле деспотической личности — божества столь предосудительно жестокого и ревнивого, что даже применение хлороформа с целью облегчить страдания при родах или на операционном столе могло, по мнению его последователей, показаться ему преступным вмешательством в божественный промысел; только поэтому мы набросились на Дарвина с такой жадностью. Когда Наполеона спросили, что произойдет после его смерти, он ответил, что в Европе раздастся вздох невероятного облегчения: «Уф-ф!» И вот, когда Дарвин сразил бога, возражавшего против хлороформа, у каждого из нас, кто только задумывался об этом раньше, вырвалось точно такое же «уф-ф!». Пэйли предали забвению вместе с его часами, устройство которых теперь легко объяснялось без ссылки на божественного часовщика. Радость избавления от обоих переполняла нас настолько, что нам и в голову не приходило задуматься о последствиях. Когда узник видит открытую дверь своей темницы, он бросается к выходу, не задумываясь о том, где раздобудет себе обед. В тот момент, когда мы обнаружили, что наш интеллект преспокойно обходится без всемогущего Демона, заклейменного Шелли, этот Демон провалился в пропасть, казавшуюся всего-навсего мусорным ящиком. Он провалился с такой внезапностью, что жизнь нашего поколения составляет одну из самых поразительных эпох в истории. Скажи я своему дядюшке, что спустя тридцать лет после нашей беседы с ним я навлеку на себя подозрения в вопиющем суеверии, ибо подвергаю сомнению правомочность теорий Дарвина, признаю реальность Духа Святого и утверждаю, что Слово каждодневно облекается Плотью, он приписал бы мне самый редкостный вид сумасшествия, когда-либо встречавшийся в нашем семействе. Тем не менее это было именно так

В 1906 году я мог поносить Иегову с большим рвением, чем в свое время это делал Шелли, не вызывая ни малейшего протеста со стороны мыслящей публики, привыкшей к любым формам современной полемики. Однако, когда я охарактеризовал Дарвина как «знающего и прилежного голубятника», мое легкомысленное святотатство было встречено с ужасом и негодованием. Теперь времена снова переменились; всякому ничтожному выскочке вольно говорить о Дарвине все, что заблагорассудится, но тем, кому захочется узнать, каково приходилось ламаркистам в последней четверти девятнадцатого столетия, достаточно заглянуть в воспоминания мистера Фестинга Джонса о Сэмюэле Батлере, чтобы увидеть, на какое полное одиночество обрекал себя даже гений, если решался противостоять двум силам сразу: Дарвину, с одной стороны, и Церкви — с другой.

ПОЧЕМУ ДАРВИН ОБРАТИЛ ТОЛПУ В СВОЮ ВЕРУ

Я прекрасно сознаю, что, описывая воздействие открытия Дарвина на умы естествоиспытателей и всех тех, кто способен серьезно размышлять о сущности и атрибутах бога, я оставляю вне поля зрения огромную массу британской публики. Я уже указывал, что британская нация не состоит исключительно из атеистов и членов Плимутского братства, и я отнюдь не собираюсь делать вид, что она когда-то делилась на два лагеря — дарвинистов и ламаркистов. Средний гражданин очень далек и от религии и от науки: с ним можно потолковать о крикете и о гольфе, о рыночных ценах и о политике партий, но совсем не об эволюции или о теории относительности, не о перевоплощении и не о предопределении. [...]

Однако теория Отбора Силой Обстоятельств вполне доступна пониманию голубятников, любителей собак, садовников, скотоводов и коннозаводчиков, профессионально занятых видоизменением растений и животных посредством Искусственного Отбора. Единственная новость, которую они могли услышать от Дарвина, заключалась в том, что простое стечение обстоятельств, аналогичное их собственным скромным усилиям, на самом деле постоянно имеет место в самом широком масштабе. В английских загородных домах вряд ли отыщется хоть один работник, которому не приходилось бы топить в ведре все кошачье или собачье потомство, за исключением отпрыска, подающего, по его мнению, наибольшие надежды. Такому челове-

ку понятие о выживании сильнейших не даст ничего нового, разве только откроет глаза на то, что этот процесс распространен гораздо шире, чем он наблюдал сам. Ведь ему отлично известно (а в этом вы убедитесь, если снизойдете до разговора с ним), что подобный отбор (в дарвиновском смысле) происходит в природе постоянно: например, холодная зима губит болезненного ребенка, как ведро с водой губит щенка-заморыша. Далее, возьмем сельского труженика. Шекспировский Оселок — шут, воспитанный при дворе, был повергнут в изумление, обнаружив в пастухе философа от природы, и заключил, что тот будет проклят за свое вмешательство в то, как овцы плодятся и размножаются. Что же касается выведения новых сортов растений путем скрещивания разновидностей, то оно является самым привычным делом для вашего садовника. Итак, если вам знакомы все три названных выше процесса — выживание сильнейших, половая селекция и скрещивание видов,— то тогда теория Дарвина покажется вам проще пареной репы.

В этом заключался секрет успеха Дарвина. Если лишь очень немногие из нас прочитали «Происхождение видов» от корки до корки, то не потому, что книга непосильно трудна, а только потому, что мы схватываем суть вопроса и готовы согласиться со всем изложенным задолго до того, как продеремся сквозь бесконечные пояснения, иллюстрации и примеры, из которых книга преимущественно и состоит. Дарвин становится невыносимым, как невыносим человек, нудно упорствующий в доказательстве своей невиновности уже после вынесенного ему оправдания. Его заверяют в абсолютной безупречности его репутации и настойчиво предлагают покинуть здание суда, однако он не довольствуется приведенными свидетельствами, но заставляет выслушать все существующие на свете показания в его пользу. Дарвин обладал чудовищным трудолюбием. Его упорство, настойчивость и добросовестность граничат с пределом человеческих возможностей. Однако он ни разу не возвысился над фактами и не углубился в них до пределов, недоступных заурядному уму, Дарвин даже не сознавал, что как бы невзначай поднял вопрос величайшей важности, поскольку это не входило в его задачу. Ему было ясно, что он открыл процесс преобразования и изменения видов, объясняющий многое в естественной истории. Однако он не претендовал на объяснение всего хода естественной истории. Он назвал свое открытие Эволюцией, хотя в лучшем случае это была всего лишь псевдоэволюция, однако он представил ее лишь как один из способов эволюции, но отнюдь не как единственно возможный способ. Он не

притязал на то, что данный способ эволюции исключает все прочие, и не заявлял, что это — основной способ. Хотя Дарвин показал, что многие примеры преобразований, которые ранее приписывались Функциональной Адаптации (ходячий термин в эволюционной теории Ламарка), действительно возникли или могли возникнуть вследствие Отбора Силой Обстоятельств, он никогда не провозглашал, что зачеркнул теорию Ламарка и опроверг понятие Функциональной Адаптации. Короче говоря, сам Дарвин был не дарвинистом, а просто честным натуралистом, добросовестно занятым своим делом. Его столь мало заботили теологические спекуляции, что он ни разу не разошелся с теистическим унитаризмом, с которым был от рождения связан, и до последних дней оставался подкупающе простым, сговорчивым и легким в общении, каким он был с детства, когда его старшие домочадцы сомневались, выйдет ли из него хоть какой-нибудь толк.

КАК МЫ БРОСИЛИСЬ ВНИЗ ПО КРУТОМУ СКЛОНУ

[...] Мы пребывали в состоянии интеллектуального опьянения от одной мысли о том, что мир создается без плана, цели, искусства и идеи — короче, без жизни. Мы совершенно не видели разницы между изменением видов посредством приспособления к окружающей среде и возникновением новых видов: мы просто бросали слово «вариации» или слова «игра природы» (вообразите ученого, который обозначает неизвестный фактор «игрой природы» вместо «икс»!) и предоставляли им «накапливаться» и тем объяснять разницу между какаду и гиппопотамом. Такие словечки давали нам свободу, нужную для ниспровержения виталистов и поклонников Библии: мы радостно доказывали им, что, если только мы допускаем существование некоей силы, пусть не мыслящей, и отводим достаточно времени в прошлом для ее бессознательного действия, эта сила вполне может создать мир, где каждую функцию выполняет превосходно приспособленный для нее орган, который, как нам естественно кажется, создан сознательным и мыслящим творцом. Не подозревая, до какой нелепости доводят наши аргументы, мы с азартом уверяли, что все книги в библиотеке Британского музея были бы написаны слово в слово так, как они и написаны, даже если бы ни один человек не обладал сознанием — точно так же, как деревья стоят в лесу и творят дивные дива, ничего при этом не сознавая.

Между тем дарвинисты не только у деревьев отнимали сознание. Вейсман уверял, будто цыпленок автоматически вылупливается из яйца и будто бабочка, улетающая, чтобы спастись от подстерегающей ее ящерицы, «вовсе не стремится избежать смерти и ничего о ней не знает», а просто выработанный ею летательный инстинкт быстро реагирует на зрительное восприятие движений ящерицы. Согласно его аргументации, бабочка немедленно снова опускается на цветок, тем доказывая, что она ничего не извлекает из своего опыта и, заключает Вейсман, следовательно, не сознает своих поступков.

Вряд ли такой пристальный наблюдатель мог не заметить, что, когда кошка прыгает на обеденный стол и ее прогоняют, она немедленно прыгает обратно и в конце концов устанавливает свое право на это место, так как вы начинаете ясно понимать: даже если вы ее сто раз прогоните, она все равно прыгнет в сто первый раз, и поэтому, ежели вы дорожите ее обществом во время обеда, придется согласиться на ее условия. Если Вейсман думал, что кошки действуют бессознательно, непреднамеренно, значит, он ничего не понимал в кошках. Но последовательный вейсманист (буде такие еще сохранились с тех безумных времен), вероятно, заявил бы, что я тоже сейчас не вполне сознаю свои поступки, что я пишу эти строки, а вы их читаете под воздействием Отбора Силой Обстоятельств, что я не более смыслю в биологии, чем бабочка — в аппетите ящерицы, и доказательство бессознательности моих действий усмотрел бы в том, что, если я уже сорок лет пишу на этот манер, не производя, насколько можно судить, ни малейшего воздействия на общественное мнение, я, по-видимому, неспособен извлекать уроки из опыта и, следовательно, не отличаюсь от автомата. И такая вейсманистская аргументация безусловно тоже была бы бессознательным результатом Отбора Силой Обстоятельств.

ДАРВИНИЗМ НЕ ОПРОВЕРГНУТ ОКОНЧАТЕЛЬНО

[...] Когда вам заявляют, что вы не что иное, как продукт Отбора Силой Обстоятельств, вам нелегко начисто опровергнуть данное утверждение, однако голос глубочайшей внутренней убежденности заставляет вас назвать вашего обидчика лжецом и невеждой. Хотя это и вполне согласуется с британскими манерами, но все же звучит недостаточно вежливо, поэтому благоразумнее в качестве контрдовода заверить вашего

оппонента в том, что на самом деле вы — продукт эволюции по Ламарку (прежде именовавшейся Функциональной Адаптацией, а ныне — Творческой Эволюцией), и предложить ему опровергнуть ваше убеждение. Это окажется для него в равной степени невозможным, ибо и та и другая сила, если только дать им волю, предположительно способны создать все что угодно. Можно также предложить ему попытаться благополучно пересечь Оксфорд-стрит без какого-либо участия сознания, полагаясь исключительно на действие рефлекса самосохранения, обусловленного зрительными и слуховыми ощущениями (в данном случае восприятием движущихся автомобилей, подающих гудки). Если, однако, он примет ваш вызов и возьмется представить любое из ваших действий как следствие Отбора Силой Обстоятельств, подходящее к случаю объяснение всегда найдется, лишь бы ваш антагонист со своей стороны был достаточно осведомлен и находчив. Дарвин в спорах со своими противниками приводил целый ряд таких объяснений.

Всякий, кто действительно хочет верить в то, что вселенная создана в результате Отбора Силой Обстоятельств (действовавшего вкупе с силой, столь же слепой и бездушной, каковой, по нашим представлениям, является магнетизм), способен логически оправдать свою веру, стоит только ему постараться.

ТРИ СЛЕПЫЕ МЫШИ

[...] Вейсман, однако, начал свое исследование в точности как мясникова жена в старой прибаутке. Он достал множество мышей и всем отрезал хвосты. Затем он стал ждать, будут ли хвосты у их новорожденных детей. Хвосты появились, как это заранее мог бы сказать Батлер. Тогда он отрезал хвосты у детей и стал ждать, не будут ли хвосты у внуков хотя бы немного короче. И этого не получилось, как я мог бы сказать ему это заранее. Тогда, с тем терпением и прилежанием, которым так гордятся мужи науки, он отрезал хвосты у внуков и стал уповать на рождение короткохвостых правнуков. Но и их хвосты были в полном порядке, как любой дурак мог бы сказать ему заранее. Из этого Вейсман с полной серьезностью извлек вывод, что приобретенные привычки не наследуются. Между тем Вейсман вовсе не был прирожденным глупцом. Он отличался исключительным умом и трудолюбием; в его сознании были даже ростки философии и воображения, которые дарвинизм уничтожил, приняв их за сорняки.

Как же в таком случае он не понял, что его опыты не имеют никакого отношения к привычкам и наследуемым признакам? Как же он пренебрег тем явным обстоятельством, что подобные эксперименты были испробованы в Китае на бесчисленных поколениях китайских женщин, которые, однако, несмотря на все опыты с их ногами, упорно продолжали рождаться с ногами нормального размера? Он не мог не знать о забинтованных ногах китаянок, даже если и не знал о подрезанных ушах и хвостах, о калечении, которому любители собак и лошадей подвергают многочисленные поколения несчастных животных. Такая поразительная слепота и глупость со стороны человека отнюдь не глупого и не слепого наглядно иллюстрирует, какое воздействие Дарвин совершенно неумышленно оказывал на своих последователей, сосредоточивая их внимание исключительно на роли, какую в эволюции играют случайность и насилие, действующие с полным пренебрежением к страданию и чувствительности.

Виталистическая концепция эволюции показала бы Вейсману, что биологические проблемы не решаются нападением на мышей. Наука требовала иных видов эксперимента. Прежде всего ему следовало обзавестись мышами, чувствительными к гипнотическому внушению. Ему следовало далее внушить им, что исчезновение хвоста есть непременное условие существования мышиного племени — подобное убеждение какой-то давний и забытый экспериментатор, по-видимому, внушил котам на острове Мэн. Заставив мышей изо всех сил стремиться к утрате хвостов, он вскоре бы узрел несколько мышей с короткими хвостами, а то и без таковых. Другие мыши признали бы их за высшие существа, имеющие особые права при разделе пищи и при половой селекции. В конце концов бесхвостые мыши стали бы предавать казни хвостатых мышей, и чудо бы свершилось.

Предлагаемый эксперимент вызывает возражения не потому, что он слишком смешон и его нельзя принять всерьез, и не потому, что он недостаточно жесток для должного воздействия на толпу, но просто потому, что он неосуществим. Экспериментатору, человеку, недоступно сознание мыши. Однако именно такими бесполезными глупостями занимаются во всех лабораториях. Последователи Дарвина об этом не думали. По их понятию, исследовать — значит подражать Природе, совершая грубые, бессмысленные жестокости, и наблюдать их действие с парализующим волю фатализмом, запрещающим делать малейшее усилие и действовать умом, а не руками и ножами. Они-то и установили гнусную традицию, которая считает предателем науки всякого, кто не решается на жесто-

кость, подобную жестокости Отбора Силой Обстоятельств. Эксперимент Вейсмана с мышами был совершенно шуточкой по сравнению с гнусностями других дарвинистов, пытавшихся доказать, что нанесенные увечья не наследуются. Без сомнения худшие из этих экспериментов вообще были не экспериментами, а жестокостями, совершаемыми жестокими людьми, которых к лаборатории привлекала только надежда найти в ней дозволенный законом и модным суеверием приют для любителей смертных мук и пыток. Однако нет причин подозревать Вейсмана в садизме. Отрезать хвосты нескольким поколениям мышей — право же, в этом нет того сладострастного наслаждения, какое могло бы соблазнить Нерона от науки. Это просто доказательство слепоты, по крайней мере на один глаз; другой же глаз, гуманный и разумный, выбил Вейсману Дарвин. Он же выбил глаза и парализовал волю многих других. С тех пор как он объявил Отбор Силой Обстоятельств создателем и правителем вселенной, научный мир превратился в подлинную цитадель глупости и жестокости. Как ни страшен был племенной бог евреев, никто не проходил мимо самых жалких и гадких его святилищ с таким содроганием, с каким мы теперь проходим мимо физиологической лаборатории. Если мы боялись священнослужителя и не верили ему, мы, во всяком случае, могли спастись от него в собственном доме. Но как спастись от современного хирурга-дарвиниста, которого мы боимся в десять раз больше и которому доверяем в десять раз меньше? В его-то руки все мы от времени до времени попадаем и ничего поделать не можем. Как бы низко ни пала религия, она по крайней мере на словах провозглашала, что пред судилищем общего Отца нашего все мы братья, все мы равны и каждый из нас несет в себе частицу других. Дарвинизм провозгласил, что все отношения людей сводятся к соревнованию и соперничеству в борьбе за выживание и что всякое проявление милосердия и товарищества — всего лишь вредная и никчемная попытка ослабить ожесточенность схватки и помешать усилиям природы, устраняющей неполноценных особей. Но даже в обществах социалистов, стремившихся единственно к вытеснению закона конкуренции законом братства и к следованию по пути дальновидной мудрости вместо неудержимого падения по наклонной плоскости,— даже в таких обществах меня явно считали святотатцем и сентиментальным невеждой, поскольку я никогда не скрывал ни своего интеллектуального презрения к ограниченной примитивности и поверхностной логике повсеместно проповедуемой неодарвинистской доктрины, ни природного отвращения к ее отвратительной бесчеловечности.

Поскольку неодарвинизм не оставляет места для свободной воли и какой бы то ни было воли вообще, неодарвинисты не признают и того, что можно назвать самоконтролем. Между тем саморегуляция – как раз то самое свойство, развитие которого постоянно и неизбежно должно было сопутствовать выживанию в длительном процессе Отбора Силой Обстоятельств. Свойства, не поддающиеся контролю, могут получать развитие в определенные моменты при определенных условиях. Возьмем, к примеру, необузданных обжор, всецело поглощенных добычей пропитания: в голодные времена усиленные поиски пищи разовьют в них выносливость и сноровку, но даже самая большая удачливость не позволит им страдать от переедания. Однако при перемене обстоятельств, которая повлечет за собой изобилие пищи, они погибнут. Мы видим, что именно то же самое происходит довольно часто тогда, когда, благодаря случайности нашего коммерческого состязания, миллионером становится вчерашний бедняк, человек, полный здоровья и жизненных сил,– и немедля принимается рыть себе могилу собственными зубами. Однако человек, владеющий собой, способен устоять перед любыми переменами обстоятельств, так как приспособляется к ним: он не станет ни наедаться до отвала, ни морить себя голодом, а ограничится необходимым. Что же такое самоконтроль? Не что иное, как высокоразвитый жизненный здравый смысл, сдерживающий и регулирующий стихийные влечения. Не заметить самого существования этого верховного проявления сознания, не сделать очевидного умозаключения, что именно это качество отличает наиболее жизнеспособных особей,– короче говоря, оставить без внимания высшее моральное притязание, на которое может претендовать Эволюционный Отбор,– все эти упущения, совершенные неодарвинистами во имя Естественного Отбора, доказали самым прискорбным образом, сколь плохо они владеют собственным предметом, сколь бездарны они в своем неумении наблюдать силы, на которые воздействует Естественный Отбор.

ГУМАНИТАРИИ И ПРОБЛЕМА ЗЛА

Поначалу гуманитарии, вместе со всеми другими, были очарованы дарвинизмом. Ранее их ставила в тупик жестокость законов природы и проблема зла. Они были шеллингианцами, не будучи атеистами. По сравнению с атеистами верующие в бога

находились в крайне невыгодном положении. Они не могли отрицать наличия в природе фактов столь жестокого свойства, что приписывать их воле всевышнего означало представлять бога неким злобным демоном. Для любого пытливого ума вера в бога была невозможна без веры в дьявола. Дьявол, намалеванный в образе рогатого существа с хвостом и обитающий в царстве кипящей серы, представлял собой немыслимо вздорное пугало, однако приписываемое ему зло было вполне реальным. Атеисты заявляли, что творец зла, коль скоро он существует, должен обладать могуществом, достаточным для того, чтобы одолеть самого бога, иначе бог несет моральную ответственность за все то, что он позволяет совершать дьяволу. Оба умозаключения не избавляли нас от чувства отчаяния, вызванного необходимостью приписывать все жестокости природы некоей злой воле, и мы не могли согласовать их со своими порывами к справедливости, милосердию и более достойной жизни.

Открытие Отбора Силой Обстоятельств явилось истинным спасением: в свете данной теории все природные трагедии (казалось бы, тщательно инсценированные искусным режиссером) представали нагромождением простых случайностей, лишенных какого-либо морального обоснования. Вообразите себе инопланетного жителя, который наблюдает со звездных высот крушение двух переполненных поездов, мчащихся навстречу друг другу на полной скорости. Мог ли бы он подумать, что катастрофа, обусловленная целенаправленным действием безупречно отлаженных механизмов, вверенных бдительным и знающим рукам, была совершенно непреднамеренной? Не посчитал ли бы он стрелочников дьяволами?

Так вот, теория Отбора Силой Обстоятельств — преимущественно теория коллизий, теория, утверждающая невинность по видимости продуманного сатанинского плана. Этим Дарвин не только расширил кругозор гуманитариев, но и принес им неслыханное облегчение. Он нанес удар по всемогуществу бога, но вместе с тем снял с него чудовищное обвинение в беспощадной жестокости. Впрочем, утешение было слабым, и углубленное размышление должно было показать, что есть нечто пострашнее всех мыслимых и немыслимых богодьяволов: это скопище слепых, глухих, немых, бездушных и нелепых сил, которые могут разить подобно дереву, поваленному бурей, или подобно молнии, ударяющей в само дерево. Однако тогда гуманитариям это не приходило в голову: люди не склонны особенно задумываться, когда их вдруг охватывает счастливое чувство свободы от невыносимо тягостного положения. Подобно паломнику Беньяна, они не замечали ни калитки, ни Пучины Уныния,

ни Замка Отчаяния, но, завидев в конце тропинки сияющий свет, радостно бросились к нему под флагом Эволюционистов.

И они были правы, так как проблема зла легко разрешается в свете Творческой Эволюции. Если движущая сила эволюции всемогуща только в том смысле, что не кладет предела высшим своим достижениям, а пока что вынуждена бороться с косной материей и обстоятельствами методом проб и ошибок, тогда мир должен изобиловать неудачными ее экспериментами. Христос мог повстречать тигра или верховного жреца рука об руку с римским прокуратором — и потерпеть поражение в борьбе за существование. Гений Моцарта мог торжествовать над всеми императорами и архиепископами, но его легкие могли стать жертвой пагубного воздействия нездорового воздуха. Если все наши бедствия вызваны либо простыми случайностями, либо собственными промахами, в которых мы искренне раскаиваемся, тогда в жестокостях природы вовсе нет злого умысла и проблемы зла в викторианском понимании вообще не существует. Женщины признавались, что стали атеистками, увидев, как в колыбели по воле господа умирают от удушья их дети. Таким теологическим воззрениям приходят на смену теологические взгляды Бланко Поснета, который говорил: «Бог сотворил круп в самом начале, так я думаю. Тогда он не мог придумать ничего лучшего, но когда оказалось, что это у него неладно получается, он сотворил вас и меня, чтобы бороться с крупом вместо него».

КАК ОДНА ЧЕРТА ТЕОРИИ ДАРВИНА ПОРОДНИЛА ВЕСЬ МИР

Интерес гуманитариев к дарвинизму был вызван еще и тем обстоятельством, что Дарвин не ограничился собственным вкладом в теорию эволюции, но и популяризировал ее в целом. Ведь общее понятие эволюции обеспечивает гуманитариев научной опорой, поскольку оно устанавливает изначальное равенство всех живых существ. Таким образом, убийство животного стало казаться преступлением, равносильным убийству человека. Иногда возникает необходимость убивать людей, и всегда есть необходимость убивать тигров, однако понятие эволюции стерло давно принятое теоретически различие между двумя этими действиями. Ребенком я не только не поверил, когда мне сказали, будто наш попугай и наша собака, с которыми я находился в самых дружеских отношениях, не обладают разумом и потому стоят ниже меня, но совершенно сознательно

пришел к выводу о ложности этого различия. А впоследствии, когда мне впервые изложили взгляды Дарвина, я тотчас же заявил, что еще десяти лет от роду самостоятельно сделал все эти открытия. Я полагаю и сейчас, что моя юношеская самоуверенность была вполне оправданной, ибо осознание родства всех форм жизни — единственное условие, необходимое для превращения теории эволюции из теории допустимой в теорию вдохновляющую. Святой Антоний, проповедуя рыбам, стоял на пороге этой теории — так же, как и святой Франциск, называвший птиц своими меньшими братьями. Наше тщеславие и сноби́зм заставляют нас в боге видеть подобие земного монарха и высшее воплощение классовых привилегий, а не оплот всеобщего равенства; это и привело нас к упорной вере, что бог ставит нас в особые условия — в стороне и над всеми прочими живыми существами. Теория эволюции лишила нас самодовольства, и, хотя мы все еще способны придавить блоху ногтем без малейших угрызений совести, нам, во всяком случае, теперь достоверно известно, что мы расправляемся с собственным родичем. Блоха, несомненно, возмущается, когда существо, созданное всемогущей Всевышней Блохой специально для прокорма блох, уничтожает прыгающего господина мира одним движением своего чудовищного ногтя; однако ни единой блохе не взбредет в голову утверждать, будто, умерщвляя блох, человек использует способ Естественного Отбора, который в конце концов приведет к появлению блохи столь резвой, что человеку за ней попросту не угнаться, и столь закаленной, что персидский порошок причинит ей меньше вреда, чем стрихнин слону.

ЧЕМ ДАРВИН УГОДИЛ СОЦИАЛИСТАМ

Гуманитарии не были одиноки среди восторженных поклонников Дарвина. Ему выпала удача угодить каждому, кто преследовал свои особые цели. Милитаристы преисполнились не меньшего энтузиазма, чем гуманисты; социалисты ликовали вместе с капиталистами. Социалистов особенно воодушевил упор, сделанный Дарвином на влияние среды. Вероятно, самым мощным моральным оплотом капитализма была вера в действенность личной добродетели. Роберт Оуэн отчаянно старался убедить Англию в том, что ее преступники, пьяницы, ее тупые и невежественные толпы — всего лишь несчастные жертвы обстоятельств; если же, как он считал, установить открытый им новый, основанный на морали мировой правопорядок, то окажется, что в новом, просвещенном и добродетель-

ном обществе массы также приобщатся к образованию и исправятся в моральном отношений. Стандартное возражение Оуэну содержится в книге Льюиса «Жизнь Гете». Льюис высмеял идею, будто характером управляют обстоятельства, и для доказательства от противного отметил разнообразие характеров в правящем зажиточном сословии. Едва ли можно представить себе более удручающее сходство обстоятельств и большее однообразие обстановки, чем в английских поместьях, где подрастают и получают первоначальное воспитание те, кого вскоре посылают в Итон или Харроу, а затем в Оксфорд или Кембридж, где формируются их умы и складываются их привычки. Подобная рутина должна была бы разрушать индивидуальность, как ничто другое. Однако она порождает личности столь разного склада, как Питт и Фокс, лорд Рассел и лорд Керзон, мистер Уинстон Черчилль и лорд Роберт Сесил. Определяющее значение врожденного характера для судьбы личности было подкреплено ламаркистскими воззрениями на эволюцию.

Если желания и старания жирафы могут помочь ей удлинить свою шею, то человек способен развить свой характер точно таким же образом. Старинная поговорка «Где хотенье, там и уменье» сжато выражает самую суть ламаркистской теории Функциональной Адаптации. Сильным она внушала бодрящую мораль, а слабым доставляла благочестивое утешение. Самым действенным отпором социалисту был совет переделать себя, прежде чем браться переделывать общество. А как приятно было богатым ощущать, что всеми своими богатствами они обязаны превосходству собственного характера! Промышленный переворот превратил множество алчных тупиц в чудовищных богатеев. Ничто не могло быть более опасным и унизительным для них, чем мысль о том, что золотой дождь пролился в их карманы по чистой случайности — так же, как дождь, падающий одинаково на правых и виноватых. Ничто не льстило им и не поддерживало их дух больше, чем мысль о том, что богатство есть лишь награда за их добродетели.

Дарвинизм начисто лишил их сознания собственной праведности. Он более чем подтвердил взгляды Роберта Оуэна, так как открыл в среде, окружающей живой организм, влияние более значительное, нежели то, на которое указывал Оуэн. Дарвинизм позволял заключить, что беспризорники порождены трущобами, а не первородным грехом, и что к проституции толкает нищенский заработок, а не женская похотливость. Дарвинизм поставил авторитет науки на сторону социалиста, заявлявшего, что, прежде чем переделывать себя, сначала следует переделать общество. Дарвинизм внушал, что для здо-

ровья и благополучия граждан необходимы здоровые и благополучные города, которые могут существовать только в здоровых и благополучных странах. Дарвинизм приводил к заключению, что личность, остающаяся равнодушной к благосостоянию своих ближних, едва только удовлетворены ее собственные потребности, принадлежит к разрушительному типу, а личность, глубоко заинтересованная во всем, что ее окружает, относится к типу, единственно возможному в обществе устойчивого процветания. Несмотря на скромность достигнутого Робертом Оуэном улучшения жизненных условий детей, занятых на фабрике, оно вызвало поразительные перемены в их облике. Однако эти перемены, как показал дарвинизм, совершенно несопоставимы с переменами (не только отдельных представителей вида, но и целых видов), которые предположительно могут возникнуть под воздействием среды, влияющей на индивидов без какого-либо сознательного вмешательства личной воли. Неудивительно, что социалисты встретили Дарвина с распростертыми объятиями. [...]

ПОЧЕМУ ДАРВИН УГОДИЛ И СТЯЖАТЕЛЯМ

Но почему же в таком случае Дарвин имел успех у капиталистов? Не так-то легко в равной степени угодить сразу двум враждующим лагерям, когда одна сторона проповедует классовую войну, а другая ведет эту войну самым решительным образом. Объяснением служит то обстоятельство, что дарвинизм настолько тесно связан с капитализмом, что Маркс рассматривал его скорее как продукт экономического развития, нежели биологическую теорию. Свой основной постулат о разрыве между ростом населения и неуспевающим за ним ростом средств существования Дарвин заимствовал из трактата Мальтуса о народонаселении. Другой постулат Дарвина о практически неограниченном периоде времени, в течение которого указанный разрыв мог проявлять свое действие, принадлежит ученому-геологу Лайелю. Лайель доказал нелепость подсчета возраста Земли, произведенного архиепископом Ашером, который, основываясь на Библии, определил, что сотворение мира имело место в 4004 году до рождества Христова. [...]

Едва ли можно преувеличить роль, сыгранную в приготовлении к дарвинизму широкой политической и клерикальной пропагандой и ее моральными установками. Насколько можно судить, никогда ранее в истории не предпринималось столь откровенной, щедро субсидированной и политически организован-

ной попытки убедить человечество в том, что и прогресс и процветание, и спасение — личное и общественное — всецело зависят от безудержной погони за деньгами и благами, от подавления и оттеснения сильными слабых, от свободной торговли (фритредерства), от свободного контракта, от свободной конкуренции, от свободы нации, от Laisser-faire — короче говоря, от возможности безнаказанно разделываться со своими собратьями. При этом всякое вмешательство со стороны правительства, всякая организованная деятельность (исключая деятельность полиции, призванной оборонять официально узаконенное мошенничество от кулачной расправы), всякая попытка внести в промышленный хаос какую-либо сознательно осмысленную цель и продуманную направленность объявлялись «противоречащими законам политической экономии». Даже пролетарии были настроены сочувственно, хотя для них свобода при капитализме означала только порабощение заработной платой без законных ограничений, свойственных рабству в собственном смысле слова. Человечеству, уставшему от правительств, монархов, священнослужителей и самого Провидения, хотелось узнать, каким образом Природа собственными силами устроит все дела, если только ей не мешать. И это человечеству пришлось испытать на горьком опыте в те времена, когда одно поколение ланкаширских промышленников выжало все жизненные соки из девяти поколений закабаленных трудящихся. Зато неудержимо богатевшие владельцы фабрик были вполне удовлетворены положением дел, и Бастиа весьма убедительно доказал, что Экономические Гармонии, установленные самой Природой, разрешат все социальные проблемы гораздо успешнее всех теократий, аристократий и толпократий, ибо подлинным deus ex machina является неограниченная плутократия.

ПОЭЗИЯ И НЕПОРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛИЗМА

Итак, звезды небесные горой стояли за Дарвина. Каждая фракция извлекала из его учения свою мораль, каждый широко мыслящий ненавистник фракций возлагал на него свои надежды, каждый праведник им воодушевлялся. Мысль о том, что столь блистательное откровение может нанести какой-то ущерб, представлялась не менее вздорной, чем опасения, что атеисты растащат у нас все столовые ложки. Физики пошли еще дальше, чем дарвинисты. Тиндаль объявил, что видит в материи потенциальные возможности всех форм жизни и со свойственной

ирландцу живописной наглядностью представил нам картину мира, состоящего из намагниченных атомов, каждый из которых обладает положительным и отрицательным зарядом, а все они в совокупности силой притяжения и отталкивания образуют кристаллически упорядоченную структуру. [...]

Однако физикам не удалось внушить свое умозрительное видение мира тем, для кого оно не было врожденным. Для широкой публики оно свелось к простому материализму, а материализм утратил непорочность и присущее ему достоинство, когда вступил в союз с восстанием дарвинистов против фетишизации Библии. Две эти силы разрушили религию до основания: Бога, причинную обусловленность, веру в Мировую Гармонию, какой бы непостижимой ни представлялась нам эта гармония, и сознание моральной ответственности как составную часть этой гармонии,— все это вытеснила полная и абсолютная пустота. Снова воцарился хаос. Поначалу у нас закружилась голова: мы испытывали радостное чувство свободы, подобно сбежавшему из дому ребенку, прежде чем его станут мучить голод и страх одиночества. В ту пору мы совсем не желали возвращения нашего Бога. Мы напечатали стихи, в которых Блейк — самый религиозный из наших великих поэтов — называл антропоморфного идола Старым Никтоженькой и обрушился на него с такими насмешками, о которых типографские пробелы на месте изъятых строк предоставляли только догадываться. Мы вдоволь наслушались пасторов, монотонно твердивших, что Бог поругаем не бывает, и поэтому нам казалось в высшей степени забавным вдоволь ругать Бога, зная, что нам за это ничего не будет. Нам не приходило в голову, что Старый Никтоженька мог быть не просто смехотворной фикцией, а всегонавсего самозванцем и что разоблачение коперниковского Небесного Капитана отнюдь не доказывало отсутствия истинного капитана, но скорее доказало обратное — а именно то, что Никтоженька никого не мог бы олицетворять, не будь пригодного для олицетворения Ктоженьки. Мы проглядели значение того, что в последний раз, когда «Бога прогнали вилами», люди столь различные, как Вольтер и Робеспьер, заявили — один, что, если Бог не существует, его следовало бы выдумать, а другой — что после честной попытки обходиться в политической практике без Верховного Существа подобная гипотеза была признана совершенно необходимой, причем замена ее Богиней Разума оказалась недостаточной. Если два эти высказывания и цитировались, то расценивались как шутки по адресу Никтоженьки. В то время мы были совершенно уверены в том, что, какой бы закоренелый религиозный предрассудок ни смущал умы в восем-

надцатом столетии, мы, дарвинисты, прекрасно можем обходиться без Бога, от которого, казалось, избавились навсегда.

НАМЕСТНИКИ ЦАРЯ ЦАРЕЙ

В политике гораздо легче обойтись без бога, чем без его заместителей, приспешников и священнослужителей. Католики исполняют повеления своих исповедников, не беспокоя бога, а роялисты довольствуются поклонением королю и слушаются полицейских. Однако самые надежные помощники бога часто обходятся без верительных грамот. Такими бывают и откровенные атеисты, если они люди чести и высоких гражданских чувств. Старая вера, будто богу ужас как важно, считает ли человек себя атеистом, и будто степень важности этого для него можно установить с точностью до одной сотой, в корне ошибочна: божественность заключена в чести и гражданских чувствах, а не в бормотании credo или non credo[1]*. Последствия этой ошибки стали явны, когда пригодность человека к высокому посту начали определять не по чести его и гражданским чувствам, а по его ответу на вопрос, верит ли он в Никтоженьку. Если он отвечал «да», его считали пригодным занять пост премьер-министра, хотя, по меткому слову самого одаренного из наших духовных лиц, на самом деле его ответ означал только, что он либо дурак, либо ханжа, либо лгун. Дарвин отменил такой способ проверки; но когда от него необдуманно отказались, выяснилось, что никакой проверки вообще нет и двери к высокому посту открыты для того, кто равнодушен к богу по той простой причине, что он равнодушен ко всему, кроме своих деловых интересов, вожделений и честолюбивых планов. В результате люди, которые ничуть не пострадали, когда пришел конец правлению Никтоженьки, очень пострадали, когда ими стали править дураки и авантюристически настроенные финансисты. Они забыли не только бога, но и Голдсмита, хотя он предупреждал их, что «никнет честь, коль деньги верх берут».*

Помощники бога — не всегда люди, иногда ему помогают юридические и парламентарные фикции. До Дарвина государственных деятелей и публицистов сдерживала не столько мысль о боге, сколько сотворенный ими образ Общественного Мнения, которое якобы не потерпит никаких посягательств на политические свободы Британии. Излюбленной их формулой была такая: любое правительство, которое решится на то или другое

[1] Верую или не верую *(лат.)*.

нарушение той или другой политической свободы, будет свергнуто через неделю. Они лгали: такого общественного мнения не было, как не было предела долготерпению публики; теоретически она была готова к чему угодно, а практически могла вынести любое бедствие, кроме немедленной и внезапной голодухи. Но именно беспомощность народа принудила его правителей делать вид, что он не беспомощен, и что именно решительное и непобедимое сопротивление народа любым шуткам с Великой хартией вольностей, Петицией о правах и прерогативами Парламента делает их невозможными. Во всех этих фантазиях реальным было только божественное ощущение жизненной необходимости свободы для развития человечества. Поэтому, как ни трудно было добиться политической реформы, раз пройдя через парламент, она не оставляла никакой надежды даже самым пылким своим противникам на отмену ее правительством, на возможность подкупить его и заставить от нее отказаться. От Уолпола до Кембл-Баннермана не было премьер-министра, которому пришли бы в голову такие позорные сделки, хотя, разумеется, очень многие из них не жалели денег на совращение членов парламентов, с тем, чтобы заставить их голосовать за свою политику.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОППОРТУНИЗМ IN EXCELSIS[1]

Как только Никтоженька был сражен Дарвином, Общественное Мнение — как представительство божества — утратило свою святость. Политические деятели Британии больше не говорили себе, что публика никогда не потерпит того-то и никогда не смирится с тем-то. Теперь они могли позволить себе простое рассуждение: во имя своих личных целей, для осуществления которых им достаточно усидеть десять или двадцать лет на правительственной скамье в парламенте, они смогут обманом или силой внушить публике доверие и повиновение любым мерам, выгодным власть предержащим. При этом любой фальшивый предлог для шага, не встречающего одобрения, окажется пригодным, если только удастся выдавать этот предлог за достойный хотя бы неделю-другую, после чего все условия и обстоятельства дела будут прочно забыты. Народные массы, обученные дурно или вообще не обученные, в целом столь невежественны и неспособны к политике, что все это само по себе не имело бы существенного значения, поскольку государственно-

[1] В зените *(лат.)*.

го деятеля, говорящего чистую правду, просто-напросто не по-
мут. Более того, полагаясь на собственную мудрость, он с-
бьет народ с пути истинного гораздо скорее, чем в том случа-
если будет руководствоваться его слепотой. В данном отноше-
нии лучший демагог ничем не отличается от худшего, так ка-
оба в своих доказательствах используют реквизит мелодрамы.
И все же существует громадная разница между политиком,
который обманным путем принуждает людей поверить, будто
он призван исполнять господнюю волю, в каком бы обличье он
ему ни являлась, и политиком, который обманом подстрекает
их содействовать его личным амбициям и коммерческим инте-
ресам плутократов, владеющих средствами печати и поддержи-
вающих его на взаимовыгодных условиях. Почти такая же раз-
ница существует между политиком, который либо действует
с наивной инстинктивностью, либо отдает себе отчет в соб-
ственном тщеславии, эгоизме, разборчивости,— и политиком,
действующим так из принципа,— политиком, полагающим, что
если каждый пойдет по пути наименьшего сопротивления, ре-
зультатом явится выживание сильнейших в мире абсолютной
гармонии. Создайте только атмосферу фатализма из принципа,
и тогда личные мнения или предубеждения отдельных государ-
ственных деятелей мало что будут значить. Кайзер, с благоче-
стивым пылом читающий проповеди; премьер-министр, вдохно-
венно поющий гимны; генерал, фанатический приверженец рим-
ской католической церкви,— могут стоять у кормила полити-
ки. Но сущность самой политики будет заключаться в беспри-
ципном оппортунизме, и судьба всех правительств будет похо-
дить на судьбу бродяги, идущего по свету куда глаза глядят
и кончающего нищенством, или же на катящийся вниз по гор-
ному склону камень, который вызывает обвал лавины: их
путь — путь к гибели.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

За шестьдесят лет со времени опубликования книги Дар-
вина «Происхождение видов» политический оппортунизм навлек
на парламенты презрение, вызвал широкий призыв к прямому
действию путем организации промышленников (синдикализм)
и разрушил самое сердце Европы в пароксизме хронического
страха одной державы перед другой. Эта трусость неверую-
щих, замаскированная бравадой военного патриотизма, пресле-
довала державы подобно неотвязному кошмару со времени
франко-прусской войны 1870—1871 годов. Стойкий космополити-

ческий либерализм прежних лет улетучился без следа. В настоящий момент все последние директивы для правительственного аппарата наших колоний содержат, как нечто само собой разумеющееся, запрет на любые критические высказывания, устные или письменные, по адресу должностных лиц — запрет, который шокировал бы Георга III и исторг бы либеральные памфлеты у Екатерины II. Правители страшатся жителей пригорода и хозяев поместий, военных, дипломатов и финансистов, печати и профсоюзов — то есть всего самого эфемерного на свете, за исключением революций, которые они сами же провоцируют. Они страшились бы и революций, не будь они слишком невежественны в истории общества для того, чтобы по-настоящему осознать всю рискованность своего положения. Они не отдают себе отчета в том, что всякая революция до последнего дня кажется безнадежной и немыслимой и только тогда и происходит, когда начинает казаться безнадежной и немыслимой, ибо правители, считающие революцию возможной, заранее принимают меры и пытаются предотвратить ее, управляя разумно. Это приводит к положению, фатальному для политической стабильности, а именно: действия политиков совершенно непредсказуемы. Живи они в страхе господнем, тогда можно было бы прийти к общему согласию относительно того, что́ бог осуждает, и европейские страны могли бы поладить между собой на этой основе. Но теперешняя паника, когда премьер-министры едва дотягивают до очередных выборов, либо азартно воюя, либо отступая перед всяким, кто погрозит им кулаком, делает европейскую цивилизацию немыслимой. [...]

Франция и Англия, через посредство дипломатических чиновников, заключили оборонительный пакт с Россией против Германии. Германия объединилась против них с Турцией, и два этих противоестественных и самоубийственных союза обрушились друг на друга в войне более истребительной, чем любая война со времен Тимура, тогда как Соединенные Штаты оставались в стороне до тех пор, пока это было возможно, а прочие государства либо тоже не вмешивались, либо вступали в схватку под действием силы, подкупа — или же собственных расчетов, сосредоточенных на том, где им посчастливится урвать самый жирный кусок. В настоящий момент, несмотря на то, что непосредственные военные действия прекращены вследствие капитуляции Германии на условиях, о которых победители не смели и помышлять, блокада и голод, вынудившие ее к капитуляции, и сейчас остаются средством массового уничтожения. Между тем совершенно ясно, что, если побежденные страдают от голода, победителей ждет та же участь, и Европа покон-

чит со своими проблемами, придя не к банкротству, но к полному хаосу.

Все происшедшее, как легко заметить, было по существу своему ничем иным, как идиотической попыткой каждой из воюющих сторон гарантировать себе преимущества сильнейшего в процессе Отбора Силой Обстоятельств. Если бы западные державы избрали своих союзников в духе Ламарка – разумно, с ясным пониманием цели и всех жизненно важных задач, ad majorem Dei gloriam,[1] *как те, кого Ницше называл хорошими европейцами, тогда для создания Лиги Наций не потребовалось бы войны. Но поскольку ожидаемый отбор опирался на сугубо оппортунистическую основу и заключенные альянсы являлись очевидными браками по расчету, последствия их оказались не просто хуже худого, но превзошли все наихудшие опасения самого безнадежного пессимиста.*

ОТБОР СИЛОЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В ФИНАНСОВОЙ ОБЛАСТИ

Чем все это кончится, нам еще не известно. Когда лошадь падает жертвой волчьей стаи, хищники дерутся между собой за лучшие куски. Люди ничем не лучше волков, если не обладают более высокими принципами: таким образом, можно сказать, что заключение перемирия вовсе не избавило нас от войны. Цареубийцы из сербов толкнули нас в пучину мировой войны точно так же, как какой-нибудь предприимчивый землекоп потехи ради натравливает щенка на кошку. Спасти нас от продолжения этой войны не в состоянии даже высокий престиж Лиги Наций со всеми ее победоносными легионами, хотя нам все это до смерти надоело и давно стало ясно, что ничего подобного нельзя было допускать. Но мы беспомощны перед грифельной доской, испещренной цифрами национальных долгов. Ввиду отсутствия наличных денег для их оплаты (они ведь ушли на военные нужды, так как для войны требуются деньги на бочку), самым разумным было бы стереть эти цифры с доски и позволить пререкающимся сторонам распределить все доступные им средства согласно здравому коммунистическому принципу: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но у нас больше не осталось принципов, даже коммерческих: ибо коммерсант, который пребывает в здравом уме и твердой памяти, не допустит, чтобы Франция платила за свои неудачи

[1] К вящей славе божьей *(лат.)*.

в защите собственной территории, а Германия избежала расплаты за успешное вторжение на землю противника. Германия, не располагающая необходимыми для этого средствами, для изыскания таковых в условиях нашей коммерческой системы либо должна снова соперничать с Англией и Францией, чего ни одна из этих стран не допустит, либо должна делать займы у Англии, Америки или той же Франции. При таком решении вопроса кредиторы-победители будут платить друг другу в ожидании возврата собственных денег до тех пор, пока Германия не окрепнет настолько, чтобы отказаться от платы, или же не будет безнадежно разорена. Тем временем в России, где люди довольствуются сушеной воблой и тарелкой пустых щей в день, власть перешла в руки деятелей, которые понимают, что материалистический коммунизм во всех отношениях эффективнее материалистического нигилизма, и, в стремлении к разумному и упорядоченному развитию, самым решительным образом практикуют Преднамеренный Отбор трудящихся, более способных, по их убеждению, к выживанию, чем тунеядцы. Между тем западные державы плывут по течению, сталкиваясь друг с другом и разбиваясь о прибрежные скалы, в надежде на то, что такой путь сам собой приведет к Естественному Отбору наиболее приспособленных к выживанию. [...]

Когда, подобно русским, наши нигилисты, под грубым давлением растущей заработной платы, которая, однако, никак не успевает за ростом цен, начнут наконец понимать, что Естественный Отбор предназначает их к уничтожению, они, быть может, припомнят, что пустая голова никому не помогла, и обратят свои помыслы к религии. Цель этой книги в том и заключается, чтобы направить все помыслы по верному пути.

РЕЛИГИЯ И РОМАНТИКА

Именно фальсификация религии романтикой всевозможных чудес, романтикой рая небесного и романтикой камеры пыток приводит к тому, что религия теряет устойчивость под воздействием каждого нового шага вперед в области науки, вместо того чтобы с ее помощью приобретать все большую ясность. Если паренек из английской деревни, которому внушили, что религия — это вера в буквальную истинность рассказов о Ноевом ковчеге и саде Эдема, овладеет ремеслом и попадет в скептически настроенную среду городского пролетариата, то насмешки напарников заставят его призадуматься. И тогда, осознав очевидную нелепость всех этих историй, в которые, как

ему станет ясно, не верит теперь ни один честный священник, этот паренек не обнаружит способности к проведению тонких различий: он прямо заявит, что религия — это сплошное надувательство и что религиозные наставники, школьные и церковные, — лжецы и лицемеры. В зависимости от того, насколько силен в нем голос совести, он возымеет к религии либо полное равнодушие, либо непримиримую ненависть. Если голос совести в нем не очень силен, он возымеет к религии полное равнодушие, если очень силен — непримиримую ненависть.

Такой же протест против бессмысленно лживого обучения постоянно наблюдается среди людей свободных профессий, занятых на досуге чтением и интеллектуальными спорами. Они изгоняют из своих домов Библию и подчас навязывают своим несчастным детям невыносимо скучные этические трактаты рационалистского толка или же принуждают злополучных отпрысков часами просиживать на лекциях секуляристов (я сам читал много таких лекций), которые докучают им гораздо дольше, чем по современному обычаю может себе позволить священник в церкви. Наши умы столь решительно склонились в пользу логически доказуемых теорем и наглядно демонстрируемых физических и химических явлений, что мы стали неспособны воспринимать метафизические истины. Мы пытаемся избавиться от неправдоподобной и глупой лжи с помощью лжи правдоподобной и умной, призывая сатану для изгнания сатаны и тем самым все больше оказываясь в его когтях. Таким образом, если мир не лишился разума, мы обязаны святым меньше, чем громадной массе равнодушных и бездеятельных. [...]

Но равнодушие не приведет человечество по дороге цивилизации к установлению истинного Града Божьего. Равнодушный государственный деятель — это логическая несообразность, а государственный деятель, равнодушный из принципа, приверженец доктрины невмешательства и примиренчества, заварит такую кашу, которой нам не расхлебать. Религия необходима нашим государственным деятелям как воздух — и, поскольку избирателями стали все, кто достиг взрослого возраста, такая религия должна поддаваться популяризации. Мысль, впервые высказанная Миллями: «Бога не существует, но это фамильная тайна» — и долго замалчивавшаяся аристократическими политиками и дипломатами, теперь бесполезна. Послевоенное возрождение цивилизации с помощью искусственного дыхания неосуществимо: теперь совершенно необходима движущая сила единодушного одобрения. Снискать его можно только при условии, что государственные деятели будут апеллировать к жизненно важным инстинктам людей на языке всеобщей религии.

Успех пропагандистской кампании «Кайзера на виселицу» во время последних всеобщих выборов продемонстрировал ужасающую эффективность близорукой демагогии, использующей всеобщее неверие. И всеобщее неверие приведет цивилизацию к гибели, если всеобщему неверию не противопоставить всеобщую религию.

ОПАСНОСТЬ РЕАКЦИИ

Однако здесь возникает опасность, что, осознав все это, мы поведем себя точно так же, как и полвека назад: в ужасе бросимся назад к прежним суевериям, подобно тому, как в беньяновском «Пути паломника» поступил Покорный, которого Христианин погрузил в Пучину Отчаяния. Мы кинулись из огня да в полымя, где нам стало до того жарко, что мы вот-вот кинемся обратно. История человечества отмечает в духовной активности масс преимущественно панические метания от ошибочных утверждений к ошибочному отрицанию и обратно. Поэтому следует со всей четкостью и определенностью заявить, что банкротство дарвинизма отнюдь не означает, что Никтоженька есть Ктоженька, обладающий «плотью, членами и страстями»; что мир сотворен в 4004 году до рождества Христова; что церковное проклятие сулит вечную муку в чане с кипящей серой; что непорочное зачатие кладет на сексуальность печать греха; что Христос партеногенетически произведен на свет девственницей из рода девственниц, восходящего к праматери Еве; что Троица являет собой антропоморфное чудище с тремя головами, хотя голова все же одна; что в Риме хлеб и вино превращаются на алтаре в плоть и кровь, а в Англии, еще более таинственным образом, такое превращение и совершается и не совершается; что Библия — непогрешимое научное руководство, выверенная историческая хроника и исчерпывающий кодекс морали; что можно лгать, мошенничать и убивать, но по воскресеньям очищаться от грехов в крови агнца, возгласив credo и бросив пенни на блюдечко,— и так далее и тому подобное. Цивилизацию не могут спасти ни те, кто настолько неразвит, что верит всем этим нелепостям, ни те, кто настолько чужд религии, что верит, будто религия целиком сводится к такой вере. Этим людям нельзя со спокойной душой доверить воспитание детей. Если вырождающиеся секты, подобные англиканской церкви, римской католической церкви, греческой православной церкви и всем прочим, будут упорствовать в своих попытках втиснуть человеческий разум в тесные рамки чудовищно извращенных природных истин и поэтических метафор, тогда они

должны быть беспощадно изгнаны из школ до тех пор, пока либо погибнут под бременем всеобщего презрения, либо найдут душу живую, скрытую за каждой догмой. Подлинная классовая борьба будет борьбой интеллектуальных классов, и ее завоеванием будут детские души.

ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ ДЛЯ ДОГМЫ

Испытанием догмы служит ее универсальность. До тех пор пока англиканская церковь проповедует особую доктрину, неприемлемую для британских подданных — брахмана, мусульманина, парса и членов всех других сект,— она не имеет законного места в советах британского Содружества наций и остается развратительницей молодежи, угрозой государству и преградой на пути к братству Духа Святого. Сейчас это ощущается сильнее, чем когда бы то ни было,— сейчас, после войны, во время которой церковь не выдержала испытания своей стойкости, продала свои лилии за лавры солдат, награжденных крестом Виктории. Церковь навлекла на себя позор, возглашаемый петухами со всех сторон христианского мира, и от этого позора ее не избавят немногие праведники, обнаруженные даже среди епископов. Пусть Церковь поверит на слово (хотя бы это было моим словом профессионального творца легенд), если она неспособна увидеть истину в собственном свете: никакая догма не может быть легендой. Легенда может преодолеть этнические преграды только в качестве легенды, но не истины, тогда как единственной преградой на пути распространения здравой догмы, как таковой, являются лишь ограниченные духовные возможности тех, кто ее воспринимает.

Сказанное не означает, что мы должны отбросить прочь легенду, притчу и драму: все это — естественные средства выражения догмы, но горе той церкви и тем правителям, которые подменяют догму легендой, историю — притчей и религию — драмой! Уж лучше сразу провозгласить божий престол пустым, чем возводить на него лжеца или невежду. Под именем религиозных войн всегда скрываются войны, не только призванные опровергнуть религию и противопоставить ей легенду, которая провозглашается исторически достоверной и реальной, но и перебить тех, кто отказывается признать эту легенду истинной или реальной. Но кто и когда отказывался радоваться хорошей легенде именно как легенде? Легенды, притчи и драмы относятся к лучшим сокровищам человечества. Никому и никогда не могли наскучить рассказы о чудесах. Тщетно опровер-

гал Магомет приписываемые ему чудеса, тщетно бранил разгневанный Христос тех, кто упрашивал его выступить в амплуа иллюзиониста, тщетно святые провозглашали, что избраны богом не за мощь свою, а за слабость и что смиренные будут возвеличены, а гордые унижены. Людям непременно нужны чудеса, жития, герои и героини, святые, мученики и божества для того, чтобы давать волю своим способностям к любви, восхищению, удивлению и поклонению. Людям нужны иуды и дьяволы для того, чтобы пылать гневом и с отрадой чувствовать справедливость своего гнева. Каждая из этих легенд — общее достояние человечества, и единственное непререкаемое условие для радостного наслаждения ими — не понимать их буквально. Упоенное чтение рыцарских романов наделило Дон Кихота благородством, слепая вера в прочитанное превратила его в безумца, поражавшего мечом ягнят вместо того, чтобы пасти их. В сегодняшней Англии жадно читают религиозные легенды Востока, протестанты и атеисты охотно раскрывают жития святых, тогда как индийцы и римские католики упорно чураются этой духовной пищи. Вольнодумцы зачитываются Библией: кажется, это единственные ее читатели, помимо неохотно всходящих на аналой священников, которые извещают конгрегацию о своем неудовольствии тем, что бормочут текст самым неестественным образом — столь же отталкивающим, сколь и невнятным. И это происходит потому, что навязывание легенд в качестве буквальных истин мгновенно превращает их из иносказания в неправду. Неприязнь к Библии стала, наконец, столь сильной, что образованные люди отказываются возмущать свою интеллектуальную совесть чтением легенды о Ноевом ковчеге с ее забавным началом о тварях и дивной концовкой о голубях. Они не хотят читать даже хроники о царе Давиде, которые, возможно, соответствуют истине — и уж во всяком случае более откровенны, нежели официальные биографии наших современных монархов.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛЕГЕНДАМИ

Итак, прежде всего нам следует собрать легенды воедино и совершенно открыто создать для всего человечества восхитительный запас религиозного фольклора. Освободившись от притворства и обмана, наше сознание способно унаследовать духовное достояние всех вероисповеданий. В Испании почитали бы китайских мудрецов, а в Китае — испанских святых великомучеников. Родитель того мальчишки из Ольстера, который по-дет-

ски влюбляется в деву Марию или бестактно выражает сомнение, каким образом был вечер и было утро первого дня творения, если Бог еще не успел сотворить солнце, не задал бы своему отпрыску изрядную взбучку, а купил бы ему сборник легенд разных народов о сотворении мира и богородицах и был бы донельзя доволен, видя, что мальчишке они столь же интересны, как игра в бабки или в сыщики-разбойники. Во всяком случае, это лучше, чем отбивать у ребенка благие чувства к религии и омрачать его ум внушениями, что пылкие почитатели пречистых дев, будь то в Парфеноне или в соборе святого Петра,— обреченные на геенну огненную язычники и идолопоклонники. Все очарование религии несут в мир сказочники и художники-творцы. Без их вымыслов религиозные истины были бы для большинства невразумительны и недоступны: учителя учительствовали и пророки пророчествовали бы всуе. Людей отвращает от вымыслов только злостное заблуждение, которое принимает вымысел за буквальную истину и религию целиком сводит к вымыслу.

УРОК, ПРЕПОДАННЫЙ ЦЕРКВИ НАУКОЙ

Предложим церкви спросить у себя, почему никто не протестует против математических догм, тогда как против догматов церкви поднят настоящий бунт. Отнюдь не потому, что математические догмы более внятны. Бином Ньютона для заурядного человека столь же непостижим, как и учение о единосущности Бога-отца и Бога-сына Афанасия Александрийского. Наука так же не свободна от легенд, ведовства, чудес и хвалебных жизнеописаний, в которых знахари-шарлатаны изображаются героями и святыми, а жалкие пройдохи — исследователями и первооткрывателями. Напротив, обширная иконография и агиология науки по большей части достаточно неприглядна. Однако ни одному из изучающих науки не внушали, что понятие удельного веса сводится к вере в то, что Архимед выскочил из ванны и побежал голым по улицам Сиракуз с криком «Эврика, эврика!» и что бином Ньютона следует отвергнуть, если будет доказано, что Ньютон никогда в жизни не сидел под яблоней. Когда какой-нибудь на редкость добросовестный и самостоятельно мыслящий бактериолог обнаруживает, что брошюры Дженнера вполне могли быть написаны малограмотной, но пытливой и наблюдательной нянькой и уж никак не могут принадлежать человеку с хорошо тренированным умом научного склада, он не испытывает ощущения, что здание науки рухнуло

и что оспы в природе вообще не существует. Впрочем, можно дойти и до этого, так как гигиена, пробивающая себе дорогу в качестве школьной дисциплины, преподается у нас из рук вон плохо и лицемерно — наряду с религией. Однако в области физики и математики чистота веры соблюдается неукоснительно, и там выбор между доказанными законами и легендами можно сделать в пользу законов, не навлекая на себя подозрения в ереси. Вот почему башня математика стоит незыблемо, в то время как храм священника сотрясается до основания.

РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ

Творческая Эволюция — это уже религия, причем, как теперь совершенно ясно, религия двадцатого столетия, возродившаяся из пепла псевдохристианства, голого скептицизма, из бездушного механистического утверждения и слепого неодарвинистского отрицания. Но эта религия не может стать общедоступной, пока она не обзаведется своими собственными легендами, притчами и чудесами. Но под общедоступностью я не подразумеваю ее доступность для сельских жителей. Она должна быть доступна также и для членов кабинета министров. Бессмысленно ожидать от профессиональных политиков и должностных лиц наставлений и просвещения в области религии. Они ни философы, ни пророки — иначе они не променяли бы философию и проповедничество на нудную рутину государственной деятельности. Сократ и Колридж не остались солдатами — так же, как при всем своем желании не мог оставаться представителем от Вестминстера в палате общин Джон Стюарт Милль. Вестминстерские избиратели обожали Милля: он прямо заявлял им, что они неисправимые лжецы и именно потому так трудно иметь с ними дело. Однако они не проголосовали вторично за человека, осмелившегося сорвать покров лживости, за которым таилась, как им казалось, грозящая им вулканическая пропасть, ибо они не обладали его философским убеждением в том, что истина в конце концов — прочнейшая из опор. Сидящий на передней скамье в парламенте всегда будет эксплуатировать общераспространенную религию или же всеобщее безверие. По неискушенности государственный деятель вынужден принимать религию такой, какая она есть, но прежде он должен с самого детства наслышаться рассказов о ней и в течение всей жизни видеть перед собой религиозную иконографию, созданную искусством писателей, живописцев, скульпторов, зод-

чих и других превосходных художников. Даже если он, как это иногда случается, не только профессиональный политик, но отчасти и метафизик-любитель, он все равно должен придерживаться общепризнанной иконографии, а не опираться на собственные истолкования ее, если таковые не ортодоксальны.

Отсюда ясно, что возрождение религии на научной основе не означает смерти искусства, но, напротив, ведет к его чудесному обновлению. В сущности, искусство только тогда было великим, когда оно создавало иконографию для религии, в которую верили. И никогда не заслуживало оно большего презрения, чем тогда, когда подражало иконографии, выродившейся в предрассудок религии. Итальянская живопись от Джотто до Карпаччо целиком религиозна, но это по-настоящему великое искусство, глубоко трогающее нас. Сопоставьте эту живопись с попытками наших художников прошлого века сравняться со старыми мастерами путем подражания, между тем как им следовало иллюстрировать свою собственную веру. Всмотритесь, если у вас хватит на то терпения, в унылую мазню Хилтона и Хейдона, знавших неизмеримо больше об анатомии, о рисунке, о грунтовке, о лессировке, о перспективе и о «дивном сокращении перспективы», чем Джотто, которому они, однако, в подметки не годились. [...]

Во времена Бетховена назначением искусства считалось возвышенное и прекрасное. В наши дни искусство впало в подражательность и чувственность. И тогда, и сейчас в большом ходу было прилагательное «страстный», однако в восемнадцатом веке страстность означала неудержимое стремление самого возвышенного свойства: например, страстное увлечение астрономией или страстные поиски истины. Для нас страстность стала обозначать похоть и ничего больше. К европейскому искусству можно обратиться с теми же словами, какие Антоний произнес над телом Цезаря:

Ужели слава всех побед, триумфов
Здесь уместилась?

На самом деле здесь уместилось все европейское сознание, всецело поглощенное весенней генеральной уборкой с целью избавиться от хлама своих предрассудков и подготовить себя к новому понятию об Эволюции.

Сценой (и тут я наконец приближаюсь к своему прямому делу) владела Комедия, искусство уничтожающее, высмеивающее, критикующее и отрицающее,— владела и тогда, когда героическая Трагедия уже прекратила свое существование. Наши комедиографы, от Мольера до Оскара Уайлда, даже если им нечего было сказать в положительном смысле, по крайней мере протестовали против обмана и лицемерия — и не столько стремились, как они заявляли, «исправлять нравы насмешкой», но и, говоря словами Джонсона, очищали наши умы от притворства. Тем самым, сталкиваясь с заблуждениями, они били тревогу, а это и служит вернейшим признаком интеллектуального здоровья. Между тем имя Трагедии самозванно присвоили себе пьесы, в последнем акте которых убивают всех героев, точно так же, как, вопреки Мольеру, пьесы, в последнем акте которых все шли под венец, стали называться комедиями. Ныне принадлежность к жанру трагедии или комедии не определяется предписанной концовкой пьесы. Шекспир создавал «Гамлета» не ради кровавой резни под занавес, а «Двенадцатую ночь» — не ради бракосочетаний в последнем акте. Однако Шекспир не мог стать сознательным иконографом какой-либо религии, поскольку никакой осознанной религии у него не было. Поэтому ему пришлось упражнять свой редкостный природный дар в весьма занимательном искусстве подражания и дать нам образцы прославленного изображения характеров, благодаря чему его пьесы, наряду с романами Скотта, Дюма и Диккенса, доставляют нам такое наслаждение. Помимо того, Шекспир обнаружил примечательное умение (впрочем, довольно сомнительное): он спасал нас от отчаяния, облекая жестокости природы в шуточную форму. Но, несмотря на все его таланты, факт остается фактом — Шекспир так и не нашел в себе вдохновения для оригинальной пьесы. Он подновлял старые пьесы, либо переделывал для сцены популярные сюжеты или главы из исторических хроник Холиншеда и «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха. Со всем этим он справлялся (а иногда и не справлялся, ибо в алгебре искусства есть свои отрицательные величины) с безрассудной отвагой, которая свидетельствует о том, как мало профессиональные вопросы беспокоили его совесть. Верно то, что Шекспир никогда не заимствует характеры из своего источника (для него было гораздо проще и занятней создавать характеры заново); тем не менее он в своих, по сути, гуманных творениях без стеснения нагромождает убийства и злодеяния, взятые из старого сюжета, нимало не заботясь об их иной раз

полной неуместности. Однако его внутренняя потребность в философии постоянно толкала его на поиски, подсказавшие ему своеобразный профессиональный прием — персонажи его пьес оказываются философами. Этим персонажам, однако, толком сказать со сцены было нечего: все они — только пессимисты и насмешники, и все их случайные, псевдофилософские речи (такие, как монолог о семи возрастах человека или монолог о самоубийстве) обнаруживают, как далек был Шекспир от понимания истинной сущности философии. Он занял место среди величайших драматургов мира, ни разу не вторгнувшись в ту область, в которой доказали свое величие Микеланджело, Бетховен, Гете и афинские трагические поэты. Он вообще не был бы великим, если бы его религиозного чувства не было достаточно, чтобы осознать, какое отчаяние подстерегает человека нерелигиозного. Его великолепный «Король Лир» оказался бы заурядной мелодрамой, если бы там не звучало недвусмысленное признание: ежели к словам Гамлета о вселенной нечего больше добавить, тогда

Как мухам дети в шутку,
Нам боги любят крылья обрывать.

Со времен Шекспира драматурги продолжают преодолевать тот же недостаток религиозного чувства, и многим из них пришлось стать в своих пьесах попросту сводниками или поставщиками сенсаций. Даже если они помышляли о чем-то высоком, они не могли найти лучших тем. Эпоха от Конгрива до Шеридана оказалась настолько бесплодной, что наследие драматургов тех лет, несмотря на их остроумие, несопоставимо с творческой продукцией одного Мольера. Все они — и не без основания — стыдились своей профессии и предпочитали слыть обыкновенными светскими людьми, у которых есть, правда, конек несколько подозрительного свойства. В этом аду один только Голдсмит спас свою душу.

Ведущие драматурги моего поколения (ныне ветераны) ухватились за мелкие социальные проблемы, лишь бы не писать исключительно ради денег и славы. Один из них в разговоре со мной выразил зависть к драматургам Древней Греции, от которых афиняне требовали не бесконечного повторения под маской новизны и оригинальности полудюжины избитых сюжетов современного театра, но глубоко поучительного урока, который они могли извлечь из всем известных священных легенд своей родины. «Давайте,— сказал он,— создадим нашу Электру, нашу Антигону, нашего Агамемнона и покажем, на что мы способны». Однако сам он не создал ничего подобного, так как ле-

легенды о божествах лишились религиозной сущности: Афродита, Артемида и Посейдон мертвее собственных статуй. Второй драматург, в совершенстве владеющий всеми ухищрениями британского фарса и парижской драмы — и потому занимающий в данном жанре господствующее положение, в конце концов пришел к тому, что никак не мог обойтись без проповеди, однако для своих проповедей не подыскал ничего лучшего, чем лицемерные выкладки притворного пуританства и матримониальных расчетов, заставляющих наших молодых актрис заботиться о своей репутации не меньше, чем о цвете лица. Третий, обладавший слишком нежной душой для того, чтобы сломить наш дух под тяжестью реальных жизненных испытаний, отыскивал мечтательный пафос и изящные забавы в туманной волшебной стране, которая отделяла его от пустых небес. Гиганты современного театра Ибсен и Стриндберг несли миру еще меньшее утешение, чем мы, — даже гораздо меньшее, ибо не владели шекспировско-диккенсовской способностью смеяться над собственными несчастьями — способностью, точно обозначенной словами «комическая разрядка». Наши юные эмансипированные преемники презирают нас — и по заслугам. Однако им не продвинуться ни на шаг вперед, пока драма остается доэволюционистской. Пусть они поразмыслят над таким великим исключением, как Гете. Не превосходя по силе драматургического таланта Шекспира, Ибсена, Стриндберга, он вознесен в эмпиреи, в то время как они во прахе скрежещут зубами в бессильном гневе — или в лучшем случае находят едкое наслаждение в иронии своего безвыходного положения.

Гете — олимпиец, прочие титаны инфернальны во всем, кроме своей правдивости и ненависти к безрелигиозности их эпохи — и поэтому исполнены самого горького разочарования и безнадежности. Дело отнюдь не в простой хронологии. Гете был эволюционистом в 1830 году; многие драматурги молодого поколения не затронуты Творческой Эволюцией даже в 1920-м. Ибсен проникся дарвинизмом до такой степени, что отводил наследственности такую же роль на сцене, какую афинские трагики отводили Эвменидам, однако в его пьесах нет ни следа веры в Творческую Эволюцию или хотя бы представления о ней как о современном научном факте. Верно, что поэтическое вдохновение обнаруживает себя в его «Кесаре и галилеянине», но одна из особенностей Ибсена заключалась в том, что ничто не было для него весомей науки. Отрекшись от утопических мечтаний и видений будущего, которые его римский пророк называет Третьей империей, он вступил в ожесточенную схватку с действительностью в своих пьесах на современные темы, ими он

покорил Европу и вышиб пыльные стекла в окнах всех закоснев-ших в застое европейских театров от Москвы до Манчестера.

МОЙ СОБСТВЕННЫЙ ВКЛАД

В моей собственной драматургической деятельности я нашел такое положение дел нетерпимым. Театральная мода предписывала только одну серьезную тему — тайный адюльтер; скучнейшую из всех тем для серьезного автора, какой бы она ни казалась публике, читающей в газетах судебную хронику, обозрения и передовые статьи. Я перебрал все темы — трущобы, теории свободной любви (псевдоибсенизм), проституцию, милитаризм, брак, историю, современную политику, христианство, национальный и индивидуальный характер, парадоксы светского общества, погоню за мужьями, вопросы совести, профессиональные заблуждения и обманы — и создавал комедии нравов по классическому образцу. Такие комедии в то время были совсем не в моде, поскольку механические приемы парижского стандарта были de rigueur[1] в театре. Хотя работа увлекала меня и утвердила в профессиональном отношении, однако я не стал иконографом современной религии и не реализовал своего природного назначения как художник. Я отчетливо понимал это, так как всегда был убежден в том, что для цивилизации наличие религии — вопрос жизни и смерти. По мере развития концепции Творческой Эволюции мне стало ясно, что мы наконец-то оказались на пороге веры, удовлетворяющей главному условию всех религий, которые когда-либо исповедовались человечеством: такая вера прежде всего должна научно опираться на знание метабиологии. Это был решающий момент в моей жизни: я увидел, как библейский фетишизм, устоявший под огнем рационалистских батарей Юма, Вольтера и других, рушится под стремительным натиском гораздо менее одаренных эволюционистов единственно потому, что они дискредитировали Библию как биологический документ, с этой минуты потерявший силу и оставивший грамотный христианский мир на произвол безверия. Моя собственная ирландская выучка в духе восемнадцатого столетия позволяла мне верить только тому, о чем я мог составить себе представление в виде научной гипотезы. Однако шарлатанство, мошенничество, продажность, легковерие, невежество, низость научного клана и наглая ложь и проповеднические претензии псевдоученых торговцев целительными снадобья-

[1] Обязательны *(франц.)*.

ми, усердно насаждаемые современным средним образованием, были столь чудовищны, что приходилось подчас проводить различие между словами науки и знанием, дабы не ввести читателей в заблуждение. Но я никогда не забывал, что без знания даже мудрость более опасна, чем простое оппортунистическое невежество, и что кто-то должен основательно приняться за сад Эдема и выполоть в нем все сорняки.

Итак, в 1901 году я обратился к легенде о Дон Жуане в ее моцартианской форме и превратил ее в драматическую притчу о Творческой Эволюции. Но, будучи тогда в расцвете своих способностей, я, от избытка изобретательности, разукрасил ее слишком блестяще и щедро. Я облек легенду в комедийную форму, и она составила всего один акт, действие которого происходило во сне и никак не влияло на развитие основного сюжета. Этот акт легко было изъять из текста и играть отдельно от пьесы: по сути дела, всю пьесу целиком едва ли можно было поставить ввиду ее огромных размеров, хотя этот подвиг неоднократно совершался в Шотландии мистером Эсме Перси, который возглавлял тогда один из самых отчаянных отрядов передовой драмы. Я также сопроводил печатное издание пьесы внушительным обрамлением, включающим предисловие, приложение под названием «Справочник революционера» и заключительный фейерверк афоризмов. Произведенный эффект оказался, видимо, столь головокружительным, что никто не заметил новой религии, возвещенной посреди всего этого интеллектуального водоворота. Ныне я торжественно заявляю, что выкидывал все эти умственные коленца вовсе не из безудержной расточительности: я боролся с самой скверной из ходячих условностей театральной критики того времени, убежденной в том, что интеллектуальной серьезности на сцене нет места, что театр — это вид поверхностного развлечения, что люди приходят туда по вечерам для того, чтобы их успокаивали после непосильного умственного напряжения городского рабочего дня. Короче говоря, считалось, что драматург — это человек, задача которого изготовлять из дешевых эмоций вредные сласти. Вместо ответа я выставил все мои интеллектуальные товары на витрине под вывеской «Человек и сверхчеловек».

Мой замысел отчасти оправдал себя: благодаря моей удачливости и удачной игре актеров пьеса одержала на сцене полную победу, а книга много обсуждалась. С тех пор кондитерский взгляд на театр оказался не в моде, и сторонники его были вынуждены встать в позу интеллектуалов. Такая поза — часто еще более раздражающая, нежели прежняя интеллектуальная нигилистическая вульгарность, по крайней мере признает до-

стоинство театра, не говоря уж о полезности тех, кто зарабатывает себе на хлеб, занимаясь театральной критикой. Молодые драматурги не только серьезно относятся к своему искусству, но и их самих также принимают всерьез. Критик, которому лучше бы продавать на углу газеты, попадается теперь сравнительно редко.

Ныне я чувствую себя вдохновленным на создание второй легенды о Творческой Эволюции, освобожденной от неуместных дивертисментов и украшений. Мое время подходит к концу, красноречие 1901 года превратилось к 1920 году в старческую словоохотливость, а недавняя война послужила суровым предупреждением, что в этих вопросах шутить больше нельзя. Я оставляю легенду о Дон Жуане с ее эротическими ассоциациями и возвращаюсь к легенде о саде Эдема. Я использую в своих интересах извечную тягу к поискам философского камня, наделяющего человека бессмертием. Я надеюсь, что заблуждаюсь не более, чем это свойственно человеку, относительно несовершенств моей попытки создать Библию Творческой Эволюции. Я делаю все, на что способен в моем возрасте. Силы мои убывают, но это только на руку тем, кто находил меня невыносимо блистательным, когда я был в расцвете таланта. Я надеюсь, что сотни более изящных и искусных иносказаний выйдут из молодых рук и вскоре оставят мою притчу далеко позади, как религиозные полотна пятнадцатого столетия оставили далеко позади первые попытки ранних христиан создать свою иконографию. С этой надеждой я удаляюсь и подаю звонок к поднятию занавеса.

Часть I

В НАЧАЛЕ

Эдемский сад. Середина дня. Спрятав голову в густых зарослях чернобыльника и обвив бесконечными на вид кольцами уже довольно высокое и ветвистое дерево (дни творения длились дольше, чем мы полагаем), спит огромная Змея. Если не знать, что она здесь, различить ее невозможно: у Змеи идеальная зелено-бурая защитная окраска. Рядом с ее головой, под чернобыльником, виднеется невысокая скала.

Скала и дерево стоят у оврага, на дне которого лежит лань с переломанной шеей. Опершись о скалу рукой и не замечая змеи слева от себя, Адам с ужасом смотрит на мертвое животное. Потом поворачивает голову направо и возбужденно кричит.

Адам. Ева! Ева!

Голос Евы. Что тебе, Адам?

Адам. Беги сюда. Да поскорей. Здесь что-то стряслось.

Ева *(вбегая)*. Что? Где?

Адам указывает на лань.

Ой! *(Приближается к трупу.)*

Адам, осмелев, следует за ней.

Что у нее с глазами?

Адам. Не с одними глазами. Вот, посмотри. *(Толкает труп ногой.)*

Ева. Ой, не надо! Почему она не просыпается?

Адам. Не знаю. Но она не спит.

Ева. Не спит?

Адам. Потрогай сама.

Ева *(тормоша лань и пытаясь ее перевернуть)*. Она совсем закоченела.

Адам. Теперь ее уже не разбудишь.

Ева. А запах какой противный! Фу! *(Отряхивает руки и отходит в сторону.)* Она такая и была, когда ты ее нашел?

Адам. Нет. Она тут играла, а потом споткнулась, упала вниз головой и больше не двигается. У нее шея сломана. *(Наклоняется, приподнимает голову лани и показывает Еве.)*

Ева. Не трогай ее! Отойди!

Оба отступают на несколько шагов, глядя на лань с возрастающим отвращением.

Адам!

Адам. Что?

Ева. А если бы споткнулся и упал ты, с тобой было бы так же?

Адам. Брр! *(Вздрогнув, садится на выступ скалы.)*

Ева *(бросается на землю и обнимает его колени)*. Будь осторожен. Обещай, что будешь осторожен.

Адам. Стоит ли? Здесь нам с тобой жить вечно. А ты понимаешь, что это значит — вечно? Рано или поздно я оступлюсь и упаду. Когда — не знаю: может быть, завтра; может быть, через столько же дней, сколько листьев в саду или песчинок у реки. Но я все равно забуду осторожность и оступлюсь.

Ева. Я тоже.

Адам *(трепеща)*. Нет, нет! Я же останусь один. Навсегда один. Тебе нельзя оступаться. Ты не должна рисковать. Больше ты не двинешься с места. Я буду заботиться о тебе, приносить все, что нужно.

Ева *(пожимает плечами, отворачивается и обхватывает руками колени)*. Мне это быстро надоест. Кроме того, если упадешь ты, я все равно останусь одна и не смогу сидеть на месте. Значит, в конце концов меня ждет такая же участь.

Адам. И что тогда?

Ева. Тогда нас больше не будет. Останутся лишь четвероногие, птицы и змеи.

Адам. Так не должно быть.

Ева. Да, не должно, но так может быть.

Адам. Нет. Говорю тебе: так не должно быть. Я знаю: так не должно быть.

Ева. Мы оба это знаем. Только вот откуда?

Адам. В саду слышен голос. Он рассказывает мне разные вещи.

Ева. Порой в саду слышно много голосов, и все они внушают мне разные мысли.

Адам. Я слышу только один голос. Он звучит очень тихо, но так близко, словно это я сам шепчу. Его не спутаешь ни с чем — ни с голосом животных, ни с голосом птиц, ни с твоим.

Ева. Странно! Я слышу голоса со всех сторон, а ты — лишь изнутри? Зато у меня есть свои собственные мысли, а не

только те, что внушены голосами. Мысль о том, что мы не можем не быть, родилась во мне самой.

Адам *(с отчаянием)*. И все-таки нас не станет. Мы упадем, как эта лань, и свернем себе шею. *(Встает и беспокойно расхаживает взад и вперед.)* Я не в силах примириться с этой мыслью. Я не желаю так думать. Повторяю тебе, этого не должно быть. Я только не знаю, как этому помешать.

Ева. У меня точно такое же чувство. Странно одно: почему именно ты заговорил об этом. Тебе не угодишь: ты так часто меняешь свое мнение!

Адам *(вспыхивая)*. Зачем ты так говоришь? Когда это я менял свое мнение?

Ева. Ты уверяешь, что мы не можем не быть. Но ведь ты так часто жалел о том, что нам предстоит жить всегда, жить вечно. Бывают дни, когда ты целыми часами молчишь, думаешь о чем-то своем и в глубине души ненавидишь меня. Когда же я спрашиваю, чем я тебя обидела, ты отвечаешь, что думаешь не обо мне, а о том, как страшно жить вечно. Но я-то отлично знаю, что у тебя на уме: тебе страшно вечно жить здесь и со мной.

Адам. Ах вот что ты вбила себе в голову! Нет, ошибаешься. *(Опять садится, мрачно.)* Мне страшно всегда жить наедине с самим собой. Тебя я люблю, себя – нет. Мне хочется быть иным, лучшим, чем сейчас, хочется вновь и вновь начинать все сначала, меняясь, как змея меняет кожу. Я сам себе надоел. И тем не менее вынужден оставаться самим собой не день, не месяц, а всегда. Мысль об этом ужасает меня. Вот почему я бываю таким задумчивым, молчаливым, злым. А тебе это никогда не приходило в голову?

Ева. Нет, я не думаю о себе. Зачем? Я – то, что я есть, и этого не изменишь. Я думаю о тебе.

Адам. Вот и напрасно. Ты вечно шпионишь за мной. Не даешь мне побыть одному. Тебе вечно надо знать, чем я занят. Это невыносимо. Постарайся жить своей жизнью, а не беспокоиться о том, как живу я.

Ева. Ты сам вынуждаешь меня к этому. Ты лентяй и грязнуля, ты не следишь за собой и вечно о чем-то мечтаешь. Если я перестану присматривать за тобой и опекать тебя, ты начнешь есть всякую дрянь и дойдешь невесть до чего. Но мои заботы ни к чему не приведут: в один прекрасный день ты вот так же свалишься вниз головой и умрешь.

Адам. Умру? Что это значит?

Ева *(указывая на лань)*. Станешь таким же, как она. Я называю это «умереть».

Адам *(встает и медленно приближается к трупу)*. С ней происходит что-то непонятное.

Ева *(следуя за ним)*. Ой! Она превращается в белых червячков.

Адам. Это невыносимо. Брось ее в реку.

Ева. Мне страшно к ней притронуться.

Адам. Тогда, как мне ни противно, это сделаю я. Иначе она весь воздух отравит. *(Хватает лань за ноги и, стараясь держать труп подальше от себя, уносит его туда, откуда явилась Ева.)*

Ева провожает его глазами, затем, вздрогнув от омерзения, садится на скалу и погружается в задумчивость. Тело Змеи становится видимым, теперь оно переливается новыми изумительными красками. Змея медленно поднимает голову из зарослей чернобыльника и с неожиданно чарующей мелодичностью шепчет Еве на ухо.

Змея. Ева!

Ева *(испуганно)*. Кто здесь?

Змея. Это я. Я пришла показать, какой у меня красивый новый гребень. Гляди. *(Распускает ослепительный аметистовый гребень.)*

Ева *(восхищенно)*. Ах! Но у кого ты научилась говорить?

Змея. У тебя и Адама. Я ползала за вами, прячась в траве, и слушала вас.

Ева. Ты поступила на редкость умно.

Змея. Еще бы! Я самая хитрая из всех полевых тварей.

Ева. Какой дивный у тебя гребень! *(Гладит гребень, лаская Змею.)* Прелесть моя! Ты любишь свою крестную мать Еву?

Змея. Обожаю. *(Раздвоенным языком лижет ей шею.)*

Ева *(продолжая ласкать ее)*. Ах ты моя милая, моя ненаглядная змейка! Теперь Ева больше не одинока: она может разговаривать со своей змейкой.

Змея. Со мной можно о многом поговорить: я очень мудра. Это я нашептала тебе слова, которых ты не знала,— мертвый, смерть, умирать.

Ева *(вздрогнув)*. Зачем ты об этом? Увидев твой дивный гребень, я разом забыла обо всех неприятностях. Не напоминай мне о них.

Змея. Смерть может и не быть неприятностью – нужно лишь научиться побеждать ее.

Ева. Разве ее можно победить?

Змея. Да, можно – с помощью того, что называется рождением.

Ева. Как? *(Силясь выговорить.)* Рож... рождение?

Змея. Да, рождение.

Ева. А что это такое?

Змея. Змея не умирает. Вот увидишь: наступит день, я сброшу с себя свою прекрасную кожу и стану новой змеей, с новой, еще более прекрасной кожей. Это и называется рождением.

Ева. Я это уже видела. Очень красиво.

Змея. Если я могу даже это, значит, я могу все. Повторяю тебе: я очень хитра. Я не раз слышала, как вы с Адамом спрашиваете друг друга: «Почему?» Верно – почему. Вы видите что-нибудь и задаете себе вопрос: «Почему?» А я придумываю такое, чего никогда не было, и говорю: «Почему бы нет?» Я изобрела слово «мертвый» и назвала так старую кожу, которую сбрасываю, обновляясь. Обновляться же и значит родиться.

Ева. Родиться! Красивое слово.

Змея. Так почему бы тебе не рождаться опять и опять, столь же новой и красивой, как я?

Ева. Мне-то? Да потому, что так не бывает.

Змея. Из этого не следует, что так не может быть. Ты ответь: почему бы нет?

Ева. Мне это и не понравилось бы. Не спорю, стать совсем новой очень приятно. Но ведь когда моя старая оболочка упадет на землю, Адаму будет казаться, что это я. Он увидит, как она съеживается, и...

Змея. Не увидит. Ему вовсе не надо это видеть. Рождаться можно и по-другому.

Ева. Как по-другому?

Змея. Слушай меня. Я открою тебе великую тайну. Я очень хитра и очень-очень долго думала. К тому же я решительна и уж чего захочу, того добьюсь. А хотелось мне очень и очень сильно. И я стала есть необычную пищу – камешки и те яблоки, которые вы боитесь рвать.

Ева. Ты посмела?..

Змея. Я смею все. В конце концов я научилась накапливать в себе частицы жизни.

Ева. А что такое жизнь?

Змея. То, что отличает мертвую лань от живой.

Ева. Какое дивное слово! И какой изумительный смысл! Жизнь – вот самое чудесное из всех новых слов.

Змея. Верно. Размышляя о жизни, я и обрела способность творить чудеса.

Ева. Чудеса? Еще одно незнакомое слово.

Змея. Чудо – это то, что невозможно и тем не менее возможно. То, что не может произойти и тем не менее происходит.

Ева. Какие же чудеса ты творишь? Расскажи хоть про одно.

Змея. Я накопила в себе частицу жизни и извергла ее в тоненькой белой скорлупке, сделанной из проглоченных камешков.

Ева. И что из этого получилось?

Змея. Я положила скорлупу на самый солнцепек и дала ей прогреться. Потом она лопнула, и на свет выполз крошечный змееныш, который рос день ото дня и, наконец, стал размером с меня. Вот это и значит рождаться по-другому.

Ева. Ах, как замечательно! Во мне тоже что-то движется. И мне больно.

Змея. Я сама от этого чуть не лопнула. Тем не менее, как и прежде, живу, меняю кожу и обновляюсь. Скоро в Эдеме будет змей не меньше, чем чешуек у меня на теле. И тогда смерть станет бессильна. Та или иная змея может умереть, змеи будут жить всегда.

Ева. Но мы-то с Адамом все равно когда-нибудь умрем, как эта лань. И тогда всюду останутся только змеи, одни змеи.

Змея. Этого не будет. Я поклоняюсь тебе, Ева. Я должна чему-то поклоняться. Чему-то такому, что непохоже на меня. Например, тебе. В мире должно существовать нечто более высокое, чем змея.

Ева. Да, этого не будет. Адам не должен погибнуть. Ты очень хитра. Научи же меня, что мне делать.

Змея. Думай, желай, ешь землю, лижи белый камень, отведай яблок, которые боишься рвать. А солнце создаст жизнь.

Ева. Я не полагаюсь на солнце. Я сама создам ее. Я извергну из себя нового Адама, даже если ради этого должна буду разорваться на куски.

Змея. Что ж, дерзай. Возможно все, все. Слушай меня. Я стара. Я – древняя змея, я старше Адама, старше Евы. Я помню Лилит, которая пришла в мир раньше Адама и Евы. Как и ты, она любила меня. Она была одна – с нею не было мужчины. Она увидела, что существует

смерть, как вы убедились в этом на примере упавшей лани, и она поняла, что должна придумать способ обновляться и менять свою оболочку, как это делаю я. У Лилит была могучая воля. Она неотступно желала, неотступно добивалась своего, и так прошло больше месяцев, чем листьев на всех деревьях в нашем саду. Страдания ее были страшны, от ее стонов Эдем лишился сна. Она решила, что это не должно повториться, что муки обновления слишком тяжки и непосильны для одного. И произошло чудо. Когда она сбросила свою оболочку, вместо одной Лилит оказалось две: одна – такая, как она сама; другая – как Адам. Первая стала тобой, вторая – Адамом.

Ева. Но для чего она разделилась пополам и сделала нас разными?

Змея. Я же сказала: труд самообновления непосилен для одного. Его должны делить меж собой двое.

Ева. Выходит, Адам поделит его со мной? Нет, он не согласится. Он не терпит боли, не любит утомлять себя.

Змея. Ему и не придется. Он не изведает страданий. Он только будет умолять, чтобы ты позволила ему участвовать в твоих трудах. И, желая этого, подпадет под твою власть.

Ева. Если так, я это сделаю. Но как? Как Лилит сотворила такое чудо?

Змея. Она вообразила его.

Ева. Что значит «вообразила»?

Змея. Она рассказала мне об этом чуде, словно сказку о том, чего никогда не было с некой иной, никогда не существовавшей Лилит. Тогда она еще не знала, что воображение и есть начало созидания. Ты воображаешь себе то, чего хочешь; ты хочешь того, что вообразила, и в конце концов творишь то, чего хочешь.

Ева. Разве можно создать что-нибудь из ничего?

Змея. Все сущее создается из ничего. Взгляни на свои сильные руки. Видишь, как вздулись на них мышцы? А ведь эти мышцы были у тебя не всегда. Когда я впервые увидела тебя, ты была не в силах влезть на дерево. Но ты хотела и добивалась этого, хотела и добивалась. Твоя воля постепенно создавала из ничего комки мышц на твоих руках, и ты добилась своего: теперь ты можешь подтянуться на одной руке и сесть на сук, который у тебя над головой.

Ева. Это от привычки

Змея. Нет, привычка ничего не создает, она лишь сводит все на нет. Волосы у тебя развеваются по ветру, словно стремясь стать как можно длиннее. Но они не удлиняются от того, что привычно развеваются по ветру, ибо ты не хочешь, чтобы они удлинялись. Когда Лилит поведала мне на нашем беззвучном языке (слов в ту пору еще не было), что́ она вообразила, я дала ей совет желать и добиваться этого. И тогда, на удивление нам обеим, то, чего она желала и добивалась, создалось в ней само собой, по ее воле. После этого я тоже захотела обновиться, стать двумя змеями вместо одной, и через много дней чудо свершилось: кожа моя лопнула, из нее выползли две змеи — я и другая, обвившаяся вокруг меня, и на свете стало два воображения, два желания, две воли, побуждающие творить.

Ева. Хотеть, воображать, добиваться, творить... Слишком много слов. Вырази все это одним словом. Ты же мастерица их изобретать.

Змея. Это слово — зачинать. В нем и начало — воображение, и конец — творчество.

Ева. А теперь найди слово, чтобы обозначить ту сказку, которую Лилит вообразила и поведала тебе на вашем беззвучном языке; сказку, которая была слишком прекрасна, чтобы стать явью, и тем не менее стала ею.

Змея. Поэзия.

Ева. И еще одно слово, чтобы обозначить, кем была мне Лилит.

Змея. Она была тебе матерью.

Ева. Адаму тоже?

Змея. Да.

Ева *(порываясь встать)*. Я пойду и скажу Адаму, чтобы он зачал.

Змея смеется.

(Испуганно вздрогнув.) Что с тобой? Какой противный звук! Никогда не слыхала такого.

Змея. Адам не может зачать.

Ева. Почему?

Змея. Таким уж вообразила его Лилит. У него есть воображение, желание, воля, он может превратить свою жизнь в один мощный порыв к творчеству, он способен на все, кроме одного — творить себе подобных.

Ева. Почему Лилит не дала ему этой способности?

Змея. Потому что, будь у него эта способность, он обошелся бы и без Евы.

Ева. Верно. Значит, зачать должна я?

Змея. Да. И этим ты привяжешь его к себе.

Ева. А себя к нему?

Змея. Да, пока вы не сотворите нового Адама.

Ева. Об этом я не подумала. Ты действительно очень хитра. Но ведь если я сотворю новую Еву, он сможет уйти к ней и обойтись без меня. Нет, я не буду творить Ев. Только Адамов!

Змея. Но Адамы не способны обновляться без Ев. Рано или поздно ты умрешь, как эта лань, и новые Адамы ничего не сотворят без новых Ев. Вообразить такой конец ты, конечно, можешь, желать его — нет; значит, ты не можешь стремиться к нему; значит, ты не можешь творить только Адамов.

Ева. Но если я умру, как эта лань, почему бы не умереть и всем остальным? Какое мне до них дело?

Змея. Жизнь не должна прекращаться. Это — главное, и говорить, что тебе нет до этого дела, — глупо. Тебе есть дело. Именно поэтому работает твое воображение, пламенеют твои желания, укрепляется твоя воля, и ты творишь из ничего.

Ева *(задумчиво)*. Того, что ты называешь «ничто», не может быть. Ведь и сад наш не пуст, а полон.

Змея. Я об этом не подумала. Тебе пришла великая мысль. Ты права: такой вещи, как ничто, не может быть — могут быть только вещи, которых мы не видим. Нам ведь лишь кажется, что хамелеон ест воздух.

Ева. Мне пришла еще одна мысль. Я должна рассказать о ней Адаму. *(Зовет.)* Адам! Адам! Ау!

Голос Адама. Ау!

Ева. Эта мысль понравится ему и вылечит его от приступов меланхолии.

Змея. Не спеши говорить с ним. Я еще не поведала тебе великую тайну.

Ева. Что нового ты можешь мне поведать? Я должна сотворить чудо. Этим все сказано.

Змея. Нет, Адам тоже должен хотеть и добиваться, но не сам, а передав свое желание и волю тебе.

Ева. Передав мне? Как?

Змея. В этом и заключается великая тайна. Но тсс! Вот он.

Адам *(возвращаясь)*. Мне послышался чей-то незнакомый го-

лос. Разве в саду есть другие голоса, кроме наших и вещего голоса?

Ева *(вскакивая и бросаясь к нему)*. Подумай только, Адам! Наша змея слушала-слушала нас и выучилась говорить.

Адам *(восхищенно)*. Правда? *(Подходит к скале и ласкает Змею.)*

Змея *(ласкаясь к нему)*. Правда, милый Адам.

Ева. Адам, у меня есть новость еще удивительней. Нам вовсе не обязательно жить вечно.

Адам *(от волнения выпуская из рук голову Змеи)*. Что? Не шути этим, Ева! О, если бы в один прекрасный день настал конец и все-таки не конец; если бы я избавился от этой муки — всегда выносить самого себя; если бы заботы о нашем ужасном саде легли на плечи другого садовника; если бы сторожу, которого вещий голос приставил к саду, нашлась когда-нибудь замена; если бы отдых и сон, дающие мне силу изо дня в день нести свое бремя, превратились наконец в вечный отдых и вечный сон — тогда я без боязни глядел бы в лицо годам, как бы долго они ни тянулись для меня. О, только бы конец, любой конец! Я слишком слаб, чтобы влачить груз вечности.

Змея. Ты можешь не пережить даже эту зиму, и все-таки конец не наступит.

Адам. Так не может быть.

Змея. Так может быть.

Ева. Так будет.

Змея. Так есть. Убей меня, и завтра же ты найдешь в саду другую змею. Ты найдешь больше змей, чем у тебя пальцев на руках.

Ева. Я сотворю новых Адамов, новых Ев.

Адам. А я вам говорю: перестаньте рассказывать сказки. Так не может быть.

Змея. Я помню время, когда тебя самого тоже не было. Тем не менее теперь ты существуешь.

Адам *(пораженный)*. А ведь правда! *(Садится на скалу.)*

Змея. Я открою тайну Еве, а она поведает ее тебе.

Адам. Тайну? *(Быстро поворачивается к Змее и накалывает себе ногу.)* Ой!

Ева. Что случилось?

Адам *(потирая ногу)*. Чертополох. А рядом с ним терновник. И еще крапива. Как мне надоело выпалывать их ради того, чтобы в нашем саду всегда было приятно!

Змея. Эти сорняки растут не так уж быстро. Во всяком случае, прежде чем они заполонят сад, ты успеешь сбросить

с плеч свое бремя и навсегда уснуть. Так зачем ты придумываешь себе лишние хлопоты? Пусть новые Адамы сами расчищают место для себя.

Адам. Совершенно справедливо. Но открой же нам свою тайну. Видишь, Ева, как прекрасно, когда не надо жить вечно.

Ева *(недовольно наклоняясь и выпалывая сорняки)*. До чего ж это по-мужски! Стоило тебе узнать, что мы не будем жить вечно, как ты уже рассуждаешь так, словно мы умрем сегодня же. Нет, ты непременно должен понемногу вырывать эти мерзкие колючки, иначе нам придется постоянно смотреть себе под ноги, чтобы не оцарапаться и не наколоться.

Адам. Ну, если понемногу – я не против. Но только понемногу. Я примусь за это завтра.

Змея смеется.

Какие смешные звуки! Они мне нравятся.

Ева. А мне – нет. *(Змее.)* Зачем ты опять издаешь их?

Змея. Адам изобрел кое-что новое. Он изобрел слово «завтра». Теперь, когда с вас снято бремя бессмертия, вы каждый день будете изобретать что-нибудь новое.

Ева. Бессмертие? Что это такое?

Змея. Новое слово. Оно значит жить вечно.

Ева. Змея изобрела красивое слово – жизнь. Оно означает, что мы существуем.

Адам. Придумай еще одно красивое слово, которое значило бы «делать не сегодня, а завтра». Это ведь такое великое и благое открытие.

Змея. Откладывать.

Ева. Приятное слово! Как бы я хотела, чтобы язык у меня был, как у змеи!

Змея. Возможно и это. Возможно все.

Адам *(вскакивает, охваченный внезапной паникой)*. Ох!

Ева. Что еще опять?

Адам. Как называется отдых, избавление от жизни?

Змея. Как? Смерть.

Адам. Значит, в откладывании таится страшная опасность.

Ева. Какая?

Адам. Если откладывать смерть на завтра, я никогда не умру. Завтра – такого дня нет и не может быть.

Змея. Я очень хитра, но человек мыслит глубже, чем я. Женщина знает, что нет такой вещи, как ничто; мужчи-

на – что нет такого дня, как завтра. Я правильно делаю, что поклоняюсь им.

Адам. Если я не хочу упустить смерть, мне надо выбрать не завтра, а точный день. Когда я умру?

Ева. Не раньше, чем я сотворю нового Адама. Вот тогда – как только пожелаешь. *(Встает, обходит Адама сзади, беззаботно идет к дереву и, прислонясь к нему, гладит одно из колец Змеи.)*.

Адам. Даже тогда незачем торопиться.

Ева. Я вижу, ты действительно решил отложить это на завтра.

Адам. А ты? Разве ты хочешь умереть сразу после того, как сотворишь новую Еву?

Ева. Зачем мне умирать? Или тебе не терпится отделаться от меня? Только что ты требовал, чтобы я сидела на месте и не двигалась: ты боялся, что я споткнусь и умру, как лань. Теперь тебе все равно.

Адам. Теперь это уже не так важно.

Ева *(сердито, Змее)*. Смерть, которую ты принесла в наш сад,– скверная штука. Адам хочет, чтобы я умерла.

Змея *(Адаму)*. Ты хочешь, чтобы она умерла?

Адам. Нет. Умереть надо мне. Ева не должна умирать раньше меня, иначе я останусь один.

Ева. Можешь взять себе одну из новых Ев.

Адам. Верно. Но они могут оказаться не совсем такими же, как ты. У них не будет тех же воспоминаний. Они будут мне... Не знаю, как сказать.

Змея. Чужими.

Адам. Вот именно. Чужие! Хорошее, суровое слово.

Ева. Когда появятся новые Адамы и Евы, нам придется жить в нашем саду среди чужих. Тогда мы понадобимся друг другу. *(Быстро подходит к Адаму сзади и поворачивает к себе его лицо.)* Помни это, Адам. Всегда помни.

Адам. С какой мне стати забывать? Я сам первый подумал об этом.

Ева. Я тоже кое о чем подумала. Лань споткнулась, упала и умерла. А ты можешь подкрасться ко мне *(внезапно хватает его за плечи и швыряет ничком на землю)*, сбросить меня вниз, и я умру. Теперь я, наверно, больше не усну, пока не буду знать, что у тебя нет причин умертвить меня.

Адам *(в ужасе вскакивая)*. Умертвить тебя? Какая ужасная мысль!

Змея. Не умертвить, а убить, убить, убить. Вот точное слово.

Е в а. Не буду я творить новых Адамов и Ев. Они, чего доброго, убьют нас. *(Садится на скалу и, обняв Адама правой рукой, усаживает его рядом.)*

З м е я. Будешь, потому что иначе – конец.

А д а м. Нет, они не убьют нас. Они будут чувствовать, как я, а во мне что-то восстает против убийства. Голос в саду запретит им убивать, как запрещает мне.

З м е я. Голос в саду – это твой собственный голос.

А д а м. И да и нет. Его подает нечто более великое, чем я, нечто такое, от чего я лишь часть.

Е в а. Голос не запрещает мне убить тебя. Но я все равно не хочу, чтобы ты умер раньше меня. Не хочу сама, и никакие голоса тут ни при чем.

А д а м *(обняв ее за плечи, с болью)*. Конечно нет. Это ясно без всякого голоса. Нас что-то связывает. Что-то, чему нет названия.

З м е я. Любовь, любовь, любовь.

А д а м. Это слово слишком кратко для такого длительного чувства.

Змея смеется.

Е в а *(раздраженно поворачиваясь к ней)*. Опять этот невыносимый звук! Не издавай его. Зачем ты его издаешь?

З м е я. Смотри, как бы слово «любовь» не оказалось слишком длинным для такого краткого чувства. Впрочем, любовь чем короче, тем слаще.

А д а м *(размышляя)*. Ты сбиваешь меня с толку. Моя прежняя тревога была мучительна, но понять ее было просто. Ты же сулишь чудеса, которые принесут мне дар смерти, но сначала запутают мою жизнь. Раньше меня гнело бремя вечной жизни, но в голове моей все было ясно. Пусть я не знал, что люблю Еву; зато я не знал и того, что она может разлюбить меня, полюбить другого Адама и пожелать мне смерти. Известно ли тебе слово, которое выражает то новое, что я узнал?

З м е я. Ревность, ревность, ревность.

А д а м. Мерзкое слово!

Е в а *(трясет его)*. Перестань ломать себе голову, Адам. Ты слишком много думаешь.

А д а м *(сердито)*. Как же мне не думать, если я потерял уверенность в будущем? Что может быть хуже неуверенности? Неуверенности во всем – в жизни, в любви. Есть ли слово для этого нового несчастья?

З м е я. Страх, страх, страх.

Адам. А знаешь ты лекарство от него?

Змея. Знаю. Надежда, надежда, надежда.

Адам. Что такое надежда?

Змея. Пока тебе не известно будущее, ты не знаешь, что оно окажется не лучше, чем прошлое. Это и есть надежда.

Адам. Для меня это не утешение. Страх во мне сильней, чем надежда. Мне нужна уверенность. *(Поднимается с угрожающим видом.)* Дай мне ее, или я убью тебя, как только застану спящей.

Ева *(обнимая Змею)*. Мою красавицу змею? Нет, нет! Как ты мог дойти до такой ужасной мысли?

Адам. Страх доведет до чего угодно. Его вселила в меня змея. Пусть теперь вселит уверенность или сама живет в вечном страхе передо мной.

Змея. Подчини будущее своей воле. Дай обет.

Адам. Что такое обет?

Змея. Выбери день своей смерти и решись умереть именно в этот день. Тогда ты будешь уверен, что умрешь, и неуверенность перестанет мучить тебя. Заставь Еву дать обет любить тебя до твоей смерти. Тогда ты будешь уверен в любви.

Адам. Верно. Превосходно. Этим я подчиню себе будущее.

Ева *(недовольно отворачиваясь от Змеи)*. Но это разрушит надежду.

Адам *(сердито)*. Помолчи, женщина. Надежда – зло, счастье – зло, уверенность – благо.

Змея. Что такое зло? Теперь ты сам изобрел слово.

Адам. Зло – это то, что я боюсь делать. Слушай меня, Ева. И ты, змея, тоже слушай, чтобы мое обещание запечатлелось в вашей памяти. Я проживу тысячу раз по четыре времени года....

Змея. Тысячу лет, лет.

Адам. Я проживу тысячу лет, а потом больше не выдержу, умру и обрету покой. Все это время я буду любить одну Еву, и никакую другую женщину.

Ева. Если Адам сдержит свое обещание, я до самой его смерти не полюблю другого мужчину.

Змея. Вы вдвоем изобрели брак. Адам будет для тебя тем, чем не будет ни для какой другой женщины, и это называется быть мужем; ты будешь для него тем, чем не будешь ни для какого другого мужчины, и это называется быть женой.

Адам *(непроизвольно протягивая Еве руку)*. Муж и жена.

Ева *(пожимая ему руку)*. Жена и муж.

Змея смеется.

(Отскакивая от Адама.) Кому я сказала? Не смей издавать этот мерзкий звук!

Адам. Не слушай Еву. Звук мелодичен, он радует мне сердце. Ты приятная змея. Но ты еще не дала обещания. Что ты обещаешь?

Змея. Я не даю обетов. Я живу наудачу.

Адам. Наудачу? Что это значит?

Змея. Это значит, что я боюсь всякой уверенности так же, как ты боишься неуверенности. Это значит, что я ни в чем не уверена, ибо уверенности нет и не должно быть. Если я подчиню себе будущее, я подчиню и свою волю. Подчинив же свою волю, задушу творчество.

Ева. Творчество нельзя душить. Повторяю: я буду творить, даже если ради этого мне придется разорваться на куски.

Адам. Молчите вы обе. Я подчиню себе будущее. Я избавлюсь от страха. *(Еве.)* Мы дали обеты, и если ты хочешь творить, твори так, чтобы не нарушать их. Не смей больше слушать змею. Идем. *(Хватает ее за волосы и тащит прочь.)*

Ева. Пусти, дурак. Змея еще не поведала мне тайну.

Адам *(отпуская ее)*. Верно. А что такое дурак?

Ева. Не знаю. Слово само пришло мне на ум. Дурак – это ты, когда забываешь про все на свете и сидишь, ломая себе голову и нагоняя на себя страх. Послушаем-ка лучше змею.

Адам. Нет, я ее боюсь. От ее речей земля словно уходит у меня из-под ног. Останься с ней и выслушай ее сама.

Змея смеется.

Адам *(просветлев)*. Этот звук прогоняет страх. Смешно! Змея и женщина решили посекретничать. *(Отходит, прыснув. Это первый смех в его жизни.)*

Ева. А теперь – тайну! Говори же. *(Садится на скалу и обнимает Змею, та шепчет ей на ухо. Лицо Евы озаряется все более острым любопытством, которое затем уступает место непреодолимому отвращению. Она закрывает лицо руками.)*

Несколько веков спустя. Утро. Оазис в Месопотамии. На переднем плане бревенчатая хижина с прилегающим к ней огородом. Посреди огорода Адам вскапывает землю. Справа от него, в тени дерева, растущего у дверей хижины, сидит на табурете Ева и прядет лен. Прялка ее — большой тяжелый деревянный диск, отдаленно напоминающий колесо. Ева вращает его рукой. С противоположной стороны огород обнесен живой изгородью из терновника; в изгороди сделан проход, заставленный плетнем. На Адаме и Еве бедная, убогая одежда из грубого полотна и листьев. Оба утратили молодость и грацию. Борода у Адама нечесана, волосы подстрижены неровно. Однако супруги еще полны здоровья и сил. Вид у Адама озабоченный, как у всякого земледельца. Ева выглядит повеселей (она ко всему относится легко), но по временам, продолжая прясть, погружается в раздумье.

Мужской голос. Эй, мать!

Ева *(глядя через огород, в сторону плетня)*. Это Каин.

Адам недовольно ворчит, но не поднимает головы и продолжает копать.

В огород, отбросив плетень ногою, входит Каин. Вид, осанка и голос его подчеркнуто воинственны. При нем огромное копье и широкий кожаный щит с медными скрепами. Шлем ему заменяет голова тигра с бычьими рогами. На плечах у него львиная шкура со свисающими когтистыми лапами, поверх нее ярко-красный плащ с золотой застежкой; на ногах — отделанные медью сандалии, на голенях — медные поножи. Воинственно торчащие усы лоснятся от масла. С родителями он высокомерен и в то же время чувствует себя при них несколько неловко, как взбунтовавшийся мальчик, который знает, что он не прощен и что относятся к нему неодобрительно.

Каин *(Адаму)*. Все копаешь? Всегда одно и то же — копай, копай, копай. Далось же тебе это занятие! Вечное топтание на месте, ни новых мыслей, ни приключений. Чем стал бы я, если бы держался за то ремесло, которому ты меня выучил?

Адам. А чем стал ты теперь со своим копьем и щитом, теперь, когда братняя кровь, пролитая тобой, вопиет от земли о возмездии?

Каин. Ты всего лишь первый человек на земле, а я — первый убийца на ней. Первым человеком мог стать кто угодно: это не трудней, чем стать первым кочаном капусты. А вот стать первым убийцей — для этого нужна решимость.

Адам. Вон отсюда! Оставь меня в покое. В мире довольно места, и нам лучше жить врозь.

Ева. Зачем ты гонишь его? Он — мой. Я сотворила его из своего собственного тела и желаю хоть изредка видеть свое творение.

Адам. Ты сотворила и Авеля, а Каин убил его. Как ты можешь смотреть на братоубийцу?

Каин. А кто виноват, что я убил Авеля? Кто изобрел убийство? Я? Нет, сам Авель. Я делал то, чему ты учил меня. Копал, копал и копал. Выпалывал чертополох и терновник. Питался плодами земными. Жил в поте лица своего, как и ты. Я был дурак. Авель же был изобретатель, человек мыслящий и мужественный, настоящий двигатель прогресса. Он узнал, что существует кровь. Он изобрел убийство. Он открыл, что росинка может низвести пламя солнца на землю. Он изобрел жертвенник, чтобы поддерживать огонь. На огне он превращал убитых им животных в мясную пищу и поддерживал ею свою жизнь. Чтобы приготовить обед, ему достаточно было посвятить день веселой и полезной для здоровья охоте да часдругой поиграть с огнем. Ты ничему у него не научился: ты лишь надрывался и копал, копал и надрывался, принуждая меня к тому же. Я завидовал Авелю, его благоденствию и свободе. Я презирал себя за то, что подражаю не ему, а тебе. Он так благоденствовал, что начал делить свою пищу с голосом, который подсказал ему все его изобретения. Авель уверял, что этот голос принадлежит огню, который жарит для него пищу; что если огонь может жарить, он может и есть. Авель говорил правду: я сам видел, как огонь пожирает пищу на его жертвеннике. Тогда я тоже воздвиг жертвенник и положил на него свою пищу: зерно, коренья, плоды. И напрасно: у меня ничего не получилось. Брат посмеялся надо мной, и тут мне пришла великая мысль: почему бы не убить его, как он убивает животных? Я нанес удар, и Авель умер, как умирали животные. Тогда я бросил нескончаемый труд,

которому, как дурак, предавался ты, и стал жить, как жил Авель: охотясь, убивая, поддерживая огонь. Разве теперь я не лучше, чем ты? Не сильней, не счастливей, не свободней?

Адам. Вовсе ты не сильней: ты одышлив и не можешь долго работать. Ты внушил зверям страх перед нами, ты вынудил змею изобрести яд, чтобы защищаться от тебя. Я сам тебя боюсь. Если ты подойдешь к матери еще хотя бы на шаг, я не посмотрю на твое копье и ударю тебя заступом, как ты ударил Авеля.

Ева. Он не ударит меня. Он меня любит.

Адам. Брата он тоже любил. Однако он убил его.

Каин. Я не хочу убивать женщин. Я не хочу убивать свою мать. Ради нее я пощажу и тебя, хотя могу пронзить тебя копьем с такого расстояния, на каком твой заступ не достанет меня. Если бы не мать, я бы наверняка поддался искушению и убил тебя, хоть и побаиваюсь, как бы ты сам меня не убил. Я схватывался насмерть с вепрем и львом. Я бился и с человеком – копье к копью, щит к щиту. Это страшно, но это наслаждение, которому нет равного. Я называю это боем. Кто не бился, тот не жил. Вот почему я пришел сегодня к своей матери.

Адам. Что между вами осталось общего? Она творит, ты разрушаешь.

Каин. Разве мог бы я разрушать, если бы она не творила? Я хочу, чтобы она создала побольше мужчин. И, конечно, побольше женщин, чтобы те, в свою очередь, создали побольше мужчин. Я сочинил блистательную поэму, где действует множество мужчин. Их больше, чем листьев на тысяче деревьев. Я разделю их на два больших войска. Одно поведу я сам, другое – тот, кого я сильнее всего боюсь, с кем сильнее всего жажду схватиться, кого сильнее всего хочу убить. Оба войска стараются перебить друг друга. Представляешь себе? Толпы людей сходятся, сражаются, убивают, убивают. Все четыре реки красны от крови. Торжествующие клики, исступленный рев, отчаянные проклятия, мучительные стоны! Вот настоящая жизнь! Жизнь, волнующая до мозга костей, кипучая, хмельная! Кто не видел, не слышал, не чувствовал, не пережил этого, тот жалкий глупец в сравнении с тем, кто изведал это.

Ева. А как же я? Неужели я всего-навсего орудие для создания людей, которые будут убиты тобой?

Адам. Или убьют тебя, дурак.

Каин. Мать, ты создаешь людей. Это твое право, твой риск, твоя мука, твоя слава. Ради этого ты превратила моего отца в свое, как ты выражаешься, орудие, в простое орудие. Ради тебя он копает, потеет, надрывается, как вол, помогающий ему пахать, или осел, носящий для него тяжести. Но никакая женщина не заставит меня жить так, как живет отец. Я буду охотиться, сражаться, биться, пока мои мышцы не лопнут. Если, рискуя жизнью, я убью вепря, я швырну тушу своей жене и, когда она изжарит мясо, дам ей кусок за труды. Иной пищи у нее не будет, поэтому она станет моей рабыней. А если другой мужчина убьет меня, она достанется ему в добычу. Мужчина должен быть господином женщины, а не ее ребенком или работником.

Адам бросает заступ и угрюмо смотрит на Еву.

Ева. Уж не соблазняет ли тебя такая участь, Адам? Быть может, это лучше, чем наша любовь?

Каин. Что он понимает в любви? Лишь тот, кто сражался, глядел в лицо опасности и смерти, напрягал в схватке последние силы,— лишь тот знает, как сладостен отдых в объятиях любимой женщины. Спроси ту, кого ты произвела на свет и кто стала моей женой, хочет ли она, чтобы я вновь сделался таким, каким был в дни, когда, подражая Адаму, пахал и трудился.

Ева *(сердито отталкивая прялку)*. Что? Ты смеешь расхваливать при мне негодницу Луа, худшую из дочерей и жен? Ты ее господин? Да ты у нее в гораздо большем рабстве, чем вол у Адама или твоя овчарка у тебя самого. Скажите на милость! Он рискует жизнью, убивает вепрей и бросает жене за труды кусок мяса. Как бы не так! Ты думаешь, я не знаю, что такое она и что такое ты, жалкий глупец? Да разве ты рискуешь жизнью, когда ставишь капканы на горностаев, соболей и черно-бурых лис, мехом которых прикрываешь своей лентяйке плечи, так что она походит скорее на зверя, чем на женщину? Разве ты мнишь себя великим воином, когда ловишь в силки безобидных птичек лишь потому, что ей невмоготу жевать честно заработанную пищу? Да, убивая тигра, ты рискуешь собой, но кому достается полосатая шкура, ради которой ты идешь на риск? Твоя жена забирает ее себе и валяется на ней, а тебе бросает вонючую несъедобную тушу. Ты сражаешься, воображая, что Луа восхищается твоими подвигами и вожделеет к тебе. Глупец!

Она гонит тебя в бой для того, чтобы ты отдавал ей украшения и драгоценности тех, кого ты убиваешь, чтобы те, кто боится тебя, заискивали перед ней и задабривали. ее золотом. Ты коришь меня тем, что я превратила Адама в простое орудие, но я пряду, веду хозяйство, рожаю и ращу детей, ибо я женщина, а не избалованная кошка, которая ластится к мужчинам и вырывает у них добычу. Что ты такое, как не раб размалеванного лица и связки скунсовых шкурок? Когда я родила тебя, ты был мальчик как мальчик; когда я родила Луа, она была девочка как девочка. А чем вы стали теперь?

Каин *(переложив копье на сгиб левой руки, в которой у него щит, и покручивая усы освободившейся правой)*. Есть кое-что повыше, чем человек. Это герой и сверхчеловек.

Ева. Какой ты сверхчеловек! Ты просто не человек. Ты для ближнего — что хорек для кролика, а твоя Луа для тебя — что пиявка для хорька. Ты презираешь своего отца, но он всю жизнь трудился и, умирая, оставит мир более богатым, чем раньше. А когда умрешь ты, люди скажут: «Он был великий воин, но если бы он не родился, мир только выиграл бы». А про Луа они вовсе ничего не скажут: вспомнят — и отплюнутся.

Каин. С нею легче жить, чем с тобой. Посмей она пилить меня так, как ты пилишь меня и Адама, я избил бы ее до беспамятства. Кстати, я это уже делал, хоть ты и уверяешь, что я у нее в рабстве.

Ева. Да, ты бил ее за то, что она засматривалась на других мужчин, но потом сам же валялся у нее в ногах и со слезами молил о прощении, становясь в десять раз больше рабом, чем прежде. Она же, навизжавшись досыта, прощала тебя, как только проходила боль, верно?

Каин. Да, прощала и после этого любила особенно горячо. Такова женская натура.

Ева *(по-матерински сострадательно)*. Любила! Ты называешь это любовью! Ты называешь это женской натурой! Мальчик, ни женская, ни мужская натура здесь ни при чем. Это не любовь и не жизнь. У тебя нет ни подлинной крепости в костях, ни подлинного пыла в теле.

Каин. Да ну? *(Хватает копье и неистово взмахивает им.)*

Ева. Да, да, ты сознаешь себя сильным, лишь когда размахиваешь палкой. Ты не способен наслаждаться жизнью, если она не приправлена риском и не раскалена злобой; ты не способен ни любить Луа, пока лицо ее не размале-

вано, ни ощутить теплоту ее тела, пока ты не напялил на него беличий мех. Ты умеешь чувствовать только боль, верить только лжи. Тебе лень поднять голову, чтобы подивиться на чудеса жизни, которые окружают тебя, но ты готов бежать за десять миль, лишь бы увидеть бой и смерть.

Адам. Довольно болтать. Отстань от мальчишки.

Каин. Это я-то мальчишка? Ха-ха-ха!

Ева *(Адаму)*. Уж не воображаешь ли ты, что его образ жизни все-таки лучше, чем твой? Тебя это, кажется, прельщает. Может быть, ты согласен ублажать меня, как он ублажает свою жену? Убивать тигров и медведей, чтобы я могла нежиться на их шкурах? Не хочешь ли ты, чтобы я размалевывала себе лицо, холила руки, сохраняя их красоту, ела куропаток, голубей и козлят, у которых ты будешь отнимать для меня молоко их маток?

Адам. Нет. С тобой и без того нелегко жить. Оставайся такой, какая ты есть, а я останусь таким, каков я теперь.

Каин. Вы оба ничего не понимаете в жизни. Вы — деревенщина, и только. Вы кормите своих волов, собак и ослов, вы служите им, хотя приручали их для того, чтобы они работали на вас. Но я знаю, как спасти вас от такой жизни. Я кое-что придумал. Почему бы вам не приручить людей, чтобы на вас работали другие мужчины и женщины? Почему бы вам с детства не приучить их к этой участи? Пусть думают, что мы боги, а они рождены на свет лишь для того, чтобы создавать нам счастливую жизнь.

Адам *(с увлечением)*. Да, это великая мысль.

Ева *(презрительно)*. Воистину великая!

Адам. Почему бы и нет? — как говаривала когда-то змея.

Ева. Потому что я не потерплю у себя в доме таких выродков. Потому что я не выношу ничего увечного, безобразного, неестественного — ни уродов о двух головах, ни сухоруких калек. Я только что сказала Каину, что он не мужчина, а Луа не женщина: оба они чудовища. А теперь ты вознамерился вместе с ним выращивать чудовищ еще похуже для того, чтобы вы имели возможность изнывать от безделья и лени, а приученные вами люди-животные считали труд пагубой и проклятьем. Прекрасная мечта, ничего не скажешь! *(Каину.)* Твой отец — дурак с виду, ты же — дурак до мозга костей, а твоя нахалка жена — и того чище.

Адам. Почему это я дурак? Чем я глупее тебя?

Ева. Ты уверял, что убийства не будет, что вещий голос за-

претит нашим детям убивать. Отчего же он не запретил Каину?

Каин. Он запрещал, но я не ребенок, чтобы слушаться разных голосов. Голос думал, что я всего лишь сторож брату моему; но он понял, что я сам по себе, а брат мой сам по себе, и незачем мне печься о нем. Я ему был не сторож, он мне тоже. Почему он не убил меня? Ни ему, ни мне никто не мог помешать. Это была схватка двух мужчин, и я взял в ней верх. Я стал первым победителем на земле.

Адам. Что же сказал тебе голос, когда ты думал обо всем этом?

Каин. Признал мою правоту — вот что. Он сказал, что проступок мой ляжет на меня, как клеймо, которым Авель метил своих овец, и что, видя эту печать, никто не убьет меня. И вот я здесь, целый и невредимый, а людей, которые никого не убивали и довольствуются тем, что состоят в сторожах при братьях своих, хотя могли бы сделаться их господами, — этих трусов презирают, травят и убивают, как кроликов. Тот, на ком Каинова печать, станет властелином земли. И всякому, кто его убьет, отмстится всемеро. Так сказал голос. Остерегайтесь же умышлять на меня — и ты, и остальные.

Адам. Перестань бахвалиться и стращать. Ответь-ка по правде, не сказал ли голос, что раз никто не смеет убить тебя за братоубийство, тебе следовало бы самому убить себя?

Каин. Нет.

Адам. Значит, на свете нет божественной справедливости — если, конечно, ты не лжешь.

Каин. Я не лгу. Я не боюсь говорить правду, какой бы она ни была. А божественная справедливость все-таки существует. Голос сказал, что отныне я должен бросать вызов каждому встречному — пусть убьет меня, если в силах. Я не могу стать великим, не рискуя собой. Это и есть моя расплата за кровь Авеля. Опасность и страх неотступно сопутствуют мне. Не будь их, мне не нужна была бы смелость. А смелость и только смелость ведет нас к алым вершинам жизни.

Адам *(поднимая заступ и вновь приготовляясь копать)*. Вот и уходи отсюда. Такой жизнью, какая прельщает тебя, нельзя жить тысячу лет, а я должен продержаться десять веков. Если вы, вояки, не погибнете в схватках друг с другом или со зверьем, вас все равно доконает то зло, что внутри вас. Ваше тело уже сейчас напоминает собой

не тело мужчины, а нарост на больном дереве: вы не дышите, а чихаете, выхаркивая свои легкие; вы сохнете и чахнете. Ваше нутро гниет, волосы лезут, зубы чернеют и крошатся. Вы умираете до срока, и притом не по доброй воле. А я буду копать и жить.

Каин. А можешь ты ответить, старый сморчок, на кой тебе черт жить тысячу лет? Ты копаешь землю вот уже много веков, но разве ты стал от этого копать лучше? Я прожил куда меньше, чем ты, но давным-давно знаю все, что можно знать о ремесле землепашца. Бросив его, я развязал себе руки для более высоких занятий, о которых ты не имеешь даже представления. Я постиг искусство боя и охоты, иными словами — искусство убивать. Да и откуда у тебя уверенность, что ты проживешь десять веков? Я мог бы убить вас с матерью, и вы сопротивлялись бы мне не дольше, чем пара овец. Ну хорошо, я вас пощадил, но ведь другие могут и не пощадить. Почему вы не хотите пожить пусть немного, но отважно, а затем умереть и уступить место другим? Почему я, хотя знаю и умею больше, чем вы, так быстро надоедаю себе, когда не сражаюсь и не охочусь? Нет, лучше уж самоубийство, на которое подбивает меня иногда вещий голос, чем тысяча лет безысходной скуки.

Адам. Лжец! Минуту назад ты уверял, что голос не требует, чтобы ты заплатил своей жизнью за жизнь Авеля.

Каин. Голос говорит со мной иначе, чем с тобой. Я — мужчина, а ты — всего лишь взрослый ребенок. Одно дело говорить с ребенком, другое — с мужчиной. Мужчина не станет, молча и трепеща, повиноваться голосу. Он возражает, он требует уважения к себе и, в конечном счете, сам диктует голосу, что́ надо говорить.

Адам. Да будет проклят твой язык, богохульник!

Ева. Придержи-ка лучше собственный язык и не смей проклинать моего сына. Лилит совершила ошибку, столь несправедливо поделив труд между мужчиной и женщиной. Если бы ты, Каин, испытал муки, каких стоило мне создание Авеля, или если бы ты был обязан сотворить другого человека взамен твоего брата в случае его смерти, ты не убил бы его, а скорее рискнул бы своей жизнью ради его спасения. Вот почему твоим пустым речам, прельстившим Адама до того, что он бросил заступ и согласился слушать тебя, я придаю не больше значения, чем зловонному ветру, пролетевшему над падалью. Вот почему враждуют созидательница-женщина и разрушитель-

мужчина. Я знаю тебя – я твоя мать. Ты лентяй, ты эгоист. Творить жизнь – дело долгое, трудное, мучительное; для того же, чтобы отнять жизнь, сотворенную не тобой, не нужно ни труда, ни времени. Возделывая землю, ты вынуждал ее жить и рождать, как живу и рождаю я. Именно для этого, а не для грабежа и убийства Лилит избавила вас, мужчин, от родовых мук.

Каин. Дьявол бы ее за это побрал! Я найду себе дело поинтереснее, чем состоять в супругах у земли, по которой ступают мои ноги.

Адам. Дьявол? Новое слово. Что оно означает?

Каин. А вот послушай, старый глупец. Я никогда особенно не верил твоим россказням о голосе, который ты слышишь. Голосов наверняка два: один, презрительный и лживый, шепчется с тобою; другой, искренний и почтительный, говорит со мной. Твой голос я называю дьяволом, мой – богом.

Адам. Мой голос – это голос жизни, твой – это голос смерти.

Каин. Пусть так. Зато мой голос шепчет, что смерть на самом деле не смерть, а врата новой, бесконечно великолепной и бурной жизни, где живет лишь душа, где нет глыб земли и заступа, голода и усталости...

Ева. Это жизнь лентяя и эгоиста. Узнаю тебя, Каин.

Каин. Жизнь эгоиста – да, но это жизнь, в которой никто не должен быть сторожем брату своему, потому что брат его может и сам позаботиться о себе. Но какой же я лентяй? Правда, я бросил ваше земледелие, но разве я не принял на себя такие труды и муки, о которых вы даже не имеете представления? Стрела легче заступа, но, чтобы пронзить ею грудь врага, нужно приложить такую энергию, что сравнивать с нею то напряжение, которого требует втыкание заступа в безответную землю, это все равно что сравнивать огонь с водой. Я равен силой десятерым, ибо сердце мое чисто.

Адам. Что значит это слово? Что такое быть чистым?

Каин. Это значит отвернуться от земли и обратить лицо к солнцу, к ясному светлому небу.

Адам. Мальчик, небо пусто, а земля плодородна. Она питает нас. Она дает нам силу, за счет которой мы создали и тебя, и все человечество. Ты презираешь землю, но оторвавшись от нее, бесславно погибнешь.

Каин. Я восстаю против земли. Я восстаю против пищи. Ты говоришь: она дает нам силу. Но разве не превращается

она в отбросы и не заражает нас всяческими болезнями? Я восстаю против рождения, которым вы с матерью так горды. Оно ставит нас на одну доску с животными. Если оно не только первое, но и самое высшее свершение, на какое мы способны, пусть человечество погибнет. Если я обречен жрать, как медведь, а Луа – рожать детенышей, как медведица, я предпочитаю быть медведем, а не человеком: медведю нечего стыдиться – он не знает лучшей доли. Если ты, как медведь, доволен такой участью, то меня она не устраивает. Оставайся с женщиной, дарящей тебе детей, а я пойду к той, кто дарит мне мечту. Копайся в земле, добывая себе пищу, а я добуду ее стрелой с неба или копьем здесь, на земле, по которой в цвете сил и лет бродят звери. Если уж я принужден добывать пищу, чтобы не умереть с голоду, я буду добывать ее как можно дальше от земли. Трава, превращаясь в мясо быка, попадает ко мне уже в более облагороженном виде. Человек еще благородней быка. Поэтому я когда-нибудь заставлю своего врага съесть быка, а затем убью и съем самого врага.

Адам. Чудовище! Слышишь, Ева, что он говорит?

Ева. Так вот зачем ты обращаешь лицо к ясному светлому небу! Людоед! Пожиратель младенцев! Да, да, очередь дойдет и до них, как дошла до ягнят и козлят, стоило Авелю начать убивать взрослых овец и коз. И все же ты жалкая глупая тварь. Неужели ты думаешь, что подобные мысли не приходили и мне? Мне, на кого ложится вся тяжесть деторождения? Мне, кто выбивается из сил, готовя пищу? Когда-то и я мечтала, что мой сильный смелый сын, способный вообразить себе лучшую долю и пожелать того, что он вообразил, будет способен также добиться того, чего желает. А свелось все к тому, что он хочет стать медведем и пожирать младенцев. Но медведь и тот не ест человека, если может найти мед.

Каин. Я не хочу быть медведем. Я не хочу пожирать младенцев. Я не знаю, чего хочу. Я знаю лишь одно: я желаю быть выше и благородней, чем этот старый глупый землекоп, который был сотворен Лилит для того, чтобы помочь тебе родить меня, и которого теперь, когда он сделал свое дело, ты презираешь от всего сердца.

Адам *(мрачно и яростно)*. Меня так и подмывает доказать тебе, что твое копье не помешает мне проломить заступом твою непочтительную голову.

Каин. Непочтительную? Ха-ха-ха! *(Взмахивает копьем.)*

Ну что ж, всеобщий родитель, попробуй! Отведай вкус боя!

Е в а. Уймитесь вы, дураки! Сядьте, успокойтесь и послушайте, что я скажу.

Адам, пожав плечами, бросает заступ; Каин с хохотом отбрасывает щит и копье, и оба садятся на землю.

Сама не знаю, кем из вас я больше недовольна — тобой, грязный землекоп Адам, или тобой, грязный убийца Каин. Мне не верится, что Лилит создала вас свободными только для того, чтобы вы, каждый на свой манер, влачили такую жалкую жизнь. *(Адаму.)* Ты выкапываешь из земли коренья и взращиваешь зерно. Почему бы тебе не добывать божественное пропитание прямо с неба? Каин грабит и убивает, чтобы не умереть с голоду, а на досуге сочиняет басни о жизни после смерти. Он облекает свою отравленную страхом жизнь в красивые слова, а свое отравленное недугами тело в красивые одежды, чтобы люди чтили и славили его, а не кляли, как грабителя и убийцу. Все мужчины, кроме Адама, — мои сыновья, внуки, правнуки; все они навещают меня и бахвалятся передо мной, выкладывая матери Еве все свои убогие познания, все свои мелочные дела. Приходят земледельцы, приходят воины и убийцы. Все они ужасно скучные: одни жалуются на нынешний урожай, другие похваляются своим последним боем, хотя урожай в этом году точно такой же, как в прошлом, а последний бой как две капли воды похож на первый. Ах, я тысячи раз слышала все это. Они рассказывают мне о своем последнем ребенке, о том, какие умные слова сказал вчера их любимчик, о том, что мир не видел еще такого замечательного, одаренного, сметливого малыша. А я должна ахать, удивляться, восхищаться, хотя последний ребенок ничем не отличается от первого и не сказал и не сделал ничего такого, чем не восхищались бы мы с Адамом в ту пору, когда ты и Авель были детьми. Вы были первыми детьми на земле и преисполняли нас таким удивлением и восторгом, каких до скончания веков уже не испытают ни одни супруги. Когда мне больше невмоготу слушать болтовню, я иду в наш старый сад, заросший теперь крапивой и чертополохом, иду в надежде встретить там змею и поговорить с ней. Но ты превратил змею в нашего врага. Она уползла из сада или умерла — ее нигде не видно. Я поневоле возвращаюсь домой и слушаю, как

Адам в десятитысячный раз повторяет одно и то же, или принимаю своего последнего праправнука – он уже вырос и жаждет покрасоваться передо мной. О, как это скучно, как скучно! И терпеть это мне придется еще почти семь веков.

Каин. Бедная мама! Ты сама видишь: жизнь чересчур долга. Все приедается. Ничто не ново под солнцем.

Адам *(Еве, сварливо)*. Зачем же ты живешь до сих пор, если знаешь одно – вечно жаловаться?

Ева. Затем, что у меня остается надежда.

Каин. На что?

Ева. На то, что твои и мои мечты сбудутся. Надежда на новое творчество. Надежда на лучшее. Не все мои сыновья и внуки – земледельцы и воины. Кое-кому из них не хочется ни копать землю, ни сражаться. Они еще более никчемны, чем любой из вас: они слабы и трусливы; они тщеславны, но неопрятны и даже не дают себе труда подстричь волосы. Они берут взаймы и не платят долгов, но им ни в чем не отказывают, потому что они умеют сочинять красивую ложь, облеченную в красивые слова. Они умеют запоминать свои грезы. Они умеют грезить наяву. Воля у них слабая: они способны только мечтать, а не творить; но змея уверяла, что любая мечта может быть претворена в действительность волей тех, кто достаточно силен, чтобы поверить в эту мечту. Среди моих потомков есть и другие. Они срезают тростинки различной длины и дуют в них, оглашая воздух нежной трелью, а подчас извлекают звуки из трех тростинок сразу, сливая несколько трелей в единый напев, возносящий мою душу к высотам, о которых не скажешь словами. Есть и такие, что лепят из глины маленьких мамонтов, и такие, что высекают на гладких камнях лица и требуют, чтобы я творила для них женщин с такими лицами. Я подолгу смотрела на эти лица, укрепляя в себе желание создать то, чего от меня ждут, и наконец родила девочку, которая с годами стала совершенно схожа с изображениями на камнях. Есть и такие, что умеют считать без помощи пальцев, наблюдать ночное небо, давать имена звездам и предсказывать, когда тьма закроет солнце, как закопченная крышка – кипящий котел. В числе их Тувал, придумавший для меня веретено, которое так облегчило мой труд. И Енох, блуждающий по холмам, где он постоянно слышит голос: он отказался от собственной воли, чтобы исполнять веления голоса, ко-

торый передал ему частицу своего величия. Навещая меня, они всякий раз приносят мне весть о новом чуде или новую надежду, словом, нечто такое, ради чего стоит жить. Они не желают умирать, потому что всегда учатся, творят, познают или хотя бы мечтают. А ты, Каин, пришел ко мне с нелепой похвальбой, с дурацкими россказнями о схватках и разрушении и еще надеялся, что я сочту все это великолепным, объявлю тебя героем и поверю, будто цену жизни придают лишь смерть или страх смерти. Убирайся, гадкий мальчишка, а ты, Адам, не трать время даром. Перестань его слушать и берись за работу.

Каин. Я, может быть, не очень умен, но...

Ева. Да, не очень, только не бахвалься. Это не делает тебе чести.

Каин. Зато у меня есть инстинкт, и он подсказывает мне, что смерть играет-таки известную роль в жизни. Скажи, мать, кто изобрел смерть?

Адам вскакивает, Ева роняет прялку. Оба совершенно растеряны.

Да что это с вами?

Адам. Сын, ты задал нам страшный вопрос.

Ева. Ты изобрел убийство. Вот и довольствуйся этим.

Каин. Убийство — не смерть. Ты знаешь, что́ я имею в виду. Те, кого я убиваю, все равно умерли бы, даже если бы я пощадил их. Я тоже умру, даже если меня не убьют. Кто обрек меня на это? — спрашиваю я. Кто изобрел смерть?

Адам. Сын, будь благоразумен. Разве ты в силах жить вечно? Тебе кажется, что да, ибо ты знаешь, что вечная жизнь не угрожает тебе. Но я-то изведал, что значит неустанно размышлять о том, как ужасны вечность и бессмертие. Подумай, что значит не иметь выхода, всегда оставаться Адамом, Адамом и еще раз Адамом, быть им столько же дней, сколько песчинок на берегах обеих рек, и все же ни на минуту не приблизить конец! А я ведь столь многое в себе ненавижу и так жажду от всего этого избавиться! Будь признателен своим родителям за то, что они даровали тебе способность перелагать твое бремя на новых и лучших людей и завоевали для тебя право на вечный покой, ибо это мы изобрели смерть.

Каин *(вставая)*. И хорошо сделали: я тоже не хочу жить

вечно. Но как можете вы, если сами изобрели смерть, порицать меня за то, что я ее служитель?

Адам. Я не порицаю тебя. Иди с миром. Дай мне спокойно копать, а матери прясть.

Каин. Хорошо, дам, хоть я и показал вам путь к лучшей доле. *(Поднимает щит и копье.)* Я возвращаюсь к моим славным друзьям-воинам и к их красавицам женам. *(Направляется к живой изгороди.)* Где был дворянин, кто о нем слыхал, когда Ева пряла и Адам пахал? *(С хохотом уходит и кричит издалека.)* Прощай, мать!

Адам. Ленивый пес! Даже плетень не мог на место поставить. *(Поднимает плетень и загораживает проход.)*

Ева. Из-за него и ему подобных смерть берет верх над жизнью. Уже сейчас большинство наших внуков умирает раньше, чем научается жить.

Адам. Не беда. *(Плюет на руки и опять берется за рукоять заступа.)* Жизнь, как ее ни укорачивай, все равно достаточно длинна, чтобы научиться возделывать землю.

Ева *(задумчиво)*. Чтобы возделывать землю и сражаться — да. Но достаточно ли она длинна для иных, великих дел? Доживут ли люди до тех пор, когда смогут отведать манны?

Адам. Что такое манна?

Ева. Пища, слетающая с неба и сделанная из воздуха, а не выкопанная из грязной земли. Успеют ли наши потомки за свою короткую жизнь изучить все пути звезд? Еноху потребовалось целых два столетия, чтобы научиться постигать веления голоса. В восемьдесят лет, когда он был еще ребенком, его младенческие попытки истолковать голос были опаснее, чем неистовство Каина. Если люди укоротят свою жизнь, они будут лишь копать землю, сражаться, убивать и умирать, а их маленькие Енохи подтвердят, что таково веление голоса: он заповедал вечно копать землю, сражаться, убивать и умирать.

Адам. Коль скоро они ленивы и стремятся к смерти, я не властен это изменить. Я проживу свою тысячу лет, а если они не хотят подражать мне, пусть умирают и отправляются в ад.

Ева. Ад? Что это такое?

Адам. Место для тех, кому смерть милее, чем жизнь. Берись-ка за прялку и не сиди без дела. Я-то ведь надрываюсь ради тебя.

Ева *(медленно поднимая прялку)*. Будь ты поумней, ты приду-

мал бы для нас обоих занятие получше, чем прясть и копать.

Адам. Принимайся за работу, кому я сказал? Иначе останешься без хлеба.

Ева. Человек жив не хлебом единым. На свете есть кое-что другое. Мы еще не знаем — что именно, но когда-нибудь узнаем и тогда будем жить только этим, и не надо будет ни копать, ни прясть, ни сражаться, ни убивать. *(Покорно принимается прясть.)*

Адам безостановочно копает.

Часть II

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ БРАТЬЕВ БАРНАБАС

Первые послевоенные годы. Просторный, хорошо обставленный кабинет. За письменным столом сидит и пишет представительный господин лет пятидесяти, во всем черном. На нем не пиджак, а сюртук и белый галстук. Жилет у него, правда, не совсем такой, какой носят священники, и воротничок застегивается не сзади, а спереди, но весь его преисполненный достоинства вид, равно как атмосфера процветания, чувствующаяся в комнате, наводят на мысль, что перед нами духовное лицо. Тем не менее ясно, что человек этот — не настоятель собора и не епископ; у него также слишком интеллигентное лицо для типичного приверженца свободной церкви; не может он, наконец, быть и главою какого-нибудь крупного учебного заведения — у него недостаточно замученный вид.

Своими большими окнами с широкими удобными подоконниками кабинет выходит на Хемстед Хис, за которым виднеется Лондон. Кабинет залит солнцем — на дворе яркий весенний день. Если стать лицом к окнам, справа окажутся камин, где догорают поленья, и, на коврике перед ним, два покойных кресла. Сбоку от камина, в глубине, дверь. Под окнами, чуть влево от середины, письменный стол, за которым, повернувшись вправо, так, что нам виден его профиль, и сидит вышеупомянутое духовное лицо. С левой стороны комнаты — диван; с правой — пара чипендейловских стульев. Посреди комнаты, напротив письменного стола, квадратный, обитый кожей табурет. Стены заставлены книжными стеллажами: сверху полки, внизу ящики.

Дверь распахивается, и в ней появляется джентльмен примерно тех же лет, что духовная особа, только пониже ростом и с бородкой. На нем поношенный твидовый костюм, а сам он выглядит и держится попроще, чем хозяин.

Духовная особа *(фамильярно, но сухо)*. Хэлло! Я ждал тебя с пятичасовым поездом, не раньше.

Джентльмен в твиде *(медленно входя)*. Я решил поторопиться. Мне надо кое-что тебе сказать.

Духовная особа *(бросая перо)*. Что именно?

Джентльмен в твиде *(поглощенный своими мыслями, опускается в кресло)*. Я наконец определил срок. Он составляет триста лет.

Духовная особа *(порывисто выпрямляясь в кресле)*. Какое совпадение! Просто изумительно! Когда ты перебил меня, я как раз дописал: «Самое меньшее триста лет». *(Хватает рукопись и указывает пальцем.)* Вот. *(Читает.)* «Человеческая жизнь должна длиться самое меньшее триста лет».

Джентльмен в твиде. Как ты пришел к этой мысли?

Дверь отворяется, горничная вводит молодого священника.

Горничная. Мистер Хэзлем. *(Уходит.)*

Посетитель явился так некстати, что хозяин забывает даже подняться, и оба брата с откровенным неудовольствием смотрят на вошедшего. На Хэзлеме костюм табачного цвета, и лишь воротничок запонкой назад выдает его принадлежность к духовному сословию. Улыбаясь, как школьник,— так простодушно, что на него невозможно рассердиться, он сразу же, явно без всякой подготовки, вмешивается в разговор.

Хэзлем. Боюсь, что пришел совсем некстати. Я здешний приходский священник и, по-видимому, должен навещать свою паству.

Джентльмен в твиде *(ледяным тоном)*. Нас, знаете ли, нельзя отнести к числу прихожан.

Хэзлем. Ну это, с вашего позволения, не столь важно. Большинство моих прихожан — люди темные, как вода в луже. Здесь почти не с кем поговорить, а о вас я много слышал. Надеюсь, мое посещение не слишком обременит вас? Конечно, если я мешаю, я мигом улетучусь.

Духовная особа *(встает, обезоруженно)*. Присядьте, мистер... э-э...

Хэзлем. Хэзлем.

Духовная особа. Мистер Хэзлем.

Джентльмен в твиде *(встает и указывает на свое кресло)*. Прошу. *(Направляется к чипендейловским стульям.)*

Хэзлем *(садясь)*. Весьма благодарен.

Духовная особа. Это мой брат Конрад, доктор Конрад Барнабас, профессор биологии в Джерроуфилдском университете. А меня зовут Фрэнклин, Фрэнклин Барнабас. Я некоторое время носил сан.

Хэзлем *(сочувственно)*. Обычная история. Если в распоряжении семьи есть вакантный приход или если ваш родитель нашел протекцию, вас волей-неволей толкнут на церковную дорожку.

Конрад *(садясь на тот чипендейловский стул, что подальше, и усмехаясь в ответ на реплику священника)*. Гм!

Франклин. Бывает и так, что совесть заставляет вас свернуть с этой дорожки.

Хэзлем. Конечно бывает. Но куда податься такому, как я? Я не настолько интеллигент, чтобы терзаться сомнениями, когда мне дают готовое место и лучшего не предвидится. Смею сказать, вам, наверно, было тесновато в рамках церкви; мне же удобно и в них. Во всяком случае, на мой век этого хватит. *(Добродушно смеется.)*

Франклин *(с новой энергией)*. Слышишь, Кон? Опять то же самое: на его век хватит. Люди не принимают жизнь всерьез — она для этого слишком коротка.

Хэзлем. Разумеется, такая точка зрения тоже вполне возможна.

Франклин. Меня, мистер Хэзлем, никто не толкал на духовную стезю. Я сам почувствовал потребность ходить перед богом, как Енох. Однако, просвященствовав двадцать лет, я понял, что остался прежним самодовольным невеждой и мне недостает по меньшей мере ста пятидесяти лет, чтобы приобрести опыт и мудрость, на которые я притязал.

Хэзлем. Как поразмыслишь хорошенько, так видишь, что старику Мафусаилу следовало бы дважды подумать, прежде чем избрать себе жизненный путь. Знай я, что мне предстоит прожить девятьсот шестьдесят лет, я вряд ли стал бы священнослужителем.

Франклин. Если бы люди жили хоть треть этого срока, церковь была бы совершенно иной, нежели ныне.

Конрад. Будь у меня надежда прожить девятьсот шестьдесят лет, я стал бы настоящим биологом, а не ребенком, едва начинающим ходить, как теперь. Так ли уж вы уверены, что из вас не получилось бы хорошего священника, если бы вам было отпущено на это несколько сот лет?

Хэзлем. Ну, дело тут меньше всего во мне. Стать приличным священником не так уж трудно. Мне не по душе сама церковь. Я не мог бы терпеть ее целых девятьсот лет. Я непременно порвал бы с нею. Знаете, стоит нашему епископу, а он у нас — форменное ископаемое, отмо-

чить что-нибудь слишком уж ветхозаветное, как у меня в саду начинает порхать птичка.

Фрэнклин. Птичка?

Хэзлем. Вот именно. Та самая, что в конце весны целыми днями чирикает: «Тут или фьють! Тут или фьють!» Жаль, что мой отец не выбрал для меня другую карьеру.

Горничная возвращается.

Горничная. Есть что-нибудь на почту, сэр?

Фрэнклин. Вот. *(Протягивает пачку писем.)*

Горничная подходит к столу и берет их.

Хэзлем *(горничной)*. Вы уже предупредили мистера Барнабаса?

Горничная *(смущенно)*. Нет еще, сэр.

Фрэнклин. О чем?

Хэзлем. Она собирается уйти от вас.

Фрэнклин. Вот как? Очень жаль. Надеюсь, мы в этом не виноваты, мистер Хэзлем?

Хэзлем. Напротив. Она вполне довольна местом.

Горничная *(краснея)*. Я никогда ни на что не жаловалась, сэр. Место такое, что лучше не найдешь. Но я не могу упускать случай. Человек живет один раз. Прошу прощения, сэр. Боюсь опоздать на почту. *(Уносит письма.)*

Братья вопросительно смотрят на Хэзлема.

Хэзлем. Глупая девчонка! Надумала выйти замуж за деревенского лесоруба. Нарожает ему кучу детишек, проживет жизнь в лачуге, и все только потому, что у парня красивые усики и мечтательные глаза.

Конрад *(недоверчиво)*. А по ее словам, дело в том, что человек живет один раз.

Хэзлем. Это одно и то же... Бедняжка! Парень уговаривает ее чирикнуть «Фьють!» – а выйдет она за него, и придется ей до смерти повторять: «Тут! Тут! Тут!» Прескверно, я бы сказал, устроен мир.

Конрад. Ей, видите ли, не хватает времени уразуметь, в чем истинный смысл жизни. Она так и умрет, не поняв этого.

Хэзлем *(бодро)*. Без сомнения.

Фрэнклин. У нее не хватает времени выработать в себе на разумных началах чувство совести.

Хэзлем *(еще бодрее)*. Вот именно.

Фрэнклин. Хуже того, у нее нет времени обзавестись совестью вообще, если не считать нескольких правил приличия и романтических понятий о чести. Жить в мире

и не обладать чувством совести – вот в чем ужас нашего существования.

Хэзлем *(сияя)*. Полная бессмыслица! *(Поднимается.)* Мне, пожалуй, пора. Вы очень любезны, что не рассердились на меня за вторжение!

Конрад *(прежним ледяным тоном)*. Если разговор вас действительно интересует, вам нет нужды уходить.

Хэзлем *(ему все это надоело)*. Но я боюсь, что... Нет, мне все-таки пора – у меня дело в...

Фрэнклин *(снисходительно улыбаясь, встает и протягивает руку)*. До свиданья!

Конрад *(угрюмо – он понимает, что с Хэзлемом каши не сваришь)*. До свиданья!

Хэзлем. До свиданья! Сожалею, что...

Подходит поближе, чтобы пожать руку Фрэнклину, чувствуя, что с уходом у него как-то не получилось. В эту минуту в комнату врывается загорелая девушка с каштановой шевелюрой, коротко подстриженной на манер юного итальянца с картины Гоццоли. Одета она очень легко: короткая юбка, блузка, на ногах чулки и норвежские ботинки. Одним словом, типичная сторонница опрощения.

Девушка *(подбегая к Конраду и целуя его)*. Привет, дядя! Ты почему так рано?

Конрад. Веди себя прилично. У нас гость.

Девушка оборачивается, видит Хэзлема, инстинктивно делает попытку привести в порядок свои волосы à la Гоццоли, но тут же отказывается от нее.

Фрэнклин. Мистер Хэзлем, наш новый приходский священник. *(Хэзлему.)* Моя дочь Цинтия.

Конрад. Обычно ее зовут Сэвви: сокращенное от «сэвидж» – дикарка.

Сэвви. Обычно я зову мистера Хэзлема Биллом – сокращенное от Уильям. *(Направляется к коврику у камина и, заняв эту командную позицию, невозмутимо оглядывает окружающих.)*

Фрэнклин. Вы знакомы?

Сэвви. Еще бы! Садитесь, Билл.

Фрэнклин. Мистер Хэзлем торопится, Сэвви. У него деловая встреча.

Сэвви. Знаю. Со мной.

Конрад. В таком случае будь добра, пройди с мистером Хэзлемом в сад. Мне надо поговорить с твоим отцом.

Сэвви *(Хэзлему)*. Сыграем в теннис?

Хэзлем. Еще бы!

Сэвви. Пошли. *(Убегает, пританцовывая.)*

Хэзлем по-мальчишески бросается вдогонку.

Фрэнклин *(встав из-за стола и раздраженно расхаживая по комнате)*. Манеры Сэвви действуют мне на нервы. Ее бабушку они ужаснули бы.

Конрад *(упрямо)*. Они у нее лучше, чем у нашей матери.

Фрэнклин. Конечно, Сэвви во многих отношениях здоровей, непринужденней, естественней. И все-таки ее манеры меня раздражают. Я отлично помню, какой воспитанной женщиной была мама. А Сэвви совершенно невоспитанна.

Конрад. В утонченности мамы было очень мало приятного. Между нею и Сэвви биологическая разница.

Фрэнклин. Но мама держалась красиво, изящно, в ней чувствовались стиль и твердость. Сэвви же – форменный звереныш.

Конрад. В ее возрасте это нормально.

Фрэнклин. Опять та же песня. Возраст! Возраст!

Конрад. А ты хочешь, чтобы в восемнадцать лет она была уже взрослой, сформировавшейся женщиной? Ты стремишься искусственно и преждевременно развить в ней самоуверенность и самообладание, хотя ей пока что нечем обладать – у нее нет еще собственного «я». Оставька лучше ее в покое: она как раз такая, какой положено быть в ее годы.

Фрэнклин. Я оставил ее в покое, а результат? Как это обычно бывает с молодежью, когда она предоставлена самой себе, Сэвви стала социалисткой. Иными словами, нравственные ее устои безнадежно подорваны.

Конрад. А разве ты сам не социалист?

Фрэнклин. Социалист, но я – другое дело. Нас с тобой воспитали в духе старой буржуазной морали. Нам привили буржуазные манеры, буржуазные правила. Быть может, буржуазные манеры делают нас снобами; быть может, в них очень мало приятного, как ты уверяешь; но лучше уж буржуазные манеры, чем никаких. Вероятно, многие правила буржуазной морали ложны, но это все-таки правила; поэтому женщина знает, чего она может ждать и чего ждут от нее. А вот Сэвви не знает. Она большевичка, настоящая большевичка. Она импровизирует, придумывая себе на ходу и манеры, и линию поведения. Часто это очаровательно, но порой она делает вопиюще

ложные шаги, и тогда я чувствую: в душе она порицает меня за то, что я не научил ее ничему лучшему.

Конрад. Ну теперь, во всяком случае, у тебя есть такая возможность.

Фрэнклин. Есть, но время уже упущено: Сэвви мне больше не доверяет. Она даже не говорит со мной о таких вещах. Она не читает мои работы. Не ходит на мои лекции. Во всем, что касается ее, я совершенно бессилен. *(Вновь садится за письменный стол.)*

Конрад. Надо мне поговорить с ней.

Фрэнклин. Тебя она, возможно, и послушает: ты ей не отец.

Конрад. Я послал ей свою последнюю книгу. Попробую начать с того, что спрошу, прочла она ее или нет.

Фрэнклин. Когда Сэвви узнала о твоем приезде, она спросила меня, все ли страницы уже разрезаны — на тот случай, если книга попадется тебе на глаза. Она ни разу не раскрыла ее.

Конрад *(возмущенно вскакивая)*. Что?

Фрэнклин *(неумолимо)*. Ни разу.

Конрад *(сдаваясь)*. Ну что ж, это, по-моему, естественно. Биология — скучная материя для девушки, а я — скучный старый сухарь. *(Покорно садится.)*

Фрэнклин. Брат, если это действительно так, если биология, область, где работаешь ты, и религия, область, где работаю я, такие же скучные материи, как тот древний хлам, который преподается в школах под названием естествознания и закона божия, а мы с тобой — такие же скучные старые сухари, как все старые священники и учителя, тогда Евангелие от братьев Барнабас — заблуждение и ошибка. Если эти нудные ископаемые — религия и наука не оживут в наших руках, не оживут и не станут захватывающе интересными, нам лучше оставить свои занятия и вскапывать свой сад до того самого дня, когда нам придется копать себе могилу.

Возвращается горничная.

(Раздраженный тем, что его перебили, бросает.) Ну, что там еще?

Горничная. Звонит мистер Джойс Бердж, сэр. Просит к телефону вас.

Фрэнклин *(изумленно)*. Мистер Джойс Бердж?

Горничная. Да, сэр.

Фрэнклин *(Конраду)*. Что это значит? Мы с ним уже много лет не виделись и не говорили. Еще до того, как он воз-

главил коалиционное министерство, я отказался от председательства в ассоциации либералов, порвал со всеми политическими партиями, и Бердж отшвырнул меня, как слишком горячую картофелину.

Конрад. Ну, а теперь, когда коалиция решила, что обойдется без него, и Бердж стал всего-навсего одним из полудюжины лидеров оппозиции, он, видимо, надумал подобрать то, что отшвырнул.

Горничная *(напоминая)*. Он ждет у телефона, сэр.

Фрэнклин. Да, да, иду. *(Поспешно выходит.)*

Горничная подходит к камину и ворошит поленья. Конрад встает, выходит на середину кабинета, останавливается и лукаво поглядывает на нее.

Конрад. Значит, человек живет один раз?

Горничная *(на коленях перед камином, смущенно)*. Я не хотела вас обидеть, сэр.

Конрад. Я и не обиделся. А знаете ли вы, что могли бы жить чертовски долго, если бы только захотели?

Горничная *(опускаясь на корточки)*. Не надо про это, сэр. Все это ужасно выбивает из колеи.

Конрад. Что? Неужели вы задумывались над такими вещами?

Горничная. Мне никогда бы это в голову не пришло, но вы сами надоумили меня, сэр. Мы с кухаркой полистали вашу книжку.

Конрад. Как! Вы с кухаркой полистали мою книжку? А вот моя племянница не удосужилась даже раскрыть ее. Увы, нет пророка в своем семействе... Ну-с, что же вы думаете о жизни длиной в несколько столетий? Хотите попробовать?

Горничная. Я понимаю, сэр, вы просто шутите. Но тут нельзя не призадуматься, особенно если собираешься замуж.

Конрад. При чем здесь замужество? Ваш жених мог бы прожить не меньше вас.

Горничная. В том-то и дело, сэр. Понимаете, сейчас, какая я ни есть, он берет меня на всю жизнь, и разлучит нас только смерть. А вы уверены, что он так же охотно пойдет на это, если будет знать, что жить нам вместе придется несколько сот лет?

Конрад. Пожалуй, не уверен. А сами-то вы как?

Горничная. Скажу по правде, сэр, я ни за что не выживу так долго с одним и тем же человеком. Да и с детьми

мне надоест возиться. Знаете, сэр, кухарка сосчитала, что, прожив всего двести лет, уже можно выйти замуж за своего праправнука и даже не догадываться, кто он.

Конрад. А почему бы и не выйти? Откуда вы знаете, что тот, за кого вы собираетесь выйти теперь, не окажется прапраправнуком вашей прапрапрабабушки?

Горничная. И такой брак не кажется вам неприличным, сэр?

Конрад. Милая девушка, прилично все, что оправдано биологической необходимостью, — нравится нам это или нет. Так что бросьте ломать себе голову.

Фрэнклин возвращается, подходит к столу, но не садится. Горничная уходит.

Так что же нужно Джойсу Берджу?

Фрэнклин. Произошло дурацкое недоразумение! Я обещал выступить на митинге в Мидлсборо, а какой-то осел-газетчик написал, что я еду в Мидлсборо, но не объяснил — зачем и почему. А так как мы на пороге выборов, политиканы вообразили, что я еду туда с целью выставить свою кандидатуру в парламент. Берджу известно, что у меня есть единомышленники, и он думает, что, пройдя в палату общин, я мог бы возглавить одну из фракций. Поэтому он настоятельно просит принять его. Сейчас он у своих знакомых в Долис Хилл и обещает быть здесь минут через пять-десять.

Конрад. Разве ты не объяснил ему, что тревога ложная?

Фрэнклин. Конечно объяснил, но он не верит.

Конрад. Что? Он назвал тебя лжецом?

Фрэнклин. К сожалению, нет: лучше уж разговор без обиняков, чем тошнотворная напускная приветливость, к которой прибегают столпы нашей демократии в профессиональных интересах. Бердж притворяется, будто верит мне, и клянется, что хочет одного — повидать меня. Но зачем ему ехать сюда, если он не преследует никакой личной выгоды? Эти субъекты не верят даже самим себе. Как же они могут верить другим?

Конрад *(поднимаясь)*. Тогда я ухожу. Я и до войны с трудом терпел общество партийных деятелей, но теперь, когда они чуть не довели Европу до гибели, я больше не в силах быть с ними вежливым, да и не вижу в этом надобности.

Фрэнклин. Не спеши. Сперва нам нужно проверить, как мир воспримет наше новое евангелие.

Конрад опять садится.

А партийные деятели, к несчастью, играют в этом мире не последнюю роль. Вот мы и начнем проверку с Джойса Берджа.

Конрад. Но как за это взяться? Говорить можно лишь с тем, кто умеет слушать, а Джойс Бердж начисто утратил эту способность — он слишком много говорил в своей жизни. Он никого не слушает даже в палате общин.

В комнату, запыхавшись, влетает Сэвви. Хэзлем, следующий за ней, робко останавливается у порога.

Сэвви *(подбегая к Фрэнклину)*. К дому подкатила большая машина. Угадай, кто приехал.

Фрэнклин. Вероятно, мистер Джойс Бердж.

Сэвви *(разочарованно)*. Видите, Билл, они уже знают... Почему ты не предупредил? Я же не одета.

Хэзлем. Не лучше ли мне уйти?

Конрад. Напротив, обязательно оставайтесь. Ты, Сэвви, тоже. Даст бог, когда вы начнете зевать, Джойс Бердж уразумеет намек.

Сэвви *(Фрэнклину)*. Можно нам остаться?

Фрэнклин. Да, если вы обещаете вести себя прилично.

Сэвви *(с кислой миной)*. Вот будет весело!

Горничная *(входит и докладывает)*. Мистер Джойс Бердж.

Хэзлем торопливо отступает к камину. Горничная вводит гостя, закрывает за ним дверь и уходит.

Фрэнклин *(оставив Сэвви и спеша навстречу гостю с той напускной сердечностью, которую только что осуждал)*. А, вот и вы! Счастлив видеть вас. *(Обменивается с Берджем рукопожатием и представляет Сэвви.)* Моя дочь.

Сэвви *(не решаясь подойти)*. Очень мило, что вы нас навестили.

Джойс Бердж стоит и молчит, но всякий раз, когда ему представляют еще одного из присутствующих, изображает на лице улыбку и придает взору неотразимый блеск. Это упитанный мужчина лет пятидесяти, с высоким лбом, седой шевелюрой и короткой шеей, отчего волосы спускаются у него почти до воротника.

Фрэнклин. Мистер Хэзлем, наш приходский священник.

Бердж сияет, как церковное окно в лучах солнца. Хэзлем хватает ближайший стул, придвигает его к Берджу так, что он оказывается между табуретом и Конрадом, а сам

устраивается на подоконнике в другом конце комнаты, где к нему присоединяется Сэвви. Они сидят бок о бок, упершись локтями в колени и подперев голову руками, и в продолжение всей последующей сцены являются для Берджа чем-то вроде галереи для публики в парламенте.

Фрэнклин. Не помню уж, знакомы ли вы с моим братом Конрадом. Он биолог.

Бердж *(с неожиданным взрывом энергии сердечно пожимает Конраду руку)*. Отлично знаком, хотя лишь понаслышке. Как я жалею, что не занялся биологией! Меня всегда интересовали горные породы, пласты, вулканы и прочее. Это проливает такой свет на проблему возраста земли. *(Убежденно.)* Биология — царица наук.

Когда-нибудь растают, словно дым,
И тучами увенчанные горы,
И горделивые дворцы, и храмы,
И даже весь — о да, весь шар земной,
И как от этих бестелесных масок,
От них не сохранится и следа.

Вот что такое биология, подлинная биология! *(Садится.)*

Братья Барнабас следуют его примеру: Фрэнклин опускается на табурет. Конрад — на один из чипендейловских стульев.

Ну-с, дорогой Барнабас, что вы скажете о нынешней ситуации? Не пора ли и нам начать действовать?

Фрэнклин. Действовать всегда пора.

Бердж. Метко сказано! Но как действовать? Вы — человек, пользующийся огромным влиянием. Мы знаем это. Мы всегда это знали. Хотим мы или не хотим, нам приходится учитывать вашу точку зрения. Мы...

Фрэнклин *(решительно перебивая его)*. Я больше не вмешиваюсь в партийную политику.

Сэвви. Папа, не пытайся уверять, что ты не пользуешься влиянием. Целая куча народу смотрит на вещи твоими глазами.

Бердж *(во весь рот улыбаясь ей)*. Вот именно. Позвольте же мне высказать наше мнение о вас. Не подобрать ли нам для вас какой-нибудь первоклассный округ, где вы могли бы баллотироваться на ближайших выборах? Такой,

чтобы вам не пришлось выложить ни гроша. Например, в столице. Что вы скажете насчет Стрэнда?

Фрэнклин. Я не ребенок, дорогой Бердж. Стоит ли вам опустошать партийную кассу ради Стрэнда? Вы же заранее знаете, что не возьмете там верх.

Бердж. Мы – нет, но вы...

Фрэнклин. Полно! Полно!

Сэвви. Со Стрэндом ничего не выйдет, мистер Бердж. Я уже агитировала там за одного социалиста. Он сел в лужу.

Бердж. Сел в лужу?

Хэзлем *(давясь от сдерживаемого смеха)*. Неподражаемо!

Сэвви. Вероятно, мне не следовало употреблять выражение «сел в лужу», говоря о достопочтенном члене парламента. Но ведь это же Стрэнд! Не суйтесь туда.

Фрэнклин. Извините мою дочь, Бердж, – у нее несколько необычные манеры. Но, по существу, я согласен с ней. Наши демократические государственные деятели действительно склонны считать избирателей круглыми невеждами и прирожденными дураками.

Бердж *(с веселым смехом)*. Ах вы старый аристократ! Но поверьте, у народа здоровый инстинкт...

Конрад *(прерывая его, резко)*. Почему же вы тогда не в правительстве, а в оппозиции?

Бердж *(он начинает раздражаться, что его перебивают)*. Морально я отнюдь не в оппозиции. Правительство не представляет страну. Я был устранен из коалиционного кабинета, потому что тори составили заговор против меня. Народ хочет моего возвращения, но я не хочу возвращаться.

Фрэнклин *(мягко, но укоризненно)*. Еще как хотите, дорогой Бердж!

Бердж *(поворачиваясь к нему)*. Нисколько. Я хочу возделывать свой сад. Меня интересуют розы, а не политика. Во мне нет ни капли честолюбия. Политикой я занялся лишь потому, что на эту дорожку меня толкнула жена, будь она неладна. Но я жажду служить отечеству. Для чего мне иначе жизнь? Я хочу спасти страну от тори. Они не представляют народ. Человек, которого они посадили премьером, никогда не представлял народ. Вы это прекрасно знаете. Лорд Данрин – самый твердолобый из всех еще не вымерших старых тори. Что он может дать народу?

Фрэнклин *(перебив Берджа, прежде чем тот успевает – а у него явно было такое намерение – ответить на свой во-*

прос). Отвечу вам. Он может дать ему раз навсегда установленные убеждения и принципы. Известно, что он считает правильным и что неправильным. Народ знает, чего ему ждать от лорда Данрина. А вот чего ждать от ваших сторонников – он не знает. И от вас – тоже.

Бердж *(изумленно)*. И от меня?

Фрэнклин. Да. За что вы стоите? Что вы такое?

Бердж. Вы с ума сошли, Барнабас! Вы спрашиваете, что я такое?

Фрэнклин. Спрашиваю.

Бердж. Если не ошибаюсь, я – Джойс Бердж, которого достаточно хорошо знают и в Европе, и во всем мире как человека, вставшего – пусть незаслуженно, но все-таки не безуспешно – у кормила государственного корабля в дни самой грозной бури, которая когда-либо с силой землетрясения обрушивалась на землю наших предков.

Фрэнклин. Это я знаю. Мне известно, кто вы такой. Меня с силой землетрясения поражает другое. Вы занимали безгранично ответственный пост, но ни я, да и никто другой не знали, каковы ваши убеждения и принципы и есть ли они у вас вообще. Мы знали только, что ваш кабинет состоит в основном из людей, считающих вас охотником за теплым местечком, а вы, в свою очередь, считаете их врагами народа.

Бердж *(полагая, что ловко парирует удар)*. Согласен с вами. Совершенно согласен. Я не верю в коалиционное правительство.

Фрэнклин. Верно. И тем не менее вы дважды возглавляли его.

Бердж. А почему? Потому что мы вели войну. Вот чего не желают понимать люди, подобные вам. Гунны были у ворот. На карте стояло все – отечество, наша жизнь, честь наших матерей, дочерей, жен, судьба наших невинных младенцев. Разве в такое время рассуждают о принципах?

Фрэнклин. А я думаю, что именно в такое время и следовало заявить о своих принципах, укрепив тем самым решимость наших соотечественников и завоевав доверие и поддержку мирового общественного мнения. Неужели вы полагаете, что гунны отважились бы подступить к нашим воротам, если бы они знали, что мы запрем перед ними эти ворота на несокрушимый засов принципов? Разве они не противостояли нам, пока наконец Америка не заявила открыто, что она за принцип демократии, и не

пришла нам на выручку? Почему вы дали американцам лишить Англию этой чести?

Бердж. Американцы слишком любили громкие слова, Барнабас. Вот они и поперхнулись ими на мирной конференции. Бойтесь красноречия: оно – извечное проклятие популярных ораторов вроде вас.

Фрэнклин, Сэвви, Хэзлем *(одновременно)*. Ну и ну! Это мне нравится! Неподражаемо!

Бердж *(продолжает без тени смущения)*. Обратимся к фактам. Кто выиграл войну? Принципы? Нет, британский флот и блокада. Американцы разглагольствовали, я производил снаряды. Принципы не помогают побеждать на войне, но зато помогают побеждать на выборах. Тут я заодно с вами. Вы решили вести предвыборную борьбу на основе принципов. Речь идет об этом, не так ли?

Фрэнклин. Я вообще не желаю никакой борьбы. В нравственном смысле выборы такая же мерзость, как и война, – разве что кровь не льется. Это грязевая ванна для души избирателя, и вы прекрасно знаете, что борьба пойдет здесь не на основе принципов.

Бердж. Напротив, именно и только на основе их. Я считаю всякую писаную программу ошибкой. Я согласен с вами: нам прежде всего нужны принципы.

Фрэнклин. Принципы без программы, так, что ли?

Бердж. Именно так в трех словах.

Фрэнклин. Можно и в двух: пустая болтовня. Принципы без программы именно это и означают.

Бердж *(он удивлен, но терпеливо старается понять, к чему клонит Фрэнклин, и выяснить, сколько придется ему дать)*. Я выразился недостаточно ясно. Послушайте меня. Я согласен с вами. Я на вашей стороне. Я принимаю ваше предложение. О коалиционном правительстве больше нет речи. В кабинете не будет тори. Мы обяжем каждого кандидата высказаться за свободу торговли с небольшими ограничениями в пользу наших заморских доминионов, за отделение церкви от государства, реформу палаты лордов, пересмотр налога на недвижимость и принятие мер для замирения Ирландии. Вас это устраивает?

Фрэнклин. Даже не интересует. Допустим, ваши друзья пойдут на все это. Что они этим докажут? Только то, что они безнадежно отстали от жизни даже как политики, что с тысяча восемьсот восемьдесят пятого года они ни-

чего не забыли и ничему не научились. Какое мне дело до того, что они ненавидят церковь и помещиков, завидуют аристократии и владеют не заводами в Средней Англии, а акциями судоходных компаний? Я могу вам назвать сотни самых отпетых негодяев или дремучих реакционеров, обладающих теми же достоинствами.

Бердж. Личными выпадами никого не убедишь. Уж не считаете ли вы всех тори ангелами лишь потому, что они принадлежат к англиканской церкви?

Фрэнклин. Нет, не считаю. Но, поддерживая ее, они хотя бы едины, а ваши люди, те, кто нападает на церковь, — все кто в лес кто по дрова. У защитников церкви одинаковый взгляд на религию, у каждого из ее противников — свой. Приверженцы церкви — это фаланга; ваши сторонники — сброд, где Плимутские братья теснят атеистов, а «огненные столпы» наступают на пятки позитивистам. С вами и самые отъявленные безбожники, и самые отъявленные фанатики.

Бердж. Мы, как Кромвел, — за свободу совести, если, конечно, вы имели в виду именно это.

Фрэнклин. Как вы можете нести такой вздор над могилами своих честных противников? Любой закон уже ограничивает свободу совести. Много ли свободы предоставите вы человеку, совесть которого не возбраняет ему украсть ваши часы или увильнуть от военной службы? Нет, я не имею в виду свободу совести.

Бердж *(раздраженно)*. Мне хотелось бы, чтобы вы наконец изложили свою платформу. Вы все время повторяете, что надо исповедовать принципы, а когда я выдвигаю их, отвечаете, что они неприемлемы.

Фрэнклин. Вы не выдвинули никаких принципов. Ваши партийные лозунги — это не принципы. Вновь придя к власти, вы оказались бы во главе котерии, состоящей из социалистов и антисоциалистов, крайних империалистов и сторонников изоляции островной Англии, непоколебимых материалистов и экзальтированных квакеров, адептов христианской науки и поборников обязательного оспопрививания, профсоюзных деятелей и бюрократов, одним словом, из людей, которые решительно и непримиримо расходятся во взглядах на основные принципы, определяющие судьбы человека и общества. От подобного сброда нельзя ждать единства, и это вынудит вас вновь продать министерские портфели более устойчивой консервативной оппозиции.

Бердж *(в бешенстве вскакивая)*. Вновь продать портфели? По-вашему, я торгую портфелями?

Фрэнклин. Когда страшный ураган настоящей войны положил конец вашей игрушечной парламентской войне и смел ее героев в помойную яму, вам поневоле пришлось за спиной своих сторонников пойти на тайный сговор с лидерами оппозиции. Они позволили вам остаться у власти, а вы за это похоронили все неугодные им законопроекты. И вы даже не смогли добиться от них соблюдения условий сделки: они немедленно предали ее гласности и навязали вам коалиционный кабинет.

Бердж. Я торжественно заявляю, что это чудовищная ложь.

Фрэнклин. Уж не пытаетесь ли вы отрицать, что все было именно так? Разве эти никем не опровергнутые слухи оказались клеветой, а опубликованные письма — фальшивками?

Бердж. Нет, конечно. Но я здесь ни при чем. Премьером был тогда не я. Им был этот старый болтун, этот сошедший с круга шарлатан Лубин. Он, а не я был тогда премьером.

Фрэнклин. Выходит, вы ничего не знали?

Бердж *(пожав плечами, садится)*. Ну, сказать мне об этом, разумеется, сказали. Но что я мог сделать? Если бы мы не согласились, нам, вероятно, пришлось бы уйти из правительства.

Фрэнклин. Совершенно верно.

Бердж. Но мы не имели права бросить страну на произвол судьбы в столь критический момент. Гунны были у ворот. В такие минуты долг каждого — жертвовать собой ради отечества. Мы обязаны были стать выше партийных интересов, и я с гордостью заявляю: мы и не думали о партии. Мы крепко держались...

Конрад. За власть?

Бердж *(поворачиваясь к нему)*. Да, сэр, за власть. Иными словами, за ответственность, опасность, изнурительный труд, оскорбления, непонимание, за такие муки, что мы охотно поменялись бы участью с солдатами на передовой. Попробуй вы сами долгие месяцы глотать аспирин и бромистый калий, чтобы хоть немного поспать, власть перестала бы казаться вам лакомым кусочком.

Фрэнклин. Значит, вы все-таки признаете, что в условиях нашей парламентарной системы Лубин ничего другого не мог сделать?

Бердж. Что касается Лубина, на устах моих печать. Я ни за

что не скажу ни слова против старика. Никогда не говорил и не скажу. Он стар, он никогда не был подлинным государственным деятелем, потому что ленив, как кот на печи, и не желает ни во что вникать. Он умеет одно: разглагольствовать в стиле, который приемлем для тех, кто сидит в парламенте на задних скамьях. И все-таки я не скажу о нем ничего худого. Я понимаю, вы не очень высоко цените меня как государственного человека, но я-то, во всяком случае, кое на что способен. У меня есть энергия — этого не станете отрицать даже вы. Но Лубин! О боги, Лубин! Если бы вы только знали...

Горничная распахивает дверь и докладывает.

Горничная. Мистер Лубин.

Бердж *(вскакивая с кресла)*. Лубин?.. Это что, заговор?

Все в замешательстве встают, глядя на дверь. Входит Лубин, йоркширец лет семидесяти, с седыми волосами, еще позволяющими догадаться, что когда-то он был блондином скандинавского типа. Манеры у него неброские, держится он без претензий, явно полагая, что ему и так обеспечено всеобщее уважение, но в нем чувствуются исключительное спокойствие и уверенность в себе, резко контрастирующие с тревожным интеллектуализмом Фрэнклина и гипнотической самовлюбленностью Берджа. В его присутствии они сразу начинают выглядеть несчастными: рядом с этой цветущей личностью им так же неуютно, как четырехгранной втулке в круглом отверстии бочки.

Горничная уходит.

Лубин *(направляясь к Фрэнклину)*. Как поживаете, мистер Барнабас? *(Тон у него непринужденный и любезный, словно хозяин здесь он, а Фрэнклин — смущенный, хотя и желанный гость.)* Однажды я уже имел удовольствие встретиться с вами в Мэншен Хаус. Если не ошибаюсь, это был прием по случаю сотой годовщины мира с Америкой.

Фрэнклин *(пожимая ему руку)*. Нет, это произошло много раньше, на митинге по венесуэльскому вопросу, когда у нас с Америкой чуть не дошло до войны.

Лубин *(невозмутимо)*. Да, да, совершенно верно. Я отлично помню — что-то связанное с Америкой. *(Похлопывает Фрэнклина по руке.)* Ну, как вы жили эти годы? Все в порядке, не так ли?

Фрэнклин *(смягчая сарказм улыбкой)*. Если не считать некоторого ухудшения здоровья, вполне естественного за столь долгий срок.

Лубин. Еще бы! Еще бы! *(Переводя взгляд на Сэвви.)* А эта юная леди...

Фрэнклин. Моя дочь Сэвви.

Сэвви, покинув подоконник, подходит к отцу и Лубину.

Лубин *(горячо пожимая ей руку обеими руками)*. Почему же она никогда не заглянет к нам?

Бердж. Мне кажется, Лубин, вы не заметили, что и я здесь.

Сэвви, пользуясь случаем, отступает к дивану, куда украдкой перебирается и Хэзлем, садящийся слева от нее.

Лубин *(с неподражаемой непринужденностью усаживаясь в кресло Берджа)*. Дорогой Бердж, вы крайне несправедливы к себе, если полагаете, что ваше присутствие и вашу энергию можно не ощутить даже на расстоянии в десять миль. Как поживаете? Как поживают ваши друзья газетчики?

Бердж, готовый взорваться, делает резкий жест, но Лубин все так же невозмутимо и благодушно продолжает.

И что, осмелюсь спросить, привело вас к моему старому другу Барнабасу?

Бердж *(усаживаясь в кресло Конрада, который, растерявшись от неожиданности, остается стоять в углу)*. Могу ответить, если угодно: то же, что и вас. Я здесь, чтобы заручиться поддержкой мистера Барнабаса, весьма ценной для моей партии.

Лубин. Для вашей партии? То есть для партии газетчиков?

Бердж. Для либеральной партии, лидером которой я имею честь быть.

Лубин. Неужели? Очень интересно. Мне казалось, что лидер либеральной партии – я. Как бы то ни было, вы очень любезны, пытаясь снять с меня такое бремя, если, конечно, партия вам позволит.

Бердж. Вы как будто намекаете, что я не пользуюсь доверием и поддержкой партии?

Лубин. Я ни на что не намекаю, дорогой Бердж. Мистер Барнабас может подтвердить, что все мы ценим вас чрезвычайно высоко. Страна многим вам обязана. В годы войны вы весьма успешно обеспечивали снабжение фронта. Правда, на мирной конференции вы действо-

вали не столь успешно, но все равно в ваших благих намерениях никто не сомневается.

Бердж. Вы чрезвычайно любезны, Лубин. Позвольте только заметить, что невозможно возглавлять прогрессивную партию, не двигаясь вперед.

Лубин. Вы хотите сказать, невозможно для вас? А вот я без малейшего затруднения делал это целых десять лет. И это были очень приятные годы — годы спокойствия и процветания.

Бердж. Да, но чем они кончились?

Лубин. Вашим приходом к власти, Бердж. Надеюсь, вы на это не в претензии?

Бердж *(яростно)*. Они кончились мором и голодом, мечом, огнем и смертоубийством.

Лубин *(одобрительно хмыкнув)*. Я вижу, даже нонконформист умеет цитировать молитвенник, когда ему это выгодно. Как вы ликовали, Бердж, когда стали премьером! Помните вы этот нокаут?

Бердж. Не забывайте: в нокауте оказался не я. А вы помните, как боролись до последней капли крови?

Лубин *(невозмутимо, Фрэнклину)*. Кстати, я отлично помню вашего брата Конрада. Приятный человек, исключительный ум! Он еще тогда все объяснял мне, что нельзя бороться до последней капли крови, — человек умрет задолго до этого. Чрезвычайно интересная и совершенно верная мысль! Меня познакомили с ним на митинге, где я выдержал атаку суфражисток. Когда их пришлось вывести силой, они истошно вопили и лягались.

Конрад. Нет, это произошло позднее, на митинге в поддержку билля о предоставлении женщинам избирательных прав.

Лубин *(замечая наконец Конрада)*. Совершенно верно. Я отлично помню — что-то связанное с женщинами. Память никогда не изменяет мне. Благодарю. Не познакомите ли меня с этим джентльменом, Барнабас?

Конрад *(далеко не любезно)*. Я и есть тот самый Конрад. *(Обиженно опускается на свободный чипендейловский стул.)*

Лубин. Неужели? *(Приветливо смотрит на Конрада.)* Ну, разумеется, это вы. У меня безошибочная память на лица. Но *(указывая глазами на Сэвви)* ваша прелестная племянница без остатка приковала к себе мое внимание.

Бердж. Поговорим же наконец серьезно, Лубин. Ей-богу, мы

прошли через такие страшные испытания, что нам пора бы стать серьезными.

Лубин. Я полагаю, нет нужды напоминать мне об этом. В мирное время, для поддержания своей работоспособности, я по воскресеньям старался отрешиться от всяких мирских забот. Но на войне нет праздников, и за последние годы случались воскресенья, когда я был вынужден играть по шестьдесят шесть партий в бридж, чтобы не думать об известиях с фронта.

Бердж *(скандализованный)*. Шестьдесят шесть партий в воскресенье!

Лубин. Вы, вероятно, пели по шестьдесят шесть псалмов. Но в отличие от вас я не могу похвалиться ни звучным голосом, ни особой набожностью; поэтому мне оставалось одно – играть в бридж.

Фрэнклин. Если позволите, вернемся к цели вашего визита. Замечу вам, что, по-моему, вы оба вполне могли бы уступить свои места лейбористской партии.

Бердж. Но я и сам лидер лейбористов в истинном смысле этого слова. Я... *(Обрывает на полуслове, потому что Лубин, подавив легкий зевок, встает и невозмутимо начинает говорить, хотя и без большого воодушевления.)*

Лубин. Лейбористской партии? О нет, мистер Барнабас! Нет, нет и еще раз нет. *(Направляется к Сэвви.)* В этом смысле нам не угрожают никакие осложнения. Разумеется, мы должны будем уступить лейбористам несколько мест. Допускаю даже, больше мест, чем мы рассчитывали до войны, но... *(Подходит к дивану, где сидят Сэвви и Хэзлем, садится между ними, берет Сэвви за руку и оставляет разговор о лейбористах.)* Ну-с, милая девушка, что у вас хорошего? Что вы поделываете? Смотрели последнюю пьесу Шодди? Расскажите мне поподробнее о ней, о новых книгах, вообще обо всем.

Сэвви. Вы не знакомы с мистером Хэзлемом? Это наш приходский священник.

Лубин *(и сейчас еще не замечая Хэзлема)*. Никогда о нем не слышал. Стоящий человек?

Сэвви. Я только что представила вам его. Вот это и есть мистер Хэзлем.

Хэзлем. Здравствуйте!

Лубин. Прошу прощения, мистер Хэзлем. Счастлив познакомиться. *(К Сэвви.)* Ну-с, много ли вы написали новых книг?

Сэвви *(она ошеломлена, но разговор забавляет ее)*. Ни одной. Я не писательница.

Лубин. Неужели? Чем же вы тогда занимаетесь? Музыкой? Танцами в тунике?

Сэвви. Ничем.

Лубин. Слава богу! Мы с вами созданы друг для друга. Кто же ваш любимый поэт, Сэлли?

Сэвви. Сэвви.

Лубин. Сэвви? Впервые слышу. Расскажите о нем. Я не хочу отставать от века.

Сэвви. Это не поэт. Это меня зовут Сэвви, а не Сэлли.

Лубин. Сэвви! Странное имя, но звучит очень мило. Сэвви! Похоже на китайское. Что оно означает?

Конрад. Сокращенное «сэвидж».

Лубин *(трепля Сэвви по руке)*. La belle sauvage![1]

Хэзлем *(встает и, предоставив Сэвви Лубину, переходит к камину)*. Мне кажется, что, коль скоро речь идет о прогрессивной политике, церкви здесь нечего делать.

Бердж. Чепуха! Утверждение, будто церковь несовместима с прогрессом, — это один из тех лозунгов, которые наша партия должна отбросить. Покончите с церковью как государственным институтом, покончите с епископами, подсвечниками, тридцатью девятью статьями, и англиканская церковь станет не хуже любой другой. Я готов повторить это где угодно.

Лубин. Не сомневаюсь, дорогой Бердж: вам ведь безразлично, кто вас слушает. *(К Сэвви.)* Так кто же ваш любимый поэт?

Сэвви. У меня нет любимчиков среди поэтов. А кто ваш?

Лубин. Гораций.

Сэвви. Какой Гораций?

Лубин. Квинт Гораций Флакк, благороднейший из римлян, дорогая моя.

Сэвви. А, он из мертвых! Тогда все понятно. У меня на этот счет есть своя теория. Если мертвецы возбуждают в нас особый интерес, значит, мы сами когда-то были этими людьми. Вы, наверно, очередное воплощение Горация.

Лубин *(восхищенно)*. В жизни не слышал более тонкой, глубокой и проникновенной мысли! Барнабас, поменяемся дочерьми. Предоставляю вам выбор — у меня их две.

Фрэнклин. Человек предполагает, Сэвви располагает.

Лубин. И что же скажет Сэвви?

---

[1] Прекрасная дикарка *(франц.)*.

Бердж. Лубин, я здесь для того, чтобы говорить о политике.

Лубин. Совершенно верно, Бердж: вы же не признаете других тем. А я здесь для того, чтобы болтать с Сэвви. Отведите Берджа в соседнюю комнату, Барнабас, – пусть он там выговорится.

Бердж *(полусердито, полуснисходительно)*. Ну, довольно, Лубин. Мы все-таки переживаем кризис...

Лубин. Дорогой Бердж, жизнь – это болезнь, и различие между людьми определяется тем, на какой стадии болезни каждый находится. Вы всегда в состоянии кризиса, а я – в состоянии выздоровления и наслаждаюсь им. Выздоровление – настолько приятная стадия, что ради нее стоит поболеть.

Сэвви *(приподнимаясь)*. Я, пожалуй, лучше уйду, чтобы не отвлекать вас.

Лубин *(усаживая ее на место)*. Ни в коем случае, дорогая моя. Вы отвлекаете только Берджа, а ему полезно отвлечься, ради такой прелестной девушки – тем более. Это как раз то, что ему нужно.

Бердж. Я порой завидую вам, Лубин. Великий прогресс человечества, исполинский вихрь столетий – все проносится мимо вас, а вы стоите на месте.

Лубин. Благодарю вас, но я не стою, а сижу, и притом очень удобно. Покрутитесь в этом вихре. Когда устанете, вернетесь и найдете Англию такой же, какой она была, а я буду сидеть на своем обычном месте и слушать рассказы мисс Сэвви о разных интересных вещах.

Сэвви *(проявлявшая во время этого диалога все более явное беспокойство)*. Не давайте ему перебивать вас, мистер Бердж. Видите ли, мистер Лубин, я ужасно интересуюсь рабочим движением, и теософией, и послевоенной реконструкцией, и еще многим другим. Не сомневаюсь, что элегантным девицам из вашего высшего круга жутко льстит, когда вы сидите и любезничаете с ними, как сейчас со мной, но я не элегантна и мало похожа на обычных девиц. У меня нет вкуса, но есть серьезные интересы. Будьте же и вы серьезны, а если не будете, я пересяду к мистеру Берджу и попрошу его взять меня за руку.

Лубин. Но, дорогая моя, он даже не знает, как это делается. Берджа считают записным волокитой...

Бердж *(подскакивая)*. Лубин, это неслыханно! Я...

Лубин *(продолжая)*. Но на самом деле он примерный семьянин. Его имя связывают с самыми прославленными кра-

савицами, но для него в мире есть лишь одна женщина – и это не вы, дорогая, а его прелестная жена.

Бердж. Вы прикидываетесь защитником моей репутации лишь для того, чтобы порочить ее. Будьте добры ограничиться собственной особой и собственной супругой. Им-то и следует посвятить все ваше внимание.

Лубин. Я пользуюсь преимуществом, которое дают мне мой возраст и очевидная для всех безгрешность. Мне ведь нет нужды так упорно бороться с собой, как вам при вашей вулканической энергии.

Бердж *(с глубоким сознанием своей силы)*. Еще бы!

Фрэнклин. Мне кажется, мистер Лубин, я выражу мнение не только свое и брата, но, вероятно, и своей дочери, если скажу, что нам было бы весьма интересно познакомиться с вашими политическими взглядами, поскольку и ваш визит, и визит мистера Джойса Берджа, безусловно, продиктованы политическими соображениями.

Лубин *(с несокрушимым благодушием подчиняясь просьбе, разом берет ясный, вежливый, деловой тон)*. С удовольствием, мистер Барнабас. На мой взгляд, нам, прежде всего, следует выяснить, в какой мере мы можем надеяться, что после выборов вы займете в парламенте место рядом с нами.

Фрэнклин. Мистер Лубин, под словом «политика» я разумею отнюдь не выборы, депутатские места, партийные фонды, избирательные списки или даже, как это ни прискорбно, парламент в его теперешнем виде. Лучше уж говорить о бридже, чем о предвыборной возне: первая игра интереснее второй.

Бердж. Он хочет спорить о принципах, Лубин.

Лубин *(холодно и отчетливо)*. Я отлично понимаю мистера Барнабаса. Но выборы – величина переменная, а принципы – величина постоянная.

Конрад *(нетерпеливо)*. Боже правый!

Лубин *(невозмутимо и властно останавливая его)*. Минутку, доктор Барнабас. Основные принципы, на которых зиждется современное цивилизованное общество, достаточно полно усвоены образованными людьми. Опасность, однако, в том, что полуобразованная масса и ее любимцы – демагоги, да простит мне Бердж столь резкое выражение...

Бердж. Продолжайте и не беспокойтесь обо мне. У меня найдется, что сказать.

Лубин. Что полуобразованная масса не сознает, как прочны

и устойчивы эти принципы. Возьмите, к примеру, весь этот шум вокруг лейбористской партии, ее мнимой новой политики и новых принципов. Члены ее еще убедятся, что, при всем своем честолюбии и претензиях, они способны изменить незыблемые законы политической экономии не в большей степени, чем закон всемирного тяготения. Смею утверждать, что заявляю это со знанием дела: я специально занимался рабочим вопросом.

Фрэнклин *(с интересом и не без удивления)*. Серьезно?

Лубин. Да. Это было еще в начале моей политической карьеры. Мне предложили выступить перед слушателями рабочего университета и настоятельно посоветовали не отказываться: в те годы там выступали и Гладстон, и Морли, и другие. Задача была не из легких – тогда я еще не познакомился с политической экономией. Как вам известно, по профессии я юрист, а в университете занимался классической филологией. Но я полистал справочники и тщательно изучил вопрос. Вывод мой был таков: правильная точка зрения состоит в том, что в основе тред-юнионизма, социализма и прочего лежит порожденная невежеством иллюзия, будто заработная плата, производство и распределение национального богатства могут регулироваться законодательством или иными формами человеческой деятельности. На самом деле они подчиняются лишь строго научным законам, открытым и обоснованным крупнейшими авторитетами в этой области. Естественно, что теперь, столько лет спустя, я уже не помню хода своих рассуждений во всех подробностях, но, если угодно, за несколько дней восстановлю его в памяти, и можете не сомневаться, что при случае я сумею дать твердый и убедительный отпор этим невежественным и беспомощным в практическом смысле людям, с той, конечно, оговоркой, что мне придется в разумных пределах проявить к ним терпимость и несколько польстить им, чтобы, отказывая им в поддержке, не задеть при этом чувства избирателей из рабочего класса. Короче говоря, я могу повторить свое выступление почти без подготовки.

Сэвви. Но, мистер Лубин, у меня тоже университетское образование, и я знаю, что все эти незыблемые законы политической экономии, якобы управляющие заработной платой и распределением богатства, не что иное, как старомодный вздор.

Фрэнклин *(шокированный)*.Но, дорогая, это же невежливо!

Лубин. Нет, нет, не браните ее. Не надо ее бранить. *(К Сэвви.)* Я понимаю: вы — ученица Карла Маркса.

Сэвви. Да нет же. Экономическое учение Карла Маркса — совершенный нонсенс.

Лубин *(наконец несколько растерялся и он)*. Ну и ну!

Сэвви. Прошу прощения, мистер Лубин, но это все равно что вести разговоры про эдемский сад.

Конрад. А почему бы о нем не поговорить? Во всяком случае, такие разговоры — первый намек на биологию.

Лубин *(вновь обретая самообладание)*. Ничего не имею против. Я ведь слыхал о Дарвине.

Сэвви. Дарвин тоже устарел.

Лубин. Как! Уже?

Сэвви. Мистер Лубин, не надо смеяться надо мной — вы не чеширский кот. Я не собираюсь сидеть и помалкивать, как примерная жена прошлого века, чтобы вы, мужчины, могли завладеть разговором и выдавать всякую допотопную дребедень за последнее слово политической мудрости. То, что я говорю, мистер Лубин, — это не мои собственные домыслы, а самая ортодоксальная точка зрения современной науки. Только форменные ископаемые могут утверждать, что в основе социализма лежит незнание политической экономии и что эволюцию придумал Дарвин. Это вам подтвердит кто угодно — мой отец, дядя, первый встречный на улице. *(Встает и через всю комнату идет к Хэзлему.)* Билл, дайте мне папиросу.

Хэзлем. Неподражаемо! *(Дает ей закурить.)*

Фрэнклин. Сэвви прожила еще слишком мало, чтобы научиться хорошим манерам. Но что поделаешь, мистер Лубин? Так относится к вам все наше молодое поколение. Не кури, дорогая.

Сэвви, пожав плечами в знак протеста, бросает папиросу в камин. Хэзлем, также собиравшийся закурить, прячет папиросы.

Лубин *(серьезно и строго)*. Признаюсь, мистер Барнабас, я озадачен. Не стану утверждать, что меня убедили, но готов внять убеждениям. Допускаю, что могу быть и не прав.

Берджс *(откровенно саркастически)*. Что вы, что вы! Это исключено.

Лубин. Да, мистер Барнабас, могу. Хотя у меня и нет гениальной способности Берджса всегда ошибаться, мне случалось раз или два оказаться в таком положении.

Я не в силах скрыть от вас, даже если бы хотел, что я всегда был настолько поглощен своими профессиональными обязанностями – сперва как юрист, а затем как лидер палаты общин в те годы, когда премьер-министры являлись также лидерами...

Бердж *(уязвленный)*. Не говоря уже о бридже и светских развлечениях.

Лубин. Не говоря уже о моих непрерывных и утомительных попытках приучить Берджа вести себя прилично. Повторяю, у меня не оставалось времени читать и держаться на уровне современного знания. Классиков я не забыл, потому что люблю их, но в области науки и политической экономии, вероятно, несколько отстал от века. Полагаю тем не менее, что, если вы с братом снабдите меня соответствующими материалами, я сумею выступить в палате, да и перед всей страной так, чтобы полностью удовлетворить вас. Видите ли, до тех пор пока вы способны доказать всем этим беспокойным полуобразованным людям, стремящимся поставить мир вверх дном, что они городят чушь, до тех пор, в сущности, неважно, в каких выражениях вы это делаете – в тех, которые мисс Барнабас именует допотопной дребеденью, или в тех, которые, вероятно, покажутся такой же несусветной чепухой ее внучке. Я не возражаю против развенчания Карла Маркса. Я сумел бы сказать против Дарвина немало такого, что пришлось бы по душе очень многим искренне верующим избирателям. Если можно облегчить себе руководство страной, признав, что теперешнее положение вещей следует именовать социализмом, я отнюдь не отказываюсь от такого обозначения. История знает подобный прецедент: император Константин спас современное ему общество, согласившись назвать свой империализм христианством. Заметьте, я не склонен опережать желания избирателей. Их нельзя называть социалистами, пока они...

Фрэнклин. Не стали ими. Согласен.

Лубин. Нет, этого совершенно незачем ждать. Просто их не следует называть социалистами, пока они не захотят, чтобы их так называли. Надеюсь, вы не отрицаете за мной права называть избирателей джентльменами, хотя они еще далеко не стали ими? Я называю их джентльменами, потому что они желают, чтобы их так называли. *(Поднимается с дивана, подходит к Фрэнклину и успокоительно кладет ему руку на плечо.)* Не бойтесь социализ-

ма, мистер Барнабас. У вас нет основания трепетать за свою собственность, положение и достоинство. Какие бы новые политические термины ни входили в моду, Англия останется Англией. Я не намерен препятствовать переходу к социализму. Можете положиться на меня: я возглавлю его сторонников, поведу их, облеку их чаяния в надлежащую форму и очищу от нелепого утопизма. Поэтому, исходя из самых передовых социалистических, равно как самых здравых либеральных, принципов, я считаю себя вправе открыто и честно просить у вас поддержки.

Бердж. Скажем кратко, Лубин: вы неисправимы. Вы уверены, что в мире никогда и ничто не изменится. По-вашему, тяжкий труд – извечный удел миллионов, удел народа, моего народа, потому что я тоже человек из народа...

Лубин *(презрительно перебивая)*. Не будьте смешным, Бердж. Вы – провинциальный адвокат, более далекий от народа, чуждый ему и враждебный всякой его попытке подняться до вашего уровня, чем любой герцог или архиепископ.

Бердж *(пылко)*. Категорически отрицаю. Вы думаете, я не знал бедности? Не чистил сам себе ботинки? Не чувствовал, чистя их, как прохудились подметки? Вы думаете...

Лубин. Я думаю, что вы впадаете в широко распространенную ошибку, полагая, будто пролетариев делает бедность, а джентльменов – деньги. Это совершенно неверно. Вы не из народа, вы из неимущих. Безденежье и прохудившиеся подметки – это атрибуты неудачников из средних слоев, обычные спутники врачей, адвокатов и младших сыновей на первых порах их карьеры. Покажите мне английскую ферму, где батраки ходили бы в рваных башмаках. Назовите нашего рабочего-металлиста бедняком – он вам голову за это проломит. Когда на митингах вы говорите о миллионах трудящихся, ваши избиратели отнюдь не относят эти слова к себе: у каждого из них обязательно найдется дальний родственник с титулом или поместьем. Я – йоркширец, друг мой. Я знаю Англию, вы – нет. В противном случае вы знали бы...

Бердж. Что же вы знаете такого, чего не знаю я?

Лубин. Я знаю, что мы слишком злоупотребляем временем мистера Барнабаса.

Фрэнклин встает.

Могу ли я рассчитывать, дорогой Барнабас, что вы поддержите нас, если нам удастся добиться перевыборов раньше, чем будет окончательно составлен список кандидатов?

Бердж *(также вставая)*. Может ли рассчитывать на вашу поддержку наша партия? О себе я молчу. Может ли положиться на вас партия? Есть ли у вас вопросы, на которые я еще не ответил?

Конрад. А мы и не задавали вам вопросов.

Бердж. Вправе ли я рассматривать это как знак доверия?

Конрад. Будь я рабочим из вашего избирательного округа, я задал бы вам один биологический вопрос.

Лубин. Нет, дорогой доктор, не задали бы. Рабочие не задают вопросов.

Бердж. Задайте его сейчас. Я никогда не боялся ехидных вопросов. Ну, выкладывайте. Что-нибудь насчет землевладения?

Конрад. Нет.

Бердж. Насчет церкви?

Конрад. Нет.

Бердж. Палата лордов?

Конрад. Нет.

Бердж. Пропорциональное представительство?

Конрад. Нет.

Бердж. Свобода торговли?

Конрад. Нет.

Бердж. Преподавание закона божьего в школах?

Конрад. Нет.

Бердж. Ирландия?

Конрад. Нет.

Бердж. Германия?

Конрад. Нет.

Бердж. Значит, о республике? Ну? Я не задержу с ответом. Или о монархии?

Конрад. Нет.

Бердж. О чем же тогда, черт побери?

Конрад. Надеюсь, вы понимаете, что я задаю вопрос от имени рабочего, получавшего до войны тринадцать шиллингов в неделю, а теперь получающего тридцать, если у него есть работа...

Бердж. Да, понимаю. Я готов. Выкладывайте.

Конрад. И притом от имени такого рабочего, которого вы намерены представлять в парламенте?

Бердж. Да, да. Валяйте.

Конрад. Тогда я спрошу, разрешите ли вы вашему сыну жениться на моей дочери или вашей дочери выйти за моего сына?

Бердж *(опешив)*. Что за шутки? Это же не политический вопрос.

Конрад. Если так, я, биолог, теряю всякий интерес к вашей политике и даже не дам себе труда перейти в день выборов через улицу, чтобы проголосовать за вас или за кого бы то ни было. До свиданья!

Лубин. Съели, Бердж? Поделом. Доктор Барнабас, заверяю вас, что моя дочь выйдет за того, кого выберет сама, будь то лорд или простой рабочий. Могу я теперь рассчитывать на вашу поддержку?

Бердж *(срываясь)*. Притворщик!

Сэвви. Довольно!

Все останавливаются, хотя уже были готовы прервать спор и разойтись, и молча смотрят на нее.

Папа, неужели ты их вот так и отпустишь? Им надо сказать – сами они ничего не узнают. Если не хочешь ты, скажу я.

Конрад. Только не ты: ты не читала моей книги и сама ничего не знаешь. Лучше помолчи.

Сэвви. И не подумаю, дядя. Право голоса я получу только в тридцать лет, а мне оно нужно сейчас. Почему двум этим смешным субъектам позволено приходить к нам в дом и третировать нас, словно мир создан лишь затем, чтобы они могли играть в свою дурацкую парламентскую чехарду?

Фрэнклин *(строго)*. Сэвви, гостям грубить не принято.

Сэвви. Прошу прощения. Но разве сам мистер Лубин церемонился со мной? И разве мистер Бердж удостоил меня хоть словом? Я не собираюсь оставаться в долгу. У вас с дядей программа намного лучше, чем у них; только за нее мы и пойдем голосовать. И было бы очень полезно изложить им ее, к чести нашей семьи и во спасение их собственных душ. Прочти-ка им, папа, главу из Евангелия от братьев Барнабас.

Лубин и Бердж вопросительно смотрят на Фрэнклина: они явно подозревают его в намерении основать новую партию.

Фрэнклин. Это правда, мистер Лубин. Мы с братом дей-

ствительно разработали свою небольшую программу, которая...

Конрад *(перебивая)*. Небольшую? Нет, всеобъемлющую. И не только для нас лично, но для всего цивилизованного мира.

Бердж. Но не лучше ли сперва изложить ее, а уж потом идти на раскол партии? Видит бог, с нас довольно расколов! Я пришел сюда учиться. Пришел для того, чтобы выслушать ваше мнение и стать его выразителем. Ознакомьте же меня с вашими взглядами. Я готов к любым спорам, но пока что вы задали мне лишь один нелепый вопрос, не имеющий никакого касательства к политике.

Фрэнклин. Честно говоря, я боюсь, что излагать вам нашу программу – значит попусту терять время. Она вряд ли вас заинтересует.

Бердж *(с вызовом)*. А вы попробуйте. Лубин, если хочет, пусть уходит. Я же охотно восприму любую новую идею.

Фрэнклин. Угодно вам послушать, мистер Лубин, или мне лучше проститься с вами, предварительно поблагодарив вас за любезный и приятный нам визит?

Лубин *(с покорным видом опускается на диван, непроизвольно сделав при этом такой жест, словно он подавляет зевок)*. С удовольствием послушаю, мистер Барнабас. Но вам, разумеется, известно, что я вправе принять какие бы то ни было поправки к партийной платформе лишь в том случае, если они поступят ко мне через национальную федерацию либералов, снестись с которой вы можете через посредство местного отделения либерально-радикальной ассоциации.

Фрэнклин. Я мог бы сослаться на множество добавлений к вашей партийной программе, о которых даже не слыхивали местные отделения вашей федерации, но я понимаю, что вам это, в сущности, неинтересно, и оставлю этот разговор.

Лубин *(несколько стряхнув в себя дремоту)*. Вы совершенно неверно истолковали мои слова. Прошу вас не понимать их в таком смысле. Я лишь...

Бердж *(перебивая)*. Да оставьте вы федерацию в покое. Я сам отвечу за нее. Говорите, Барнабас, говорите и не обращайте внимания на Лубина. *(Садится в то кресло, которое раньше перехватил у него Лубин.)*

Фрэнклин. В нашей программе всего один пункт: продлить человеческую жизнь до трехсот лет.

Лубин *(кротко)*. Как?

Бердж *(громоподобно)*. Что?

Сэвви. Наш предвыборный лозунг – «Назад к Мафусаилу».

Лубин и Бердж переглядываются.

Конрад. Не бойтесь. Мы не сошли с ума.

Сэвви. И они не шутят, а говорят всерьез.

Лубин *(осторожно)*. Я охотно допускаю, что в известном смысле, которого я покамест не улавливаю, вы, мистер Барнабас, говорите совершенно серьезно. Тем не менее позволю себе спросить, какое отношение имеет все это к политике?

Фрэнклин. Самое очевидное. Вам, мистер Лубин, сейчас под семьдесят. Мистер Джойс Бердж моложе вас лет на одиннадцать. Оба вы останетесь в памяти потомства как представители той группы незрелых европейских политиков и монархов, которые, изо всех сил ревнуя о благе своих народов, добились лишь того, что едва не разрушили цивилизацию Европы и вычеркнули из жизни много миллионов ее обитателей.

Бердж. Меньше миллиона.

Фрэнклин. Это цифра лишь наших потерь.

Бердж. Ну, если вы принимаете в расчет иностранцев...

Хэзлем. Видите ли, господь бог тоже принимает их в расчет.

Сэвви *(с глубоким удовлетворением)*. Хорошо сказано, Билл!

Фрэнклин. Я вас не виню: ваша задача выше человеческих сил. Вам дали в руки огромные армии, грозные средства разрушения, аппарат принуждения, опирающийся на всевластную полицию, и поставили вас управлять такими колоссальными силами, что одна лишь мысль о них приводит человека в трепет, даже если силы эти вверены бесконечно благому и мудрому божеству, а не простым смертным, которым не отпущено на жизнь и ста лет.

Бердж. Не забывайте: мы все-таки выиграли войну.

Фрэнклин. Нет, ее выиграли солдаты и матросы, вы же – только закончили. И проделали это настолько неумело, что, видя, сколько детей погибло от голода в первые годы заключения мира, мы не раз с сожалением вспоминали о временах войны.

Конрад. Оставим бесполезные споры. Теперь уже совершенно ясно, что наша цивилизация выдвинула такие политические и социальные проблемы, разрешить которые не под силу обыкновенному человеку, этому грибу, увядаю-

щему и гибнущему как раз тогда, когда у него появляются первые проблески мудрости и знаний, необходимые для того, чтобы управлять собой.

Лубин. Чрезвычайно интересная мысль, доктор! Экстравагантная, фантастическая, но чрезвычайно интересная! В молодости я сам весьма остро ощущал ограниченность своих человеческих возможностей.

Бердж. Бог свидетель, я тоже нередко чувствовал, что не в состоянии больше продолжать свое дело, но меня поддерживало сознание, что я — лишь орудие в руках высшей силы.

Конрад. Очень рад, что вы оба согласны — и с нами, и друг с другом.

Лубин. Я, пожалуй, так далеко еще не зашел. В конце концов, даже на моей и вашей памяти, у нас было немало талантливых политических деятелей.

Фрэнклин. А вы не читали их новейших биографий, например изданных Дилком, где раскрывается подлинная правда о них?

Лубин. Я не почерпнул в этих книгах ничего для себя нового, мистер Барнабас.

Фрэнклин. Как! Даже того, что довольно долгое время Англией правила маленькая женщина, хорошо знавшая, чего она хочет?

Сэвви. Правильно! Правильно!

Лубин. Такое случалось уже не раз. Кого вы имеете в виду?

Фрэнклин. Королеву Викторию, которая обращалась с вашими премьер-министрами, как с малолетними шалунами: когда ей становилось невмоготу терпеть их капризы и ссоры, она сталкивала их лбами. Не прошло и тринадцати лет после ее смерти, как Европа превратилась в ад.

Бердж. Совершенно верно. А все потому, что ее воспитали в религиозном духе и она считала себя орудием провидения. Видите ли, когда государственный деятель помнит, что он всего лишь такое орудие, и убежден, что правильно толкует предначертания господни, он обязательно справится со своей задачей.

Фрэнклин. Кайзер тоже был в этом убежден, но разве он справился со своей задачей?

Бердж. И все-таки надо быть справедливым, даже к кайзеру. Надо быть справедливым.

Фрэнклин. А вы были справедливы к нему, когда победили на выборах под лозунгом «Повесим кайзера!»?

Бердж. Вздор! Я — человек, начисто не способный повесить

ближнего. Но ведь народ не внял бы голосу разума. Кроме того, я знал, что голландцы его не выдадут.

Сэвви. Хватит вам спорить о бедном старом Вилли. Вернемся лучше к нашей теме. Пусть два эти джентльмена сами решают. Как вы считаете, мистер Бердж, способен мистер Лубин управлять Англией?

Бердж. Нет. Честно говорю – нет.

Лубин *(негодующе)*. Вот как?

Конрад. Почему?

Бердж. Да потому, что у него нет совести.

Лубин *(он изумлен и шокирован)*. Однако!

Франклин. Мистер Лубин, считаете ли вы, что Джойс Бердж способен управлять Англией?

Лубин *(взволнованно и обиженно, но с достоинством и без горечи)*. Извините, мистер Барнабас, но прежде чем дать ответ на ваш вопрос, я хотел бы сказать еще два слова. Мы часто расходились во мнениях, Бердж, и ваши друзья газетчики писали обо мне много нелестного. Но мы долгие годы работали вместе, и, надеюсь, я не совершил ничего такого, что оправдало бы брошенное вами чудовищное обвинение. Вы действительно считаете, что у меня нет совести?

Бердж. Лубин, я не в силах противиться, когда обращаются к моим чувствам; воззвав к ним, вы поступили очень умно. Я готов кое в чем уступить. Не хочу сказать, что вы плохой человек. Не скажу даже, что не люблю вас, хотя вы постоянно старались обескуражить и принизить меня. Однако разум ваш похож на зеркало. Вы чрезвычайно ясно, остро и отчетливо различаете то, что у вас под носом, но не замечаете ни того, что впереди, ни того, что сзади. У вас нет ни предвидения, ни памяти. Вы лишены последовательности, а человеку непоследовательному не свойственны ни честь, ни совесть. В результате вы были на редкость скверным министром и порою на редкость скверным другом. А теперь можете отвечать на вопрос Барнабаса и говорить обо мне все, что душе угодно. Он спрашивал, способен ли я управлять Англией.

Лубин *(овладев собой)*. После всего, что здесь произошло, я особенно горячо хотел бы сказать: «Да, Бердж, способны». Но мне думается, вы сами вынесли себе приговор. Вы олицетворяете то качество, которое было слишком популярно в нашей стране и слишком сильно влияло на нее с тех самых пор, как Джозеф Чемберлен ввел его

в моду,— голую энергию, не подкрепленную ни интеллектом, ни культурой. У вас недисциплинированный ум. Вы не обогатили его необходимыми познаниями, не развили общением с образованными людьми в одном из наших великих рассадников науки. А поскольку я, на свое счастье, обладаю этим преимуществом, мой образ мышления вам недоступен. Скажу честно, именно это и доказывает вашу непригодность. Наступление мира продемонстрировало всю вашу слабость.

Бердж. Вот как? А что же в это время продемонстрировали вы?

Лубин. Вы и ваши союзники-газетчики оттерли меня от руководства. Я ничего не продемонстрировал в мирное время, потому что был отодвинут в сторону.

Фрэнклин. Полно! Сознайтесь-ка лучше, что вы оба преувеличиваете свою роль. Война пошла так, как хотела Англия, но мир оказался совсем не таким, как хотела она, и непохожим на то, каким вы заранее столь бойко изображали его. Ваш мирный договор превратился в клочок бумаги еще до того, как на нем высохли чернила. Государственные деятели Европы проявили свою неспособность управлять ею. Им недоставало двух-трех веков опыта и тренировки. Весь их багаж сводился к нескольким годам адвокатуры или службы в банке, охоты на куропаток или игры в гольф. А теперь, когда на города и гавани нацелены чудовищные орудия, когда гигантские самолеты готовы в любую минуту взмыть к небу и забросать противника бомбами, каждая из которых сносит целую улицу, или пустить на него боевые газы, способные мгновенно умертвить бог знает сколько людей,— теперь мы ждем, что кто-нибудь из вас, господа, выйдет на трибуну и беспомощно объявит нам, таким же беспомощным, как он сам, что снова началась война.

Конрад. Вот именно. Вы, конечно, с большим остроумием попрекаете друг друга после второго завтрака обоюдными недостатками и промахами, но для нас это слишком слабое утешение.

Бердж *(сердито)*. Ну, если пошло на то, скажите сами, чем и кого, сидя у себя в кабинете и перемывая нам косточки, утешили вы, люди, никогда ни за что не отвечавшие и, насколько помнится, не шевельнувшие пальцем, чтобы помочь нам в дни страшного кризиса, который меня лично состарил на десять лет? Назовите хоть один ваш шаг, который помог бы нам во время этой адской передряги.

Конрад. Мы ни в чем вас не виним: вы слишком мало жили. Мы тоже. Неужели вы не понимаете, что жалкие семьдесят лет, которых, может быть, довольно для примитивной крестьянской жизни, слишком малый срок для такой сложной цивилизации, как наша? Флиндерс Петри насчитал девять попыток человечества создать цивилизацию, как это пытаемся теперь сделать мы, и все эти попытки, равно как наша, потерпели неудачу. А не удались они потому, что граждане и государственные деятели умирали от старости или переедания, прежде чем успевали стать подлинно взрослыми и отвыкнуть от варварских забав, сигар и шампанского. Симптомы конца всегда одинаковы: демократия, социализм, избирательное право для женщин. Если мы не поймем, что должны жить дольше, крах наступит еще при жизни нынешнего поколения.

Лубин. Очень рад, что вы, как и я, считаете избирательное право для женщин и социализм признаками упадка.

Франклин. Отнюдь не считаю. Это всего-навсего трудности, которые вам не по плечу. А коль скоро вы неспособны создать социализм, вы неспособны создать цивилизацию и, следовательно, неизбежно возвращаетесь к варварству.

Сэвви. Правильно!

Бердж. Очень меткое замечание. Никто не властен перевести стрелки часов назад.

Хэзлем. Почему? Я часто это проделываю.

Лубин. Ну, будет, будет. Не слишком ли вы размечтались, дорогой Бердж? Мистер Барнабас, я человек терпеливый, но не скажете ли все-таки, какую пользу или выгоду может принести идея, которую нельзя осуществить? Не спорю, живи люди триста лет, мы были бы мудрее и уж во всяком случае взрослей. Но, надеюсь, и вы не станете отрицать, что задаваться несбыточными целями бессмысленно?

Франклин. Твой черед, Конрад. Ответь ему.

Конрад. Стоит ли? По-моему, им и не хочется жить дольше, чем обычно.

Лубин. Я, конечно, всего лишь шестидесятидевятилетний ребенок, но давно уже отучился с плачем требовать, чтобы мне достали луну с неба.

Бердж. Признайтесь наконец, открыли вы эликсир жизни или нет. Если нет, я согласен с Лубином: мы теряем время попусту.

Конрад. А разве ваше время представляет собой какую-нибудь ценность?

Бердж *(не веря своим ушам)*. Мое время? Что вы хотите этим сказать?

Лубин *(с благодушной улыбкой)*. С вашей высоконаучной позиции, профессор, оно действительно не представляет собой никакой ценности. Во всяком случае, несколько минут праздной болтовни, как мне кажется, пойдут Берджу только на пользу. В конце концов, чем разговоры об эликсире жизни хуже чтения романов или иных развлечений, которым предается Бердж, когда не играет в гольф в Уолтен Хис? Что же такое ваш эликсир, доктор Барнабас? Это лимоны? Простокваша? Или что-нибудь поновее?

Бердж. Не успели мы наконец заговорить серьезно, как вы опять понесли вздор. *(Поднимается.)* До свиданья! *(Поворачивается к двери.)*

Конрад *(грубо)*. Ну и умирайте, если охота. До свиданья!

Бердж *(колеблясь)*. Послушайте. До самой смерти Мечникова я дважды в день ел простоквашу. Он считал, что она гарантирует ему вечную жизнь, но как раз от нее и умер.

Конрад. С таким же успехом можете употреблять пивные дрожжи.

Бердж. Значит, вы верите в лимоны?

Конрад. За десять фунтов в рот их не возьму!

Бердж *(вновь опускаясь в кресло)*. Что же вы рекомендуете?

Конрад *(безнадежно махнув рукой)*. Не пора ли кончать, Фрэнк? Теперь они сидят и слушают меня, раскрыв рот и закрыв глаза, но делают это лишь потому, что я доктор биологии и они надеются получить от меня пузырек снадобья, которое сделает их бессмертными. Вот их представление о науке!

Сэвви. Держись, дядя! Не сдавайся!

Конрад, ворча, садится.

Лубин. Вы сами завели разговор о своем открытии, доктор. Я же лично скажу одно – что отнюдь не разделяю модной теперь веры в науку и берусь доказать, что если за последние полвека церковь часто совершала ошибки и даже либеральную партию порою нельзя было назвать непогрешимой, то уж ученые заблуждались всегда и во всем.

Конрад. Да, если речь идет о субъектах, которых именуете учеными вы. О людях, видящих в науке способ делать

деньги, и об их последователях в медицине. Но кто же, по-вашему, не заблуждался?

Лубин. Поэты и писатели, особенно классики. Если они и заблуждались, то редко. Но я прошу вас не предавать мое мнение огласке: голоса медиков и тех, кто верит им, – не такой пустяк, чтобы пренебрегать ими на выборах.

Франклин. Вы совершенно правы: поэзия – подлинный ключ к биологии. Самый глубоко научный документ, которым мы располагаем в наши дни, – легенда об эдемском саде, как справедливо заметила бы еще ваша бабушка.

Бердж *(настораживаясь)*. Что? Что? Если вы можете доказать это, Барнабас, я весь внимание. Продолжайте. Я слушаю.

Франклин. Надеюсь, вы не забыли, что при сотворении своем в саду эдемском Адам и Ева не были смертны и что естественная смерть, как мы теперь говорим, представляет собой не исконную часть жизни, а совершенно особое и возникшее позже явление?

Бердж. Да, да, спасибо, что напомнили. Смерть появилась позднее.

Лубин. А как же случайная смерть? Она-то уж всегда была возможна.

Франклин. Совершенно верно. Перед Адамом и Евой стояла страшная альтернатива – либо случайная смерть и конец рода человеческого, либо вечная жизнь. И то и другое было для них неприемлемо. Они решили ограничить свое бытие тысячью лет и за это время произвести на свет новую супружескую чету. В силу этого им пришлось изобрести естественное рождение и естественную смерть, которые, в сущности, представляют собой лишь способ непрерывно поддерживать жизнь, не возлагая на отдельного человека непосильное бремя бессмертия.

Лубин. Понимаю. Старое уступает место новому.

Бердж. Короче говоря, смерть не что иное, как уступка места. Так оно всегда и было.

Франклин. Да, но старое не должно уходить, прежде чем новое окончательно не созреет. А сейчас мы уходим на двести лет раньше, чем следовало бы.

Сэвви. Мне, кажется, дядя, люди – просто перевоплощение своих предков. Я, например, подозреваю, что я Ева. Я тоже обожаю яблоки, хотя они мне вредны.

Конрад. В известном смысле ты действительно Ева. Жизнь, без сомнения, вечна, но она постоянно меняет свою ду-

ховную и телесную оболочку, как мы меняем платье. Ты лишь новая шляпка и юбка на Еве.

Фрэнклин. Причем жизнь все удачней и удачней подгоняет эти оболочки к своей извечной цели.

Лубин *(со спокойным скептицизмом)*. Нельзя ли узнать, мистер Барнабас, к какой именно?

Фрэнклин. Цель эта — всемогущество и всеведение. Больше силы и больше знаний — вот к чему стремимся мы все, даже если ради этого рискуем жизнью и поступаемся наслаждением. Это единственное содержание эволюции, единственный путь к превращению в божество. Человек ушел на этом пути дальше, чем микроб,— вот и вся разница между ними.

Лубин. И когда же, по-вашему, эта скромная цель будет достигнута?

Фрэнклин. Слава богу, никогда! Коль скоро силе и познанию нет предела, путь к ним тоже бесконечен. «Его есть сила и слава во веки веков». Неужели эти слова ничего вам не говорят?

Бердж *(вытаскивая из кармана старый конверт)*. Если позволите, я запишу вашу мысль. *(Пишет.)*

Конрад. В жизни всегда есть что-нибудь, ради чего стоит жить.

Бердж *(пряча конверт и принимая все более деловой вид)*. Отлично. Записал. А что вы скажете насчет грехопадения? Как вы свяжете его со своей концепцией?

Конрад. Никак. Понятие греха лежит за пределами науки. Впрочем, полагаю, что Фрэнклин ответит вам и на этот вопрос.

Бердж *(Фрэнклину.)* Буду рад послушать. Это важно, очень важно.

Фрэнклин. Хорошо, взглянем на дело и с такой точки зрения. Ясно, что пока Адам и Ева оставались бессмертны, им было необходимо делать землю максимально пригодной для житья.

Бердж. Верно. Арендовав дом на девяносто девять лет, вы не жалеете денег на ремонт. Если же вы снимаете жилье на три месяца, то по истечении срока домовладелец, как правило, предъявляет вам счет за целую кучу поломок.

Фрэнклин. Вот именно. Итак, получив эдемский сад в вечное пользование, Адам поневоле старался превратить его в цветущий сельский уголок, как выражаются агенты по продаже недвижимости. Но едва он придумал смерть

и стал лишь пожизненным арендатором Эдема, дальнейший уход за садом потерял всякий смысл. Тогда-то Адам и бросил выпалывать чертополох. Жизнь оказалась столь короткой, что больше не имело смысла особенно надрываться.

Бердж. Вы думаете, такая картина достаточно полно отражает представление среднего избирателя о грехопадении? Вы находите, что она достаточно трагична?

Франклин. Это лишь первая ступень грехопадения, Адам же свалился не с одной ступени, а с целой лестницы. Так, например, пока не было придумано рождение, он не решался давать волю своему нраву: убив Еву, он навеки остался бы вдов и одинок. Но когда он изобрел рождение и появилась возможность заменить любого убитого человека новым, он перестал сдерживаться. Он, без сомнения, первым из людей начал бить свою жену и тем самым опустился еще на одну ступень. Один из его сыновей додумался до мясной пищи. Это новшество ужаснуло другого сына, и он со свирепостью, которая поныне отличает быков и прочих травоядных, убил своего лакомившегося бифштексами брата. Так появилось убийство, что еще более ускорило падение. Убийство оказалось настолько захватывающим занятием, что люди принялись убивать ближних для развлечения и таким образом изобрели войну, а уж она – последняя степень падения. Они стали убивать и животных – просто так, для времяпровождения, а затем, естественно, поедать их мясо, чтобы избавить себя от долгого и тяжкого земледельческого труда. Вот и вся история того, как наши предки скатились по ступеням лестницы Иакова из рая в земной ад, где они настолько умножили вероятность смерти от насилия, несчастных случаев и болезней, что жизнь их в конце концов ограничилась семьюдесятью годами, то есть сроком, гораздо меньшим, нежели тысяча лет, которые собирался прожить Адам. Будете ли вы теперь, когда перед вами развернулась такая картина, вновь спрашивать меня, в чем же, собственно, заключалось грехопадение? С равным успехом можно стоять у подножия Сноудена и задавать вопрос: «А где же гора?» Это настолько ясно даже детям, что они уложили всю историю грехопадения в две рифмованные строки:

Грешник этот длинный дядя: он молитвы не творит,
Вы его толкните сзади – пусть он с лестницы слетит.

Лубин *(с обычным несокрушимым скептицизмом)*. А что говорит об этой сказке наука? Она, наверное, и слышать не хочет о Книге Бытия, Адаме и Еве?

Конрад. Тогда это не наука. Наука обязана считаться с любыми фактами, следовательно, и с Библией.

Фрэнклин. Книга Бытия — такое же явление природы, как всякое другое. Коль скоро сказание о саде эдемском пережило века и до сих пор чарует наше воображение, тогда как сотни других гораздо более правдоподобных и занимательных историй вышли из моды и забылись, как прошлогодняя модная песенка, это сказание — научный факт, и долг науки — объяснить его. Вы же утверждаете, что наука и слышать о нем не хочет. В таком случае ученые еще более невежественны, чем дети в сельской школе.

Конрад. Разумеется, если вы находите, что научнее именовать предмет нашего разговора не Адамом, Евой и Эдемом, а филогенезисом бластодермы...

Сэвви. Без ругани, дядя!

Конрад. Да помолчи ты: я и не ругаюсь. *(Лубину.)* Если вы предпочитаете, чтобы профессиональные пустомели переложили вам Библию длинными иностранными словами, а затем выдали свою пачкотню за нечто новое, извольте, это могу проделать для вас и я. Почему бы не переименовать Книгу Бытия в «Филогенезис» и не вложить в уста творца такую, например, фразу: «Я создам антипатический симбиоз тебя и твоей самки, ее и твоей бластодермы»? Тогда вас никто не поймет, а Сэвви решит, что вы ругаетесь. Но смысл все равно останется тот же.

Хэзлем. Неподражаемо! И предельно просто: первый вариант — поэзия, второй — наука.

Фрэнклин. Нет, вдохновенный человеческий язык и жаргон педантов.

Лубин *(с невозмутимым видом припоминая)*. Одного из немногих новейших авторов, которых я иногда перелистываю, звали Руссо, и он был деистом вроде Берджа.

Бердж *(властно перебивая его)*. Лубин, неужели ошеломляюще важное сообщение, которое только что сделал нам профессор Барнабас и за которое я навсегда ему признателен, — неужели, повторяю, оно вызвало в вас лишь желание подставить мне ножку, уличив меня в том, что я чужд истинной вере?

Лубин. Сообщение это весьма интересно и забавно, Бердж. На мой взгляд, оно могло бы стать поучительным юри-

дическим казусом, и я, пожалуй, согласился бы защищать его в церковном суде. Но называть его важным я бы все-таки поостерегся.

Бердж. Боже правый! Перед нами профессор, человек, бесконечно далекий от нашей политической сутолоки, человек, целиком отдавший себя науке в самом отвлеченном смысле этого слова, и все-таки я торжественно объявляю его величайшим политиком и самым вдохновенным партийным лидером королевства. Я, Джойс Бердж, снимаю перед ним шляпу и воздаю ему должное, а вы сидите, мурлыча, как ангорский кот, и не желаете ничего понимать!

Конрад *(вытаращив глаза)*. Ого! Чем я заслужил такие комплименты?

Бердж. Чем, доктор? Да тем, что поставили либеральную партию к власти на ближайшие тридцать лет, вот чем.

Конрад. Упаси боже!

Бердж. Теперь с церковью покончено. Благодаря вам, мы выйдем на выборы с одним-единственным лозунгом: «Назад к Библии!» Представляете, как это подействует на избирателей-неангликан? С одной стороны, нам отдадут свои голоса они, с другой — современные образованные скептики-профессионалы. Сельский атеист и первый корнетист местного оркестра Армии спасения мирно сходятся на деревенской площади и протягивают друг другу руки. Учитель берет свой класс, которому он, в соответствии с поправкой Каупера-Темпла, читает Библию, и ведет его в музей. Там он показывает детям череп пилтдаунца и говорит: «Вот Адам, супруг Евы». Когда в лаборатории Оуэнз-колледжа какой-нибудь очкастый студент начинает добиваться, в чем же состоит подлинно научная концепция эволюции, мы суем ему в руки «Путь паломника». Мы...

Сэвви и Хэзлем оглушительно прыскают со смеху.

Что это вам так весело?

Сэвви. Ох, продолжайте, мистер Бердж, продолжайте!

Хэзлем. Неподражаемо!

Франклин. Разве тридцать лет пребывания вашей партии у власти имеют такое уж значение, мистер Бердж, когда у вас впереди еще два с половиной века жизни?

Бердж *(решительно)*. Нет, этот раздел придется изъять из программы. Избиратели на него не клюнут.

Лубин *(серьезно)*. А вот я не столь категоричен, Бердж.

Смотрите, как бы этот раздел не оказался единственным, на который они клюнут.

Бердж. Все равно он нам ни к чему. Это не лозунг для партии. Его столь же успешно могут использовать и наши противники.

Лубин. Не скажите. Если мы выдвинем его первыми, общественное мнение прочно отождествит его с нашей партией. Допустим, я вношу в программу требование продлить человеческую жизнь до трехсот лет. Это вынудит Данрина, как лидера соперничающей партии, выступить с возражениями, обозвать меня фантазером и так далее. Тем самым он окажется в положении человека, стремящегося лишить свой народ законных двухсот тридцати лет жизни. Следовательно, унионисты станут партией преждевременной смерти, а мы – партией долголетия.

Бердж *(потрясенный)*. Вы всерьез убеждены, что избиратель на это клюнет?

Лубин. Дорогой Бердж, да разве есть на свете такое, на что избиратель не клюнет, если это умело ему подать? Но мы должны быть уверены в том, что под ногами у нас твердая почва. Нам нужна поддержка людей науки. Достаточно ли они единодушны, доктор, в вопросе о возможности описанной вами эволюции?

Конрад. Да. С начала текущего века, ознаменовавшегося реакцией против Дарвина, все мало-мальски серьезные научные авторитеты склоняются к признанию творческой эволюции.

Фрэнклин. К нему склоняются и поэзия, и философия, и религия. Творческая эволюция становится религией двадцатого столетия, уходящей своими интеллектуальными корнями в философию и науку, подобно тому как средневековое христианство уходило своими интеллектуальными корнями в Аристотеля.

Лубин. Но, разумеется, эта эволюция будет настолько постепенной, что...

Конрад. Не обольщайтесь. Только наши политические деятели улучшают мир так постепенно, что никто не замечает улучшений. Утверждение, будто природа не делает скачков, представляет собой лишь образчик той благообразной лжи, которая именуется классическим образованием. Природа всегда развивается скачками. Порой она тратит двадцать тысяч лет на подготовку к такому скачку, но когда наконец делает его, он оказывается настолько гигантским, что мы разом переносимся в другую эру.

Лубин *(слова Конрада явно произвели на него впечатление)* Подумать только! Я останусь лидером партии на ближайшие триста лет.

Бердж. Что?

Лубин. Честно говоря, это жестоко по отношению к тем, кто моложе меня. Вероятно, лет через сто-двести я все-таки должен буду уйти – конечно, лишь в том случае, если удастся уговорить Мими расстаться с Даунинг-стрит.

Бердж. Нет, это слишком! Вы так ослеплены вашим безграничным самомнением, что не считаетесь с насущнейшими политическими потребностями момента.

Лубин. Понимаю, вы имеете в виду мою отставку. Я не вижу в ней необходимости. Не видел, когда был почти стариком или, по меньшей мере, пожилым человеком. А теперь, когда выяснилось, что я еще юноша, вопрос о ней и подавно отпадает. *(Конраду.)* Но я хотел бы знать, нет ли других теорий, опровергающих вашу. Не существует ли, так сказать, научной оппозиции?

Конрад. Видите ли, некоторые авторитеты утверждают, что род человеческий не оправдал себя и что новая форма жизни, более приспособленная к условиям высокоразвитой цивилизации, непременно должна занять наше место, как мы заняли некогда место обезьяны и слона.

Бердж. Иными словами, сверхчеловек?

Конрад. Нет, существа, совершенно несхожие с нами.

Лубин. Так ли уж это желательно?

Фрэнклин. Боюсь, что очень. В любом случае мы можем быть уверены в одном: одиночество нам не угрожает. Сила, движущая эволюцией, как бы эту силу ни называли, обязательно разрешит проблему цивилизации. Если ей не удастся сделать это нашими руками, она создаст более способных исполнителей своей воли. Человек – не последнее слово бога, потому что бог никогда не перестает творить. Если мы не сможем осуществить его замыслы, он произведет на свет существа, которые смогут.

Бердж *(благоговейно)*. Что мы знаем о боге, Барнабас? Да и кто о нем что-нибудь знает?

Конрад. Безусловно и достоверно мы знаем о нем только одно. Та сила, которую мой брат именует богом, действует методом исключения ошибок, и если мы окажемся одной из таких ошибок, люди просто исчезнут по примеру мастодонтов, мегатериев и прочих неудачных экспериментов.

Лубин *(поднимается и начинает задумчиво расхаживать взад*

и вперед по комнате). Не скрою от вас, джентльмены, все это произвело на меня сильное впечатление. Более того, ваша теория кажется мне, пожалуй, даже интересней, чем вопрос о церковной автономии Уэльса. Но, как политик, я... Гм! А вы что скажете, Бердж?

Конрад. Мы не политики. Мы просто хотим что-то сделать, политики же — люди, которые владеют искусством использовать парламент для того, чтобы никто ничего не делал.

Фрэнклин. Когда у нас появятся зрелые государственные деятели и зрелые граждане...

Лубин *(внезапно останавливаясь)*. Граждане? Значит, простые граждане тоже будут жить по триста лет, как государственные деятели?

Конрад. Разумеется.

Лубин. Признаюсь, об этом я не подумал. *(Резко опускается в кресло; видно, что он неприятно озадачен новой стороной дела.)*

Сэвви молча, но красноречиво переглядывается с Хэзлемом.

Бердж. Благоразумно ли сразу же заходить так далеко? Не целесообразней ли начать с элиты?

Фрэнклин. На этот счет не беспокойтесь. Все начнется как раз с нее.

Лубин. Рад слышать это от вас. Как вы понимаете, практически вопрос придется решать в парламентских рамках.

Бердж. Проще говоря, нам предстоит подготовить законопроект. Пока его нет, никто не понимает, что же, собственно, происходит. В этом я убедился на личном опыте.

Лубин. Совершенно верно. Я смотрю на вещи так: мы заинтересуем избирателей вашей идеей, которая станет своего рода новой религией и вселит в каждого из них новые надежды; кроме того, она поможет нам свести на нет свойственное им предубеждение против тех из нас, кто уже достиг преклонных лет. Однако было бы в высшей степени неосмотрительно и даже опасно дать всем им возможность жить дольше обычного. Подумайте хотя бы о производстве самого эликсира, что бы он собою ни представлял! В Англии сорок миллионов жителей. Предположим, что каждый из них должен ежедневно принимать... э-э... пять унций вашего снадобья. Это составит — минутку! — триста шестьдесят пять на пять... гм!..

тысяча восемьсот плюс двадцать пять... тысячу восемьсот двадцать пять унций, то есть два английских центнера и две унции на душу в год.

Бердж. Или, округленно, два миллиона тонн в год для всей Англии, потому что охотиться за эликсиром станет каждый. Ради него мужчины будут топтать на улицах женщин и детей. Нет, в таких количествах его не произвести. Состав придется держать в секрете, иначе дойдет до смертоубийства.

Конрад *(вытаращив глаза)*. Держать состав в секрете? Да вы о чем?

Бердж. О вашем эликсире, конечно. А уж порошки это, микстура или таблетки — вам самому виднее. Вы сказали только, что это не лимоны.

Конрад. У меня нет ни порошков, ни микстуры, ни таблеток. Я, милостивый государь, не шарлатан, а биолог Долголетие придет к людям само собой.

Лубин *(окончательно растерявшись)*. Само собой? И это все? *(Смотрит на часы.)*

Бердж. Само собой? Что вы имеете в виду? Что вы лично не можете ничего гарантировать?

Конрад. Точно так же, как не могу произвести вас на свет

Фрэнклин. Но мы можем внушить людям, что долголетию препятствует лишь одно — их собственная готовность умереть, прежде чем они осуществят дело своей жизни, равно как непонимание ими важности этого дела.

Конрад. Нужно лишь распространить эту мысль, доказать ее справедливость, и люди станут долговечны. Это так же верно, как то, что завтра опять взойдет солнце.

Фрэнклин. Мы не знаем, где, когда и с кем это произойдет Не исключено, что первым долгожителем станет кто-нибудь из присутствующих.

Хэзлем. Только не я. Это уж наверняка.

Конрад. Им может стать каждый. Хотя бы горничная. Откуда нам знать?

Сэвви. Горничная? Вздор, дядя!

Лубин *(снова вполне благодушно)*. По-моему, мисс Сэвви вынесла окончательный приговор.

Бердж. Значит, вы хотите сказать, что практически предлагаете внушить людям желание жить долго, и только? Но если бы долголетие зависело лишь от желания жить, мы все давно были бы бессмертны. Вечно жить хочется каждому. Отчего же мы умираем?

Конрад. Чепуха! Каждому хочется иметь миллион. Почему

же не все мы миллионеры? Да потому, что человек, мечтающий о миллионе, не дает себе труда сэкономить хотя бы шесть пенсов, даже если перед ним маячит призрак голода. Человек, мечтающий о вечной жизни, не склонен отказывать себе в кружке пива и лишней трубке, хотя знает, что непьющие и некурящие живут дольше. Мечтания — еще не решимость. Вспомните, что́ способен сделать человек, когда он твердо знает, что это надо сделать.

Фрэнклин. Не ставьте праздную мечту на одну доску с чудотворной и всемогущей силой воли, приводимой в действие осознанной необходимостью. Уверяю вас, люди, способные к такому волевому усилию и осознавшие его необходимость, сделают его как бы нехотя, повинуясь лишь внутреннему побуждению, как и делается любое великое усилие. Они не будут признаваться себе в том, что́ делают, постараются не замечать того, что́ делают. Но они будут жить триста лет, и не потому, что им так хочется, а потому, что в глубине души они будут убеждены в необходимости этого для спасения человечества.

Лубин *(поворачиваясь к Фрэнклину и почти отечески похлопывая его по плечу)*. Дорогой Барнабас, за последние тридцать лет я самое меньшее раз в неделю получал от какого-нибудь чудака письмо с рецептом тысячелетней жизни. На мой взгляд, вы самый безумный из таких чудаков, но зато и самый интересный. Теперь, когда стало ясно, что ваш проект — чистой воды фантазия и никаких практических предложений у вас нет, я испытываю странное чувство — смесь облегчения и разочарования. Мне жаль вашей идеи — она действительно захватывает. По-моему, вы слишком строги к нам, практикам, хотя в любом кабинете и даже на передней скамье встречаются люди, вполне заслуживающие тех слов, которые вы сказали. Итак, покончим с этим разговором, но раньше позвольте задать вам один вопрос — праздный, конечно, поскольку из вашей затеи ничего не выйдет, но все-таки...

Фрэнклин. Задайте.

Лубин. Почему вы определили срок именно в триста лет?

Фрэнклин. Потому что его надо было как-то определить. Меньше трехсот лет — недостаточно, больше — человек не решится прожить.

Лубин. Чепуха! Меня не смутят и три тысячи лет, чтобы не сказать три миллиона.

Конрад. Еще бы! Вы же не верите, что вам придется перейти от слов к делу.

Франклин *(мягко)*. А может быть, просто не привыкли думать о будущем.

Бердж *(с глубокой убежденностью)*. Для Генри Хопкинса Лубина будущего вообще не существует.

Лубин. Если под этим словом вы понимаете пустые мечты о тысячелетней жизни, которыми пользуетесь, как пучком моркови, чтобы заманить невежественного осла-британца в избирательную будку и заставить его отдать вам свой голос, то такого будущего для меня действительно не существует.

Бердж. А вот я способен заглянуть в него. И не только потому, что мне — при всей своей скромности не умолчу об этом — присущ известный дар предвидения, но еще и потому, что я прошел через адвокатуру. Адвокат — первый советчик в семейных делах. Его обязанность — думать о будущем и знать прошлое. Его контора — в полном смысле слова современная исповедальня. Помимо всего прочего он составляет завещания для своих клиентов. Он должен уметь разъяснить им, каким образом они после смерти могут обеспечить своих дочерей. Не пришло ли вам в голову, Лубин, что, если вы проживете триста лет, вашим дочерям придется чертовски долго ждать наследства?

Франклин. Они могут его и не дождаться: трудно поместить капитал так, чтобы он не обесценился за триста лет.

Сэвви. А что будет еще до вашей смерти? Предположим, ваши дочери останутся незамужними. Представляете вы себе участь девушки, которой суждено провести триста лет в родительском доме? Да отец с матерью просто убьют ее, если только она сама не опередит их.

Лубин. Кстати, Барнабас, а ваша дочь сохранит свою привлекательность на столь долгий срок?

Франклин. Разве это так уж важно? Неужели вы думаете, что самая неисправимая кокетка в силах кокетничать три века подряд? Не пройдет и половины этого срока, как мы уже перестанем замечать, с кем говорим — с мужчиной или женщиной.

Лубин *(отнюдь не восхищенный подобной аскетической перспективой)*. Гм! *(Поднимается.)* Вот что: приезжайте к нам и расскажите все это моей жене и детям. Разумеется, захватите с собой и вашу дочь. *(Пожимает руку Сэв-*

ви.) До свиданья! *(Пожимает руку Фрэнклину.)* До свиданья, доктор! *(Пожимает руку Конраду.)* Пойдемте, Бердж. Вам еще предстоит объяснить мне, какую позицию в церковном вопросе вы займете на выборах.

Бердж. Разве вы не слышали? Разве вы ничего не поняли в тех откровениях, которых нас удостоили? Назад к Мафусаилу – вот моя позиция.

Лубин *(решительно)*. Не валяйте дурака, Бердж. Не предполагаете же вы, что наши хозяева говорили с нами всерьез и что эта в высшей степени приятная беседа имеет хотя бы отдаленное касательство к политической практике? Они просто разыгрывали нас, хотя и весьма остроумно. Идемте. *(Уходит.)*

Фрэнклин учтиво провожает его, молчаливо покачивая головой в знак протеста.

Бердж *(прощаясь с Конрадом)*. Не сердитесь на старика, доктор. Такие вещи выше его понимания. Он не видит духовной стороны жизни – для него существует лишь ее пластическая сторона, увядающая по мере того, как угасает он сам. К тому же он человек конченый, отживший, отгоревший, опустошенный. Он мнит себя нашим лидером, хотя на самом деле он лишь наша мусорная корзинка. Но на меня вы можете положиться. Я пущу в ход вашу идею. Я знаю ей цену. *(Вместе с Конрадом направляется к двери.)* Разумеется, я не могу изложить ее буквально, как это делаете вы, но вы совершенно правы – нам нужна свежая мысль. Уверен, что у нас есть полная возможность выйти на выборы под лозунгом продления жизни и признания истории Адама и Евы научным фактом. Это выбьет почву из-под ног оппозиции. А уж если мы победим, кое-кто при первом же представлении получит О. М. *(Продолжая говорить, скрывается за дверью, и голос его затихает.)*

Конрад провожает гостя.

Оставшись одни, Сэвви с Хэзлемом хватают друг друга за руки и, пританцовывая от восторга, направляются к дивану, где опять садятся бок о бок.

Хэзлем *(обнимая ее)*. Дорогая! Какой неподражаемый пустомеля этот Лубин!

Сэвви. Милый старикан! Он мне нравится. Зато Бердж – большой пройдоха.

Хэзлем. А ты заметила одно весьма характерное обстоятельство?

Сэвви. Какое?

Хэзлем. И Лубин, и твой отец пережили войну, но потеряли на ней сыновей.

Сэвви *(мрачнея)*. Да. Смерть Джима убила маму.

Хэзлем. Однако ни тот ни другой ни словом не обмолвились о них.

Сэвви. Ну и что? О них не было речи. Я сама забыла о Джиме, хотя очень его любила.

Хэзлем. А вот я не забыл, потому что возраст у меня призывной и, не будь я священником, мне бы тоже пришлось пойти на войну и погибнуть. По-моему, их политическая беспомощность страшнее всего проявилась в том, что они сами послали своих сыновей на убой. Списки убитых и послевоенная разруха — вот из-за чего мне опротивели и церковь, и политика, и все на свете, кроме тебя.

Сэвви. Ох, я тоже была не лучше других: продавала на улицах флаги в самом своем нарядном платье и... Тсс! *(Вскакивает и делает вид, что ищет книгу на стеллаже за диваном.)*

Фрэнклин и Конрад возвращаются. Вид у них усталый и угрюмый.

Конрад. Вот какой прием ожидает Евангелие от братьев Барнабас! *(Опускается в кресло, где сидел Бердж.)*

Фрэнклин *(вновь усаживаясь за письменный стол)*. Да, надежды никакой. А вас мы убедили, мистер Хэзлем?

Хэзлем. В том, что люди могут жить три столетия? Честно говоря, нет.

Конрад *(к Сэвви)*. Тебя, очевидно, тоже?

Сэвви. Право, не знаю. На минуту мне показалось, что да. В какой-то мере я способна поверить, что люди могут жить триста лет. Но когда ты перешел к делу и заявил, что это относится и к горничной, я поняла всю несбыточность ваших планов.

Фрэнклин. Вот именно. Нам лучше замолчать, Кон, иначе нас просто высмеют и мы утратим ту каплю доверия к себе, которую снискали своими ошибками в дни, когда были еще невеждами.

Конрад. Пожалуй, ты прав. Но сколько бы над нами ни смеялись, творческой эволюции не задержать. Быть может, даже насмешки станут для нее чем-то вроде смазки для машины.

Сэвви. Как это понять?

Конрад. Так, что первый мужчина, который проживет триста лет, может вовсе не подозревать, какая участь его ожидает, и быть одним из тех, кто станет громче остальных смеяться над мыслью о долголетии.

Сэвви. А почему не первая женщина?

Конрад *(примирительно)*. Женщина так женщина.

Хэзлем. Во всяком случае, это не будет ни один из нас.

Франклин. А вы почем знаете?

Вопрос остается без ответа: присутствующим нечего больше добавить.

Часть III

СВЕРШИЛОСЬ!

Год 2170 н. э., летний день. Служебный кабинет президента Британских островов. Во всю ширину комнаты стол для заседаний. С обеих его сторон по три кресла; на одном конце председательское кресло, на другом — простой стул. На столе, перед каждым креслом, небольшой коммутатор со шкалой. Камина нет. Задняя стена представляет собой серебристый экран размером приблизительно в две створчатые двери. Слева от зрителей дверь; рядом с нею, на стене, ряд массивных крюков для одежды, подбитых и обтянутых бархатом.

Входит плотный, интересный, жизнерадостный мужчина средних лет. Он в шелковой тунике, чулках, сандалиях с красивым узором; на лбу у него золотой обруч. Он похож и на Джойса Берджа, и на Лубина, словно природа сделала из обоих один фотомонтаж. Мужчина снимает обруч, вешает на крюк и садится в председательское кресло на дальнем, считая от двери, конце стола. Затем вставляет штепсельную вилку в коммутатор, передвигает стрелку шкалы и нажимает кнопку. Серебряный экран темнеет, на нем появляется как бы зеркально отраженное изображение другого кабинета с точно такой же меблировкой и сидящего в нем худощавого неприветливого человека в такой же одежде, но менее яркой расцветки. Его золотой обруч висит на таком же крюке около двери. Человек перебирает бумаги на столе. Он сильно напоминает Конрада Барнабаса, только лицо у него гораздо моложавей и заурядней.

Бердж-Лубин. Алло! Барнабас?

Барнабас *(не поворачивая головы)*. Какой номер?

Бердж-Лубин. Пять-двойной икс-тридцать два-гамма. Бердж-Лубин.

Барнабас вставляет вилку в гнездо 5, переводит стрелку шкалы на двойной икс, вставляет вторую вилку в гнездо 32, нажимает кнопку и поворачивается к Бердж-Лубину, которого теперь и видит, и слышит.

Барнабас *(отрывисто)*. А, это вы, президент!

Бердж-Лубин. Да. Мне передали, что вы просили позвонить. Что случилось?

Барнабас *(резко и ворчливо)*. Я хочу выразить протест.

Бердж-Лубин *(добродушно и насмешливо)*. Как! Снова протест? Чем вы недовольны на этот раз?

Барнабас. Будь вам известно, сколько раз я воздерживался

от протеста, вы изумились бы моему терпению. Вы постоянно выказываете мне подчеркнутое неуважение.

Бердж-Лубин. В чем же оно выразилось теперь?

Барнабас. Вы распорядились, чтобы я принял в государственном архиве этого субъекта из Америки и лично присутствовал на демонстрации какого-то дурацкого фильма. Это дело президента, а не верховного статистика. Вы самым недостойным образом расточаете мое время и незаконно перекладываете на меня собственные обязанности. Я отказываюсь быть на приеме. Идите на него сами.

Бердж-Лубин. Дорогой мой, я с величайшим удовольствием снял бы с вас это бремя...

Барнабас. Вот и снимите. О большем я не прошу. *(Хочет выключить связь.)*

Бердж-Лубин. Не выключайтесь. Выслушайте меня. Этот американец разработал метод, позволяющий дышать под водой.

Барнабас. А я при чем? Мне дышать под водой ни к чему.

Бердж-Лубин. Как знать, дорогой Барнабас! Такое умение никому не вредит. Вы, например, никогда не смотрите себе под ноги, когда погружены в свои выкладки, и в один прекрасный день обязательно угодите в Серпентайн. А метод этого американца может спасти вам жизнь.

Барнабас *(раздраженно)*. Не объясните ли мне, какое все это имеет отношение к вашей привычке сваливать на меня свои должностные обязанности? Я не позволю себя третировать.

Изображение исчезает, экран светлеет.

Бердж-Лубин *(негодующе надавливая на кнопку)*. Попрошу не разъединять: разговор не кончен. Я, президент, вызываю верховного статистика. Вы что там — заснули?

Женский голос. Извините.

На экране снова появляется Барнабас.

Бердж-Лубин. Ну что ж, если вы так это воспринимаете, я заменю вас. А напрасно: американец считает вас крупнейшим современным авторитетом в вопросе о продолжительности жизни и...

Барнабас *(перебивая)*. Считает? Это еще что за новости? Я и есть крупнейший современный авторитет в вопросе о продолжительности жизни. Кто рискнет это оспаривать?

Бердж-Лубин. Никто, милейший, никто. Не придирайтесь

к словам. Но вы, очевидно, не читали книгу этого американца?

Барнабас. Только не рассказывайте мне, что сами читали ее или что за последние двадцать лет прочли хоть одну книгу, кроме романов. Я вам все равно не поверю.

Бердж-Лубин. Вы правы, дружище, я ее не читал. Зато прочел отзыв о ней в литературном приложении к «Таймс».

Барнабас. Этот отзыв интересует меня, как прошлогодний снег. Я там упомянут?

Бердж-Лубин. Да.

Барнабас. Неужели? И в какой же связи?

Бердж-Лубин. Там говорится, что за последние два столетия утонуло множество выдающихся людей вроде вас и меня и что, если этот метод дыхания под водой оправдает себя, ваша оценка средней продолжительности человеческой жизни окажется несостоятельной.

Барнабас *(встревоженно)*. Несостоятельной? Моя оценка? Боже правый, да понимает ли этот осел, чем это грозит? И понимаете ли вы сами?

Бердж-Лубин. По-моему, это грозит нам пересмотром Акта.

Барнабас. Что? Пересмотреть мой Акт? Чудовищно!

Бердж-Лубин. И все-таки его придется пересмотреть. Заставлять людей работать до сорока трех лет мы можем лишь при условии, что наши цифры непререкаемы. Вы же помните, какой сыр-бор загорелся из-за этих дополнительных трех лет и с каким трудом мы справились со сторонниками сорокалетнего возрастного предела.

Барнабас. Их победа означала бы разорение Британских островов. Вас-то, впрочем, это не беспокоит. У вас одна забота — собственная популярность.

Бердж-Лубин. Мне кажется, вы напрасно волнуетесь. Большинство людей жалуются на недостаток работы. Они были бы счастливы трудиться и после сорока трех лет. Надо только не принуждать их, а попросить об этом, как об одолжении.

Барнабас. Благодарю, но я не нуждаюсь в утешениях. *(Решительно встает и надевает обруч.)*

Бердж-Лубин. Куда это вы собрались?

Барнабас. На вашу киночепуху, куда же еще? Я поставлю на место этого американского шарлатана. *(Уходит.)*

Бердж-Лубин *(вдогонку)*. Бог помочь, старина! *(Ухмыляется и выдергивает вилку; экран опять светлеет.*

Бердж-Лубин нажимает кнопку и, не отпуская ее, говорит.) Алло!

Женский голос. Алло!

Бердж-Лубин *(официальным тоном)*. Президент почтительно просит премьер-министра удостоить его беседы и целиком предоставляет себя в его высочайшее распоряжение.

Голос с китайским акцентом. Премьер-министр уже идет.

Бердж-Лубин. А, это вы, Конфуций? Вы сама любезность. Прошу. *(Отпускает кнопку.)*

Входит человек в желтом одеянии, напоминающий внешностью китайского мудреца.

(Шутливо.) Ну-с, ваша луковая премудрость, как ваши бедные больные ноги?

Конфуций *(невозмутимо)*. Благодарю за столь лестное внимание. Я здоров.

Бердж-Лубин. Тем лучше. Садитесь и устраивайтесь поудобней. Есть у вас дела ко мне?

Конфуций *(усаживаясь в первое кресло справа от президента)*. Нет.

Бердж-Лубин. Вам уже известны результаты дополнительных выборов?

Конфуций. Ничего существенного. Всего один кандидат.

Бердж-Лубин. Стоящий человек?

Конфуций. Недели две как выписан из местного сумасшедшего дома. Недостаточно безумен для принудительного усыпления; недостаточно нормален для любого места, кроме парламентских кулуаров. Весьма популярный оратор.

Бердж-Лубин. Как жаль, что народ так несерьезно относится к политике!

Конфуций. А я об этом не сожалею. Англичане не способны к ней от природы. С тех же пор как должностные функции возложены на китайцев, страной правят умело и честно. Что вам еще нужно?

Бердж-Лубин. Тогда я не понимаю, почему Китай — одно из самых дурно управляемых государств на свете.

Конфуций. Не согласен. Так было еще лет двадцать назад, но с тех пор мы запретили китайцам участвовать в государственных делах, ввезли для управления нами уроженцев Шотландии, и все наладилось. Ваша информация, как всегда, запаздывает на двадцать лет.

Бердж-Лубин. Вероятно, ни один народ не способен управлять сам собой. Не знаю только — почему.

Конфуций. Справедливость — это беспристрастие. А беспристрастны лишь иностранцы.

Бердж-Лубин. Как бы то ни было, должностные функции отправляются настолько успешно, что правительству нечего делать — ему остается только думать.

Конфуций. Будь это не так, оно вообще не могло бы думать — у него было бы слишком много дела.

Бердж-Лубин. Но разве это извиняет англичан? Что за страсть выбирать в парламент помешанных?

Конфуций. Англичане всегда так поступали. Но какое это имеет значение, коль скоро ваши несменяемые чиновники честны и дельны?

Бердж-Лубин. Вы просто незнакомы с историей нашей страны. Что сказали бы мои предки об этом скопище дегенератов, об этой кунсткамере, поныне именуемой палатой общин? Вы не поверите, Конфуций, — и я не осуждаю вас за это, — но ведь именно Англия спасла когда-то свободу во всем мире, создав парламентский строй, ставший ее гордостью и отличительной особенностью.

Конфуций. Я прекрасно знаком с историей вашей страны. Она доказывает как раз противоположное.

Бердж-Лубин. С чего вы взяли?

Конфуций. Единственным правом, которым когда-либо пользовался ваш парламент, было право отказывать королю в субсидиях.

Бердж-Лубин. Правильно. Великий сын Англии Симон де Монфор...

Конфуций. Он был не англичанин, а француз. Идею парламента он вывез из Франции.

Бердж-Лубин *(растерянно)*. Быть не может!

Конфуций. Король и его верные подданные убили Симона за то, что он навязал им парламент по своему, французскому образцу. Первой заботой британского парламента всегда было вотировать пожизненное содержание королю — и притом с восторженными изъявлениями преданности. Парламент поступал так из боязни, как бы ему не дали реальной власти и не потребовали, чтобы он хоть что-нибудь делал.

Бердж-Лубин. Послушайте, Конфуций, вы, разумеется, знаете историю лучше, чем я. Однако демократия...

Конфуций. Это типично китайский институт. Но даже у нас он, по существу, не оправдал себя.

Бердж-Лубин. Ну, а как же наш habeas corpus act?

Конфуций. Англичане приостанавливали его действие всякий раз, когда он грозил принести хоть какую-то пользу.

Бердж-Лубин. Ну, а суд присяжных? Вы же не станете отрицать, что это наше детище?

Конфуций. Все дела, опасные для правящих классов, рассматривались либо Звездной палатой, либо военным судом, кроме тех случаев, когда обвиняемого вовсе не судили, а просто казнили, предварительно осыпав бранью и опорочив в глазах общества.

Бердж-Лубин. Полно! Вы, может быть, и правы во всех этих частностях, но в целом мы сохранили себя как великую нацию. Согласитесь, это никогда не удалось бы народу, который ничего не умеет.

Конфуций. Я не сказал, что вы ничего не умеете. Вы умели драться. Умели есть. Умели пить. Вплоть до двадцатого века умели плодить детей. Умели играть в разные игры и работать, когда вас принуждали. Но управлять своей страной вы не умели.

Бердж-Лубин. Чему же тогда обязаны мы своей репутацией первых поборников свободы?

Конфуций. Вашему упорному нежеланию подчиняться какому бы то ни было порядку. Лошадь, лягающая каждого, кто пытается ее взнуздать и править ею, тоже может считаться поборницей свободы. Но отнюдь не поборницей порядка. В Китае ее живо пристрелили бы.

Бердж-Лубин. Чепуха! Уж не хотите ли вы сказать, что власть, которую возглавляю я, президент, вовсе не есть правительство?

Конфуций. Совершенно верно. Правительство — это я.

Бердж-Лубин. Вы? Вы, жирная, желтая, самодовольная туша?

Конфуций. Только англичанин способен на такое невежество в вопросе о власти, как мысль о том, что талантливый государственный деятель может не быть жирным, желтым и самодовольным. Мало ли среди вас, англичан, людей тощих, красноносых и скромных? Посадите такого на мое место, и не пройдет года, как вы снова погрузитесь в хаос и анархию девятнадцатого — двадцатого веков.

Бердж-Лубин. Ну, раз уж вы ссылаетесь на темное прошлое, нам больше не о чем спорить. И все-таки мы не погибли. Мы вырвались из этого хаоса, и теперь у нас

лучший в мире образ правления. Как же могли добиться этого такие дураки, какими вы нас выставляете?

Конфуций. Вы добились этого лишь тогда, когда взаимоистребление и разруха, порожденные анархией, вынудили вас признать два неоспоримых факта. Во-первых, что правительство — первое условие цивилизации и что для сохранения цивилизации мало поприжать, как вы изволили выражаться, соседей и отсечь голову собственному королю, если тот случайно оказался не чуждым логике шотландцем и принял свой сан всерьез. Во-вторых, что управление страной есть искусство, органически вам недоступное. В соответствии с этим вы ввезли образованных негритянок и китайцев и поручили им править вами. С тех пор вы процветаете.

Бердж-Лубин. Вы, старый мошенник,— тоже. Но я все равно не понимаю, как вы выдерживаете такую работу. Мне положительно кажется, что вам нравится общественная деятельность. Почему вы отказываетесь поехать со мной куда-нибудь на побережье? Я поучил бы вас играть в морской гольф.

Конфуций. Это меня не интересует. Я не варвар.

Бердж-Лубин. А я, по-вашему, варвар?

Конфуций. Вне всякого сомнения.

Бердж-Лубин. Почему?

Конфуций. Потому что вас любят. Люди любят жизнерадостных, добродушных варваров. Вас переизбрали президентом уже на пятый срок. И еще пять раз переизберут. Я тоже вас люблю. Общаться с вами приятней, чем с собакой или лошадью: у вас есть дар речи.

Бердж-Лубин. Выходит, я варвар потому, что вы любите меня?

Конфуций. Безусловно. Меня, например, никто не любит — предо мной трепещут. Талантливых людей никогда не любят. Я неприятен, но необходим.

Бердж-Лубин. Не расстраивайтесь, старина, в вас нет ничего особенно отталкивающего. Я отнюдь не испытываю к вам отвращения. А если вы полагаете, что я вас боюсь, значит, вы плохо знаете Берджа-Лубина, вот и все.

Конфуций. Да, в вас есть смелость. Это разновидность глупости.

Бердж-Лубин. Вы можете позволить себе не быть храбрым — этого и нельзя требовать от китаезы. Зато вы чертовски наглы.

Конфуций. Нет, я просто тверд и уверен в себе, как человек,

который видит и знает. Ваше веселое бахвальство и беспечная самонадеянность приятны, как чистый воздух. Но они слепы и необоснованны. Вы вроде большой собаки, которая радостно лает и виляет хвостом. Но стоит ей отстать от меня хотя бы на шаг, и она пропала.

Бердж-Лубин. Благодарю за любезность. У меня есть большая собака, и я не знаю товарища лучше. Будь вам известно, насколько вы безобразней любой дворняги, вы не отважились бы на такие сравнения. *(Поднимаясь.)* Ну если у вас нет ко мне дела, на сегодня расстанемся – я собираюсь развлечься. Чем вы порекомендуете мне заняться?

Конфуций. Отдайтесь размышлениям, и вас осенят великие мысли.

Бердж-Лубин. Да ну? Нет, вы ошибаетесь, если думаете, что в такую погоду я буду сидеть тут, поджав ноги и ожидая, пока меня осенят великие мысли. Я не так уж к этому стремлюсь. Предпочитаю морской гольф. *(Спохватываясь.)* Да, кстати, мне надо переговорить с министром здравоохранения. *(Снова садится в кресло.)*

Конфуций. Ее номер...

Бердж-Лубин. Я помню.

Конфуций *(поднимаясь)*. Не понимаю, что вас в ней привлекает. Женщина, если она не желтая, для меня просто не существует – разве что как должностное лицо. *(Уходит.)*

Бердж-Лубин повторяет манипуляцию с коммутатором Экран темнеет, на нем появляется элегантная спальня. постель, гардероб, туалет и коммутатор на нем. За туалетом сидит красивая негритянка, примеряющая на голову яркий шарф. Пеньюар у нее соскользнул с плеч на табурет. Она в корсете, панталонах и шелковых чулках.

Бердж-Лубин *(в панике)*. Тысячу извинений!..

Негритянка вздрагивает и выдергивает вилку, изображение исчезает.

Голос негритянки. Кто это?

Бердж-Лубин. Это я, президент Бердж-Лубин. Я не знал, что ваша спальня включена. Еще раз извините.

Изображение появляется снова. Негритянка наспех натянула на плечи пеньюар и продолжает без всякого стеснения экспериментировать с шарфом. Чопорность Бердж-Лубина отнюдь не смутила ее, а скорее забавляет.

Негритянка. Ужасно глупо получилось: утром звонила одной даме, а вилку так и не вынула.

Бердж-Лубин. Извините, ради бога.

Негритянка *(ослепительно улыбаясь и продолжая примерять шарф)*. Полно! Я сама виновата.

Бердж-Лубин *(сконфуженно)*. Д-да, конечно... Вы у себя в Африке, наверно, привыкли к таким вещам.

Негритянка. Я тронута вашей деликатностью, господин президент. Она даже позабавила бы меня, если бы не была так огорчительна: как всегда у белых, она совершенно неуместна. Как вы находите мой шарф? Он мне к лицу?

Бердж-Лубин. Может ли быть иначе? Яркое всегда гармонирует с черной атласной кожей. Только нашим болезненно бледным женщинам нужно подбирать цвета, чтобы лицо не казалось блеклым. К вашему идет все.

Негритянка. Вы правы. Жаль, что у ваших белых красавиц всегда все одинаково — пепельно-серые лица, тусклая одежда, даже возраст. Зато какие хорошенькие у них носики и маленькие губки! Собой они нехороши, любить их не за что, но сколько изящества!

Бердж-Лубин. Не заедете ли ко мне под каким-нибудь официальным предлогом? Прямо смешно, что мы еще ни разу не встречались! Мне так тяжело видеть вас, говорить с вами и постоянно помнить, что нас разделяют двести миль, что я даже не могу прикоснуться к вам.

Негритянка. Я не могу жить на восточном побережье — я и здесь-то вечно зябну. Кроме того, это рискованно, друг мой. А такой флирт на расстоянии просто очарователен: он приучает к сдержанности.

Бердж-Лубин. К черту сдержанность! Я хочу сжимать вас в объятиях, я...

Негритянка выдергивает вилку, изображение исчезает, слышен только ее смех.

Чертовка черномазая! *(Яростно выдергивает вилку, смех смолкает.)* О этот зов пола! Почему я не могу подавить его? Какой позор!

Конфуций возвращается.

Конфуций. Забыл сказать: сегодня для вас есть дело. Вам надлежит проследовать в государственный архив и принять там американского варвара.

Бердж-Лубин. Запомните раз навсегда, Конфуций: я не по-

терплю вашей китайской привычки называть всех белых варварами.

Конфуций *(почтительно складывая руки и останавливаясь у дальнего конца стола)*. Постараюсь запечатлеть в памяти, что вы не потерпите, чтобы американцев называли варварами.

Бердж-Лубин. Ничего подобного. Американцы действительно варвары. А вот мы – нет... Насколько я понял, упомянутый вами варвар – это американец, разработавший метод дыхания под водой.

Конфуций. Да, он говорит, что это ему удалось. По каким-то непостижимым для нас, китайцев, причинам англичане неизменно принимают на веру любые утверждения любого американского изобретателя, особенно такого, который ничего не изобрел. Вот почему вы поверили этому человеку и устроили официальный прием в его честь. Сегодня государственный архив показывает кинохронику о смерти всех выдающихся англичан, утонувших после появления кино. Сходите посмотреть – вам же все равно нечего делать.

Бердж-Лубин. Какой мне интерес смотреть ленту, на которую сняли целую кучу людей по той лишь причине, что они утонули? Будь у них хоть капля здравого смысла, они наверняка не поступили бы так.

Конфуций. Вы не правы. Недавно архив сделал крупное открытие, подметив за талантливыми государственными деятелями и деятельницами прошлого века две особенности, на которые еще никто не обратил внимания. Во-первых, они до весьма преклонного возраста выглядели на редкость моложаво; во-вторых, все они утонули.

Бердж-Лубин. Слышал. Как вы это объясняете?

Конфуций. Это необъяснимо, ибо неразумно. Следовательно, я в это не верю.

Врывается мертвенно-бледный верховный статистик и неверными шагами добирается до середины стола.

Бердж-Лубин. Что случилось? Вы заболели?

Барнабас *(задыхаясь)*. Нет. Я... *(Падает в среднее кресло.)* Я должен поговорить с вами наедине.

Конфуций невозмутимо удаляется.

Бердж-Лубин. Да что это с вами? Подышите кислородом.

Барнабас. Уже дышал. Ступайте сами в архив и поглядите

там, как люди грохаются в обморок и как их приводят в чувство кислородом. Так было и со мной, когда я своими глазами увидел то, что видят они.

Бердж-Лубин. Что же именно?

Барнабас. Архиепископа Йоркского.

Бердж-Лубин. А почему бы им его не видеть? И с какой стати падать от этого в обморок? Разве он убит?

Барнабас. Нет, утонул.

Бердж-Лубин. Боже правый! Как? Где? Когда? Бедняга!

Барнабас. Бедняга? Нет, бедный вор, бедный обманщик, бедный казнокрад! Ну, погодите, я до него доберусь!

Бердж-Лубин. Да вы рехнулись! Как можно добраться до него, если он мертв?

Барнабас. Мертв? Кто вам это сказал?

Бердж-Лубин. Вы сами. Он же утонул.

Барнабас *(в бешенстве)*. Выслушайте меня наконец! Что стало со стариком Хэзлемом, четвертым по счету предшественником нынешнего ерхиепископа? Утонул он или нет?

Бердж-Лубин. Почем я знаю? Посмотрите «Британскую энциклопедию».

Барнабас. Да?.. А с архиепископом Стикитом, автором книги «Стикит о псалмах»? Утонул он или нет?

Бердж-Лубин. Слава богу, да. И поделом.

Барнабас. А с президентом Дикинсоном? А с генералом Балибоем? Утонули они или нет?

Бердж-Лубин. Кто же это оспаривает?

Барнабас. Так вот, когда сегодня американцу показали на экране всех этих четверых покойников, выяснилось, что они и архиепископ — одно и то же лицо. Вы и теперь скажете, что я помешанный?

Бердж-Лубин. Да, и притом буйный.

Барнабас. Верить мне своим глазам или нет?

Бердж-Лубин. А это уж как вам угодно. Могу сказать одно: если ваши глаза не видят разницы между одним живым архиепископом и двумя мертвыми, я таким глазам не верю.

Звонок на коммутаторе. Бердж-Лубин нажимает кнопку.

Слушаю.

Женский голос. Архиепископ Йоркский просит президента принять его.

Барнабас *(хриплым от бешенства голосом)*. Тащите его сюда! Я потолкую с этим негодяем!

Бердж-Лубин. Только не в теперешнем вашем состоянии.

Барнабас *(дотянувшись до кнопки и яростно нажимая ее)*. Немедленно впустить архиепископа!

Бердж-Лубин. Помните, Барнабас: если вы потеряете самообладание, нас будет двое против одного.

Входит архиепископ. На шее у него, под черным галстуком, белая повязка. Одет он в нечто вроде шотландской юбочки из черных лент, мягкие черные сапоги с застежками до колен. Костюм его выглядит почти так же, как у президента и верховного статистика, только выдержан в черно-белых тонах. Это, несомненно, преподобный Билл Хэзлем, хотя он старше того молодого человека, который когда-то ухаживал за Сэвви Барнабас. На вид ему не больше пятидесяти, но и для этого возраста он сохранился на редкость хорошо. Правда, былые мальчишеские замашки исчезли: теперь он — воплощенная респектабельность. Заметно, что президент его немного побаивается: поэтому вполне естественно и неизбежно, что архиепископ первым начинает разговор.

Архиепископ. Добрый день, господин президент!

Бердж-Лубин. Добрый день, господин архиепископ! Садитесь, пожалуйста.

Архиепископ *(усаживаясь между Бердж-Лубином и Барнабасом)*. Добрый день, господин верховный статистик!

Барнабас *(злобно)*. Добрый день! Не возражаете, если я задам вам один вопрос?

Архиепископ *(изумленный его недружелюбным тоном, с любопытством глядит на него)*. Нисколько. Что вас интересует?

Барнабас. Что такое, по-вашему, вор?

Архиепископ. По-моему, изрядно устаревшее слово.

Барнабас. В моем ведомстве оно еще имеет официальное хождение.

Архиепископ. В наших ведомствах полно пережитков. Посмотрите на мой галстук, передник, башмаки. Явные пережитки, но без них я, вероятно, не был бы подлинным архиепископом.

Барнабас. Еще бы!.. Так вот, слово «вор» по-прежнему имеет хождение в моем ведомстве, потому что в обществе по-прежнему имеет место такое явление, как воровство. Явление весьма мерзкое и позорное.

Архиепископ *(холодно)*. Безусловно.

Барнабас. Для моего ведомства, сэр, вор — это человек, ко-

торый превышает установленный для него законом срок жизни и получает народные деньги даже тогда, когда любой честный человек на его месте давно был бы покойником.

Архиепископ. В таком случае, сэр, позволю себе заметить, что ваше ведомство плохо знает свои функции. Если вы ошиблись в исчислении продолжительности человеческой жизни, вина за это ложится не на тех, кому вы неправильно исчислили срок жизни. А когда они к тому же продолжают трудиться и производить, их существование окупается даже в том случае, если они проживут несколько столетий.

Барнабас. Меня не интересует, как они трудятся и что производят. Это не дело моего ведомства. Меня касается одно — продолжительность их жизни, и я повторяю, что никто не имеет права жить и получать деньги, коль скоро ему положено умереть.

Архиепископ. Вы не понимаете взаимосвязи дохода и производительности.

Барнабас. Зато я понимаю, в чем состоят обязанности моего ведомства.

Архиепископ. Этого мало. Ваше ведомство лишь часть синтеза всех ведомств.

Бердж-Лубин. Синтез? Это отвлеченное понятие; следовательно, дело Конфуция. На днях я слышал от него это слово и еще тогда спросил себя, что за чертовщину оно означает. *(Вставляет вилку.)* Алло! Соедините меня с премьер-министром.

Голос Конфуция. Премьер-министр у аппарата.

Бердж-Лубин. Старина, тут нам попалось одно отвлеченное понятие. Никак не можем разобраться. Зайдите и растолкуйте.

Архиепископ. Позволено ли мне спросить, в какой связи встал этот вопрос?

Барнабас. А-а, теперь вы, кажется, почуяли, чем тут пахнет? Вы-то, конечно, считали себя в полной безопасности. Вы...

Бердж-Лубин. Спокойно, Барнабас! Не спешите.

Входит Конфуций.

Архиепископ *(вставая)*. Здравствуйте, господин премьер-министр!

Бердж-Лубин *(непроизвольно подражая архиепископу, также встает)*. Удостойте нас чести присесть, о мудрый!

Конфуций. Церемонии излишни. *(Кланяется собравшимся и садится на конце стола.)*

Президент и архиепископ занимают свои места.

Бердж-Лубин. Мы хотим просить вас, Конфуций, рассмотреть один казус. Допустите, что человек, не считаясь с официально установленным для него сроком жизни, прожил больше, чем два с половиной столетия. Имеет ли в данном случае верховный статистик право назвать его вором?

Конфуций. Нет. Но он имеет право назвать его обманщиком.

Архиепископ. Не нахожу, господин премьер-министр. Сколько, по-вашему, мне лет?

Конфуций. Пятьдесят.

Бердж-Лубин. Нет, меньше. Вам сорок пять, но на вид вы еще моложе.

Архиепископ. Мне двести восемьдесят три.

Барнабас *(с мрачным торжеством)*. Ну? Я — помешанный?

Бердж-Лубин. Вы оба помешанные. Прошу прощения, архиепископ, но это уж... э-э... слишком.

Архиепископ *(Конфуцию)*. Господин премьер-министр, сделайте одолжение, допустите, что я действительно прожил около трех столетий. Допустите чисто гипотетически.

Бердж-Лубин. Гипотетически? Что это значит?

Конфуций. Неважно. Я понимаю. *(Архиепископу.)* Что́ я должен допустить — что вы жили в ваших предках или с помощью метампсихоза?

Бердж-Лубин. Ме-там-пси... Боже правый! Ну и голова у вас, Конфуций, ну и голова!

Архиепископ. Ничего подобного. Допустите, что я в самом прямом смысле слова родился в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году и с тысяча девятьсот десятого непрерывно работал в разных профессиях. Вор я или нет?

Конфуций. Не знаю. Воровство также было одной из ваших профессий?

Архиепископ. Нет. Я был всего-навсего архиепископом, президентом и генералом.

Барнабас. Обворовал он казну или нет, получив полдюжины доходов, хотя имел право всего на один? Вот на что вы мне ответьте.

Конфуций. Безусловно, нет. Мы допустили, что с тысяча девятьсот десятого года он непрерывно работает. Сейчас две тысячи семидесятый год. Какова официальная продолжительность жизни?

Барнабас. Семьдесят восемь лет. Разумеется, это средняя цифра, и мы не возражаем, если человек иногда доживает до девяноста или, в качестве курьеза, даже до ста. Но повторяю: тот, кто превышает этот предел, — мошенник.

Конфуций. Двести восемьдесят три, деленные на семьдесят восемь, составляют больше, чем три с половиной. Ваше ведомство должно архиепископу две с половиной стоимости воспитания и три с половиной пенсии по возрасту.

Барнабас. Чепуха! Это еще почему?

Конфуций. С какого возраста люди у вас начинают работать на общество?

Бердж-Лубин. С трех лет. Начиная с трех лет они каждый день уже что-то делают. Просто так, чтобы втянуться. А самоокупаются или почти самоокупаются они с тринадцати.

Конфуций. А когда они выходят на пенсию?

Барнабас. В сорок три года.

Конфуций. Следовательно, они трудятся тридцать лет и за это, не работая, тринадцать лет получают стоимость воспитания в детстве и тридцать пять лет пенсию по старости, что составляет в сумме сорок восемь лет. Архиепископ проработал двести шестьдесят лет, а получил только одну стоимость воспитания и ни одной пенсии. Ему причитается с вас пенсия за триста лет и примерно восемь стоимостей воспитания. Таким образом, вы сильно ему задолжали. Иными словами, его долголетие принесло нации огромную экономию, а вы, живя всего семьдесят восемь лет, существуете за его счет. Он — ваш благодетель, а вы — вор. *(Привстав.)* Смею ли я теперь удалиться и вернуться к своим серьезным обязанностям, тем более что мой лично срок жизни сравнительно краток?

Бердж-Лубин. Погодите, старина.

Конфуций садится.

Вопрос поставлен не гипнотически или как вы там выражаетесь, а вполне серьезно. Я не верю, что все это правда, но если архиепископ и верховный статистик настаивают на своем, нам придется либо упрятать обоих

в сумасшедший дом, либо основательно разобраться в деле.

Барнабас. Со мной вся эта китайщина ни к чему. Я — человек простой, метафизики не понимаю и не верю в нее, но умею обращаться с цифрами. Если архиепископ имеет право на семьдесят восемь лет, а получил деньги за двести восемьдесят три года, я утверждаю, что он получил больше, чем вправе получить. Попробуйте доказать, что это не так.

Архиепископ. Я получил деньги не за двести восемьдесят три года, а всего за двадцать три, хотя сам проработал двести шестьдесят лет.

Конфуций. А что показывают ваши счетные книги — недостачу или излишки?

Барнабас. Излишки. Вот это мне и непонятно. До чего же хитры такие люди!

Бердж-Лубин. Итак, все ясно, спорить больше не о чем. Китаец говорит, что вы не правы; значит, и дело с концом.

Барнабас. Я не оспариваю доводы китайца. Но что вы скажете насчет приведенных мною фактов?

Конфуций. Если к числу их относится и утверждение, будто человек может прожить двести восемьдесят три года, я рекомендую вам отправиться на побережье и отдохнуть там неделю-другую.

Барнабас. Хватит вам намекать на мое помешательство. Пойдите и посмотрите кинохронику. Повторяю вам: этот субъект — архиепископ Хэзлем, архиепископ Стикит, президент Дикинсон, генерал Балибой и, сверх того, он сам; короче, пять человек в одном лице.

Архиепископ. Не отрицаю. И никогда не отрицал. Просто меня никто об этом не спрашивал.

Бердж-Лубин. Но черт вас... Извините, архиепископ, но это в самом деле... э-э...

Архиепископ. Не стесняйтесь. Так что вы хотели сказать?

Бердж-Лубин. Но вы действительно утонули четыре раза — вы же не так живучи, как кошка.

Архиепископ. Все очень просто. Представьте себе, в каком положении я оказался, сделав наконец поразительное открытие, что мне предстоит прожить триста лет. Я...

Конфуций *(перебивая)*. Простите. Такое открытие невозможно. Вы и сейчас его не сделали. Коль скоро вы прожили двести лет, вы можете прожить еще хоть миллион. При чем же здесь цифра триста? Вы допустили промах

уже в самом начале своей сказки, господин архиепископ.

Бердж-Лубин. Ловко, Конфуций! *(Архиепископу.)* Он вас поймал. Не представляю, как вы теперь выкрутитесь.

Архиепископ. Да, ход действительно ловкий. Но если верховный статистик зайдет в библиотеку Британского музея и пороется в каталоге, он обнаружит там весьма любопытную, хотя и забытую ныне книгу, опубликованную под его фамилией в тысяча девятьсот двадцать четвертом году и озаглавленную «Евангелие от братьев Барнабас». Это Евангелие гласило, что для спасения цивилизации человек должен жить триста лет. Оно доказывало, что такое долгожительство вполне возможно, и учило, как этого достичь. Кстати, я был женат на дочери одного из этих братьев.

Барнабас. Вы хотите сказать, что притязаете на родство со мной?

Архиепископ. Я ни на что не притязаю. Поскольку сейчас у меня, вероятно, уже три-четыре миллиона родственников разных степеней, я перестал поддерживать семейные связи.

Бердж-Лубин. Боже милостивый! Четыре миллиона родственников? Это реальная цифра, Конфуций?

Конфуций. В Китае она могла бы составить и сорок миллионов, не будь там ограничена рождаемость.

Бердж-Лубин. Сногсшибательно! Это доказывает... *(Спохватываясь.)* Нет, это исключено. Не будем терять голову.

Конфуций *(архиепископу)*. Вы хотите сказать, что прославленные предки верховного статистика открыли вам секрет, как прожить три столетия?

Архиепископ. Отнюдь нет. Они просто были убеждены, что человек может жить столько, сколько сочтет безусловно необходимым для спасения цивилизации. Я не разделял их убеждений, во всяком случае, не сознавал, что разделяю. Их теории казались мне тогда смешными. Я считал своего тестя и его брата умными чудаками, которые внушили друг другу навязчивую идею, перешедшую затем в манию. И только на восьмом десятке, когда у меня случились серьезные осложнения с пенсионными учреждениями, я стал догадываться, что это — истина.

Конфуций. Истина?

Архиепископ. Да, господин премьер-министр, истина. Как это обычно бывает с революционными истинами, все началось с шутки. После сорока пяти лет я перестал обна-

руживать какие-либо признаки постарения, и моя жена частенько подсмеивалась надо мною, уверяя, что я обязательно проживу триста лет. Сама она умерла шестидесяти восьми. Последние слова, которые я от нее услышал, сидя у постели и держа ее за руку, были: «Билл, тебе действительно не дашь и пятидесяти. Я думаю...» Тут она умолкла, задумалась и навсегда заснула. После этого стал задумываться и я. Вот вам объяснение моих трехсот лет, господин премьер-министр.

Конфуций. Очень остроумное объяснение, господин архиепископ. И очень красноречивое.

Бердж-Лубин. Вы, конечно, понимаете, архиепископ, что я лично ни на минуту не позволил себе усомниться в вашей правдивости. Вы ведь понимаете это, не так ли?

Архиепископ. Разумеется, господин президент. Вы только мне не верите, вот и все. Впрочем, я этого и не жду. На вашем месте я тоже не поверил бы. Поэтому посмотрите-ка лучше кинохронику. *(Указывая на верховного статистика.)* Вот он поверил.

Бердж-Лубин. Но вы же утонули! Как с этим-то быть? Человек может утонуть раз, от силы два, если он крайне неосторожен. Но четыре раза!.. Да у него, как у бешеной собаки, водобоязнь сделается!

Архиепископ. Может быть, господин премьер-министр объяснит вам, в чем тут дело.

Конфуций. Чтобы сохранить свою тайну, архиепископу надо было умереть.

Бердж-Лубин. Но ведь он жив, черт вас побери!

Конфуций. В социальном плане человек не может не делать того, что делают все. Поэтому ему приходится умирать в положенное время.

Барнабас. Разумеется. Это просто вопрос чести.

Конфуций. Отнюдь. Просто необходимость.

Бердж-Лубин. Пусть меня повесят, если я что-нибудь понимаю! Я, например, с удовольствием жил бы вечно, если бы мог.

Архиепископ. Это не так просто, как вам кажется. Вы, господин премьер-министр, сразу оценили всю затруднительность положения. А вам, господин президент, позвольте напомнить, что в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году, когда закон о перераспределении доходов дал мне право на приличную пенсию по старости, я уже перевалил за восемьдесят. Я попробовал истребовать свою пенсию, но меня, ввиду моей моложавости, при-

влекли к ответственности за попытку получить народные деньги обманным путем. Документов у меня не было: мое свидетельство о рождении погибло задолго до этого, во время первой из великих современных войн, при взрыве бомбы, угодившей в сельскую церковь. Меня сочли сорокалетним и снова заставили работать целых пятнадцать лет: пенсионный возраст равнялся тогда пятидесяти пяти.

Бердж-Лубин. Неужели? Как только люди терпели это?

Архиепископ. Но и по истечении этого срока мне все равно не дали пенсии: я по-прежнему выглядел слишком молодо. Неприятности тянулись несколько лет. Меня то и дело таскали в промышленную полицию: там никак не хотели поверить, что я достиг возрастного предела. Меня уже прозвали Вечным жидом. Представляете себе, насколько невыносимо стало мое положение? Я предвидел, что лет через двадцать, когда по документам мне исполнится семьдесят пять, а на самом деле будет сто семнадцать, мне, по внешности, опять дадут не больше сорока пяти. Что оставалось делать? Искусственно поседеть? Взгромоздиться на костыли? Подражать голосу столетнего старика? Нет, решил я, лучше уж покончить с собой.

Барнабас. Вы обязаны были покончить с собой. Как порядочный человек вы не имели права превышать срок жизни, положенный порядочному человеку.

Архиепископ. Я и покончил с собой. Это оказалось совсем несложно. Во время купального сезона я отправился на море, положил в карман документы, удостоверяющие мою личность, и оставил одежду на берегу. Затем перебрался в другой город и сделал вид, что утратил память и не помню ни как меня зовут, ни сколько мне лет, словом, ничего о себе не знаю. Меня лечили, я выздоровел, но память не восстановилась. Так я вступил на путь постоянного чередования жизни и смерти. С тех пор я сделал несколько разных карьер. Трижды был архиепископом. Затем убедил правительство снести все наши города и выстроить их заново от фундаментов до крыш или перенести на другое место. После этого меня зачислили в артиллерию и произвели в генералы. Был я и президентом.

Бердж-Лубин. Дикинсоном?

Архиепископ. Да.

Бердж-Лубин. Но ведь тело Дикинсона было найдено и прах его погребен в соборе святого Павла.

Архиепископ. Тело почти всегда находят: во время купального сезона тонет куча людей. Меня неоднократно кремировали. Сначала я, переодетый, обязательно присутствовал на своих похоронах — когда-то я читал про одного человека, который поступал именно так. Это описано в романе старинного писателя по фамилии Беннет, у которого я, помнится, занял пять фунтов в тысяча девятьсот двенадцатом году. Потом мне это надоело. Сейчас я даже не дам себе труд перейти через улицу, чтобы прочесть собственную эпитафию.

Президент и премьер-министр явственно мрачнеют: их недоверчивость наконец побеждена.

Бердж-Лубин. Да понимаете ли вы, друзья, как это ужасно? Мы спокойно сидим рядом с человеком, на два столетия опоздавшим умереть. В любой момент тут же, при нас, он может рассыпаться в прах.

Барнабас. Этот не рассыпется. Этот будет получать свою пенсию до самого светопреставления.

Архиепископ. Вы преувеличиваете. Срок моей жизни — всего триста лет.

Барнабас. Меня вы, во всяком случае, переживете. Этого уже довольно.

Архиепископ *(холодно)*. Откуда вам это известно?

Барнабас *(озадаченный)*. Откуда мне это известно?

Архиепископ. Да, откуда? Я сам начал догадываться, что́ со мной, когда мне было уже под семьдесят: раньше я только гордился своей моложавостью. И лишь после девяноста я отнесся к делу с подобающей серьезностью. Даже теперь я иногда сомневаюсь, правда ли все это, хотя уже изложил вам обстоятельства, побуждающие меня полагать, что я неумышленно обрек себя на триста лет жизни.

Бердж-Лубин. Но каким образом вы этого добились? Ели лимоны? Или соевые бобы? Или..

Архиепископ. Ничего я не делал. Все получилось само по себе. И может случиться с кем угодно. С вами тоже.

Бердж-Лубин *(уразумев все значение сказанного)*. Выходит, мы трое, сами того не подозревая, можем оказаться в вашем положении?

Архиепископ. Можете. Поэтому рекомендую хотя бы из

осторожности не предпринимать никаких шагов, которые осложнили бы мое положение.

Бердж-Лубин. Черт возьми! Еще сегодня утром один из моих секретарей заметил, что я выгляжу на редкость хорошо и молодо. Барнабас, я абсолютно убежден, что я один... э-э... скажем, одна из жертв этого странного каприза судьбы.

Архиепископ. Ваш прапрапрапрадед пришел к тому же убеждению на седьмом десятке. Я его знавал.

Бердж-Лубин *(уныло)*. Да-а, но ведь он умер.

Архиепископ. Нет.

Бердж-Лубин *(воспрянув духом)*. Вы хотите сказать, что он жив и поныне?

Архиепископ. Нет. Его расстреляли. Уверовав в то, что жизнь его продлится триста лет, он стал совершенно другим человеком. Начал говорить людям правду и так им этим досадил, что они воспользовались кое-какими пунктами парламентского акта, который он сам же провел во время первой мировой войны, а затем умышленно позабыл отменить. Его посадили в лондонский Тауэр и расстреляли.

Звонок на коммутаторе.

Конфуций *(отвечает)*. Да. *(Слушает.)*

Женский голос. Министр внутренних дел просит приема.

Бердж-Лубин *(не расслышав)*. Что она говорит? Кто просит приема?

Конфуций. Министр внутренних дел.

Барнабас. О, черт побери! Опять эта ужасная женщина!

Бердж-Лубин. В ней действительно есть что-то отталкивающее, хоть я и не пойму, в чем тут дело. Собой она совсем недурна.

Барнабас *(взрываясь)*. Оставьте фривольный тон, бога ради!

Архиепископ. Это выше его сил, господин верховный статистик: трое из его шестнадцати предков по мужской линии были женаты на урожденных Лубин.

Бердж-Лубин. Полно, полно! Я и не думал фривольничать. Эту даму пригласил не я. Может быть, кто-нибудь из вас?

Конфуций. Ее служебный долг — раз в три месяца являться на личный доклад к президенту.

Бердж-Лубин. Ах, вот как! В таком случае полагаю, что мой служебный долг — принять ее. Лучше всего попро-

сим ее сюда. Она вернет нас к реальной жизни. Не знаю, как вы, друзья мои, а я совершенно одурел.

Конфуций *(в аппарат)*. Президент готов немедленно принять министра внутренних дел.

Присутствующие молча смотрят на дверь, откуда должен появиться министр внутренних дел.

Бердж-Лубин *(неожиданно, архиепископу)*. Вы, наверно, много раз были женаты?

Архиепископ. Всего один. Нельзя давать обет быть верным до смерти, когда ее приходится ждать триста лет.

Снова неловкое молчание. Входит министр внутренних дел. Это красивая женщина в цвете лет: сильное тело, стройный стан, безупречная осанка, поступь богини. Выражение лица и манеры обличают в ней серьезность, быстроту, решительность, суровость, непреклонность. Вместо блузы на ней туника, как у Дианы; вместо золотого обруча на лбу — небольшая серебряная корона. В остальном одета она почти так же, как мужчины, которые при ее появлении встают и с невольным уважением склоняют головы. Она подходит к свободному креслу между Барнабасом и Конфуцием.

Бердж-Лубин *(с наигранной веселостью и любезностью)*. Счастлив видеть вас, миссис Лутстринг.

Конфуций. Ваше небесное присутствие — великая честь для нас.

Барнабас. Добрый день, сударыня.

Архиепископ. К сожалению, не имел удовольствия встречаться с вами раньше. Я — архиепископ Йоркский.

Миссис Лутстринг. Мы, несомненно, где-то встречались, господин архиепископ: ваше лицо мне знакомо. Мы... *(Неожиданно обрывает фразу.)* Ах нет, вспомнила: это были не вы. *(Садится.)*

Мужчины садятся.

Архиепископ *(также в замешательстве)*. Вы уверены, что не ошиблись, миссис Лутстринг? Когда я гляжу на ваше лицо, у меня возникают странные ассоциации. Передо мной словно открывается дверь, вы стоите на пороге, узнаете меня и приветливо улыбаетесь. Не случалось ли вам когда-нибудь отпирать мне дверь?

Миссис Лутстринг. Я часто отпирала ее человеку, которого вы мне напомнили. Но он давно умер.

Мужчины, за исключением архиепископа, быстро переглядываются.

Конфуций. Осмелюсь спросить — как давно?

Миссис Лутстринг *(изумленная его тоном, недовольно смотрит на него и, помолчав, отвечает)*. Неважно. Очень давно.

Бердж-Лубин. Не спешите с выводами насчет архиепископа, миссис Лутстринг. Он куда старше, чем кажется. Во всяком случае, старше вас.

Миссис Лутстринг *(печально улыбаясь)*. Не думаю, господин президент. Но это деликатная тема, и я предпочла бы не углубляться в нее.

Конфуций. Тут возникает еще один вопрос.

Миссис Лутстринг *(безапелляционно)*. Если это вопрос о моем возрасте, вам лучше воздержаться от него, господин премьер-министр. Все сведения о моей личной жизни, которые могут вас интересовать, вы найдете в книгах верховного статистика.

Конфуций. Вопрос, о котором я думал, адресован не вам. Осмелюсь, однако, заметить, что подобная чувствительность чрезвычайно удивляет меня в женщине, стоящей, по нашему общему мнению, бесконечно выше обычных человеческих слабостей.

Миссис Лутстринг. У меня могут быть причины, которые не имеют ничего общего с обычными человеческими слабостями, господин премьер-министр. Надеюсь, это будет принято во внимание?

Конфуций *(кланяясь в знак согласия)*. Итак, задаю свой вопрос. Имеете ли вы, господин архиепископ, основания полагать, — а, по всей видимости, так оно и есть, — что случившееся с вами не случилось ни с кем другим?

Бердж-Лубин. Верно, черт побери! Я об этом даже не подумал.

Архиепископ. Я никогда не встречал человека с такой же судьбой, как моя.

Конфуций. Откуда вам это известно?

Архиепископ. Мне никто не рассказывал, что находится в столь же необычном положении.

Конфуций. Это ничего не доказывает. Разве сами вы говорили кому-нибудь о своем положении? Нам, во всяком случае, нет. А почему?

Архиепископ. Меня поражает, что я слышу такой вопрос из уст столь проницательного человека, господин премьер-министр. Когда мне стало наконец ясно, что со мной произошло, я был уже достаточно стар, чтобы знать, как жестоки двуногие и как надо опасаться ненависти, с которой они, подобно остальным животным, преследуют своего собрата, имеющего несчастье хоть в чем-нибудь отличаться от них, быть, как они выражаются, ненормальным. В числе сочинений классика двадцатого столетия Уэллса есть роман о породе людей, чей рост вдвое превышал обычный, а также рассказ о человеке, попавшем в руки племени слепорожденных. Гигантам пришлось с боем отстаивать свою жизнь от малорослых, а зрячему слепцы выкололи бы глаза, не сбеги он от них в пустыню, где и погиб самым жалким образом. И в этом, и в других случаях поучения Уэллса не прошли для меня даром. Кстати, однажды я занял у него пять фунтов, которые так и не отдал, что поныне лежит бременем на моей совести.

Конфуций. Разве Уэллса читали вы один? Разве у людей в вашем положении, если таковые существуют, не было тех же оснований хранить тайну?

Архиепископ. Вы правы. Но я бы знал о них. Вы, недолгожители, все очень ребячливы. Встреться мне человек моего возраста, я сразу догадался бы. Но такого я не встречал.

Миссис Лутстринг. А женщину ваших лет вы узнали бы?

Архиепископ. Я... *(Обрывает фразу, поворачивается и, пораженный намеком, подозрительно всматривается в собеседницу.)*

Миссис Лутстринг. Сколько вам лет, господин архиепископ?

Бердж-Лубин. Он уверяет, что двести восемьдесят три. Не правда ли, милая шутка? Знаете, миссис Лутстринг, он уже почти убедил нас, но тут появились вы, и ваш несокрушимый здравый смысл очистил атмосферу.

Миссис Лутстринг. Вы вполне искренни, господин президент? Я слышу в вашем голосе бодрые утвердительные нотки, но не слышу убежденности.

Бердж-Лубин *(вскакивая)*. Ну вот что, довольно с меня разговоров об этой чертовщине! Извините за невежливость, но они действуют мне на нервы. Даже самая лучшая шутка хороша лишь до известного предела. Мы его перешли. Я... Сегодня я очень занят. У всех нас дел выше

головы. Конфуций подтвердит вам, что мне предстоит тяжелый день.

Барнабас. Разве у вас может быть дело важнее, если только все это правда?

Бердж-Лубин. Вот именно – если это правда! А это неправда.

Барнабас. И разве у вас вообще есть дела?

Бердж-Лубин. Есть ли у меня дела? Вы, кажется, забыли, Барнабас, что я все-таки президент и несу на своих плечах все бремя государственных обязанностей.

Барнабас. Есть у него обязанности, Конфуций?

Конфуций. Только одна – быть президентом.

Барнабас. Значит, ему нечего делать.

Бердж-Лубин *(мрачно)*. Отлично, Барнабас! Дурачьтесь и дальше. *(Садится.)* Ну, продолжайте.

Барнабас. Я не уйду отсюда, пока мы до конца не распутаем это мошенничество.

Миссис Лутстринг *(угрожающе поворачиваясь к верховному статистику)*. Что такое? Что вы сказали?

Конфуций *(Барнабасу)*. Ваше утверждение ничем не подкреплено. Не употребляйте терминов, затемняющих существо вопроса.

Барнабас *(довольный тем, что может обратиться к Конфуцию и тем самым избежать взгляда миссис Лутстринг)*. Ну, скажем иначе: эти противоестественные ужасы. Вы удовлетворены?

Конфуций. Более или менее. Однако слово «ужасы» допускает слишком много толкований.

Архиепископ. Под словом «ужасы» верховный статистик разумеет лишь нечто необычное.

Конфуций. Я замечаю, что уважаемый министр внутренних дел не выказал никаких признаков изумления и недоверия, узнав о преклонном возрасте досточтимого прелата.

Бердж-Лубин. Она просто не приняла это всерьез. Да и кто принял бы? Не правда ли, миссис Лутстринг?

Миссис Лутстринг. Нет, я приняла это всерьез, господин президент. Теперь я вижу, что ошиблась. Мы с архиепископом уже встречались.

Архиепископ. А я и не сомневался. Я не случайно вообразил себе отпираемую дверь и улыбающееся мне женское лицо. Это воспоминание о чем-то, что действительно было, хотя теперь мне кажется, что я видел ангела, распахивающего предо мной райские врата.

Миссис Лутстринг. А может быть, горничную, открывающую дверь дома, где жила любимая вами девушка?

Архиепископ *(с разочарованной миной)*. Вот оно что! Как чудесно меняется действительность в нашем воображении! Смею, однако, заметить, миссис Лутстринг, что превращение горничной в ангела отнюдь не более удивительно, чем превращение ее в весьма достойного и способного министра внутренних дел, с которым я сейчас беседую. Ангела я в вас узнаю, а вот горничную, по правде сказать, нет.

Бердж-Лубин. Что такое «горничная»?

Миссис Лутстринг. Вымерший вид. Женщина в черном платье и белом переднике, которая открывала двери на стук или звонок и была либо вашим тираном, либо вашей рабыней. Я служила горничной в доме одного из отдаленных предков верховного статистика. *(Конфуцию.)* Вы интересовались моим возрастом, господин премьер-министр. Мне двести семьдесят четыре года.

Бердж-Лубин *(галантно)*. Вам их не дашь. Ни за что не дашь.

Миссис Лутстринг *(повернув к нему лицо, серьезным тоном)*. А вы присмотритесь получше, господин президент.

Бердж-Лубин *(смело глядит на нее, затем улыбка его гаснет, и он неожиданно закрывает глаза руками)*. Да, вам их можно дать. Теперь я убедился: это правда. Конфуций, позвоните в сумасшедший дом и распорядитесь, чтобы за мной прислали санитарную карету.

Миссис Лутстринг *(архиепископу)*. Зачем вы открыли им свою тайну? Нашу тайну!

Архиепископ. Они сами до нее докопались. Меня выдала кинохроника. Но я даже не подозревал, что я не один такой. А вы?

Миссис Лутстринг. Я знавала еще одну. Она была кухаркой. Потом ей надоело жить, и она покончила с собой.

Архиепископ. Боже правый!.. Впрочем, смерть ее упрощает ситуацию. Мне ведь удалось убедить этих господ, что инцидент лучше сохранить в тайне.

Миссис Лутстринг. Что? В тайне? Теперь, когда президент в курсе дела? Да не пройдет и недели, как об этом будет знать весь город.

Бердж-Лубин *(обиженно)*. Это уж чересчур, миссис Лутстринг! Вы говорите так, словно я заведомый болтун.

Барнабас, неужели у меня действительно такая репутация?

Барнабас *(безнадежно)*. Что поделаешь. Это у вас конституция такая.

Конфуций. Это в высшей степени неконституционно. Но тут уж, как вы справедливо заметили, ничего не поделаешь.

Бердж-Лубин *(торжественно)*. Заверяю, что ни одна государственная тайна не была разглашена мною кому бы то ни было, кроме, разве что, министра здравоохранения. Но она – олицетворенная сдержанность. Многие думают, что раз она негритянка...

Миссис Лутстринг. Сейчас уже не важно, промолчите вы или все разболтаете. Когда-то это имело бы большое значение. Но дети мои умерли.

Архиепископ. Да, дети, наверно, страшно осложняли вашу жизнь. У меня их, к счастью, не было.

Миссис Лутстринг. Одна из дочерей была моей любимицей. Через несколько лет после того, как я утонула в первый раз, мне стало известно, что она потеряла зрение. Я поехала к ней. Она была уже слепой девяностошестилетней старухой. Она попросила меня посидеть и поговорить с ней: мой голос напомнил ей голос покойной матери.

Бердж-Лубин. Да, все это, без сомнения, ужасно сложно. Честное слово, сам не знаю, хотелось ли бы мне жить дольше, чем остальные!

Миссис Лутстринг. Вы в любой момент можете покончить с собой, как та кухарка. Правда, она болела инфлюэнцей. Долго жить – сложно, страшно и все-таки замечательно. Я не поменялась бы судьбой с обычной женщиной, как не поменяюсь с майской мухой, живущей всего один час.

Архиепископ. Что натолкнуло вас на мысль о долгожительстве?

Миссис Лутстринг. Книга Конрада Барнабаса. Ваша будущая жена уверила меня, что это куда интересней «Наполеонова оракула» и «Альманаха старого Мура», которыми зачитывались мы с кухаркой. Я была тогда совершенно невежественна и, в отличие от любой образованной женщины, сочла, что долгожительство не такая уж немыслимая вещь. Но вскоре я об этом начисто забыла, вышла замуж за бедняка, работала день и ночь, растила детей и выглядела лет на двадцать старше, чем была. В один прекрасный день, когда муж мой давно уже

умер, а дети стали самостоятельны и разъехались по всему свету, я заметила, что выгляжу на двадцать лет моложе, чем мне полагалось бы. И тут меня осенило.

Бердж-Лубин. Упоительная минута! Ваши тогдашние ощущения, вероятно, не поддаются описанию. Что вы прежде всего почувствовали?

Миссис Лутстринг. Глубокий ужас. Я понимала, что моих крошечных сбережений хватит ненадолго, а значит, придется опять идти в люди и работать. Чем была в то время так называемая пенсия по старости? Жалкой подачкой, обрекавшей обессилевшего старого труженика на медленную смерть. К тому же я боялась, что попадусь, если стану получать ее слишком долго. Я думала только об одном — как ужасна предстоящая мне вторая жизнь: снова работать день и ночь, потерять заслуженный таким трудом отдых, лишиться ничтожных сбережений. Вы, живущие теперь, даже не представляете себе, как гнела нас вечная боязнь нищеты, как выматывали нескончаемый сорокалетний труд и тщетные попытки выкроить фунт из шиллинга.

Архиепископ. Удивляюсь, как вы не наложили на себя руки. Я вообще часто удивляюсь, почему в то недоброе старое время бедняки не кончали с собой. И даже не убивали других.

Миссис Лутстринг. С собой не кончаешь потому, что думаешь: и завтра успеется. А на то, чтобы убивать других, не хватает энергии и убежденности в своем праве. Да и как осуждать других, если на их месте стал бы делать то же самое?

Бердж-Лубин. Чертовски слабое утешение!

Миссис Лутстринг. В те времена люди вроде меня утешались другим способом — пили алкогольные напитки, ослаблявшие житейское напряжение и дававшие иллюзию счастья.

Бердж-Лубин, Конфуций, Барнабас *(с гримасой отвращения, вместе)*. Алкоголь? Фу! Экая мерзость!

Миссис Лутстринг. Вам, господин верховный статистик, капелька алкоголя пошла бы только на пользу: характер и манеры стали бы у вас помягче и общаться с вами было бы приятней.

Бердж-Лубин *(со смехом)*. Верно, черт побери! Попробуйте, Барнабас!

Конфуций. Не надо. Попробуйте лучше чай. Это тоже яд, но более культурный.

Миссис Лутстринг. Вы, господин президент, родились на свет уже пьяным от избытка здоровья и сил. Вы не в состоянии понять, чем был алкоголь для бедной, постоянно недоедавшей женщины. Я экономила каждый грош, чтобы хоть раз в неделю напиться, как тогда выражались. Предвкушение этой маленькой пирушки было моей единственной радостью. Оно-то и уберегло меня от самоубийства: я была не в состоянии отказаться от очередной порции. Но когда я прекратила работу и начала жить на пенсию, усталость от каторжной жизни стала понемногу проходить: я ведь, в сущности, не была старой. Я набиралась сил, все больше молодела и, в конце концов, настолько отдохнула, что обрела решимость и силы начать жизнь сначала. Помогли мне и политические перемены: девяти десятым народа, уделом которых был раньше беспросветный труд, жить стало немного легче. С тех пор я уже не возвращалась к старому и не сворачивала с избранной дороги. Сейчас я жалею об одном — что все-таки умру, когда мне исполнится триста или около того. Даже то единственное обстоятельство, которое омрачало мою жизнь, теперь исчезло.

Конфуций. Смею ли я спросить, какое именно?

Миссис Лутстринг. Боюсь, что обижу вас, если отвечу.

Бердж-Лубин. Обидите? Нас? Неужели вы не видите, милая леди, что после таких сногсшибательных откровений нас уже ничто не проберет — разве что удар молотом по голове.

Миссис Лутстринг. Что ж, извольте. Меня ужасно угнетала невозможность общаться со взрослыми людьми: вы-то ведь все — сущие дети. А детей я никогда особенно не любила, если не считать той моей дочери, которая пробудила во мне материнские чувства. Иногда мне бывало так одиноко!

Бердж-Лубин *(обретая прежнюю галантность)*. Ну, это уж только ваша вина, миссис Лутстринг. Смею заметить, что такой привлекательной особе одиночество просто не может угрожать.

Миссис Лутстринг. Почему?

Бердж-Лубин. Почему? Ну... Ну, как бы это... Ну, словом... *(Умолкает.)*

Архиепископ. Он хочет сказать, что вы могли бы выйти

замуж. Забавно все-таки, до чего они плохо представляют себе наше положение!

Миссис Лутстринг. Я это и сделала. В сто первый день своего рождения я вторично вышла замуж. Выбрать мне, понятно, пришлось человека пожилого — ему шел уже седьмой десяток. Он был большой художник. На смертном одре он сказал мне: «Я убил пятьдесят лет на то, чтобы изучить свое ремесло и намалевать все, что надо намалевать и выкинуть, прежде чем этой ценой подойдешь к тому великому, что тебе надлежит написать. А теперь, когда я ступил на порог храма, оказывается, что это и край могилы». Проживи этот человек столько же, сколько я, он был бы величайшим художником всех времен. А он умер от старости, оставшись, по собственному признанию, лишь дилетантом, как все современные художники.

Бердж-Лубин. Но зачем вы пошли за пожилого? Почему вам было не выбрать человека молодого или, скажем, средних лет? Если бы мое сердце не было уже отдано и если бы вы, признаюсь честно, не внушали мне известный страх — мы же все понимаем, какая выдающаяся вы женщина,— я был бы счастлив...

Миссис Лутстринг. Господин президент, вам случалось злоупотреблять невинностью ребенка для того, чтобы удовлетворить свою чувственность?

Бердж-Лубин. Побойтесь бога, сударыня! За кого вы меня принимаете? И какое вы имеете право задавать мне подобный вопрос?

Миссис Лутстринг. Сейчас мне двести семьдесят пятый год. А вы рекомендуете мне воспользоваться неопытностью тридцатилетнего младенца и женить его на себе.

Архиепископ. Как вы, недолгожители, не понимаете, что неразумие, незрелость и примитивная животность, столь свойственные человеку в первые сто лет жизни, сказываются в вопросах пола еще сильнее, чем в любых других, и что в этом отношении вы для нас совершенно невыносимы?

Бердж-Лубин. Уж не хотите ли вы сказать, миссис Лутстринг, что смотрите на меня, как на ребенка?

Миссис Лутстринг. А вы хотели бы, чтоб я считала вас духовно зрелым человеком? Да, вы недаром боитесь меня. Бывают минуты, когда меня так тошнит от вашего легкомыслия, неблагодарности и пустого оптимизма, что, не напоминай я себе, какой вы, в сущности, ребенок,

я непременно усомнилась бы, имеете ли вы вообще право жить.

Конфуций. Как! Вы, которой дано жить триста лет, решились бы отнять у нас даже немногие отпущенные нам годы?

Бердж-Лубин. Вы обвиняете меня в легкомыслии. Меня! Неужели я должен напоминать вам, сударыня, что я — президент, а вы лишь возглавляете одно из министерств.

Барнабас. И в неблагодарности! Сами триста лет получаете пенсию, хотя должны вам ее всего за семьдесят восемь лет, и мы же еще неблагодарные!

Миссис Лутстринг. Да, неблагодарные. Я думаю о благах, которые посыпались на вас, и сравниваю их с нищетой, унижениями, вечным страхом, сердечными муками, игом наглости и деспотизма, которые были повседневным уделом человечества в дни, когда я училась страдать вместо того, чтобы учиться жить; я вижу, что вы принимаете все это как должное, что вы брюзжите, если лепестки на вашем ложе из роз чуть-чуть примяты, что вы привередничаете в работе, перекладываете ее на негритянок и китайцев, если она кажется вам неинтересной или неприятной, и я спрашиваю себя, могут ли даже триста лет раздумий и опыта спасти вас от той силы, которая создала вас, а теперь испытывает?

Бердж-Лубин. Милая леди, наши китайцы и наши черные приятельницы совершенно счастливы. Здесь им в двадцать раз лучше, чем в Китае и Либерии. Они превосходно делают свое дело и тем самым освобождают нас для более возвышенных занятий.

Архиепископ *(заражаясь негодованием миссис Лутстринг)*. Да разве способны вы к возвышенным занятиям, вы, дряхлеющие в семьдесят и умирающие в восемьдесят лет?

Миссис Лутстринг. Да нет у вас никаких возвышенных занятий. Считается, что вы принимаете решения и отдаете приказы, но решения вам внушают, а приказы подсказывают негритянки и китайцы, точно так же, как в былые дни мой брат, сержант гвардии, вертел своими офицерами. Когда мне что-нибудь нужно от министерства здравоохранения, я иду не к вам, а к чернокожей даме, потому что с последнего вашего переизбрания настоящий президент — она, или к Конфуцию, который несменяем, как бы быстро ни менялись президенты.

Бердж-Лубин. Это возмутительно! Это измена белой расе!

Смею заметить, сударыня, что я ни разу в жизни не встречался с министром здравоохранения и протестую против ваших попыток преуменьшить ее таланты и выдающиеся заслуги перед государством, попыток, внушенных вам вульгарным предубеждением против цветных. Наши с ней отношения носят чисто телефонный, граммофонный, фотофонический и, позволю себе добавить, платонический характер.

Архиепископ. У вас нет никаких оснований стыдиться их, господин президент. Но давайте разберемся в положении безотносительно к личностям. Можете ли вы отрицать, что английский народ превратился в акционерную компанию, держателями бумаг которой являются также азиаты и африканцы?

Барнабас. Ничего подобного. Мне известно все, что касается прежних акционерных компаний. Держатели бумаг в них не работали.

Архиепископ. Верно. Но мы, как и они, получаем дивиденды независимо от того, работаем или нет. А работаем мы отчасти потому, что знаем: не будешь работать — не будет дивидендов; отчасти же потому, что за отказ от работы нас сочтут умственно неполноценными и принудительно усыпят. Но как мы работаем? До тех незначительных реформ, пойти на которые нас вынудили революции, последовавшие за первой мировой войной, наши правящие классы были так богаты, как тогда выражались, что они превратились в самых интеллектуально ленивых и ожиревших людей на земле. Изрядный слой этого жира покрывает нас и поныне.

Бердж-Лубин. Мне, как президенту, не подобает выслушивать такую непатриотическую критику нашего национального характера, господин архиепископ.

Архиепископ. А меня, как архиепископа, служебный долг обязывает без обиняков критиковать национальный характер, господин президент. Во время канонизации святого Генрика Ибсена вы сами сдернули покрывало с памятника, на цоколе которого высечены благородные слова: «Я пришел призвать не грешников, но праведников к покаянию». И вот вам доказательство моей правоты: англичане все чаще стремятся к рутинным формам труда, к тому, что я назвал бы чисто орнаментальной и номинальной работой, а мыслят, организуют, рассчитывают и руководят желтые, коричневые, черные головы, подобно тому как в дни моей юности это делали

головы евреев, шотландцев, итальянцев и немцев. Среди белых же серьезной работой заняты лишь те, кто, как верховный статистик, не умеют радоваться жизни и лишены каких бы то ни было светских талантов, благодаря которым с ними было бы приятно общаться вне службы.

Барнабас. Идите вы к черту с вашей наглостью! Во всяком случае, у меня довольно талантов, чтобы вывести вас на чистую воду.

Архиепископ *(не обращая внимания на эту вспышку)*. Убейте меня, и вам придется назначить моим преемником индийца. Сегодня преимущественное право на эту должность принадлежит мне не потому, что я англичанин, а потому, что я опытный человек, у которого за плечами полтораста с лишним лет зрелой жизни. Мы постепенно передаем власть в руки цветных. Не пройдет и столетия, как мы станем всего-навсего их балованными домашними животными.

Бердж-Лубин *(бурно протестуя)*. На такую опасность нет даже намека. Не спорю, мы перекладываем на цветных самую хлопотливую часть государственных дел. Тем лучше — зачем нам надрываться? Зато вспомните, как насыщен наш досуг! Где на земле приятнее жить, чем в Англии в неприсутственные дни? Но кому мы этим обязаны? Черномазым? Нет, самим себе. Черномазые и китаезы хороши со вторника до пятницы, но с пятницы до вторника они ровно ничего не значат. А именно с пятницы до вторника Англия и живет по-настоящему.

Архиепископ. Это до ужаса верно. Наш английский народ — форменное чудо света по части умения изобретать идиотские забавы и предаваться им с огромной энергией, увлечением и серьезностью. Так было всегда. И очень хорошо: в противном случае чувственность англичан приобрела бы болезненный характер и погубила бы их. Меня пугает другое — что эти забавы в самом деле забавляют нас. Ведь это же развлечения для мальчиков и девочек. Лет до пятидесяти-шестидесяти они еще извинительны, позже — просто смешны. Повторяю вам: самое скверное в нас то, что мы — народ недорослей. Ирландцы, шотландцы, черномазые и китаезы, как вы выражаетесь, все-таки успевают до смерти немного повзрослеть, хотя живут столько же, сколько мы, а то и меньше. Мы же умираем в отрочестве; зрелость, которая могла бы превратить нас в величайший народ мира, лежит для нас уже за могилой. Одно из двух: или мы научимся жить

дольше, или будем умирать седобородыми младенцами с клюшками для гольфа в руках.

Миссис Лутстринг. Именно так. Мне самой не выразить бы это словами, но вы сделали это за меня. Даже будучи темной домашней рабыней, я чувствовала, что в нас заложены задатки великой нации, но наши ошибки и глупости довели меня до цинизма и отчаяния. В те времена мы все этим кончали. Медленнее всего созревают высшие существа, и они же наиболее беспомощны в период незрелости. Теперь я знаю, что мне потребовалось целое столетие, чтобы стать взрослой. Настоящая жизнь началась для меня в сто двадцать лет. Мною азиаты не командуют: в отличие от вас, господин президент, я не ребенок в их руках. Уверена, что архиепископ — тоже. Азиаты уважают меня. А вы недостаточно взрослы даже для этого, хотя любезно уверили меня, что я пугаю вас.

Бердж-Лубин. По правде говоря, так оно и есть. Не сочтите за грубость, но я скажу, что, будь я поставлен перед выбором между белой женщиной, годящейся мне в прабабушки, и негритянкой моих лет, я, вероятнее всего, счел бы последнюю более привлекательной.

Миссис Лутстринг. Даже в смысле цвета кожи?

Бердж-Лубин. Раз уж вы спрашиваете — да. Не то чтобы привлекательней — я не отрицаю, цвет лица у вас великолепный; она, я бы сказал, ярче. В ней больше венецианского, тропического.

Не презирай меня за черноту:
Ливреей темной я обязан солнцу.

Миссис Лутстринг. Наши женщины и любимые их романисты уже поговаривают насчет золотолицых мужчин.

Конфуций *(и лицом, и телом расплываясь в улыбке)*. А-а-а!

Бердж-Лубин. Ну и что тут плохого, сударыня? Вы не читали чрезвычайно интересную книгу библиотекаря биологического общества, который утверждает, что будущее мира — это метисы?

Миссис Лутстринг *(поднимаясь)*. Господин архиепископ, если белой расе суждено выжить, наш долг совершенно ясен.

Архиепископ. Вполне.

Миссис Лутстринг. Не найдете ли время заехать сейчас ко мне и обсудить вопрос?

Архиепископ *(поднимаясь)*. С удовольствием.

Барнабас *(тоже вскакивает, обгоняет миссис Лутстринг*

и останавливается у двери, загораживая проход). Нет, вы не поедете. Бердж, вы понимаете, чем тут пахнет?

Бердж-Лубин. Нет. Что вас тревожит?

Барнабас. Да то, что эта парочка собирается пожениться.

Бердж-Лубин. А почему бы и нет, если им так хочется?

Барнабас. Вовсе им не хочется. Они делают это по холодному расчету — ведь их дети будут жить триста лет. И этого нельзя допустить.

Конфуций. Этому нельзя помешать: закон не дает вам такого права.

Барнабас. Если они меня вынудят, я добьюсь закона о запрещении брака после семидесяти восьми лет.

Архиепископ. Вы не успеете его провести, прежде чем мы поженимся, господин верховный статистик. Потрудитесь пропустить даму.

Барнабас. Не забывайте: прежде чем из вашего брака что-нибудь получится, мы вполне успеем отправить эту даму на принудительное усыпление.

Миссис Лутстринг. Какой вздор, господин верховный статистик! До свиданья, господин президент! До свиданья, господин премьер-министр!

Бердж-Лубин и Конфуций встают и кланяются. Миссис Лутстринг идет прямо на верховного статистика, тот инстинктивно отступает и дает ей выйти.

Архиепископ. Поражаюсь вам, господин верховный статистик! Ваш тон показался мне отголоском былых мрачных времен. *(Следует за министром внутренних дел.)*

Конфуций, покачав головой и прищелкнув языком в знак сожаления о прискорбном инциденте, подходит к покинутому архиепископом креслу, становится позади него и, сложив ладони, смотрит на президента. Верховный статистик машет кулаком вдогонку ушедшим и разражается неистовой бранью.

Барнабас. Воры! Проклятые воры! Вампиры! Что вы намерены предпринять, Бердж?

Бердж-Лубин. Предпринять?

Барнабас. Да, предпринять. На свете наверняка есть десятки подобных людей. Неужели вы позволите им проделать то, что задумали эти двое? Они же сметут нас с лица земли!

Бердж-Лубин *(усаживаясь).* Ну-ну, спокойнее, Барнабас!

Что дурного в их намерениях? Неужели вас не заинтересовала их судьба? И разве они вам не понравились?

Барнабас. Понравились? Они мне отвратительны. Это чудовища, форменные чудовища! Они для меня хуже всякого яда.

Бердж-Лубин. Какие у вас причины возражать против того, чтоб они жили, сколько могут? Разве их долголетие укорачивает нашу жизнь?

Барнабас. Раз мне суждено умереть в семьдесят восемь лет, я не понимаю, почему другим дается привилегия жить на два столетия дольше. Это, пусть относительно, укорачивает мою жизнь. Это превращает нас в посмешище. Рядом с людьми ростом в двенадцать футов мы все покажемся карликами. Эти двое говорили с нами, как с детьми. Какая между нами может быть любовь? Они сразу же выказали свою ненависть к нам. Вы слышали, что говорила эта женщина и как архиепископ поддерживал ее?

Бердж-Лубин. Но что мы можем с ними сделать?

Барнабас. Убить.

Бердж-Лубин. Вздор!

Барнабас. Упрятать за решетку, стерилизовать любым способом.

Бердж-Лубин. На каком основании?

Барнабас. На каком основании истребляют змей? Так велит природа.

Бердж-Лубин. Вы помешались, милейший Барнабас.

Барнабас. Вам не кажется, что вы сегодня слишком повторяетесь?

Бердж-Лубин. По-моему, вас никто не поддержит.

Барнабас. Понятно. Я ведь вас знаю. Вы надеетесь, что вы и сами из таких.

Конфуций. Вы тоже можете оказаться одним из таких, господин верховный статистик.

Барнабас. Как вы смеете бросать мне подобные обвинения? Я порядочный человек, а не чудовище. Я завоевал себе место в обществе, доказав, что истинная продолжительность человеческой жизни – семьдесят восемь целых и шесть десятых года. И если понадобится, я до последней капли крови буду бороться против любой попытки опровергнуть или пересмотреть эту цифру.

Бердж-Лубин. Ну, тише, тише! Возьмите себя в руки. К лицу ли такие нелепые заявления вам, потомку великого Конрада Барнабаса, человека, поныне памятного по-

томкам своим мастерским «Жизнеописанием черного таракана»?

Барнабас. А вот вам было бы очень к лицу сочинить автобиографию осла. Я подниму всю страну против этой мерзости и против вас лично, Бердж, если вы проявите здесь хоть малейшую слабость.

Конфуций *(подчеркнуто)*. Вы раскаетесь, если сделаете это.

Барнабас. Раскаюсь? Это еще почему?

Конфуций. Потому что все смертные – и мужчины, и женщины – возымеют надежду прожить триста лет. Произойдет такое, чего вы не предвидите, и это будет нечто страшное. Семья распадется; родители и дети потеряют представление о том, кто старший и кто младший; братья и сестры, после столетней разлуки, будут встречаться друг с другом, как чужие; узы крови утратят в глазах людей всякую святость. Человеческое воображение, спущенное с цепи перспективой трехсотлетней жизни, выродится в безумие и разрушит общество. Сегодняшнее наше открытие надлежит хранить в глубочайшей тайне. *(Садится.)*

Барнабас. А если я откажусь хранить ее?

Конфуций. Попробуйте проболтаться, и я на другой же день засажу вас в сумасшедший дом.

Барнабас. Не забывайте, что я могу сослаться на архиепископа – он подтвердит мои показания.

Конфуций. Я тоже. Как вы полагаете, кого он поддержит, если я объясню ему, что вы разглашаете его возраст для того, чтобы его убили?

Барнабас *(в отчаянии)*. Бердж, неужели и вы против меня, заодно с этой желтой образиной? Кто мы – государственные деятели и члены правительства или отпетые негодяи?

Конфуций *(невозмутимо)*. А вы слышали хоть об одном государственном деятеле, которого злые языки не обозвали бы отпетым негодяем, как только кто-нибудь неосмотрительно рассказывал о нем больше, чем следовало?

Барнабас. Помолчите, нахальный язычник! Я говорю с вами, Бердж.

Бердж-Лубин. Видите ли, милейший Барнабас, Конфуций – очень неглупый малый. Я понимаю его позицию.

Барнабас. Понимаете? Тогда знайте, что я никогда больше не заговорю с вами кроме как по служебным делам. Слышите, никогда!

Бердж-Лубин *(беззаботно)*. Заговорите, заговорите!

Барнабас. И вы тоже не смейте ко мне обращаться. Слышите? *(Идет к двери.)*

Бердж-Лубин. А я буду. Да, буду. До свиданья, Барнабас! И да хранит вас бог!

Барнабас. А вы живите вечно и будьте посмешищем для всего мира! *(В бешенстве вылетает из кабинета.)*

Бердж-Лубин *(снисходительно посмеиваясь)*. Ничего, он сохранит тайну. Я его знаю. Словом, беспокоиться не о чем.

Конфуций *(встревоженно и серьезно)*. Тайна лишь тогда тайна, когда сама хранит себя. Подумайте хорошенько. Государственный архив располагает кинохроникой. Мы не в состоянии воспрепятствовать главному архивариусу опубликовать открытие, сделанное его учреждением. Мы не заставим молчать ни американца,— разве можно вообще заткнуть рот американцу? — ни тех, кто принимал его сегодня. К счастью, кинопленка доказывает лишь одно — внешнее сходство.

Бердж-Лубин. Совершенно справедливо. К тому же все это сущий вздор, верно?

Конфуций *(поднимая голову и пристально глядя на него)*. Теперь, когда вы осознали всю сложность положения, вы решили ничему не верить? Чисто английский метод. Но в данном случае вряд ли применимый.

Бердж-Лубин. Какие, к черту, здесь английские методы? Это просто здравый смысл. Понимаете, эта парочка нас загипнотизировала. Тут не может быть сомнения. Они наверняка водили нас за нос. Скажете — нет?

Конфуций. Однако, всмотревшись женщине в лицо, вы поверили ей.

Бердж-Лубин. Вот именно. Этим-то она меня и взяла. Повернись она ко мне спиной, я ни за что не поверил бы.

Конфуций медленно качает головой.

Вы в самом деле считаете... *(Обрывает фразу.)*

Конфуций. Архиепископ всегда казался мне загадкой. Как только я научился отличать одного англичанина от другого, я подметил в них ту же особенность, что и эта женщина: лицо у англичанина — не как у взрослого человека, ум — тоже.

Бердж-Лубин. Бросьте, китаеза! Если на свете существует нация, которая самим провидением предназначена опекать незрелые народы, руководить ими, воспитывать

и охранять их, пока они не вырастут и не переймут наши институты, то эта нация — мы, англичане. И в этом наше отличие от других наций. Вот так-то.

Конфуций. Это выдумка ребенка, который нянчит куклу. Но еще во сто раз ребячливей с вашей стороны оспаривать самый лестный комплимент, какой вам когда-либо делали.

Бердж-Лубин. Вы обзываете нас взрослыми детьми и считаете это комплиментом?

Конфуций. Вы — дети, но не взрослые, а просто пятидесяти-, шестидесяти- и семидесятилетние. Зрелость у вас наступает так поздно, что вы не успеваете ее достичь. Вами должны управлять расы, созревающие к сорока годам. Это значит, что в потенции вы самая высокоразвитая нация мира и были бы ею в действительности, если бы жили достаточно долго и успевали созреть.

Бердж-Лубин *(схватив наконец его мысль)*. Конфуций, а вы ведь, ей-богу, правы! Мне это в голову не приходило, а это все объясняет. Мы действительно школьники — тут не поспоришь. Заведите с англичанином серьезный разговор — с минуту он будет слушать не без любопытства, как слушают классическую музыку, а затем, словно резина, которую растянули и отпустили, вернется к своему морскому гольфу, автомобилям, самолетам и женщинам. *(Увлекаясь.)* Да, вы совершенно правы. Мы все еще не вышли из младенчества. Мне, например, место в детской колясочке; и еще мне нужна няня, которая бы ее катала. Это верно, это безусловно верно. Но в один прекрасный день мы вырастем и тогда уж, клянусь всеми святыми, покажем себя.

Конфуций. А вот архиепископ — взрослый. Ребенком я подчинялся людям, которые, как мне теперь известно, были слабей и глупее меня. Я боялся их потому, что в самом их возрастном превосходстве таилось для меня нечто мистическое. Не стану лгать, я и теперь побаиваюсь архиепископа, хотя, конечно, этого не показываю.

Бердж-Лубин. Между нами, Конфуций, я — тоже.

Конфуций. Именно это убедило меня. Именно это убедило и вас, когда вы посмотрели женщине в лицо. Их новая роль в истории человечества — не шарлатанство. Я даже не удивляюсь ей.

Бердж-Лубин. Даже не удивляетесь? Полно! Никогда ничему не удивляться — ваша обычная поза, Конфуций. Но если вас не удивляет и это, вы — не человек.

Конфуций. Это потрясло меня, как взрыв потрясает того, кто заложил заряд и поджег шнур. Потрясло, но не удивило, потому что, занимаясь философией и эволюционной биологией, я пришел к выводу о неизбежности подобного развития. Не подготовь я себя к тому, чтобы уверовать, никакие кинохроники, никакие красивые речи ничего бы мне не доказали. А теперь я верю.

Бердж-Лубин. А дальше что, черт побери? Каков наш следующий шаг?

Конфуций. Следующий шаг делать не нам. Его сделают архиепископ и женщина.

Бердж-Лубин. Вы имеете в виду их брак?

Конфуций. Кое-что поважнее. Они совершили колоссальное открытие, установив, что они не одни такие на свете.

Бердж-Лубин. По-вашему, есть и другие?

Конфуций. Должны быть. Каждый из них считает, что чудо произошло только с ним. Но теперь архиепископ узнал правду. Он поведает ее долгожителям в выражениях, понятных только им. Он объединит их и организует. Они стекутся к нему со всех концов земли. И станут огромной силой.

Бердж-Лубин *(слегка встревоженный)*. Неужели? Впрочем, вполне вероятно. Пожалуй, Барнабас был прав, и нам следует вмешаться.

Конфуций. Мы не властны этому помешать. Да в глубине души и не хотим: Жизненная сила, породившая эту перемену, парализует наше сопротивление, если мы окажемся настолько безумны, что попробуем сопротивляться. Но мы не попробуем: ведь и вы, и я тоже можем оказаться в числе избранных.

Бердж-Лубин. Да, это нас остановит. Но как же быть, черт побери? Сделать-то ведь что-нибудь надо.

Конфуций. Посидим, помолчим и подумаем, какие у нас перспективы.

Бердж-Лубин. Честное слово, вы правы! Давайте подумаем.

Сидят и думают. У китайца это получается естественно, у президента – нарочито и с видимым усилием: он словно впивается глазами в будущее. Внезапно раздается голос негритянки.

Негритянка. Господин президент?

Бердж-Лубин *(радостно)*. Да, да. *(Хватает вилку.)* Вы из дому?

Негритянка. Нет. Омега, ноль, икс в квадрате.

Президент торопливо сует вилку в коммутатор, поворачивает стрелку шкалы и нажимает кнопку. Экран темнеет, появляется изображение негритянки в роскошном туалете. Она стоит на чем-то, напоминающем мостик паровой яхты; вокруг в лучах солнца сверкает море. Коммутатор, через который она говорит, установлен рядом с нактоузом.

Конфуций *(оглядывается и, вздрогнув от отвращения, вскрикивает)*. Ах! Прочь! Прочь! *(Выбегает из кабинета.)*

Бердж-Лубин. В каком вы месте побережья?

Негритянка. В бухте Фишгард. Почему бы вам не приехать сюда и не провести со мной вечер? Я решила наконец не быть такой недоступной.

Бердж-Лубин. Но ведь это же Фишгард! Двести семьдесят миль!

Негритянка. К вашим услугам экспресс Ирландской воздушной линии. Отправление в шестнадцать тридцать. В бухту вас парашютируют. Купание пойдет вам только на пользу. А я выловлю вас, обсушу, и мы замечательно проведем время.

Бердж-Лубин. Великолепно. Хотя и чуточку рискованно, правда?

Негритянка. Рискованно? Мне казалось, что вы ничего не боитесь.

Бердж-Лубин. Разумеется, не боюсь, но...

Негритянка *(обиженно)*. Но это вас не слишком привлекает. Ну что ж!.. *(Протягивает руку, собираясь выдернуть вилку из коммутатора.)*

Бердж-Лубин *(умоляюще)*. Нет, нет, подождите! Я вам все объясню. Не разъединяйтесь. Ну пожалуйста!

Негритянка *(выжидательно держа руку на вилке)*. Я слушаю.

Бердж-Лубин. Понимаете, до последнего времени я вел себя крайне легкомысленно, так как полагал, что при такой короткой жизни, как у меня, не стоит ни о чем беспокоиться. Но сегодня я узнал, что могу прожить... Ну, в общем, дольше, чем рассчитывал. Убежден, что ваш здравый смысл подскажет вам, насколько это меняет положение. Я...

Негритянка *(с плохо скрытым бешенством)*. Я все поняла. Пожалуйста, не рискуйте ради меня своей драгоценной

жизнью. Простите, что потревожила. Всего наилучшего! *(Выдергивает вилку, экран гаснет.)*

Бердж-Лубин *(настойчиво)*. Нет, пожалуйста, не разъединяйтесь. Поверьте, я...

Долгие гудки.

Занято! Кому она теперь звонит? *(Нажимает кнопку и командует.)* Вызовите премьер-министра. Передайте, чтоб он вернулся и заглянул ко мне.

Голос Конфуция. Женщины нет?

Бердж-Лубин. Нет, нет, все в порядке. Зайдите на минутку, если...

Конфуций возвращается.

Конфуций, у меня важное дело в бухте Фишгард. Ирландская воздушная линия может парашютировать меня прямо на воду. Надеюсь, это абсолютно безопасно?

Конфуций. Абсолютной безопасности не бывает. Воздушная линия столь же безопасна, как любое другое средство сообщения. Парашют тоже. А вот море – нет.

Бердж-Лубин. Но почему? Разве меня не снабдят непотопляемым костюмом?

Конфуций. Вы не утонете. Но вода слишком холодна, и вы можете заработать ревматизм на всю жизнь.

Бердж-Лубин. На всю жизнь? Это меняет дело. Я отказываюсь рисковать.

Конфуций. Вот и прекрасно. Вы наконец приучаетесь к осторожности. Теперь вы уже не спортсмен, как у вас принято выражаться, а благоразумный трус. То есть почти взрослый человек. Поздравляю.

Бердж-Лубин *(решительно)*. Пусть я трус, но даже ради прекраснейшей женщины на земле не обреку себя на вечный ревматизм. *(Встает и снимает с крюка свой золотой обруч.)* Я передумал. Еду домой. *(Надевает обруч, лихо сдвинув его набок.)* Всего хорошего!

Конфуций. Так рано? А что сказать министру здравоохранения, если она позвонит?

Бердж-Лубин. Скажите, пусть идет к черту! *(Уходит.)*

Конфуций *(скандализованный грубостью президента, качает головой)*. Нет, нет и еще раз нет! Ох уж эти англичане! Вот она, примитивная юная цивилизация! Что за манеры! Свиньи! Форменные свиньи!

Часть IV

ТРАГЕДИЯ ПОЖИЛОГО ДЖЕНТЛЬМЕНА

Берринский причал на южном берегу залива Голуэй в Ирландии. Край увенчанных камнями холмов и усеянных валунами полей. Год 3000-й н. э., погожий летний день. На старинной каменной тумбе в три фута толщиной и столько же высотой, служившей некогда для швартовки судов, сидит, лицом к суше, пожилой джентльмен. Он склонил голову на грудь, закрыл лицо руками и рыдает. У него седые бакенбарды и брови, резко контрастирующие с загорелым лицом. Одет он в черный сюртук, белый жилет, сиреневые брюки, серую фетровую шляпу и лакированные ботинки с белыми пуговками; его блестящий шелковый галстук заколот булавкой с драгоценным камнем. Из рукавов сюртука выглядывают крахмальные манжеты, белый воротничок à la Гладстон тоже накрахмален. На каменных плитах, справа от джентльмена, лежит несколько набитых мешков, которые наводят на мысль, что этот причал, в отличие от других захолустных ирландских пристаней, не только живописен, но подчас и полезен. Слева и позади джентльмена видны верхние ступени каменной лестницы, спускающейся к воде.

По лестнице, со стороны моря, поднимается женщина в одной шелковой тунике, сандалиях и шапочке с золотой цифрой 2. Возраст ее не поддается определению: лицо у нее свежее, черты его юношески четки, но выражение такое строгое и решительное, какого не бывает у молодых. Она с изумлением смотрит на плачущего мужчину.

Женщина. Что с вами?

Пожилой джентльмен поднимает голову, разом берет себя в руки, вытаскивает шелковый платок и, смахнув слезы, мужественно пытается улыбнуться. Затем галантно пробует встать, но вновь опускается на тумбу.

Вам помочь?

Пожилой джентльмен. Нет. Весьма благодарен. Нет. Пустяки. Это все жара виновата. *(Речь его перемежается всхлипываниями, он утирает платком глаза и нос.)* Сенная лихорадка.

Женщина. Вы, по-видимому, иностранец?

Пожилой джентльмен. Нет. Не считайте меня иностранцем. Я британец.

Женщина. Из какой-нибудь дальней части Британского содружества?

Пожилой джентльмен *(учтиво, но не без напыщенности)*. Из его столицы, сударыня.

Женщина. Из Багдада?

Пожилой джентльмен. Да. Вы, вероятно, не знаете, сударыня, что в эпоху, именуемую теперь Исходом, ваши острова были центром Британского содружества. Тысячелетие тому назад здесь размещался его штаб. Сейчас мало кто осведомлен об этой любопытной подробности, но, уверяю вас, это правда. Я приехал сюда, чтобы совершить паломничество в одну из многих стран моих отцов. Мы с вами – родственники, у нас одна кровь, а кровь – не вода.

Женщина. Не понимаю. Вы сказали «паломничество». Что это такое? Новое средство передвижения?

Пожилой джентльмен *(снова впадая в уныние)*. Я вижу, что меня действительно плохо здесь понимают. Я имел в виду не машину, а... э-э... поездку из эмоциональных побуждений.

Женщина. Боюсь, что опять ничего не поняла. Вы добавили также, что кровь – не вода. Это бесспорно, но к чему это сказано?

Пожилой джентльмен. Разве не ясно?

Женщина. Совершенно ясно. Но уверяю вас, я и так никогда не сомневалась, что кровь – не вода.

Пожилой джентльмен *(всхлипнув и опять чуть не плача)*. Оставим это, сударыня.

Женщина *(подходя ближе и участливо всматриваясь в него)*. Боюсь, что вы нездоровы. Разве вас не предупреждали, что эти края противопоказаны недолгожителям? Здесь они могут заразиться смертельной болезнью, которая называется депрессией и которой им следует всячески остерегаться. Общение с нами требует от них чрезмерного напряжения.

Пожилой джентльмен *(овладев собой, угрюмо)*. Ко мне это не относится, сударыня. Боюсь только, что я для вас неинтересный собеседник. Если это так, лекарство – в ваших руках.

Женщина *(недоуменно смотрит на свои руки, потом на него)*. Где?

Пожилой джентльмен *(пав духом)*. Нет, это ужасно! Ни ума, ни понимания, ни сочувствия... *(Задыхается от слез.)*

Женщина. Ну, что я говорила? Вы же больны.

Пожилой джентльмен *(потеряв терпение)*. Я не болен. И никогда ничем не болел.

Женщина. Позволите дать вам совет?

Пожилой джентльмен. Благодарю, сударыня, врач мне не нужен: я не слабоумный и не бражник.

Женщина *(качая головой)*. Боюсь, что ничего не понимаю. Я не говорила о бабочках.

Пожилой джентльмен. Так ведь и я о них не говорил!

Женщина. Но вы употребили слово «бражник», а так здесь называют только бабочек.

Пожилой джентльмен *(неистово)*. Сдаюсь! Я этого больше не выдержу! Лучше уж сразу сойти с ума! *(Вскакивает и, приплясывая, поет.)*

Как бабочка, хочу порхать я от цветка к цветку
И яблочные пышки печь, не тратясь на муку.

Женщина *(сдержанно улыбаясь)*. Я не смеялась по меньшей мере лет полтораста, но, если вы не перестанете, я расхохочусь, как шестидесятилетняя девчонка. К тому же у вас такой смешной костюм!

Пожилой джентльмен *(мгновенно перестав паясничать)*. Смешной костюм? У меня? Допускаю, что я одет не совсем так, как чиновник министерства иностранных дел, но костюм мне сшили по последней моде на моей родине, в столице. А вот ваш наряд, простите за откровенность, показался бы там весьма странным и едва ли приличным.

Женщина. Приличным? В нашем языке нет такого слова. Что оно означает?

Пожилой джентльмен. Мне было бы неприлично объяснять вам это. Рассуждать о приличиях — всегда неприлично.

Женщина. Теперь я совсем вас не понимаю. Мне кажется, вы нарушаете правила, установленные для приезжающих к нам недолгожителей.

Пожилой джентльмен. Вряд ли они, сударыня, распространяются на людей моих лет и положения. Я не мальчик и не сельскохозяйственный рабочий.

Женщина *(строго)*. Они полностью распространяются и на вас. Вам положено общаться лишь с детьми не старше

шестидесяти лет. Вам, при любых обстоятельствах, категорически возбраняется входить в контакт со взрослым населением. Вам нельзя долго разговаривать с людьми моих лет, иначе у вас начнется тяжелый приступ депрессии. Разве вы сами не видите, что у вас уже появились серьезные симптомы этого прискорбного и, как правило, смертельного недуга?

Пожилой джентльмен. Конечно не вижу, сударыня. Я, к счастью, не подвержен ему. Я издавна привык подолгу и доверительно разговаривать с самыми почтенными людьми. Если же вы не умеете отличить сенную лихорадку от умственной неполноценности, мне остается лишь заметить вам, что ваш преклонный возраст повлек за собой неизбежное его следствие — впадение в детство.

Женщина. Я, как одна из попечительниц здешнего округа, несу за вас ответственность и...

Пожилой джентльмен. Попечительница? Уж не принимаете ли вы меня за нищего?

Женщина. Я не знаю, что такое нищий. Потрудитесь ответить, кто вы такой, если, конечно, вы способны выражаться ясно...

Пожилой джентльмен возмущенно фыркает.

...и почему вы разгуливаете один, без няни.

Пожилой джентльмен *(возмущенно)*. Без няни?

Женщина. Недолговечным посетителям запрещено передвигаться без присмотра. Разве вам не известно, что правила полагается соблюдать?

Пожилой джентльмен. Это, безусловно, справедливо для низших классов. Но лица моего положения пользуются некоторыми привилегиями, и воспитанные люди никогда нам в них не отказывают. Я...

Женщина. Здесь люди делятся только на два класса — на недолгожителей и нормальных. Правила для недолгожителей установлены в целях их же собственной безопасности. А теперь отвечайте, кто вы такой.

Пожилой джентльмен *(с достоинством)*. Сейчас я на пенсии, сударыня. Раньше возглавлял в Багдаде всебританский трест синтетических яйцепродуктов и растительных сыров, а ныне состою президентом британского историко-археологического общества и вице-президентом клуба путешественников.

Женщина. Все это не имеет никакого значения.

Пожилой джентльмен *(снова фыркает)*. Гм! Неужели?

Женщина. Вас направили сюда для развития умственных способностей?

Пожилой джентльмен. Что за нелепый вопрос! Уж не считаете ли вы меня тупоумным?

Женщина. Вам, видимо, неизвестно, что вы находитесь на западном побережье Ирландии и что жители Восточного острова имеют обыкновение проводить здесь несколько лет, чтобы сделать свой ум более гибким. Здешний климат благоприятствует этому.

Пожилой джентльмен *(высокомерно)*. Я, слава богу, родился не на Восточном острове, а в добром старом британском Багдаде и не нуждаюсь в курортах, где лечат от слабоумия.

Женщина. Тогда зачем вы здесь?

Пожилой джентльмен. Разве я нарушил границы частного владения? Извините, не знал.

Женщина. Границы частного владения? Не понимаю.

Пожилой джентльмен. Эта земля — чья-нибудь собственность? Если так, признаю свою вину, готов уплатить шиллинг в возмещение убытков, если причинил таковые, и уйду отсюда, коль скоро вы будете добры показать мне дорогу. *(Протягивает ей шиллинг.)*

Женщина *(берет монету и равнодушно разглядывает ее)*. Я не поняла ни слова из того, что вы сказали.

Пожилой джентльмен. Но я говорю на чистейшем английском языке. Вы — владелица поместья?

Женщина *(качая головой)*. В здешних краях еще сохранилось предание о животных, носивших это имя. В варварские времена на них охотились с ружьями. Сейчас эта порода вымерла.

Пожилой джентльмен *(снова пав духом)*. Как ужасно очутиться в стране, где не имеют представления об основных институтах цивилизации! *(Опускается на тумбу, борясь с подступающими к горлу рыданиями.)* Извините. Сенная лихорадка.

Женщина *(вытаскивает из-за пояса камертон, подносит к уху и говорит в пространство, монотонно, как певчий, затянувший псалом)*. Берринский причал, залив Голуэй; прошу прислать человека для присмотра за недолгожителем в состоянии депрессии; убежал от няни; иностранец мужского пола, истеричный, речь невнятная, бывают минутные просветления; очень смешной костюм, на лице любопытная бахрома из белых водорослей.

Пожилой джентльмен. Это дерзость! Это грубое оскорбление!

Женщина *(засовывая камертон за пояс)*. Ваши слова лишены для меня всякого смысла. В качестве кого вы здесь находитесь? Как получили разрешение на въезд?

Пожилой джентльмен *(внушительно)*. Наш премьер-министр мистер Бэджер Блубин прибыл сюда просить совета у оракула. Он мой зять. Нас сопровождают его супруга и дочь — мои дочь и внучка. Могу добавить, что генерал Ауфштайг, также приехавший с нами, — это на самом деле император Турании, путешествующий инкогнито. Предполагаю, что он намерен задать оракулу вопрос в неофициальном порядке. Я же отправился сюда с единственной целью — посетить эти края.

Женщина. Зачем вы отправились туда, где у вас нет никаких дел?

Пожилой джентльмен. Боже милостивый, да это же совершенно естественно! В клубе путешественников я буду единственным, кто посетил здешнее побережье. Подумайте, в каком исключительном положении я окажусь!

Женщина. Разве это преимущество? У нас тут есть человек, потерявший обе ноги в катастрофе. Он тоже в исключительном положении, но предпочел бы, конечно, быть как все.

Пожилой джентльмен. Нет, так и с ума сойти недолго! Между ним и мной нет никакого сравнения.

Женщина. Но ведь положение в обоих случаях исключительное.

Пожилой джентльмен. Очевидно, разговор в вашей стране сводится к глупой игре словами. Я сыт ею по горло.

Женщина. Я прихожу к выводу, что ваш клуб путешественников состоит из людей, которым нравится утверждать, что они побывали там, где не бывал никто.

Пожилой джентльмен. Разумеется, если вам угодно зубоскалить на наш счет...

Женщина. Что такое зубоскалить?

Пожилой джентльмен *(с диким воплем)*. Утоплюсь!

В отчаянии бросается к краю причала, но его встречает и перехватывает поднимающийся по лестнице мужчина с цифрой 1 на шапке. Одет он так же, как женщина, и пол его выдают только усики.

Мужчина *(пожилому джентльмену)*. А, вот вы где! Если улизнете еще раз, я надену на вас ошейник и буду водить на сворке.

Женщина. Вы няня этого иностранца?

Мужчина. Да. Он просто замучил меня. Чуть отвернешься, убегает и заговаривает с кем попало.

Женщина *(вынимает камертон и, качнув его, затягивает, как в прошлый раз)*. Берринский причал. Вызов отменен. *(Прячет камертон и говорит мужчине.)* Я просила прислать кого-нибудь для присмотра за ним. Пробовала с ним объясняться, но очень плохо его понимаю. Не оставляйте его ни на минуту: он уже в опасной стадии депрессии. Если понадоблюсь, Фузима и Горт найдут меня. *(Уходит.)*

Пожилой джентльмен. Если понадоблюсь!.. Нет уж, мне она не понадобится. Это, должно быть, особа легкого поведения: она заговорила со мной, хоть я ей не представлен. И к тому же удрала с моим шиллингом.

Мужчина. Пожалуйста, помедленней: я не улавливаю вашу мысль. Что такое «шиллинг»? Что такое «представлен»? А уж «особа легкого поведения» – вообще бессмыслица.

Пожилой джентльмен. Здесь все выглядит бессмыслицей. Могу сказать одно: впервые в жизни встречаю такую непроходимо глупую женщину.

Мужчина. Этого не может быть. Она не могла показаться вам глупой: она – вторичная, а скоро перейдет в третичные.

Пожилой джентльмен. Что значит «третичная»? Я на каждом шагу слышу тут: первичная, вторичная, третичная, – словно это не люди, а геологические эпохи.

Мужчина. Первичные – это те, кто живут первое столетие. Вторичные – второе. Я еще числюсь в первичных *(указывает на свой номер)*, но почти вправе считаться вторичным: в январе мне будет девяносто пять. Разве вы не заметили цифру два у ней на шапочке? Она из вторичных и притом не первой молодости.

Пожилой джентльмен. Оно и видно: у нее начинается второе детство.

Мужчина. Второе? Да она давным-давно прошла через пятое.

Пожилой джентльмен *(вновь опускаясь на тумбу)*. Ох, не могу больше! До чего здесь все противоестественно!

Мужчина *(нетерпеливо и беспомощно)*. Незачем было приезжать сюда. Вам тут не место.

Пожилой джентльмен *(негодование придает ему смелости)*. Это еще почему? Я вице-президент клуба путешественников. Я объездил весь мир и держу в клубе рекорд по цивилизованным странам.

Мужчина. Что такое цивилизованные страны?

Пожилой джентльмен. Это... Это... Ну, словом, цивилизованные страны. *(С отчаянием.)* Не знаю. Я... Я с ума сойду, если вы не перестанете спрашивать о том, что известно каждому. Цивилизованной называют страну, где можно путешествовать с удобствами. Где есть хорошие отели. Извините, но вы со своими расспросами надоедливей пятилетнего ребенка, хоть и уверяете, что вам девяносто пять. Тогда уж называйте меня папочкой.

Мужчина. Я не знал, что вас зовут Папочка.

Пожилой джентльмен. Меня зовут Джозеф Попем Болдж Блубин Барлоу, О. М.

Мужчина. Имен у вас хватит на целых пять человек. Папочка — короче. А О. М. здесь не годится: это прозвище некоторых местных дикарей — они потомки аборигенов здешнего побережья, называвших себя О'Маллигенами. Пусть будет Папочка.

Пожилой джентльмен. Но люди подумают, что я ваш отец.

Мужчина *(скандализованный)*. Тсс! У нас не принято намекать на подобное родство. Это неделикатно. Да и какая разница, отец вы мне или нет?

Пожилой джентльмен. Мой достойный девяностолетний друг, ваши умственные способности пришли в полный упадок. Неужели мне нельзя было подобрать провожатого моих лет?

Мужчина. То есть юную особу?

Пожилой джентльмен. Ни в коем случае. Я не собираюсь показываться на людях в обществе юной особы.

Мужчина. Почему?

Пожилой джентльмен. Почему? Как почему? Неужели вы начисто лишены нравственного чувства?

Мужчина. Мне придется отказаться от вас: я совершенно вас не понимаю.

Пожилой джентльмен. Но вы же имели в виду молодую женщину, не так ли?

Мужчина. Я имел в виду человека ваших лет. А мужчина это или женщина – не все ли равно?

Пожилой джентльмен. Я отказываюсь верить в такое возмутительное равнодушие к элементарнейшим приличиям в человеческих отношениях.

Мужчина. Что такое «приличия»?

Пожилой джентльмен *(вскакивает)*. Опять тот же вопрос! Сговорились вы, что ли?

Мужчина *(достав камертон и манипулируя им так же, как раньше женщина)*. Берринский причал, Зозим вызывает Зу из Эннистимона; недолгожитель, больной депрессией, разыскан; он говорил с одной из вторичных, и ему стало хуже; уверяет, что я для него слишком стар; требует человека своих лет или моложе; придите, если можете. *(Прячет камертон и поворачивается к пожилому джентльмену.)* Зу – девушка лет пятидесяти, поэтому еще очень ребячлива. Может быть, с нею вы почувствуете себя счастливым.

Пожилой джентльмен. Счастливым? С пятидесятилетним синим чулком? Благодарю покорно!

Мужчина. Синий чулок? До чего утомительно все время угадывать смысл ваших слов! К тому же вы слишком со мной разговорчивы, что может усилить вашу депрессию: я для этого достаточно стар. Лучше помолчим, пока не придет Зу. *(Поворачивается к пожилому джентльмену спиною, садится на край причала над водой и болтает ногами.)*

Пожилой джентльмен. С удовольствием. Я не испытываю желания навязываться в собеседники кому бы то ни было. Кстати, не хотите ли вздремнуть? Если да, не церемоньтесь.

Мужчина. Что значит «вздремнуть»?

Пожилой джентльмен *(подходит к нему и с крайним раздражением чеканит)*. Вздремнуть, друг мой, значит на короткое время предаться сну, который смаривает пожилых людей, когда они пытаются занять нежелательного гостя или слушают лекцию на научную тему. Спите, спите. *(Орет ему в ухо.)* Спите!

Мужчина. Я уже сказал, что я почти вторичный. Я никогда не сплю.

Пожилой джентльмен *(столбенея от ужаса)*. Боже правый!

Со стороны суши появляется молодая женщина

с цифрой 1 на шапочке. На вид она не старше, а пожалуй, и моложе, чем за тысячу лет до этого была Сэвви Барнабас, которую новоприбывшая отдаленно напоминает.

Молодая женщина. Это больной?

Мужчина *(вскакивая)*. Это Зу. *(К Зу.)* Зовите его Папочкой.

Пожилой джентльмен *(взрываясь)*. Нет!

Мужчина *(оставив протест без внимания)*. Спасибо, что выручили. Я больше не выдержу – так он мне надоел. *(Спускается по лестнице и исчезает.)*

Пожилой джентльмен *(снимает шляпу и, стоя на краю причала, лицом к Атлантическому океану, иронически отвешивает низкий поклон)*. До свиданья, сэр! Чрезвычайно обязан вам за исключительную вежливость, изысканную деликатность и светское обхождение. Благодарю от всего сердца. *(Нахлобучивая шляпу на голову.)* Свинья! Осел!

Зу весело смеется.

(Круто оборачивается к ней.) Добрый день, сударыня! Весьма сожалею, что мне пришлось поставить вашего знакомого на место, но, по-моему, здесь, как и всюду, человек должен уметь добиваться, чтобы к нему относились с подобающим уважением. Я надеялся, что в качестве гостя буду огражден от оскорблений.

Зу. Поставить моего знакомого на место? Это, видимо, какое-то поэтическое выражение. Что оно означает?

Пожилой джентльмен. Скажите, у вас на островах кто-нибудь понимает обыкновенный английский язык?

Зу. Честно говоря, одни оракулы. Им приходится специально изучать то, что у нас называют мертвой мыслью.

Пожилой джентльмен. Мертвой мыслью? О мертвых языках я слыхал, о мертвой мысли – никогда.

Зу. Видите ли, мысль умирает быстрей, чем язык. Ваш язык мне понятен, мысли – не всегда. Оракулы же отлично поймут вас. Вы уже обращались к ним?

Пожилой джентльмен. Я здесь, сударыня, не для того, чтобы просить совета у оракула. Я приехал просто как человек, путешествующий для собственного удовольствия. Со мной моя дочь, ее супруг, британский премьер-министр, и генерал Ауфштайг, который, сообщу вам по секрету, на самом деле является императором Турании и величайшим военным гением эпохи.

Зу. А зачем вы путешествуете для собственного удовольствия? Разве вам нечем развлечься дома?

Пожилой джентльмен. Я хочу увидеть мир.

Зу. Мир слишком велик. А частицу его можно увидеть где угодно.

Пожилой джентльмен *(теряя терпение)*. Черт побери, сударыня, неужели вам хочется всю жизнь глазеть на одну и ту же его частицу? *(Спохватываясь.)* Прошу прощения. Я, кажется, выругался при вас.

Зу. А, вот что такое ругаться! Я читала об этом. Очень звучно. Чертебрисдарыня, чертебрисдарыня! Повторяйте это сколько хотите — мне нравится.

Пожилой джентльмен *(облегченно вздыхая)*. Благослови вас бог за эти кощунственные, но знакомые слова! Благодарю, еще раз благодарю! В первый раз с самого приезда в эту кошмарную страну я чувствую себя как дома. Напряжение, сводившее меня с ума, наконец разрядилось: мне кажется, что я у себя в клубе. Извините, что занимаю единственное наличное сиденье: годы не те. *(Садится на тумбу.)* Обещайте, что не отдадите меня никому из этих ужасных третичных, вторичных или как там они у вас называются.

Зу. Не бойтесь. И зачем только вас поручили Зозиму? Понимаете, он вот-вот станет вторичным, а юнцы в этом возрасте вечно задаются, словно они уже третичные. Вам, естественно, гораздо легче в обществе девчушки, вроде меня. *(Удобно устраивается на мешках.)*

Пожилой джентльмен. Девчушка? Что это такое?

Зу. Это древнее слово, которым мы до сих пор обозначаем существо женского пола, которое уже не ребенок, но еще и не взрослая девушка.

Пожилой джентльмен. По-моему, общение с особами этого возраста — истинное удовольствие. Я с каждой минутой все больше прихожу в себя. У меня такое ощущение, словно я распускаюсь, как цветок. Разрешите узнать, как вас зовут?

Зу. Зу.

Пожилой джентльмен. Мисс Зу...

Зу. Не Миссзу, а Зу.

Пожилой джентльмен. Понятно. Зу... э-э... как дальше?

Зу. Опять не так. Не Зукакдальше, а Зу. Просто Зу.

Пожилой джентльмен *(озадаченный)*. Может быть, миссис Зу?

Зу. Нет, Зу. Неужели не понятно? Зу.

Пожилой джентльмен. Разумеется, разумеется. Поверьте, я отнюдь не предполагал, что вы замужем: вы слиш-

ком молоды, это сразу видно. Но здесь все так запутанно, и...

Зу *(окончательно сбитая с толку)*. Что?

Пожилой джентльмен. Видите ли, замужество многое меняет. С замужней женщиной можно говорить о вещах, рассуждать о которых с неопытной девушкой несколько предосудительно.

Зу. Смысл ваших слов ускользает от меня. Я ничего не понимаю. «Замужняя» и «предосудительно» — это для меня пустые звуки. Впрочем, постойте. «Замужняя» — это, наверно, старинная форма слова «рожавшая»?

Пожилой джентльмен. Весьма возможно, но лучше переменим тему. Мне не следовало касаться ее. Извините, что привел вас в смущение.

Зу. Что значит «смущение»?

Пожилой джентльмен. Ну, ладно! Мне кажется, что, пока существует род людской, столь естественное чувство будет понятно любому. Привести в смущение — это все равно что вогнать в краску.

Зу. А что такое вогнать в краску?

Пожилой джентльмен *(ошеломленно)*. Разве вам не приходилось краснеть?

Зу. Я даже не слышала ни о чем подобном. Правда, мы пользуемся словом «краснеть», но лишь там, где речь идет о приливе крови к коже. Я наблюдала это у своих малышей, но к двум годам оно прекращается.

Пожилой джентльмен. У ваших малышей? Боюсь, что затронул чересчур деликатный вопрос, но вы казались такой юной... И сколько же, смею спросить, у вас детей?

Зу. Пока что всего четверо. У нас это долгое дело. Малыши — моя специальность. Первый получился у меня настолько удачным, что мне велели продолжать. Я...

Пожилой джентльмен *(чуть не свалившись с тумбы)*. О, боже!

Зу. В чем дело? Вам нехорошо?

Пожилой джентльмен. Ради всего святого, сударыня, сколько вам лет?

Зу. Пятьдесят шесть.

Пожилой джентльмен. У меня что-то подгибаются ноги. Я, наверно, в самом деле болен. Годы не те!

Зу. Я тоже заметила, что вы нетвердо стоите на ногах. Вы еще во многом беспомощный ребенок. Вероятно, поэтому мне и хочется вас понянчить. Вы же такой глупенький маленький Папочка!

Пожилой джентльмен *(подстегнутый негодованием)*. Повторяю, меня зовут Джозеф Попем Болдж Блубин Барлоу, О. М.

Зу. Как смешно! Немыслимо длинное имя! Так я вас звать не могу. Как звала вас ваша мать?

Пожилой джентльмен. Вы воскрешаете во мне самые тяжелые переживания детства. Я был очень восприимчив к этому. Дети вообще нередко страдают из-за нелепых кличек. Моя матушка необдуманно прозвала меня Толстячком. Так меня именовали, пока я не пошел в школу и не встал на защиту своих детских прав, потребовав, чтобы меня, на худой конец, называли хотя бы Джо. С пятнадцати лет я не откликался, если меня называли короче, чем Джозеф. В восемнадцать я узнал, что имя Джозеф ассоциируется с неподобающей мужчине стыдливостью, так как напоминает о старинном предании про некоего Иосифа, отвергшего домогательства супруги своего работодателя — на мой взгляд, весьма похвальный поступок. С тех пор для родных и близких знакомых я Попем, для всех остальных — мистер Барлоу. Когда моей бедной матушке стал изменять рассудок, она вновь вернулась к прозвищу Толстячок, но я уже не сердился на нее. Возраст!

Зу. Неужели ваша мать нянчилась с вами и после того, как вам исполнилось десять?

Пожилой джентльмен. Разумеется, сударыня. Она же была моя мать. Чем ей еще заниматься?

Зу. Как чем? Очередным ребенком. Лет с восьми-девяти дети совершенно неинтересны никому, кроме самих себя. Повстречайся мне двое моих старших, я их просто не узнаю.

Пожилой джентльмен *(вновь поникая)*. Умираю! Дайте мне умереть! Я хочу умереть!

Зу *(подбегая и поддерживая его)*. Не падайте. Сидите прямо. Что с вами?

Пожилой джентльмен *(слабо)*. По-моему, позвоночник. Шок. Сотрясение мозга.

Зу *(материнским тоном)*. Ну-ну, маленький! С чего бы это? *(Тормошит его.)* Полно, полно! Сядьте прямо и будьте паинькой.

Пожилой джентльмен *(все еще чуть слышно)*. Благодарю. Мне лучше.

Зу *(опять устраиваясь на мешках)*. А для чего вам остальные имена? У вас ведь их целая куча. Блопс Буби и как там еще?

Пожилой джентльмен *(внушительно)*. Болдж Блубин, сударыня. Это историческое имя. Позволю себе уведомить вас, что я могу проследить свою родословную на протяжении более чем тысячелетнего существования Восточной империи вплоть до ее зарождения еще на этих островах, когда два моих предка, Джойс Болдж и Хенгист Хорза Блубин, оспаривали друг у друга пост премьер-министра Британской империи и поочередно отправляли эту должность с такой славой, о которой мы, в наш жалкий век, имеем лишь смутное представление. При мысли об этих исполинах, львах на войне и мудрецах в дни мира, столь непохожих на болтливых шарлатанов и пигмеев, которые сидят ныне на их местах в Багдаде, об этих сильных, молчаливых людях, правивших империей, где никогда не заходило солнце, слезы увлажняют мои глаза, сердце неистово бьется и я чувствую, что быть их современником и в расцвете лет умереть за них – удел несравненно более высокий и счастливый, чем постыдное благополучие моей старости.

Зу. Старость? Вы стары? *(Смеется.)*

Пожилой джентльмен. Да, сударыня, относительно стар. Но, как бы то ни было, я рад и горд, что происхожу от двух таких героев.

Зу. Вы происходите от всех британцев, живших в те времена. Разве вам это не известно?

Пожилой джентльмен. Шутки здесь неуместны, сударыня. Я ношу их имена – Болдж, Блубин – и надеюсь, что унаследовал частицу их могучего духа. Так вот, они родились на здешних островах. Повторяю, здешние острова, как это ни кажется теперь невероятным, были некогда центром Британской империи. Когда он переместился в Багдад и англичане вернулись в Месопотамию, исконную колыбель человечества, западные острова были заброшены, как раньше, во времена Римской империи. Но именно на этих островах, населенных британцами, и свершилось величайшее в истории чудо.

Зу. Чудо?

Пожилой джентльмен. Да. Первый человек, проживший триста лет, был англичанин. Первый со времен Мафусаила.

Зу. Ах, вот вы о чем!

Пожилой джентльмен. Да, именно об этом, хоть вы и толкуете о подобном событии столь легкомысленно. Известно ли вам, сударыня, что еще до этого момента

непреходящей исторической важности англичане настолько утратили свой интеллектуальный престиж, что называли друг друга не иначе как болванами. А теперь Англия – священная сень, куда со всей земли стекаются государственные мужи, чтобы испросить совета у английских мудрецов, обогащенных двух с половиной вековым жизненным опытом. Страна, вывозившая когда-то ситцевые рубашки и скобяной товар, ныне экспортирует мудрость. Сударыня, перед вами человек, который по горло сыт уик-эндами в евфратских отелях, клоунами и менестрелями на песках Персидского залива, тобогганом и фуникулерами Гиндукуша. Удивительно ли, что, истосковавшись по тайнам и красотам этих сказочных островов, населенных призраками легендарного прошлого и освященных стопами мудрецов Запада, я и направился сюда? Подумайте об острове, где мы сейчас находимся, об этом последнем приюте человека на востоке Атлантики, об этой Ирландии, которую древние барды называли изумрудом в серебряной оправе моря! Могу ли я, отпрыск прославленной британской нации, забыть, что, когда империя переместилась на Восток и объявила издавна угнетаемым ею, но вечно непокорным мятежникам-ирландцам: «Мы наконец предоставляем вас себе, и да пойдет вам это на благо», ирландцы, как один, ответили историческим кличем: «Черта с два!» – и переселились в Индию, Персию, Корею, Марокко, Тунис и Триполи, в страны, где все еще остро стоял национальный вопрос. В этих странах они неизменно становились отважнейшими борцами за национальную независимость, и весь мир был оглашен рассказами об их жертвах и муках. Но какой поэт сумел бы достойно воспеть конец, увенчавший их борьбу? Не прошло и двухсот лет, как права наций получили столь широкое и полное признание, что на земле не осталось страны, где имели бы место национальная рознь и национальное движение. Подумайте, в какое положение попали ирландцы, нация, которая, не находя в прошлом применения своим политическим способностям, сохранила только одну из них – талант националистической агитации и которая привлекала к себе самые горячие симпатии всего мира лишь благодаря своим страданиям! Те самые народы, которым они помогли освободиться, бойкотировали их теперь, как невыносимо надоедливых смутьянов. Там, где прежде их боготворили как олицетворение живого ума

и пылкого сердца, теперь бежали от них, как от чумы. Чтобы вернуть себе былой престиж, ирландцы потребовали передачи им Иерусалима, ссылаясь на то, что они — одно из рассеянных колен израильских. Но при их появлении евреи покинули город и вновь расселились по всей Европе. И вот тогда эти фанатичные ирландцы, ни один из которых в глаза не видел своей родины, получили от некоего английского архиепископа, родоначальника оракулов, совет возвратиться в страну отцов. Такое им и в голову не приходило: этому ведь никто не препятствовал и этого никто не запрещал. Они ухватились за предложение и высадились здесь, на берегах залива Голуэй. Выйдя на сушу, те, кто были постарше, пали ниц и, страстно целуя землю предков, призвали молодежь последовать их примеру. Но молодежь осмотрелась и мрачно ответила: «Тут не земля, а одни камни». Оглянитесь вокруг, сударыня, и вы поймете, почему они так сказали: поля здесь усеяны валунами, холмы увенчаны гранитом. На другой же день все прибывшие отплыли в Англию. С тех пор ни один ирландец никому, даже собственным детям, не признавался в том, что он ирландец, и, когда это поколение вымерло, мир начисто забыл об ирландской нации. Точно такая же история произошла с рассеявшимися по всему свету евреями, которые боялись, как бы их не отправили назад в Палестину, и на земле, лишившейся ирландцев и евреев, стало спокойно, но скучно. Разве эта повесть не волнует вас? Неужели вам и теперь не понятно, зачем я посетил арену, с которой так трагически сошли герои и поэты?

Зу. Мы до сих пор рассказываем малышам подобные сказки в целях общего развития. Но в жизни так не бывает. Сцена с высадкой ирландцев и целованием земли была бы правдоподобна, будь их человек сто. Но вы не хуже меня знаете, что это немыслимо, коль скоро речь идет о сотнях тысяч человек. И что за нелепость называть людей ирландцами лишь по той причине, что они живут в Ирландии! С равным успехом их можно было бы именовать, например, аэроландцами, поскольку все они дышат воздухом. Эти люди ничем не отличались от остальных. Зачем же вы, недолгожители, упорно выдумываете всякие глупости о мире и жизни и пытаетесь поступать так, словно ваши выдумки правда? Столкновение с правдой ранит и пугает вас, и вы прячетесь от нее в воображаемый вакуум, чтобы подлинная реальность не мешала

вам предаваться на свободе вашим желаниям, надеждам, пристрастиям и предубеждениям. Вы любите пускать пыль в глаза самим себе.

Пожилой джентльмен. Вот теперь, сударыня, я в свой черед должен заявить, что не понял ни единого вашего слова. Я полагал, что применение вакуум-аппарата для удаления пыли есть признак скорее цивилизации, нежели дикости.

Зу *(безнадежно)*. Ах, Папочка, Папочка, вы и на человека-то не похожи — до того глупы. В старину про таких, как вы, очень метко говорили: «Прах еси, и во прах отыдеши».

Пожилой джентльмен *(с достоинством)*. Да, сударыня, плоть моя — прах, но дух — нет. Не все ли равно, из чего сотворена моя плоть — из персти, частиц воздуха или даже речного ила? Важно другое — то, что, взяв этот — все равно какой — материал, творец вдохнул в него жизнь и человек обрел душу живу. Да, сударыня, душу живу. Я — живая душа. Это великая, облагораживающая мысль! Кроме того, это крупнейший научный факт. Меня не интересуют химикаты и микробы. Пусть ими занимаются болваны и олухи, тупицы и выгребатели грязи, недостойные славного назначения человека и неспособные постичь свою божественную природу. Они сообщают мне, что в крови у меня содержатся лейкоциты, а в тканях — натрий и углерод. Я благодарю их за информацию и отвечаю, что у меня на кухне есть тараканы, в прачечной — сода, в погребе — уголь. Я не отрицаю, что эти вещи существуют, но держу их в подобающем месте, а не в храме святого духа, да простится мне это архаическое выражение. Вы, без сомнения, думаете, что я отстал от века, а я горжусь своей просвещенностью и отвергаю ваше невежество, слепоту и недомыслие. Сердцем я жалею вас, разумом — презираю.

Зу. Браво, Папочка! Крепко же это в вас сидит! Вижу, что от депрессии вы не умрете.

Пожилой джентльмен. Не имею ни малейшего желания, сударыня. Я немолод, у меня бывают минуты слабости. Но стоит мне заговорить об этих предметах, как искра божья вновь вспыхивает во мне, тленное становится нетленным и смертный Болдж Блубин Барлоу возвышается до бессмертия. Здесь я равен вам, пусть даже вы переживете меня на десять тысяч лет.

Зу. Допустим. Но что нам известно об этом дыхании жизни, которое так возвеличивает вас? Ровно ничего. Пожмем

же друг другу руки, как подобает цивилизованным агностикам, и переменим тему.

Пожилой джентльмен. Цивилизованным агностикам? Вздор, сударыня! Эту тему нельзя переменить, пока не прейдут небо и земля. Я не агностик, а джентльмен. Когда я во что-нибудь верю, я говорю, что верю; когда не верю, говорю, что не верю. Я не уклоняюсь от ответственности под тем предлогом, что ничего не знаю и, следовательно, не могу ни во что верить. Ни отрекаться от знания, ни уклоняться от ответственности нельзя. Наш долг — идти вперед, отправляясь от известных посылок. Без этого нет человеческого общества.

Зу. Посылки должны быть научными, Папочка. В конечном счете, наш долг — жить для науки.

Пожилой джентльмен. Я преисполнен глубочайшего уважения к блистательным открытиям, которые подарила нам наука. Но открытия, сударыня, способен делать даже дурак. Любой ребенок в первые годы жизни делает больше открытий, чем сделал Роджер Бэкон в своей лаборатории. Я, например, еще в семь лет открыл, что у осы есть жало. Но я не требую, чтобы вы за это преклонялись передо мной. Поверьте, сударыня, самое последнее ничтожество способно открыть самые поразительные явления природы — нужно лишь быть достаточно цивилизованным, чтобы найти время для занятий и суметь изобрести соответствующие инструменты и приборы. А что получается в итоге? Открытия лишь подрывают веру в простые религиозные предания. Сперва мы не имели представления о космическом пространстве. Мы верили, что небо — это всего-навсего потолок комнаты размером с землю, комнаты, над которой расположена другая. Смерть была для нас лишь переходом из нижней комнаты в верхнюю или, если мы не повиновались священникам, падением в угольный погреб. На этой нехитрой основе строилось все — религия, нравственность, право, образование, поэзия, молитва. Но едва люди стали астрономами и создали телескоп, их вера рассеялась. Стоило им перестать верить в небо, как они разуверились и в боге, потому что, по их представлению, он живет на небе. Когда сами священники утратили веру в бога и уверовали в астрономию, они, переменив имя и одежду, стали называть себя мужами науки и докторами. Они основали новую религию, в которой место бога заняли чудеса и таинства, творимые с помощью научных

инструментов и приборов. Раньше люди поклонялись величию и мудрости господней, теперь они глупо вперились в пространство, измеряемое миллионами миллиардов миль, и обожествили всеведущего непогрешимого астронома. Они воздвигли храмы для его телескопов. Затем, посредством микроскопа, они заглянули в свое собственное тело и обнаружили там не душу, в которую верили прежде, а миллионы микроорганизмов. Они вперились в них так же, как в миллионы миль пространства, и воздвигли для микроскопов храмы, где приносились кровавые жертвы. Люди жертвовали даже собой, отдавая свое тело в руки жрецов микроскопа, которых, как и астрономов, они боготворили за всеведение и непогрешимость. Таким образом, наши открытия не только не сделали нас мудрей, но лишили и той крупицы ребяческой мудрости, которая была нам дана. Я согласен с вами только в одном: они расширили наши познания.

Зу. Чепуха! Знакомство с фактом не есть еще знание факта. В противном случае рыба знала бы о море больше, чем географы и биологи.

Пожилой джентльмен. Очень метко замечено, сударыня. Самая глупая рыба отнюдь не хуже многих моих знакомых географов и биологов знает, как величав океан.

Зу. Вот именно. Даже самый непроходимый дурак, глядя на компас, может сообразить, что стрелка всегда обращена к полюсу. Но неужели, осознав этот факт, он становится умней?

Пожилой джентльмен. Нет, сударыня, не умней, разве что самодовольней. Но я все-таки не понимаю, как можно быть знакомым с фактом и не знать его.

Зу. Разве не бывает так, что вы видите человека и не знаете его?

Пожилой джентльмен *(его наконец осенило)*. Ах, как это верно! Разумеется, бывает. Один из членов нашего клуба путешественников усомнился в правдивости того, что я рассказывал о своем пребывании на Южном полюсе. У себя в Багдаде я вижу этого человека чуть ли не каждый день, но знать его не хочу.

Зу. А что бы вы знали о нем, если б имели возможность взглянуть на него пристальней, через лупу, или рассмотреть каплю его крови под микроскопом, или вырезать его органы и произвести их химический анализ?

Пожилой джентльмен. Безусловно, ничего. Исследование такого рода лишь усугубило бы отвращение, внушаемое мне этим человеком, и укрепило бы меня в решении ни при каких обстоятельствах не знаться с ним.

Зу. Но ведь таким образом вы познакомились бы с ним гораздо ближе.

Пожилой джентльмен. Я никогда не опущусь до близкого знакомства с подобным субъектом. Я дважды посетил летние спортивные состязания на Южном полюсе, а этот человек смеет утверждать, что он побывал на Северном, хотя это вообще вряд ли возможно, поскольку Северный полюс находится посреди моря. Он хвастается, будто повесил на него свою шляпу.

Зу *(со смехом)*. Он просто знает, что путешественники занимательны лишь тогда, когда врут. Но, может быть, посмотрев на этого человека через микроскоп, вы усмотрите в нем кое-что хорошее.

Пожилой джентльмен. Я не желаю усматривать в нем хорошее. Кроме того, сударыня, ваши слова дают мне смелость признаться в одной своей мысли, настолько передовой и дерзкой, что я до сих пор не отваживался высказать ее из боязни сесть в тюрьму, а то и угодить на костер за кощунство.

Зу. Ого! Что же это за мысль?

Пожилой джентльмен *(опасливо оглянувшись по сторонам)*. Я отвергаю микроскопы. И всегда отвергал.

Зу. И вы считаете такую мысль передовой? Ох, Папочка, да это же чистейший обскурантизм!

Пожилой джентльмен. Называйте это, как вам угодно, сударыня, но я утверждаю, что людям, не знающим, на что они смотрят, опасно показывать слишком много. Я нахожу, что человек, пребывающий в здравом уме до тех пор, пока он смотрит на все своими глазами, может впасть в буйное помешательство, начав разглядывать мир через телескоп и микроскоп. Даже когда мы рассказываем сказки о великанах и карликах, великанам не следует быть чересчур огромными, а карликам – чересчур маленькими и злыми. До изобретения микроскопа наши сказки вызывали у детей лишь приятную дрожь и нисколько не страшили взрослых. Но жрецы микроскопа до смерти запугали и себя и всех нас, увидев под ним невидимые прежде чудовища – жалкие, безобидные, крошечные создания, мгновенно гибнущие на солнечном свету и сами являющиеся жертвами тех недугов, которые

якобы вызываются ими. Что бы ни говорили ученые, до микроскопа наше воображение оставалось добрым, а часто и смелым, поскольку имело дело с вещами, о которых мы кое-что знали. Но воображение, вооруженное микроскопом и имеющее дело со страшным зрелищем — миллионами уродливых тварей, природа которых нам неизвестна, такое воображение поневоле выродилось в жестокую, ужасную, навязчивую манию. Слыхали ли вы, сударыня, что в двадцать первом веке так называемой христианской эры произошло повсеместное избиение ученых, а лаборатории их были снесены и приборы уничтожены?

Зу. Да, слыхала. У недолговечных все жестоко — и прогресс, и возврат к прошлому. Но когда наука воскресла, ее сумели поставить на надлежащее место. Люди поняли, что простые собиратели анатомических и химических фактов разбираются в ней не больше, чем собиратель гашеных марок в мировой литературе или торговле. Террористу от науки, который боялся коснуться ложки или бокала, не вымыв их предварительно бактерицидным раствором, больше не давали ни пенсий, ни титулов, ни чудовищной власти над телом ближнего; его просто отправляли в сумасшедший дом и держали там до полного выздоровления. Но все это седая старина. Продление жизни до трехсот лет обеспечило человечеству способных руководителей и положило конец детским затеям.

Пожилой джентльмен *(раздраженно)*. Вы, кажется, склонны объяснять любой успех цивилизации вашей необычной долговечностью. Разве вам не известно, что вопрос о ней был впервые поставлен людьми, не дожившими даже до моих лет?

Зу. Да, кое-кто из них делал туманные намеки на этот счет. У одного древнего писателя, чье имя дошло до нас в разных формах — Шекспир, Шеридан, Шелли, Шодди, — есть примечательная фраза о том, как жутко потрясает естество мечта, недостижимая для наших душ. Но много ли от этого проку?

Пожилой джентльмен. Как бы то ни было, сударыня, вы уже в сознательном возрасте; поэтому осмелюсь напомнить, что, сколько бы ни жили ваши вторичные и третичные, вы-то сами моложе меня.

Зу. Да, Папочка, но соблюдать осторожность, чувствовать ответственность и во всем искать истину обязывают нас не годы, уже прожитые нами, а те, которые еще предстоит

прожить. А вот вам истина безразлична. Ваша плоть — как трава: вы распускаетесь быстрей, чем цветок, и вянете уже во втором детстве. На ваш век довольно и лжи; на мой — ее мало. Знай я, что умру через двадцать лет, мне бы не стоило учиться. Я заботилась бы об одном — как получить при жизни свою маленькую долю радостей.

Пожилой джентльмен. Вы заблуждаетесь, девушка. При всей нашей недолговечности, мы — я имею в виду лучших из нас — видим в цивилизации и просвещении, искусстве и науке неугасимый факел, который передается от одного поколения к другому, разгораясь все более ярким и горделивым пламенем. Каждая эпоха, как бы кратка она ни была, привносит новый кирпич в обширное и вечно растущее здание, новую страницу в священную книгу, новую главу в Библию, новую Библию в литературу. Пусть мы ничтожные насекомые, но мы, как коралловые полипы, воздвигаем острова, зародыш будущих континентов, и, как пчелы, заготовляем пищу для грядущих поколений. Индивид преходящ, род бессмертен. Сегодня желудь, через тысячу лет дуб. Я закладываю свой камень в постройку и умираю, но приходят другие, делают то же самое, и вот уже высится гора. Я...

Веселый смех Зу прерывает его рассуждения.

(Обиженно.) Не скажете ли, чем это я так вас развеселил?

Зу. Ох, Папочка, Папочка, до чего ж вы смешны с вашими факелами и пламенем, кирпичами и зданием, страницами, книгами и главами, коралловыми полипами и пчелами, желудями, камнями и горами!

Пожилой джентльмен. Но это же метафоры, сударыня. Просто метафоры.

Зу. Образы, образы, образы! Я говорила не о них, а о людях.

Пожилой джентльмен. А я иллюстрировал — и, надеюсь, не так уж неудачно — величественное движение прогресса. Я показал вам, что, хотя мы, люди Востока, и недолговечны, человечество растет из поколения в поколение, из эпохи в эпоху — от дикости к цивилизации, от цивилизации к совершенству.

Зу. Понятно. Отец вырастает до шести футов; сын наследует его рост и вытягивается до двенадцати; внук, унаследовав двенадцатифутовый рост, увеличивается до восемна-

дцати, и так далее. Через тысячу лет все вы оказываетесь ростом в несколько миль. Согласно такому расчету рост ваших предков Билджа и Блуберда, которых вы именуете исполинами, не превышал четверти дюйма.

Пожилой джентльмен. Я здесь не для того, чтобы играть словами и состязаться в парадоксах с девочкой, искажающей самые славные в истории имена. Я говорю серьезно. Серьезно рассматриваю важную проблему. Я вовсе не утверждал, что у человека ростом в шесть футов будет двенадцатифутовый сын.

Зу. Значит, вы не это хотели сказать?

Пожилой джентльмен. Конечно нет.

Зу. Тогда вы вообще ничего не сказали. А теперь слушайте меня, маленькое эфемерное существо. Я отлично поняла, что вы разумели под факелом, передаваемым от поколения к поколению. Но всякий раз, когда он переходит из рук в руки, пламя гаснет до последней искры, и человек, принявший этот светильник, может разжечь его лишь своим собственным огнем. Вы не выше ростом, чем Билдж и Блуберд, и вы не умнее их. Какова бы ни была их мудрость, она угасла вместе с ними, равно как их сила, если таковая существовала не только в вашем воображении. Я не знаю, сколько вам лет, хотя на вид вам верных пятьсот...

Пожилой джентльмен. Пятьсот? Однако, сударыня!..

Зу *(продолжая)*. Но я, разумеется, знаю, что вы — обыкновенный недолгожитель. Следовательно, мудрости у вас никак не больше, чем у любого человека, не накопившего еще достаточно опыта, чтобы отличать мудрость от безумства, истинное свое призвание от заблуждений, свое...

Пожилой джентльмен. Словом, меньше, чем, скажем, у вас.

Зу. Да нет же, нет! Сколько раз вам повторять, что мудрыми нас делают не воспоминания о прошлом, а сознание ответственности перед будущим? Перейдя в третичные, я стану куда беззаботней, чем ныне. Если вы неспособны уразуметь это, поймите, по крайней мере, что я училась у третичных. Я видела плоды их труда и жила по их установлениям. Как все, кто молод, я восставала против них, а они, вечно алча новых идей и знаний, прислушивались ко мне и поощряли мой бунт. Однако путь, избранный мною, оказался ложным, а их путь верным, и они сумели объяснить мне — почему. Власть их надо

мной состоит лишь в том, что они отказываются от всякой власти, а потому ей и нет пределов, кроме тех, которые они ставят сами. Вы же — ребенок, управляемый детьми, притом такими злыми и бестолковыми, что вы непрерывно бунтуете против них; а так как они бессильны убедить вас в своей правоте, им остается лишь один способ управлять вами — бить вас, сажать в тюрьму, мучить и убивать, если вы не подчиняетесь им и в то же время слишком слабы, чтобы самому убивать и мучить их.

Пожилой джентльмен. Допускаю, что все это факт, хотя и прискорбный. Я осуждаю его и сожалею о нем. Но дух наш выше фактов. Мы-то это знаем. Великие учителя древности, вослед которым пришла целая плеяда Христов двадцатого века, не говоря уже о таких сравнительно близких нам по времени духовных вождях, как Блисеринджем, Тош и Спифкинз, единодушно учили, что наказание, месть, принуждение и милитаризм суть заблуждения и что золотое правило...

Зу *(прерывая его)*. Да, да, Папочка, мы, долгожители, все это превосходно знаем. Но разве хоть один из их последователей хоть один день управлял вами согласно их христианским заветам? Знать, что такое добро, мало; нужно еще его делать. А они не могли, потому что жили слишком недолго, чтобы понять, как делать добро или подавить в себе ребяческие страсти, мешавшие им всерьез стремиться к добру. Вам отлично известно, что их хватало лишь на то, чтобы поддерживать существующий порядок с помощью того самого принуждения и милитаризма, который они обличали и по поводу которого так сокрушались. Им оставалось либо убивать ближнего за то, что он проповедует их же Евангелие, либо позволить ему убивать их самих.

Пожилой джентльмен. Кровь мучеников — семя церкви, сударыня.

Зу. Опять образы, Папочка? Кровь недолгожителей орошает лишь бесплодный камень.

Пожилой джентльмен *(запальчиво вскакивая)*. Вы просто помешались на долгожительстве! Лучше переменим тему: она у нас чересчур личная, а это признак дурного вкуса. Сколько бы человек ни жил, природа его была и будет неизменной.

Зу. Итак, вы отвергаете идею прогресса? Отрекаетесь от факела, кирпича, желудя и прочего?

Пожилой джентльмен. Никоим образом. Я за прогресс и свободу, все более безграничные с каждым новым поколением.

Зу. Я вижу, вы настоящий британец.

Пожилой джентльмен. И горжусь этим, хотя не благодарю вас за комплимент: в ваших устах он лишь маскирует какое-то новое оскорбление.

Зу. Я имела в виду только одно – что британцы говорят подчас вещи умные и глубокие, подчас глупые и пустые, но уже через десять минут неизменно забывают то, что сказали.

Пожилой джентльмен. Оставим это, сударыня, оставим это. *(Вновь садится)*. Даже папа не всегда священнодействует. А наши вспышки вдохновения лишь доказывают, что сердце у нас – на своем месте.

Зу. Еще бы! Где ж ему быть, как не на своем месте?

Пожилой джентльмен. Ну, довольно!

Зу. А вот руки у вас порой оказываются не на своем месте. Например, в кармане соседа. Как видите, дело не в сердце, а в руках.

Пожилой джентльмен *(сдаваясь)*. Ладно. Последнее слово всегда за женщиной. Не собираюсь оспаривать у вас это право.

Зу. Тем лучше. А теперь вернемся к подлинно интересному пункту нашего спора. Мы рассуждали о пристрастии недолгожителей к образам и метафорам. Помните?

Пожилой джентльмен *(с ужасом)*. Как, сударыня! Вы заговорили меня до того, что я потерял голову, вы своей нестерпимой болтовней довели меня до отчаяния и принудили замолчать, и вы же предлагаете начать все сначала? Нет, я немедленно ухожу.

Зу. Нельзя, Папочка. Я – ваша няня, и вы обязаны оставаться со мной.

Пожилой джентльмен. Категорически отказываюсь. *(Встает и с подчеркнутым достоинством удаляется.)*

Зу *(достав камертон)*. Зу, Берринский причал, вызываю полицию Эннистимонского оракула. Вы меня слышите? Что? Да, теперь слышу, только прибавьте частоту... Да, чуточку выше... Так лучше... Еще чуть-чуть... Вот теперь хорошо... Немедленно изолируйте Берринский причал.

Пожилой джентльмен *(вдалеке)*. Ой!

Зу *(все так же монотонно)*. Благодарю... Нет, ничего серьезного; нянчилась с недолгожителем, дурачок взял и убежал; тяжелая депрессия – бродил где попало и разго-

варивал со вторичными; не отхожу от него ни на шаг.

Пожилой джентльмен возвращается с негодующим видом.

Вернулся, выключите причал; благодарю; до свиданья! *(Прячет камертон.)*

Пожилой джентльмен. Это возмутительно! Не успел я спуститься с причала, как меня отшвырнуло назад и по всему телу словно мурашки побежали. И так продолжалось, пока я не вернулся на камни.

Зу. Да, у нас там электроизгородь. Очень старый и примитивный способ не давать скоту разбредаться.

Пожилой джентльмен. Он широко практикуется у нас в Багдаде, но я никогда не думал, что его применят ко мне. Дожить до такого позора!.. Вы буквально киплингизировали меня.

Зу. Киплингизировали? Что это значит?

Пожилой джентльмен. Лет с тысячу тому назад жили два литератора с одинаковой фамилией – Киплинг. Один, уроженец Востока, был выдающимся писателем; другой, житель Запада, остался, естественно, всего лишь забавным варваром. Говорят, что электроизгородь – его изобретение. Считаю, что, применив подобный метод ко мне, вы позволили себе слишком большую вольность.

Зу. Что такое вольность?

Пожилой джентльмен *(доведенный до белого каления)*. Ничего я не буду объяснять. Вы, сударыня, сами все знаете не хуже меня. *(Негодующе опускается на тумбу.)*

Зу. Нет, не знаю. Как видно, даже от вас можно услышать кое-что новое. Разве вы не заметили, что с самого вашего приезда мы все время расспрашиваем вас?

Пожилой джентльмен. Заметил ли я? Да я чуть не рехнулся от этого! Видите, какой я седой? А ведь когда я высадился здесь, волосы у меня были едва тронуты сединой и во многих местах сохраняли еще свой первоначальный каштановый цвет.

Зу. Поседение – один из симптомов депрессии. А вы не обратили внимания на другое, более важное для вас обстоятельство – на то, что нас вы ни о чем не спрашиваете, хотя знаем мы куда больше, чем вы?

Пожилой джентльмен. Я не ребенок, сударыня. И кажется, уже имел случай заявить об этом. К тому же,

я бывалый путешественник и знаю: все, что наблюдаешь в пути, доподлинно существует, иначе и наблюдать было бы нечего. А вот все, что слышишь от туземцев,— сплошная выдумка.

Зу. Только не здесь, Папочка. Мы живем слишком долго, чтобы лгать: рано или поздно ложь все равно обнаруживается. Так что советую поспрашивать меня, пока есть возможность.

Пожилой джентльмен. Если мне потребуется совет, я обращусь к настоящему оракулу — к третичному человеку, а не к первичной девчонке, разыгрывающей из себя мудреца. А если уж вы назначены няней, исполняйте свои обязанности, а не обезьянничайте со старших.

Зу *(краснеет и угрожающе поднимается)*. Ах вы глупое...

Пожилой джентльмен *(громовым голосом)*. Молчать! Слышите? Попридержите язык!

Зу. Со мной творится что-то странное: я вся горю. Меня так и подмывает стукнуть вас. Что вы со мной сделали?

Пожилой джентльмен *(с торжеством)*. Ага! Я таки вогнал вас в краску. Поняли теперь, что значит краснеть от стыда?

Зу. Не знаю, что вы сделали, но это так скверно, что я убью вас, если вы не прекратите.

Пожилой джентльмен *(осознав опасность)*. Вы, конечно, думаете, что старику можно безнаказанно угрожать...

Зу *(яростно)*. Старику? Вы ребенок, злой ребенок, а злых детей мы уничтожаем. Подчас даже против своей воли, инстинктивно. Берегитесь!..

Пожилой джентльмен *(струхнув, учтиво поднимается)*. Я не имел намерения обидеть вас. Я... *(С трудом выдавливая слова.)* Я приношу извинения. *(С поклоном снимает шляпу.)*

Зу. Что это значит?

Пожилой джентльмен. Я беру свои слова обратно.

Зу. Как можно взять обратно то, что сказано?

Пожилой джентльмен. Могу прибавить лишь одно — я сожалею о случившемся.

Зу. И правильно делаете. То мерзкое чувство, которое вы во мне пробудили, уже рассеивается, но еще одно слово, и вам не поздоровилось бы. Не вздумайте снова пытаться убить меня. Как только ваше лицо или голос выдадут ваши намерения, я вас прикончу.

Пожилой джентльмен. Я пытался убить вас? Что за чудовищное обвинение!

Зу хмурится.

(Благоразумно поправляется.) Я хотел сказать – недоразумение. Мне это и в голову не приходило. Неужели вы предположили, что я убийца?

Зу. Я это знаю. Вы – убийца. И не только потому, что бросали в меня словами, как камнями, чтобы сделать мне больно. Нет, вы еще пробудили инстинкт убийства во мне самой. Я и не знала, что он живет во мне. До сегодняшнего дня он ни разу не просыпался и не предупреждал: убей, если не хочешь быть убита. Теперь мне придется целиком пересмотреть свою политическую позицию. Больше я не консерватор.

Пожилой джентльмен *(роняя шляпу)*. Боже праведный! Да вы просто помешались! Как я сразу не догадался, что я в руках сумасшедшей? Нет, я этого больше не выдержу. *(Подставляя грудь как для заклания)*. Убейте меня и радуйтесь моей смерти.

Зу. Что пользы убивать вас, если нельзя разом истребить всех недолгожителей? К тому же такая мера должна осуществляться не частным лицом, а в политическом и конституционном порядке. Впрочем, я готова обсудить ее с вами.

Пожилой джентльмен. Нет, нет, не надо. Обсудим лучше ваше намерение порвать с консервативной партией. Совершенно не понимаю, как консерваторы до сих пор терпели в своих рядах человека с подобными взглядами. Тут возможно лишь одно объяснение – вы, наверно, очень щедро пополняли партийную кассу. *(Поднимает шляпу и вновь садится)*.

Зу. Довольно нести чепуху. Спор, идущий у нас об основной политической проблеме, имеет решающее значение и для вас, и для всех вам подобных.

Пожилой джентльмен *(с интересом)*. Неужели? Смею ли я спросить, о чем же у вас тут спорят? Я опытный политик и, может быть, пригожусь вам. *(Надевает шляпу чуть-чуть набекрень.)*

Зу. У нас есть две большие партии – консерваторы и колонизаторы. Колонизаторы считают, что нам следует увеличивать нашу численность и основывать колонии. По мнению же консерваторов, мы должны оставаться на месте, изолироваться на этих островах в качестве особой расы, окруженной ореолом величия и мудрости, и не покидать земли, которая священна в глазах боготворящего нас ми-

ра и границы которой неприкосновенны уже потому, что начертаны морем. Они утверждают, что мы призваны править миром и правили им еще тогда, когда не были долгожителями. Они считают, что отдаленность, обособленность, замкнутость и немногочисленность – порука нашего могущества и нашего мирного существования. Пять минут назад я разделяла их политическую программу. А теперь я полагаю, что недолгожителей вообще не должно быть. *(Вновь небрежно шлепается на мешки.)*

Пожилой джентльмен. Значит, вы отрицаете за мной право на жизнь только потому, что я осмелился неосторожно пожурить вас?

Зу. На что жизнь, если она так коротка? Какой от вас прок? Даже вам самому?

Пожилой джентльмен *(ошеломленно)*. Вот это да!

Зу. У вас такая ничтожная душа. Вы только вводите нас в грех гордыни: мы поневоле смотрим на вас сверху вниз, хотя могли бы смотреть снизу вверх на что-нибудь, что выше нас.

Пожилой джентльмен. Но ведь это эгоистично, сударыня! Подумайте, как важны для нас советы ваших оракулов.

Зу. А какую пользу извлекли вы из этих советов? Вы являетесь просить их, когда узнаете, что оказались в трудном положении, но узнаете вы это лет через двадцать после того, как совершите ошибки, которые привели вас к нам, а тогда уже слишком поздно. К тому же вы не понимаете наших советов. Часто, следуя им, вы творите больше зла, чем если бы руководствовались собственным ребяческим разумом. Не будь вы так ребячливы, вы вообще не ездили бы к нам: опыт доказал бы вам, что от ваших обращений к оракулу все равно нет никакого прока. Вы создали себе сказочное, фантастическое представление о нас, вы сочиняете стихи и рассказы о благодеяниях, совершенных нами в прошлом, о нашей мудрости, справедливости, милосердии, и в ваших выдумках мы нередко выглядим сентиментальными простофилями, которых вы дурачите с помощью жертв и молений. Но всем этим вы лишь маскируете правду от самих себя, а правда состоит в том, что вы не умеете использовать нашу помощь. Ваш премьер-министр уверяет, что прибыл к нам затем, чтобы оракул наставил его, но мы не обольщаемся и прекрасно понимаем, что приезд его продиктован желанием

приобрести, вернувшись домой, вес и авторитет, которые придает человеку посещение священных островов, где он лично беседовал с неисповедимыми. А потом он сделает вид, будто меры, которые он хочет принять в собственных целях, подсказаны ему оракулом.

Пожилой джентльмен. Но вы забываете, что ответы оракула нельзя держать в секрете или толковать на свой лад. Их публикуют в печати. Их копии получает лидер оппозиции. Они известны всем народам. Тайная дипломатия давным-давно отошла в прошлое.

Зу. Да, вы публикуете документы, но только подтасовав и подделав их. И если бы вы даже печатали наши ответы в подлинном виде, все равно ничего бы не изменилось: недолгожители неспособны разобраться в простейшем тексте. Ваше Священное писание, например, яснее ясного учит вас делать то, что решительно противоречит вашим собственным законам, равно как приказам и наставлениям избранных вами правителей. Вы не можете стать выше природы. А закон ее таков, что поведение человека всегда определяется продолжительностью его жизни.

Пожилой джентльмен. Никогда не слышал о подобном законе, сударыня.

Зу. Зато теперь услышали.

Пожилой джентльмен. Позволю себе заметить, что мы, недолгожители, как вы нас величаете, значительно удлинили свою жизнь.

Зу. Каким же это образом?

Пожилой джентльмен. Экономя время. Научившись за полдня пересекать океан, видеть и слышать друг друга на расстоянии в тысячу миль. Мы рассчитываем в скором времени так научно организовать свой труд и так подчинить себе силы природы, что необходимость трудиться перестанет быть ощутимым бременем и рядовой человек получит столько свободного времени, что ему некуда будет его девать.

Зу. Папочка, человек, жизнь которого вы удлинили таким способом, может быть, и станет деятельней, чем дикарь, но это лишь усугубит различие между ему подобными, что живут семьдесят лет, и теми, кто живет триста. Для недолгожителя продление жизни означает только продление скорби; для долгожителя каждый лишний год — перспектива, вынуждающая его дать все, на что он способен. Вот почему я говорю, что мы, живущие триста

лет, ничем не можем быть полезны вам, живущим меньше ста, и что истинное наше назначение не в том, чтобы наставлять вас и править вами, а в том, чтобы вытеснить вас. Уверовав в это, я и объявляю себя колонизатором и истребителем.

Пожилой джентльмен. Не спешите, пожалуйста, не спешите! Умоляю вас, подумайте хорошенько. Колонизировать можно и не истребляя туземцев. Неужели вы обойдетесь с нами еще бесчеловечней, чем наши предки-варвары с краснокожими и неграми? И разве мы, британцы, не заслуживаем хотя бы некоторого снисхождения?

Зу. Какой смысл затягивать агонию? Как бы мы ни пытались спасти вас, рядом с нами вы все равно обречены на медленное вымирание. Когда я сегодня взяла на себя присмотр за вами, вы уже были полутрупом только потому, что несколько минут говорили со вторичным. Кроме того, кое-чему нас учит и собственный опыт. Слыхали вы, что наши дети возвращаются подчас к первоначальному типу и рождаются недолгожителями?

Пожилой джентльмен *(с явным интересом)*. Никогда не слыхал. Надеюсь, вы не сочтете за обиду, если я признáюсь, что мне было бы весьма отрадно оказаться под присмотром одного из таких нормальных людей.

Зу. Вы хотите сказать — ненормальных? Ваше желание неосуществимо: мы их выпалываем.

Пожилой джентльмен. Меня прямо мороз по коже дерет, когда я слышу из ваших уст такое слово. Надеюсь, вы не хотите сказать, что... что вы... что вы тем или иным способом помогаете природе?

Зу. А почему бы ей не помочь? Разве вам не известно изречение китайского мудреца Ди Нина: «Хороший сад нужно полоть»? Но в нашем вмешательстве нет нужды. У нас от рождения довольно высокие требования к условиям, при которых мы согласны существовать. Мы не придаем значения случайной потере руки, ноги или глаза: в конце концов, никто не чувствует себя несчастным лишь потому, что у него две ноги, а не три С какой же стати человеку с одной ногой быть несчастным из-за того, что у него нет второй? Другое дело — изъяны характера и душевные недуги. Если кто-то из нас лишен самообладания, или слишком слаб, чтобы, не дрогнув, выносить напряжение нашей суровой жизни, или снедаем извращенными страстями, или привержен к суевериям, или не-

способен побеждать боль и апатию, он сам по себе впадает в депрессию и отказывается жить.

Пожилой джентльмен. Боже праведный! Значит, он перерезает себе глотку?

Зу. Зачем перерезать себе глотку? Нет, он просто умирает, потому что хочет умереть. В таких случаях мы говорим, что он потерял себя.

Пожилой джентльмен. Ну и ну!.. Но предположим, он настолько извращен, что не захочет умирать и усмотрит выход из положения в том, чтобы перебить всех вас. Что тогда?

Зу. А тогда это самый отъявленный выродок-недолгожитель, какие иногда появляются у нас. Он эмигрирует.

Пожилой джентльмен. И что с ним станет?

Зу. Вы, недолгожители, всегда очень высоко цените людей такого высокого сорта. Вы принимаете их и объявляете великими.

Пожилой джентльмен. Вы поражаете меня. И все же не могу не признать, что сказанное вами во многом объясняет отдельные известные мне подробности частной жизни наших великих людей. Мы, вероятно, весьма удобная свалка для ваших отбросов.

Зу. Не отрицаю.

Пожилой джентльмен. Тем лучше. Но допустим, вы осуществите ваши колонизаторские планы и в мире не останется ни одной страны, населенной недолгожителями. Куда же вы тогда денете нежелательных для вас людей?

Зу. Убьем. Наши третичные не слишком щепетильны на этот счет.

Пожилой джентльмен. Боже милостивый!

Зу *(взглянув на солнце)*. Идем. Сейчас ровно шестнадцать часов. Через полчаса у вас встреча с вашими спутниками в Голуэйском храме.

Пожилой джентльмен *(поднимаясь)*. Голуэй! Наконец-то я смогу с гордостью рассказывать, что побывал в этом великолепном городе!

Зу. Должна вас разочаровать — у нас нет городов. Там только храм оракула и ничего больше.

Пожилой джентльмен. Увы! А я-то ехал сюда в надежде осуществить две свои давнишние мечты. Первая — увидеть Голуэй. Недаром говорится: «Взгляни на Голуэй и умри». Вторая — полюбоваться развалинами Лондона.

З у. У нас нет развалин — мы их не терпим. А что, Лондон действительно был значительным поселением?

П о ж и л о й д ж е н т л ь м е н *(ошеломленный)*. Что? Лондон? Да это же был величайший город древности! *(Высокопарно.)* Расположенный там, где дорога на Дувр пересекает Темзу, он...

З у *(сухо останавливая его)*. Теперь там ничего нет. Кому охота жить в такой глуши? Ближайшие дома расположены в местности, называемой Зеленый Стрэнд. Это очень древнее поселение. Но идемте — нам еще предстоит перебраться через залив. *(Спускается по лестнице.)*

П о ж и л о й д ж е н т л ь м е н. Sic transit gloria mundi.[1]

З у *(снизу)*. Что вы сказали?

П о ж и л о й д ж е н т л ь м е н. Ничего. Вы все равно не поймете. *(Спускается по лестнице.)*

[1] Так проходит слава мира сего *(лат.)*.

Двор храма перед портиком с колоннадой. В центре портика дверь, ведущая в храм. За колоннами, по направлению к двери, шествует величавая женщина в длинной одежде и под покрывалом. С другой стороны, навстречу ей, размеренным шагом идет мужчина — плотный, гладко выбритый, мрачный и сосредоточенный, короче говоря, очень схожий с Наполеоном I. На нем мундир, скроенный на манер наполеоновского сюртука. Он по традиции скрещивает руки на груди и окидывает женщину взглядом. Она останавливается, всем своим видом выражая высокомерное удивление перед такой дерзостью. Мужчина стоит справа, женщина слева.

Наполеон *(внушительно)*. Я — избранник судьбы.

Женщина под покрывалом *(невозмутимо)*. Как вы сюда попали?

Наполеон. Просто вошел. Я иду, пока меня не остановят. Но меня никогда не останавливают. Повторяю: я — избранник судьбы.

Женщина под покрывалом. Ваша судьба будет весьма плачевна, если вы не перестанете разгуливать тут в одиночку, без кого-нибудь из наших детей. Вы, наверно, принадлежите к багдадскому посольству?

Наполеон. Я приехал с ним, но не принадлежу к нему. Я принадлежу только себе. Если можете, проводите меня к оракулу; если нет, не задерживайте — у меня мало времени.

Женщина под покрывалом. Я не задержу вас, жалкое существо: вам действительно отпущено не много времени. Ваш посол и его спутники сейчас будут здесь. Им разрешено испросить совета у оракула. Церемония совершится согласно установленному ритуалу. Можете подождать их здесь. *(Поворачивается и хочет войти в храм.)*

Наполеон. Я никогда не жду.

Женщина останавливается.

Ритуал здесь, наверно, установлен классический: пифия на треножнике, дурманящие испарения из пропасти, кон-

вульсии жрицы, возвещающей волю божества, и так далее. Этим меня не обманешь: я сам прибегаю к таким же уловкам, чтобы обманывать простофиль. Нет, я верю: что есть — то есть. И знаю: чего нет — того нет. Меня не интересуют фокусы женщины, восседающей на треножнике и делающей вид, будто она одурманена. Слова ей подсказывает не божество, а трехсотлетний старик, умеющий использовать свой опыт. С этим стариком я и хочу говорить наедине, без комедий и обмана.

Женщина под покрывалом. Вы, видимо, на редкость здравомыслящий человек. Но у нас нет никакого старика. Дежурный оракул сегодня — я. Сейчас я сяду на треножник и разыграю обычную комедию, как вы справедливо это назвали, чтобы произвести впечатление на вашего друга посла. Но коль скоро вы стоите выше всего этого, спрашивайте меня прямо здесь. *(Выходит на середину двора.)* Что вы хотите знать?

Наполеон *(следуя за ней)*. Сударыня, я отправился в такую даль не для того, чтобы рассуждать о государственных делах с женщиной. И я вынужден просить вас отвести меня к самому старому и мудрому из ваших мужчин.

Оракул. Наши старейшие и мудрейшие мужчины и женщины даже не подумают тратить на вас время: вы не пробудете с ними и трех часов, как уже погибнете от депрессии.

Наполеон. Приберегите эти пустые россказни о депрессии для тех, кто легковерен и поддается запугиванию. Я в метафизику не верю.

Оракул. Кто вас просит в нее верить? Поле — понятие не метафизическое, а физическое. И у меня оно есть.

Наполеон. А у меня их несколько миллионов. Я — император Турании.

Оракул. Вы не поняли меня. Я имела в виду поле не в сельскохозяйственном смысле слова. Разве вам не известно, что любая масса движущейся материи окружена невидимым гравитационным полем, любой магнит — магнитным, любой живой организм — гипнотическим? Такое гипнотическое поле ощущается даже у вас. При всей его слабости оно сильнее тех, какие мне довелось наблюдать у недолгожителей.

Наполеон. Оно отнюдь не слабое, сударыня. Теперь я вас понял и могу заверить, что передо мной бледнеют и мне подчиняются самые волевые люди. Только я не называю свою силу физической.

Оракул. А как ее назвать иначе? Наши физики изучают ее,

наши математики определяют ее параметры с помощью алгебраических уравнений.

Наполеон. Значит, мое поле тоже можно определить?

Оракул. Да. Сила его – величина, бесконечно близкая к нулю. На первой сотне лет жизни она ничтожна даже у нас. Но уже на второй быстро возрастает и становится опасной для недолгожителей, приближающихся к нам. Не будь на мне изолирующей мантии и покрывала, вы не выдержали бы моего присутствия, хоть я еще молодая женщина – мне всего сто семьдесят, если вас интересует точная цифра.

Наполеон *(скрестив руки на груди)*. Я не из пугливых. Женщине – неважно, девушка она или старуха – никогда не привести меня в замешательство. Откиньте покрывало, сударыня. Сбросьте мантию. Вам легче сдвинуть с места этот храм, чем поколебать меня.

Оракул. Прекрасно. *(Откидывает покрывало.)*

Наполеон *(вскрикнув и пошатнувшись, закрывает глаза рукой)*. Нет! Довольно! Опустите покрывало. *(Закрыв глаза и отчаянно хватаясь то за горло, то за сердце.)* Пустите! Помогите! Умираю!

Оракул. Вы и теперь хотите обратиться к кому-нибудь постарше?

Наполеон. Нет, нет! Покрывало! Умоляю, опустите покрывало!

Оракул *(опуская покрывало)*. То-то!

Наполеон. Уф!.. Человек не может всегда быть на высоте. Доныне я лишь дважды терял самообладание и вел себя, как трус. Но прошу вас не судить обо мне по этим минутам невольной слабости.

Оракул. Зачем мне вообще судить о вас? Вы ждете от меня совета. Спрашивайте, или я пойду по своим делам.

Наполеон *(секунду поколебавшись, почтительно преклоняет колено)*. Я...

Оракул. Да встаньте же! Неужели вы настолько глупы, что собираетесь разыгрывать со мной комедию, которая смешна даже вам?

Наполеон *(поднимаясь)*. Я преклонил колено совершенно непроизвольно, сударыня. Я лишь воздал должное вашему величию.

Оракул *(нетерпеливо)*. Время, время, время!

Наполеон. Вы не станете ограничивать его, сударыня, когда узнаете, с чем я к вам пришел. Я – человек, обладающий совершенно особым даром и притом в совершенно осо-

бой степени. Во всех остальных отношениях я вполне зауряден, происхожу из семьи отнюдь не влиятельной и, не будь у меня этого дара, никогда не добился бы такого исключительного положения в мире.

Оракул. А зачем занимать в нем исключительное положение?

Наполеон. Тот, кто выше других, не может не утверждать себя, сударыня. Но сказав, что я обладаю особым даром, я выразился неточно. Не я обладаю им, а он владеет мной. Этот дар — мой гений, и он вынуждает меня проявлять его. Иначе я просто не могу: когда я проявляю его — я велик; когда не проявляю — ничтожен.

Оракул. Проявляйте его и дальше. Разве для этого требуется одобрение оракула?

Наполеон. Погодите. Мой дар вынуждает меня проливать человеческую кровь.

Оракул. Вы хирург? Или дантист?

Наполеон. Фу! Как вы низко цените меня, сударыня! Я разумел океаны крови, смерть миллионов людей.

Оракул. Надеюсь, они возражают против этого?

Наполеон. Напротив, они обожают меня.

Оракул. Неужели?

Наполеон. Я никогда не проливаю крови своими руками. Люди убивают друг друга и умирают с торжествующим кличем. Даже тот, кто умирает с проклятиями, проклинает не меня. Мой дар в том, что я организую это взаимоистребление, даю людям грозную радость, которую они именуют славой, и выпускаю на волю черта, живущего в них, но сидящего на цепи, пока длится мир.

Оракул. А сами вы разделяете их радость?

Наполеон. Ни в коей мере. Охота мне смотреть, как один болван вгоняет штык в живот другому! По характеру я истый властелин, но привычки и вкусы у меня самые скромные. У меня добродетели труженика: я работящ и равнодушен к житейским благам. Но я должен властвовать: я настолько выше остальных, что мне нестерпимо покоряться их неумелой власти. А прийти к власти я могу лишь через человекоубийство. Я не способен быть великим писателем — уже пробовал, но безуспешно. У меня нет таланта ваятеля или живописца. Стать адвокатом, проповедником, врачом, актером? Но здесь я буду не лучше, а то и хуже, чем сотни посредственностей. Я даже не дипломат. У меня один козырь — сила. Я умею одно — организовать войну. Взгляните на меня. На вид

я такой же, как все, потому что на девять десятых я обыкновенный человек. Но одна десятая моего «я» — это способность видеть вещи как они есть, а этой-то способности и не хватает остальным.

Оракул. Вы хотите сказать, что лишены воображения?

Наполеон *(подчеркнуто)*. Я хочу сказать, что обладаю единственной разновидностью воображения, какой стоит обладать, — умением представлять себе вещи как они есть, даже не видя их. Я знаю, вы считаете себя выше меня, и вы действительно выше. Разве я сам непроизвольно не преклонил перед вами колено? И все же я предлагаю вам померяться силами. Способны ли вы, не прибегая к бумаге и алгебраическим знакам, вычислить то, что математики называют вектором? Или двинуть десять тысяч человек через горный хребет на границу и с точностью до мили определить, где они окажутся через семь недель? Всему остальному грош цена: я научился этому из книг в военной школе. Так вот, я должен предаваться этой великой игре в войну, перебрасывая армии, как другие бросают шары в кегли, должен отчасти потому, что каждый обязан делать то, к чему способен, а не то, к чему лежит душа; отчасти потому, что, прекратив игру, я разом потеряю власть и стану нищим в той самой стране, где сейчас опьяняю людей славой.

Оракул. Очевидно, вы хотите узнать, как выпутаться из столь незавидного положения?

Наполеон. Его мало кто считает незавидным. Скорее чрезвычайно завидным.

Оракул. Раз вы так считаете, продолжайте опьянять людей славой. Зачем тогда докучать мне их безумствами и вашими векторами?

Наполеон. К сожалению, люди не только герои, сударыня. Они еще и трусы. Они жаждут славы, но боятся смерти.

Оракул. Почему? Их жизнь слишком коротка, чтобы им стоило жить. Очевидно, поэтому они и полагают, что ваша игра в войну стоит свеч.

Наполеон. Они смотрят на дело несколько иначе. Самый скверный солдат хочет жить вечно. Чтобы он пошел на риск пасть от руки врага, я должен внушить ему, что трусить еще опасней, ибо за это он будет расстрелян на рассвете собственными же товарищами.

Оракул. А если товарищи откажутся расстреливать?

Наполеон. Тогда, естественно, расстреляют их самих.

Оракул. Кто?

Наполеон. Другие.

Оракул. А если и те откажутся?

Наполеон. До известного предела они не отказываются.

Оракул. А если все же дойдет до этого предела, вам придется расстреливать их самому?

Наполеон. К сожалению, сударыня, в таком случае они пристрелят меня.

Оракул. Гм! По-моему, вас вполне можно было бы пристрелить первым, а не последним. Почему они этого не делают?

Наполеон. Потому что любят сражаться, жаждут славы, боятся прослыть предателями, инстинктивно хотят испытать себя перед лицом грозной опасности, страшатся, что противник убьет их или превратит в рабов, верят, что защищают свой домашний очаг и семью; это заставляет их преодолеть в себе врожденную трусость и не только рисковать собственной жизнью, но и убивать всякого, кто отказывается рисковать ею. Однако стоит войне слишком затянуться, как наступает момент, когда солдаты, а также налогоплательщики, за чей счет кормится и снабжается армия, приходят в состояние, которое они характеризуют словами «сыты по горло». Войска, доказав свою храбрость, мечтают теперь разойтись по домам и спокойно наслаждаться обретенной в боях славой. К тому же, если война длится до бесконечности, риск превращается в неизбежность: на шесть месяцев у солдата еще хватает надежды избежать смерти, на шесть лет – никогда. Нечто похожее происходит и с гражданским населением: разорение становится для него уже не возможностью, а неотвратимостью. Вы понимаете, чем это грозит мне?

Оракул. Да разве это важно, когда вокруг такое бедствие?

Наполеон. Вздор, сударыня! Только это и важно. Ценность человеческой жизни определяется ценностью жизни величайшего из современников. Срежьте бесконечно тонкий слой серого вещества, отличающий мой мозг от мозга среднего человека, и вы сразу понизите уровень человечества от гиганта до пигмея. Я – всё, мои солдаты – ничто: им всегда найдется замена. Убейте меня или – что одно и то же – помешайте мне действовать, и человеческая жизнь лишится самого высокого своего содержания. Ваш долг, сударыня, спасти мир от подобной катастрофы. Война принесла мне популярность, власть, славу, бессмертие в веках. Но я предвижу, что, продолжая

воевать, навлеку на себя всеобщую ненависть, буду свергнут, заточен, возможно, даже казнен. Прекратив же войны, я убью в себе великого человека и превращусь в посредственность. Как мне уйти от этой трагически острой дилеммы? Победа мне всегда обеспечена: я не знаю поражений. Но победитель платит за нее не дешевле, чем побежденный, и цена эта — деморализация, обезлюдение, разруха. Как мне удовлетворить свой гений, требующий, чтобы я воевал до самой смерти,— вот о чем я хочу спросить вас.

Оракул. Не слишком ли большая дерзость ехать на священные острова с подобным вопросом? Вояки здесь не в почете, друг мой.

Наполеон. Солдат, которого останавливают такие соображения, уже не солдат. К тому же *(достает пистолет)*, я приехал не безоружный.

Оракул. Что это за вещь?

Наполеон. Мой профессиональный инструмент, сударыня. Я взвожу курок, направляю на вас дуло, нажимаю указательным пальцем вот здесь, на собачку, и вы падаете мертвой.

Оракул. Покажите. *(Выпрастывает руку из-под покрывала и протягивает к пистолету.)*

Наполеон *(отступая на шаг)*. Извините, сударыня, но я не вверяю свою жизнь человеку, над которым не властен.

Оракул *(сурово)*. Дайте сюда! *(Подносит руку к покрывалу.)*

Наполеон *(роняя пистолет и закрывая глаза рукой)*. Пощады, камрад! Вот он, сударыня! *(Ногой толкает к ней пистолет.)* Сдаюсь!

Оракул. Поднимите и подайте. Или вы думаете, что я наклонюсь за ним сама?

Наполеон *(с усилием отрывая руку от глаз)*. Дешевая победа, сударыня! *(Поднимает пистолет и протягивает ей.)* Такую можно одержать и без векторной стратегии. *(Рисуясь своим унижением.)* Ну что ж, гордитесь своим триумфом! Вы принудили просить пощады меня, Каина Адамсона Карла Наполеона, императора Турании!

Оракул. У вас есть очень простой способ выйти из затруднения, Каин Адамсон.

Наполеон *(с жадным любопытством)*. Превосходно. Какой же?

Оракул. Умереть раньше своей славы. *(Стреляет в него.)* *Наполеон вскрикивает и падает. Женщина отбрасывает пистолет и гордо входит в храм.*

Наполеон *(с трудом поднимаясь)*. Убийца! Чудовище! Ведьма! Выродок! Исчадье ада! Да тебя повесить, гильотинировать, колесовать, сжечь живьем мало! Никакого уважения к святости человеческой жизни! Никакого сострадания к моей жене и детям! Сука! Свинья! Потаскуха! *(Подбирает пистолет.)* И еще промахнулась с пяти ярдов! Ну, да чего ждать от бабы.

Направляется в ту сторону, откуда пришел, но сталкивается с Зу, ведущей за собой британского посла, пожилого джентльмена, супругу посла и дочь его, девицу лет восемнадцати. Посол — ярко выраженный тип государственного деятеля: он сильно напоминает собой не вполне исправившегося преступника, который переоделся у хорошего портного. Туалеты дам выдержаны в стиле той же эпохи, что и костюм пожилого джентльмена: они были бы вполне уместны на официальном приеме в какой-нибудь западной столице XVIII—XIX столетий, периода fin de siècle.[1]

Новоприбывшие углубляются под колоннаду. Зу тут же бросается к Наполеону и с властным видом останавливается справа от него, супруга посла подобострастно подбегает к нему слева. Посол с дочерью проходят позади колонн к двери. Пожилой джентльмен, едва войдя в портик, замирает на месте: ему хочется посмотреть, зачем Зу так стремительно кинулась к императору Турании.

Зу *(строго, Наполеону)*. Что вы тут делаете? Вам не положено разгуливать в одиночку. Что здесь был за шум? Что у вас в руке?

Наполеон, взглянув на нее с немым бешенством, сует пистолет в карман и выхватывает свисток.

Супруга посла. Вы идете с нами к оракулу, государь?

Наполеон. Провалитесь вы ко всем чертям с вашим оракулом! *(Поворачивается и хочет уйти.)*

Супруга посла, Зу *(одновременно)*. О, государь! Куда вы?

Наполеон. За полицией. *(Проходит мимо Зу, чуть не толкнув ее, и пронзительно свистит в свисток.)*

Зу *(выхватывает камертон и затягивает)*. Алло, Голуэй, центральная...

Свистки продолжаются.

---

[1] Конец века *(франц.)*.

Приготовьтесь изолировать... *(Пожилому джентльмену, который провожает императора взглядом.)* Куда он направляется?

Пожилой джентльмен. К смешной статуе толстого старика.

Зу *(монотонно, но быстро)*. Изолируйте памятник Фальстафу, напряжение максимальное. Да, парализуйте...

Свистки обрываются.

Благодарю. *(Прячет камертон.)* Теперь он не пошевельнет ни одним мускулом, пока я не приду.

Супруга посла. Но он ужасно рассердится. Вы же слышали, как он мне ответил.

Зу. Ну и пусть сердится. Невелика беда.

Дочь *(становясь между матерью и Зу)*. Скажите, пожалуйста, сударыня, чья это статуя? И где купить открытку с видом ее? Она такая смешная. На обратном пути я, конечно, сфотографирую ее сама, но снимки иногда получаются неудачно.

Зу. В храме вам дадут игрушки и картинки на дорогу. А история этой статуи слишком длинна – она вам наскучит *(Чтобы отвязаться, идет мимо дам через двор.)*

Супруга *(захлебываясь)*. Уверяю вас, нет!

Дочь *(в тон матери)*. Нам так интересно послушать!

Зу. Чепуха! Тут нечего особенно рассказывать. Тысячу лет тому назад, когда весь мир был заселен вами, недолгожителями, произошла война, получившая название войны за прекращение войн. Через десять лет последовала новая во время которой не погиб ни один солдат, зато семь европейских столиц были стерты с лица земли. Это была по-видимому, злая шутка судьбы, ибо государственные деятели, полагавшие, что они благополучно послали на убой десять миллионов простых людей, сами взлетели на воздух вместе со своими семьями и домами, тогда как десять миллионов солдат отсиделись в вырытых ими пещерах. На следующий раз уцелели даже дома, но население, до последнего человека, погибло от удушливых газов. Голодные солдаты, естественно, одичали, и так называемой христианской цивилизации пришел конец. Последний акт ее состоял в том, что государственные деятели, осознав великое патриотическое значение трусости, воздвигли памятник первому ее проповеднику, древнему и очень жирному мудрецу по имени сэр Джон Фальстаф. *(Указывает на статую.)* Это он и есть.

Пожилой джентльмен *(выйдя из-под портика и встав справа от внучки)*. Боже праведный! И у подножия статуи этого чудовищного труса лежит сейчас туранийский бог войны, беспомощно лопоча что-то невнятное!

Зу. Поделом ему! Хорош бог войны!

Посол *(становясь между своей супругой и Зу)*. Я, конечно, не знаю истории: у современного премьер-министра есть дела поважнее, чем корпеть над книгами. Однако...

Пожилой джентльмен *(прерывая его, ободряюще)*. Вы творите историю, Амброз.

Посол. Может быть, да, а может быть, история сама творит меня. Иной раз газеты так изображают меня, что я с трудом себя узнаю, а ведь их передовицы, по-видимому, представляют собой исторический, как выразились бы вы, документ. Но мне хотелось бы знать, почему война повторилась. И еще — как делаются удушливые газы, о которых упомянули вы, сударыня. Мы были бы очень рады получить эти сведения — они будут нам весьма полезны, если у нас возникнет война с Туранией. Разумеется, я лично сторонник мира и, в принципе, противник гонки вооружения, но мы должны быть впереди, иначе нас уничтожат.

Зу. Вы тоже можете производить газы — пусть только ваши химики найдут способ их изготовления. А тогда вы приметесь за старое и будете душить газами друг друга, пока не останется ни химиков, ни цивилизации. Затем вы начнете все сначала, станете темными полуголодными дикарями и будете драться с помощью бумерангов и отравленных стрел, пока вновь не изобретете взрывчатые вещества и удушливые газы. И все повторится опять, если только у нас не хватит здравого смысла истребить вас и положить конец этой нелепой игре.

Посол *(в смятении)*. Истребить нас?

Пожилой джентльмен. Ну, что я говорил, Амброз? Я же вас предупреждал.

Посол. Но...

Зу *(нетерпеливо)*. Не понимаю, чем занят Зозим. Он должен был прийти сюда и принять вас.

Пожилой джентльмен. Вы имеете в виду того довольно неприятного молодого человека, который изводил меня когда вы появились на причале?

Зу. Да. Ему предстоит надеть одежду друида, парик и накладную бороду, чтобы произвести впечатление на вас, глупцы. А я буду в пурпурной мантии. Терпеть не могу

эту комедию, но вы за нее держитесь, так что ее, видимо, придется разыграть. Подождите, пожалуйста, Зозима здесь. *(Поворачивается и хочет войти в храм.)*

Посол. Милая леди, стоит ли прибегать к переодеванию и накладной бороде, коль скоро вы заранее объявляете все это шарлатанством?

Зу. Конечно нет, но вы же верите только тому, кто переряжен; вот мы и наряжаемся ради вас. Не мы, а вы сами придумали эту чушь.

Пожилой джентльмен. И после этого вы надеетесь произвести на нас впечатление?

Зу. Не надеюсь, а по опыту знаю, что произведем. Оракул до смерти вас перепугает. *(Входит в храм.)*

Супруга. Эти люди обращаются с нами так, словно мы грязь у них под ногами. Не понимаю, как ты терпишь это, Амби! Самое лучшее для нас – взять и уехать. Их надо проучить, верно, Этель?

Дочь. Конечно, мамочка... А вдруг им это безразлично?

Посол. Не уговаривай меня, Молли. Я должен видеть оракула. О том, как обращались с нами здесь, дома никто не узнает. Там будут знать одно: я стоял перед лицом оракула и получил от него добрый совет. Надеюсь, этот Зозим не заставит себя ждать. По правде говоря, мне и без того не по себе – все-таки разговор с оракулом...

Пожилой джентльмен. Вот уж не думал, что мне захочется еще раз увидеть этого парня! Теперь я даже предпочитаю, чтобы за нами присматривал он, а не Зу. Сперва она показалась мне очаровательной, совершенно очаровательной, но мы с ней повздорили, и она превратилась в сущего дьявола. Вы не поверите: она чуть не убила меня. Слышали, что она здесь проповедовала? Она принадлежит к той местной партии, которая намерена всех нас истребить.

Супруга *(в панике)*. Нас? Но мы же ничего им не сделали. Мы были с ними так любезны. Ах, Амби, уйдем отсюда, уйдем. Тут все такое жуткое – и место, и люди.

Посол. Это, конечно, верно. Но со мной вы в безопасности и ты это знаешь. Будь же благоразумна.

Пожилой джентльмен. К сожалению, Молли, они намерены истребить не только нас, четырех беззащитных слабых людей, но весь род человеческий, кроме них самих.

Посол. Не такие уж мы беззащитные и слабые, папа, если учесть все державы. Когда доходит до убийства, в этой

игре всегда два партнера, а не важно, кто они — долгожители или недолгожители.

Пожилой джентльмен. Нет, Амброз, нам с ними не справиться. Рядом с этими страшными людьми мы — черви, простые черви.

Из храма выходит Зозим в парадном одеянии. На седых развевающихся кудрях его парика венок из омелы, накладная борода свисает почти до талии, в руках жезл с причудливо изогнутой рукоятью.

Зозим *(в дверях, торжественно)*. Привет вам, чужестранцы!

Все *(благоговейно)*. Привет!

Зозим. Готовы ли вы?

Посол. Готовы.

Зозим *(неожиданно берет непринужденный тон, бесцеремонно проталкивается на середину и становится между дамами)*. Ну, а я, к сожалению, должен предупредить, что оракул еще не готов. Его задержал один из ваших — тот, что отбился. А так как спектакль требует кое-каких приготовлений, вам придется минутку обождать. Если дамы желают, они могут войти в храм, осмотреть преддверие, получить разные картинки и прочее.

Супруга, Дочь *(одновременно)*. Благодарю вас! С большим удовольствием!

Входят в храм.

Пожилой джентльмен *(с достоинством и явным укором Зозиму за его легкомысленный тон)*. Сэр, ваш спектакль в том смысле, какой вы придаете этому слову, выглядит как замаскированное надругательство над здравым смыслом.

Зозим. Я сказал бы даже — как откровенное. Не старайтесь продолжать эту комедию со мной.

Посол *(неожиданно становясь очень любезным)*. Вот именно, вот именно. Мы подождем — нам совсем не к спеху. А теперь не разрешите ли воспользоваться случаем и дружески потолковать с вами минуту-другую?

Зозим. Пожалуйста, если только будете говорить о том, что мне понятно.

Посол. Видите ли, меня интересует ваш план колонизации. Мой тесть кое-что рассказал мне о нем и даже намекнул, что вы намерены не только колонизовать нас, но и... э-э... скажем, устранить. Но зачем же нас устранять? Почему бы вам не жить так, чтобы давать жить другим?

Мы отнюдь не питаем к вам вражды. Мы приветствовали бы создание на британском Среднем Востоке колонии бессмертных — у нас есть почти все основания так вас называть. Конечно, в настоящее время нас затмевает Туранийская империя с ее магометанскими традициями. Мы просто вынуждены были взять императора с собой, хотя вы не хуже меня понимаете, что он навязался нам с одной лишь целью — шпионить за мною. Не отрицаю, у него в руках все козыри против нас: если дойдет до войны, нашим генералам перед ним не устоять. Здесь я отдаю ему должное: во всем мире нет солдата лучше. Кроме того, он самодержавный император, а я лишь выборный представитель британской демократии. Я отнюдь не хочу сказать, что война страшит наших демократических британцев; нет, они готовы свернуть шею всем туранийцам, но их нужно очень долго подбивать на это, а императору довольно сказать слово, и войска уже в походе. Только вы никогда с ним не столкуетесь. Поверьте, в Турании вам всегда будет хуже, чем у нас. Мы вас понимаем. Вы нам по душе. Народ мы покладистый, к тому же богатый. Это не может не импонировать вам. А Турания — бедная страна. Пять восьмых ее территории — пустыня: там нет такой ирригации, как у нас. Наконец, и это, я уверен, небезразлично и вам, и любому благонамеренному человеку, мы — христиане.

Зозим. Наши старики предпочитают магометан.

Посол *(скандализованный)*. Что?

Зозим *(отчетливо)*. Они предпочитают магометан. Что тут особенного?

Посол. Да то, что из всех нечестивых...

Пожилой джентльмен *(дипломатично прерывая возмущенного зятя)*. Боюсь, что, слишком долго сохраняя приверженность к обветшалым традициям так называемых старых христианских церквей, мы, безусловно, позволили магометанам опередить нас в весьма критический период развития восточного мира. Мусульманская реформация дала своим последователям колоссальное преимущество: они исповедуют единственную в мире религию, в догматы которой может поверить любой здравомыслящий и образованный человек.

Посол. А как же наша собственная реформация? Не черните нас, папа. Разве мы не последовали примеру магометан?

Пожилой джентльмен. К несчастью, Амброз, мы про-

делали это с большим опозданием. Нам ведь пришлось иметь дело не только с религией, но и с церковью.

Зозим. Что это такое?

Посол. Не знать, что такое церковь? Ну и ну!

Пожилой джентльмен. Извините, что я воздерживаюсь от объяснений, но если я в них пущусь, вы спросите, что такое епископ, а это вопрос, на который не ответит ни один смертный. Скажу одно: Магомет был поистине мудрец – он основал религию без церкви. Поэтому, когда пришла пора реформации и для мечетей, там не оказалось епископов и священников, способных помешать ей. Наши же епископы и священники двести лет не давали нам двинуться по стопам магометан, а потом нам уже никогда не удалось наверстать упущенное. В оправдание наше добавлю только, что в конце концов мы тоже реформировали свою церковь. Разумеется, нам пришлось пойти на кое-какие компромиссы в угоду хорошему вкусу, но теперь в нашем символе веры не осталось ни одной статьи, неприемлемой – по крайней мере, аллегорически – с точки зрения критического разума.

Посол *(подбадривая тестя)*. Да и какое это имеет значение? Я, например, даже не прочел символа веры, а ведь я премьер-министр. Словом, если вам понадобится моя помощь по части приема первой партии колонистов, я к вашим услугам. И прием будет поистине королевский: салют из ста одного орудия, войска шпалерами на улицах, гвардейцы у дворца, обед в ратуше!

Зозим. Заболеть мне депрессией, если я понимаю, о чем вы толкуете! Хоть бы Зу поскорей вернулась – она разбирается в этих вещах. Могу сказать одно: по общему мнению наших колонизаторов, начинать следует со страны, населенной людьми другого цвета кожи. Это исключит ошибки и ускорит дело.

Посол. Что вы разумеете под словами «ускорит дело»? Надеюсь...

Зозим *(с деланной, но очень заметной непринужденностью)*. Да ничего, решительно ничего. Для начала мы думаем взяться за Северную Америку. Видите ли, краснокожие обитатели этой страны были когда-то белыми. Они прошли через стадию желтоватости, затем бесцветности и, наконец, стали красными, что соответствует тамошнему климату. К тому же в Северной Америке неоднократно наблюдались случаи долгожительства. Долгожители переехали сюда, к нам, и вскоре большинство из них

вновь приобрело белую кожу, характерную для наших островов.

Пожилой джентльмен. А вы не допускаете, что ваша колония станет краснокожей?

Зозим. Это не имеет значения. Цвет кожи нас не интересует. В старинных книгах упоминается о краснолицых англичанах. Очевидно, было время, когда это считалось нормальным.

Пожилой джентльмен *(настойчиво и убедительно)*. А вы уверены, что завоюете симпатии североамериканцев? Насколько я могу судить с ваших же слов, вам, видимо, нужна страна, где общество строится по принципу замкнутых кругов, где ревниво охраняется неприкосновенность личной жизни и никто не рискнет заговорить с ближним, прежде чем его не представят, причем лишь после тщательного изучения социального облика представляемого. Только в такой стране индивидуум с особыми склонностями и привычками может создать свой собственный мирок и надежно оградить его от вторжения обычных людей. Беру на себя смелость утверждать, что наше британское общество довело эту замкнутость до полного герметизма. Если вы побываете и посмотрите, как действует наша система каст, клубов, цехов, вы убедитесь, что нигде в мире и, вероятно, меньше всего в Северной Америке, где укоренилась прискорбная традиция социальной неразборчивости, нельзя так полно обособиться от окружающих.

Зозим *(смущенно и добродушно)*. Послушайте, оставим эту тему. Я не хочу вдаваться в объяснения, но нашим колонизаторам совершенно безразлично, с какими именно недолгожителями они столкнутся. Мы все уладим, а как — не суть важно. Пойдемте лучше к дамам.

Пожилой джентльмен *(сбрасывая маску дипломата и давая волю отчаянию)*. Мы слишком хорошо поняли вас, сэр. Что ж, истребляйте нас! Отнимите у нас жизнь, которую и так уже лишили радости, внушив нам мысль о том, что каждый может прожить три столетия. Я торжественно предаю эту мысль проклятию. Для вас она — счастье, потому что вы действительно живете триста лет. Для нас же, кому не дожить и до ста, для нас, чья плоть — как трава, такая мысль — самое невыносимое бремя, под которым когда-либо стонало несчастное, замученное человечество.

Посол. Постойте, папа! Не спешите! С чего вы это взяли?

Зозим. Что такое три столетия? На мой взгляд, очень немного. В древности, например, люди жили верой в то, что их существованию не будет конца. Они считали себя бессмертными. По-вашему, они были счастливее?

Пожилой джентльмен. Как президент Багдадского исторического общества могу заявить, что социальные формации, всерьез разделявшие это чудовищное заблуждение, были самыми жалкими из всех, о которых сохранились сведения. Возглавляемое мной общество переиздало труды отца истории Фукидиродота Маколебокля. Вы не читали у него о том, что кощунственно именовалось совершенным Градом божьим, и о попытке воссоздать это учреждение на земле, предпринятой на севере здешних островов неким Джонгоббснокcом по прозвищу Левиафан? Такие вот заблудшие души жертвовали отпущенной им крупицей жизни во имя воображаемого бессмертия. Они распяли пророка, учившего не думать о завтрашнем дне и верить, что Австралия — это тогдашний термин для обозначения рая или вечного блаженства — может быть обретена только здесь и только сейчас. Они пытались довести себя до состояния живых трупов. У них это называлось умерщвлять плоть.

Зозим. Ну, вы-то этим не грешите. По вашему виду никак не скажешь, что плоть у вас умерщвлена.

Пожилой джентльмен. Мы, разумеется, не сумасшедшие и к самоубийству не склонны. Тем не менее мы упорно обрекаем себя на воздержание, дисциплину и учение, словно готовимся жить триста лет, хотя не часто доживаем даже до ста. В детстве меня бесцельно притесняли, в юности столь же бесцельно заставляли слишком много работать — и все ради этой смехотворной подготовки к долгожительству, на которое у меня был один шанс из ста тысяч. Меня лишили и свободы, и естественных радостей в угоду этой мечте и несбыточной надежде на ее осуществление, внушаемой нам самим фактом существования здешних островов и оракулов. Я проклинаю день, когда люди додумались до мысли о долгожительстве, подобно тому как жертвы Джонгоббснокса проклинали день, когда родилась идея вечной жизни.

Зозим. Вздор! Вы тоже могли бы жить триста лет, если бы захотели.

Пожилой джентльмен. Обычный ответ счастливца неудачнику. Ну, что ж, пусть так — не хочу. Предпочитаю свои семьдесят. Если они отданы служению общей поль-

зе, справедливости, милосердию, добру; если они прожиты так, что сердце всегда остается честным, а разум восприимчивым, с меня уже достаточно, потому что эти безмерные и непреходящие ценности приравнивают десять моих лет к тридцати вашим. Я мог бы сказать в заключение: «Живите сколько влезет и будьте прокляты!» — но не скажу так, потому что стою теперь бесконечно выше зависти к вам или другим моим ближним, потому что я равен вам перед лицом вечности, для которой разница между продолжительностью вашей и моей жизни столь же ничтожна, как и разница между одной и тремя каплями воды для всемогущей силы, породившей нас обоих.

Зозим *(тронутый)*. Очень удачная речь, Папочка! Мне бы так ни за что не сказать. Красиво звучит. Но вот и дамы.

К его облегчению, обе женщины как раз появляются в дверях храма.

Пожилой джентльмен *(воодушевление его опять сменилось подавленностью)*. Мои слова для него пустой звук. В этой стране отчаяния великое стало смешным. *(Поворачивается к безнадежно озадаченному Зозиму.)* «Вот, ты дал мне дни, как пяди, и век мой ничто перед тобою».

Супруга, Дочь *(бросаясь к нему)*. Папа, папа, не надо так расстраиваться! Что с вами, дедушка?

Зозим *(пожимая плечами)*. Депрессия.

Пожилой джентльмен *(величественным жестом отстраняя женщин)*. Лжец! *(Тут же берет себя в руки, с достоинством приподнимает шляпу, учтиво кланяется и добавляет.)* Прошу прощения, сэр, но я отнюдь не страдаю депрессией.

В храме раздаются звуки оркестра, перемежающиеся с гулкими ударами гонга. На пороге появляется Зу в пурпурной мантии.

Зу. Войдите. Оракул готов.

Зозим указывает жезлом на дверь, приглашая гостей войти. Посол и пожилой джентльмен снимают шляпы и на цыпочках входят в храм следом за Зу. Супруга и дочь, переборов страх, спесиво задирают подбородок и направляются вслед за мужчинами, ступая на всю ногу и смелея при мысли о своем высоком положении

и парадных туалетах. Под портиком остается только Зозим.

Зозим *(снимает парик, бороду, одеяние, сворачивает их и сует под мышку).* Уф! *(Отправляется восвояси.)*

Храм изнутри. Галерея, висящая над пропастью. Полное безмолвие. Галерея ярко освещена, но за ней, то светлее, то чернее, царит мгла. Внезапно кверху взлетает сноп фиолетовых лучей, раздается серебристый, мелодичный перезвон колокольчиков. Когда он смолкает, фиолетовый свет гаснет. По галерее шествует Зу, за ней дочь посла, его супруга, сам посол и пожилой джентльмен. Мужчины держат шляпы перед собой, полями к носу, словно приготовясь по первому знаку излить туда свои молитвы. Зу останавливается, прочие следуют ее примеру, боязливо созерцая бездну. Звучит орган, исполняющий музыку, которую в XIX веке называли духовной. Посетители трепещут все явственней. Из пропасти снова взлетает фиолетовый луч, но теперь он расплывается в туманное пятно.

Супруга *(благоговейно шепчет Зу)*. Встать на колени?

Зу *(громко)*. Дело ваше. Если угодно, становитесь хоть на голову. *(Равнодушно садится на перила галереи, спиной к пропасти.)*

Пожилой джентльмен *(шокированный ее бесчувственностью)*. Нам угодно держать себя как подобает.

Зу. Вот и прекрасно. Держите себя как умеете. Это никого не интересует. Только не перетрусьте, когда появится пифия, а то еще забудете, о чем хотели ее спросить.

Посол, Дочь *(одновременно)*. *(взволнованно вытаскивает бумажку с вопросами и пробегает ее)*. Гм! *(в панике)*. Пифия? Значит, она змея?

Пожилой джентльмен. Тсс! Это не змея, а жрица оракула. Сивилла. Пророчица.

Супруга. Как страшно!

Зу. Рада слышать.

Супруга. Господь с вами! Неужели вам не страшно?

Зу. Нет. Такие зрелища действуют на вас, но не на меня

Пожилой джентльмен. В таком случае не мешайте им действовать на нас, сударыня. Я глубоко взволнован, а вы портите все впечатление.

Зу. Не спешите волноваться. Вся эта игра на органе и цветная подсветка — только шуточки. Вы дождитесь пифии!..

Супруга посла падает на колени, ища прибежища в молитве.

Дочь *(вся дрожа)*. Неужели нам действительно покажут женщину, прожившую триста лет?

Зу. Чепуха! Вы бы умерли от одного взгляда третичной. Оракулу всего-навсего сто семьдесят, но вам и с ней будет нелегко.

Дочь *(жалобно)*. Ох! *(Падает на колени.)*

Посол. О-о! Встаньте поближе, папа. Здесь чуточку пострашней, чем я ожидал. Колени преклонить, что ли...

Пожилой джентльмен. Пожалуй, так будет приличнее.

Мужчины опускаются на колени.

Туман в пропасти сгущается, и кажется, что в глубине ее рокочет дальний гром. Оттуда медленно поднимается треножник с восседающей на нем пифией. Она сняла изолирующее покрывало и мантию, в которых разговаривала с Наполеоном, и теперь одеяние ее состоит из куска сероватой, ниспадающей тяжелыми складками ткани. В пифии чувствуется что-то сверхъестественное, и это приводит посетителей в такой ужас, что они повергаются ниц. Контуры ее расплываются и колеблются: они то почти отчетливы, то смутны и неясны. Самое же главное в том, что пифия кажется больше обычного человека: она недостаточно огромна, чтобы перепуганные молящиеся могли определить на глаз ее размеры, но достаточно внушительна, чтобы ошеломить людей жутким сознанием ее сверхъестественности.

Зу. Эй, вы, да встаньте же! Возьмите себя в руки.

Посол и его семья лишь дрожат, давая этим понять, что не могут выполнить приказание. Только пожилому джентльмену удается встать на четвереньки.

Смелей, Папочка! Вы-то ведь не боитесь. Говорите. Вы же знаете: целый день она вас ждать не станет.

Пожилой джентльмен *(почтительно поднимаясь)*. Извините, сударыня, за вполне естественное смятение: я первый раз в жизни беседую с бо... бо... божеством. Посол, мой друг и родственник, совершенно выбит из колеи. Я же, возлагая надежды на вашу снисходительность...

Зу *(безжалостно прерывая его)*. Не возлагайте, иначе провалитесь сквозь нее и свернете себе шею. В отличие от вас она нематериальна.

Пожилой джентльмен. Я выразился метафорически...

Зу. Я вас уже предупреждала, чтобы вы этого не делали. Спрашивайте о том, что вас интересует, да поскорее.

Пожилой джентльмен *(наклоняясь и трогая распростертого посла за плечо)*. Сделайте над собой усилие, Амброз. Вы не можете уехать в Багдад без ответа на свои вопросы.

Посол *(вставая на колени)*. Я готов уехать куда угодно, лишь бы выбраться отсюда живым. Я давно б уж удрал на корабль, да только ноги не держат.

Пожилой джентльмен. Ни в коем случае. Помните: ваше достоинство...

Посол. К черту достоинство! Я умираю от страха. Ради бога, уведите меня.

Пожилой джентльмен *(достав флягу с бренди и отвинчивая крышку)*. Глотните чуть-чуть. Слава богу, она еще почти полная.

Посол *(хватает флягу и жадно пьет)*. Ох, наконец-то полегчало! *(Хочет сделать еще глоток, но видит, что фляга пуста, и протягивает ее тестю вверх дном.)*

Пожилой джентльмен *(принимая флягу)*. Боже милостивый! Полпинты чистого бренди зараз! *(В полной растерянности завинчивает крышку и сует флягу в карман.)*

Посол *(пошатываясь, встает, вытаскивает из кармана бумажку, говорит громко и самоуверенно)*. Вставай, Молли! И ты, Этель.

Обе женщины встают с колен.

Вот что я хотел спросить. *(Заглядывает в бумажку.)* Гм! Начался кризис цивилизации. Мы стоим на распутье. Перед нами Рубикон. Прыгнуть ли нам в воду? Из сивиллиной книги уже вырвана пёрвая страница. Стоит ли ждать, пока будет вырвана последняя? Справа от нас кратер вулкана, слева – пропасть. Один неверный шаг, и мы сорвемся в бездну, увлекая за собой все человечество. *(Переводит дух.)*

Пожилой джентльмен *(оживая под привычным возбуждающим воздействием политического красноречия)*. Верно, верно!

Зу. Что вы несете? Спрашивайте, пока не поздно. Что вы хотите узнать?

Посол *(покровительственным тоном премьер-министра, урезонивающего юного представителя оппозиции)*. Молодая женщина обращается ко мне с вопросом. Что ж, я всегда рад, когда молодежь проявляет интерес к политике. Вопрос, заданный ею, необдуман, но это вопрос разумный, вопрос практический. Она спрашивает, зачем мы силимся приподнять край завесы, скрывающей от наших слабых глаз будущее.

Зу. Ни о чем я не спрашиваю. Я прошу вас спросить у оракула то, что вам нужно, и не задерживать ее тут на целый день.

Пожилой джентльмен *(запальчиво)*. К порядку, к порядку!

Зу. Что означает «к порядку, к порядку»?

Посол. Я прошу великого оракула выслушать меня...

Зу. Вам, недолгожителям, никогда не надоедает слушать самих себя, но нам это скучно. Чего вы хотите?

Посол. Я хочу, девушка, чтобы мне не мешали говорить и не прерывали меня неуместными замечаниями.

Глухие раскаты грома на дне пропасти.

Пожилой джентльмен. Видите? Оракул — и тот возмущен. *(Послу.)* Амброз, не позволяйте этой даме сбивать вас своими грубыми окриками. Не обращайте на них внимания. Продолжайте.

Супруга. Амби, я больше не выдержу. Не забывайте: я бренди не пила.

Дочь *(дрожа)*. В тумане извиваются змеи. Я боюсь молнии. Папа, кончай скорее, или я умру!

Посол *(сурово)*. Тихо! На карте судьба британской цивилизации. Положитесь на меня. Я-то не боюсь. Как я уже сказал... О чем это я говорил?

Зу. Не знаю. И никто не знает.

Пожилой джентльмен *(тактично)*. По-моему, мы подошли к вопросу о выборах.

Посол *(вновь обретая самоуверенность)*. Именно так. О выборах. Мы хотим знать, следует ли нам распуститься в августе или повременить до весны.

Зу. Зачем вам распускаться? Разве вы цветы?

Гром.

Вот теперь виновата я. Гром означает, что оракул понял вас и требует, чтобы я придержала язык.

Посол *(горячо)*. Благодарю оракула!

Супруга *(к Зу)*. Поделом вам!

Пожилой джентльмен. Прежде чем оракул возьмет слово, я просил бы разрешения изложить мотивы, побуждающие меня утверждать, что правительство должно продержаться до весны. Во-первых...

Страшная молния и гром. Пожилой джентльмен падает навзничь, но тут же приподнимается и садится, из чего явствует, что он не пострадал. Дамы в ужасе приседают на корточки. С посла срывает шляпу, но он успевает поймать ее еще над головой и обеими руками прижимает к вискам. Он вдребезги пьян, но вполне владеет речью, так как давно приучил себя подкрепляться перед публичными выступлениями.

Посол *(отрывая одну руку от шляпы и делая такой жест, словно укрощает бурю)*. Довольно! Мы всё поняли – нам достаточно и намека. Я изложу суть дела в двух словах. Я – лидер партии стоеросов. Это правящая партия, а я – премьер-министр. За последние полгода на всех выборах побеждала оппозиция – партия ничевоков. Они...

Пожилой джентльмен *(яростно вскакивая на ноги)*. Они прибегали к нечестным приемам. К подкупу, к дезинформации, к потаканию самым низменным предрассудкам!

Слабые раскаты грома.

Извините. *(Умолкает.)*

Посол. И подкуп, и ложь еще не беда. Оракулу это знакомо. Суть в другом: до истечения нашего пятилетнего срока еще целый год, но в результате дополнительных выборов мы уже к пасхе потеряем большинство. Нам нельзя сидеть сложа руки. Мы должны поднять какой-то вопрос, который взбудоражит общественное мнение и поставит страну перед новыми выборами. Но одни из нас считают, что сделать это нужно немедленно. Другие предлагают подождать до весны. Что вы нам посоветуете?

Зу. И каким же вопросом вы намерены взбудоражить общественное мнение?

Посол. Это неважно. Еще не знаю. Что-нибудь придумаем. Мы не оракулы, чтобы предвидеть будущее.

Гром.

Что это значит? Я неудачно выразился?

Зу *(строго)*. Сколько раз вам повторять, что мы не можем

предвидеть будущее? Никакого будущего нет, есть только настоящее.

Пожилой джентльмен. Позвольте напомнить вам, сударыня, что пятнадцать лет тому назад, когда стоеросы обратились к оракулу, последний предсказал им победу на выборах, и они победили. Отсюда следует, что оракул может предвидеть будущее и подчас соглашается возвестить о нем.

Посол. Совершенно верно. Благодарю, папа. А теперь, через вашу голову, девушка, я обращаюсь к высокому оракулу с просьбой удостоить меня столь же безмерной милости, как и моего прославленного предшественника сэра Фулера Истуинда, дав мне такой же ответ, какой получил он.

Пифия поднимает руку, призывая к молчанию.

Все. Тсс!

Незримые тромбоны трижды издают торжественный звук, совсем как в «Волшебной флейте».

Пожилой джентльмен. Позвольте мне...

Зу *(поспешно)*. Тише! Оракул хочет говорить.

Оракул. Убирайся восвояси, дурак! *(Исчезает.)*

Искусственное освещение сменяется прозаическим дневным светом. Зу спрыгивает с перил, сбрасывает мантию, сворачивает ее и сует под мышку. Волшебная, таинственная атмосфера рассеивается. Женщины встают. Посол и его спутники растерянно переглядываются.

Зу. Тот же ответ, слово в слово, был дан пятнадцать лет назад вашему прославленному, как вы его именуете, предшественнику. Что просили, то и получите. Заодно подумайте, сколько важных вопросов вы могли задать. И она ответила бы. Вот так всегда. Ну, я пойду распоряжусь насчет вашего отъезда, а вы подождите меня у выхода. *(Уходит.)*

Посол. И с какой стати я попросил ответить мне так же, как старику Истуинду?

Пожилой джентльмен. Но вам дали совсем другой ответ. Ответ, полученный Истуиндом, много лет вдохновлял нашу партию. Он помог нам победить на выборах.

Дочь. Я учила его в школе, дедушка. Он был совсем не такой. Могу повторить. *(Цитирует.)* «Когда колыбелью Британии был запад, восточный ветер закалил и возвеличил ее. Пока дует восточный ветер, Британия

процветает. Восточный ветер рассеет ее недругов в день испытаний. Пусть ничевоки помнят об этом».

Посол. Старик сам это придумал. Теперь мне все понятно. Он был уже слабоумной развалиной, когда явился просить совета у оракула. Тот, естественно, и ответил: «Убирайся восвояси, дурак!» Говорить такие вещи мне – нелепо, но, как справедливо заметила девушка, я сам напросился. Что оставалось бедному старикану, как не сочинить такой ответ, который не стыдно обнародовать? Об этом шептались, но никто не верил. Теперь я верю.

Пожилой джентльмен. Нет, нет! Не могу допустить, что сэр Фулер Истуинд был способен на подобное мошенничество.

Посол. Он был способен на все. Я ведь знавал его личного секретаря. Что же мы скажем в Багдаде? Надеюсь, вы не предполагаете, что по возвращении туда я оповещу Британскую империю о том, как оракул обозвал меня дураком?

Пожилой джентльмен. Мы, разумеется, обязаны сказать правду, как бы это ни ранило наше самолюбие.

Посол. Я думаю не о своем самолюбии – для этого я, слава богу, недостаточно эгоистичен. Я думаю о стране, о нашей партии. Правда, как вы это называете, поставит ничевоков к власти на ближайшие двадцать лет. Она равнозначна моей политической смерти. Впрочем, меня это нисколько не заботит. Если мне подыщут более достойную замену, я буду лишь рад уйти на покой. Так что меня в расчет не принимайте.

Пожилой джентльмен. Нет, Амброз, вы незаменимы. Второго такого не найти.

Посол. Очень хорошо. Что же вы намерены предпринять?

Пожилой джентльмен. Дорогой Амброз, лидер партии вы, а не я. Что намерены предпринять вы?

Посол. Сказать чистую правду – вот что. Или вы считаете меня лжецом?

Пожилой джентльмен *(он озадачен)*. Ах, извините! Насколько я понял, вы...

Посол *(безапелляционно)*. Вы поняли меня совершенно правильно. Вернувшись в Багдад, я уведомлю британских избирателей, что оракул дословно повторил мне ответ, данный им пятнадцать лет тому назад сэру Фулеру Истуинду. Молли и Этель подтвердят мои слова. И вы

тоже, если вы порядочный человек. Идемте. *(Уходит, супруга и дочь следуют за ним.)*

Пожилой джентльмен *(оставшись один, он весь поникает – теперь это раздавленный отчаянием старик)*. Что делать? Я совершенно растерян. Я конченый человек. *(Падает на колени, с мольбой простирая руки над пропастью.)*. Я взываю к оракулу. Я не в силах вернуться домой и потворствовать кощунственной лжи. Умоляю наставить меня.

Пифия подходит к нему сзади по галерее и трогает его за плечо. Теперь это женщина обычных размеров с лицом, закрытым капюшоном. Пожилой джентльмен вздрагивает, как от электрического тока, оборачивается и в ужасе приседает, закрыв глаза рукой.

Нет, не подходите близко. Боюсь, мне этого не выдержать.

Оракул *(сурово, но сострадательно)*. Взгляните: теперь я опять нормального роста. Вы видели не меня, а мое искаженное изображение, спроецированное волшебным фонарем на облако. Чем я могу вам помочь?

Пожилой джентльмен. Мои спутники возвращаются домой и скажут там неправду о том, что услышали от вас. Я не в состоянии ехать с ними, не в состоянии жить с людьми, для которых нет ничего святого. Я больше не способен на это теперь, когда побывал здесь. Умоляю, разрешите мне остаться.

Оракул. Друг мой, оставшись с нами, вы погибнете от депрессии.

Пожилой джентльмен. А если вернусь, умру от отвращения и отчаяния. Я выбираю тот риск, который благороднее. Прошу вас, не отвергайте меня. *(Цепляется за ее платье.)*

Оракул. Берегитесь! Я прожила здесь уже сто семьдесят лет. Ваша смерть значит для меня гораздо меньше, чем для вас.

Пожилой джентльмен. Мне страшно быть изгнанным отсюда не потому, что я боюсь смерти, а потому, что я боюсь жизни.

Оракул. Что ж, пусть будет по-вашему. Оставайтесь.

Протягивает ему руки. Он хватается за них и, прильнув

к ней, встает на ноги. Она пристально смотрит ему в лицо. Он напрягается всем телом, конвульсивно вздрагивает, разжимает руки и падает мертвым.

(Глядя на труп.) Бедное недолговечное создание! Чем еще я могла тебе помочь!

Часть V

У ПРЕДЕЛА МЫСЛИ

Год 31920-й н. э., летний день. Залитая солнцем лужайка у южного подножия лесистого холма. На западной его стороне ступени и колоннада небольшого красивого храма в классическом вкусе. Между храмом и холмом грубая замшелая каменная лестница, уходящая к поросшей деревьями вершине. На восточном склоне роща. Посредине лужайки, неподалеку от холма, алтарь — низкий мраморный стол длиной в человеческий рост, стоящий параллельно ступеням храма. На переднем плане от алтаря веером расходятся полукруглые мраморные скамьи, отделенные от него широким проходом. Юноши и девушки пляшут под звуки нескольких флейт, на которых играют музыканты, сидящие в непринужденных позах на ступенях храма. Детей не видно: впечатление такое, что всем присутствующим не меньше чем по восемнадцати лет. У некоторых юношей бороды. Покрой одежды, архитектура театра, форма алтаря и полукруглых скамей напоминают греческий стиль IV века до н. э. в вольной трактовке. Движения танцоров, стремительно исполняющих нечто вроде фарандолы, необычайно изящны и пластичны: никто не скачет и не обнимает партнера, как это принято у нас. После первого круга они хлопками останавливают музыкантов, и те начинают играть сарабанду. В этот момент на лестнице между холмом и храмом появляется странная фигура. Человек, погруженный в задумчивость, медленно, с закрытыми глазами, спускается вниз, машинально нащупывая ногами грубые неровные ступени. Он почти обнажен — на нем только полотняная юбочка, вроде шотландской, да и та, в сущности, представляет собой широкий пояс с несколькими карманчиками и висящей на нем кожаной сумкой. Судя по мужественной осанке новоприбывшего, это мужчина в цвете лет; ни глаза его, ни рот не обличают никаких признаков старости; однако лицо, плотное и свежее, покрыто сетью морщин — от еле заметных, не толще волоска, до глубоких борозд, словно время трудилось над каждым дюймом его кожи в течение целых геологических эпох. Голова у него могучая и красивая, но совершенно лысая: кроме ресниц — ни одного волоска. Не замечая окружающих, он

идет прямо на одну из танцующих пар, разделяет ее, просыпается и с изумлением осматривается. Пара возмущенно останавливается, другие тоже, музыка смолкает. Юноша, которого он толкнул, обращается к нему — без злобы, но и без намека на то, что мы называем хорошими манерами.

Юноша. Эй, старый лунатик, не пора ли раскрыть глаза да посмотреть, куда идешь?

Древний *(тихо, кротко и снисходительно)*. Я не знал, что тут детская, а то бы не направился в эту сторону. Такое всегда может случиться. Продолжайте ваши игры — я поверну обратно.

Юноша. Останься и хоть раз порадуйся жизни. Мы научим тебя плясать.

Древний. Нет, благодарю. Я плясал, когда был ребенком, как вы. Пляска — это неумелая попытка войти в ритм жизни. Мне было бы тяжело выбиться из него ради ваших детских забав. Да я и не смогу, даже если захочу. Но в ваши годы плясать приятно, и мне жаль, что я вам помешал.

Юноша. Полно тебе! Признайся-ка лучше, что ты несчастлив. До чего же страшно смотреть на вас, древних: ходите в одиночку, никого не замечаете, не пляшете, не смеетесь, не поете, словом, ничего не берете от жизни! Нет, мы будем не такими, когда вырастем. У вас собачья жизнь.

Древний. Неправда. Ты повторяешь старинное выражение, даже не подозревая, что на земле водилось когда-то животное, которое называли собакой. Те, кто занимается исчезнувшими формами жизни, скажут вам, что собака любила слушать собственный голос и прыгала, когда бывала довольна, — совсем как вы. Значит, это у нас собачья жизнь, дети мои.

Юноша. Если так, собака была хорошее умное животное. Она подала вам благой пример.

Древний. Дети мои, дайте нам жить и веселиться на свой лад. *(Поворачивается и хочет уйти.)*

Девушка. Не спеши. Почему вы, древние, не расскажете нам, как вы развлекаетесь? У вас, наверное, есть свои тайные радости, которые вы скрываете от нас и которые никогда вам не приедаются. А вот мне наскучили наши песни и пляски. И все мои партнеры тоже.

Юноша *(подозрительно)*. Наскучили? Я это запомню.

Все переглядываются, словно в словах девушки скрыт некий зловещий смысл.

Девушка. Нам всем скучно. Зачем же притворяться? Это естественно.

Несколько молодых людей. Нет, нет. Нам не скучно. Вовсе это не естественно.

Древний *(девушке)*. Выходит, ты старше, чем он. Ты растешь.

Девушка. Откуда ты это знаешь? Разве я старше их на вид?

Древний. Нет, я даже не взглянул на тебя. Мне безразлично, как ты выглядишь.

Девушка. Благодарю.

Общий смех.

Юноша. Ах ты старый чудак! Ты, наверно, уже забыл разницу между мужчиной и женщиной.

Древний. Эта разница давным-давно не интересует меня в том смысле, в каком интересует вас. А что нас не интересует, то мы забываем.

Девушка. Ты так и не ответил, что выдает мои годы. А я хочу это знать. Я действительно старше этого мальчика — намного старше, чем он предполагает. Как ты это узнал?

Древний. Очень просто. Ты больше не притворяешься. Ты признаешь, что детские игры — пляски, пение, спаривание — довольно быстро приедаются и наскучивают. И ты больше не стараешься выглядеть моложе своих лет. А это признак перехода от детства к отрочеству. Кстати, посмотри, какой неописуемой рванью ты прикрыта. *(Касается рукой ее одежды.)* Вот здесь совсем протерлось. Почему ты не сделаешь себе новое платье?

Девушка. Да я ничего и не заметила. К тому же новое платье — это слишком хлопотно. Одежда — такая обуза! Я думаю, что когда-нибудь научусь обходиться без нее, как вы, древние.

Древний. А вот это уже признак зрелости. Скоро ты забудешь про игрушки, забавы и сласти.

Юноша. Что? Она станет такой же несчастной, как вы?

Древний. Дитя, даже минута того упоения жизнью, какое вкушаем мы, убила бы тебя. *(Торжественной поступью удаляется через рощу.)*

Все, помрачнев, провожают его взглядом.

Юноша *(музыкантам)*. Играйте. Попляшем еще.

Музыканты, пожав плечами, встают со ступеней и гурьбой направляются в храм. Остальные следуют за ними, кроме девушки, которая садится на алтарь.

Другая девушка *(на ходу)*. Ну вот, древний всех расстроил. Это ты виноват, Стрефон, – ты сам к нему привязался. *(Уходит с огорченным видом.)*

Второй юноша. Зачем было говорить ему дерзости? *(Уходит, недовольно ворча.)*

Стрефон *(вдогонку)*. Мне казалось, у нас принято дерзить всем древним из принципа.

Третий юноша. Тоже верно. Иначе с ними сладу не будет. *(Уходит.)*

Девушка. Почему вы не смеете открыто дать им отпор? Я же посмела.

Четвертый юноша. Потому что мы форменные ублюдки, отвратительные, жалкие, трусливые, – вот почему. Примирись с правдой, хоть она и неприглядна. *(Уходит.)*

Пятый юноша *(оглянувшись, бросает на ходу со ступеней)*. И не забудь, дитя, даже минута того упоения жизнью, какое вкушаю я, убила бы тебя. Ха-ха-ха!

Стрефон *(он единственный, кто остался с девушкой)*. А ты не идешь, Хлоя?

Девушка качает головой.

(Бросаясь к ней.) Что-нибудь случилось?

Хлоя *(в трагической задумчивости)*. Не знаю.

Стрефон. Значит, что-то и впрямь случилось. Ты это хотела сказать?

Хлоя. Да, со мною что-то творится, а что – не знаю.

Стрефон. Ты разлюбила меня. Я это уже с месяц как почувствовал.

Хлоя. А тебе не кажется, что все это глупости? Нельзя же без конца вести себя так, словно вся жизнь – одни пляски да нежности.

Стрефон. А что в ней есть лучшего? Ради чего еще жить?

Хлоя. Экий вздор! Не будь таким легкомысленным.

Стрефон. С тобой происходит что-то страшное. У тебя не осталось ни сердца, ни чувства. *(Садится на алтарь рядом с ней и закрывает лицо руками.)* Я так несчастен!

Хлоя. Несчастен? До чего же пуста твоя голова, если у тебя одна забота – как бы поплясать с девушкой, которая ничем не лучше остальных!

Стрефон. Раньше ты так не считала. Стоило мне взглянуть на другую, как ты уже злилась.

Хлоя. Мало ли что я делала, когда была ребенком. Тогда для меня существовало лишь то, что можно отведать, потрогать, увидеть. И мне хотелось взять все это себе – точно так же, как хотелось поиграть с луной. А теперь предо мной распахнулся целый мир. Нет, не мир – вселенная. Даже мелочи стали для меня чем-то великим и захватывающе интересным. Ты когда-нибудь задумывался над значением чисел?

Стрефон *(выпрямляясь, с явным разочарованием)*. Числа? Что может быть скучнее и противней?

Хлоя. Нет, они увлекательны, прямо-таки увлекательны. Мне хочется бросить наши вечные пляски и музыку, посидеть одной и подумать о числах.

Стрефон *(негодующе вскакивает)*. Ну, это уж слишком! Я давно тебя заподозрил. И не один я – все наши. Все девушки говорят, что ты скрываешь свои годы, что грудь у тебя стала плоской, что мы наскучили тебе и ты при каждом удобном случае норовишь поговорить с древними. Скажи правду: сколько тебе лет?

Хлоя. Я ровно вдвое старше тебя, мой бедный мальчик.

Стрефон. Вдвое? Значит, тебе четыре года?

Хлоя. Почти.

Стрефон *(со стоном опускаясь на алтарь)*. Ох!

Хлоя. Только ради тебя, бедный мой Стрефон, я уверяла, что мне два года: мне уже было столько, когда ты родился. Я видела, как ты вылупился из скорлупы. Ты был такой очаровательный ребенок – крупный, хорошенький, так забавно бегал и говорил с нами, что я сразу отдала тебе сердце. А теперь я, кажется, совсем потеряла его – мной владеет нечто более великое. Но все-таки по-своему, по-детски, мы были очень счастливы с тобой первый год, правда?

Стрефон. Я был счастлив, пока не заметил, что ты охладела ко мне.

Хлоя. Не к тебе, а ко всему обыденному в нашей жизни. Подумай: мне предстоит жить сотни, может быть, тысячи лет. Неужели ты полагаешь, что я согласна убить целые века на то, чтобы плясать, слушать, как флейты выводят все те же ноты и мелодии, восторгаться красотой все тех же колонн и арок; говорить громкие слова; лежать в твоих объятиях, хотя это неловко и неудобно; вечно ломать себе голову, какого цвета выбрать одежду, вечно

надевать ее и стирать; отсиживать с другими определенные часы за столом, поглощая пищу и вместе с ней слабые яды, которые искусственно возбуждают чувство наслаждения; а ночью забиваться в постель и проводить полжизни в бессознательном состоянии. Сон — это нечто постыдное; последние недели я перестала спать. По ночам, когда вы лежите, как бесчувственные, — а по-моему, это отвратительно, — я скитаюсь по лесу и думаю, думаю, думаю. Я вбираю в себя мир, разымаю его на части, вновь воссоздаю, придумываю новые методы, изобретаю опыты для проверки этих методов и великолепно провожу время. Каждое утро мне все тяжелей возвращаться к вам, и я знаю: скоро наступит день — может быть, он уже наступил, — когда я не вернусь совсем.

Стрефон. Но ведь жить так ужасно холодно и неудобно!

Хлоя. Ах, оставь ты эти удобства! Если постоянно думать о них, жизнь теряет всякую цену. Из-за них зима превращается в пытку, весна — в болезнь, лето — в обузу, и только осень приносит облегчение. Если б древние стремились к удобствам, они могли бы сделать из своей жизни сплошной праздник. Но они и пальцем не шевельнут ради удобств. Они не спят под крышей, не носят одежды — на них только пояс с карманами для разной мелочи. Они готовы сидеть на мокром мхе и колючем дроке, даже если в двух шагах от них сухой вереск. Два года тому назад, когда ты родился, я этого не понимала. А теперь чувствую, что ради всех удобств на свете не дам себе труда лишний раз шагнуть.

Стрефон. Но ты не понимаешь, что все это значит для меня. Это значит, что для меня ты умрешь. Уже умираешь. Выслушай меня! *(Обнимает ее.)*

Хлоя *(отстраняясь)*. Не надо. Разговаривать можно и не касаясь друг друга.

Стрефон *(с ужасом)*. Ох, Хлоя, это же самый ужасный признак! Древние никогда не притрагиваются друг к другу.

Хлоя. А зачем притрагиваться?

Стрефон. Ах, не знаю! Но неужели тебе не хочется коснуться меня? Раньше ты это любила.

Хлоя. Правда, любила. Когда-то нам казалось, что спать обнявшись очень приятно, только мы никогда не могли заснуть: тяжесть наших тел останавливала кровообращение вот тут, выше локтя. Затем мои чувства начали понемногу изменяться. Тело твое стало мне безразлично, но голова и руки еще волновали меня. А теперь прошло и это.

Стрефон. Значит, ты меня совсем разлюбила?

Хлоя. Вздор! Я люблю тебя еще глубже, чем раньше. Впрочем, вероятно, не только тебя. Я хочу сказать, что сильнее люблю теперь всех. Но мне не хочется без нужды притрагиваться к тебе и уж подавно не хочется, чтобы ты притрагивался ко мне.

Стрефон *(решительно встает)*. Итак, всему конец. Я тебе противен.

Хлоя *(нетерпеливо)*. Повторяю: ты не противен мне, но раздражаешь меня своей непонятливостью. По-моему, впредь мне лучше быть одной. А ты поищи себе новую подругу. Не выбрать ли тебе ту девушку, которая должна родиться сегодня?

Стрефон. Не нужна мне девушка, которая родится сегодня. Откуда я знаю, какая она будет? Мне нужна ты.

Хлоя. Я не могу быть с тобой. Пойми, что это так, и примирись с этим. Нет никакого смысла гоняться за женщиной вдвое старше тебя. Я не в силах ради тебя продлить свое детство. Пора любви приятна, но коротка. Настало время уплатить долг природе. Ты меня больше не привлекаешь, а я не стремлюсь привлечь тебя. В мои годы человек растет быстро: с каждой неделей я все больше взрослею.

Стрефон. Ты называешь это взрослеть, а я называю это стареть с каждой минутой. Ты уже сейчас старше, чем была в начале нашего разговора.

Хлоя. Нет, так быстро я не взрослею, а только сознаю, что уже повзрослела. Теперь, когда я чувствую, что детство позади, каждое твое слово все больше убеждает меня в этом.

Стрефон. А твой обет? Ты забыла о нем? Мы все приносили его в этом храме, в храме любви. Ты клялась еще горячей, чем остальные.

Хлоя *(с мрачной улыбкой)*. Никогда не давать сердцу остыть! Никогда не уподобляться древним! Никогда не гасить священный светильник! Никогда не изменять и не забывать! Вечно помнить об этом, потому что мы – первые любовники, которым суждено соблюсти клятву, столько раз принесенную и столько раз нарушенную прошлыми поколениями! Ха-ха-ха! Умора!

Стрефон. Что тут смешного? Это благородный, святой уговор, и я буду верен ему, пока жив. Неужели ты нарушишь его?

Хлоя. Милый мальчик, он расторгся сам собой. Все переме-

нилось, невзирая на мой ребяческий обет. *(Встает.)* Ты не возражаешь, если я прогуляюсь по лесу одна? Наша болтовня кажется мне непростительной тратой времени: мне о стольком нужно подумать.

Стрефон *(вновь падая на алтарь и закрывая глаза руками)*. Сердце мое разбито. *(Всхлипывает.)*

Хлоя *(пожимая плечами)*. На мое счастье, я рассталась с детством, не испытав твоих страданий. Это доказывает, как мудро я поступила, избрав возлюбленного вдвое моложе себя. *(Направляется к роще и наполовину скрывается между деревьями.)*

В этот момент из храма выходит кудрявый мускулистый юноша, более взрослый и мужественный, чем Стрефон, и с порога окликает девушку.

Юноша. Эй, Хлоя, там не видно древней женщины? Час рождения давно уже наступил. Ребенок брыкается как безумный. Того и гляди преждевременно вылупится из скорлупы.

Хлоя *(смотрит на лестницу, ведущую к вершине холма, указывает на нее рукой и говорит)*. Вот она, Акис. *(Пересекает рощу и исчезает за деревьями.)*

Акис *(подходя к Стрефону)*. Что случилось? Хлоя обидела тебя?

Стрефон. Она стала взрослой, невзирая на все свои обещания. Она скрывала от нас свои годы. Ей уже четыре!

Акис. Четыре? Сочувствую тебе, Стрефон. Мне самому уже три, и я знаю, что такое преклонный возраст. Не стану напоминать, что тебя предупреждали, — я этого не люблю, — но она действительно стала менее гибкой, похудела с лица, и грудь у нее делается плоской.

Стрефон *(в отчаянии)*. Не надо про это!

Акис. Возьми себя в руки. Сегодня у нас много дел: сначала рождение, потом праздник художников.

Стрефон *(поднимаясь)*. Стоит ли родиться на свет только затем, чтобы через каких-то четыре года превратиться в противоестественное, бессердечное, черствое, безрадостное чудовище? Кому нужны художники, если они не властны воплотить в жизнь свои высокие замыслы? Как мне хочется умереть и разом покончить со всем! *(Отходит к самой дальней скамье и гневно бросается на нее.)*

Пока Стрефон предается ламентациям, по лестнице с холма спускается древняя женщина, которая ус-

певает услышать бóльшую часть его жалоб. Она похожа на древнего мужчину — так же лыса, так же лишена всякого очарования, присущего ее полу, но выглядит в высшей степени любопытно и, пожалуй, страшно. Грудь у нее мужская, фигура также, и только голос выдает ее истинный пол. На ее нагое тело небрежно наброшена ритуальная мантия, в руках — два инструмента, напоминающие тонкие пилы. Она проходит между юношами к алтарю.

Древняя *(Стрефону)*. Дитя, ты только начинаешь. *(Акису.)* Готов ли ребенок родиться?

Акис. Давным-давно, древняя. Кричит, брыкается, бранится. Мы уже уговаривали эту девочку успокоиться и подождать твоего прихода, но она, разумеется, плохо поняла нас и проявляет сильное нетерпение.

Древняя. Очень хорошо. Выносите ее на солнце.

Акис *(спешит в храм)*. Все готово. Идем.

Музыка в храме играет мажорный марш.

Древняя *(приближаясь к Стрефону)*. Посмотри на меня.

Стрефон *(сердито отворачиваясь)*. Благодарю. Я не желаю, чтобы меня лечили. Лучше уж быть несчастным на свой лад, чем бесчувственным, как вы.

Древняя. Тебе нравится быть несчастным? Ничего, скоро ты это перерастешь.

Из храма выходит процессия, предводительствуемая Акисом. Шесть юношей несут на плечах какой-то груз, прикрытый роскошным, но легким покровом. Перед ними шествует группа девушек, несущих новую тунику, кувшины с водой, серебряные блюда с отверстиями, ткани и огромные губки. Остальные, держа в руках увитые лентами жезлы, усыпают путь цветами. Ношу опускают на алтарь, покров сдергивают, и глазам предстает колоссальное яйцо.

(Деловито выпростав руки из-под мантии и раскладывая пилы на алтарь так, чтобы до них было легко дотянуться.) Мне послышалось, ты сказал, что это девочка?

Акис. Да.

Девушка, несущая тунику. Какое безобразие! Неужели нельзя было мальчика?

Несколько юношей *(протестующе)*. Зачем нам мальчики? Девочек! Нам нужны девочки!

Голос девочки из яйца. Выпустите меня! Выпустите. Я хочу родиться. Я хочу родиться. *(Яйцо качается.)*

Акис *(выхватив у одного из юношей жезл и стуча им по яйцу)*. Кому я сказал – уймись? Жди. Скоро ты родишься.

Голос из яйца. Нет, сейчас, сейчас! Я хочу родиться, хочу родиться! *(Сильные удары внутри яйца, качающегося так сильно, что юношам приходится удерживать его на алтаре.)*

Древняя. Тише!

Музыка смолкает, яйцо перестает раскачиваться. Древняя берет пилы и несколькими движениями вскрывает яйцо. В раскрытой скорлупе сидит новорожденная – хорошенькая, очаровательно свежая, розовая девушка, которой в наши дни дали бы лет семнадцать. Кое-где к ней еще прилипли остатки белка.

Новорожденная *(ослепленная раскрывшимся перед ней миром)*. О-о! О-о! *(Во время последующей сцены она продолжает постанывать, несмотря на все уговоры.)*

Акис. А ну-ка помолчи!

Новорожденную обмывают, она визжит и отбивается.

Юноша. Не вырывайся, чертенок! Ты же вся еще липкая.

Девушка. Тебя надо вымыть, маленькая. Ну, не капризничай, не капризничай. Будь паинькой.

Акис. Перестань, или я заткну тебе рот губкой.

Девушка. Закрой глазки, иначе будет щипать.

Вторая девушка. Будь же умницей. Ты ведь не первая рождаешься на свет.

Новорожденная визжит.

Акис. Поделом тебе. Кому говорили – закрой глаза?

Юноша. Да вытирайте же ее скорей, не то она от меня вырвется. *(Новорожденной.)* Сиди тихо, или я из тебя лепешку сделаю!

Начинается одевание. Новорожденная кудахчет от удовольствия.

Девушка. А ручки вот сюда, маленькая. Ну, разве не красиво? Ты очень хорошенькая в этом платьице.

Новорожденная *(в восторге)*. О-о! О-о!

Второй юноша. Нет, другую руку: ты надеваешь задом наперед. Эх, ты, глупышка!

Акис. Вот теперь все. Ты чистенькая и приличная. А ну, вста-

вай! Гоп! *(Рывком поднимает ее, ноги у ней разъезжаются, но уже через несколько шагов она начинает управлять своими движениями.)* Итак, вперед!.. Она перед тобой, древняя. Наставь ее.

Древняя. Как вы ее назовете?

Акис. Амариллидой.

Древняя *(новорожденной)*. Твое имя Амариллида.

Новорожденная. Что оно означает?

Юноша. Любовь.

Девушка. Мать.

Второй юноша. Лилию.

Новорожденная *(Акису)*. А тебя как зовут?

Акис. Акис.

Новорожденная. Я люблю тебя, Акис. Ты должен быть только моим. Обними меня.

Акис. Осторожно, малышка! Мне уже три года.

Новорожденная. Ну и что? Я люблю тебя, и ты будешь моим, если не хочешь, чтобы я опять спряталась в скорлупу.

Акис. Не спрячешься — она разбита. Вот, погляди. *(Указывает на Стрефона, который все это время сидел на скамье и даже не взглянул на рождение — до того он поглощен своим горем.)* Видишь этого беднягу?

Новорожденная. Что с ним?

Акис. Родившись, он избрал своей возлюбленной девушку, которой было два года. Теперь ему самому столько же, и сердце его разбито, потому что ей целых четыре. Это значит, что она выросла, стала как вот эта древняя женщина и покидает его. Если ты изберешь меня, нам предстоит лишь год счастья, а потом я вырасту и разобью твое сердце. Лучше выбери самого молодого из нас.

Новорожденная. Никого я кроме тебя не выберу. А ты не расти. Мы будем вечно любить друг друга.

Общий смех.

Почему вы смеетесь?

Древняя. Слушай меня, дитя.

Новорожденная. Поди прочь, старая уродина! Я тебя боюсь.

Акис *(древней)*. Дай ей минутку. Она еще не совсем разумна. Да и можно ли ждать другого от ребенка, которому всего пять минут от роду?

Новорожденная. Мне кажется, я уже становлюсь разум-

ней. Конечно, я была еще очень молода, когда сказала дерзость, но в голове у меня быстро проясняется. Растолкуйте мне, пожалуйста, все, все.

Акис *(древней)*. Как по-твоему, у нее все в порядке?

Древняя окидывает новорожденную критическим взором, ощупывает, как френолог, неровности ее черепа, пробует мускулы на руках, похлопывает по ногам, осматривает зубы, на секунду заглядывает в глаза и, наконец, отпускает ее с видом человека, исполнившего свой долг.

Древняя. Ничего, годится. Может жить.

Все размахивают жезлами и кричат от радости.

Новорожденная *(негодующе)*. Могу жить! А если бы что-нибудь оказалось не в порядке?

Древняя. Такие дети у нас не живут, дочь моя. Жизнь здесь дается недешево. Но все равно ты ничего бы не почувствовала.

Новорожденная. Ты хочешь сказать, что меня убили бы?

Древняя. Убить — одно из тех смешных слов, которые новорожденный приносит с собой из прошлого. Завтра ты его уже забудешь. А теперь слушай. Впереди у тебя четыре года детства. Ты не будешь очень счастлива, но тебя заинтересует и займет новизна мира, а товарищи научат тебя, как все эти четыре года сохранять видимость счастья с помощью того, что у них называется искусством, забавами и наслаждением. Самое тяжелое время для тебя уже прошло.

Новорожденная. Как! За пять минут?

Древняя. Нет, за два года, что ты росла в яйце. Ты прошла там через различные стадии. Сперва напоминала собой вымерших животных, которые встречаются теперь только в ископаемом виде; потом стала похожа на человека, и за пятнадцать месяцев проделала весь путь развития, на который человек тратил когда-то двадцать лет блужданий на ощупь от рождения до созревания. Еще пятьдесят он проводил в полудетском состоянии, а у тебя оно будет длиться четыре года. Затем он дряхлел и умирал. А ты не умрешь, пока с тобой не произойдет несчастный случай.

Новорожденная. Что такое несчастный случай?

Древняя. Рано или поздно ты упадешь и свернешь себе шею, на тебя обрушится дерево, в тебя ударит молния. Так или иначе, когда-нибудь придет конец и тебе.

Новорожденная. А почему со мной должен произойти несчастный случай?

Древняя. Этого не объяснить. Он произойдет — и все тут. Рано или поздно с каждым что-нибудь происходит, было бы время. А у нас его целая вечность.

Новорожденная. Ничего со мной не произойдет. В жизни не слышала такого вздора! Я-то уж себя уберегу.

Древняя. Это ты так думаешь.

Новорожденная. Не думаю, а знаю. Я буду вечно наслаждаться жизнью.

Древняя. Если из тебя получится бесконечно разносторонний человек, жизнь действительно покажется тебе бесконечно интересной. А пока что тебе предстоит одно — играть с товарищами. Как видишь, у них много красивых игрушек: театр, картины, священные статуи, цветы, яркие ткани, музыка и, главное, они сами — для ребенка нет игрушки лучше, чем другой ребенок. К концу четвертого года ты изменишься, станешь мудрой, и тебя облекут властью.

Новорожденная. А я хочу ее сейчас.

Древняя. Не сомневаюсь. Она нужна тебе для того, чтобы играть с миром, раздергивая его на части.

Новорожденная. Но я хочу только посмотреть, как он устроен. Потом я опять соберу его, и он станет еще лучше.

Древняя. Было время, когда детям позволялось играть миром, потому что они обещали сделать его лучше. Но они не сделали его лучше и довели бы до гибели, будь у них такая же власть, какую дадут тебе, когда ты перестанешь быть ребенком. А пока что твои сверстники научат тебя всему, что нужно. Тебе не возбраняется общаться и с древними, но не советую: почти всем нам давно уже наскучило смотреть на детей и разговаривать с ними. *(Хочет уйти.)*

Новорожденная. Погоди. Объясни, что я должна делать и чего не должна. Я чувствую, что мне не хватает воспитания.

Все, кроме древней, смеются.

Древняя. Завтра ты перерастешь и это. Делай что хочешь. *(Уходит вверх по холму.)*

Участники церемонии уносят в храм ритуальный реквизит и осколки скорлупы.

Акис. Представляешь себе? Эта старуха существует уже семьсот лет, но до сих пор с нею не произошло несчастного случая и ей не надоело жить.

Новорожденная. Разве может надоесть жить?

Акис. Может. Если, конечно, жизнь всегда одинакова. Но древние каким-то чудом ухитряются изменяться. Иногда посмотришь, а у них несколько лишних голов, или рук, или ног – ну прямо смех разбирает. Большинство из них разучилось говорить, и тем, кто присматривает за нами, приходится раза два в год упражняться, чтобы развязать себе язык. Насколько я понимаю, им безразлично все на свете. Они никогда не веселятся. Не знаю, как они выдерживают. Они не ходят даже на праздник искусств. Та старуха, что помогла тебе вылезти из яйца, бродит сейчас, предаваясь никому не нужным размышлениям, хотя знает, что сегодня празднество.

Новорожденная. Что такое празднество?

Акис. Два наших лучших ваятеля покажут свои последние творения, а мы увенчаем их цветами, будем петь им дифирамбы и плясать вокруг них.

Новорожденная. Как замечательно! А что такое ваятель?

Акис. Вот что, малышка, догадывайся обо всем сама и не задавай вопросов. Первые несколько дней старайся поменьше раскрывать рот, побольше смотреть и слушать. Не годится, чтобы ребенка слышали, – его должны только видеть.

Новорожденная. Это кто, по-твоему, ребенок? Мне уже полных четверть часа. *(С самым взрослым видом садится на скамью подле Стрефона.)*

Голоса в храме *(протестующе, разочарованно, возмущенно)*. О! О! Мерзость! Стыд! Срам! Гадость! Это что, шутка? Да ведь это же древние! Ну и ну! Ты с ума сошел, Архелай? Это обидно! Оскорбительно! Фу! *(И т. д., и т. п. Недовольные, ворча, высыпают на ступени храма.)*

Акис. Эй, что у вас там такое? *(Направляется к ступеням.)*

Из храма выходят два ваятеля – один с двухфутовой бородой, другой безбородый. Между ними шествует красивая нимфа: резкие черты лица, волосы черные, густые и вьющиеся, вид властный.

Властная нимфа *(стремительно спустившись с ваятелями на середину лужайки, останавливается на полпути между Акисом и новорожденной)*. Не пытайся меня запу-

гать, Архелай, только потому, что у тебя искусные руки. Ты играешь на флейте?

Архелай *(бородатый ваятель справа от нее)*. Нет, Экрасия, не играю. При чем здесь флейта? *(Тон у него наполовину насмешливый, наполовину раздраженный, и ясно видно, что он решил не принимать свою собеседницу всерьез, невзирая на всю ее красоту и властность.)*

Экрасия. Да то, что вы, не задумываясь, судите о наших лучших флейтистах и берете на себя смелость решать, хорошо они играют или нет. Почему же я не имею права судить о ваших бюстах, хотя ваяю не лучше, чем ты играешь на флейте?

Архелай. На флейте или еще на чем-нибудь сыграет любой дурак – тут достаточно поупражняться; а вот ваяние – это тебе не в трубку дудеть, это искусство, творчество. В ваятеле должно быть нечто от божества. Его рука создает форму, через которую раскрывается дух. Он творит не для твоего, даже не для собственного удовольствия, а потому что не может иначе. Твое же дело – принять его создания или отвергнуть, если ты их недостойна.

Экрасия *(презрительно)*. Недостойна? Ого! А может быть, я вправе отвергнуть их потому, что они недостойны меня?

Архелай. Недостойны тебя? Перестань нести вздор, чванная хвастунья. Что ты понимаешь в нашем ремесле?

Экрасия. То, что понятно каждому культурному человеку, – что художник должен творить прекрасное. До сегодняшнего дня твои произведения были прекрасны, и я первая заявила об этом.

Архелай. Невелика заслуга! Могла бы и не заявлять – у людей есть глаза; они сами видят то, что ясно как день.

Экрасия. Однако ты был очень рад, когда я заговорила об этом. Тогда ты не называл меня чванной хвастуньей, а чуть не задушил в объятиях. И даже изобразил меня в виде гения искусства, который опекает твоего детски беспомощного учителя Марцелла. *(Указывает на второго ваятеля.)*

Марцелл, безмолвно и задумчиво следивший за их беседой, вздрагивает, качает головой, но сохраняет молчание

Архелай *(задиристо)*. Тогда ты просто вскружила мне голову своей болтовней.

Экрасия. Я первая открыла в тебе талант. Правда это или нет?

Архелай. Все и без того знали, что я человек недюжинный: я родился на свет с бородой в три фута.

Экрасия. Да, но теперь она укоротилась до двух. Наверно, в этом лишнем футе и таился твой талант, коль скоро ты разом утратил и то и другое.

Марцелл *(с сардоническим смешком)*. Ха! При рождении борода у меня была в три с половиной фута, но ее спалила молния, убившая заодно того древнего, который меня принимал. Однако и без единого волоска на лице я стал величайшим ваятелем десяти последних поколений.

Экрасия. Тем не менее ты пришел к нам сегодня с пустыми руками. И нам остается одно – увенчать Архелая. Другие-то вообще ничего не выставили.

Акис *(спустившись со ступеней храма и обогнув сзади одну из полукруглых скамей, приближается к трем спорщикам)*. Почему вы ссоритесь, Экрасия? Что у тебя вышло с Архелаем?

Экрасия. Он обидел нас! Оскорбил! Надругался над своим искусством! Ты знаешь, как мы ждали этого дня, когда должны были снять покров с двенадцати бюстов, поставленных Архелаем в храме. Так вот, пойди и взгляни на них. Больше мне нечего прибавить. *(Быстро отходит и садится на скамью, там, где сзади на нее оперся Акис.)*

Акис. Я не слишком разбираюсь в ваянии: искусство не моя область. Чем плохи бюсты?

Экрасия. Чем? Да тем, что вместо идеально красивых нимф и юношей они отвратительно реалистически изображают... Нет, я не в силах выговорить – кого.

Новорожденная, сгорая от любопытства, бежит к храму и заглядывает туда.

Акис. Брось, Экрасия! Довольно прикидываться чересчур деликатной. Кого они изображают?

Новорожденная *(с храмовых ступеней)*. Древних.

Акис *(удивленный, но не скандализованный)*. Древних?

Экрасия. Да, древних. Единственный сюжет, который с общего согласия всех знатоков решительно исключен из сферы искусства. *(Архелаю.)* Чем ты оправдаешь такой поступок?

Архелай. Раз на то пошло, ответь сперва, что хорошего вы находите в самодовольных нимфах и жеманных юношах, понатыканных вами где попало?

Экрасия. Ты не спрашивал об этом, пока не разучился их лепить.

Архелай. Разучился? Запомни, носатая дура: я зажмурю глаза, привяжу одну руку к спине и все-таки смогу лепить их целыми дюжинами. Но зачем? Мне противно было бы смотреть на них, да и тебе тоже, будь ты чуточку поумней. Пойди и погляди на мои бюсты. Всмотрись в них хорошенько и пойми наконец, какое напряжение мысли они передают. А потом сравни их с приторными сладостями, которые называются у вас статуями. Вот тогда мы увидим, долго ли ты согласишься терпеть их вялую пустоту. *(Вскакивает на алтарь.)* Слушайте меня все, а ты, Экрасия, помолчи, если способна хоть на это.

Экрасия. Молчание – лучший способ выразить презрение. Да, презрение – вот что внушают мне твои отвратительные бюсты!

Архелай. Глупая, они лишь первый шаг к осуществлению великого замысла. Слушайте!

Акис. Продолжай, дружище. Мы слушаем.

Марцелл растягивается на траве возле алтаря. Новорожденная опускается на ступени храма, подпирает подбородок рукой и с нетерпением ждет первой речи, которую ей предстоит услышать в жизни. Остальные сидят и стоят как попало.

Архелай. Летописи, спасенные поколениями детей от глупого пренебрежения древних, донесли до нас миф, который, как и многие другие мифы, повествует не о том, что сделано в прошлом, но о том, что предстоит сделать в будущем. Это легенда о сверхъестественном существе, которое именовалось архангелом Михаилом.

Новорожденная. Это сказка? Я хочу послушать. *(Сбегает со ступеней и садится на алтарь у ног Архелая.)*

Архелай. Архангел Михаил был великим ваятелем и живописцем. Он отыскал в самом центре земли храм, сооруженный в честь Медитерранеи, богини тех мест. Храм был украшен глупыми картинами, изображавшими хорошеньких детей во вкусе Экрасии.

Акис. Нечестный ход, Архелай! Если требуешь, чтобы она молчала, не задевай ее сам.

Экрасия. Я не собираюсь перебивать его, Акис. Но разве я не вправе предпочитать молодость и красоту старости и уродству?

Архелай. Ну, еще бы!.. Однако архангел Михаил держался моего, а не твоего мнения. Он начал с того, что расписал потолок храма фигурами новорожденных во всей их дет-

ской прелести. Но, завершив работу, он не почувствовал удовлетворения, потому что от росписи храм не стал величественнее, хотя новорожденные были изображены сильней и талантливей, чем вещи любого прежнего художника. Тогда он написал вокруг своих новорожденных группу древних, которых в те времена звали пророками и сивиллами и величие которых заключалось только в напряженности духовной жизни. Его росписи в течение долгих веков считались образцом и вершиной искусства. Разумеется, это предание не следует воспринимать буквально. Оно всего лишь сказка. В архангелов мы не верим, а мысль о том, будто тридцать тысяч лет назад ваяние и живопись не только существовали, но даже достигли высочайшего совершенства, какое возможно лишь в наши дни, — совершенно нелепа. Но людям свойственно мечтать о том, что они не в силах осуществить. Им приятно верить, что их мечта уже была осуществлена в минувшем золотом веке. Эта ослепительная легенда живет и ныне, потому что в ней воплощены заветные чаяния величайших художников. Храма Мединерранеи никогда не было, архангела Михаила — тоже. Но сегодня такой храм построен — вот он *(указывает на портик)*, такой человек родился *(бьет себя в грудь)* — это я. Я украшу ваш театр такими статуями новорожденных, которые удовлетворят даже Экрасию с ее пристрастием к красивости, и я окружу их древними, еще более величавыми, чем те, что бродят по нашим лесам.

Марцелл *(все так же сардонически)*. Ха-ха!

Архелай *(задетый)*. Тебе ли смеяться? Ты-то ведь пришел с пустыми руками и, похоже, с пустой головой.

Экрасия *(возмущенно вскакивая)*. Как тебе не стыдно! Ты смеешь чернить Марцелла, хотя он в двадцать раз искусней тебя?

Акис. Замолчишь ты или нет? *(Хватает ее за плечи и силой усаживает на скамью.)*

Марцелл. Пусть он чернит меня, сколько ему угодно, Экрасия. *(Приподнимается и садится на траву.)* Я сам мечтал о том же, что и ты, бедный мой Архелай. В один прекрасный день я тоже пришел к убеждению, что мой идеал красоты пошл, никчемен, скучен, что я впустую растрачиваю время и материал. Я тоже потерял охоту лепить руки и ноги, сохранив интерес лишь к голове и лицу. Я тоже ваял бюсты древних, только делал это не так смело, как ты, а втайне, скрывая их от вас.

Архелай *(изумленный и взволнованный, спрыгивает с алтаря и становится позади Марцелла)*. Ты ваял бюсты древних? Где они? Неужели твое вдохновение угаснет из-за болтовни Экрасии и прочих дураков, которых сбивает с толку ее самоуверенность? Выставь свои работы здесь, в театре, рядом с моими. Я проложил для тебя дорогу, и, как видишь, ничего со мной не случилось.

Марцелл. Невозможно. Они разбиты. *(Со смехом встает.)*

Все. Как разбиты?

Архелай. Кем?

Марцелл. Мною. Вот потому я и смеялся сейчас над тобой. Ты тоже перебьешь свои статуи еще до того, как закончишь первую дюжину их. *(Подходит к алтарю и садится на край рядом с новорожденной.)*

Архелай. Но почему?

Марцелл. Потому что мы не властны вдохнуть в них жизнь. Живой древний лучше, чем мертвое изваяние. *(Сажает новорожденную к себе на колени, та, польщенная, страстно прижимается к нему.)* Живое всегда лучше, чем то, что лишь хочет казаться живым. *(Архелаю.)* Ты начал с разочарования в красоте, которую создал сам, а кончишь тем, что разочаруешься в ваянии вообще. Чем искусней твоя рука, чем острей резец, тем ближе ты подходишь к правде и действительности, тем решительней отвергаешь преходящее очарование плоти ради непреходящего очарования духа. Но разве изображение, даже правдивое, способно удовлетворить столь высокие стремления? В конце концов та самая честность художника, которая побуждает тебя отринуть преходящее во имя вечного, вынудит тебя вовсе отречься от искусства, ибо оно лживо, а истинна только жизнь.

Новорожденная обнимает его и восхищенно целует. Марцелл встает, относит ее налево, опускает на скамью рядом со Стрефоном, так, словно кладет пальто, и невозмутимо продолжает.

Какую форму ни придавай мрамору, он останется мрамором. Статуя всегда только идол. Я разбил своих идолов, выбросил свои резцы и молотки; точно так же ты разобьешь свои бюсты.

Архелай. Ни за что!

Марцелл. Не торопись, друг мой. Сегодня я пришел не с пустыми руками, как ты вообразил. Напротив, я принес с собой такое творение искусства, какого вы еще не

видывали, и привел сюда художника, который превзошел нас обоих настолько же, насколько мы превзошли своих соперников.

Экрасия. Быть не может! Нельзя превзойти величайшие произведения искусства.

Архелай. Кто же этот образцовый мастер, которого ты ставишь выше меня?

Марцелл. Я ставлю его выше себя, Архелай.

Архелай *(хмурясь)*. Понятно. Ты решил сгрести меня в охапку и утащить за борт вместе с собой, чтобы только я не остался в живых.

Акис. Да перестаньте вы ссориться по пустякам. Это самое скверное в вас, художниках. Вечно вы делитесь на враждующие группки, и наихудшая из них та, где всего один человек. Кто же этот новенький, которым вы колете глаза друг другу?

Архелай. Спрашивай Марцелла, а не меня. Мне о нем ничего не известно. *(Отходит от Марцелла и садится слева от Экрасии.)*

Марцелл. Ты прекрасно его знаешь. Это Пигмалион.

Экрасия *(негодующе)*. Пигмалион? Этот бездушный тупица? Этот ученый? Этот лабораторный червь?

Архелай. Пигмалион создал произведение искусства? Да ты просто утратил всякое художественное чутье, Марцелл! Этому парню не вылепить даже ногтя на пальце, не то что целого человека.

Марцелл. Не беда. Я сделал это за него.

Архелай. Что ты хочешь сказать, черт побери?

Марцелл *(громко)*. Пигмалион, иди сюда.

От храма к центру группы направляется юноша с толстыми квадратными пальцами, с лицом, словно слепленным из нескольких положенных друг на друга камней, и неизменной улыбкой, выражающей благожелательный интерес ко всему на свете и ожидание такого же интереса в каждом из ближних. Это Пигмалион. Экрасия смотрит на него с нескрываемым презрением, остальные — с неудовольствием, опасаясь, как бы он не нагнал на них скуку.

Друзья, к сожалению, Пигмалион от природы не способен что-нибудь показать, не прочитав предварительно лекцию о том, что́ показывает. Но обещаю, что, если вы наберетесь терпения, он покажет вам два произведения искусства, которым нет равных на земле и в которые

вложена также немалая доля моего мастерства. Позвольте добавить лишь одно: они внушат вам такое отвращение, что вы навеки излечитесь от безумного пристрастия к искусству. *(Садится рядом с новорожденной, та, надувшись, холодно отворачивается, но эта демонстрация не производит никакого впечатления.)*

Пигмалион с наивной улыбкой и доверчивой готовностью фанатика науки неуклюже вскарабкивается на алтарь. Все приготовляются к самому худшему.

Пигмалион. Друзья мои, я не стану прибегать к алгебре...

Все. Слава богу!

Пигмалион *(продолжая)*. Поскольку Марцелл взял с меня слово не делать этого. Перехожу прямо к существу вопроса. Мне удалось искусственно создать людей. Я хочу сказать — настоящих, живых людей.

Недоверчивые голоса. Полно! Придумай что-нибудь поумнее! Хватит, Пиг! Слезай! Где уж тебе! Вот враль!

Пигмалион. А я говорю — удалось. Я вам их покажу. Такие опыты удавались и раньше. Один из древнейших дошедших до нас документов содержит предание о некоем биологе, который добыл какой-то не специфицированный им точно минерал и, как старомодно сказано в документе, «вдохнул в лице его дыхание жизни». Это единственное оставшееся нам от первобытных времен свидетельство, которое можно считать вполне научным. Мы располагаем и позднейшими документами, специфицирующими минералы с весьма большой точностью, вплоть до их атомного веса, однако спецификация эта крайне ненаучна, потому что в ней обходится молчанием жизненное начало, которым и определяется отличие живого организма от простого соединения солей и газов. Подобные соединения многократно создавались в примитивных лабораториях эпохи Глупой мудрости, но из них ничего не получалось, пока вышеназванный замечательный экспериментатор не добавил к ним ингредиент, который у древнего летописца именуется «дыханием жизни». На мой взгляд, этот человек и явился основоположником биологии.

Архелай. Это все, что о нем известно? Не густо.

Пигмалион. Сохранились обрывки документов и фрагменты картин, изображающие его в момент, когда он гуляет по саду и учит людей его возделывать. Имя этого

человека дошло до нас в различных формах. Иногда его называли Юпитером, иногда Вольтером.

Экрасия. Ты с ума нас сведешь своим скучным Вольтером! Расскажи наконец о созданных тобою людях.

Архелай. Да, да, переходи к ним.

Пигмалион. Уверяю вас, эти подробности в высшей степени интересны.

Со всех сторон крики: «Нет, не интересны! Переходи к людям! К черту Вольтера! Кончай, Пиг!»

Сейчас вы поймете их значение. Обещаю, что долго вас не задержу. Мы, питомцы науки, знаем, что вселенная насыщена различными видами силы, энергии, способности к творчеству. Сок, поднимающийся по стволу дерева, камень, не распадающийся на части благодаря своей кристаллической структуре; мысль философа, непостижимая мощь которой заставляет мозг его функционировать в определенных формах; бессознательное стремление к эволюции – все эти силы можно использовать. Например, отправляясь купаться и придавливая камнем свою тунику, чтобы ее не сдуло ветром, я использую силу тяготения. Заменив камень соответствующими машинами, мы подчинили себе не только тяготение, но и электричество, магнетизм, внутриатомное сцепление и отталкивание, поляризацию и так далее. Одна лишь Жизненная сила до сих пор ускользала от нас, почему ей и пришлось самой конструировать для себя необходимые механизмы. Она создала и развила костные структуры надлежащей прочности и обволокла их клеточной тканью столь невероятной чувствительности, что состоящие из нее органы приспосабливаются к изменениям атмосферы, которою они дышат, пищи, которую они усваивают, и обстоятельств, которые они осмысливают. А поскольку органические тела, как мы их называем, в конечном счете представляют собой механизмы, их, без сомнения, можно изготовлять механическим способом.

Архелай. На свете все возможно. Вопрос в другом – получилось ли это у тебя?

Пигмалион. Да. Но это всего-навсего факт. Интересны же не сами факты, а их объяснение. Простите за откровенность, но мне очень досадно, что вы, художники, лишены интеллекта.

Экрасия *(наставительно)*. Не согласна. Художник с помощью вдохновения мгновенно постигает те истины,

к которым так называемый ученый, долго и тупо корпя в лаборатории, приходит много позже него.

Архелай *(Экрасии, сварливо)*. Что ты в этом понимаешь? Разве ты художница?

Акис. Да заткнитесь вы оба! А ты, Пигмалион, подавай нам искусственных людей. Тащи их сюда.

Пигмалион. Это мужчина и женщина. Но, честное слово, сначала я должен объяснить...

Общий стон.

Да, я...

Акис. Нам нужны не объяснения, а результаты.

Пигмалион *(обиженно)*. Вам, видно, очень скучно. Никому из вас нет дела до науки. Прощайте! *(Слезает с алтаря и идет к храму.)*

Несколько юношей и девушек *(вскакивая и бросаясь вдогонку)*. Нет, нет! Не уходи. Не обижайся. Мы хотим взглянуть на искусственную чету. Мы согласны слушать. Нам страшно интересно. Рассказывай все, что знаешь.

Пигмалион *(сдаваясь)*. Я задержу вас всего на две минуты.

Все. Хоть на полчаса. Продолжай, Пигмалион. Ну, пожалуйста! *(Тащат его назад и подсаживают на алтарь.)* Гоп! *(Занимают прежние места.)*

Пигмалион. Как я уже отметил, предпринималось немало попыток получить протоплазму в лабораторных условиях. Почему же синтетическая плазма неизменно оказывалась непригодной?

Экрасия. Вот ты и ответь на это.

Новорожденная *(подражая Экрасии и стараясь показать свое умственное превосходство над нею)*. Ясно почему! Потому что она была мертвая.

Пигмалион. Недурно для ребенка, милочка. Но мертвое и живое — понятия весьма относительные. Сейчас ты тоже живая, но через каких-нибудь два месяца станешь вдвое более живой. Порок синтетической протоплазмы состоял в том, что она не могла аккумулировать и проводить Жизненную силу. Она была все равно что магнит из дерева или громоотвод из шелка, то есть непроводником.

Акис. Что за чушь? Кому это взбредет в голову делать деревянный магнит и ждать, когда он что-нибудь притянет?

Пигмалион. Тому, кто настолько невежествен, что не отличает дерева от железа. В былые дни люди не умели различать предметы, потому что владели лишь прими-

тивными методами анализа. Они получали соединения, схожие с протоплазмой, и не замечали разницы между ними и ею. А разница была, только люди не умели ее уловить, потому что анализировали поверхностно и неполно. Не забывайте: эти бедняги стояли почти на том же уровне, что наши теперешние идиоты. Нам и в голову бы не пришло оставить их в живых после появления на свет. Вот смотрите: сегодняшняя новорожденная уже интуитивно знает многое такое, до чего величайшие физики прошлого вряд ли дошли бы и после сорока лет непрерывного труда. Заложенное в ней чувство времени, пространства и количества дает ей возможность бессознательно решать задачи, которые прежде требовали от крупнейших математиков многолетних сложных вычислений и такого умственного напряжения, что эти ученые, погружаясь в свои выкладки, нередко забывали дышать и чуть ли не погибали от удушья.

Экрасия. Оставь этих темных доисторических недоносков и вернись к своей синтетической чете.

Пигмалион. Приступив к созданию синтетических людей, я не стал тратить время на протоплазму. Мне было совершенно ясно, что если в лабораторных условиях можно получить протоплазму, то в них же можно пойти и дальше, получив вполне развитую мышечную и нервную ткань, кости и тому подобное. Зачем сажать семя, если ничуть не труднее сразу сорвать цветок? Я перепробовал тысячи комбинаций и наконец нашел-таки способ аккумулировать жизненную энергию высокого потенциала.

Архелай. Высокого — чего?

Пигмалион. По-тен-ци-а-ла. Иначе говоря — напряжения. Жизненная сила — не такая простая штука, как кажется. При высоком напряжении ток ее может превратить мертвую ткань в мозг философа, при низком — в гниющую массу. Вы не поверите, если я скажу, что даже в человеке жизненная энергия нередко падала от нормального, человеческого уровня до уровня полипа, в результате чего развитие тканей продолжалось уже в уродливой, низшей форме, получившей название рака, и шло до тех пор, пока низшая форма не убивала высшую, а затем самым жалким образом погибала сама.

Марцелл. Оставь первобытные племена, Пигмалион. Они интересуют тебя, но нагоняют скуку на молодежь.

Пигмалион. Я только стараюсь, чтобы вы поняли... Итак, вокруг меня бушует Жизненная сила, и я попытался соз-

дать органы, способные аккумулировать ее, как батарея – электричество, и ткани, которые могли бы ее проводить и направлять. Сконструировать глаза, более совершенные, чем у нас, и уши, улавливающие более широкую гамму звуков, оказалось нетрудно; но эти глаза и уши не видели и не слышали, потому что были невосприимчивы к Жизненной силе. Когда же я открыл, как сообщить им такую восприимчивость, положение еще более усложнилось, поскольку первым следствием моего открытия явилось превращение этих глаз и ушей в массу белых червячков.

Экрасия. Экая мерзость! Сейчас же замолчи!

Акис. Не хочешь слушать – уходи. А ты, Пиг, рассказывай.

Пигмалион. Я продолжал опыты. Так как выяснилось, что Жизненная сила низкого напряжения создает не уши и глаза человека, а лишь червячков, я принялся совершенствовать ткань, пока она не стала наконец восприимчива к высоким напряжениям.

Архелай *(с живейшим интересом)*. Так, так. А дальше?

Пигмалион. А дальше глаза и уши переродились в раковую ткань.

Экрасия. Фу, какая гадость!

Пигмалион. Нисколько. Это был серьезный шаг вперед. Он настолько окрылил меня, что, оставив глаза и уши, я сконструировал мозг. Переделывал я его раз двенадцать, но все-таки добился, что он стал аккумулировать Жизненную силу, причем оказалось, что он воспринимает достаточно высокое напряжение и не разряжается; то же случилось с глазами и ушами, когда я подключил их к мозгу. Таким путем я создал безрукое и безногое чудовище, которое прожило целых полчаса.

Новорожденная. Полчаса? Стоило ради этого возиться! А почему оно умерло?

Пигмалион. Кровообращение работало ненормально. Но я наладил его и доделал остальное – руки, ноги, словом, весь организм. Так был создан мой первый человек.

Архелай. А кто его лепил?

Пигмалион. Я.

Марцелл. Выходит, ты сперва попробовал сам и лишь потом прибег к моей помощи?

Пигмалион. Разумеется. И пробовал я не один раз. Мой первый человек был мерзким животным, такой мешаниной ужаса и нелепости, какой вы, не видавшие его, даже представить себе не можете.

Архелай. Ну, раз ты приложил к нему руку, воображаю, что это было за зрелище!

Пигмалион. Нет, беда тут заключалась не в форме тела. Понимаете, сам я ничего не выдумывал, а просто копировал собственные размеры и контуры. Вы же знаете: ваятели частенько так делают, хоть и не признаются в этом.

Марцелл. Гм!

Архелай. Кха!

Пигмалион. Внешне с ним было все в порядке. Но вел он себя с самого начала ужасно, а дальше начался такой кошмар, что мне этого даже не описать. Мой питомец хватал и заглатывал все, что попадется. Выпивал в лаборатории все жидкости. Я пытался внушить ему, чтобы он ел лишь то, что может переварить и усвоить, но он, конечно, не понял меня. Из того, что он поглощал, усваивалось лишь очень немногое; извергнуть же прочую мерзость он был не в состоянии. Она отравила ему кровь, и он погиб в муках, воя от боли. Тогда я сообразил, что создал доисторического человека: ведь и в нашем организме есть рудименты устройств, позволявших примитивному человекообразному обновлять свое тело за счет поглощения мяса, зерна, овощей и прочей грубой, противоестественной пищи, а непереваренные ее остатки выбрасывать наружу.

Экрасия. Очень жаль все-таки, что он умер. Мы лишились неповторимой возможности заглянуть в прошлое. Он мог бы поведать нам предания золотого века.

Пигмалион. Он-то? Нет, это был просто зверь, и притом очень опасный. Он боялся меня и даже пытался убить: хватал, что было под рукой, и норовил стукнуть. Мне пришлось несколько раз задать ему трепку, прежде чем он уразумел, что находится в моей власти.

Новорожденная. Зачем же ты создал мужчину, а не женщину? Та вела бы себя прилично.

Марцелл. Почему ты не создал и мужчину, и женщину? Было бы очень любопытно взглянуть на их потомство.

Пигмалион. Я собирался сделать и женщину, но после опыта с мужчиной об этом не могло быть больше речи.

Экрасия. Почему?

Пигмалион. Это трудно объяснить тем, кто не знаком с первобытным способом размножения людей. Понимаете ли, я мог создать лишь один тип мужчины и женщины – тип, представляющий собой в физическом отно-

шении точную копию наших мужчин и женщин. Это-то и погубило моего бедного самца: я не принял во внимание ужасный доисторический метод принятия пищи. Теперь предположите, что самка оказалась бы не яйцеродной, как наши женщины, а производила бы детей каким-нибудь иным, доисторическим способом. Из-за современного строения ее тела она оказалась бы неспособной к самовоспроизведению. Кроме того, опыт мог стоить ей чрезмерных мучений.

Экрасия. Значит, тебе нечего нам показать?

Пигмалион. Нет, отчего же. Я так легко не сдаюсь. Я опять принялся за дело и убил еще несколько месяцев на разработку пищеварительной системы, автоматически удаляющей отходы, и детородной системы, предполагающей внутреннее вскармливание и вынашивание плода.

Экрасия. Почему ты не придумал, как сделать их похожими на нас?

Стрефон *(подавая голос в первый раз после своего несчастья)*. Почему ты не создал женщину, которую мог бы любить? Вот какую тайну надо разгадать.

Новорожденная. Да, да. Как это верно! Какая великая мысль, милый Стрефон! *(Порывисто целует его.)*

Стрефон *(гневно)*. Отстань от меня!

Марцелл. Держи свои рефлексы в узде, девочка.

Новорожденная. Что? Кого держать в узде?

Марцелл. Свои рефлексы. Иными словами – бессознательные поступки. Сейчас Пигмалион покажет тебе двух человек, у которых, кроме рефлексов, ничего нет. Пусть эта пара послужит тебе предостережением.

Новорожденная. А они такие же, как мы? Живые?

Пигмалион. Ты задаешь трудный вопрос, милая. Признáюсь честно: я-то сам думал, что создал живые существа, но Марцелл считает их всего лишь автоматами. Однако Марцелл – мистик, а я – человек науки. Он проводит грань между автоматом и живым организмом, я же не берусь сделать это сколько-нибудь удовлетворительно.

Марцелл. Твои искусственные люди не умеют управлять собой. Они только реагируют на внешние раздражители.

Пигмалион. Но у них есть сознание. Я научил их говорить и читать, а теперь они начали лгать. Это очень роднит их с живыми.

Марцелл. Нисколько. Будь они живыми, они говорили бы правду. Ты можешь заставить их повторять любую нелепую ложь, можешь угадать, в чем именно они тебе со-

лгут. Ударь их под колено – они выбросят ногу вперед. Пробуди в них аппетит, тщеславие, похоть, жадность – они будут хвастать и лгать, утверждать и отрицать, ненавидеть и любить, не считаясь ни с очевидными фактами, ни со своими столь явно ограниченными возможностями. А это доказывает, что они автоматы.

Пигмалион *(не сдаваясь)*. Знаю, дружище, но у нас есть доказательство того, что мы потомки существ, столь же ограниченных и нелепых, как эти. В конце концов наша новорожденная покамест тоже на три четверти автомат. Посмотри, как она себя ведет.

Новорожденная *(возмущенно)*. Это еще что за новости? Как я себя веду?

Экрасия. Раз они не стремятся к истине, в них нет подлинной жизнеспособности.

Пигмалион. Истина подчас настолько искусственна, настолько относительна, как выражаемся мы, люди науки, что ложное и смешное для нас вполне может показаться истинным для них.

Экрасия. Снова спрашиваю: почему ты не сделал их похожими на нас? Разве подлинный художник может мириться с несовершенством?

Пигмалион. Я и не смог. Пытался, но безуспешно. Я убежден, что покажу вам сегодня наивысшие живые организмы, какие только можно сконструировать в лабораторных условиях. Помните: самая совершенная ткань, выращенная нами, не воспринимает столь же высокого напряжения, как продукт естественного развития. Тут природа сильнее нас. По-моему, вы все просто не понимаете, какая неслыханная победа – создать искусственное сознание.

Акис. Довольно болтать! Где твоя синтетическая чета?

Несколько юношей и девушек. Да, да. Хватит разговоров! Заткнись, Пиг! Показывай, Пиг! Тащи их сюда! Живо! Синтетическую чету! Синтетическую чету!

Пигмалион *(машет рукой, пытаясь восстановить спокойствие)*. Сейчас, сейчас. Посвистите-ка им. Свист – раздражитель, который они воспринимают.

Все, кто умеют, свистят, как уличные мальчишки. Экрасия с гримасой затыкает уши пальцами.

Тише! Тише! Довольно! Довольно!

Шум смолкает.

А теперь чуточку музыки. Какой-нибудь танец, только не очень быстрый.

Флейтисты играют неторопливый танец.

Марцелл. Приготовиться! Зрелище будет не из приятных.

Из храма, рука об руку, выходят две фигуры — мужчина и женщина. Осанка у них благородная, сложение безупречное, одежда роскошная. Заметив, что все взоры устремлены на них, они с улыбкой удовлетворенного тщеславия останавливаются на ступенях. Женщина стоит слева от мужчины.

Пигмалион *(потирая руки и сияя от гордости за свое творение)*. Пожалуйте сюда.

Фигуры снисходительно приближаются и располагаются в центре, между скамьями.

Не соблаговолите ли изобразить нам что-нибудь? Вы же так прелестно танцуете. *(Садится рядом с Марцеллом и шепчет ему.)* На лесть они реагируют особенно активно.

Фигуры, милостиво вняв просьбе, танцуют с некоторой важностью, но вполне прилично и, закончив танец, кланяются друг другу.

Все *(аплодируя)*. Браво! Благодарим! Замечательно! Превосходно! Неподражаемо!

Новорожденная. А любить они могут?

Пигмалион. Да. Они реагируют на любой раздражитель. В них заложены все рефлексы. Обнимешь мужчину за шею, он обнимет тебя за талию. Это у него получается непроизвольно.

Женская фигура *(хмурясь)*. Вы хотели сказать — обнимет меня.

Пигмалион. Вас, разумеется, тоже, если раздражение исходит от вас.

Экрасия. А на самостоятельные поступки они способны?

Пигмалион. Нет. Но я, знаешь ли, не уверен, что мы сами способны на них, хотя Марцелл утверждает противное.

Акис. Может он отвечать на вопросы?

Пигмалион. О да. Вопрос — это уже раздражитель. Спроси его о чем-нибудь.

Акис *(фигуре мужчины)*. Что вы думаете о том, что видите вокруг? Скажем, о нас, наших обычаях и поведении?

Мужская фигура. Я еще не читал сегодняшней газеты.

Женская фигура. Откуда моему супругу знать, что о вас думать, если вы не принесли ему газету к завтраку?

Марцелл. Видите? Он просто автомат.

Новорожденная. Я, пожалуй, не дала бы ему обнять меня. Они мне не нравятся.

Лицо мужской фигуры изображает обиду, лицо женской — ревность.

А я-то думала, они не понимают. Выходит, они умеют чувствовать?

Пигмалион. Разумеется. Повторяю: в них заложены все рефлексы.

Новорожденная. Чувство — не рефлекс.

Пигмалион. Но это ощущение. Когда свет попадает к ним в глаз и на сетчатке получается изображение, мозг воспринимает его, и они поступают соответствующим образом. Когда звуковые колебания, вызванные твоими словами, проникают к ним в ухо и обидное замечание воздействует на кортиев орган, мозг воспринимает обиду, и они поступают соответствующим образом. Не задень ты их, они бы не рассердились. Они просто реагируют на раздражение.

Мужская фигура. Мы — часть мировой системы. Свобода воли — фикция. Мы — детища причины и следствия. Мы — неизменность, непреложность, незыблемость, неизбежность.

Я — Озимандия, я — мощный царь царей!
Взгляните на мои великие деянья...

Все выказывают явные признаки любопытства.

Акис. Что за чертовщину он мелет?

Мужская фигура. Умолкни, низкое порождение природы! *(Берет женскую фигуру за руку.)* Вот Клеопатра-Семирамида, супруга царя царей и, следовательно, царица цариц. Вы — жалкие твари, выращенные в яйце безмозглым солнцем и слепым огнем. Царь же царей и царица цариц — это не случайные производные от яйца: они задуманы и сотворены, дабы воспринять священную Жизненную силу. Царь и царица — два разные существа, но Жизненная их сила едина, слава равна, величие одинаково вечно. Каков царь, такова и царица. Царь задуман

и сотворен, царица – тоже. Деяния царя обусловлены причинностью и потому предопределены от начала до скончания времен, деяния царицы – тоже. Царь логичен, предопределен, непререкаем; царица логична, предопределена, непререкаема. И все-таки они не два логичных, предопределенных, непререкаемых существа, а одно – логичное, предопределенное, непререкаемое. Посему не смешивайте два существа, но и не делите единую субстанцию, а поклоняйтесь нам обоим, восседающим на общем троне, двоим в одном и одному в двоих – поклоняйтесь, да не постигнет вас вечное проклятие.

Женская фигура. А если кто спросит вас: «Кому из двоих?» – помните, что, хотя один из нас царь, а другая – царица, мы несхожи меж собой, ибо один – мужчина, а другая – женщина. Но поелику женщина сотворена после мужчины, а значит, более умело и разумно, часть этого умения и разума перешла к ней, и вам надлежит чтить ее достоинства выше его достоинств, и...

Мужская фигура. Умолкни, женщина, ибо слова твои – предосудительная ересь. И мужчина, и женщина суть то, что они есть, и должны поступать сообразно вечным законам причины и следствия. Взвешивай же свои слова, ибо если они войдут мне в ухо и сверх меры раздражат мое чувствилище, один бог знает, какой будет неотвратимая реакция на такое раздражение. Быть может, мозг мой прикажет мышцам схватить что-нибудь поувесистей и разнести тебя на куски.

Женская фигура подбирает камень с намерением запустить им в супруга.

Архелай *(вскакивает и кричит Пигмалиону, любовно созерцающему мужскую фигуру)*. Берегись, Пигмалион! Посмотри на женщину!

Пигмалион, уразумев, что происходит, кидается к женской фигуре и вырывает у нее камень.

Все в ужасе вскакивают.

Она хотела убить его!

Стрефон. Какой ужас!

Женская фигура *(отбиваясь от Пигмалиона)*. Пусти меня! Кому я говорю – пусти! *(Кусает его за руку.)*

Пигмалион *(отпустив ее и пошатнувшись)*. Ох!

Его стону вторит вопль ужаса. Пигмалион бледнеет как полотно и опирается на край скамьи.

Женская фигура *(супругу)*. Трус, баба, как тебе не стыдно стоять сложа руки, когда со мной так обращаются!

Пигмалион падает мертвым.

Новорожденная. Ай! Что случилось? Почему он упал? Что с ним?

Марцелл опускается на колени и осматривает тело Пигмалиона, остальные с тревогой следят за ним.

Марцелл. Она вырвала у него из руки кусок размером с ноготь. Этого довольно, чтобы убить десять человек. Ни пульса, ни дыхания.

Экрасия. Но большой палец у него согнут.

Марцелл. Нет, уже распрямился. Видишь? Он мертв. Бедный Пигмалион!

Новорожденная. Ох! *(Рыдает.)*

Стрефон. Тише, милая. Не будь такой ребячливой.

Новорожденная всхлипывает, подавляя рыдания.

Марцелл. Умереть на третьем году жизни!.. А какая потеря для науки!

Архелай. Кому есть дело до науки? А ему так и надо — не создавай чудовищ.

Мужская фигура *(сверкая глазами)*. Ха!

Женская фигура. Эй, ты, повежливей!

Новорожденная. Ах, Архелай, не будь таким злым! У меня от твоих слов глаза опять станут мокрые.

Марцелл *(разглядывая фигуры)*. Нет, вы только посмотрите на этих дьяволов! Я сам вылепил их из материала, заготовленного Пигмалионом. Образцовые творения искусства, а что наделали! Ну, Архелай, неужели и это не раскрыло тебе глаза на истинную цену искусства?

Стрефон. Они опасны. Не приближайтесь к ним.

Экрасия. Излишнее предупреждение, Стрефон. Фу! Они отравляют воздух.

Мужская фигура. Берегись, женщина! Гнев Озимандии разит, как молния.

Женская фигура. Посмей только повторить свои слова, дрянь ты этакая!

Акис. Что ты собираешься делать с ними, Марцелл? Теперь, после смерти Пигмалиона, за них отвечаешь ты.

Марцелл. Будь они из мрамора, все уладилось бы просто — я бы их разбил. А теперь попробуй убей их так, чтобы не замараться!

Мужская фигура *(принимая героическую позу)*. Ха! *(Декламирует.)*

А ну, кто первый? Я — скала,
Что остается, где была.

Женская фигура *(нежно)*. Мой муж! Мой героический супруг! Горжусь тобою! Люблю тебя!

Марцелл. Придется позвать кого-нибудь из древних.

Акис. Стоит ли беспокоить их по пустякам? На то, чтобы превратить беднягу Пигмалиона в горсть праха, уйдет не больше секунды. Почему бы не уничтожить заодно и эту парочку?

Марцелл. Автоматы — это действительно пустяки. А вот с нашей способностью уничтожать шутить не следует. По-моему, дело требует разбирательства.

Из рощи выходит древний. Фигуры в ужасе.

Древний *(мягко)*. Я нужен? Я чувствую, что меня звали. *(Видит труп Пигмалиона, тон его сразу становится суровым.)* Ребенок умер? Погублена жизнь? Как это произошло?

Женская фигура *(исступленно)*. Я не виновата! Это не я! Умереть мне на месте, если я его хоть пальцем тронула! Это все он! *(Указывает на мужскую фигуру.)*

Все *(потрясенные столь бесстыдной ложью)*. О!

Мужская фигура. Лгунья! Ты укусила его. Все видели.

Древний. Молчать! *(Становится между фигурами.)* Кто сделал эти мерзкие куклы?

Мужская фигура *(напуская на себя важность, хотя колени у нее трясутся)*. Я — Озимандия, царь...

Древний *(с презрительным жестом)*. Скажите на милость!

Мужская фигура *(падая на колени)*. Не надо, сэр! Не надо! Это все она, сэр. Только она.

Женская фигура *(жалобно скулит)*. О-о! О-о!

Древний. Кому я сказал — молчать!

Легким ударом в подбородок снизу ставит автомата-мужчину на ноги. Женщина-автомат даже не всхлипывает — так ей страшно. Бессмертные со стыдом и отвращением разглядывают их. Из-за деревьев, что позади храма, выходит древняя.

Древняя. Я кому-то нужна. Что случилось? *(Не замечая труп Пигмалиона, подходит слева к женской фигуре.)*

Фу! *(Строго.)* Вы наделали кукол? Этим заниматься нельзя: они не только отвратительны — они опасны.

Женская фигура *(жалко хлюпая носом)*. Я не кукла, сударыня. Я всего лишь бедная Клеопатра-Семирамида, царица цариц. *(Закрывает лицо руками.)* Ох, не смотрите на меня так, сударыня! Я не хотела ему зла. Он сделал мне больно. Ей-богу, больно.

Древний. Эта тварь убила бедного мальчика.

Древняя *(увидев наконец труп Пигмалиона)*. Что? Этого умницу, подававшего такие надежды?

Женская фигура. Он создал меня. Я имела такое же право убить его, как он — создать меня. Почем я знала, что он умрет от такого пустяка. Отрежь он мне руку или ногу, я бы и то не умерла.

Экрасия. Вот вздор!

Марцелл. Может быть, и не вздор. Мне кажется, если ей отрезать ногу, у нее вырастет новая, как у омара или ящерицы.

Древний. Значит, эта пара сделана погибшим мальчиком?

Марцелл. Он изготовил их в лаборатории. Тела лепил я. Это моя вина. Я был неосторожен — не предвидел, что они начнут убивать, выдавать себя за других, говорить заведомую неправду и замышлять зло. Я считал, что они будут просто заводными паяцами.

Мужская фигура. Вы корите нас нашей человеческой природой?

Женская фигура. Мы не ангелы, мы из плоти и крови.

Мужская фигура. Неужели у вас нет сердца?

Архелай. Они не только злодеи, они еще и безумцы. Можно их уничтожить?

Стрефон. Они мерзки.

Новорожденная. Они гадки.

Экрасия. Они вредны.

Акис. Я хотел бы обойтись с этими беднягами помягче, но мне при них как-то не по себе. Впервые в жизни испытываю подобное чувство.

Марцелл. Я немало повозился с ними. Но если остановка только за мной — уничтожайте их. Они с самого начала были мне отвратительны.

Все. Да, да. Они всем нам отвратительны. Кремируем их.

Женская фигура. О, не будьте такими жестокими! Я не в силах умереть. Я больше не стану кусаться. Буду говорить правду. Буду хорошая. Разве я виновата, что так неудачно сделана? Его убейте, а меня пощадите.

Мужская фигура. Нет! Я никому не сделал зла. Это все она. Если хотите, убейте ее. Но вы не имеете права убивать меня.

Новорожденная. Слышите? Каждый хочет, чтобы убит был другой.

Архелай. Чудовищно! Убить обоих!

Древний. Тише! Эти твари – всего-навсего автоматы. Они бессознательно стремятся любой ценой избежать смерти. Как видите, они лишены самообладания и руководствуются лишь цепью рефлексов. Посмотрим, нельзя ли вложить в них немного больше жизни. *(Берет мужскую фигуру за руку и кладет другую свою руку ему на голову.)* Слушай меня. Один из вас должен быть уничтожен. Кто именно?

Мужская фигура *(после легкой судороги и не сводя глаз с древнего)*. Пощадите ее и убейте меня.

Сгрефон. Это уже лучше.

Новорожденная. Куда лучше.

Древняя *(проделывая те же манипуляции с женщиной-автоматом)*. Кого из вас убить?

Женская фигура. Убейте нас обоих. Мы не можем жить один без другого.

Экрасия. Женщина гораздо разумней мужчины.

Древние отпускают автоматов.

Мужская фигура *(опускаясь на землю)*. Я раздавлен. Жизнь – слишком тяжкое бремя.

Женская фигура *(падая)*. Умираю. И рада этому Я боюсь жизни.

Новорожденная. Мне кажется, будет хорошо, если музыканты поиграют для этих несчастных.

Архелай. Почему?

Новорожденная. Не знаю. Но будет хорошо.

Музыканты играют.

Женская фигура. Слышишь, Озимандия? *(Приподнимается, встает на колени и восторженно смотрит в пространство.)* Царица цариц! *(Умирает.)*

Мужская фигура *(подползая к ней и беря ее за руку)*. Знаю: я воистину был царь царей. *(Остальным.)* Прощайте, призраки! Мы восходим на наш трон. *(Умирает.)*

Музыка обрывается. Минута гробового молчания.

Новорожденная. До чего забавно!

Стрефон. Еще бы! Древние — и те улыбаются.

Новорожденная. Да, слегка.

Древняя *(быстро принимая свой обычный суровый и решительный вид)*. Отнесите этих тварей в лабораторию Пигмалиона и уничтожьте вместе с прочими отходами. *(Тем, кто спешит исполнить ее приказ.)* Осторожней! Не прикасайтесь к телам — это опасно. Держите за одежду. А Пигмалиона отнесите в храм и поступите с его останками как положено по обряду.

Трупы уносят в соответствии с ее распоряжениями: Пигмалиона — в храм, взяв его за руки и за ноги; автоматов — куда-то через рощу, держа их только за одежду. Переноской автоматов руководит Марцелл, переноской Пигмалиона — Акис. Экрасия, Архелай, Стрефон и новорожденная опять усаживаются, но меняют при этом места: Стрефон и новорожденная оказываются теперь лицом к роще, Экрасия и Архелай — к храму. Древние по-прежнему стоят у алтаря.

Экрасия *(опускаясь на скамью)*. Хоть бы ветер с гор подул.

Стрефон. Или с моря — там сейчас прилив.

Новорожденная. Как хочется подышать чистым воздухом!

Древний. Потерпите немного — он вот-вот очистится. Куклы, которые делаются детьми, разлагаются очень быстро. А когда их к тому же снедали присущие этим тварям страсти, трупы распадаются и гниют почти мгновенно.

Древняя. Да послужит вам это уроком, дети. Довольствуйтесь впредь неодушевленными игрушками и не пытайтесь делать живые. Что подумали бы вы о нас, древних, если бы мы сделали игрушками вас?

Новорожденная *(заискивающе)*. А почему бы нет? Вы играли бы с нами, и это было бы очень приятно.

Древняя. Нас это не забавляет. Играя друг с другом, вы играете своими телами, и это придает вам гибкость и силу; но если бы мы стали играть с вами, мы играли бы вашими душами и, чего доброго, искалечили бы их.

Стрефон. Вы, древние, — сущие чудовища. Когда мне исполнится четыре года, я покончу с собой. Ради чего вы живете?

Древний. Вырастешь — узнаешь. И не покончишь с собой.

Стрефон. Если ты убедишь меня в этом, я покончу с собой сегодня же.

Новорожденная. Нет, нет! Я хочу тебя. Я тебя люблю.

Стрефон. А я люблю другую. Но она стала старая-престарая. И навеки погибла для меня.

Древний. Сколько ей лет?

Стрефон. Четыре года. Ты видел ее, когда мы плясали и ты натолкнулся на нас.

Новорожденная. Как бы я ненавидела ее еще двадцать минут назад! А теперь я переросла это чувство.

Древний. Вот и хорошо. Такая ненависть называется ревностью. Она — наихудшая из детских болезней.

Из рощи, отряхиваясь и отдуваясь, выходит Марцелл.

Марцелл. Уф! *(Садится рядом с новорожденной.)* Сделано.

Архелай. Древние, мне хочется сделать с вас несколько этюдов. Разумеется, не портреты — я вас чуточку идеализирую. Я пришел к выводу, что в конце концов вы — самый интересный сюжет.

Марцелл. Что? Неужели два этих страшилища, чей прах я только что с такой радостью высыпал в мусорное ведро бедняги Пигмалиона, не излечили тебя от нелепой страсти к ваянию?

Архелай. Зачем ты сделал их молодыми, глупец? Обратись Пигмалион ко мне, я вылепил бы ему древних. Это не значит, что у меня получилось бы лучше: я всегда говорил, что таких рук, как у тебя, ни у кого нет, но тут нужна голова, и я оказался бы более к месту.

Марцелл. За чем же остановка, умник-разумник? У Пигмалиона в лаборатории работало двое учеников — помогали ему изготовлять кости, ткани и прочее. Они смастерят тебе два новых автомата, а ты придашь им облик древних, если, конечно, вон эта почтенная пара согласится тебе позировать.

Экрасия *(решительно)*. Нет. Довольно с нас автоматов. Они чересчур отвратительны.

Акис *(возвращаясь из храма)*. Все кончено. Бедный Пиг!

Экрасия. Подумай, Акис, Архелай хочет наделать новых мерзких кукол и даже лишить их всякой художественности, придав им облик древних!

Новорожденная *(древним)*. Вы ведь не согласитесь позировать? Пожалуйста, не надо!

Древний. Слушайте, дети.

Акис *(сходя со ступеней храма и усаживаясь рядом с Экра-*

сией). Ого! Даже древнему захотелось произнести речь Говори, о мудрый!

Стрефон. Только бога ради не рассказывай, что на земле жили когда-то Озимандии и Клеопатры. У нас без того жизнь нелегкая.

Древний. Она и не должна быть легкой, дитя мое. Но утешься – она может быть захватывающей. А сказать я хотел вот что: дети играют в куклы с тех самых пор, как существуют люди.

Экрасия. Ты все время твердишь: «Куклы, куклы». Объясни, пожалуйста, что это такое.

Древняя. То, что вы именуете произведениями искусства Изображения. Мы называем их куклами.

Архелай. Вот именно. Вы не понимаете искусства и непроизвольно принижаете его.

Древний. Известно, что дети делают кукол из тряпок. И любовно нянчатся с ними.

Древняя. Восемь веков тому назад, будучи ребенком, я сама сделала тряпичную куклу – такая особенно мила детям.

Новорожденная *(с явным интересом).* И она у тебя сохранилась?

Древняя. Нет, но я возилась с ней целую неделю.

Экрасия. Очевидно, ты и в детстве не ценила высокого искусства, раз даже тогда увлекалась грубыми самоделками.

Древняя. Сколько тебе от роду?

Экрасия. Восемь месяцев.

Древняя. Вот поживешь с мое и...

Экрасия *(грубо перебивая).* И, вероятно, тоже буду обожать тряпичные куклы. Но я, благодарение богу, еще в цвете лет.

Древняя. Ты еще не разучилась быть благодарной, хотя и не знаешь – кому. Ты просто маленькое животное, которое то благодарит, то бранится, то..

Акис. То болтает без удержу.

Архелай. И при этом думает, что разбирается в искусстве

Экрасия *(уязвленная).* Я не животное, а живое существо с душой, разумом и человеческой плотью. Если бы ты, Марцелл, как следует одухотворил свои автоматы, они получились бы куда более удачными.

Древняя. Здесь-то ты и заблуждаешься, дитя мое. Будь две эти мерзкие твари всего лишь тряпичными куклами, они были бы и забавны, и приятны. Наша новорожденная играла бы с ними, и все вы со смехом подражали бы ей,

пока не разорвали бы их в клочья, над чем посмеялись бы еще больше.

Новорожденная. Конечно, посмеялись бы. Разве это не смешно?

Древняя. Если что-нибудь смешит тебя, ищи в этом скрытую истину

Сгрефон. Да, ищи, пока ничего смешного не останется.

Древняя Не озлобляйся из-за того, что твоя подруга переросла свою любовь к тебе. Новорожденная восполнит твою утрату.

Новорожденная. Да, да. Я дам тебе больше, чем она.

Сгрефон. Ты? С твоей-то ревностью?

Новорожденная. Нет, я уже переросла это чувство. Теперь я даже люблю твою подругу за то, что она любила тебя, а ты любишь ее.

Древний. Это уже следующая стадия. Ты быстро идешь вперед, дитя мое.

Марцелл. Какая же все-таки истина скрыта в тряпичной кукле?

Древний. А ты подумай, почему вам мало тряпичной куклы и хочется чего-то более похожего на подлинно живое существо? Вырастая, вы принимаетесь ваять статуи и писать картины. Те из вас, кто не способны к этому, сочиняют сказки про вымышленных кукол. Третьи сами наряжаются куклами и разыгрывают пьесы про них.

Древняя. И чтобы самообман был полным, вы относитесь к куклам настолько серьезно, что Экрасия уверяет, будто изготовление их есть наивысший творческий акт, а слова, вложенные вами им в уста,— благороднейшие и священнейшие истины.

Экрасия. Чушь!

Архелай. Вздор!

Древняя. Но они чем прекрасней, тем дальше от вас. Вы не можете нянчиться с ними, как с тряпичной куклой. Не можете плакать — как плакали из-за тряпичной куклы,— когда они ломаются, теряются или вам кажется, будто они огорчили вас.

Древний. Потом, подобно Пигмалиону, вы начинаете требовать от своих кукол полного совершенства — сходства с живыми существами. Они должны двигаться и говорить.

Древняя. Любить и ненавидеть.

Древний. Думать, что умеют думать.

Древняя. Обладать гибким телом и горячей кровью.

Древний. Наконец, когда вы, как Пигмалион, добиваетесь и этого; когда автомат свергает с трона мраморное изваяние, а гомункул – человека; когда тело и мозг или, по выражению Экрасии, душа, разум и плоть оказываются всего лишь обыкновенными механизмами и ваши побуждения, на поверку, сводятся к простым рефлексам, вы преисполняетесь ужаса и отвращения и готовы отдать все на свете, лишь бы вновь стать такими и вновь играть в тряпичные куклы, потому что с каждым шагом, отдалявшим вас от них, вы все больше отдалялись от любви и счастья. Разве это не правда?

Древняя. Отвечай, Марцелл. Ты ведь прошел весь этот путь.

Марцелл. Да, правда. Я испытал жестокую радость в то мгновение, когда, развив температуру в миллион градусов, увидел, как обе вылепленные мною твари превращаются в безвредный прах.

Древняя. Отвечай, Архелай. Ты ведь поднялся от изображения беззаботных детей до изображения напряженно мыслящих древних. Так это или нет?

Архелай. Отчасти так. Теперь для меня уже мало ваять хорошеньких детей.

Древняя. А ты, Экрасия, по-прежнему цепляешься за свои художественно выполненные куклы и видишь в них наивысшее выражение Жизненной силы?

Экрасия. Не будь искусства, жизнь была бы невыносима: действительность слишком груба.

Новорожденная *(предвосхищая очередной вопрос древней)*. Как видно, теперь мой черед – я ведь родилась здесь на свет позже остальных. Но я ничего не понимаю ни в вашем искусстве, ни в ваших куклах. Я не хочу играть в них, я хочу ласкать своего милого Стрефона.

Акис. Мне уже четвертый год, и я всегда прекрасно обходился без ваших кукол. Предпочитаю не любоваться изделиями Марцелла и Архелая, а бродить по горам. Статуя милей вам, чем автомат, тряпичная кукла – чем статуя. Мне тоже, только человек мне еще милей, чем тряпичная кукла. Мне нужны друзья, а не куклы.

Древний. Однако я заметил, что по горам ты бродишь в одиночку. Не в себе ли ты обрел своего лучшего друга?

Акис. Куда ты клонишь, старик? К чему ведешь?

Древний. К тому, молодой человек, что творить ты способен лишь одно – самого себя.

Акис *(задумчиво)*. Способен творить лишь самого себя?

Экрасия, ты у нас умница. Скажи, ты поняла его слова? Я – нет.

Экрасия. Понять их не трудней, чем любое заблуждение невежды. Разве художник может стать более великим, чем его творение? Он способен создать образцовые произведения, но не властен исправить форму собственного носа.

Акис. Ловко! Что ты скажешь на это, старик?

Древний. Зато он способен изменить свою душу. Он мог бы исправить и форму собственного носа, если бы на превращение вздернутого носа в прямой стоило тратить силы. Кому охота претерпевать муки творчества ради пустяка?

Акис. Что ты скажешь на это, Экрасия?

Экрасия. А вот что: если бы древние изучили теорию искусства, они поняли бы, что различие между красивым и уродливым носом бесконечно важно, что, в сущности, только это на свете и важно.

Древняя. Иначе говоря, они поняли бы то, во что не могут верить и во что не верите вы сами?

Акис. Вот именно, сударыня. Искусство лживо, потому я его и не терплю. Оно – сплошное притворство. Экрасия никогда ничего дельного не говорит – только языком мелет.

Экрасия. Ты груб, Акис.

Акис. Ты хочешь сказать, что я не играю и не притворяюсь? Но я не прошу тебя играть со мной. Почему же ты требуешь, чтобы я играл с тобою?

Экрасия. Ты не вправе обвинять меня в притворстве. Я нашла в искусстве счастье, которого не дает мне действительность. Я говорю об искусстве с полной искренностью. В нем есть тайна и волшебство, о которых вы даже не подозреваете.

Древняя. Да, дитя, искусство – магическое зеркало, и оно нужно вам для того, чтобы в зримых образах отражать ваши незримые мечты. Чтобы видеть свое лицо, вы пользуетесь зеркалами из стекла; чтобы видеть свою душу, вы пользуетесь созданиями искусства. Нам же, старшим, не нужны ни зеркала, ни творения искусства. Мы умеем непосредственно чувствовать жизнь. Научившись этому, вы тоже отбросите свои зеркала и статуи, игрушки и куклы.

Древний. Но игрушки и куклы есть и у нас, древних. Они – наша единственная забота.

Акис. Что? У древних тоже бывают заботы? Впервые слышу такое признание от одного из них.

Древний. Взгляни на нас. Взгляни на меня. Вот мои плоть, кровь, мозг, но это — не я. Я — нетленная жизнь, вечное воскресение. Но эта машина *(ударяет себя в грудь)*, это временное устройство, этот организм может быть изготовлен в лаборатории любым мальчиком и не разрушается лишь потому, что я пользуюсь им. Хуже того: он может разбиться, если я поскользнусь, погибнуть от колик в желудке, сгореть от молнии, ударившей из туч. Рано или поздно он будет уничтожен.

Древняя. Да, наше тело — последняя кукла, от которой нам предстоит отказаться. В детстве я тоже была художницей, как твои друзья-ваятели, Экрасия, и тоже стремилась создать совершенство за пределами своего я: лепила статуи, писала картины и поклонялась им.

Древний. Я не был таким искусником, но и я, подобно Акису, искал совершенства в друзьях, возлюбленных, природе — словом, за пределами своего «я». Увы! Представить себе это совершенство я мог, достичь его — нет.

Древняя. Я, как Архелай, скоро заметила, что мои статуи, воплощавшие телесную красоту, перестали казаться мне прекрасными. Тогда я пошла дальше — принялась лепить и писать гениальных мужчин и женщин, вроде тех, про которых упоминает предание о Микеланджело. Но, как и Марцелл, я уничтожила свои создания, когда увидела, что в них нет жизни, что они еще мертвее, чем труп, так как даже не разлагаются.

Древний. А я, как Акис, стал бродить по горам без друзей, в одиночку, так как уразумел, что моя творческая сила способна воздействовать лишь на меня одного. А потом перестал и бродить по горам, потому что понял: они мертвы.

Акис *(пылко протестуя)*. Нет! Насчет друзей я, пожалуй, согласен, но горы — всегда горы: у каждой свое название, свой неповторимый облик, мощь, величие; красота...

Экрасия. Что я слышу? Акис стал декламатором?

Древний. Все это лишь метафоры, бедный мой мальчик. Горы — это трупы.

Вся молодежь *(возмущенно)*. Что?

Древний. Да, трупы. В недрах земли, где под чудовищным давлением все еще бушует непостижный уму солнечный жар, камень живет в бешеной пляске атомов, как живем мы, хотя и не так бурно. Выброшенный же на поверх-

ность, он умирает, как глубоководная рыба, и мы видим лишь его холодный труп. Мы дорылись до раскаленного ядра земли, как первобытный человек дорылся до подземных вод, и мы знаем: ничто не выходит живым из этих огненных глубин. Ваши ландшафты и горы – это лишь отмершие чешуйки и выпавшие зубы вселенной, на которых мы живем, как микробы.

Экрасия. Ты кощунствуешь над природой и человеком, древний!

Древняя. Дитя, дитя, будет ли столь же восторжен твой отзыв о человеке, когда ты, подобно мне, наглядишься на него за восемь веков и увидишь, как он погибает от нелепой и все же неотвратимой случайности? Разочаровавшись в куклах, как вот этот мой сверстник разочаровался в друзьях и горах, я обрела высшую реальность в себе самой. Здесь и только здесь для меня открылась возможность творить и создавать. Если рука моя была слаба, я напрягала волю, чтобы сделать ее сильней, и на ней вырастали мускулы. Поняв это, я поняла, что создать себе десять рук и три головы – отнюдь не большее чудо.

Древний. Эти чудеса постиг и я. Я просидел пятьдесят лет, созерцая эту свою силу и напрягая волю.

Древняя. Я тоже. Еще пять лет я превращала себя в самые разные фантастические чудовища: ходила на дюжине ног, работала двадцатью руками и сотней пальцев, смотрела на все четыре стороны сразу восемью глазами на четырех головах. Дети в изумлении убегали от меня, мне приходилось прятаться от них, и древние, давно уже отвыкшие смеяться, мрачно улыбались, проходя мимо.

Древний. Мы все прошли через эти глупости. Пройдете и вы.

Новорожденная. Ах, сделайте, пожалуйста, чтобы у вас выросло побольше рук, ног и голов. Вот будет забавно!

Древний. Мне хорошо и в моем нынешнем облике, дитя. Теперь я пальцем не шевельну даже ради того, чтобы отрастить себе тысячу голов.

Древняя. А я отдала бы все на свете, чтобы у меня совсем не было головы.

Вся молодежь. Что? Совсем не было головы? Как? Почему?

Древняя. Неужели не понимаете?

Вся молодежь *(качая головами)*. Нет.

Древняя. В один прекрасный день, когда мне надоело учиться ходить одними ногами вперед, другими назад и всеми

сразу вбок, я присела на скалу, оперлась четырьмя подбородками на четыре ладони, четырьмя локтями на четыре колена, и мне внезапно пришло в голову, что эта чудовищная машина из голов и конечностей имеет к моему «я» ничуть не большее отношение, чем мои былые статуи, что она — всего лишь порабощенный мною автомат.

Марцелл. Что значит «порабощенный»?

Древняя. Тот, кто делает, что ему приказано,— раб; тот, кто приказывает,— господин. Ты, в свой черед, тоже усвоишь эти слова.

Древний. Ты усвоишь и другое: привыкнув к тому, что за него все делает раб, господин уже не может жить без него и сам попадает к нему в рабство.

Древняя. Вот так я догадалась, что стала рабыней раба.

Древний. Открыв это, мы принялись избавляться от лишних голов и конечностей, пока наконец не приняли прежний облик и не перестали пугать детей.

Древняя. Но я по-прежнему в рабстве у своего раба — собственного тела. Как мне избавиться от него?

Древний. Вот это, дети, и заботит древних. До тех пор пока не разорваны узы, связывающие нас с нашим тираном-телом, мы не выполнили своего предназначения.

Новорожденная. В чем же оно?

Древний. В том, чтобы достичь бессмертия.

Древняя. Наступит день, когда люди исчезнут и останется только мысль.

Древний. Это и будет вечная жизнь.

Экрасия. Надеюсь, раньше, чем такой день наступит, со мной уже произойдет роковой несчастный случай.

Архелай. Вот тут я впервые согласен с тобой, Экрасия. Жалок был бы мир, где нет ничего пластичного!

Экрасия. Ни конечностей, ни контуров, ни изящных форм, ни упоительных линий, ни поклонения телесной красоте, ни поэтичных объятий, когда утонченным любовникам кажется, будто руки, которыми они ласкают друг друга, блуждают по небесным холмам и очарованным долинам, ни...

Акис *(перебивая ее, с отвращением)*. Что за противоестественные мысли, Экрасия!

Экрасия. Противоестественные?

Акис. Да, противоестественные. Почему ты никого не любишь?

Экрасия. Я? Да я всю жизнь любила. Еще в яйце сгорала от любви.

Акис. Неправда. Вы с Архелаем оба как каменные.

Экрасия. Ты не всегда так думал, Акис.

Акис. Не спорю. Было время, когда я предлагал тебе свою любовь и домогался твоей.

Экрасия. Разве я отказала тебе, Акис?

Акис. Ты даже не знала, что такое любовь.

Экрасия. Что? Да я обожала тебя, глупец, пока не поняла, что ты всего лишь животное.

Акис. А я сходил по тебе с ума, пока не понял, что ты всего лишь художница. Тебе нравились мои контуры: я ведь пластичен, как выражается Архелай. Я был для тебя не мужчиной, а произведением искусства, которое отвечало твоему вкусу и щекотало твои нервы. Вкус и нервы — вот что подавляло в тебе непосредственный импульс жизни. Меня же влекла только она, я шел прямо к ней, мне скучно было слушать, как ты даешь всякие выдуманные названия различным частям моего тела, превращая его в какую-то географическую карту с горами, долинами и прочей чепухой, — и за это ты объявила, что я животное. Ну что ж, если живого мужчину можно назвать животным, я действительно животное.

Экрасия. Объяснения излишни. Ты не пожелал стать утонченным. Я изо всех сил старалась поднять тебя с твоими первобытными инстинктами до красоты, фантазии, романтики, поэзии, искусства, до...

Акис. Все это хорошо в свое время и на своем месте. Но это не любовь. Это противоестественное искажение ее. Любовь — вещь простая и глубокая, жизненный акт, а не иллюзия. Искусство же — иллюзия.

Архелай. Ложь! Рано или поздно изваяние оживает. Сегодняшние статуи — это мужчины и женщины следующей инкубации. Я показываю будущей матери мраморную статую и говорю: «Копируй эту модель». Мы воспроизводим то, что видим. Никто не смеет вносить в искусство то, на что не хочет смотреть в жизни.

Марцелл. Да, я прошел через все это. Однако ты сам ваяешь древних вместо прекрасных нимф и пастухов. А ведь Экрасия права, уверяя, что древние антихудожественны. Они действительно чертовски антихудожественны.

Экрасия *(с торжеством)*. Ага! Наш великий мастер оправдывает меня. Благодарю, Марцелл.

Марцелл. Тело в конце концов всегда надоедает. Неизменно интересна и прекрасна только мысль, потому что

мысль – это жизнь. По-моему, того же мнения и наши древние.

Древняя. Совершенно верно.

Древний. Без сомнения.

Новорожденная *(древнему)*. Но стать ничем нельзя. Чем же ты хочешь быть?

Древний. Вихрем.

Новорожденная. Чем? Чем?

Древняя. Вихрем. Я начала с того, что была им. Почему бы не кончить тем же?

Экрасия. А, вот кто такие вы, старики! Вы – сторонники вихревой теории.

Акис. Но если жизнь – это мысль, можете ли вы жить без головы?

Древний. Теперь, вероятно, уже не мог бы. Однако доисторические люди полагали, что нельзя жить без хвоста, а я живу без него. Почему бы не жить и без головы?

Новорожденная. Что такое хвост?

Древний. Привычка, от которой твои предки постарались избавиться.

Древняя. Теперь мы больше не верим, что наше тело, этот механизм из плоти и крови, так уж нам необходим. Оно отмирает.

Древний. Оно держит нас в плену у нашей ничтожной планеты и не дает нам подняться к звездам.

Акис. Но даже вихрь мыслим лишь в чем-то. Нет водоворота без воды, нет вихря без газа, молекул, атомов, ионов, электронов и прочего. Где нет ничего, там нет и вихря.

Древний. Неверно. Вихрь – не вода, не газ, не атомы, а власть над всем этим.

Древняя. Тело было рабом вихря, но раб стал господином, и мы должны освободиться от его тирании. Все это *(указывает на себя)* – плоть, кровь, кости и прочее – невыносимая обуза. Даже первобытный человек мечтал о том, что именовал астральным телом, и задавался вопросом, кто же освободит его от смертной оболочки.

Акис *(он явно ничего не понял)*. На вашем месте я бы поменьше думал о таких вещах. Этак и с ума сойти недолго.

Древние переглядываются, пожимают плечами и собираются уходить.

Древний. Нам пора, дети. Мы с вами слишком засиделись.

Вся молодежь, заметно оживившись, встает.

Архелай. Ничего, ничего.

Древняя. Нам это тоже скучно, дети. Видите ли, для того, чтобы вы поняли нашу мысль, нам пришлось облекать ее в чересчур грубую форму.

Древний. Боюсь, что это не помогло.

Стрефон. Вы, право, были очень любезны, что вообще пришли поговорить с нами.

Экрасия. Почему остальные древние никогда не заглядывают сюда, чтобы потолковать с нами?

Древняя. Им это очень тяжело. Они разучились говорить, читать, даже думать на ваш манер. Мы и общаемся друг с другом, и воспринимаем мир не так, как вы.

Древний. Мне все трудней изъясняться на вашем языке. Лет через сто-двести это станет совсем невозможно, и мне придется подыскать себе на замену пастыря помоложе.

Акис. Нам, разумеется, всегда приятно видеть вас, но если уж вам невмоготу с нами, мы преспокойно обойдемся без вас.

Древняя. Скажи, Акис, ты никогда не задумывался о том, что проживешь, может быть, тысячи лет?

Акис. Ах, не надо про это! Я отлично знаю: на то, что разумный человек может назвать жизнью, мне отпущено всего четыре года и три с половиной из них уже прошли.

Экрасия. Не сердитесь, древние, но, честное слово, ваше существование трудно назвать жизнью.

Новорожденная *(чуть не плача)*. Ох, как ужасно, что она у нас такая короткая! Нет, я этого не вынесу.

Стрефон. А вот у меня все уже решено. Как только мне исполнится три года пятьдесят недель, со мной произойдет несчастный случай. Только произойдет он не случайно.

Древний. Мы очень устали от разговоров. Мне нужно идти.

Новорожденная. Что значит «уставать»?

Древняя. Это значит расплачиваться за то, что присматриваешь за детьми. Прощайте!

Древние уходят в разные стороны: она — в рощу, он — на холм позади храма.

Все *(с глубоким вздохом облегчения)*. Уф!

Экрасия. Ужасные люди!

Стрефон. Вот надоеды!

Марцелл. А все-таки до чего хочется пойти за ними, заглянуть в их жизнь, проникнуть в их мысли, понять вселенную, как они ее понимают!

Архелай. Стареешь, Марцелл?

Марцелл. Что ж, я действительно покончил с куклами и больше не завидую тебе. Похоже, это конец. Мне уже достаточно двух часов сна. И боюсь, что начинаю считать вас довольно глупыми.

Стрефон. Мне это знакомо. Сегодня утром моя возлюбленная покинула меня. Последние недели она совсем не спала. И нашла, что математика интересней, чем я.

Марцелл. До нас дошло доисторическое изречение, принадлежащее одной из знаменитых наставниц. Оно гласит: «Брось женщин и займись математикой». Это единственный уцелевший фрагмент утерянного сочинения, которое называлось «Исповедь блаженного Августина, англичанина-опиомана». Эта первобытная дикарка была, видимо, великим человеком, коль скоро сумела сказать слова, пережившие триста веков. Я тоже брошу женщин и займусь математикой, которою слишком долго пренебрегал. Прощайте, дети, сотоварищи мои по играм. Расставаясь с вами, мне следовало бы расчувствоваться, но правда всегда холодна и состоит она в том, что вы мне надоели. Не сердитесь: ваш черед тоже не за горами. *(Торжественной поступью удаляется в рощу.)*

Архелай. От нас уходит человек великого духа. Каким он был ваятелем! А теперь станет ничем. Это все равно как если бы он отрубил себе руки.

Новорожденная. Неужели вы все покинете меня так же, как он – вас?

Экрасия. Никогда! Мы же дали клятву.

Стрефон. А что толку? Она поклялась. Он поклялся. Мы поклялись. Они поклялись.

Экрасия. У тебя получается, как в грамматике.

Стрефон. А разве не так положено говорить? Все мы будем клятвопреступниками.

Новорожденная. Не надо так. Ты огорчаешь нас и прогоняешь свет. Смотри, как стало темно.

Акис. Это спускается ночь. Завтра опять будет светло.

Новорожденная. Что такое «завтра»?

Акис. День, который никогда не наступает. *(Поворачивается и направляется в храм.)*

Все стягиваются к храму.

Новорожденная *(удерживая Акиса)*. Это не ответ Что...

Архелай. Замолчи. Не годится, чтоб ребенка слышали, – его должны только видеть.

Новорожденная показывает ему язык.

Экрасия. Это некрасиво. Никогда так не делай.

Новорожденная. Я буду делать, что захочу... Но со мной что-то происходит. Мне хочется прилечь. У меня слипаются глаза.

Экрасия. Ты засыпаешь. А потом проснешься.

Новорожденная *(сонно)*. Что значит «засыпать»?

Акис. Не спрашивай — и тебе не будут лгать в ответ. *(Берет ее за ухо и ведет к храму.)*

Новорожденная. Ай-яй-яй! Не надо. Я хочу, чтобы меня несли. *(Падает на руки Акису, и тот уносит ее в храм.)*

Экрасия. Довольно дуться, Архелай. Ты, по крайней мере, остался художником. Я обожаю тебя.

Архелай. Вот как? К сожалению, я больше не ребенок. Я слишком стар для нежностей. Могу только любоваться твоей фигурой. Этого с тебя довольно?

Экрасия. Любоваться? На каком расстоянии?

Архелай. Не ближе вытянутой руки.

Экрасия. Благодарю. Это не для меня. *(Отворачивается.)*

Архелай. Ха-ха-ха! *(Входит в храм.)*

Экрасия *(Стрефону, стоящему уже на пороге храма)*. Стрефон!

Стрефон. Нет. Мое сердце разбито. *(Входит в храм.)*

Экрасия. Неужели мне предстоит провести ночь одной? *(Озирается, ища глазами другого партнера, но все уже ушли.)* Что ж! В конце концов, я всегда могу помечтать о любовнике, поблагородней вас. *(Входит в храм.)*

Окончательно стемнело. Возле храма возникает бледное сияние, превращающееся в призрак Адама.

Женский голос *(в роще)*. Кто здесь?

Адам. Призрак Адама, праотца человечества. А ты кто?

Голос. Призрак Евы, праматери человечества.

Адам. Подойди, жена, и покажись мне.

Ева *(выходя из рощи)*. Вот и я, супруг. Какой же ты старый!

Голос *(с холмов)*. Ха-ха-ха!

Адам. Кто это? Кто дерзает смеяться над Адамом?

Ева. Кто отважился смеяться над Евой?

Каин. Призрак Каина, первого ребенка и первого убийцы. *(Появляется между ними.)*

Одновременно с этим раздается протяжное шипение.

Кто смеет шипеть на Каина, властелина смерти?

Голос. Призрак змеи, которая жила еще до Адама и Евы и научила их, как произвести на свет Каина.

Змея, обвившаяся вокруг дерева, становится видимой.

Новый голос. Но кое-кто пришел в мир раньше, чем змея.

Змея. Это голос Лилит, той, что была и отцом и матерью сразу. Привет тебе, Лилит!

Между Каином и Адамом возникает Лилит.

Лилит. Я невыразимо страдала, разрывалась на части, утратила жизнь, но создала из своей плоти два эти существа – мужчину и женщину. И вот что из этого вышло. Как ты понимаешь это, сын мой Адам?

Адам. Я обрабатывал землю и заставил ее плодоносить; я любил женщину, и она родила. И вот что из этого вышло. Как ты понимаешь это, жена моя Ева?

Ева. Я вскормила яйцо в своем теле и напитала его своей кровью. А теперь женщины кладут яйца, как птицы, и не ведают страданий. Как ты понимаешь это, первенец мой Каин?

Каин. Я изобрел убийство, победу, торжество и господство сильного над слабым. Ныне же сильные истребили друг друга, а слабые живут вечно, и от дел их никому нет пользы. Как ты понимаешь это, змея?

Змея. Я доказала свою правоту, ибо избрала мудрость и познание добра и зла. Ныне же зла нет, а мудрость и добро нераздельны. Этого с меня довольно. *(Исчезает.)*

Каин. Для меня на земле не осталось места. Я прожил свое, и никто не скажет, что я прожил плохо. Но теперь!.. Угасни, слабый огонек! *(Исчезает.)*

Ева. Умники всегда были моими любимцами. Землекопы и воины зарыли себя в землю, к червям. А мир достался умникам. Все хорошо. *(Исчезает.)*

Адам. Ничего не понимаю, ну вовсе ничего. К чему все это? Отчего? Откуда? Куда идет? Нам было совсем неплохо в саду. А эти дураки перебили всех животных и недовольны, потому что им надоедает возиться с собственным телом. Вот уж глупость-то! *(Исчезает.)*

Лилит. Люди приняли на себя бремя вечной жизни. Они научились рождать без мук, и жизнь не прекращается для них даже в миг распада плоти. В груди у них нет молока, чрево их пусто, а тело стало просто красивой оболочкой, которою любуются и которую ласкают их дети в неразумии своем. Довольно ли этого? Или мне опять принять-

ся за труд и произвести на свет нечто такое, что истребит и уничтожит людей, как истребили они зверей в своем саду, уничтожили и тех, кто ползал, и тех, кто летал, — всех, кто отверг вечную жизнь? Я терпела много веков, и люди жестоко испытывали мое терпение. Они творили страшное — бросались в объятия смерти и объявляли вечную жизнь выдумкой. Я смотрела на порождения свои и удивлялась, как много в них злобы и страсти к разрушению. Марс — и тот покраснел, глядя на позор своей сестры — их планеты. Жестокость и лицемерие стали настолько гнусными, что лицо земли усеялось детскими могилами, меж которых ползали живые скелеты в поисках мерзостной пищи. Я уже чуяла приближение новых родовых мук, когда один человек раскаялся и прожил триста лет. Тогда я решила подождать и посмотреть, что из всего этого выйдет. А вышло так много, что ужасы былых времен кажутся теперь дурным сном. Люди искупили свои беззакония и отвернулись от своих прегрешений. Лучше же всего то, что они все еще не знают удовлетворения. Толчок, который я дала им в день, когда, разорвавшись надвое, создала на земле мужчину и женщину, движет ими и поныне. Пройдя миллионы рубежей, они идут к новому — к освобождению от плоти, к превращению в нематериальный вихрь, к водовороту чистого разума, который в начале времен был водоворотом чистой энергии. И хотя все сделанное ими — лишь первое усилие в бесконечном труде творения, я не уничтожу их, пока они не преодолеют последнюю преграду, отделяющую плоть от духа, и не сорвут с жизни путы всегда насмехавшейся над ней материи. Я могу ждать — что такое терпеливое ожидание в сравнении с вечностью? Я дала женщине величайший дар — любопытство. Этот дар спас ее потомство от моего гнева, ибо я сама любопытна и потому выжидала, желая посмотреть, что же люди будут делать завтра. Пусть они и впредь питают во мне это чувство. Я хочу сказать: пусть они больше всего страшатся остановиться, ибо как только я, Лилит, утрачу надежду на них и веру в них, они будут осуждены. Движимая этой надеждой и верой, я на миг сохраняла жизнь, и такие миги повторялись много-много раз. Были существа, более могучие, чем они; но эти существа убили во мне надежду и веру и исчезли с лица земли. Людей я тоже не могу щадить вечно. Я — Лилит, я привнесла жизнь в водоворот энергии, я заставила врага моего, материю,

покориться живой душе. Но, превратив врага жизни в ее раба, я сделала его господином жизни, потому что этим кончается всякое рабство, и теперь я увижу, как раб получит свободу, враг примирится, водоворот станет жизнью и материя исчезнет. А так как младенцы, именующие себя древними, уже подходят к этому рубежу, я потерплю их еще, хотя знаю, что, достигнув его, они станут наравне со мной и вместо меня, и Лилит превратится лишь в легенду, в предание, утратившее всякий смысл. Бесконечна только жизнь, и хотя мириады ее звездных дворцов покамест необитаемы, а другие мириады и вовсе не построены, хотя необозримые ее владения все еще безотрадно пустынны, будет день, и семя мое утвердится в них, подчинив себе материю до последнего предела. А что за этим пределом — этого не различает даже взор Лилит. Довольно и того, что за ним что-то есть. *(Исчезает.)*

СВЯТАЯ ИОАННА

Хроника
в шести частях
с эпилогом

1923

SAINT JOAN

ЖАННА ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ И ЖАННА ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Жанна д'Арк, деревенская девушка из Вогез, родилась около 1412 года, была сожжена за ересь, ведовство и колдовство в 1431-м, кое-как реабилитирована в 1456-м, провозглашена преподобной в 1904-м, объявлена блаженной в 1908-м и, наконец, причислена к лику святых в 1920-м. Самая выдающаяся святая воительница от рождества Христова и самая большая чудачка среди эксцентричных фигур средневековья; рьяная и как нельзя более благочестивая католичка, она была вдохновительницей крестового похода против гуситов и, в сущности, одной из первых протестантских мучениц. Кроме того, она принадлежит к числу первых апостолов Национализма и она же первая во Франции ввела в практику наполеоновский реалистический метод ведения войны, отказавшись от спортивной игры ради выкупа, какая велась рыцарством той эпохи. Первая поборница целесообразной женской одежды, она, подобно шведской королеве Кристине, правившей два века спустя, да и Каталине де Эраузо и бесчисленным оставшимся неизвестными героиням, которые переодевались в мужское платье и служили солдатами и моряками, отказалась принять специфический женский удел и одевалась, сражалась и вела солдатскую жизнь наравне с мужчинами.

Поскольку она сумела утвердить себя всеми этими способами с такой энергией, что прославилась на всю Западную Европу, еще не выйдя из отроческого возраста (да, собственно, она так из него и не вышла), то неудивительно, что ее сожгли по суду за якобы целый ряд тяжких преступлений, караемых смертной казнью, которые в наше время уже не наказуются таким образом и которые принято у нас называть неподобающим и недопустимым для женщины поведением. В восемнадцать лет притязания Жанны уже превосходили притязания самого гордого из пап римских или самого высокомерного из императоров. Она утверждала, что она посланница и полномочная представительница самого бога и что, еще будучи во плоти, она принадлежит к торжествующей церкви. Она покровительствовала своему королю и требовала от английского короля покаяния и повиновения ее приказам. Она поучала государственных деятелей и прелатов, говорила с ними свысока и командовала ими. Она пренебрежительно отвергала планы генералов и приводила их войска к победе на основании собственных планов. Она

питала безграничное, нескрываемое презрение к официальным взглядам, суждениям и авторитетам, а также к тактике и стратегии военного министерства. Будь она мудрецом и монархом, в котором слились воедино освященная веками духовная власть и славнейшая династия, ее претензии и поведение были бы столь же раздражающи для бюрократического мышления, что и претензии Цезаря для Кассия. Но коль скоро она была всего только выскочкой, то о ней существовало лишь два мнения: либо что она наделена сверхъестественной силой, либо что она невыносима.

ЖАННА И СОКРАТ

Если бы Жанна была зла, эгоистична, труслива или глупа, она стала бы одной из самых отталкивающих личностей в истории вместо того, чтобы стать одной из самых привлекательных. Будь она достаточно опытна, чтобы понимать, какое впечатление она производит на мужчин, унижая их тем, что оказывалась права, когда они были не правы, и научись она им льстить и обводить их вокруг пальца, она, быть может, прожила бы столько же, сколько королева Елизавета. Но она была слишком молода, неотесанна и неопытна и не знала всех этих хитростей. Когда ей противоречили те, кого она считала дураками, она не скрывала, что она о них думает и как их глупость ее раздражает. По своей наивности она воображала, будто они должны быть благодарны ей за то, что она выводит их из заблуждения и вызволяет из беды. Надо сказать, что незаурядным личностям всегда невдомек, в какую ярость приводит людей недалеких разоблачение их глупости. Даже Сократ, несмотря на свой возраст и опытность, не сумел защитить себя на суде, как подобало человеку, понимающему, почему так долго копилась обрушившаяся на него ярость и почему требовали его смерти. Его обвинитель, родись он на 2300 лет позже, мог быть любым из тех, что в утренние или вечерние часы «пик» едут в Сити и из Сити в вагоне первого класса; обвинителю, по сути, нечего было сказать кроме того, что ему и ему подобным неприятно оказываться в дураках каждый раз, как Сократ откроет рот. Сократ же, не понимая, в чем его обвиняют, чувствовал себя совершенно беспомощным; он сообщил судьям, что он старый воин и честный человек, а его обвинитель безмозглый сноб, и на этом выдохся. Он и не подозревал, какой страх, какую ненависть порождает его интеллектуальное превосходство в сердцах людей, к которым сам он испытывал лишь добрые чувства и которым делал добро.

Если Сократ был так наивен в свои семьдесят лет, то можно себе представить, как наивна была Жанна в свои семнадцать. Но если Сократ, обладавший даром убеждения, воздействовал на людские умы постепенно и мирно, то Жанна, начиненная энергией, воздействовала на людей физически, бурно и насильственно. Потому, очевидно, Сократа и терпели так долго, а Жанну уничтожили прежде, чем она вышла из отроческого возраста. При этом у обоих колоссальные способности сочетались с искренностью, отчего бешеная неприязнь, жертвами которой они пали, была совершенно неоправданна и поэтому для них самих непостижима. Наполеон тоже обладал колоссальными способностями, но не был наделен ни их искренностью, ни бескорыстием и поэтому не питал никаких иллюзий относительно характера своей популярности. Когда его спросили, как мир воспримет его смерть, он ответил: «Вздохнет с облегчением». Но для гигантов духа, не испытывающих ненависти к своим ближним и отнюдь не намеренных причинить им вред, очень трудно уразуметь, почему ближние их ненавидят и хотят уничтожить. Хотят не только из зависти — оттого, что чужое превосходство ранит самолюбие,— но и из смиренного чистосердечного страха перед ними. Страх толкает людей на любые крайности, а страх, внушаемый существом высшего порядка, загадочен, и рассеять его доводами рассудка невозможно. Он настолько непостижим, что становится невыносимым, когда нельзя предполагать или гарантировать доброжелательство и моральную ответственность этого высшего существа,— другими словами, когда оно не имеет официального статуса. Узаконенное, установленное обычаем превосходство Ирода и Пилата, Анны и Кайафы внушает страх, но страх объяснимый, с достаточно измеримыми последствиями, которых можно избежать,— страх благотворный и спасительный,— такой страх выносить можно. А вот загадочное, вселяющее страх превосходство Христа исторгает вопль «Распни его!» у всех, кому не дано постигнуть его доброжелательность. И, таким образом, Сократ выпивает цикуту, Христос повисает на кресте, а Жанна сгорает на костре. Наполеон же, хоть и кончает жизнь на Святой Елене, по крайней мере умирает в своей постели. Да и многие наводящие страх, но вполне понятные и узаконенные мерзавцы умирают естественной смертью во всей славе земных своих царств, тем доказывая, что куда опаснее быть святым, нежели завоевателем. Те, кто сочетают в себе обоих, как, например, Магомет и Жанна, делают открытие, что

святого спасет только завоеватель и что поражение и плен означают мученичество. Жанну сожгли, и ни один из ее соотечественников и пальцем не шевельнул, чтобы спасти ее. Соратники, которых она привела к победе, и враги, которых она разбила и опозорила, король французский, которого она короновала, и король английский, чью корону она сбросила в Луару,— все были одинаково рады избавиться от нее.

БЫЛА ЛИ ЖАННА ВИНОВНА?

Коль скоро результата, достигнутого Жанной, может добиться и низменное ничтожество, и великая возвышенная душа, нужно разобраться — кто же из двух действовал в данном случае. После тщательного и добросовестного судебного разбирательства современники решили дело не в ее пользу, а отмена вердикта двадцать пять лет спустя, хотя и имела вид реабилитации Жанны, в сущности, лишь подтвердила законность коронации Карла VII. И только внушительное и единодушное суждение потомков — высшим воплощением его стала канонизация Жанны — аннулировало наконец первоначальный процесс и поставило ее судей перед судом, который пока что значительно более несправедлив, чем их суд над нею.

Процесс реабилитации, каким бы липовым он ни был, как-никак представил достаточно свидетельств, способных убедить всех благоразумных скептиков в том, что Жанна не была ни мегерой, ни шлюхой, ни колдуньей, ни богохульницей, идолопоклонствовала не больше, чем сам папа римский, и не делала ничего дурного, кроме того что воевала, носила мужскую одежду и отличалась дерзкой отвагой. Более того, она была добродушна, непорочна, очень благочестива, очень воздержанна (мы бы назвали ее пищу аскетической — хлеб, смоченный в дешевом вине, которое во Франции все равно что питьевая вода), очень доброжелательна и, хотя была храбрым и стойким солдатом, не терпела распущенного языка и распутного поведения. Она взошла на костер, не имея ни единого пятна на совести, если не считать излишней самонадеянности или, как тогда говорили, самовозвеличения, которые ее туда и привели. Поэтому было бы напрасной тратой времени доказывать сейчас, что Жанна из первой части хроники времен Елизаветы о Генрихе VI (состряпанной, как предполагают, Шекспиром) из ура-патриотических соображений грубо клевещет на Жанну в заключительных сценах. Грязь, которой ее забросали, уже отвалилась полностью, так что современному писателю нет нужды отмывать от нее Жанну.

От чего избавиться труднее, так это от грязи, которую бросают в ее судей, и от лакировки, которая изменила ее самое до неузнаваемости. Когда ура-патриотическая клевета сделала свое дело, сектантская клевета (в данном случае протестантская) использовала ее сожжение для борьбы с римской католической церковью и инквизицией. Простейший способ изобразить представителей этих организаций злодеями в мелодраме был сделать героиней этой мелодрамы Деву. Но это чистейший вздор. Церковь и инквизиция судили Жанну куда более правым судом, чем нынешний светский суд судит обвиняемых сходного типа и в сходной ситуации. И приговор был вынесен строго по закону. И Жанна вовсе не была героиней мелодрамы, то есть страдающей любовным недугом красавицей, паразитирующей за счет столь же красивого героя. Она была гениальной святой — полной противоположностью героине мелодрамы, настолько полной, насколько это в человеческих возможностях.

Уточним значение понятий. Гением мы называем того, кто видит дальше и постигает глубже других, а также обладает иной системой этических оценок и энергией, позволяющей претворить свое особое видение и свои оценки в деятельность, максимально соответствующую его особым дарованиям. Святым мы называем того, кто применяет на практике свои героические добродетели, кому доступны откровения, кто обладает способностями того порядка, которые церковь относит к разряду «сверхъестественных», и вследствие всего этого он подлежит канонизации. Если историк окажется антифеминистом, не признающим за женщинами талантов в традиционно мужских сферах, то ему никогда не понять Жанну, чьи таланты нашли себе применение, главным образом, в военном деле и политике. Если историк окажется рационалистом, достаточно последовательным, чтобы отрицать существование святых и считать, что новые идеи возникают исключительно в ходе сознательного мыслительного процесса, то ему не передать характера Жанны. Ее идеальный биограф должен быть свободен от предрассудков и предубеждений XIX века, должен понимать средние века, римскую католическую церковь и Священную Римскую империю гораздо глубже, чем их понимают наши историки виги. И наконец, он должен уметь отделаться от сексуальных пристрастий и романтических представлений и рассматривать женщину просто как представительницу женской части рода человеческого, а не как особый вид животного со специфической обольстительностью и специфической безмозглостью.

Выражаясь без обиняков, любую книгу о Жанне, для начала описывающую ее как красавицу, можно отнести к разряду фантазий. Ни один из товарищей Жанны, будь то в деревне, при дворе или в военном лагере, даже превознося ее в угоду королю, никогда не утверждал, что она хороша собой. Все мужчины, упоминавшие о ее наружности, твердо стояли на том, что как женщина она была на удивление непритягательна. Это тем более казалось непонятным, что она была в расцвете юности, и никто не мог бы назвать ее уродливой, увечной, нескладной или физически отталкивающей. Секрет же, совершенно очевидно, состоял в том, что, подобно большинству женщин ее самоуверенного, властного типа, она оставалась вне борьбы полов, так как мужчины слишком боялись ее, чтобы в нее влюбиться. Не то чтобы она была бесполой: несмотря на обет девственности, который она дала на время и соблюдала до своей смерти, она вовсе не исключала для себя возможности выйти замуж. Но брак, со всей предварительной подготовкой, с завлечением, преследованием и поимкой супруга, ее не занимал,— у нее были другие дела. Формула Байрона — «В судьбе мужчин любовь не основное. Для женщины любовь и жизнь — одно» — была неприменима к ней так же, как к Джорджу Вашингтону или к любому другому деятелю мужского пола, избравшему героическое поприще. Будь она нашей современницей, открытки с ее портретом, возможно, и продавались бы, но с портретом в роли генерала, а не гурии. Тем не менее есть основание думать, что лицо у нее было совершенно замечательное: орлеанский скульптор современной ей эпохи создал статую молодой женщины в шлеме; лицо ее так своеобразно выполнено, что это явно не идеальный образ, а портрет, и в то же время оно настолько индивидуально, что не похоже ни на одну из тех женщин, которых обычно видишь. Предполагается, что Жанна, сама того не зная, послужила скульптору моделью. Доказательств этому нет. Но необычайно широко расставленные глаза так неотразимо рождают вопрос: «Если эта женщина не Жанна, то кто она?»,— что я обойдусь без других доказательств, и пусть те, кто со мной не согласен, попробуют доказать обратное. Замечательное лицо, но совершенно неинтересное с точки зрения любителей оперных красоток.

Такой любитель будет, вероятно, окончательно разочарован тем прозаическим фактом, что Жанна была ответчицей в судебном процессе по поводу нарушения брачного обязательства, сама защищала свое дело и выиграла его.

Жанна родилась в семье крестьянина, одного из старейшин деревни, который вел все феодальные дела с соседними сеньорами и их поверенными. Когда владельцы замка, в котором жители деревни имели право укрываться во время набегов, бросили его, отец Жанны снял его в аренду вместе с еще пятью-шестью крестьянами для того, чтобы прятаться там при угрозе нападения. В детстве Жанне случалось тешить себя игрой в юную владелицу замка. Впоследствии ее мать и братья смогли разделить с ней жизнь при дворе и при этом не сделать из себя посмешища. Эти сведения не дают нам никакого права следовать расхожему романтическому вымыслу, который каждую героиню превращает либо в принцессу, либо в нищенку. В сходном случае с Шекспиром целое нагромождение пустых изысканий покоится на гипотезе, что он был неграмотным выходцем из простонародья, хотя широко известно, что отец его занимался торговлей, одно время очень преуспевал и был женат на женщине, претендовавшей на благородное происхождение. Существует та же тенденция низводить Жанну до положения наемной пастушки, хотя на ферме в Домреми настоящая наемная пастушка почтительно именовала бы ее барышней.

Разница между первым и вторым случаем в том, что Шекспир, в отличие от Жанны, не был неграмотным. Он ходил в школу и знал латинский и греческий ровно в той же мере, в какой помнит их большинство студентов, кончающих университет без отличия, то есть по существу совсем не знал. Жанна, та была абсолютно неграмотна. «Я не отличу А от Б», — говорила она. Но то же могли бы сказать многие принцессы того времени, да и гораздо позже. Например, Мария Антуанетта в возрасте Жанны не умела правильно написать свое имя. Но это не значит, что Жанна была невежественна или что она страдала от неуверенности и ощущения социального неравенства, испытываемого в наше время людьми, которые не умеют ни читать, ни писать. Если она и не могла писать писем, то могла их диктовать, и так она и поступала, придавая им важное, более того, чрезмерное значение. Когда ее в лицо называли пастушкой, она искренне сердилась и предлагала любой женщине потягаться с ней в домашних работах и рукоделиях, которыми должна была владеть хозяйка зажиточного дома. Она разбиралась в политической и военной обстановке во Франции значительно лучше, чем большинство наших современных женщин с университетским образованием, вспоенных и вскормленных на наших газетах, разбираются в соответствующей обстановке

в собственной стране. Первым, кого она обратила и заставила поверить в себя, был комендант крепости Вокулер; обратила она его рассказом о поражении войск дофина в «битве селедок» — рассказом, настолько опередившим официальное известие, что он усмотрел тут божественное откровение. Однако нет ничего удивительного в том, что в охваченной войной стране крестьяне были знакомы с положением дел и интересовались ими. В их жизнь так часто вторгались политики с мечом в руках, что игнорировать их было невозможно. Семейство Жанны не могло позволить себе остаться в стороне от того, что творилось в феодальном мире. Они не были богаты, и Жанна трудилась, как и отец, помогала ему по хозяйству, выгоняла на пастбище овец и так далее. Но нигде вы не найдете ни указания, ни намека на убогую нищету, нет никаких поводов думать, будто Жанне приходилось наниматься к чужим людям или вообще работать в то время, как ей хотелось пойти к исповеди или побродить в ожидании видений, послушать колокольный звон и услыхать в нем голоса. Короче говоря, она гораздо больше походила на барышню или даже на образованную девицу, чем многие наши современные мещаночки.

ГОЛОСА И ВИДЕНИЯ ЖАННЫ

Голоса и видения сыграли с Жанной много шуток и сильно повлияли на ее репутацию. Их считали доказательством того, что она была сумасшедшей, лгуньей и обманщицей, колдуньей (за что и была сожжена) и, наконец, святой. Однако доказывают они вовсе ни то, ни другое и ни третье: разнообразие выводов свидетельствует лишь о том, как мало наши сухие и прозаичные историки понимают в человеческой психологии, даже включая свою собственную. Есть на свете люди, обладающие таким ярким воображением, что, когда им в голову приходит идея, они слышат ее так, словно кто-то высказал ее вслух, а порой и видят говорящего. Психиатрические больницы для преступников преимущественно населены убийцами, которые следовали указаниям голосов. Какая-нибудь женщина слышит голоса, велящие ей перерезать горло спящему мужу и задушить ребенка в кроватке. И она чувствует, что обязана повиноваться. У нас в суде существует некий медико-правовой предрассудок: считается, будто преступники, которым искушения предстают именно в виде таких галлюцинаций, не ответственны за свои поступки и должны рассматриваться как душевнобольные.

Однако те, кого посещают видения, кому бывают откровения, не всегда преступники. Вдохновение и интуиция, а также

неосознанные умозаключения гения порой тоже принимают иллюзорные формы. Сократу, Лютеру, Сведенборгу, Блейку бывали видения и слышались голоса точно так же, как и святому Франциску, и святой Иоанне. Обладай Ньютон их пылким театрализованным воображением, ему, вероятно, привиделся бы призрак Пифагора, входящего в сад и объясняющего ему, почему падают яблоки. И подобный обман чувств не поставил бы под сомнение ни закон тяготения, ни нормальность психики Ньютона. Более того, метод открытий с помощью галлюцинаций ничуть не более сверхъестествен, чем обыкновенный метод. Показателем психического здоровья является не нормальность метода, а разумность открытия. Вот если бы Ньютон узнал от Пифагора, что луна сделана из зеленого сыра, тогда Ньютона следовало бы засадить в сумасшедший дом. Поскольку же гипотеза тяготения была вполне обоснована и прекрасно укладывалась в учение Коперника о наблюдаемых физических проявлениях Вселенной, то она создала Ньютону репутацию выдающегося ума, и этому бы не помешала никакая фантастичность пути, которым он пришел бы к своей теории. Между тем закон тяготения далеко не такой впечатляющий подвиг мысли, как его поразительная «Хронология». Именно она сделала его королем фокусников мысли, но только королем в мире безумцев, чьего авторитета никто теперь не признает. В связи с одиннадцатым рогом зверя, виденного пророком Даниилом, Ньютон проявил себя еще большим фантазером, чем Жанна, поскольку воображение его было не театрализованным, а сугубо математическим, тяготевшим к числовой символике. Действительно, если бы все его труды, кроме «Хронологии», оказались утеряны, мы бы сказали, что он был явно не в своем уме. А так, кто посмеет назвать Ньютона сумасшедшим?

Равным образом и Жанну надо расценивать как нормальную, здравомыслящую женщину, невзирая на ее голоса, ибо они ни разу не подали ей совета, который не мог бы быть подсказан ей природным здравым смыслом,— точно так, как идея тяготения была подсказана Ньютону. Все мы теперь уже понимаем, особенно после того как недавняя война затянула стольких женщин в свой водоворот, что в походной жизни, какую вела Жанна, невозможно было оставаться в юбке. И не только потому, что Жанна делала мужское дело, но потому, что из соображений морали следовало исключить секс из отношений между Жанной и ее товарищами по оружию. Она и сама именно так объяснила свой выбор одежды, когда ее потребовали к ответу. И то, что необходимость этой абсолютно разумной меры пришла ей в голову прежде всего в виде веления господа бога,

переданного через святую Екатерину, вовсе не говорит о ее безумии. Разумность веления лишь доказывает ее необычайное здравомыслие, форма же говорит о том, что ее театрализованное воображение играло шутки с ее органами чувств. Политика ее была тоже вполне здравой: никто не будет оспаривать, что освобождение Орлеана и последующая коронация дофина в Реймсе могут считаться мастерским военным и политическим ходом, который спас Францию, ибо стал сильным контрударом по ходившим тогда слухам о незаконнорожденности Карла и сомнениям в его праве на титул. Такой ход мог родиться в голове Наполеона или любого другого гения, заведомо гарантированного от галлюцинаций. Жанне он пришел в голову в виде веления Наставников (так она называла святых из своих видений). Но каким бы путем ни приходили ей в голову идеи, она все равно была талантливым вождем.

ЖАЖДА ПРОГРЕССА

Каков же современный взгляд на голоса и видения Жанны и веления бога? Девятнадцатый век решил, что это галлюцинации, но поскольку она была девушка миленькая, а обошлись с ней безобразно, поскольку в конце концов ее предала смерти свора средневековых суеверных попов, которых натравливал продажный политикан епископ, то ее следует признать невинной жертвой своих галлюцинаций. Двадцатому веку такое толкование кажется слишком расплывчато-банальным, ему требуется что-то более мистическое. По-моему, двадцатый век прав, и объяснение, сводящееся к тому, что Жанна была умственно недоразвита (тогда как на самом деле она была умственно переразвита), не проходит. Я не могу поверить (а если бы, как Жанна, и поверил, не могу ожидать того же от всех моих читателей), будто бы три доступных зрению, добротно одетых персоны по имени святая Екатерина, святая Маргарита и святой Михаил спустились с небес и по поручению господа бога дали Жанне некие указания. Не то чтобы такое верование более неправдоподобно или фантастично, чем иные новейшие верования, с которыми мы все легко миримся, но только на веру существуют моды и семейные традиции, а коль скоро мода, которой я следую, викторианская, а семейная традиция — протестантская, я никоим образом не могу всерьез относиться к тем формам, которые приняли видения Жанны.

Но все же действуют некие силы, которые направляют нас к целям более высоким, чем просто сохранение здоровья

преуспеяния, респектабельности, покоя и благополучия, присущих среднему жизненному положению и составляющих благоразумный идеал добропорядочного буржуа; доказательством действия таких сил может служить то, что люди в своем стремлении к познанию и социальным преобразованиям (в результате которых лучше им ни на йоту не станет и, наоборот, часто бывает во сто крат хуже) готовы терпеть нищету, позор, изгнание, заточение, неслыханные лишения и смерть. Даже эгоистическое стремление к личной власти не может подвигнуть людей на усилия и жертвы, на какие охотно идут иные ради того, чтобы увеличить людскую власть над Природой, хотя это, быть может, никак не затронет жизни самого искателя знания. Эта жажда знания и власти ничуть не более загадочна, чем потребность в пище: и то, и другое лишь реально существенный факт, не более. Разница только в том, что пища — жизненная необходимость, и потому потребность в ней носит личный характер, тогда как жажда знания означает жажду прогресса и поэтому носит внеличный характер.

Разнообразные способы, какими наше воображение театрализует соприкосновение с внеличными силами,— это проблема для психолога, а не для историка. Однако и историк должен понимать, что духовидцы вовсе не обманщики и не сумасшедшие. Одно дело сказать, что фигура, в которой Жанна признала святую Екатерину, в действительности не святая Екатерина, а образец того, как воображение Жанны театрализовало влияние на нее движущей силы, обусловливающей прогресс, которую я только что назвал жаждой прогресса. Но совсем другое дело — отнести ее видения к тому же типу, что и две луны, пляшущие перед пьяным на небе, или брокенские привидения, эхо и тому подобные явления; нет, советы святой Екатерины были слишком для этого убедительны, и самый простодушный французский крестьянин, верящий в то, что небесные посланцы являются избранным смертным, окажется ближе к научной истине относительно Жанны, чем историки и эссеисты рационалистического и материалистического толка, которые считают своим долгом объявить сумасшедшей или обманщицей девицу, которая видит и слышит святых. Если Жанна была безумна, то безумен и весь христианский мир, ибо люди, свято верующие в реальность божественных персонажей, ничуть не менее безумны, чем те, кто воображает, будто видит их. Лютер, запустивший чернильницей в дьявола, был нисколько не безумнее любого другого монаха-августинца,— просто воображение у него было поярче, да еще, может быть, он ел и спал поменьше, вот и все.

Все массовые религии мира постигаются через целый сонм легендарных личностей с отцом небесным, а иногда богоматерью и божественным младенцем в качестве центральных фигур. Так они предстают нашему мысленному взору с раннего детства, и в результате создается устойчивая галлюцинация, которая, если запечатлелась она основательно, сохраняется на всю жизнь. Таким образом, всевозможные раздумья галлюцинирующего о неиссякаемом источнике вдохновения, стимулирующем жизнь Вселенной, или о голосе добродетели и муках стыда, короче говоря, о призвании и совести – силах значительно более реальных, чем электромагнетизм,– все эти раздумья совершаются на языке божественных видений. А когда к тому же это происходит с натурами, наделенными особенно богатым воображением, тем паче с теми, кто соблюдает принципы аскетизма, то галлюцинации, помимо умственного взора, захватывают и телесный, и человек видит Кришну или Будду, или деву Богородицу, или святую Екатерину – каждый свое.

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КОТОРОГО ИЗБЕГЛА ЖАННА

Все это важно понимать в наши дни каждому, так как современная наука расправляется с галлюцинациями, игнорируя значение всего того, что они символизируют. Родись Жанна заново сегодня, ее прежде всего послали бы в монастырскую школу, где ее мягко обучали бы сочетать вдохновение и совесть со святой Екатериной и святым Михаилом в точности так же, как ее учили в XV веке, а потом завершили бы дело весьма энергичным натаскиванием в духе евангелия от святых Луи Пастера и Поля Берта, которые повелели бы ей (возможно, в форме видений, но, скорее, в форме памфлетов) не быть суеверной дурочкой и выкинуть из головы святую Екатерину и прочих изживших себя персонажей католических мифов.

Ей вдолбили бы, что Галилей был мученик, а его гонители – неисправимые невежды и что гормоны святой Терезы сбились с пути и оставили ее с неизлечимым то ли гипертрофированным гипофизом, то ли атрофированной надпочечной железой, то ли истеричной, то ли эпилептичной или еще какой угодно, но только не патетичной. Ее убеждали бы путем личного примера и эксперимента, что крещение и причащение тела господня – не-

достойные суеверия, а вакцинация и вивисекция — просвещенные обычаи. За ее новыми святыми — Луи и Полем стояла бы не только наука, очищающая религию и ею очищаемая, но и ипохондрия, трусость, глупость, жестокость, грязное любопытство, знание без мудрости и все то, чего не приемлет вечная душа Природы, а совсем не воинство добродетелей, в авангарде которых шла святая Екатерина. Что же касается новых обрядов, то которая Жанна была бы более нормальной? Та, которая относила крестить младенцев водой и духом, или та, которая насылала полицию на родителей, чтобы те дали ввести своим детям в кровь гнуснейший расистский яд, отравляющий их душу? Та, которая рассказывала детям историю об ангеле и Марии, или та, которая допытывалась, как обстоит у них дело с эдиповым комплексом? Та, для кого освященная облатка была воплощением добродетели, в которой она видела свое спасение, или та, которая уповала на точную и удобную регуляцию своего здоровья и желаний с помощью тонко рассчитанной диеты, состоящей из экстракта щитовидной железы, адреналина, тимина, питуитрина, инсулина плюс стимулирующие гормональные средства, причем кровь ее сперва тщательно насыщали антителами, защищавшими от всевозможной заразы (благодаря введению заразных микробов и сывороток, извлеченных из больных животных), и от старости (благодаря хирургическому удалению воспроизводительных органов или благодаря еженедельному введению вытяжки из железы обезьяны)?

Спору нет, за всеми этими знахарскими трюками стоит некая совокупность данных подлинно научной физиологии. Но разве не стояло за святой Екатериной и Святым Духом некоей совокупности познаний в подлинной психологии? И какой ум более здравый — ориентированный на святых или на железу обезьяны?

И разве не означает нынешний клич «Назад к средневековью!», который назревал с начала движения прерафаэлитов, что сейчас невыносима не наша академическая живопись, а наше легковерие, которое нельзя оправдать суеверием, наша жестокость, которую нельзя оправдать варварством, наши гонения, которые нельзя оправдать религиозностью, бесстыдная подмена святых преуспевающими жуликами, негодяями и шарлатанами в качестве объектов поклонения, и наша глухота и слепота по отношению к зовам и видениям непреклонной силы, которая нас сотворила и нас уничтожит, если мы будем игнорировать ее? Жанне и ее современникам мы показались бы стадом гадаранских свиней, одержимых всеми бесами, изгнанными верой и цивилизацией средневековья, и неистово мчащихся вниз по крутому

спуску — в ад усовершенствованных взрывчатых веществ. Выдавать состояние нашей психики за образец нормальности, а Жанну объявить помешанной потому, что она до такого состояния не опускалась,— значит доказать, что мы существа пропащие и притом безнадежно пропащие. Так перестанем же раз и навсегда повторять галиматью насчет того, что Жанна была тронутая, и признаем ее, по крайней мере, столь же нормальной, как и Флоренс Найтингел; у той тоже простейшие религиозные представления сочетались с умом такой исключительной мощи, что она вечно находилась в конфликте с медицинскими и военными заправилами своего времени.

ПРОМАХИ ГОЛОСОВ

О том, что голоса и видения были лишь обманом чувств, а вся мудрость принадлежала самой Жанне, свидетельствуют случаи, когда голоса подводили ее; особенно подвели они Жанну во время процесса, обещая ей освобождение. Но хотя она приняла желаемое за возможное, надежды ее были не так уж беспочвенны: ее соратник Ла Гир с немалым войском стоял неподалеку, и если бы арманьяки (так назывались ее сторонники) в самом деле хотели бы ее спасти и вложили в эту акцию хотя бы долю свойственной ей энергии, у них был бы изрядный шанс на успех. Жанна не понимала, что им хочется от нее избавиться, не понимала, что освобождение узника из рук Церкви — задача крайне сложная для средневекового военачальника или даже для короля, и задача эта отнюдь не сводилась к преодолению физических трудностей, необходимому для воинского подвига. Если встать на точку зрения Жанны, то ее убежденность в том, что ее спасут, была вполне обоснованной, потому она и услыхала голос госпожи святой Екатерины, обещавшей ей этот исход,— таков уж был ее способ выяснять собственное мнение и принимать решение. Когда же стало ясно, что она просчиталась; когда ее повели на костер и Ла Гир даже и не подумал бушевать у ворот Руана или нападать на солдат Уорика, тогда она сразу отринула святую Екатерину и отреклась. Решение ее было как нельзя более здравым и практичным. И только обнаружив, что, кроме строгого пожизненного заключения, она ничего отречением не выиграла, Жанна взяла его назад и вместо этого сознательно и обдуманно выбрала костер. Решение это обнаруживает не только поразительную твердость характера, но и трезвость мысли, которая не останавливается перед самоубийством как конечной проверкой человека. Однако и тут об-

ман чувств сыграл свою роль: она объяснила свой возврат к прежней позиции велением голосов.

ЖАННА – ДУХОВИДИЦА ПО ГАЛЬТОНУ

Вот почему даже наиболее скептический и научно мыслящий читатель может смело принять как некий факт, из которого нельзя сделать вывод о психической болезни, что Жанна принадлежала к тем, кого Фрэнсис Гальтон и другие современные исследователи человеческих возможностей называют духовидцами. Она видела святых умственным взором точно так же, как некоторые видят умственным взором перенумерованные схемы и картины, с помощью которых они способны творить чудеса запоминания и вычисления, немыслимые для недуховидцев. Духовидцам мои объяснения будут сразу понятны. А недуховидцы, никогда не читавшие Гальтона, будут озадачены и отнесутся к моим словам с недоверием. Но если они порасспросят знакомых, то выяснится, что умственный взор — это как бы некий волшебный фонарь и что на свете полно людей во всех отношениях нормальных, наделенных, однако, способностью ко всякого рода галлюцинациям, которую сами они считают одним из нормальных свойств человеческих.

МУЖСКАЯ НАТУРА И ВОИНСТВЕННОСТЬ ЖАННЫ

Другая отличительная особенность Жанны, настолько обычная среди необычных явлений, что ее даже не назовешь аномалией,— ее тяга к солдатской и вообще мужской жизни. Отец запугивал дочь, пытаясь отучить ее от этой блажи, угрожал утопить, если она убежит с солдатами, и велел сыновьям утопить сестру, если его самого не окажется на месте. Эти преувеличенные угрозы явно произносились не всерьез, просто дети принимают всерьез такие вещи. Стало быть, девочкой Жанна хотела убежать и стать солдатом. Страшная перспектива быть утопленной в Маасе грозным отцом и старшими братьями удерживала ее до тех пор, пока отец не перестал внушать страх, а братья не подчинились ее прирожденной властности. К этому времени она поумнела и поняла, что удрать из дому еще не значит вести мужскую и солдатскую жизнь. Однако вкус к ней не пропадал у Жанны никогда и определил ее путь.

Если кто-нибудь в этом сомневается, пусть задастся вопросом: почему бы девице, на которую небо возложило особое

поручение к дофину (так виделся Жанне ее талантливый план вызволить некоронованного короля из отчаянного положения), почему бы ей было не отправиться ко двору в женском наряде и не навязать дофину свой совет на женский манер, как поступали другие женщины, имевшие такие же поручения, одна — к его безумному отцу, другая — к его мудрому деду? Почему она все-таки настояла на том, чтобы ее снабдили солдатской одеждой, оружием, мечом, лошадью и прочим снаряжением? Почему она обращалась с солдатами своего отряда, как с товарищами, спала бок о бок с ними прямо на земле, как будто была одного с ними пола? Можно ответить, что в таком виде было безопаснее путешествовать по стране, наводненной вражескими войсками и шайками мародеров и дезертиров с обеих сторон. Такой ответ будет неубедителен, потому что сколько угодно женщин передвигалось в те времена по Франции, и им не мнилось путешествовать иначе как в женском обличье. Но даже если мы примем этот ответ, то как объяснить следующее. когда опасности миновали, и Жанна уже могла предстать перед королем в женском убранстве без всякого ущерба для себя (что было бы гораздо приличнее случаю), она явилась ко двору все в той же солдатской одежде, и вместо того чтобы уговорить Карла послать Д'Алансона, де Рэ, Ла Гира и прочих в Орлеан на подмогу Дюнуа, как королева Виктория уговорила военное министерство послать Робертса в Трансвааль, Жанна стала настаивать на том, чтобы самой отправиться туда и самолично возглавить штурм? Почему она щеголяла своей ловкостью и умением владеть копьем и ездить верхом? Почему она принимала подарки в виде доспехов, боевых коней, рубах, надеваемых поверх кольчуги, и вообще каждым поступком отрекалась от своей женской сущности? На все эти вопросы ответ следует простой: она была из тех женщин, которые любят вести мужской образ жизни. Их можно найти всюду, где только есть пехота и флот, они отбывают солдатскую службу, переодетые мужчинами, и на удивление долго, иногда до конца жизни, избегают разоблачения. Когда обстоятельства позволяют им пренебрегать общественным мнением, они совершенно перестают таиться. И тогда Роза Бонер пишет свои картины в мужской блузе и брюках, а Жорж Санд ведет жизнь мужчины и чуть ли не заставляет Шопена и де Мюссе для ее удовольствия вести себя, как женщины. Не будь Жанна одной из таких «неженственных женщин», ее, вероятно, канонизировали бы значительно раньше.

Но для того чтобы вести мужскую жизнь, вовсе не обязательно носить брюки и курить толстые сигары, равно как не

обязательно носить нижние юбки, чтобы жить женской жизнью. В обычной гражданской обстановке найдется сколько угодно женщин в платьях и корсажах, которые прекрасно управляются со своими женскими и чужими делами, включая дела своих мужчин, и при этом вполне мужеподобны в своих вкусах и занятиях. Такие женщины бывали всегда, даже в викторианскую эпоху, когда у них было меньше юридических прав, чем у мужчин, и когда о женщинах судьях, мэрах и членах парламента еще слыхом не слыхивали. В отсталой России в нашем столетии женщина-солдат организовала боеспособный полк амазонок, и он прекратил свое существование потому только, что его олдершотский дух поссорил его с революцией. Освобождение женщин от военной службы основано не на какой-то их природной непригодности, которой не страдают мужчины, а на том, что общества не могут воспроизводить себя без избытка женщин. Тогда как без мужчин обойтись легче, и, соответственно, их можно приносить в жертву.

БЫЛА ЛИ У ЖАННЫ МАНИЯ САМОУБИЙСТВА?

Только две вышеописанные аномалии всецело доминировали в характере Жанны, и они-то и привели ее на костер. Ни та ни другая не была присуща исключительно ей одной. В Жанне вообще не было ничего исключительного, кроме силы и широты ума и характера и интенсивности жизненной энергии. Ее обвиняли в тяге к самоубийству, и действительно, когда, пытаясь бежать из замка Боревуар, она спрыгнула с башни высотой, как говорят, в шестьдесят футов, она безрассудно рисковала. Но Жанна оправилась от падения за несколько дней поста. Она обдуманно выбрала смерть вместо жизни без свободы. В бою она бросала вызов смерти так же, как Веллингтон при Ватерлоо и как Нелсон, имевший привычку во время боя прогуливаться на шканцах во всем блеске своих регалий. Но коль скоро ни Нелсона, ни Веллингтона и никого из тех, кто совершал отчаянные подвиги и предпочитал смерть плену, не обвиняют в мании самоубийства, то нечего подозревать в этом и Жанну. В случае, произошедшем в Боревуаре, на карту ставилось больше, чем свобода Жанны. Ее встревожило известие, что Компьен вот-вот сдастся, и она была убеждена, что спасет его, если ей удастся бежать. Однако прыжок с башни был столь рискованным, что совесть ее была после этого неспокойна, и, по своему обыкновению, Жанна выразила это, сказав, что святая Екатерина запретила ей прыгать, но потом простила непослушание.

Итак, мы можем отнестись к Жанне как к здравомыслящей и сообразительной крестьянской девушке, наделенной необыкновенной силой духа и физической выносливостью. Все, что она делала, было тщательно взвешено. И хотя мыслительный процесс совершался так быстро, что сама она не успевала его осознать и поэтому приписывала все голосам, можно считать, что она руководствовалась разумом, а не слепо следовала своим импульсам. В военном деле она была реалистом в той же мере, что и Наполеон, она тоже понимала толк в артиллерии и отдавала должное ее возможностям. Она не ожидала, что осажденные города падут, как Иерихон при звуках трубы, а, подобно Веллингтону, организовывала наступление, учитывая оборонительную тактику врага; она предвосхитила наполеоновский расчет на то, что если непрерывно атаковать противника, тот долго не выдержит. Например, последняя ее победа под Орлеаном была одержана уже после целого дня боя, когда ни одна сторона не победила и ее полководец Дюнуа дал сигнал к отступлению. Жанна никогда не была той, за кого ее выдавали бесчисленные романисты и драматурги, а именно: романтической барышней. Она была истинной дочерью земли — с крестьянской трезвостью и упрямством, со свободным от всякого преклонения или высокомерия отношением к большим господам, королям и прелатам,— она с одного взгляда понимала, чего каждый из них действительно стоит. Как подобает добропорядочной крестьянке, она сознавала все значение соблюдения приличий и не терпела, когда сквернословили и пренебрегали религиозными обрядами. Она не позволяла дурным женщинам околачиваться вокруг ее лагеря. У нее было одно благочестивое восклицание: «En nom Dé!»[1] *и одно бессмысленное ругательство: «Par mon martin!»,*[2] *и только их она разрешала употреблять неисправимому богохульнику Ла Гиру. Эта пуританская строгость сыграла важнейшую роль в восстановлении чувства собственного достоинства у деморализованной армии, и, стало быть, и в этом, как почти во всем остальном, ее политика оказалась хорошо рассчитана и вполне оправдала себя. Жанне приходилось иметь дело с людьми всех сословий — от работников до королей; при этом она не испытывала никакого смущения, вела себя совершенно естественно и, если они не были безнадежно трусливы и испорчены, добивалась от них, чего хотела. Она умела улещи-*

[1] Во имя господа! *(франц.)*
[2] Клянусь жаворонком! *(франц.)*

вать и умела принуждать, язычок ее бывал ласковым и бывал острым. Словом, талантливая девушка — прирожденный босс.

ИНФАНТИЛЬНОСТЬ И НЕВЕЖЕСТВЕННОСТЬ ЖАННЫ

Все это, однако, надо принять с одной большой оговоркой: ей не было и двадцати. Если бы речь шла о властной матроне лет пятидесяти, мы бы сразу узнали этот человеческий тип, — вокруг нас полно властных немолодых женщин, по которым легко судить, какой бы стала Жанна, останься она в живых. Но, в конце концов, она была всего лишь молоденькая девушка: она не имела представления о тщеславии мужчин и о весомости и соотношении общественных сил. Она ничего не слыхала о железной руке в бархатной перчатке и орудовала голым кулаком. Она думала, что политические перемены осуществлять легко, и, подобно Магомету, не ведавшему ни о каком строе, кроме родового, рассылала письма королям, призывая их к преобразованиям, ведущим к установлению царства божия на земле. Не мудрено, что ей удавались только те простые начинания, которые, как, например, коронация и кампания под Орлеаном, требовали простого действия и натиска.

Отсутствие элементарного образования помешало ей, когда она столкнулась с такими искусно разработанными структурами, как грандиозные церковные и общественные институты средневековья. Она испытывала ужас перед еретиками, не подозревая, что сама — ересиарх, одна из предтеч ереси, расколовшей Европу надвое и повлекшей за собой столетия кровопролитий, не прекратившихся и по сю пору. Она была против чужеземцев на том разумном основании, что во Франции им не место. Но ей в голову не приходило, что это приведет ее к столкновению с католицизмом и феодализмом — установлениями, по своей сути интернациональными. Она руководствовалась здравым смыслом, и там, где образованность была единственным ключом, она блуждала во мраке, расшибала себе лоб и расшибала тем более крепко, что отличалась непомерной самоуверенностью и поэтому в делах гражданских была неосторожна, как никто.

Это сочетание юной неопытности и абсолютной необразованности с большими природными способностями, энергией, храбростью, глубокой религиозностью, оригинальностью и чудаковатостью полностью объясняет все перипетии истории Жанны и делает ее достоверным историческим и человеческим феноменом. Но оно резко противоречит как идолопоклонническо-

му романтическому ореолу, созданному вокруг нее, так и развенчивающему скептическому отношению, возникшему как реакция на романтическую легенду.

ДЕВА В ЛИТЕРАТУРЕ

Английским читателям, может быть, захочется узнать, как отразилось поклонение и протест против него на книгах про Жанну, столь хорошо им знакомых. Имеется первая часть шекспировской или псевдошекспировской трилогии о Генрихе VI, где Жанна — одно из главных действующих лиц. Этот портрет Жанны достоверен не более, чем описание на страницах лондонских газет Джорджа Вашингтона в 1780 году, описание Наполеона в 1803-м, германского кронпринца в 1915-м или Ленина в 1917-м. А заканчивается пьеса и вовсе непристойностью. Впечатление такое, будто драматург вначале пытался изобразить Жанну красивой и романтической, но возмущенная труппа вдруг объявила, что английский патриотизм ни за что не потерпит сочувственного изображения француженки, одержавшей победу над английскими войсками, и если драматург сию же минуту не вставит все прежние обвинения против Жанны, не напишет, что она колдунья и шлюха, и не подтвердит ее виновность, пьеса поставлена не будет. Скорее всего, так именно и произошло. Иначе почему столь сочувственное изображение героизма Жанны и особенно ее красноречивого обращения к герцогу Бургундскому сменяется мерзейшими непристойностями заключительных сцен. Этому можно найти только еще одно объяснение: может быть, в оригинале пьеса была целиком непристойна, Шекспир же подправил начальные сцены. Поскольку вещь принадлежит к тому периоду, когда он только начинал свою деятельность, латая чужие пьесы, и его собственный стиль не выковался и не окреп, проверить нашу догадку нет возможности. Его почерк еще отчетливо не ощущается, нравственный тон пьесы низкий и вульгарный. Но, может статься, он пытался спасти ее от прямого позора, озарив Деву мгновенным блеском.

Перепрыгнув через два столетия, мы найдем у Шиллера «Орлеанскую деву», утопающую в ведьмином котле клокочущей романтики. Шиллеровская Иоанна не имеет абсолютно ничего общего с Жанной реальной, да и вообще ни с одной смертной, когда-либо ступавшей по земле. О пьесе, в сущности, нечего сказать, кроме того, что она написана вовсе не о Жанне, да едва ли и претендует на это. У Шиллера она умирает на поле битвы, ибо сжечь ее у него не хватило духу. До Шиллера уже был Вольтер, он пародировал Гомера в сатирической поэме «La Pu-

celle».[1] *От нее принято отворачиваться с добродетельным негодованием, рассматривая ее как грязную клевету. Я, разумеется, не возьмусь защищать ее от обвинения в чудовищной неблагопристойности. Задача поэмы была не в том, чтобы изобразить Жанну, а чтобы сразить насмешкой все, что в установлениях и обычаях того времени было справедливо ненавистно Вольтеру. Жанну он сделал смешной, но не ничтожной, и сравнительно не такой уж нецеломудренной. Поскольку же Гомера, святого Петра, святого Дени и храброго Дюнуа он тоже сделал смешными, а других героинь поэмы весьма нецеломудренными, то Жанна, можно сказать, еще легко отделалась. Но, право, похождения персонажей поэмы настолько возмутительны и настолько по-гомеровски лишены даже и намека на историческую достоверность, что те, кто делают вид, будто принимают их всерьез, выглядят Пекснифами.*

Сэмюэл Батлер считал «Илиаду» пародией на греческий ура-патриотизм и греческую религию, написанной пленником или рабом, «Девственница» почти подтверждает батлеровскую теорию. Вольтер вводит Агнес Сорель — любовницу дофина, которую историческая Жанна никогда не встречала. Женщина эта страстно мечтает стать чистейшей и вернейшей из наложниц, но удел ее — беспрерывно попадать в руки распутных недругов и подвергаться грубейшему насилию. Над сценами, где Жанна летит верхом на осле или, застигнутая врасплох в натуральном виде, защищает Агнес мечом и наносит соответствующие увечья обидчикам, — над этими сценами можно смеяться без зазрения совести, они для этого и созданы. Ни один человек в здравом уме не примет их за историческую быль, и их непочтительная скабрезность, быть может, нравственнее увлекательной сентиментальности Шиллера. Разумеется, не стоило Вольтеру делать отца Жанны священником, но уж коли он принимался «давить гадину» (сиречь французскую церковь), то не останавливался ни перед чем.

До поры до времени литературные версии истории Девы носили характер легенд. Но вот Кишера опубликовал в 1841 году доклады о судебном процессе и реабилитации Жанны и поставил все на другие рельсы. Эти подлинные документы пробудили живой интерес к Жанне, чего не смогли сделать ни вольтеровская пародия на Гомера, ни шиллеровская романтическая чепуха. Типичными плодами такого интереса в Америке и Англии явились жизнеописания Жанны, написанные Марком Твеном и Эндру Лангом. Марк Твен буквально поклонялся Жанне, и поклонение

[1] **«Девственница»** *(франц.)*

это началось непосредственно под влиянием Кишера. Позднее еще один гений — Анатоль Франс — в виде протеста против волны энтузиазма, поднятой Кишера, написал «Жизнь Жанны д'Арк», где идеи Жанны он приписывает подсказке духовенства, а военные успехи — ловкости Дюнуа, использовавшего Жанну как mascotte.[1] *Короче говоря, он отказывает Жанне в сколько-нибудь серьезных военных или политических способностях. Эндру рассвирепел и, жаждая крови Анатоля, выпустил свою «Жизнь Жанны», которую следует понимать как корректив к первой. Ланг без труда доказал, что талант Жанны не какая-то противоестественная фикция, объясняемая галлюцинацией, придуманной священниками и солдатами, а простой факт.*

Есть еще и такое легкомысленное толкование: дескать, Анатоль Франс — парижанин из мира искусства, и в его системе взглядов попросту нет места одаренной женщине с твердым умом и твердой рукой, даже если она и заправляет провинциальной Францией и деловым Парижем. Между тем как Ланг шотландец, а каждому шотландцу известно, что в доме верховодит жена. Меня, однако, такое толкование не убеждает. Я не могу поверить, чтобы Анатоль Франс не знал того, что известно всем. Недурно было бы всем знать столько, сколько знал он. В его книге чувствуются разного рода антипатии, но не антижанновские, а антиклерикальные и антимистические, и вообще уж так он был устроен, что не мог поверить в существование реальной Жанны.

Марк-твеновская Жанна, в юбке до полу, скрывающей столько же нижних юбок, сколько их на жене Ноя в игрушечном ковчеге, была попыткой соединить Баярда с Эстер Самерсон из «Холодного дома» с тем, чтобы получить безупречную американскую школьную учительницу, облаченную в доспехи. Ее создатель, как и создатель Эстер Самерсон, попадает в довольно-таки смешное положение, но поскольку он гений, она, несмотря на всю его ослепленность, все-таки сохраняет правдоподобие, только уже как тип ханжи. Ошибочно скорее описание Жанны, а не общая оценка. Эндру Ланг и Марк Твен одинаково задались целью сделать из нее красивую и очень женственную викторианку, оба признают и подчеркивают ее умение руководить, но только ученый шотландец настроен не так романтически, как лоцман с Миссисипи. Но, в конце концов, Ланг по укоренившейся профессиональной привычке скорее критикует, нежели пишет биографии, а Марк Твен откровенно написал биографию в форме романа.

---

[1] Амулет *(франц.)*.

Впрочем, был у них один общий недостаток. Для того чтобы понять историю Жанны, недостаточно понимать характер Жанны, нужно уметь разбираться в обстоятельствах эпохи. В условиях XIX — XX веков Жанна как личность была бы совершенно неуместна; так же неуместна, как если бы она появилась на Пикадилли сегодня в своих доспехах XV века. *Чтобы увидеть ее в настоящем свете, нужно понимать христианство и католическую церковь, Священную Римскую империю и феодализм в том виде, в каком они существовали и понимались в средние века. Если вы путаете средние века с темными веками, если вы привыкли высмеивать вашу тетушку за то, что она носит «средневековые платья» (подразумевая платья, которые были в моде в 90-е годы прошлого века), и абсолютно убеждены в том, что со времен Жанны мир невероятно шагнул вперед как в моральном, так и в техническом плане, то вам никогда не осознать, почему сожгли Жанну, и тем более не вообразить, что и вы, возможно, голосовали бы за ее сожжение, если бы входили в число ее судей. А пока вы не сможете этого вообразить, вы не узнаете самого важного о Жанне.*

Вполне естественно, что на этом у лоцмана с Миссисипи и вышла осечка. Марк Твен, «простак за границей», при виде восхитительных средневековых церквей не испытавший ни малейшего волнения, автор «Янки при дворе короля Артура», где герои и героини средневекового рыцарства — чудаки, увиденные глазами уличного мальчишки, был с самого начала обречен на провал. Эндру Ланг был более начитан, но, так же как для Вальтера Скотта, средневековье для него было скорее цепью увлекательных романов об англо-шотландской границе чем высокой европейской цивилизацией, покоящейся на католической религии. Протестантская закваска обоих писателей, все их воспитание и образование внушили им, что католические епископы, сжигавшие еретиков, были способны на любую подлость; что все еретики были либо альбигойцами, либо гуситами, либо иудеями, либо протестантами с самой безупречной репутацией и что инквизиция была сплошной камерой пыток, изобретенной специально для таких людей в виде подготовки к сожжению, — и только. Соответственно они изображают Пьера Кошона, епископа Бовэского, судью, пославшего Жанну на костер, отъявленным мерзавцем, а все вопросы, заданные им Жанне, «ловушками», нарочно придуманными для того, чтобы поймать и погубить ее. Они не сомневаются в том, что полсотни каноников и докторов права и богословия, которые сидели

рядом с Кошоном в качестве советников-асессоров, были вылитые его копии, разве что сидели на креслах пониже и в других головных уборах.

СУДЬИ ЖАННЫ БЫЛИ СРАВНИТЕЛЬНО БЕСПРИСТРАСТНЫ

На самом же деле англичане угрожали Кошону и поносили его за слишком большую заботливость по отношению к Жанне. Недавно один французский писатель отрицал, что Жанну сожгли, он считает, что Кошон похитил ее и вместо нее сжег кого-то или что-то, а самозванка, впоследствии выдававшая себя в Орлеане и еще где-то за Жанну, вовсе не самозванка, а доподлинная Жанна. Отстаивая свою точку зрения, он даже ухитряется отыскать доказательства пристрастного отношения Кошона к Жанне. Что же касается асессоров, то они вызывают возражение не потому, что они мерзавцы и все на одно лицо, а потому, что они были политическими сторонниками врагов Жанны. Это — веское возражение против всех судов такого рода. Но коль скоро нейтральных трибуналов взять негде, тут уж ничего не поделаешь. Судебное разбирательство, проводимое французскими сторонниками Жанны, было бы таким же неправым, что и суд, который вершили ее французские противники, а смешанный трибунал, который бы состоял поровну из тех и других, завел бы в тупик. К недавним процессам Эдит Кэвелл, которую судил немецкий трибунал, и Роджера Кейсмента (его судил английский) можно предъявить ту же претензию, тем не менее их приговорили к смерти, так как нейтральных трибуналов не нашлось. Эдит, как и Жанна, была заклятой еретичкой,— в разгар войны она объявила всему свету: «Патриотизм — это еще не всё». Она выхаживала раненых врагов и устраивала побеги военнопленным, давая ясно понять, что будет помогать любому беглецу или страдальцу, не спрашивая, на чьей он стороне, на том лишь основании, что все равны перед богом — Томми, Джерри и Питу le poilu.[1] *Дорого бы дала Эдит, чтобы вернуть средние века и чтобы пятьдесят гражданских лиц, сведущих в законах или присягнувших на служение богу, поддерживали двух опытных судей, которые бы расследовали ее дело согласно католическому христианскому закону и путем словопрений, давая ей высказаться, выясняли ее позицию неделю за неделей, на бесконечных заседаниях Совре-*

[1] Французский солдат (шутл.; *франц.*).

менная военная инквизиция была не столь щепетильна. Она покончила с Эдит в один миг, а ее соотечественники, усмотрев тут удобный случай попрекнуть противника за нетерпимость, поставили ей памятник, но остереглись написать на пьедестале «Патриотизм — это еще не всё». За эту подтасовку и за скрытую в ней ложь им еще понадобится заступничество Эдит, когда они, в свою очередь, предстанут перед другим судом, если только небесные власти сочтут, что такие моральные трусы достойны обвинительного заключения.

Проблема не нуждается в дальнейшем обсуждении. Жанну подвергали гонениям, в общем таким же, каким подвергли бы сейчас. Переход от сожжения к повешению или расстрелу можно, конечно, счесть переменой к лучшему. Переход от тщательного расследования согласно принятому закону к безответственному и упрощенному военному терроризму можно счесть переменой к худшему. Но если говорить о терпимости, то суд и казнь в Руане 1431 года вполне могли бы стать событием наших дней. Так что это и на нашей совести. Если бы Жанна попала в наши руки, в сегодняшний Лондон, мы проявили бы по отношению к ней не больше терпимости, чем к мисс Сильвии Пэнкхерст, или к членам секты «странные люди», или к родителям, не пускающим детей в начальную школу, или к любым другим лицам, которые преступают черту, правильно или неправильно проведенную между тем, что терпеть можно и что — нельзя.

ЖАННУ СУДИЛИ НЕ КАК ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПРЕСТУПНИЦУ

Кроме того, процесс Жанны, в отличие от дела Кейсмента, не был национальным политическим процессом. Суды церковные и инквизиционные (в случае с Жанной это была комбинация обоих видов) были судами христианскими, иначе говоря, интернациональными, и судили ее не как предательницу а как еретичку, богохульницу, колдунью и идолопоклонницу. Ее так называемые преступления считались не политическими, совершенными против Англии или бургундской фракции во Франции, а против бога и норм христианской морали. И хотя идея национализма в современном его понимании была настолько чужда средневековой концепции христианского общества, что ее вполне могли вменить в вину Жанне как еще один вид ереси этого, однако, не сделали, и опрометчиво было бы предполагать, чтобы политическая пристрастность собрания асессоров-французов

обратилась бы решительно в пользу чужаков (даже если бы те вели себя во Франции с крайней предупредительностью, а не наоборот) и против француженки, победившей этих чужаков.

Трагическая сторона процесса заключалась в том, что Жанна, как и большинство подсудимых, которым предъявлены обвинения более серьезные, чем простое нарушение десяти заповедей, не понимала, за что ее судят. Она имела гораздо больше общего с Марком Твеном, нежели с Пьером Кошоном. Ее преданность Церкви очень отличалась от преданности епископа и, с его точки зрения, по сути говоря, не выдерживала пристальной критики. Жанна находила радость в утешениях, которые предлагает Церковь натурам чувствительным; исповедь и причастие были для нее наслаждением, по сравнению с которым вульгарные чувственные радости не стоили ничего. Молитва для нее была чудесной беседой с тремя любимыми святыми. Ее набожность казалась чрезмерной людям формально благочестивым, для которых религия — всего лишь обязанность. Но когда Церковь не доставляла ей любимых наслаждений, да еще требовала принять ее, Церкви, истолкование воли господней и поступиться своим, Жанна отказывалась наотрез и давала понять, что, по ее представлениям, католической является та церковь, во главе которой стоит папа Иоанна. Могла ли Церковь это терпеть, когда только что она уничтожила Гуса и наблюдала за деятельностью Уиклифа с возрастающим негодованием, которое привело бы и его на костер, не умри он естественной смертью до того, как гнев обрушился на него — уже посмертно? А между тем ни Гус, ни Уиклиф не были так дерзко непокорны, как Жанна: оба были церковными реформаторами вроде Лютера, тогда как Жанна всегда, подобно миссис Эдди, готова была подменить собою святого Петра, эту скалу, на которой зиждется Церковь, и, подобно Магомету, всегда располагала личным откровением, полученным от бога на каждый случай жизни и пригодным для разрешения любого вопроса.

Чудовищность претензий Жанны явствует из того, что сама она ее не сознавала. Мы называем это непонимание наивностью, ее друзья называли простоватостью. Ее решение встававших перед нею проблем всегда казалось и чаще всего действительно было чрезвычайно здравым и трезвым, и когда оно приходило к ней в форме откровения, для нее это было чем-то само собой разумеющимся. Как могли здравый смысл и нечто само собой разумеющееся казаться ей столь ужасной штукой — ересью? Когда в поле ее зрения попадали конкурентки-пророчицы, она немедленно ополчалась на них, как на лгуний и обманщиц, но считать их еретичками ей и в голову не приходило.

Она находилась в состоянии непрошибаемого невведения относительно мнения Церкви на ее счет, и Церковь не могла выносить дольше ее претензии,— либо надо было сложить свои полномочия, либо дать Жанне место рядом с Троицей при жизни, еще в отроческом возрасте, что было немыслимо. Таким-то образом неудержимая сила встретила на своем пути непоколебимое препятствие и раздула сильнейший жар, который и испепелил бедную Жанну.

Марк и Эндру разделили бы с ней и неведение, и ее участь, если бы за них взялась инквизиция, потому-то их описания суда так же нелепы, как были бы нелепы ее собственные, умей она писать. Об их предположении, что Кошон — заурядный злодей, а вопросы, задаваемые Жанне,— ловушки, можно сказать лишь: да, оно поддержано расследованием, реабилитировавшим ее двадцать пять лет спустя. Однако реабилитация эта так же лжива, как и противоположная процедура, проделанная с Кромвелом реакционными сторонниками Реставрации. Кошона выкопали, и тело его выбросили в сточную канаву. Ничего не было проще, чем обвинить его в подлоге, а весь судебный процесс объявить на этом основании бессмыслицей. Именно этого желали все, начиная от Карла Победоносного, чьи заслуги неразрывно связаны с заслугами Девы, и кончая патриотически и националистически настроенным простонародьем, боготворившим память Жанны. Англичан прогнали, и приговор в их пользу стал бы поруганием трона и патриотизма, который привела в действие Жанна.

Мы отнюдь не захвачены непреодолимым стремлением ни к политическим выгодам, ни к популярности, и поэтому у нас нет оснований для предубежденности. Для нас первый суд сохраняет законную силу, а реабилитацией можно было бы и пренебречь, если бы не огромное количество серьезных показаний, свидетельствующих об обаянии личности Жанны. Но тогда возникает вопрос: каким же образом Церковь перешагнула через вердикт первого суда и канонизировала Жанну пять столетий спустя?

ИСПРАВЛЯЯ СВОИ ПРОМАХИ, ЦЕРКОВЬ НЕ ТЕРЯЕТ АВТОРИТЕТА

А перешагнула она с большой легкостью. Для католической церкви в значительно большей степени, чем для закона, нет зла, которое нельзя было бы исправить. Она не считается с личной позицией, подобной позиции Жанны,— преобладающая

ценность индивидуальной позиции составляет суть протестантизма. Однако и католическая церковь находит место для личной позиции in excelsis[1]*: она допускает, что высшая мудрость может прийти к индивидууму в форме божественного откровения. Если найдется достаточно подтверждающих данных, такого индивидуума можно объявить святым. Коль скоро откровение может либо внезапно просветить индивидуума и повлиять на его позицию, либо снизойти на него в виде наставления, услышанного непосредственно из уст зримого посланца небес, то святого можно определить как лицо, наделенное героической добродетелью, чье частное мнение отмечено божественной печатью. Многие прогрессивные святые, особенно Франциск и Клара, при жизни конфликтовали с Церковью, вследствие чего даже вставал вопрос: святые они или еретики. Франциск, проживи он дольше, вполне мог угодить на костер. Так что нет ничего невозможного в том, чтобы некое лицо отлучили от церкви как еретика, а по размышлении причислили к лику святых. Отлучение, объявленное провинциальным церковным судом, не принадлежит к числу актов, признаваемых католической церковью непогрешимыми. Пожалуй, стоит сообщить моим читателям-протестантам, что знаменитый догмат о непогрешимости папы — это еще самая скромная из ныне существующих претензий такого рода. По сравнению с нашими непогрешимыми демократиями и медицинскими консилиумами, непогрешимыми астрономами, судьями и парламентами, папа, можно сказать, на коленях повергаясь в прах перед троном господа, кается в своем невежестве и робко молит, чтобы лишь по поводу считанных исторических дел, относительно которых у него, очевидно, больше источников информации, чем у прочих, его решение было принято как окончательное. Церковь сможет, а в один прекрасный день и захочет канонизировать Галилея, не поступившись непогрешимостью, приписываемой Книге Иисуса простыми душами, в ком рациональная вера в некие главные истины живет вместе с совершенно иррациональной верой в летопись деяний Иисуса, словно это трактат по физике. Пока Церковь, очевидно, еще подождет канонизировать Галилея, хотя это был не самый худший из ее поступков. Но зато Жанну Церковь сумела канонизировать, не поступившись ничем: Жанна-то ведь никогда не сомневалась в том, что солнце движется вокруг Земли — сколько раз ей приходилось это видеть!*

И все-таки сожжение Жанны и ей самой, и совести человечества нанесло большой вред. Tout comprendre, c'est tout par-

[1] В избытке *(лат.)*.

donner[1] *— сентиментальное кредо дьявола — не может оправдать этого поступка. И даже если мы допускаем, что трибунал был не только честным и законным, но и поразительно милосердным — избавил Жанну от пытки, полагавшейся за упрямое нежелание принять присягу; что Кошон был куда более выдержанным и добросовестным священником и законником, чем любой английский судья, выступающий в политическом процессе, в котором затронуты его партийные и классовые предрассудки, — все равно, сожжение Жанны д'Арк — это ужас, и историк, который возьмется оправдывать его, способен оправдать что угодно. Недаром жители Маркизовых островов отказываются верить, что англичане не съели Жанну; в этом неверии заключается решающая критика физической стороны дела. Кто же, возражают они, станет возиться — поджаривать человека, если не собирается его съесть? Им не взять в толк, что это делается ради удовольствия. Поскольку мы не можем им ответить ничего, за что бы нам не пришлось краснеть, давайте-ка устыдимся нашего более сложного и изощренного варварства, прежде чем распутывать дело дальше и выяснять, какие оно еще содержит для нас уроки.*

ЖЕСТОКОСТЬ СОВРЕМЕННАЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ

Прежде всего избавимся от представления, будто физическая жестокость сожжения сама по себе играет особо важную роль. Жанну сожгли так же, как сжигали в те времена десятки менее значительных еретиков. Когда Христа распяли, он лишь разделил участь тысяч других, ныне забытых злоумышленников. В смысле физических страданий у Жанны и Христа нет никакого преимущества: известны гораздо более ужасающие виды казней, не говоря уже о муках так называемой естественной смерти, особенно когда конец тяжелый.

Жанну сожгли более пятисот лет назад. Через триста с лишним лет (другими словами, всего за сто лет до моего рождения) на Стивен Грин в моем родном Дублине сожгли женщину за чеканку фальшивых монет, что считалось государственной изменой. В предисловии к недавно вышедшей книге об английских тюрьмах, находящихся в ведении местных властей (авторы Сидней и Беатрис Уэбб), я упоминаю, что уже взрослым человеком присутствовал на двух концертах, которыми дирижировал сам Рихард Вагнер, а Рихард Вагнер еще мо-

[1] Все понять — значит все простить *(франц.)*.

лодым человеком видел, как люди валом валили поглядеть на то, как будут колесовать солдата, причем из двух способов этого варварского рода казни был выбран наиболее жестокий. Он это видел и свернул в сторону. Пишу я также, что казнь через повешение, вытягивание жил и четвертование, о которой в подробностях и говорить невозможно, была отменена так недавно, что найдутся еще и сейчас люди, когда-то к этой казни приговоренные. У нас до сих пор порют преступников, и мы требуем, чтобы пороли почаще. Но и самые чудовищные из этих зверств не навлекали на жертву столько страданий, унижений, не вызывали такого чувства бессмысленно потерянной жизни, как наши современные тюрьмы, особенно образцовые; и, насколько я могу судить, это возбуждает так же мало угрызений совести, как и в средние века сожжение еретиков. Причем у нас нет даже оправдания, что мы получаем от наших тюрем такое же удовольствие, какое получали в средние века от костров, колес и виселицы. Жанна, когда ей пришлось выбирать между тюрьмой и костром, рассудила по-своему, выбрав костер. Таким образом, она лишила католическую церковь возможности заявить о своей непричастности к ее смерти и свалить всю вину на светскую власть. Церкви следовало ограничиться отлучением. Тут она была в своем праве — Жанна отказалась признать ее авторитет или согласиться на ее условия. И Церковь по справедливости могла сказать: «Ты чужая нам, ступай, ищи себе подходящую религию или создай ее сама». Церковь не имела права говорить: «Теперь, когда ты отреклась, можешь вернуться в наше лоно. Но до конца жизни ты останешься в темнице». Церковь, к несчастью, не поверила, что, кроме нее самой, существует иная душеспасительная религия. Церковь, как и все церкви вплоть до наших дней, была уже глубоко развращена примитивным калибанизмом (в браунинговском смысле) или желанием умилостивить грозное божество с помощью мук и жертвоприношений. Она применяла жестокость не ради жестокости, а ради спасения души Жанны. Жанна, однако, полагала, что спасение ее души — ее собственное дело, а вовсе не каких-то gens d'église.[1] *Употребив этот термин с таким недоверием и презрением, она проявила себя антиклерикалкой, притом, хотя и в зачаточной форме, столь же бескомпромиссной, как Вольтер и Анатоль Франс. Скажи она дословно следующее: «Долой воинствующую церковь и ее чиновников в черных сутанах! Я признаю только церковь, торжествующую на небесах»,— она и тогда не сформулировала бы свой взгляд более четко.*

---

[1] Церковники *(франц.)*.

Я не хочу, чтобы из моих слов заключили, будто нельзя быть одновременно антиклерикалом и добрым католиком. Все папы-преобразователи были страстными антиклерикалами, грозой для церковников. Все великие ордена произросли на почве недовольства церковниками: францисканский возник из-за снобизма священников, доминиканский — из-за их лени и лаодикианизма, иезуитский — из-за равнодушия, невежества и недисциплинированности священнослужителей. Самый фанатичный из ольстерских оранжистов или из лестерских буржуа-евангелистов (по описанию мистера Генри Невинсона) — просто Галлион по сравнению с Макиавелли, который, не будучи протестантом, был тем не менее яростным антиклерикалом. Любой католик способен начисто отвергнуть, а многие и отвергают, всех церковников порознь и вместе, видя в них ленивых, праздных пьяниц и распутников, недостойных своей великой Церкви и своего звания пастырей людского стада. Но сказать, что спасение людских душ не есть дело церковников, значит сделать еще один шаг и перейти Рубикон. Что Жанна фактически и сделала.

КАТОЛИЦИЗМ НЕДОСТАТОЧНО КАТОЛИЧЕСКИЙ

Итак, если допустить (а приходится это сделать), что сожжение Жанны было ошибкой, мы должны настолько расширить границы католицизма, чтобы он мог включить ее в свою программу. Наши церкви обязаны признать, что никакой официальной земной организации, назначение которой не связано с особыми умственными способностями (а перед лицом фактов и истории воинствующая церковь ничем иным похвастаться не может), никак не выдержать соревнования с личной позицией гениев,— разве что, по редкой случайности, гением окажется папа, и то он должен быть неслыханно властным папой. Церкви должны сами научиться смирению, а не только учить ему других. Апостолическая преемственность не достигается и не ограничивается одним возложением рук: слишком часто языки пламени обрушиваются на язычников и отверженных и слишком часто помазанные церковники представали перед потрясенной историей в виде погрязших в мирских делах мерзавцев. Когда церковь воинствующая ведет себя так, будто она уже торжествующая, она и совершает грубейшие ошибки, как в случае с Жанной, Бруно, Галилеем и прочими, тем отталкивая от себя свободомыслящих. А церковь, в которой нет места для свобо-

домыслящих, которая, более того, не воодушевляет и не награждает свободно мыслящих абсолютной верой в то, что мысль, когда она действительно свободна, сама, по своим законам, должна найти путь, ведущий в лоно Церкви,— такая церковь не имеет будущего в современной культуре. Более того, она явно не верит в научную ценность собственных догматов и склоняется к еретическому убеждению, что теология и наука — два различных и даже противоположных движения, соперничающих друг с другом за своих приверженцев.

Передо мной лежит письмо католического священника: «В вашей пьесе,— пишет он,— я вижу драматическое воплощение конфликта между королевской, священнической и пророческой властью — силами, которые раздавили между собой Жанну. По моему мнению, не победа одной из этих сил над двумя другими принесет мир и господство святых в царстве божьем, а их плодотворное взаимодействие в тяжком, но благородном состоянии напряжения». Сам папа не мог бы лучше сказать. Я тоже. Мы должны согласиться на это напряжение и поддерживать его с благородством, не поддаваясь соблазну сжечь нить и тем облегчить это напряжение. Именно таков урок, преподанный Жанной Церкви, и то, что его своей рукой священник сформулировал на бумаге, дает мне смелость утверждать: канонизация Жанны была великолепным католическим жестом — Римская церковь канонизировала протестантскую святую! Но его особый смысл и все его значение не проявляются до тех пор, пока он не воспринят и не осознан именно как жест. Если какой-нибудь простак-священник, которому эта мысль недоступна, возразит, что задумано все это было не так, я напомню ему, что все-таки Церковь находится в руках господа, а не господь в руках Церкви, как воображают простаки-священники. Так что, если он будет чересчур уверенно ручаться за намерения бога, его могут спросить: «Нисходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны?» Жанна дала старозаветный ответ: «Если он и лишит меня жизни, я все-таки буду верить в него. Но я буду отстаивать свой обычай перед ним».

ЗАКОН ПЕРЕМЕНЫ ЕСТЬ ЗАКОН БОГА

Отстаивая свой обычай, Жанна, подобно Иову, утверждала, что считаться нужно не только с богом и церковью, но и с обращенным в плоть словом, сиречь с неусредненным индивидуумом, олицетворяющим собой жизнь — быть может, на высшем уровне человеческого развития, быть может, на низшем,

но, во всяком случае, не на среднем математическом. Надо сказать, что теория Церкви не обожествляет среднего демократического: члены Церкви просеиваются по откровенному иерархическому принципу до тех пор, пока в конце процесса индивидуум не достигнет высшей ступени как наместник Христа. Но если проследить процесс, окажется, что на всех последовательных ступенях отбора избранников высшие избираются низшими (кардинальный порок демократии), и в результате великие папы столь же редки и случайны, как и великие монархи, так что подчас претенденту на трон и ключи надежнее проходить под маркой выжившего из ума морибундуса, чем энергичного святого. В самом лучшем случае лишь немногие папы были или могли быть канонизированы без занижения уровня святости, установленного самостоятельно избирающими себя святыми.

Но другого результата и ожидать было бы безрассудно: не может официальная организация, распоряжающаяся духовными потребностями миллионов мужчин и женщин, большей частью нищих и невежественных, успешно соревноваться со Святым Духом в выборе патронов, ибо он с непосредственной безошибочностью осеняет индивидуума. Даже если целая коллегия кардиналов будет молиться о том, чтобы вдохновение свыше помогло им в выборе. Быть может, сознательная молитва низших и заключается в том, чтобы их выбору дано было пасть на тех, кто достойнее их, но подсознательное-то желание, обусловленное инстинктом самосохранения, состоит в том, чтобы найти для своих целей надежного исполнителя. Святые и пророки, хотя случайно и занимают иногда то или иное официальное положение и должность, всегда выбирают себя сами, как Жанна. И поскольку ни Церковь, ни Государство по причине их обмирщения не способны гарантировать даже признания таких самовольных миссий, нам ничего не остается, как сделать вопросом чести наивысшую (в пределах разумного) терпимость к ереси, ибо всякая новая ступень развития человеческой мысли и поведения на первых порах неизбежно воспринимается как ересь и беззаконие. Короче говоря, хотя общество в целом и основано на нетерпимости, всякий прогресс основан на терпимости или на признании простого факта: закон эволюции как раз и есть ибсеновский закон перемены. А поскольку закон бога (какой бы смысл в эти слова ни вкладывать), который в наше время может вселять веру, не подверженную влиянию науки, есть закон эволюции, то из этого следует, что закон бога есть закон перемены, и когда церкви ополчаются на перемену, как таковую, они ополчаются на закон бога.

Когда знаменитого врача Эбернети спросили, почему он предается всем вредным для здоровья привычкам, против которых сам же предостерегает пациентов, он ответил, что выполняет функции указательного столба: всегда указывает путь, но сам туда не идет. Он мог бы добавить: и не заставляет путника туда идти, а также не мешает искать другую дорогу. К сожалению, наши клерикальные указательные столбы, если только они обладают политическим могуществом, обязательно направляют путника в определенную сторону. Пока Церковь была не только духовной, но и светской властью, пока она еще долгое время, насколько могла, оказывала влияние и воздействие на светскую власть, она добивалась ортодоксии гонениями, которые были тем более жестоки, чем лучше были ее намерения. В наши дни, когда врач занял место священника и может фактически делать с парламентом и прессой что захочет, пользуясь слепой верой в доктора, сменившей куда более критическую веру в приходского священника,— в наши дни юридическое принуждение, в силу которого больной обязан брать у врача любой вредоносный рецепт, доведено до такой степени, что оно ужаснуло бы инквизицию и потрясло бы архиепископа Лода. Наше легковерие гораздо хуже, чем легковерие средних веков, потому что у священника не было той прямой денежной заинтересованности в наших грехах, какую питает доктор по отношению к нашим болезням: в отличие от частного, коммерческого врача пастырь не голодал, когда с паствой было все в порядке, и не преуспевал, когда она гибла. К тому же средневековый клирик верил, что после смерти с ним произойдет нечто в высшей степени неприятное, если он будет действовать без зазрения совести,— вера, ныне, по существу, утраченная лицами, получившими догматическое материалистическое образование. Наши профессиональные корпорации — тред-юнионы — не проклянешь, у них нет души. Но скоро они вынудят нас напомнить им, что зато у них имеется тело, и его можно пнуть. Ватикан, тот никогда не был бездушным; в худшем случае он представлял собой политическую организацию, поставившую своей целью путем заговора добиться, чтобы церковь стала высшей силой, не только духовной, но и светской. Поэтому-то вопрос, поставленный сожжением Жанны, по-прежнему остается жгучим, хотя сейчас решение его не повлечет за собой столь сенсационных последствий. Вот почему я и занимаюсь этим вопросом. Если бы речь шла просто об историческом курьезе, я не потратил бы на него и пяти минут времени.

Чем больше мы вникаем в этот вопрос, тем сложнее он становится. При первом рассмотрении мы склонны согласиться с мнением, что Жанну следовало отлучить от церкви и затем предоставить ей идти своим путем. Правда, сама она яростно протестовала бы против такой жестокости — против того, чтобы у нее отняли духовную пищу, ибо исповедь, отпущение грехов и причащение тела господня составляли ее главные жизненные потребности. Такая сильная личность могла бы и преодолеть это затруднение, как англиканская церковь преодолела буллы папы Льва, — основать собственную церковь и провозгласить ее оплотом истинной исконной веры, от которой отступили ее гонители. Но поскольку в те времена подобный поступок, с точки зрения Церкви и Государства, был насаждением пагубы и анархии, то для того чтобы проявить терпимость, потребовалась бы такая большая вера в свободу, какая недоступна по природе политику и священнику. Легко сказать, что Церковь должна была дождаться, когда предполагаемое зло проистечет, а не считать заведомо, что оно проистечет, и гадать, в чем оно будет состоять. Казалось бы, чего проще. Но что если бы нынешняя администрация, ведающая народным здравоохранением, в вопросах санитарии предоставила бы людей целиком самим себе, говоря: «Нам дела нет до канализации и до вашего о ней мнения, но если заразитесь оспой или сыпным тифом, мы подадим на вас в суд и, следуя примеру властей в батлеровском Едгине, постараемся, чтобы вас очень сурово наказали»? Да такую администрацию либо поместили бы в дом умалишенных, либо напомнили ей, что, отказываясь соблюдать правила санитарии, А на расстоянии двух миль может убить ребенка у Б или вызвать эпидемию, во время которой могут погибнуть наиболее сознательные блюстители чистоты.

Нам придется смириться с тем, что общество основано на нетерпимости. Бывают, конечно, вопиющие проявления нетерпимости, но они характерны для наших дней так же, как и для средних веков. Типичный пример из современности — обязательные прививки, заменившие собой обязательное крещение. Однако против них возражают потому, что считают их диким, антинаучным, а также злонамеренным и антисанитарным шарлатанством, а вовсе не потому, что полагают неправильным насильно заставлять людей предохранять детей от болезни. Противники обязательности хотели бы сделать из нее преступление и, возможно, преуспеют в этом. И тогда это станет проявлением такой же нетерпимости, что и принцип

обязательности. Ни пастеровцы, ни их противники – блюстители санитарии – не дают родителям растить своих детей голыми, хотя и это течение тоже имеет своих внушающих доверие защитников. Мы можем сколько угодно болтать о терпимости, но обществу приходится проводить границу между допустимым поведением и безумием или преступлением, хотя так легко ошибиться и принять мудреца за сумасшедшего и спасителя за богохульника. Мы все равно всегда будем подвергать кого-то гонениям, карая всеми наказаниями, вплоть до смерти. Умерить опасность гонений мы можем только так: во-первых, преследовать с большой осторожностью и, во-вторых, помнить, что если не предоставлять свободу шокировать сторонников условностей и не отдавать себе отчета в том, сколь много значит оригинальность, индивидуальность и эксцентричность, это, бесспорно, приведет к загниванию, а это подразумевает подавление сил эволюции, которые в конце концов вырвутся наружу с невиданной и, быть может, разрушительной необузданностью.

ВАРИАНТЫ ТЕРПИМОСТИ

Степень терпимости в каждый данный момент зависит от напряженности условий, при которых обществу приходится поддерживать свою сплоченность. В военное, например, время мы запрещаем проповеди евангелия, сажаем в тюрьму квакеров, затыкаем рот газетчикам и объявляем тяжким преступлением освещенные в ночную пору окна. Под угрозой вторжения французское правительство в 1792 году отрубило четыре тысячи голов, главным образом, по причинам, которые в условиях устойчивого мира не побудили бы ни одно правительство даже собаку усыпить. В 1920 году британское правительство сжигало и резало народ по всей Ирландии, преследуя сторонников конституционных перемен, которые само тут же вынуждено было осуществить. Позднее фашисты вытворяли в Италии то же, что черно-пегие в Ирландии, с некоторыми, до нелепости жестокими вариациями, и вызвано это было неумелой попыткой социалистов произвести индустриальную революцию, хотя разбирались они в социализме еще меньше, чем капиталисты в капитализме. В 1917 году в Соединенных Штатах во время паники, вызванной большевистской революцией в России, с невероятной жестокостью преследовали русских. Подобные примеры можно было бы множить и множить, но и этих достаточно, чтобы показать, что между максимально благосклонной терпимостью

и безжалостным нетерпимым терроризмом лежит целая шкала градаций, на протяжении которой терпимость то поднимается, то падает; они показывают также, что нет ни малейших оснований для самодовольства девятнадцатого столетия, убежденного, что оно более терпимо, чем пятнадцатое, и что такое событие, как казнь Жанны, не могло произойти в наш просвещенный век. Тысячи женщин, из которых каждая в тысячу раз менее опасна и страшна для наших правительств, чем Жанна была для правительства своего времени, за последние десять лет истреблены, уморены голодом, лишены крова за время гонений и террора в процессе крестовых походов, преследующих намного более тиранические цели, нежели средневековые крестовые походы, которые не предполагали ничего более грандиозного, чем отвоевать гроб господень у сарацинов. Инквизиция и ее английский заменитель — Звездная палата, как таковые, вышли из употребления. Но могут ли современные заменители инквизиции — особые трибуналы и комиссии, карательные экспедиции, приостановка закона о неприкосновенности личности (habeas corpus), введение военного и малого осадного положений и прочее в том же роде,— могут ли они похвалиться тем, что жертвам их был предоставлен такой же справедливый суд, такой же хорошо продуманный свод законов, регулирующий ход процесса, или такой же добросовестный судья, настаивающий на строгой законности судопроизводства, какие были предоставлены Жанне инквизицией и всем духом средневековья, в то самое время, когда страна находилась в напряженнейших условиях внутренней и внешней войны? У нас она не добилась бы ни суда, ни закона, кроме закона об обороне государства, отменяющего всякую законность, да в качестве судьи получила бы, в лучшем случае, равнодушного майора, а в худшем — служителя правосудия в горностае и пурпуре, которому терзания такого высокообразованного служителя Церкви, как Кошон, показались бы нелепыми и недостойными джентльмена.

КОНФЛИКТ МЕЖДУ ГЕНИЕМ И ДИСЦИПЛИНОЙ

Уяснив себе, таким образом, суть вопроса, рассмотрим теперь то особое свойство психики Жанны, из-за которого с ней было не справиться. Что делать, с одной стороны, с правителями, которые не объясняют мотивов своих приказов, и, с другой стороны, с людьми, которым не понять мотивов, если им и объяснить их? Управление миром — политическое, инду-

стриальное и семейное — осуществляется, главным образом, путем отдачи и выполнения приказов именно на таких условиях. «Не спорь, делай как тебе велено»,— говорится не только детям и солдатам, но фактически всем вообще. К счастью, большинство людей и в мыслях не имеют спорить: они рады-радешеньки, что за них кто-то думает. А наиболее талантливым и независимым мыслителям достаточно смыслить в своей узкой области. В других же областях они с полным доверием попросят указаний у полицейского или совета у портного и примут их без всяких объяснений.

И все-таки должен же быть какой-то резон в том, что приказ подлежит выполнению. Ребенок подчиняется родителям, солдат — офицеру, философ — вокзальному носильщику и рабочий — мастеру, причем все — беспрекословно, так как повсеместно принято считать, что отдающие приказания компетентны, уполномочены и даже обязаны их отдавать, и так как в неожиданностях повседневной жизни нет времени на уроки и объяснения — и некогда оспаривать правильность приказов. Такое повиновение столь же необходимо для непрерывного действия нашей социальной системы, как и вращение Земли необходимо для смены дня и ночи. Но повиновение это совсем не так стихийно, как кажется: его следует очень тщательно подготавливать и поддерживать. Епископ покорен воле короля, но пусть попробует приходский священник отдать ему приказание, хотя бы и нужное, и разумное,— епископ, забыв свой сан, тут же обзовет того наглецом. Чем покорнее человек повинуется узаконенной власти, тем ревнивее оберегает свое самолюбие, не допуская, чтобы им командовал кто-то, властью не облеченный.

А теперь, держа все это в голове, рассмотрим карьеру Жанны — деревенской девушки, властной лишь над овцами и свиньями, собаками и курами, да еще до некоторой степени над работниками, которых иногда нанимал отец, но больше ни над кем. За пределами крестьянского двора не было у нее никакой власти, никакого престижа, никакого права на минимальное почтение. И однако она командовала всеми подряд — от собственного дяди до короля, архиепископа и генерального штаба. Дядюшка повиновался ей, как овечка, и отвел ее в замок к коменданту. Тот, когда она начала им командовать, попытался сперва отстаивать свои права, но не выдержал и быстро покорился. И так далее, вплоть до короля. Это невыносимо раздражало бы, если бы даже приказания ее предлагались как рациональный выход из безвыходного положения, в каком тогда очутились лица, стоявшие выше ее. Так нет же, они предлагались совсем не так. И предлагались вовсе не как изъявление не-

преклонной и деспотичной воли Жанны. Не «Так велю я», а всегда: «Так велит бог».

ЖАННА – ВЫРАЗИТЕЛЬНИЦА ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ ИДЕИ

У вождей, провозглашающих эту идею, с одними людьми хлопот никаких, с другими – не оберешься. Первые считают их посланцами бога, вторые – нечестивыми обманщиками,– равнодушное отношение им не грозит. В средние века повсеместная вера в колдовство особенно усиливала этот контраст, ибо, если случалось явное чудо (как, например, под Орлеаном, когда вдруг переменился ветер), для доверчивых оно служило доказательством божественности миссии Жанны, а для скептиков – доказательством ее договора с дьяволом. На протяжении всей своей карьеры Жанне приходилось опираться на тех, кто видел в ней ангела во плоти, в борьбе с теми, кто не только возмущался ее самонадеянностью, но и фанатически ненавидел ее за ведовство. К этой ненависти добавим еще крайнее раздражение всех не веривших в «голоса» и видевших в ней лгунью и обманщицу. Действительно, есть от чего прийти в бешенство государственному деятелю или командующему, или королевскому фавориту: над ними поминутно брала верх или отнимала монаршую благосклонность наглая девчонка, выскочка, которая злоупотребляла легковерием толпы и тщеславием и наивностью инфантильного принца, используя многочисленные благоприятные случаи, сходившие за чудеса у людей доверчивых. Успех Жанны не только обострил зависть, высокомерие и честолюбивое чувство соперничества у натур низких, но даже и среди дружески настроенных, умевших мыслить критически развивалось вполне оправданное скептическое и недоверчивое отношение к ее способностям, так как они имели полную возможность наблюдать ее явное невежество и опрометчивость. А поскольку она отвечала на все возражения и критические замечания не доводами и убеждениями, а категорической ссылкой на волю господа и на особое его доверие к ней, то всем, кто не был ею ослеплен, она, вероятно, казалась такой невыносимой, что лишь непрерывная цепь ошеломляющих успехов на военном и политическом поприще спасала ее столько времени от ярости, которая в конце концов ее уничтожила.

НЕПРЕРЫВНАЯ ЦЕПЬ УСПЕХОВ — ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ТОРЖЕСТВА ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ ИДЕИ

Но чтобы выковать такую цепь, ей пришлось бы совместить в своем лице короля, архиепископа Реймского, Бастарда Орлеанского и себя самое в придачу. А это было нереально. С того момента, как провалилась попытка Жанны заставить Карла вслед за коронацией накинуться на Париж, песенка ее была спета. Оттого, что она настаивала на этом, когда король и окружение робко и безрассудно мечтали поладить с герцогом Бургундским и вступить с ним в союз против Англии, она превратилась для них в несносную помеху. С той поры ей оставалось только караулить около очередного поля боя, выжидая удобный случай, когда можно будет подбить капитанов на решительные действия. Но удобный случай выпал противнику: Жанну захватили в плен бургундцы, осаждавшие Компьен. И тут Жанна сразу обнаружила, что в политическом мире у нее нет ни одного друга. Если бы ей тогда удалось избежать плена, она, вероятно, сражалась бы до тех пор, пока англичане не ушли из Франции, после чего ей пришлось бы отряхнуть придворный прах со своих ног и удалиться в Домреми, как Гарибальди пришлось удалиться на Капри.

СОВРЕМЕННЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ИСТОРИИ ЖАННЫ

Вот, пожалуй, и все, что мы можем позволить себе сказать о прозаической стороне истории Жанны. Романтическая же сторона ее возвышения, трагедия ее казни и комедия последующих попыток исправить эту роковую ошибку относятся уже к моей пьесе, а не к предисловию: оно призвано ограничиться трезвым изложением исторических фактов. А что сейчас такого исторического очерка очень не хватает — видно, если проглядеть любой из наших биографических справочников стандартного типа. Они аккуратно перечисляют данные о визите Жанны в Вокулер, о помазании Карла в Шиноне, о снятии осады с Орлеана и последующих битвах, о коронации в Реймсе, о пленении Жанны при Компьене, а также о суде и казни в Руане, перечисляют все даты и имена участников событий. Но все эти справочники спотыкаются на одном и том же — мелодраматической легенде о негодном епископе, о попавшей в ловушку деве и всем прочем. Куда меньше они вводили бы в заблуждение людей, если бы ошибались в фактах, но правильно их освещали. Ме-

жду тем они иллюстрируют следующую, слишком редко принимаемую во внимание, истину: манера мыслить меняется так же, как манера одеваться, и большинству людей трудно, а то и невозможно мыслить иначе, чем принято в их время.

ИСТОРИЯ ВСЕГДА УСТАРЕВАЕТ

Вот почему, кстати, детей никогда не обучают современной истории. Учебники истории рассказывают о временах отдаленных, образе мыслей устаревшем и событиях, которые не имеют аналогий в настоящем. Детям, например, теперь говорят правду про Вашингтона и лгут про Ленина. Во времена Вашингтона им лгали про Вашингтона и говорили правду про Кромвела. В пятнадцатом и шестнадцатом столетиях детям лгали про Жанну, так что пора бы им наконец узнать о ней правду. К сожалению, вранье про Жанну не прекратилось и тогда, когда устарели политические обстоятельства. Благодаря Реформации, которую Жанна неосознанно предвосхитила, вопросы, вставшие в связи с ее историей, до сих пор остаются жгучими (в Ирландии и сейчас жгут дома); в результате Жанна всегда оставалась поводом для антиклерикального вранья, для сугубо протестантской лжи и для римско-католического замалчивания ее неосознанного протестантизма. Правда застревает у нас в глотке вместе со всеми соусами, которыми ее приправляют, и проглотить эту правду нам удастся, только когда ее поднесут без всякого соуса.

РЕАЛЬНАЯ ЖАННА КАЖЕТСЯ НАМ НЕДОСТАТОЧНО НЕОБЫКНОВЕННОЙ

Как ни проста вера, которую исповедовала Жанна, ее с презрением отвергает антиметафизическая цивилизация XIX века, сохраняющая свою силу в Англии и Америке и обладающая тиранической властью во Франции. Мы не ударяемся, как современники Жанны, в другую крайность и не шарахаемся от нее, как от ведьмы, продавшейся дьяволу,— мы не верим в дьявола и возможность торговых сделок с ним. Все-таки наше легковерие хоть и велико, но не безгранично, и его запас сильно израсходован на медиумов, ясновидцев, хиромантов, месмеристов, последователей «христианской науки», психоаналитиков, толкователей электрических вибраций, терапевтов всех школ, зарегистрированных и неофициальных; астрологов, астрономов, со-

общающих нам, что солнце удалено от нас почти на сто миллионов миль и что Бетейгейзе в десять раз больше всей Вселенной; на физиков, которые сопоставили величину Бетейгейзе с бесконечно малой величиной атома, и на кучу прочих современных чудотворцев, чьи чудеса в средневековом мире вызвали бы взрыв саркастического смеха. В средние века люди думали, что Земля плоская, и они располагали, по крайней мере, свидетельством собственных органов чувств. Мы же считаем ее круглой не потому, что среди нас хотя бы один из ста может дать физическое обоснование такому странному убеждению, а потому, что современная наука убедила нас в том, что все очевидное не соответствует действительности, а все фантастичное, неправдоподобное, необычайное, гигантское, микроскопическое, бездушное или чудовищное оправдано с точки зрения науки.

Не поймите, между прочим, будто я хочу сказать, что Земля плоская или что, благодаря нашему потрясающему легковерию, мы каждый раз заблуждаемся или поддаемся на обман. Нет, я только защищаю мой век от обвинения в том, что у него меньше воображения, чем у средневековья. И утверждаю, что XIX век и еще в большей степени XX заткнул за пояс XV по части пристрастия к чудесам и всему сверхъестественному, к святым, пророкам, волшебникам, монстрам и всякого рода сказкам. В последнем издании Британской энциклопедии объем непостижимого, по сравнению с вызывающим безоговорочное доверие, много больше, чем в Библии. В смысле романтического легковерия средневековые доктора теологии, не бравшиеся установить, сколько ангелов могут уместиться на кончике иглы, в подметки не годятся современным физикам, которые с точностью до биллионной доли миллиметра рассчитали положение и размещение электронов в атоме. Ни под каким видом не стал бы я подвергать сомнению точность этих расчетов или само наличие электронов (как бы ни понимать, что это такое). Участь Жанны служит для меня предостережением против подобной ереси. Но почему те, кто верят в электроны, считают себя менее легковерными, чем те, кто верил в ангелов,— это для меня загадка. И если они отказываются верить вместе с руанскими заседателями 1431 года в то, что Жанна была ведьмой, то не по причине фантастичности этого утверждения, а по причине недостаточной его фантастичности.

СЦЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ

Историю Жанны читатель найдет в следующей далее пьесе. В ней содержится все, что надо знать о Жанне. Но поскольку пьеса написана для сцены, мне пришлось впихнуть в три с половиной часа целый ряд событий, которые в реальной истории происходили на протяжении четырежды трех месяцев, ибо театр навязывает нам единство времени и места, чего Природа в своей безудержной расточительности не соблюдает. Так что читатель не должен предполагать, будто Жанна действительно в два счета заставила Роберта де Бодрикура плясать под свою дудку или что отлучение, покаяние, рецидив ереси и смерть на костре совершились в каких-нибудь полчаса. И мои притязания не идут дальше того, что некоторые современники Жанны в моем драматическом изображении чуть больше похожи на оригиналы, чем мнимые портреты всех тех пап, начиная от святого Петра (и далее, через темные века), которые до сих пор торжественно висят в Уффици во Флоренции (во всяком случае, висели, когда я там был в последний раз). Мой Дюнуа с равным успехом мог бы подойти на роль герцога Алансонского. Оба оставили описания Жанны, до того схожие между собой, что, поскольку человек, описывая другого, бессознательно описывает самого себя, я сделал вывод о сходстве душевного склада этих добродушных молодых людей. Поэтому я слил эту парочку воедино, состряпав из них одного персонажа, и таким путем сэкономил театральному менеджеру одно жалованье и один комплект доспехов. Портрет Дюнуа, сохранившийся в библиотеке Шатодена, дает некоторую пищу воображению, но в общем-то я знаю об этих людях и обо всем их круге не больше, чем Шекспир знал о Фолконбридже и герцоге Австрийском или о Макбете и Макдуфе. Ввиду всего того, что они совершили в истории и должны повторить снова в пьесе, я могу только сочинить для них подходящие характеры в духе Шекспира.

ПРОСЧЕТ В ЕЛИЗАВЕТИНСКОЙ ДРАМЕ

Я, однако, располагаю одним преимуществом перед елизаветинцами. Когда я пишу о средних веках, они передо мной как на ладони, ибо их, можно сказать, открыли заново в середине XIX века после периода забвения лет этак в четыреста пятьдесят. Возрождение античной литературы и искусства в XVI ве-

ке и бурный рост капитализма совместно похоронили средние века. Их воскрешение — это второй Ренессанс. Должен сказать, что в шекспировских исторических пьесах нет и признака атмосферы средневековья. Его Джон Гант прямо этюд, написанный с Дрэйка в старости. Хотя Шекспир по фамильной традиции был католиком, его персонажи — в высшей степени протестанты: они индивидуалисты, скептики, эгоцентрики во всем, кроме как в делах любовных, но даже и тут они себялюбивы и сосредоточены на собственном чувстве. Его короли — не государственные деятели; его кардиналы чужды религии. Человек несведущий может прочитать его пьесы от корки до корки и так и не узнать, что мир, в конечном счете, управляется силами, которые находят свое воплощение в определяющих эпохи религиях и законах, а вовсе не вульгарно честолюбивыми личностями, охочими до драк. Божество, которое лепит наши судьбы, как бы мы потом ни обтесывали их по-своему, если и упоминается в фаталистическом смысле, то сразу же забывается, словно мимолетное смутное ощущение. Для Шекспира, как и для Марка Твена, Кошон был бы тиран и грубиян, а не католик; инквизитор Леметр был бы садист, а не законник. У Уорика было бы не больше черт феодала, чем у его преемника, делателя королей, из пьесы «Генрих VI». Как видим, все они были абсолютно убеждены в том, что главное: будь верен сам себе, тогда ты не изменишь и другим (заповедь, отражающая крайнюю реакцию на средневековые воззрения),— как будто они жили в пустом пространстве, не имея никаких обязательств перед обществом. Все шекспировские персонажи таковы, потому их так легко принимают наши буржуа, которые живут безответственно и припеваючи за счет других, не стыдятся такого положения дел и даже не сознают его. Природе противен этот изъян у Шекспира, и я постарался, чтобы средневековая атмосфера свободно веяла в моей пьесе. Повидавшие спектакль не примут потрясающее событие, описываемое в пьесе, за обыкновенный частный случай. Перед нами предстанут не только реальные человеческие марионетки из плоти и крови, но и сама Церковь, и инквизиция, и феодальная система, и божественное дыхание, бьющееся об их непроницаемую оболочку,— и выглядит все это куда страшнее и драматичнее, чем фигурки простых смертных, лязгающих металлом лат или бесшумно двигающихся в рясах и капюшонах доминиканского ордена.

В пьесе нет негодяев. Преступление, как и болезнь, не представляет интереса,— с ним надо покончить с общего согласия, и все тут. Всерьез же нас интересует то, что лучшие люди делают с лучшими намерениями и что люди обыкновенные считают себя обязанными сделать, несмотря на свои добрые намерения. Гнусный епископ и жестокий инквизитор Марка Твена и Эндру Ланга скучны, как карманные воришки; они и Жанну низводят до уровня заурядного персонажа, у которого обчистили карманы. Я изобразил их одаренными и красноречивыми представителями церкви воинствующей и церкви судействующей. Только так я могу удержать свою драму на уровне высокой трагедии и не дать ей превратиться в сенсацию уголовного суда. Злодей в пьесе никогда не будет ничем другим, кроме diabolus ex machina, [1] *— быть может, прием более волнующий, чем deus ex machina,* [2] *но в такой же степени механический, а следовательно, интересный тоже только как механизм. Нас, я повторяю, занимают поступки людей, в обычных обстоятельствах добродушных. И если бы Жанну сожгли не такие вот добродушные в своем праведном усердии, то ее смерть от их рук имела бы не больше значения, чем смерть многочисленных девиц, сгоревших в Токио во время землетрясения. Трагедия подобных убийств в том, что совершают их не убийцы,— это убийства узаконенные, совершаемые из благочестивых побуждений. И это противоречие сразу же вносит элемент комедии в трагедию: ангелы, быть может, заплачут при виде убийства, но боги посмеются над убийцами.*

ПРИУКРАШИВАНИЕ В ТРАГЕДИЯХ НЕИЗБЕЖНО

Вот где причина того, что моя драма из жизни святой Иоанны, давая в целом правдивую картину, переиначивает отдельные второстепенные факты. Нечего и говорить, что старинные мелодрамы о Жанне д'Арк, где почти без исключения дело сводится к конфликту между злодеем и героем (в данном случае героиней), не только упускают главное, но и искажают образы действующих лиц: Кошон выходит негодяем, Жанна — примадонной, Дюнуа — любовником. Но автор высокой трагедии и комедии, стремящийся к наивозможно сокровеннейшей правде,

[1] Дьявол из машины *(лат.)*.
[2] Бог из машины *(лат.)*.

непременно должен обелять Кошона и ничуть не меньше, чем автор мелодрамы чернит его. Насколько мне удалось выяснить, нет таких сведений о Кошоне, которые позволили бы обвинить его в вероломстве или какой-то исключительной жестокости в ходе суда над Жанной, или в той степени классовой и сектантской предубежденности против подсудимого и в пользу полиции, какая принимается в наших теперешних судах за нечто само собой разумеющееся. Однако нет и оснований отнести его к великим католическим церковникам, полностью застрахованным от обусловленных мирскими обстоятельствами страстей. Да и инквизитор Леметр, судя по тем скудным сведениям, которые сейчас можно раскопать, не так уж умело справлялся со своими обязанностями и рассматриваемым казусом, как это изобразил я. Но такова уж специфика театра, что на сцене персонажи оказываются вразумительнее, понятнее для самих себя, чем в жизни. И правильно, ибо никаким другим способом не станут они вразумительными для зрителей. А в таком случае Кошон и Леметр должны разъяснить не только себя, но еще и Церковь, и инквизицию, равно как Уорик должен разъяснить феодальную систему, словом, эти трое должны дать зрителям XX века понятие об эпохе, коренным образом отличной от их собственной. Исторические Кошон, Леметр и Уорик, бесспорно, не смогли бы этого сделать,— они сами были частью средневековья и потому имели не больше понятия об ее особенностях, чем о химическом составе воздуха, которым дышали. Пьеса осталась бы невразумительной, если бы я не наделил их достаточной долей этого понимания, чтобы они могли объяснить свою позицию XX столетию. Неизбежно поступившись правдоподобием, я, осмелюсь утверждать, единственным возможным способом добился достоверности, которая оправдывает вывод, сделанный мною на основе имеющейся документации и отпущенной мне способности проницания, а именно: что слова, которые я вкладываю в уста этих трех исполнителей моей драмы, и есть те слова, которые они произносили бы на самом деле, если бы сознавали истинный смысл своих поступков. И больше этого ни для драмы, ни для истории я сделать не могу.

О НЕКОТОРЫХ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ СОВЕТАХ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЬЮ УЛУЧШИТЬ ПЬЕСУ

Я должен поблагодарить нескольких критиков по обе стороны Атлантического океана (включая и тех, кто отзывается о моей пьесе со столь нескрываемым восторгом) за их прочув-

ствованные наставления, призванные исправить ее недостатки. Они говорят, что если убрать эпилог и всякие упоминания о таких несценичных и скучных материях, как Церковь, феодальная система, инквизиция, еретические учения и прочая, все равно обреченных на безжалостное уничтожение рукою любого опытного режиссера, то пьеса станет значительно короче. Думаю, что они ошибаются. Опытные мастера вымарывания, выпотрошив пьесу и сэкономив таким образом полтора часа, тут же нагонят лишних два часа, возводя сложные декорации, наливая настоящую воду в реку Луару, строя через нее настоящий мост, ненатурально изображая бой за этот мост и проводя по сцене длинную колонну французов-победителей во главе с Жанной, верхом на настоящей лошади. Коронация затмит все прежние театральные действа: будет показано сперва шествие по улицам Реймса, а затем служба в соборе,— и то, и другое под музыку, написанную специально для этих сцен. Подобно мистеру Мэтисону Лангу в «Вечном жиде», Жанну сожгут прямо на глазах у публики, исходя из принципа, что неважно, по какому поводу сжигают женщину, лишь бы сжигали, а зрители платили за это денежки. Антракты, в течение которых театральными плотниками воздвигается, а потом уничтожается это великолепие, будут казаться бесконечными — к большой выгоде буфетов. И утомленная и деморализованная публика, упустив последний поезд, будет проклинать меня за то, что я пишу такие неумеренно длинные и невыносимо скучные, бессмысленные пьесы. Но одобрение прессы будет единодушным. Ни один человек, кому известна история театральных постановок Шекспира, не усомнится в том, что их судьба постигла бы и мою драму, будь я настолько несведущ в своем ремесле, чтобы слушаться подобных благожелательных, но губительных советов. Быть может, так оно еще и случится, когда я лишусь авторских прав. Так что, пожалуй, публике лучше посмотреть пьесу, пока я жив.

ЭПИЛОГ

Что касается эпилога, то едва ли можно от меня ждать, что я подрублю под собой сук и сделаю вывод, будто для человечества история Жанны кончается трагически, казнью, а не начинается с нее. Необходимо было всеми правдами и неправдами показать канонизированную, а не только сожженную Жанну. Ведь мало ли женщин сгорело по собственной неосторожности, махнув муслиновой юбкой над горящим камином в гостиной. Но быть канонизированной — совсем другое дело,

и несравненно более важное. Так что, боюсь, эпилог придется оставить.

КРИТИКАМ, ЧТОБЫ НЕ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ОБОЙДЕННЫМИ

Для профессионального критика (я сам был им) хождение по театрам — наказание господне. Спектакль — зло, которое он со скрежетом зубовным должен выносить за плату, и чем скорее оно кончится, тем лучше. Возникает подозрение, что тем самым он становится непримиримым врагом театрала, который сам платит деньги и потому считает: чем длиннее пьеса, тем больше удовольствия он получает за свои денежки. И так оно и есть, особенно вражда эта сильна в провинции, где зритель ходит в театр исключительно ради пьесы и так усиленно настаивает на определенной длительности развлечения, что менеджеры, имеющие дело с короткими лондонскими пьесами, попадают в весьма затруднительное положение.

В Лондоне у критиков имеется подкрепление в виде целой категории зрителей, которые ходят в театр, как иные ходят в церковь: для того, чтобы продемонстрировать свои наряды и сравнить их с нарядами других; чтобы не отставать от моды; чтобы было о чем говорить на званых обедах; чтобы получить возможность обожать главного исполнителя; чтобы провести вечер где угодно, только не дома. Короче говоря, руководятся любыми мотивами, кроме интереса к самому драматическому искусству. В модных районах число неверующих, но посещающих церковь, не любящих музыку, но посещающих концерты и оперы, не любящих театр, но посещающих спектакли, так велико, что проповеди пришлось сократить до десяти минут, а спектакли до двух часов. Но даже и тут прихожане ждут не дождутся благословения, а зрители занавеса, чтобы отправиться наконец туда, куда они в действительности стремятся — на ленч или на ужин, хотя и так уже зрелища начинаются как можно позже, а зрители еще и опаздывают к началу.

Таким-то образом по милости партера и прессы распространяется дух фальши. Никто не говорит прямо, что настоящая драма — скучища адова и заставлять людей мучиться больше двух часов кряду (они имеют возможность отдохнуть во время двух длинных антрактов) требование непосильное. Никто не скажет: «От классической трагедии и комедии меня

так же воротит, как от проповедей и симфоний, я люблю полицейскую хронику, объявления о разводах и всякие танцы и декорации, которые сексуально возбуждают меня, или мою жену, или моего мужа. И как бы там ни притворялись разные интеллектуальные снобы, для меня удовольствие просто не вяжется ни с каким видом умственной деятельности, и я не сомневаюсь, что и у остальных так». Этого никто не говорит, однако девять десятых того, что выдается за театральную критику в столичной прессе Европы и Америки, представляет собой не что иное, как путаную парафразу этого высказывания. И другого смысла эти девять десятых не имеют.

Я не жалуюсь на такое положение дел, хотя оно (совершенно необоснованно) направлено против меня. Я могу так же не обращать на это внимания, как Эйнштейн не обращал внимания на людей, неспособных к математике. Я пишу в классической манере для тех, кто платит за вход в театр потому, что любит классическую комедию или трагедию, так любит, что когда пьеса хорошо написана и хорошо поставлена, они с неохотой отрываются от нее, чтобы поспеть на последний поезд или омнибус и добраться домой. Они не только не опаздывают к спектаклю на полчаса, нарочно являясь попозже, после позднего обеда (начинающегося в восемь — половине девятого),— они часами стоят в очередях на улице перед театром задолго до начала, чтобы получить билет. В странах, где спектакль длится неделю, зрители приносят с собой корзинки с едой и стойко выдерживают до конца. От этих-то любителей зависит мой заработок. Я не закатываю им двенадцатичасовых представлений, так как пока такие развлечения неосуществимы, хотя спектакль, начинающийся после завтрака и кончающийся на закате, физически возможен и с исполнительской, и с зрительской точки зрения не только в Обер-Амергау, но и в Сэррее или Мидлсексе. Просидеть всю ночь в театре было бы ничуть не менее увлекательно, чем провести всю ночь в палате общин, а пользы куда больше. Что касается «Святой Иоанны», то здесь я постарался уложиться в установленное классическое время — три с половиной часа беспрерывной игры, не считая одного антракта, да и то по соображениям, не имеющим ничего общего с искусством. Я знаю, что поступил нехорошо по отношению к псевдокритикам и людям «света», чьи посещения театра — чистое лицемерие. Я даже испытываю к ним некоторое сострадание, когда они уверяют, что мою пьесу, как она ни замечательна, неминуемо ждет провал из-за того, что она не начинается без четверти девять и не кончается в одиннадцать. Факты сокрушающим образом говорят против них. Они забы-

вают, что не все такие, как они. Но, повторяю, мне жаль их, и хотя ради них я не стану переделывать пьесу и помогать ненавистникам театра выжить из него тех, кто его любит, я тем не менее могу подсказать им несколько средств, которые вполне им доступны. Они могут избежать первой части пьесы, прибегнув к своей обычной уловке — опоздать к началу. Могут избежать эпилога — уйти, не дожидаясь конца. А если оставшийся, не поддающийся сокращению минимум все равно покажется им тягостным, они могут ведь и совсем не ходить на спектакль. Но это крайнее средство я не одобряю, оно нанесет урон моему карману и их душам. Уже некоторые из них заметили, что главное — не реальное время, которое занимает спектакль, а то, насколько быстро оно проходит для зрителя. Они увидели, что театр, хотя и производит очищающее действие в аристотелевы мгновения, не всегда так скучен, как им до сих пор казалось. Какое нам дело до некоторых неудобств, причиняемых спектаклем, когда пьеса заставляет забывать про них?

Май, 1924

Ясное весеннее утро на реке Маас, между Лотарингией и Шампанью, в 1429 году. Замок Вокулер.

Капитан Роберт де Бодрикур, средней руки дворянин на службе в войсках короля, красивый мужчина, внешне энергичный, но, в сущности, слабохарактерный, старается, как обычно, скрыть этот свой недостаток бурным выражением чувств,— сейчас он яростно разносит своего эконома; эконом — тщедушный человечек, наполовину лысый, смиренного нрава и неопределенного возраста — где-то между восемнадцатью годами и пятьюдесятью пятью; он из тех людей, которые не стареют, ибо никогда не были молоды.

Разговор этот происходит в залитой солнцем комнате с каменными стенами в нижнем этаже замка. Капитан сидит перед тяжелым дубовым столом, на таком же стуле; он виден слева в профиль. Эконом стоит по другую сторону стола,— если можно столь униженную позу назвать стоячим положением. За ним — окно с мелким переплетом, какие делались в XIII веке. У окна в углу — узкая сводчатая дверь в башню; оттуда по винтовой лестнице можно спуститься во двор. Под стол задвинута грубо сколоченная табуретка; у окна стоит большой деревянный ларь.

Роберт. Нету яиц! Нету яиц! Тысячу громов! Как ты смеешь мне говорить, что яиц нету!

Эконом. Сир, я же не виноват. Это воля божья.

Роберт. Кощунство! Не достал яиц — и норовишь свалить вину на господа бога!

Эконом. Ну а что же я сделаю, сир? Я не могу сам нести яйца.

Роберт *(саркастически)*. Ха! Еще и шуточки отпускаешь!

Эконом. Нет, нет! Видит бог, сир, я не шучу. Все сидим без яиц, не только вы. Куры не хотят нестись.

Роберт. Вот как! *(Встает.)* Слушай-ка, ты!

Эконом *(смиренно)*. Да, сир.

Роберт. Кто я такой?

Эконом. Кто вы такой, сир?..

Роберт *(грозно надвигается на него)*. Да, кто я такой? Ро-

берт де Бодрикур, начальник гарнизона замка Вокулер, — или я пастух?

Эконом. Помилуйте, сир! Все знают, что вы здесь самый большой человек, важнее даже, чем король.

Роберт. Вот именно. А ты кто такой?

Эконом. Я никто, никто... за исключением того, что я имею честь быть вашим экономом.

Роберт *(наступая на него и каждым эпитетом пригвождая его к стене)*. Ты не только имеешь честь быть моим экономом, ты еще и самый скверный, негодный, слюнявый, сопливый, болтливый, паршивый эконом во всей Франции! *(Возвращается к столу.)*

Эконом *(скорчившись на ларе)*. Да, сир. Для такого большого человека, как вы, оно, может, так и есть.

Роберт *(оборачиваясь)*. Ага! Значит, это я виноват?

Эконом *(подходит к нему; умоляюще)*. Нет, нет, сир! Как вы всегда переворачиваете мои самые невинные слова!

Роберт. Вот я тебе голову задом наперед переверну, посмей только еще раз мне ответить, что не можешь сам нести яйца!

Эконом *(протестуя)*. Что вы, сир!.. Что вы!..

Роберт. Нет, не «что вы, сир, что вы», а «виноват, сир, виноват» — вот что ты должен мне ответить. Мои три берберийские курочки и еще черненькая — да они же самые ноские во всей Шампани. А ты приходишь и говоришь: «Нету яиц!» Кто их украл? Отвечай! Да поживей, пока я не вышиб тебя из замка за то, что ты плут и распродаешь мое добро ворам! Молока вчера тоже не хватило? Вспомни-ка!

Эконом *(в отчаянии)*. Знаю, сир. Очень даже хорошо знаю. Молока нет. Яиц нет. Завтра и совсем ничего не будет.

Роберт. Ничего не будет? То есть ты все украдешь подчистую?

Эконом. Нет, сир. Никто ничего не украдет. Но на нас положено заклятье. Мы заколдованы.

Роберт. Ну, знаешь ли, пойди расскажи это кому-нибудь другому. Роберт де Бодрикур отправляет ведьм на костер, а воров на виселицу! Марш! Чтоб к полудню было вот здесь на столе четыре дюжины яиц и два галлона молока, а не то косточки целой у тебя не останется! Я тебе покажу, как меня дурачить. *(Опять усаживается за стол, всем своим видом показывая, что разговор окончен.)*

Эконом. Сир! Говорю вам: яиц нет и не будет — хоть убейте! — пока Дева стоит у ворот.

Роберт. Дева? Какая еще дева? Что ты городишь?

Эконом. Та самая, сир. Из Лотарингии. Из Домреми.

Роберт *(вскакивает в ужасном гневе)*. Тридцать тысяч громов! Пятьдесят тысяч чертей! Значит, она еще здесь — эта девчонка, которая два дня назад имела нахальство требовать свидания со мной и которую я велел тебе отправить обратно к отцу с приказанием от моего имени задать ей хорошую трепку?

Эконом. Я ей говорил, чтобы она ушла. А она не уходит.

Роберт. Я не приказывал говорить ей, чтобы она ушла. Я приказал вышвырнуть ее вон. У тебя тут полсотни вооруженных солдат и десяток слуг — здоровенных парней,— кажется, есть кому выполнять мои приказания!.. Боятся они ее, что ли?

Эконом. Она такая упорная, сир.

Роберт *(хватает его за шиворот)*. Упорная? А? Ну вот что! Сейчас я тебя спущу с лестницы.

Эконом. Ох, нет, сир! Не надо! Пожалуйста!

Роберт. Вот ты и помешай мне это сделать — при помощи своего упорства! Это ведь так легко. Любая девчонка может.

Эконом *(беспомощно вися в его руках)*. Сир, сир! Вы же не избавитесь от *нее* тем, что выкинете вон *меня*.

Роберт отпускает его. Эконом шлепается на пол и, стоя на коленях посреди комнаты, покорно глядит на своего хозяина.

Видите ли, сир, вы куда упорней, чем я. Ну и она тоже.

Роберт. Я сильнее, чем ты, дурак!

Эконом. Нет, сир, не в этом дело. Просто у вас твердый характер. Телом она гораздо слабее нас — так, девчушка! — а все-таки мы не можем заставить ее уйти.

Роберт. Трусы несчастные! Вы ее боитесь.

Эконом *(осторожно встает)*. Нет, сир. Мы боимся вас. А она вдохнула в нас мужество. Сама она, кажется, ничего на свете не боится. Может, вам удастся ее припугнуть?..

Роберт *(свирепо)*. Может быть. Где она сейчас?

Эконом. Во дворе, сир; разговаривает с солдатами. Она постоянно разговаривает с солдатами, когда не молится.

Роберт. Молится! Ха! А ты и поверил, болван, что она молится! Знаю я этих девок, которые постоянно разговаривают с солдатами. Пусть-ка вот со мною поговорит! *(Подходит к окну и гневно кричит.)* Эй, ты!

Голос девушки *(звонкий, сильный и грубоватый)*. Это вы меня, сир?

Роберт. Да. Тебя.

Голос. Это вы тут начальник?

Роберт. Да, нахалка ты этакая! Я тут начальник. *(Обращаясь к солдатам, стоящим во дворе.)* Покажите ей, как пройти. Да поторопите ее там пинком в спину! *(Отходит от окна и опять усаживается за стол. Сидит с начальственным видом.)*

Эконом *(шепчет ему на ухо)*. Она хочет сама быть солдатом. Хочет, чтоб вы ей дали солдатскую одежу. И латы, сэр! И меч. Да, да! Честное слово! *(Становится за спиной Роберта.)*

В башенной двери появляется Жанна. Это крепкая деревенская девушка лет семнадцати или восемнадцати, одетая в приличное платье из красной материи. Лицо у нее не совсем обычное — широко расставленные глаза навыкате, какие часто бывают у людей с очень живым воображением, длинный, хорошей формы нос с широкими ноздрями, твердая складка полных губ — верхняя губа коротковата, и точеный упрямый подбородок. Она быстро идет прямо к столу, радуясь, что наконец добралась до Роберта, и не сомневаясь в благоприятном исходе свидания. Грозный вид Роберта ничуть ее не пугает и не останавливает. Голос у нее очень приятный, уверенный, легко принимающий ласковые, сердечные интонации; ей трудно противостоять.

Жанна *(приседает)*. Доброе утро, капитан-начальник. Капитан, вы должны дать мне коня, латы и несколько солдат и отправить меня к дофину. Таковы веления моего господина.

Роберт *(оскорблен)*. Веления твоего господина? А кто он такой, твой господин, скажи на милость? Пойди и скажи ему, что я не герцог какой-нибудь и не пэр, чтобы выполнять его приказания. Я дворянин Роберт де Бодрикур и приказания получаю только от короля.

Жанна *(успокоительно)*. Да, да, капитан. Не беспокойтесь, тут все в порядке. Мой господин — это царь небесный.

Роберт. Фу! Да она помешанная. *(Экономку.)* Ты чего, болван, мне сразу не сказал?

Эконом. Ох, сир, не сердите ее. Дайте ей, что она просит.

Жанна *(нетерпеливо, но дружелюбно)*. Все сперва думают, что я помешанная,— пока я с ними не поговорю. Но по-

нимаете, капитан, ведь это господь бог велит вам сделать то, что он вложил мне в душу.

Роберт. А по-моему, господь бог велит мне отослать тебя обратно к отцу, чтоб он посадил тебя под замок и выбил из тебя дурь. А? Что ты на это скажешь?

Жанна. Вам кажется, капитан, что вы так и сделаете, а на самом деле выйдет совсем иначе. Вы вот сказали, что не пустите меня к себе на глаза. Однако ж я тут.

Эконом *(умоляюще)*. Да, сир. Сами видите, сир.

Роберт. Придержи язык, ты!

Эконом *(смиренно)*. Слушаю, сир.

Роберт *(Жанне, уже гораздо менее уверенным тоном)*. Это ты из того выводишь, что я согласился тебя повидать?

Жанна *(нежно)*. Да, капитан.

Роберт *(чувствуя, что почва уходит у него из-под ног, решительным жестом опускает оба кулака на стол и выпячивает грудь, стараясь этим прогнать нежеланное и слишком хорошо ему знакомое ощущение)*. Ладно. Слушай меня. Теперь я буду приказывать.

Жанна *(деловито)*. Да, да, прикажите, капитан. Пожалуйста! Лошадь стоит шестнадцать франков. Это очень дорого. Но я выгадаю на латах: я достану старые у кого-нибудь из солдат, — ничего, подойдет, я же очень сильная. И мне совсем не нужны такие красивые латы, сделанные на заказ по мерке, как вот на вас. И провожатых много не потребуется: дофин даст мне все что нужно, чтобы я могла снять осаду с Орлеана.

Роберт *(не помня себя от изумления)*. Снять осаду с Орлеана?!

Жанна *(просто)*. Да, капитан. Господь бог повелел мне это сделать. Троих солдат будет вполне достаточно, лишь бы это были порядочные люди и хорошо обращались со мной. Да кое-кто мне уже обещал — Полли, потом Джек и еще...

Роберт. Полли! Нахальная девчонка! Это ты господина Бертрана де Пуланжи смеешь называть Полли?!

Жанна. Все его так зовут. Все его друзья. Я и не знала, что у него есть другое имя. Потом Джек...

Роберт. Это, надо думать, господин Жан из Меца?..

Жанна. Да, капитан. Он самый. Джек охотно поедет. Он очень добрый и постоянно дает мне денег, чтобы я раздавала бедным. Жан Годсэв тоже, наверно, поедет, и лучник Дик, и еще их слуги — Жан из Онекура и Жюль-

ен. Вам, капитан, не будет никаких хлопот, я уже все устроила. Вы только прикажите...

Роберт *(глядит на нее, застыв от удивления)*. Ах, черт меня возьми!

Жанна *(с невозмутимой ласковостью)*. О нет, капитан! Господь милосерд, а святая Екатерина и святая Маргарита, которые каждый день разговаривают со мной...

У Роберта рот открывается от изумления.

...заступятся за вас. Вы попадете в рай; и ваше имя всегда будут вспоминать, как имя первого человека, который мне помог.

Роберт *(обращаясь к эконому; он все еще очень раздражен, но уже сбавил тон, так как ему пришла в голову новая мысль)*. Это правда – насчет господина де Пуланжи?

Эконом *(живо)*. Сущая правда, сир. И насчет господина Жана из Меца тоже. Они оба готовы ехать с ней.

Роберт *(задумчиво)*. Гм! *(Подходит к окну и кричит во двор.)* Эй, вы там! Пошлите ко мне господина де Пуланжи. *(Оборачивается к Жанне.)* Марш отсюда! Подожди во дворе.

Жанна *(дарит его сияющей улыбкой)*. Хорошо, капитан. *(Уходит.)*

Роберт *(эконому)*. Ты тоже проваливай, дурень безмозглый. Но не уходи далеко и приглядывай за нею. Я скоро опять ее позову.

Эконом. Да, да, сир, ради бога! Подумайте об наших курочках, самых носких во всей Шампани. И еще...

Роберт. Ты лучше подумай о моем сапоге. И убери свой зад подальше.

Эконом поспешно удаляется и в дверях сталкивается с Бертраном де Пуланжи. Это французский дворянин, выполняющий в Вокулерском гарнизоне обязанности начальника стражи, флегматичный человек лет тридцати шести; вид у него рассеянный, как будто он вечно погружен в свои мысли; говорит, только когда к нему обращаются; в речи медлителен, но уж что сказал, на том стоит,– одним словом, полная противоположность самоуверенному, громогласному, внешне деспотическому, но по существу безвольному Роберту. Эконом уступает ему дорогу и исчезает.

Пуланжи отдает честь Роберту и стоит в дверях, руки по швам, ожидая приказаний.

Роберт *(приветливо)*. Я вас позвал не по служебным делам, Полли. А так, для дружеской беседы. Садитесь. *(Подцепляет ногой табуретку и вытаскивает ее из-под стола.)*

Пуланжи, отбросив церемонии, заходит в комнату, ставит табурет между столом и окошком и не спеша усаживается. Роберт, присев на край стола, приступает к обещанной дружеской беседе.

Роберт. Слушайте, Полли. Я должен поговорить с вами, как отец.

Пуланжи на мгновение поднимает к нему задумчивый взгляд, но ничего не отвечает.

Роберт. Это насчет той девчонки, что вам так приглянулась. Ну так вот. Я видел ее. Я говорил с ней. Во-первых, она сумасшедшая. Ну, это неважно. Во-вторых, она не просто деревенская девка, она из зажиточной семьи. А это уже очень важно. Я этот народец хорошо знаю. В прошлом году ее отец приезжал сюда на судебное разбирательство как выборный от своей деревни. Там у себя он важная персона. Земледелец! Не то, конечно, что помещик – сам обрабатывает свой надел и тем живет. Ну а все-таки не простой крестьянин. Не просто пахарь. У него того и гляди найдется какой-нибудь двоюродный братец – судейский или из духовенства. Для нас с вами эти люди, понятно, – мелкая сошка. Но они способны при случае наделать кучу хлопот властям. То есть мне. Вам это, конечно, кажется очень просто – увезти девчонку, сманив обещанием доставить ее прямо к дофину. Но если вы ее загубите, мне-то неприятностей будет без счету. Тем более что я сеньор ее отца и, стало быть, обязан оказывать ей покровительство. Так вот что, Полли: дружба дружбой, а от девчонки держите руки подальше!

Пуланжи *(веско, с нарочитой выразительностью)*. Для меня подумать так об этой девушке – это все равно что к самой пресвятой деве с подобными мыслями подойти!

Роберт *(встает)*. Но послушайте! Она же говорит, что вы, и Джек, и Дик сами навязались к ней в провожатые. Ну а зачем, спрашивается? Не станете же вы меня уверять, будто всерьез принимаете ее сумасшедшую фантазию ехать к дофину? А?

Пуланжи *(медленно)*. В этой девушке что-то есть. У нас в караульной такие есть сквернословы и похабники, что не дай боже. Но ни разу никто не заикнулся о ней как

о женщине. Они даже ругаться при ней перестали. Нет, в ней что-то есть. Есть что-то такое... Пожалуй, стоит попробовать.

Роберт. Да что вы, Полли! Опомнитесь! Здравым смыслом вы, положим, никогда не отличались. Но это уж слишком! *(В негодовании отходит.)*

Пуланжи *(невозмутимо)*. А какой толк от здравого смысла? По здравому смыслу нам бы давно пора перейти на сторону бургундского герцога и английского короля. Они держат в руках половину Франции — до самой Луары, держат в руках Париж, держат в руках этот замок; сами знаете, что нам пришлось сдать его герцогу Бедфордскому и что вас здесь оставили только временно, на честном слове. Дофин сидит в Шиноне, как крыса в углу, — только что крыса дерется, а он и на это не способен. Мы даже не знаем, дофин ли он. Его мать говорит, что нет, — а кому же знать, как не ей. Подумайте только! Королева отрицает законнорожденность собственного сына!

Роберт. Очень понятно: она ведь выдала дочь за английского короля. Так можно ли ее осуждать?

Пуланжи. Я никого не осуждаю. Но из-за нее дофину окончательно крышка. Нечего закрывать на это глаза. Англичане возьмут Орлеан; Дюнуа не сможет их остановить.

Роберт. Побил же он англичан два года назад под Монтаржисом! Я тогда был с ним.

Пуланжи. Мало ли что было два года назад. Сейчас его солдаты запуганы. И творить чудеса он не умеет. А нас — это я твердо вам говорю, — нас спасти может только чудо.

Роберт. Чудеса, Полли, это очень мило. Беда только в том, что в наше время чудес не бывает.

Пуланжи. Раньше я тоже так думал. А теперь — не знаю... *(Встает и в задумчивости отходит к окну.)* Во всяком случае, положение сейчас такое, что пренебрегать ничем нельзя. А в этой девушке что-то есть.

Роберт. Ха! По-вашему, она может творить чудеса?

Пуланжи. По-моему, она сама вроде чуда. Так или иначе, это наша последняя карта. Лучше разыграть ее, чем просто сдаться. *(Бродя по комнате, приближается к ходу в башню.)*

Роберт *(колеблясь)*. Вы правда так на нее надеетесь?

Пуланжи *(оборачивается)*. А на что еще мы можем надеяться?

Роберт *(подходит к нему)*. Послушайте, Полли. Будь вы на

моем месте, допустили бы вы, чтобы этакая девчонка выманила у вас целых шестнадцать франков на лошадь?

Пуланжи. Я заплачу за лошадь.

Роберт. Вы!!

Пуланжи. Да. Я готов этим подкрепить свое мнение.

Роберт. Как! Рисковать шестнадцатью франками в такой неверной игре?

Пуланжи. Я не рискую.

Роберт. А что же?

Пуланжи. Иду наверняка. Ее речи и ее пламенная вера зажгли огонь и в моей душе.

Роберт *(мысленно махнув на него рукой)*. Ф-фу-у! Вы сами ей под стать — такой же сумасшедший!

Пуланжи *(упрямо)*. А нам сейчас как раз и нужны сумасшедшие. Здравомыслящие-то видите куда нас завели!

Роберт *(нерешительность теперь уже явно берет верх над его наигранной самоуверенностью)*. Ох! Я же сам буду себя дураком считать, если соглашусь... Но раз вы так уверены...

Пуланжи. Я настолько уверен, что готов сам отвезти ее в Шинон, — если, конечно, вы мне не запретите.

Роберт. Ну, это уже нечестно! Вы хотите, чтобы я за все отвечал.

Пуланжи. Отвечать все равно будете вы, какое бы решение вы ни приняли.

Роберт. Да. В том-то и дело. Какое принять решение? Если бы вы знали, как мне все это неприятно... *(Невольно старается оттянуть дело в неосознанной надежде, что Жанна решит за него.)* Может, мне еще раз с ней поговорить? А? Как вы считаете?..

Пуланжи *(встает)*. Да. Поговорите. *(Подходит к окну и зовет.)* Жанна!

Голос Жанны. Что, Полли? Он согласился?

Пуланжи. Иди сюда. К нам. *(Обернувшись к Роберту.)* Мне уйти?

Роберт. Нет, нет! Оставайтесь. И поддержите меня.

Пуланжи садится на ларь. Роберт отходит к своему креслу, но не садится, а остается на ногах, для большей внушительности. Жанна вбегает радостная, спеша поделиться добрыми вестями.

Жанна. Джек заплатит половину за лошадь!

Роберт. Еще того не легче!.. *(Падает в кресло, растеряв всю свою внушительность.)*

Пуланжи *(без улыбки)*. Сядь, Жанна.
Жанна *(в смущении, поглядывая на Роберта)*. Можно?..
Роберт. Садись, коли тебе говорят.

Жанна делает реверанс и присаживается на табурет. Роберт старается скрыть свою растерянность под сугубо властной манерой.

Роберт. Как твое имя?
Жанна *(словоохотливо)*. У нас в Лотарингии все меня звали Жанет. А тут, во Франции, я – Жанна. Солдаты зовут меня Девой.
Роберт. Как тебя по прозвищу?
Жанна. По прозвищу? А это что такое? Мой отец иногда называет себя д'Арк. Не знаю почему. Вы видели моего отца. Он...
Роберт. Да, да. Помню. Ты, кажется, из Домреми, в Лотарингии.
Жанна. Да. Но что из того? Мы же все говорим по-французски.
Роберт. Не спрашивай, а отвечай. Сколько тебе лет?
Жанна. Говорят, семнадцать. А может, и девятнадцать. Не помню.
Роберт. Что это ты тут рассказывала, будто святая Екатерина и святая Маргарита каждый день разговаривают с тобой?
Жанна. Разговаривают.
Роберт. А какие они собой?
Жанна *(внезапно становится сдержанной и скупой на слова)*. Об этом я ничего вам не скажу. Мне не дозволено.
Роберт. Но ты их видишь, да? И они говорят с тобой, вот как я сейчас?
Жанна. Нет, не так. Совсем иначе. Я не могу объяснить. И вы не должны спрашивать меня о моих голосах.
Роберт. О каких еще голосах?
Жанна. Я слышу голоса, и они говорят мне, что я должна делать. Они от бога.
Роберт. Они в твоем собственном воображении!
Жанна. Конечно. Господь всегда говорит с людьми через их воображение.
Пуланжи. Шах и мат!
Роберт. Ну это положим. *(Жанне.)* Так, значит, это господь сказал, что ты должна снять осаду с Орлеана?
Жанна. И короновать дофина в Реймском соборе.

Роберт *(поперхнувшись от изумления)*. Короновать доф... Ну и ну!..

Жанна. И выгнать англичан из Франции.

Роберт *(саркастически)*. Может, еще что-нибудь?

Жанна *(с очаровательной улыбкой)*. Нет, пока все. Спасибо.

Роберт. По-твоему, снять осаду с города так же легко, как загнать корову с пастбища? Ты думаешь, воевать — это так, пустяки, всякий может?

Жанна. Я думаю, это не так уж трудно, если бог на твоей стороне и ты готов предать свою жизнь в его руки. Я видала много солдат; среди них есть такие... ну совсем простачки.

Роберт *(мрачно)*. Простачки! А ты когда-нибудь видала, как дерутся английские солдаты?

Жанна. И они только люди. Господь создал их такими же, как и нас. Но он указал им, в какой стране жить и на каком языке говорить. И если они приходят к нам и пытаются говорить на нашем языке, то это против воли божьей.

Роберт. Кто вбил тебе в голову такую чушь? Ты разве не знаешь, что солдат обязан подчиняться своему феодальному сеньору? Он его подданный, понимаешь? А уж кто этот сеньор — герцог ли бургундский, или король английский, или король французский, — это не его дело. И не твое тоже. При чем тут язык?

Жанна. Этого я никогда не пойму. Мы все подданные царя небесного, и он каждому даровал родину и родной язык и не велел менять их. Кабы не так, то убить англичанина в бою было бы смертным грехом, и вы, капитан, после смерти угодили бы прямо в ад. Нужно думать не о своих обязанностях перед феодальным сеньором, а о своих обязанностях перед богом.

Пуланжи. Бросьте, Роберт, вы ее не переспорите. У нее на все готов ответ.

Роберт. Не переспорю?.. Ну это еще посмотрим. Клянусь святым Дени! *(Жанне.)* Мы не о боге сейчас говорим, а о житейских делах. Слышала ты, что я тебя спросил? Видала ты когда-нибудь, как дерутся английские солдаты? Видала, как они грабят, жгут, обращают все в пустыню? Слыхала, что рассказывают об ихнем Черном Принце, который чернее самого сатаны? Или об отце английского короля?

Жанна. Ну, Роберт, не надо так бояться! Ведь...

Роберт. Иди ты к черту! Я не боюсь. И кто тебе позволил называть меня Робертом?

Жанна. Так вас окрестили в церкви во имя господне. А прочие все имена не ваши, а вашего отца, или брата, или еще там чьи-нибудь.

Роберт. Ха!

Жанна. Послушайте, капитан, что я вам скажу. Как-то раз нам пришлось бежать в соседнюю деревню, потому что на Домреми напали английские солдаты. Потом они ушли, а троих раненых оставили. Я после хорошо с ними познакомилась, с этими тремя бедными годдэмами. Они и вполовину были не так сильны, как я.

Роберт. А ты знаешь, почему их называют годдэмами?

Жанна. Нет. Не знаю. Их все так зовут.

Роберт. Потому что они постоянно взывают к своему богу и просят, чтобы он предал их души вечному проклятию. Вот что значит «годдэм» на их языке. Хороши молодчики, а?

Жанна. Господь их простит по своему милосердию, а когда они вернутся в ту страну, которую он для них создал и для которой он создал их, они опять будут вести себя, как добрые дети господни. Я слыхала о Черном Принце. В ту минуту, когда он ступил на нашу землю, дьявол вселился в него и его самого обратил в злого демона. Но у себя дома, в стране, созданной для него богом, он был хорошим человеком. Это всегда так. Если бы я, наперекор воле божьей, отправилась в Англию, чтобы ее завоевать, и захотела там жить и говорить на их языке, в меня тоже вселился бы дьявол. И в старости я бы с ужасом вспоминала о своих преступлениях.

Роберт. Может, и так. Но чем больше чертей сидит в человеке, тем отчаяннее он дерется. Вот почему годдэмы возьмут Орлеан. И ты их не остановишь. Ни ты, ни десять тысяч таких, как ты.

Жанна. Одна тысяча таких, как я, может их остановить. Десять таких, как я, могут их остановить — если господь будет на нашей стороне. *(Порывисто встает, не в силах больше сидеть спокойно, и подходит к Роберту.)* Вы не понимаете, капитан. Наших солдат всегда бьют, потому что они сражаются только ради спасения собственной шкуры. А самый простой способ ее спасти — это убежать. А наши рыцари думают только о том, какой выкуп они возьмут за пленных. Не убить врага, а содрать с него побольше денег — вот что у них на уме. Но я научу всех

сражаться ради того, чтобы во Франции свершилась воля божья. И тогда они, как овец, погонят бедных годдэмов. Вы с Полли доживете еще до того дня, когда на французской земле не останется ни одного английского солдата. И тогда во Франции будет только один король: не феодальный английский король, но, волею божьей, король французов.

Роберт *(обращаясь к Пуланжи)*. Знаете, Полли, все это, разумеется, страшный вздор. Но кто его знает: на солдат, может, и подействует, а? Хотя все, что мы до сих пор говорили, не прибавило им и крупицы мужества. Даже на дофина, пожалуй, подействует... А уж если она сумеет в него вдохнуть мужество, то, значит, и во всякого.

Пуланжи. По-моему, стоит попробовать. Хуже не будет. А по-вашему? В этой девушке что-то есть...

Роберт *(повернувшись к Жанне)*. Ну, послушай теперь, что я тебе скажу. И *(в отчаянии)*, ради бога, не перебивай меня раньше, чем я соберусь с мыслями.

Жанна *(садится на табурет, как благонравная школьница)*. Слушаю, капитан.

Роберт. Вот тебе мой приказ: ты немедленно отправишься в Шинон. Этот господин и трое его друзей будут тебя сопровождать.

Жанна *(в восторге, молитвенно сложив руки)*. Капитан! У вас вокруг головы сияние, как у святого!

Пуланжи. А как она добьется, чтобы король ее принял?

Роберт *(подозрительно смотрит вверх, в поисках ореола у себя над головой)*. Не знаю. Как она добилась, чтобы я ее принял? Если дофин ухитрится ее отшить, ну, значит, он далеко не такой растяпа, каким я его считал. *(Встает.)* Я пошлю ее в Шинон. И пусть она скажет, что я ее послал. А дальше что бог даст. Я больше ничего не могу сделать.

Жанна. А латы? Можно мне надеть латы, капитан?

Роберт. Надевай что хочешь. Я умываю руки.

Жанна *(не помня себя от радости)*. Идем, Полли! Скорее! *(Выбегает.)*

Роберт *(пожимая руку де Пуланжи)*. Прощайте, Полли. Я взял на себя большой риск. Не всякий бы решился. Но вы правы: в этой девушке что-то есть.

Пуланжи. Да. В ней что-то есть. Прощайте. *(Уходит.)*

Роберт стоит неподвижно, почесывая затылок. Его все еще терзают сомнения, не свалял ли он дурака, позволив помешанной девчонке, к тому же низкого происхождения,

обвести себя вокруг пальца. Наконец он медленно возвращается к столу. Вбегает Эконом *с корзинкой в руках.*

Эконом. Сир! Сир!

Роберт. Ну что еще?

Эконом. Сир! Куры несутся как сумасшедшие! Пять дюжин яиц!

Роберт *(вздрагивает и застывает на месте; крестится, шепчет побелевшими губами).* Господи помилуй! *(Вслух, упавшим голосом.)* Воистину она послана богом!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Шинон в Турени. Часть тронной залы в королевском замке, отделенная занавесом от остального помещения и служащая приемной. Архиепископ Реймский и сеньор Ла Тремуй, советник и шамбеллан короля, поджидают выхода дофина. Архиепископ — упитанный человек лет пятидесяти; это типичный политик, и в его внешности нет ничего от духовного звания, кроме важной осанки. Ла Тремуй держится с предельным высокомерием, надутый, толстый — настоящий винный бурдюк... Направо от них дверь в стене. Действие происходит под вечер, 8 марта 1429 года. Архиепископ стоит спокойно, сохраняя достоинство. Ла Тремуй, слева от него, ходит взад и вперед в крайнем раздражении.

Ла Тремуй. О чем он думает, этот дофин? Столько времени заставляет нас ждать! Не знаю, как у вас хватает терпения стоять словно каменный идол!

Архиепископ. Я, видите ли, архиепископ. А всякому архиепископу весьма часто приходится изображать собой нечто вроде идола. Во всяком случае, нам уже в привычку стоять неподвижно и молча терпеть глупые речи. Кроме того, мой дорогой шамбеллан, это королевское право дофина — заставлять себя ждать.

Ла Тремуй. Черт бы его побрал, этого дофина! Простите меня, монсеньор, за то, что я оскорбляю ваш слух такими словами! Но знаете, сколько он мне должен?

Архиепископ. Не сомневаюсь, что больше, чем мне, ибо вы гораздо богаче меня. Надо полагать, он вытянул у вас все, что вы могли дать. Со мною он именно так поступил.

Ла Тремуй. Двадцать семь тысяч в последний раз с меня сорвал. Двадцать семь тысяч!

Архиепископ. Куда все это идет? Одевается он в такое старье — я бы деревенскому попу постыдился на бедность подарить!

Ла Тремуй. А на обед ест цыпленка да ломтик баранины. Занял у меня все до последнего гроша — и даже не видать, куда это девалось!

В дверях появляется паж.

Наконец-то!

Паж. Нет, монсеньор. Это еще не его величество. Господин де Рэ прибыл ко двору.

Ла Тремуй. Синяя Борода! Чего ради докладывать об этом молокососе?

Паж. С ним капитан Ла Гир. Там у них, кажется, что-то случилось.

Входит Жиль де Рэ — молодой человек лет двадцати пяти, щеголеватый и самоуверенный, с курчавой бородкой, выкрашенной в синий цвет, что является немалой вольностью при дворе, где все ходят гладко выбритые, по тогдашнему обычаю. Очень старается быть любезным, но природной веселости в нем нет, и он производит скорее неприятное впечатление. Одиннадцатью годами позже, когда он дерзнул бросить вызов церкви, его обвинили в том, что он удовольствия ради совершил омерзительные жестокости, и приговорили к повешению. Но сейчас тень виселицы его еще не коснулась. Он весело подходит к архиепископу. Паж удаляется.

Синяя Борода. Ваш верный агнец, архиепископ! Добрый день, шамбеллан! Знаете, что случилось с Ла Гиром?

Ла Тремуй. Доругался до родимчика, что ли?

Синяя Борода. Как раз наоборот. Сквернослов Франк — во всей Турени только он один может переплюнуть Ла Гира по части ругани. Так вот этому самому сквернослову Франку какой-то солдат сегодня сказал, что нехорошо, мол, ругаться, когда стоишь на краю могилы.

Архиепископ. И во всякое другое время тоже. А разве сквернослов Франк стоял на краю могилы?

Синяя Борода. Представьте себе, да. Он только что свалился в колодец и утонул. Это такого страха нагнало на Ла Гира — опомниться не может.

Входит капитан Ла Гир. Это старый вояка, чуждый придворного лоска; его речь и манеры сильно отдают казармой.

Синяя Борода. Я уже все рассказал шамбеллану и архиепископу. Архиепископ говорит, что вы погибли бесповоротно.

Ла Гир *(проходит мимо Синей Бороды и останавливается между архиепископом и Ла Тремуем)*. Тут нечему смеяться. Дело обстоит еще хуже, чем мы думали. Это был не солдат, а святая, переодетая солдатом.

Архиепископ
Шамбеллан
Синяя Борода } *(все вместе)*. Святая!

Ла Гир. Да, святая. Она всего с пятью провожатыми пробралась сюда из Шампани. Их путь лежал по таким местам, где кишмя кишат бургундцы, годдэмы, беглые солдаты, разбойники и еще бог весть какой сброд,— а они за все время не встретили ни живой души, кроме местных крестьян. Я знаю одного из тех, кто ее сопровождал,— де Пуланжи. Он говорит, что она святая. И ежели я теперь хоть когда-нибудь произнесу хоть одно слово божбы или ругани — да чтоб мне провалиться в самое пекло! Да чтоб меня черти изжарили на адском пламени!

Архиепископ. Весьма благочестивое начало, капитан.

Синяя Борода и Ла Тремуй хохочут. Снова появляется паж.

Паж. Его величество!

Все принимают почтительные позы, но делают это весьма лениво и небрежно. Откинув занавес, входит дофин с какой-то бумагой в руках. В сущности, он и сейчас уже король — Карл VII, ибо он унаследовал престол после смерти отца; но он еще не коронован. Это молодой человек двадцати шести лет, хилый и некрасивый; мода того времени, требующая, чтобы лица мужчин были гладко выбриты, а волосы — как у мужчин, так и у женщин — все до одного запрятаны под головной убор, делает его наружность еще более непривлекательной. У него узкие и слишком близко посаженные глаза, длинный мясистый нос, нависающий над толстой и короткой верхней губой, и выражение — как у щенка, который уже привык, что все его бьют, однако не желает ни покориться, ни исправиться. Но в нем нет ни пошлости, ни глупости; вдобавок ему присущ своего рода дерзкий юмор и в споре он умеет постоять за себя. Сейчас он радостно возбужден, как ребенок, которому только что подарили игрушку. Подходит к архиепископу слева. Синяя Борода и Ла Гир отступают вглубь, к занавесу.

Карл. Архиепископ! Знаете, что Роберт де Бодрикур прислал мне из Вокулера?

Архиепископ *(презрительно)*. Меня не интересуют ваши новые игрушки.

Карл *(возмущенно)*. Это не игрушка. *(Надувшись.)* Но, пожа-

луйста, не интересуйтесь. Обойдусь и без вашего интереса.

Архиепископ. Ваше высочество проявляет совершенно излишнюю обидчивость.

Карл. А у вас всегда поучение наготове? Очень вам благодарен.

Ла Тремуй *(грубо)*. Ну! Довольно брюзжать! Что это у вас в руках?

Карл. А вам что за дело?

Ла Тремуй. А это как раз и есть мое дело — знать, чем вы там пересылаетесь с гарнизоном Вокулера. *(Выхватывает у него листок и начинает читать по складам, водя по бумаге пальцем.)*

Карл *(обижен)*. Вы считаете, что со мной можно как угодно разговаривать, потому что я вам должен и потому что я не умею драться? Но в моих жилах течет королевская кровь.

Архиепископ. Даже и это, ваше высочество, уже подвергалось сомнению. Вы как-то мало похожи на внука Карла Мудрого.

Карл. Довольно уже поминать о моем дедушке. Не желаю больше про него слушать. Он был до того мудр, что весь семейный запас мудрости забрал себе — на пять поколений вперед. По его милости я и вышел таким жалким дурачком, что все мне грубят и перечат.

Архиепископ. Благоволите сдерживать себя, ваше высочество. Подобная вспыльчивость неприлична вашему сану.

Карл. Ах, еще поучение? Спасибо! Жаль только, что святые и ангелы к вам-то вот не приходят, хоть вы и архиепископ.

Архиепископ. Это вы о чем, собственно?

Карл. Ага! Спросите вон того грубияна. *(Показывает на Ла Тремуя.)*

Ла Тремуй *(в ярости)*. Молчать! Слышите?..

Карл. Слышу, слышу. Нечего орать на весь замок. Вы лучше пойдите на англичан покричите да разбейте мне их хоть разок в бою!

Ла Тремуй *(замахиваясь на него)*. Ах ты дрянной...

Карл *(прячется за архиепископа)*. Не смейте поднимать на меня руку! Это государственная измена.

Ла Гир. Легче, герцог! Легче!

Архиепископ *(решительно)*. Тихо! Тихо! Так не годится. Господин шамбеллан! Прошу вас! Надо все-таки соблюдать какой-то порядок. *(Дофину.)* А вы, ваше высоче-

ство, если уж не умеете управлять своим королевством, то постарайтесь по крайней мере управлять самим собой!

Карл. Опять поучение? Благодарю.

Ла Тремуй *(протягивая бумагу архиепископу)*. Прочитайте, ради бога, вслух это окаянное письмо. Он меня так взбесил, что кровь бросилась мне в голову. Ни одной буквы не могу разобрать.

Карл *(возвращается на прежнее место и заглядывает в бумагу через плечо Ла Тремуя)*. Давайте, я прочитаю. Я-то умею читать.

Ла Тремуй *(с величайшим презрением, ничуть не обижаясь на подпущенную ему шпильку)*. Ну, да вы только на это и годитесь — читать! Что там написано, архиепископ?

Архиепископ. Я ожидал больше здравого смысла от де Бодрикура. Он, видите ли, посылает нам какую-то помешанную деревенскую девчонку...

Карл *(перебивает его)*. Нет. Он посылает нам святую, ангела. И она пришла ко мне, ко мне — своему королю, а не к вам, архиепископ, несмотря на всю вашу святость. Она-то понимает, что значит королевская кровь, не то что вы все. *(С важностью отходит к занавесу и останавливается между Синей Бородой и Ла Гиром.)*

Архиепископ. Вам не разрешат видеться с этой помешанной...

Карл *(оборачиваясь)*. Но я король. И я хочу ее видеть.

Ла Тремуй *(грубо)*. Ну так *ей* не разрешат с вами видеться. Вот!

Карл. А я вам говорю, что я хочу. И на этот раз будет по-моему, а не по-вашему!

Синяя Борода *(смеясь над ним)*. Ах, какой непослушный мальчик! Что сказал бы ваш мудрый дедушка!

Карл. Вот и видно, какой вы невежда, Синяя Борода. У моего деда была святая, которая поднималась в воздух во время молитвы, и она все ему рассказывала, что он хотел узнать. А у моего покойного отца было целых две святых — Мария из Майе и Гасконка из Авиньона. Это особый дар в нашей семье. И как вы там хотите, а у меня тоже будет своя святая.

Архиепископ. Эта девка не святая. Ее даже порядочной женщиной нельзя назвать. Она не хочет носить платье, приличествующее ее полу. Одевается как солдат и разъезжает верхом вместе с солдатами. Так можно ли такую особу допустить ко двору его высочества?

Ла Гир. Стойте! *(Идет к архиепископу.)* Вы говорите, девушка в латах, одетая как воин?

Архиепископ. Да, так ее описывает де Бодрикур.

Ла Гир. Клянусь всеми чертями ада... Ох, что я говорю! Господи, прости меня, грешного! Клянусь пресвятой девой и всеми ангелами небесными — да ведь это же она! Та самая святая, что поразила смертью сквернослова Франка за то, что он ругался.

Карл *(торжествуя)*. Ага! Ага! Видите! Чудо!

Ла Гир. Она нас всех может поразить смертью, если мы станем ей перечить! Ради всего святого, архиепископ, будьте осторожней!

Архиепископ *(строго)*. Вздор! Никого она не поражала. Просто пьяный распутник, которого уже сто раз корили за ругань, упал в колодец и утонул. Чистейшее совпадение.

Ла Гир. Я не знаю, что такое совпадение. Я знаю только, что этот человек умер и что она предрекла ему, что он умрет.

Архиепископ. Мы все умрем, капитан.

Ла Гир *(крестится)*. Сохрани бог! *(Отходит и больше не принимает участия в разговоре.)*

Синяя Борода. Можно очень легко испытать, святая она или нет. Давайте сделаем так: я стану на место дофина, и посмотрим, поддастся ли она на обман.

Карл. Хорошо, я согласен. Если она не распознает королевскую кровь, я не стану ее слушать.

Архиепископ. Только Церковь может сопричислить человека к святым. И пусть де Бодрикур не суется не в свое дело. Как он смеет присваивать себе права, принадлежащие его духовному пастырю? Я сказал: девушка сюда допущена не будет.

Синяя Борода. Но послушайте, архиепископ...

Архиепископ *(сурово)*. Я говорю от имени святой Церкви. *(Дофину.)* Дерзнете ли вы ослушаться?

Карл *(оробел, но не может скрыть недовольства)*. Конечно, если вы мне грозите отлучением, так что я могу на это сказать. Но вы не дочитали до конца. Де Бодрикур пишет, что она обещает снять осаду с Орлеана и разбить англичан.

Ла Тремуй. Чепуха!

Карл. Ах, чепуха? А почему же вы сами не отобьете Орлеан, а? Вы такой мастер задираться!

Ла Тремуй *(в ярости)*. Не смейте колоть мне этим глаза!

Слышите? Я столько воевал, сколько вы за всю жизнь не навоюете. Но я же не могу везде поспеть.

Карл. А-а! Ну, теперь понятно.

Синяя Борода *(выступает вперед, между архиепископом и Карлом)*. Послушайте. Во главе войск под Орлеаном стоит Дюнуа. Отважный Дюнуа, пленительный Дюнуа, непобедимый Дюнуа, любимец дам, красавчик Незаконнорожденный! Можно ли поверить, что деревенская девушка сделает то, что ему не удается?

Карл. Ну а почему же он не снимет осаду?

Ла Гир. Ветер мешает.

Синяя Борода. Как может ветер ему помешать? Орлеан не на море.

Ла Гир. Он на реке Луаре. И англичане захватили мост. Чтобы зайти им в тыл, надо погрузить солдат на лодки и подняться вверх по течению. Ну и Дюнуа не может это сделать, потому что ветер противный. Ему уж надоело платить за молебны: попы там день и ночь молятся, чтобы подул западный ветер. И все без толку. Тут нужно чудо. Вы говорите: то, что эта девушка сделала со сквернословом Франком, — это, мол, не чудо. Ну и пускай! Но это прикончило Франка. Если она переменит ветер для Дюнуа — может, и это не будет чудом; но это прикончит англичан. Так отчего не попробовать?

Архиепископ *(который тем временем дочитал письмо до конца и, видимо, призадумался)*. Да, судя по всему, она произвела большое впечатление на де Бодрикура.

Ла Гир. Де Бодрикур набитый дурак, но он солдат. И если он поверил, что эта девушка может разбить англичан, то и вся армия тоже поверит.

Ла Тремуй *(архиепископу, который, видимо, колеблется)*. А, да ну их, пусть делают как хотят. Орлеан все равно сдастся. Солдаты сами его сдадут, вопреки всем стараниям Дюнуа, если только их что-нибудь не раззадорит.

Архиепископ. Девушка должна быть опрошена представителями Церкви, прежде чем будет принято какое-либо решение. Но поелику его высочество желает ее видеть — допустить ее ко двору.

Ла Гир. Пойду отыщу ее и скажу. *(Уходит.)*

Карл. А вы идите со мной, Синяя Борода. Устроим так, чтобы она меня не узнала. Вы притворитесь, будто вы — это я. *(Уходит за занавес.)*

Синяя Борода. Будто я — этот мозгляк! О господи! *(Уходит вслед за дофином.)*

Ла Тремуй. Интересно, узнает она его?

Архиепископ. Конечно узнает.

Ла Тремуй. Почему?

Архиепископ. Потому что ей будет известно то, что известно всем в Шиноне: что из всех, кого она увидит в зале, самый уродливый и хуже всех одетый — это и есть дофин и что мужчина с синей бородой — это Жиль де Рэ.

Ла Тремуй. О! Об этом я и не подумал.

Архиепископ. Вы не так привычны к чудесам, как я. Это более по моей части.

Ла Тремуй *(изумлен и несколько шокирован)*. Но тогда, значит, это будет совсем не чудо?

Архиепископ *(невозмутимо)*. Почему же?

Ла Тремуй. Но позвольте!.. Что такое чудо?

Архиепископ. Чудо, мой друг,— это событие, которое рождает веру. В этом самая сущность и назначение чудес. Тем, кто их видит, они могут казаться весьма удивительными, а тем, кто их творит, весьма простыми. Но это не важно. Если они укрепляют или порождают веру — это истинные чудеса.

Ла Тремуй. Даже если это сплошной обман?

Архиепископ. Обман утверждает ложь. Событие, рождающее веру, утверждает истину. Стало быть, оно не обман, а чудо.

Ла Тремуй *(смущенно почесывает затылок)*. Н-да! Ну, вы архиепископ, вам лучше знать. А на мой взгляд, тут что-то неладно. Но я не духовный, этих дел не понимаю.

Архиепископ. Вы не духовный, но вы дипломат и воин. Удалось бы вам заставить наших граждан платить военные налоги или наших солдат жертвовать жизнью, если бы они видели то, что происходит на самом деле, а не только то, что им кажется?

Ла Тремуй. Ну нет, клянусь святым Дени! Один только день — и все бы вверх тормашками перевернулось.

Архиепископ. Разве так трудно растолковать им истинное положение вещей?

Ла Тремуй. Да что вы! Они бы просто не поверили.

Архиепископ. Вот именно. Церковь тоже должна управлять людьми ради блага их душ,— как вы управляете ими ради их телесного блага. И стало быть, Церковь должна делать то же самое, что делаете вы: укреплять их веру поэзией.

Ла Тремуй. Поэзией! Я бы сказал, небылицами!

Архиепископ. И были бы неправы, друг мой. Притча не

становится небылицей оттого, что в ней описаны события, которых никогда не было. Чудо не становится обманом оттого, что иногда — я не говорю всегда — за ним скрыто какое-нибудь очень простое и невинное ухищрение, с помощью которого пастырь укрепляет веру своей паствы. Когда эта девушка отыщет дофина в толпе придворных, для меня это не будет чудом, потому что я буду знать, как это вышло, — и моя вера от этого не возрастет. Но для других, если они ощутят трепет от прикосновения тайны и забудут о том, что они прах земной, и слава господня воссияет перед ними, — для них это будет чудом, благодатным чудом. И вот увидите, девушка сама будет потрясена больше всех. Она забудет, как это на самом деле у нее получилось. Может быть, и вы забудете.

Ла Тремуй. Хотел бы я знать, где в вас кончается богом поставленный архиепископ и где начинается самая хитрая лисица во всей Турени! Ну ладно, идемте, а то как бы не опоздать. Чудо или не чудо, а поглядеть будет занятно.

Архиепископ *(удерживая его на минуту)*. Не думайте, что я так уж люблю ходить кривыми путями. Сейчас новый дух рождается в людях; мы на заре иной, более свободной эпохи. Будь я простой монах, которому не нужно никем управлять, я бы в поисках душевного мира охотнее обратился к Аристотелю и Пифагору, чем к святым со всеми их чудесами.

Ла Тремуй. А кто такой Пифагор?

Архиепископ. Мудрец, который утверждал, что земля кругла и что она обращается вокруг солнца.

Ла Тремуй. Вот дурак-то! Глаз у него, что ли, не было?

Уходят за занавес. И почти тотчас занавес раздвигается: видна тронная зала и собравшиеся в ней придворные. Направо, на возвышении, два трона. Перед левым троном в театральной позе стоит Синяя Борода, изображая короля; он явно наслаждается придуманной потехой, так же как и все придворные. Позади возвышения задернутая занавесом арка, но главные двери, возле которых стоят вооруженные телохранители, находятся напротив, через залу; от них к возвышению оставлен свободный проход, вдоль которого выстроились придворные. Карл стоит в одном ряду с прочими, примерно на середине залы. Справа от него Ла Гир; слева, ближе к возвышению, архиепископ. По другую сторону от возвышения стоит Ла Тремуй. На правом троне сидит

герцогиня Ла Тремуй, изображая королеву; возле нее, позади архиепископа,— группа придворных дам. Придворные все оживленно болтают. В зале стоит такой шум, что никто не замечает появления пажа.

Паж *(возглашает)*. Герцог...

Никто не слушает.

Герцог...

Болтовня продолжается. Возмущенный тем, что ему не удается их перекричать, паж выхватывает алебарду у ближайшего к нему телохранителя и с силой ударяет в пол. Болтовня стихает; все молча смотрят на него.

Внимание! *(Отдает алебарду телохранителю.)* Герцог Вандомский имеет честь представить его величеству Жанну, именуемую Девой.

Карл *(прикладывает палец к губам)*. Тссс! *(Прячется за спину рядом стоящего придворного и украдкой выглядывает через его плечо, стараясь рассмотреть, что происходит.)*

Синяя Борода *(величественно)*. Пусть приблизится к трону.

Жанну вводят. Она одета как солдат; волосы подстрижены и густыми прядями обрамляют лицо. Смущенный и безгласный герцог Вандомский ведет ее за руку по проходу, но она выдергивает у него руку, останавливается и с живостью оглядывается, ища дофина.

Герцогиня *(придворной даме, стоящей поближе)*. Смотрите! Волосы-то!

Все придворные дамы разражаются смехом.

Синяя Борода *(еле удерживаясь от смеха, укоризненно машет на них рукой)*. Тсс! Тсс! Дорогие дамы!..

Жанна *(ничуть не смутившись)*. Я их так ношу, потому что я солдат. Где дофин? *(Подходит к возвышению.)*

Смешки в толпе придворных.

Синяя Борода *(милостиво)*. Ты стоишь перед лицом дофина.

Жанна с сомнением останавливает взор на нем; тщательно разглядывает его с головы до ног. Молчание. Все смотрят на нее. Затем губы ее морщит улыбка.

Жанна. Брось, Синяя Борода!.. Полно меня дурачить! Где дофин?

Все хохочут. Жиль, разводя руками в знак того, что признает себя побежденным, присоединяется к общему смеху и спрыгивает с возвышения позади Ла Тремуя. Жанна, теперь уже открыто усмехаясь, поворачивается, оглядывает придворных и вдруг, нырнув в их толпу, вытаскивает Карла за руку.

Жанна *(отпускает его и приседает)*. Милый, благородный дофин, я послана к вам, чтобы прогнать англичан от Орлеана, выгнать их из Франции и короновать вас в Реймском соборе, где короновались все законные короли Франции.

Карл *(торжествуя, придворным)*. Что, видали? Она узнала королевскую кровь. Кто теперь посмеет сказать, что я не сын моего отца? *(Жанне.)* Но если ты хочешь, чтобы я короновался в Реймсе, так это не со мной надо говорить, а вот — с архиепископом.

Жанна *(быстро оборачивается, глубоко взволнованная)*. О монсеньор! *(Падает перед епископом на колени и склоняет голову, не смея поднять на него глаза.)* Монсеньор! Я только простая деревенская девушка, а на вас почиет благодать, и сам господь бог осенил вас своею славой! Но вы ведь не откажете мне в милости — коснуться меня рукой и дать мне свое благословение?

Синяя Борода *(шепчет на ухо Ла Тремую)*. Покраснел, старая лисица! Каково, а?

Ла Тремуй. Еще одно чудо!

Архиепископ *(кладет руку на голову Жанны; он, видимо, тронут)*. Дитя! Ты влюблена в религию.

Жанна *(удивленно смотрит на него)*. Да?.. Я никогда об этом не думала. А разве в этом есть что-нибудь дурное?

Архиепископ. Дурного в этом ничего нет, дитя мое, но есть опасность.

Жанна *(встает; лицо ее сияет такой беззаботной радостью, что кажется — оно озарено солнцем)*. Ну, опасность есть везде, только на небе ее нету. О монсеньор, вы вдохнули в меня такую силу, такое мужество!.. Как это, должно быть, чудесно — быть архиепископом!

Придворные ухмыляются, слышно даже хихиканье.

Архиепископ *(обиженно выпрямляется)*. Господа! Вера этой девушки — живой укор вашему легкомыслию. Я недостойный раб божий, но ваша веселость — смертный грех!

Лица у всех вытягиваются. Молчание.

Синяя Борода. Монсеньор, мы смеялись над ней, а не над вами.

Архиепископ. Как? Не над моей недостойностью, а над ее верой? Жиль де Рэ! Эта девушка предрекла нечестивцу, что он погибнет во грехах на дне колодца...

Жанна *(в тревоге)*. Нет! Нет!

Архиепископ *(жестом приказывает ей молчать)*. А я предрекаю вам, что вы умрете без покаяния на виселице, если не научитесь вовремя соображать, когда нужно смеяться, а когда молиться!

Синяя Борода. Монсеньор, ваши упреки справедливы. Я виноват. Прошу прощения! Но если вы пророчите мне виселицу, так я уж никогда не смогу противиться соблазну, потому что всякий раз буду думать: а не все ли равно, больше ли грехов, меньше ли? Конец-то один!

Слыша это, придворные приободряются. Опять раздаются смешки.

Жанна *(возмущенно)*. Пустой ты малый, Синяя Борода! И это с твоей стороны большое нахальство – так отвечать архиепископу!

Ла Гир *(хохочет, очень довольный)*. Вот это сказала – как припечатала! Молодец, девушка!

Жанна *(нетерпеливо, архиепископу)*. Монсеньор, сделайте милость, прогоните всех этих дураков, чтобы мне с глазу на глаз поговорить с дофином!

Ла Гир *(добродушно)*. Я умею понимать намеки. *(Отдает честь, поворачивается на каблуках и уходит.)*

Архиепископ. Пойдемте, господа. Дева пришла к нам с благословения божия; ей должно повиноваться.

Придворные уходят – кто под арку, кто в противоположные двери. Архиепископ идет через залу к главным дверям в сопровождении герцогини и Ла Тремуя. Когда он проходит мимо Жанны, та падает на колени и с жаром целует подол его мантии. Архиепископ качает головой, не одобряя такого чрезмерного проявления чувств, высвобождает полу из ее рук и уходит. Жанна остается стоять на коленях, загораживая дорогу герцогине.

Герцогиня *(холодно)*. Разрешите пройти?

Жанна *(поспешно встает и отступает в сторону)*. Простите, сударыня. Виновата.

Герцогиня проходит.

(Смотрит ей вслед, потом шепчет дофину.) Это кто, королева?

Карл. Нет. Но она считает, что да.

Жанна *(опять глядя вслед герцогине)*. Ух ты!

В этом возгласе изумления, исторгнутом у Жанны видом столь пышно разряженной дамы, звучат не совсем лестные для последней нотки.

Ла Тремуй *(очень сердито)*. Я попросил бы ваше высочество не насмехаться над моей женой. *(Уходит.)*

Остальные тоже уже все успели уйти.

Жанна *(дофину)*. А этот медведище — он кто?

Карл. Герцог Ла Тремуй.

Жанна. А что он делает?

Карл. Прикидывается, будто командует армией. А когда я нахожу себе друга — кого-нибудь, кто мне по сердцу, он его убивает.

Жанна. Зачем же ты ему позволяешь?

Карл *(нервно переходит в тронный конец залы, пытаясь ускользнуть от магнетического воздействия Жанны)*. А как я ему не позволю? Он, видала, какой грубиян? Они все грубияны.

Жанна. Трусишь?

Карл. Да. Трушу. Только, пожалуйста, без нравоучений. Отвага — это, знаешь ли, очень хорошо для этих верзил в железных латах и с мечом у пояса. А я в таких латах пяти минут не выстою и меча такого даже поднять не могу. Им-то что, этим здоровякам с зычным голосом и драчливым нравом! Они любят сражаться: когда они не сражаются, их одурь берет. А я человек спокойный и разумный, я совсем не хочу убивать людей, я хочу только, чтобы меня не трогали и не мешали жить, как мне нравится. Я не просил, чтобы меня делали королем, мне это силком навязали. Так что если ты намерена возгласить: «Сын Людовика Святого, опоясшись мечом своих предков и веди нас к победе!» — то я одно тебе посоветую: не утруждайся! Потому что я все равно ничего этого не могу. Я не так устроен, вот и все. И конец разговору.

Жанна *(решительно и властно)*. Глупости! Вначале со всяким так бывает. Это ничего. Я вдохну в тебя мужество.

Карл. Но я не хочу, чтобы в меня вдыхали мужество. Я хочу спать в удобной кровати и не ждать каждую минуту, что меня убьют или изувечат. Ты лучше в других вдыхай мужество, и пусть себе дерутся сколько их душе угодно. А меня оставь в покое.

Жанна. Нельзя, Чарли. Ты должен выполнить дело, которое возложил на тебя господь. Если ты не будешь королем, так будешь нищим,— ведь больше ты ни на что не годишься. Ты лучше сядь-ка на трон, а я на тебя погляжу. Давно мне этого хотелось.

Карл. Какой толк сидеть на троне, когда приказания отдают другие? Но раз тебе так хочется... *(садится на трон; зрелище получается довольно жалкое)*, то вот тебе твой горемыка король! Любуйся.

Жанна. Ты еще не король, дружочек. Ты только дофин. И пусть тебе не морочат голову. Нечего выдавать кукушку за ястреба. Я знаю народ — настоящий народ, тот, что выращивает для тебя хлеб,— и я тебе говорю: народ только тогда будет считать тебя законным королем, когда святое миро коснется твоих волос и сам ты будешь посвящен и коронован в Реймском соборе. Да, и еще, Чарли: тебе надо приодеться. Почему королева за тобой не смотрит?

Карл. У нас нет денег. А что есть, то она все тратит на свои наряды. Да и я люблю, когда она хорошо одета. А мне все равно, что ни носить. Как ни наряжай — красивей не стану.

Жанна. В тебе есть кое-что хорошее, Чарли. Но это еще не то, что нужно королю.

Карл. А вот увидим. Я не так глуп, как, может быть, кажусь. Соображать умею. И я тебе говорю: один хороший договор важнее, чем десять победоносных сражений. Эти вояки прогадывают на договорах все, что выигрывают в бою. Вот когда у нас с англичанами дойдет до заключения договора, уж тут-то мы их околпачим,— потому что они больше способны драться, чем шевелить мозгами.

Жанна. Если англичане победят, они сами напишут этот договор,— и горе тогда бедной Франции! Нет, Чарли, хочешь не хочешь, а выходит: надо тебе сражаться. Я начну, чтобы тебе потом было легче. Тут уж надо в обе руки взять свое мужество да и креститься обеими руками — молить бога о поддержке.

Карл *(спускается с трона и опять переходит в другой конец*

залы, отступая перед ее властным напором). Ах, да будет тебе про бога и про молитвы! Не выношу людей, которые вечно молятся. Как будто мало того, что приходится высиживать положенные часы!

Жанна *(с состраданием).* Бедное дитя, ты, значит, никогда за всю жизнь не молился по-настоящему. Придется мне учить тебя с самого начала.

Карл. Я не дитя, я взрослый мужчина и отец семейства, и не желаю, чтобы меня еще чему-то учили!

Жанна. Да, правда, у тебя ведь есть маленький сыночек. Он будет королем, когда ты умрешь. Людовик Одиннадцатый! Разве ты не хочешь сражаться за него?

Карл. Нет, не хочу. Отвратительный мальчишка! Ненавидит меня. Он всех ненавидит, злющий чертенок! Терпеть не могу детей. Не хочу быть отцом и не хочу быть сыном,— а особенно сыном Людовика Святого. И не хочу совершать никаких подвигов, о которых вы все так любите разглагольствовать. Хочу быть таким, как я есть,— и больше ничего. Неужели ты не можешь оставить меня в покое и думать о своих делах, а не о моих?!

Жанна *(опять с глубоким презрением).* Думать о своих делах — это все равно что думать о своем теле,— самый верный способ расхвораться. В чем мое дело? Помогать матери по дому. А твое? Играть с комнатными собачками и сосать леденцы. Куда как хорошо! Нет, мы посланы на землю, чтобы творить божье дело, а не свои собственные делишки. Я пришла возвестить тебе веление господне, и ты должен выслушать, хотя бы сердце у тебя разорвалось от страха.

Карл. Не хочу слушать никаких велений. Но, может быть, ты умеешь раскрывать тайны? Или исцелять болезни? Или превращать свинец в золото? Или еще что-нибудь в этом роде?

Жанна. Я могу превратить тебя в короля в Реймском соборе,— а это, сдается мне, будет чудо не из легких.

Карл. Если мы отправимся в Реймс и будем устраивать коронацию, Анна захочет нашить новых платьев, а у меня нет денег. Не надо мне ничего; пусть буду как есть.

Жанна. Как есть! А что ты есть? Ничто. Хуже самого бедного пастушонка, который пасет овец у нас в деревне. Твои собственные земли и то не твои, пока ты не коронован.

Карл. Они все равно не будут мои. Поможет мне коронация заплатить по закладным? Я все до последнего акра зало-

жил архиепископу и тому жирному грубияну. Я даже Синей Бороде должен.

Жанна *(строго)*. Чарли! Я сама от земли и всю силу нажила тем, что работала на земле. И я тебе говорю: твои земли даны тебе для того, чтобы ты справедливо управлял ими и поддерживал мир господень в своих владениях, а не для того, чтобы ты их закладывал, как пьяная женщина закладывает платье своего ребенка. А я послана богом возвестить тебе, что ты должен преклонить колени в соборе и на веки вечные вручить свое королевство господу богу и стать величайшим королем в мире – как его управляющий и его приказчик, его воин и его слуга! Самая земля Франции станет тогда святой; и солдаты Франции будут воинами господними; и мятежные герцоги будут мятежниками против бога; и англичане падут ниц и станут молить тебя, чтобы ты позволил им с миром вернуться в их законную землю. Неужели ты захочешь стать жалким Иудой и предать меня и того, кто меня послал?

Карл *(поддаваясь наконец соблазну)*. Ах, кабы у меня хватило смелости!..

Жанна. У меня хватит – и за тебя и за себя, во имя господне! Так что ж – со мной ты или против меня?

Карл *(взволнован)*. Я попробую. Предупреждаю тебя, долго я не выдержу. Но я попробую. Сейчас увидишь. *(Бежит к главным дверям и кричит.)* Эй, вы! Идите сюда все до одного. *(Перебегает к дверям под аркой. Жанне.)* Но ты смотри не отходи от меня и не позволяй, чтоб они мне грубили. *(Кричит под арку.)* Идите сюда! Живо! Весь двор!

Придворные возвращаются в зал и занимают прежние места, шумя и удивленно переговариваясь. Карл усаживается на трон.

Ух! Как головой в воду! Но все равно. Будь что будет. *(Пажу.)* Вели им замолчать! Слышишь, дрянь ты этакая?

Паж *(как и в прошлый раз, хватает алебарду и несколько раз ударяет в пол)*. Молчание перед лицом его величества! Король хочет говорить. *(Властно.)* Да замолчите вы наконец!

Наступает тишина.

Карл *(встает)*. Я вручил Деве командование армией. И все, что она прикажет, должно немедленно быть исполнено.

Общее изумление. Ла Гир в восторге хлопает своей железной перчаткой по набедреннику.

Ла Тремуй *(угрожающе поворачивается к Карлу)*. Это еще что такое? Я командую армией!

Карл невольно съежился. Жанна быстро кладет руку ему на плечо. Карл делает над собой отчаянное усилие, которое разрешается неожиданным жестом: король щелкает пальцами перед носом своего шамбеллана.

Жанна. Вот тебе и ответ, медведюшка. *(Внезапно выхватывает меч, чувствуя, что настал ее час.)* Кто за бога и его Деву? Кто идет со мной на Орлеан?

Ла Гир *(с увлечением, тоже обнажая меч)*. За бога и его Деву! На Орлеан!

Все рыцари *(следуя его примеру, с жаром)*. На Орлеан!

Жанна с сияющим лицом падает на колени и возносит богу благодарственную молитву. Все также преклоняют колена, кроме архиепископа, который стоя их благословляет, и Ла Тремуя, который, весь обмякнув, привалился к стене и сквозь зубы бормочет ругательства.

Орлеан, 29 мая 1429 года. Пригорок на южном берегу Луары, откуда открывается далекий вид на серебряную гладь реки как вниз, так и вверх по течению. Дюнуа, которому сейчас двадцать шесть лет, расхаживает взад и вперед по берегу. Его копье воткнуто в землю, на конце копья флажок, который развевается на сильном восточном ветру. Рядом лежит его щит с косой полоской в гербе. В руках у него жезл командующего войском. Дюнуа хорошо сложен, легко носит латы. У него широкий лоб и заостренный подбородок, так что по форме лицо его напоминает узкий равнобедренный треугольник; тяготы военной жизни и ответственность военачальника уже наложили на него свою печать; но, судя по выражению лица, это добрый и одаренный человек, чуждый иллюзий и притворства. Его паж сидит на земле, упершись локтями в колени и кулаками в щеки, и от нечего делать глазеет на реку. День клонится к вечеру; и оба они — и взрослый и мальчик — невольно поддаются обаянию прелестного пейзажа.

Дюнуа *(на мгновение останавливается, смотрит на развевающийся флажок, устало качает головой и опять принимается ходить)*. Западный ветер, западный ветер, западный ветер, да когда же ты, наконец, подуешь? Ветер, ты как распутная женщина: когда не надо, она тебе изменяет; а когда хочешь, чтобы изменила, тут-то она и доймет тебя постоянством! Западный ветер на светлой Луаре... Какая рифма к Луаре? *(Снова смотрит на флажок и грозит ему кулаком.)* Переменись, чтоб тебе! Переменись, ты, английская шлюха! С запада, с запада, говорят тебе! Дуй с запада! У-у! *(С гневным ворчанием отворачивается и некоторое время ходит молча, потом опять начинает приговаривать.)* Западный ветер, веселый ветер, вольный ветер, вертлявый ветер, ветер-ветреник, веющий над водой,— или уж ты больше никогда не подуешь, во веки веков?

Паж *(вскакивает на ноги)*. Вон! Вон! Смотрите! Вон она!

Дюнуа *(пробуждаясь от задумчивости, живо)*. Где? Кто? Дева?..

Паж. Да нет! Птичка! Зимородок. Как синяя молния! Вон на тот куст села.

Дюнуа *(в ярости оттого, что обманулся в своих ожиданиях)*. Только и всего! Ах ты дьяволенок! Голова без мозгов! Вот возьму да швырну тебя в реку!

Паж *(ничуть не испугавшись, так как знает, с кем имеет дело)*. До чего хорошенькая! Как голубой огонек! А вон другая!

Дюнуа *(живо подбегает к берегу)*. Где? Где?

Паж *(показывает)*. Вон, над камышами.

Дюнуа *(радостно)*. Ага! Вижу!

Оба следят за птицами, пока те не скрываются из виду.

Паж. Вы же сами вчера бранились, зачем я вам вовремя не показал.

Дюнуа. Но ты ведь знаешь, что я сегодня жду Деву. А кричишь! В другой раз я такую тебе задам трепку — будешь знать, как орать попусту!

Паж. Какие милочки, а? Вот бы поймать!

Дюнуа. Попробуй только! Я тебя самого посажу на месяц в железную клетку, чтобы ты знал, как это приятно! Мерзкий мальчишка!

Паж смеется и снова усаживается на землю.

(Расхаживая взад и вперед.) Синяя птичка, синяя птичка, ведь я храню тебя, перемени же ветер ты для меня... Нет, это не рифмует. Кто согрешил любя. Этак лучше. Но, к сожалению, никакого смысла. *(Заметив, что подошел вплотную к пажу.)* Мерзкий мальчишка! *(Отворачивается и идет обратно.)* Пресвятая Мария в голубых лентах — голубых, как спинка у зимородка, — ужели ты поскупишься для меня на западный ветер?

Голос часового *(с западной стороны)*. Стой! Кто идет?

Голос Жанны. Дева.

Дюнуа. Пропустить! Сюда, Дева! Ко мне!

Вбегает Жанна в великолепном вооружении. Она не помнит себя от гнева. Ветер вдруг стихает, и флажок повисает вдоль копья. Но Дюнуа слишком занят Жанной и не замечает этого.

Жанна *(резко)*. Ты Незаконнорожденный из Орлеана?

Дюнуа *(сдержанно и сурово, указывая на свой щит)*. Ты же видишь косую полосу на гербе. А ты — Жанна, именуемая Девой?

Жанна. Ну а кто же еще!

Дюнуа. Где твое войско?

Жанна. Там, сзади. Отстали. Они обманули меня. Привели не на тот берег.

Дюнуа. Да. Это я приказал.

Жанна. Зачем? Англичане же на том берегу.

Дюнуа. Англичане на обоих берегах.

Жанна. Но Орлеан на том. Значит, там и нужно с ними сражаться. Как перебраться на тот берег?

Дюнуа *(мрачно)*. Есть мост.

Жанна. Ну так во имя божье! Перейдем мост и атакуем их.

Дюнуа. Это как будто очень просто. Но это невозможно.

Жанна. Кто это сказал?

Дюнуа. Я это говорю. И другие — постарше и поумнее меня — с этим согласны.

Жанна *(решительно)*. Ну так эти, что постарше и поумнее, просто-напросто старые ослы. Они тебя одурачили. А теперь еще и меня вздумали дурачить — привели не на тот берег! Разве ты не знаешь, что я принесла тебе помощь, какой не получал еще ни один военачальник и ни одна крепость?..

Дюнуа *(снисходительно улыбаясь)*. Твою собственную?

Жанна. Нет. Помощь и совет царя небесного. Как пройти на мост?

Дюнуа. Ты очень нетерпелива, Жанна.

Жанна. А разве сейчас время для терпения? Враг у наших ворот, а мы стоим опустив руки и ничего не делаем. Ах, да почему же ты не сражаешься?.. Послушай, я освобожу тебя от страха! Я...

Дюнуа *(весело смеясь, отмахивается от Жанны)*. Нет, нет, милочка! Если ты освободишь меня от страха, я буду отличным рыцарем из книжки, но очень плохим командующим армией. Ну ладно. Давай-ка я поучу тебя военному ремеслу. *(Подводит ее ближе к реке.)* Видишь эти две башни, по сю сторону моста? Ну вон те, большие!

Жанна. Да. Это наши или годдэмов?

Дюнуа. Помолчи-ка и слушай. Если бы я засел в одной из этих башен всего с десятком солдат, я бы мог выстоять против целой армии. А у годдэмов в каждой башне не десять солдат, а десять раз по десять, а может, и еще больше,— так трудно ли им выстоять против нас?

Жанна. Они не могут выстоять против бога. Бог не давал им землю под этими башнями. Они украли ее у бога. Бог дал ее нам. Я возьму эти башни.

Дюнуа. Одна?

Жанна. Наши солдаты их возьмут. А я поведу солдат.

Дюнуа. Никто за тобой не пойдет.

Жанна. Я не стану оборачиваться и смотреть, пошел ли кто-нибудь за мной.

Дюнуа *(отдавая должное ее мужеству, хлопает ее по плечу)*. Молодец! Из тебя, пожалуй, выйдет солдат. Ты влюблена в войну.

Жанна *(поражена)*. О! А архиепископ говорит, что я влюблена в религию!

Дюнуа. Я, кажется, и сам, да простит мне бог, немножко влюблен в эту злую ведьму — войну. Я как человек, у которого две жены. А ты хочешь быть как женщина, у которой два мужа?

Жанна *(понимая его слова буквально)*. У меня никогда не будет мужа. Один парень из Туля подал на меня в суд за то, что я будто бы нарушила обещание выйти за него замуж; но это неправда, я ему ничего не обещала. Я солдат — и не хочу, чтобы обо мне думали как о женщине. И женское платье не хочу носить. Мне не интересно то, что интересует женщин. Они думают о любовниках и деньгах, а я думаю о том, как поведу солдат на приступ и где лучше поставить пушки. Вы, военные, не умеете применять пушки. Вам бы только побольше дыму и грохоту — как будто этим можно выиграть сражение.

Дюнуа *(пожимает плечами)*. Это верно. Сплошь да рядом от артиллерии больше хлопот, чем пользы.

Жанна. Так-то оно так, паренек, но каменную стену не пробьешь конной атакой. Тут нужны пушки — и большие пушки, не то что у вас.

Дюнуа *(усмехается простоте ее обращения и сам отвечает ей в тон)*. Так-то оно так, девушка, но смелое сердце и крепкая лестница совладают с любой стеной, будь она из каменных каменная.

Жанна. Я первая взойду по лестнице, когда мы станем брать эти башни. А ты пойдешь за мной? Вызываю тебя!

Дюнуа. Нельзя вызывать командующего армией, Жанна. Только начальникам мелких отрядов разрешается проявлять личную храбрость в бою. А кроме того, знай: ты мне нужна как святая, а не как солдат. Удальцов у меня довольно — только кликни! Да толку-то от них мало.

Жанна. Я не удалец, я служанка господня. Мой меч освящен богом. Я нашла его в алтаре в церкви святой Екатерины, где бог хранил его для меня. Я, может, ни одного удара

не нанесу этим мечом, — мое сердце полно мужества, а не гнева. Я поведу, а твои солдаты пойдут за мной — вот и все, что я могу. Но это я должна сделать, и ты меня не остановишь.

Дюнуа. Все в свое время. Эти башни нельзя взять вылазкой на мост. Надо, чтобы наши войска поднялись вверх по реке и уже с этого берега зашли англичанам в тыл.

Жанна *(в ней пробуждается ее военная сметка)*. Так надо связать плоты и поставить на них пушки. А солдаты переправятся на лодках.

Дюнуа. Плоты готовы, и солдаты сидят на веслах. Но они ждут воли божьей.

Жанна. Как это так? Это бог ждет их.

Дюнуа. Так пусть он пошлет им западный ветер. Наши лодки вон там — ниже по реке. Они не могут идти сразу и против течения и против ветра. Вот и приходится ждать, пока господь бог переменит ветер. Пойдем, Жанна. Я отведу тебя в церковь.

Жанна. Нет. Я люблю церковь. Но англичане не послушаются наших молитв. Они понимают, только когда их колотят и рубят. Я не пойду в церковь, пока мы их не побьем.

Дюнуа. Нет, ты должна пойти. Там есть для тебя дело.

Жанна. Какое дело?

Дюнуа. Помолиться о западном ветре. Я уже молился. Я даже пожертвовал церкви два серебряных подсвечника. Но мои молитвы не доходят. Может, твои дойдут. Ты молода и невинна.

Жанна. Ах, да, да. Ты прав. Я буду молиться. Я расскажу все святой Екатерине, и она попросит бога, чтобы он послал нам западный ветер. Скорее! Покажи мне дорогу в церковь.

Паж *(громко чихает)*. А-а-пчхи!

Жанна. Будь здоров, милый! Идем, Дюнуа.

Уходят. Паж встает, намереваясь последовать за ними. Он поднимает с земли щит и берется уже за копье, как вдруг замечает, что развевающийся на ветру флажок вытянут теперь в восточную сторону.

Паж *(роняет щит и в волнении громко зовет)*. Сеньор! Сеньор! Мадемуазель!

Дюнуа *(бегом возвращается)*. Ну что там? Зимородок? *(С любопытством смотрит вверх по реке.)*

Жанна *(догнав его)*. О! Зимородок? Где?

П а ж. Нет! Ветер, ветер, ветер! *(Показывает на флажок.)* Вот отчего я чихнул!

Д ю н у а *(глядя на флажок)*. Ветер переменился. *(Крестится.)* Господь сказал свое слово. *(Преклоняет колена и подает Жанне свой жезл.)* Отныне ты командуешь королевской армией. Я твой солдат.

П а ж *(глядя вниз по реке)*. Лодки уже отчалили! Да как идут! Так и шпарят против течения!

Д ю н у а *(встает)*. А теперь — к башням! Ты меня вызывала идти за тобой. Теперь я тебя вызываю — веди!

Ж а н н а *(заливается слезами и, обняв Дюнуа за шею, целует его в обе щеки)*. Дюнуа, милый товарищ по оружию, помоги мне! Слезы слепят мне глаза... Поставь мою ногу на лестницу и скажи: «Вперед, Жанна!»

Д ю н у а *(тащит ее за руку)*. Что там еще за слезы! Ты смотри, где полыхают пушки, — туда и держи!

Ж а н н а *(с вновь вспыхнувшей отвагой)*. А!

Д ю н у а *(увлекая ее за собой)*. За бога и святого Дени!

П а ж *(пронзительно кричит)*. За Деву! За Деву! За бога и Деву! Ура, ура, ура-а-а! *(Хватает щит и копье и убегает вприпрыжку в диком восторге.)*

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Палатка в английском лагере. Английский капеллан, лет пятидесяти, с бычьей шеей, сидит на табурете у стола и усердно пишет. По другую сторону стола, в красивом кресле, сидит важного вида вельможа, сорока шести лет, и перелистывает рукописный часослов с цветными миниатюрами. От этого занятия он, видимо, получает большое удовольствие; капеллан же весь кипит от подавленного гнева. Стол находится справа от вельможи; слева от него стоит обитый кожею табурет.

Вельможа. Вот это я называю тонкой работой. Нет ничего прекраснее, чем хорошая книга, с правильно расположенными колонками жирных черных букв, с красивыми полями, с умело вставленными расцвеченными рисунками. Но в наше время люди разучились любоваться книгой: они ее читают. Для них нет разницы — что книга, что вот эти счета на сало и отруби, которые вы там царапаете.

Капеллан. Меня удивляет, милорд, что вы так хладнокровно относитесь к нашему положению. Весьма, я бы сказал, хладнокровно.

Вельможа *(надменно)*. В чем дело?

Капеллан. Дело в том, милорд, что нас, англичан, побили.

Вельможа. Это, знаете ли, бывает. Только в исторических книгах и в балладах поражение всегда терпит неприятель.

Капеллан. Но мы терпим поражение за поражением. Сперва Орлеан...

Вельможа *(пренебрежительно)*. Ну, Орлеан...

Капеллан. Я знаю, что вы хотите сказать, милорд: что это был явный случай колдовства и чародейства. Но нас продолжают бить. Мы потеряли Жарго, Мен, Божанси — не только Орлеан. А теперь нашу армию искрошили возле Патэ и сэр Джон Талбот взят в плен. *(Бросает перо, чуть не плача.)* Мне это очень тяжело, милорд, очень. Не могу видеть, как моих земляков колотит кучка каких-то иностранцев.

Вельможа. А! Вы англичанин?

Капеллан. Конечно нет, милорд! Я дворянин. Но как и вы, милорд, я родился в Англии. Это имеет значение.

Вельможа. Привязаны к земле? А?

Капеллан. Вашему сиятельству угодно острить на мой счет. И в силу своего высокого положения вы можете это делать безнаказанно. Вам, разумеется, не хуже моего известно, что я не привязан к земле в грубом смысле этого слова — как крепостной. Но у меня есть чувство привязанности к ней *(с растущим волнением)*, и я этого не стыжусь. И если так и дальше пойдет, то, видит бог *(порывисто вскакивает)*, я скину рясу ко всем чертям, сам возьмусь за оружие и своими руками удушу эту проклятую ведьму!

Вельможа *(добродушно смеясь)*. Без сомнения, капеллан, без сомнения! Если мы ничего лучше не придумаем. Но сейчас еще рано. Потерпите немножко.

Капеллан снова садится с обиженным видом.

(Легким тоном.) Ведьмы я не особенно боюсь. Я, видите ли, в свое время совершил паломничество в Святую землю, и небесные силы, ради поддержания собственного авторитета, не допустят, чтобы надо мной взяла верх какая-то деревенская колдунья. Но вот Незаконнорожденный из Орлеана — этот орешек будет потруднее разгрызть! Тем более что он тоже побывал в Святой земле, — так что тут у нас шансы равные.

Капеллан. Но ведь он всего-навсего француз, милорд.

Вельможа. Француз! И откуда только вы берете такие выражения! Или уже эти бургундцы, и бретонцы, и гасконцы, и пикардийцы тоже начинают называть себя французами, как наши земляки начинают звать себя англичанами? Они уже говорят о Франции — или там об Англии — как о *своей* стране. *Их* страна, скажите пожалуйста! А что же будет с вами или со мной, если утвердится подобный образ мыслей?

Капеллан. А почему бы и нет, милорд? Чем это плохо для нас?

Вельможа. Человек не может служить двум господам. Если эта белиберда насчет служения своей родине засядет им в голову, то конец власти феодального сеньора и конец власти Церкви! То есть конец вам и мне.

Капеллан. Смею думать, что я верный служитель Церкви. И не будь у меня шестерых двоюродных братьев, я бы имел право на титул барона Стогэмберского, утвержденный еще Вильгельмом Завоевателем. Но разве это причина, чтобы мне спокойно стоять и смотреть, как ан-

гличан колотят какой-то незаконнорожденный француз и нечестивая ведьма из ихней поганой Шампани?

Вельможа. Не волнуйтесь, капеллан, не волнуйтесь. Придет время — и мы сожжем ведьму и поколотим Незаконнорожденного. Как раз сейчас я поджидаю епископа города Бовэ, чтобы договориться с ним о ее сожжении. Его, знаете ли, выгнали из епархии, и сделали это именно сторонники помянутой ведьмы.

Капеллан. Сперва, милорд, надо ее поймать.

Вельможа. Или купить. Я предложу за нее царский выкуп.

Капеллан. Царский выкуп! За эту шлюху!

Вельможа. Ничего не поделаешь. Нужно, чтобы на всех хватило. Кто-нибудь из приближенных Карла продаст ее бургундцам, а те продадут ее нам; будут посредники — трое или четверо, — и каждый потребует себе за комиссию.

Капеллан. Чудовищно! А всё эти мерзавцы евреи. Где только деньги переходят из рук в руки, тут и они сейчас же вотрутся. Будь моя воля, я бы ни одного еврея не оставил в живых ни в одной христианской стране!

Вельможа. Но почему же? Евреи по крайней мере торгуют честно. Деньги они берут, это верно, но зато и дают что-то взамен. А вот тот, кто с тебя норовит взять и ничего тебе за это не дать, тот, насколько я могу судить по собственному опыту, всегда оказывается христианином.

Появляется паж.

Паж. Его преосвященство, епископ города Бовэ, монсеньор Кошон.

Входит Кошон, человек лет шестидесяти. Паж удаляется. Оба англичанина встают.

Вельможа *(с подчеркнутой любезностью)*. Дорогой епископ, как мило с вашей стороны, что вы пришли! Разрешите представиться: Ричард де Бичем, граф Уорик, к вашим услугам!

Кошон. Ваша слава, граф, дошла и до меня.

Уорик. А этот почтенный клирик — это Джон де Стогэмбер.

Капеллан *(бойко отчеканивает)*. Джон Бойер Спенсер Невилль де Стогэмбер к вашим услугам, монсеньор; бакалавр теологии и хранитель личной печати его высокопреосвященства кардинала Винчестерского.

У о р и к *(Кошону)*. У вас его, кажется, называют кардиналом английским. Дядя нашего короля.

К о ш о н. Мессир де Стогэмбер, я преданный сторонник и доброжелатель его высокопреосвященства. *(Протягивает руку капеллану, и тот целует епископский перстень у него на пальце.)*

У о р и к. Благоволите присесть, монсеньор. *(Ставит свое кресло во главе стола и жестом приглашает епископа сесть.)*

Кошон легким наклонением головы изъявляет согласие занять это почетное место. Уорик небрежно подталкивает кожаный табурет к столу и садится с той же стороны, где сидел раньше. Капеллан идет обратно к своему стулу.

Хотя Уорик уступил главное место за столом епископу, стремясь подчеркнуть свое почтительное отношение к нему, но в дальнейших переговорах он принимает на себя ведущую роль,— видимо, иначе это себе и не мысля. Он сохраняет прежний тон любезности и радушия, но в его голосе появляются новые нотки, показывающие, что теперь он переходит к деловой части разговора.

Должен сказать, монсеньор, что наше свидание происходит в не совсем благоприятную для нас минуту. Карл намерен короноваться в Реймсе; вернее, эта девица из Лотарингии намерена его короновать. И мы — не стану ни обманывать вас, ни обольщать вас напрасной надеждой,— мы не в силах этому помешать. Коронация, вероятно, существенно изменит положение Карла.

К о ш о н. Еще бы! Это очень ловкий ход со стороны Девы.

К а п е л л а н *(снова приходя в волнение)*. Если нас побили, так потому, что дрались нечестно. Этого еще не бывало, чтобы англичанина победили в честном бою!

Кошон слегка поднимает брови, затем его лицо снова приобретает невозмутимое выражение.

У о р и к. Наш друг убежден, что эта молодая женщина — колдунья. Будь это так, вы, ваше преосвященство, вероятно, сочли бы своим долгом предать ее в руки инквизиции, дабы она была сожжена на костре за свое нечестие!

К о ш о н. Если б ее взяли в плен в моей епархии — то да, конечно.

У о р и к *(очень довольный тем, что епископ понимает его с полуслова)*. Совершенно справедливо. Ну-с, а в том, что она колдунья, как будто нет никаких сомнений?

Капеллан. Ни малейших. Явная ведьма.

Уорик *(мягко укоряя его за вмешательство)*. Мессир Джон, мы ведь хотим знать мнение его преосвященства.

Кошон. Боюсь, что нам придется считаться не только с собственным мнением, а еще и с мнением — или, если хотите, с предрассудками — французского суда.

Уорик *(поправляет его)*. Католического суда, монсеньор.

Кошон. Католический суд, как и всякий суд, какое бы высокое дело он ни выполнял и из какого бы высокого источника ни черпал вдохновение, в конце концов состоит из людей. А когда эти люди французы — как теперь принято их называть,— то не так-то просто будет убедить их в том, что если французская армия разбила английскую, так уж тут непременно замешано колдовство.

Капеллан. Как! Даже когда сам прославленный сэр Джон Талбот потерпел поражение? Когда его самого взяла в плен какая-то потаскуха из лотарингской канавы?!

Кошон. Мы все знаем, мессир, что сэр Джон Талбот неустрашимый и грозный воин. А вот что он способный полководец, это еще надо доказать. Вам угодно думать, что его победила эта девушка. Но кое-кто из нас, пожалуй, склонен будет видеть в этом заслугу Дюнуа.

Капеллан *(презрительно)*. Дюнуа! Незаконнорожденный из Орлеана!

Кошон. Разрешите вам напомнить...

Уорик *(перебивая)*. Я знаю, что вы хотите сказать, монсеньор. Дюнуа разбил *меня* под Монтаржисом.

Кошон *(с поклоном)*. И для меня это служит доказательством того, что сеньор Дюнуа и в самом деле выдающийся полководец.

Уорик. Ваше преосвященство — образец учтивости. Я со своей стороны готов признать, что Талбот просто-напросто драчливое животное. И если его взяли в плен при Патэ, так, вернее всего, он сам в этом виноват.

Капеллан *(разгорячаясь)*. Милорд, под Орлеаном эту женщину ранило в горло английской стрелой, она плакала от боли, как ребенок,— многие это видели! И с этой смертельной раной она еще сражалась весь день. А когда наши храбрецы, как истые англичане, отбили все ее атаки, она подошла к самой стене бастиона — одна, с белым знаменем в руках; и на солдат нашло оцепенение, так что они не могли ни спустить стрелу, ни поднять меч. И французы ринулись на них и загнали на мост, который тотчас был объят пламенем и провалился под ними. Все

полетели в реку и тонули сотнями. Чему все это приписать? Полководческим талантам вашего Дюнуа? А может быть, это было адское пламя, вызванное чародейством?

У о р и к. Ваше преосвященство, простите мессиру Джону его чрезмерную горячность, но он довольно точно изобразил положение вещей. Дюнуа — великий полководец; хорошо, мы согласны. Но почему все-таки он ничего не мог сделать, пока не появилась эта колдунья?

К о ш о н. Я не говорю, что ей не помогают сверхъестественные силы. Однако вспомните, что было начертано на этом белом знамени? Не имя сатаны или Вельзевула, но благословенные имена нашего господа и его пресвятой матери. А этот ваш командир, который утонул,— Гляз-да́, так вы его, кажется, зовете...

У о р и к. Гла́сдэйл. Сэр Уильям Гла́сдэйл.

К о ш о н. Глясс-де́лль, ага! Благодарю вас! Уж он-то, во всяком случае, не был святым. И у нас многие считают, что гибель ему была послана за его богохульственную брань против Девы.

У о р и к *(лицо его начинает приобретать весьма кислое выражение)*. Как прикажете все это понимать, монсеньор? Может быть, Дева уже и вас обратила?

К о ш о н. Будь это так, я не сунулся бы сюда, прямо к вам в лапы. Поостерегся бы.

У о р и к *(вежливо протестуя)*. Ну что вы, что вы, монсеньор!..

К о ш о н. Если дьявол сделал эту девушку своей пособницей,— а я полагаю, что это именно так...

У о р и к *(успокаиваясь)*. А! Слышите, мессир Джон? Я знал, что монсеньор епископ не обманет наших ожиданий. Простите, я вас перебил. Продолжайте.

К о ш о н. Если так, то это значит, что дьявол целится гораздо дальше, чем вы думаете.

У о р и к. Вот как? И куда же именно? Слушайте, мессир Джон.

К о ш о н. Если бы дьявол задался целью погубить душу одной деревенской девушки, так неужели ради этого он стал бы навязывать себе на шею столько хлопот? Помогать ей выигрывать одно сражение за другим? Нет, милорд: такое простое дело по силам самому захудалому чертенку,— если, конечно, эта девушка вообще доступна соблазну. Князь тьмы не занимается подобной мелочью. Если он наносит удар — то самой католической Церкви, властвующей над всем миром духа. Если он кует поги-

бель — то всему роду человеческому. Против столь ужасных замыслов Церковь всегда стоит на страже. И в этой девушке я вижу одно из орудий, коими сатана пользуется для своих целей. Она вдохновлена, но ее вдохновение от дьявола.

Капеллан. Я вам говорил, что она ведьма!

Кошон *(гневно)*. Она не ведьма. Она еретичка.

Капеллан. А какая разница?

Кошон. И вы, священник, задаете мне такой вопрос! Удивительно, до чего вы, англичане, все-таки тупоумны! Ведь все, что вы называете ее колдовством, можно объяснить самым естественным образом. Все ее чудеса гроша медного не стоят; да она и сама не считает их чудесами. Все ее победы доказывают только, что у нее более ясная голова на плечах, чем у вашего сквернослова Глясс-делля или у этого бешеного быка — Талбота, и что мужество веры, даже если это ложная вера, всегда выстоит против мужества гнева.

Капеллан *(не веря своим ушам)*. Как?.. Ваше преосвященство сравниваете сэра Джона Талбота, наследника графов Шрюсбери, с бешеным быком?!

Уорик. Вам, мессир Джон, это было бы неприлично, поскольку между вами и баронским титулом стоят еще шесть наследников. Но так как я граф, а Талбот всегонавсего рыцарь, то я позволю себе согласиться с этим сравнением. *(Кошону.)* Хорошо, монсеньор, мы не настаиваем на колдовстве. Но тем не менее эту женщину надо сжечь.

Кошон. Я не могу ее сжечь. Церковь не может отнимать жизнь. И мой первый долг — позаботиться о спасении этой девушки.

Уорик. Понятно. Но вы иногда сжигаете же людей на кострах?

Кошон. Нет. Когда Церковь отсекает от себя упорного еретика, как сухую ветвь от древа жизни, мы передаем его в руки светской власти. А уж что светская власть найдет нужным с ним сделать — это Церкви не касается.

Уорик. Совершенно справедливо. А светской властью в данном случае являюсь я. Что ж, монсеньор, передавайте нам вашу сухую ветвь, а уж я позабочусь, чтобы огонек для нее был наготове. Если вы отвечаете за церковную часть работы, я готов отвечать за светскую!

Кошон *(сдерживая гнев)*. Я ни за что не отвечаю. Вы, боль-

шие бароны, слишком склонны видеть в Церкви только орудие своих политических целей.

Уорик *(с улыбкой, примирительным тоном)*. Только не в Англии, уверяю вас.

Кошон. В Англии больше, чем где-либо. Нет, милорд. Перед престолом всевышнего душа этой деревенской девушки стóит не меньше, чем ваша душа или душа вашего короля. И первая моя обязанность — это спасти ее. Я не потерплю, чтобы вы усмехались на мои слова, как будто я только повторяю приличия ради пустую затверженную формулу, а на самом деле между нами давно уже решено, что я выдам вам эту девушку. Я не просто политический прелат; моя вера для меня то же, что для вас — ваша честь! И если найдется лазейка, через которую это крещеное дитя господне сможет достичь спасенья, я сам подведу ее туда.

Капеллан *(вскакивает в бешенстве)*. Вы изменник!

Кошон *(тоже вскакивает)*. Ты лжешь, поп! *(Дрожа от ярости.)* Если ты посмеешь сделать то, что сделала эта женщина,— поставить свою страну выше святой католической Церкви,— ты сам взойдешь на костер вместе с нею!

Капеллан. Ваше преосвященство... я... Я забылся. Я... *(Садится, жестом выражая покорность.)*

Уорик *(тоже встал, в тревоге)*. Монсеньор, прошу у вас прощения за это словечко, вырвавшееся у мессира Джона де Стогэмбера. В Англии оно не имеет того значения, как во Франции. На вашем языке изменник значит предатель, то есть обманщик, вероломный, коварный и бесчестный. А у нас это просто значит: человек, не до конца преданный нашим, английским интересам.

Кошон. Простите. Я не понял. *(С достоинством опускается в кресло.)*

Уорик *(тоже садится; с облегчением)*. Прошу прощения и за себя. Вам, может быть, показалось, что я слишком легко отношусь к сожжению этой бедной девушки. Но когда на ваших глазах сжигают целые деревни — ведь иногда это просто мелкая подробность в ходе военной операции,— то приходится вытравлять в себе чувство сострадания. Иначе можно сойти с ума. Я, по крайней мере, сошел бы. Смею думать, что и вы, ваше преосвященство, сталкиваясь время от времени с необходимостью сжигать еретиков, вероятно, усвоили себе некий... как бы это лучше выразить?.. ну, скажем, профессиональный

взгляд на то, что иначе пришлось бы назвать ужасающей жестокостью?

Кошон. Да. Для меня это весьма печальная обязанность. Даже, как вы говорите, ужасная. Но по сравнению с ужасом ереси — это ничто. Я думаю не о теле этой девушки — оно будет страдать только несколько мгновений, да и все равно, рано ли, поздно ли, станет добычей смерти, более или менее мучительной, но о ее душе, которой, быть может, грозят вечные муки.

Уорик. Вот именно. И дай бог ее душе обрести спасение! Но практическая наша задача сейчас, по-видимому, в том, чтобы спасти ее душу, не спасая ее тела. Ибо нечего закрывать глаза, монсеньор: если этот культ Девы не будет убит в зародыше, наша игра проиграна.

Капеллан *(прерывающимся голосом, как человек, который только что плакал)*. Можно мне сказать, милорд?

Уорик. Знаете, мессир Джон, лучше бы не надо. Разве только вы сумеете обуздать свою горячность.

Капеллан. Я всего два слова. Конечно, я могу ошибиться. Но Дева очень хитра: она прикидывается набожной, только и делает, что молится и исповедуется. Возможно ли обвинить ее в ереси, если она выполняет все обряды, как верная дочь Церкви?

Кошон *(вспылив)*. Верная дочь Церкви! Сам папа, при всем своем величии, не дерзает так заноситься, как эта женщина! Она так себя держит, как будто она сама и есть Церковь. Она, видите ли, принесла Карлу весть от господа бога, а Церковь тут ни при чем, пусть отойдет в сторонку! Она будет короновать Карла в Реймсе, — она, а не Церковь! Она посылает письма королю Англии, пишет, что бог через *нее* шлет королю повеление вернуться в свою страну — под страхом божьей кары, которую *она* призвана осуществить! Разрешите вам напомнить, кто имел обычай писать как раз такие письма: проклятый Магомет! Антихрист! Да есть ли во всех ее речах хоть одно слово про Церковь? Ни одного! Всегда только бог — и она!

Уорик. Ну чего же вы хотите? Попала ворона в высокие хоромы! Немудрено, что у нее голова закружилась.

Кошон. А кто вскружил ей голову? Дьявол. И он не о малом хлопочет. Он повсюду забрасывает семена этой ереси. Некий Гус, всего тринадцать лет тому назад сожженный в Констанце, заразил ею всю Богемию. Некто Уиклиф, сам помазанный иерей, принес ее в Англию, и, к вашему

стыду, господа, вы дали ему спокойно умереть в постели. И во Франции есть такие; я знаю эту породу. Они как злая язва: если ее не вырезать, не вытоптать, не сжечь, она расползется по всему телу человечества, всюду неся с собой грех и мерзость, раздор и опустошение. Зараженный этой чумой, арабский погонщик верблюдов изгнал Христа и его Церковь из Иерусалима и, как хищный зверь, ринулся на запад, все круша и всех терзая. И только Пиренеи да милость божья сохранили Францию от вечной гибели. Но что делал вначале этот погонщик верблюдов? Не больше того, что делает сейчас эта пастушка. Он слышал голос архангела Гавриила. Она слышит голоса святой Екатерины, святой Маргариты и архангела Михаила. Он объявил себя посланцем божьим и от имени царя небесного писал владыкам земным. Она каждодневно рассылает такие письма. Уже не пресвятую деву должны мы молить о предстательстве перед богом, а Деву Жанну. Во что превратится наш мир, если любой безграмотный мужик или любая пастушка станет выбрасывать на свалку всю мудрость, весь опыт, все знания, накопленные Церковью, если она станет отвергать руководство ученых, почтенных, благочестивых людей, возомнив в чудовищной своей гордыне, внушенной дьяволом, что получает вдохновение непосредственно от бога? Это будет мир, залитый кровью, мир, где свирепствует разруха, где каждый делает, что сам хочет; это будет крушение, возврат к варварству. Сейчас у нас есть Магомет и те, кого он одурачил; есть Жанна и те, кого она одурачила. Но что будет, если каждая девушка возомнит себя Жанной и каждый мужчина – Магометом? Я содрогаюсь при одной этой мысли. Против этого я боролся всю жизнь и буду бороться до конца. Все грехи простятся ей, кроме этого единственного греха, – ибо это грех против Духа Святого. И если она не покается перед всеми и на коленях, во прахе не отречется от своих заблуждений, если она не предаст в руки Церкви всю душу свою без остатка – она взойдет на костер, если попадется мне в руки!

Уорик *(с полным равнодушием)*. Вас это очень волнует. Ну что ж, понятно.

Кошон. А вас нет?

Уорик. Я солдат, а не церковник. Во время моего паломничества в Святую землю мне приходилось встречаться с мусульманами. Они не так уж дурно воспитаны, как меня

уверяли. В некоторых случаях они вели себя много приличнее, чем мы.

Кошон *(с неудовольствием)*. Да, вот так оно и бывает, я уже раньше это замечал: люди отправляются на Восток обращать неверных,— а кончается тем, что неверные совращают их самих. Крестоносец, побывав в Святой земле, сам становится наполовину сарацином. Не говоря уж о том, что все англичане — прирожденные еретики.

Капеллан. Англичане — еретики!!! *(Взывая к Уорику.)* Милорд! Ужели мы должны это терпеть? Его преосвященство помрачился в рассудке. Как может быть ересью то, во что верит англичанин? Это противоречие по существу.

Кошон. Я прощаю вас, мессир де Стогэмбер, ибо невежество ваше непреодолимо. Туманы вашей страны не рождают теологов.

Уорик. Вы бы этого не сказали, монсеньор, если бы слышали, как мы ссоримся из-за религии. Мне очень жаль, что я, по-вашему, выхожу либо еретиком, либо тупицей, но я, как человек, видавший свет, не могу отрицать, что мусульмане с великим почтением относятся к господу нашему Иисусу Христу; и в том, что святой Петр был рыбаком, не видят такой причины для презрения, как вы, ваше преосвященство, видите в том, что Магомет был погонщиком верблюдов. И мне кажется, нет надобности впадать в ханжество, обсуждая то дело, которое нас интересует.

Кошон. Когда люди ревность о Церкви Христовой называют фанатизмом, я знаю, что мне думать.

Уорик. Это только восточная и западная точка зрения на один и тот же предмет.

Кошон *(с ядовитой иронией)*. Только восточная и западная точка зрения! *Только!*

Уорик. О монсеньор, я ведь не спорю с вами. Вы, без сомнения, привлечете на свою сторону церковников. Но нам надо привлечь еще и знать. И по-моему, против Девы можно выдвинуть гораздо более тяжкое обвинение, чем то, которое вы сейчас так убедительно изложили. Говоря по совести, я не очень боюсь, что эта девушка станет вторым Магометом и подорвет власть Церкви своей зловредной ересью. Думаю, что вы преувеличиваете опасность. Но заметили ли вы, что во всех своих письмах она проводит одну и ту же мысль — и Карлу она уже успела ее внушить,— а именно: она предлагает всем королям Европы заключить некую сделку, которая, если она осу-

ществится, разрушит самые основы христианского общества.

Кошон. Ну да. Разрушит Церковь. Я же вам говорил.

Уорик *(теряя терпение)*. Монсеньор, ради бога, забудьте вы на минутку про Церковь и вспомните, что на земле есть еще и светская власть, а не только духовная. Я и равные мне представляем феодальную аристократию, так же как вы представляете Церковь. Мы — это и есть светская власть. И неужели вы не видите, как бьет по нам умысел этой девушки?

Кошон. Не знаю, почему именно по вам? По Церкви, а стало быть — и по нам, и по вам, и по каждому.

Уорик. Умысел ее в том, чтобы короли вручили свои царства богу, а затем царствовали как божьи управители.

Кошон *(равнодушно)*. Вполне здравая идея, с точки зрения теологии. Но королям, я думаю, будет все равно, лишь бы царствовать. Это чистая абстракция. Слова — не больше.

Уорик. О нет. Это хитрейшая уловка, чтобы лишить аристократию всякого значения и сделать короля единственным и абсолютным самодержцем. Сейчас он первый среди равных, тогда он будет их господином. Этого мы не можем допустить; мы никого не поставим над собой господином. На словах мы признаем, что держим наши земли и наши титулы от короля,— ибо должен же быть ключевой камень в своде человеческого общества. Но мы держим их в своих руках и защищаем своим мечом или мечом своих вассалов. А по учению Девы выходит, что король возьмет наши земли — *наши* земли! — и подарит их богу, а потом бог поставит его полным хозяином над ними.

Кошон. Разве это так для вас страшно? Ведь вы же сами делаете королей. Йорк или Ланкастер в Англии, Ланкастер или Валуа во Франции — все они царствуют только по вашей воле.

Уорик. Да. Но так будет лишь до тех пор, пока народ повинуется своим феодальным сеньорам, а король для него только главный лицедей в бродячем балагане, не имеющий иных владений, кроме большой дороги, которая принадлежит всем. Но если чаяния народа обратятся к королю, если сеньоры станут в его глазах только слугами короля, король без труда переломает нас одного за другим о свое колено. И чем будем мы тогда, как не ливрейными прислужниками в его дворцовых залах?

Кошон. И все-таки, милорд, вам нечего бояться. Бывают прирожденные короли, и бывают прирожденные государственные деятели. Но очень редко то и другое совмещается в одном человеке. Так где же найдет король советников, которые бы наперед рассчитали и осуществили для него такой план?

Уорик *(с не слишком дружелюбной улыбкой)*. Может быть, среди князей церкви, монсеньор?

Кошон столь же холодно улыбается в ответ и пожимает плечами, не опровергая, однако, этого предположения.

Отнимите силу у баронов — и кардиналы все повернут по-своему.

Кошон *(примирительно, бросив полемический тон)*. Милорд, мы не одолеем Деву, если будем ссориться между собой. Мне хорошо известно, что в мире существует воля к власти. И пока она существует, всегда будет борьба — между императором и папой, между герцогами и кардиналами, между баронами и королями. Дьявол разделяет нас и властвует. Я вижу, вы не принадлежите к числу друзей Церкви; вы прежде всего граф, а я прежде всего священник. Но разве мы не можем забыть наши разногласия перед лицом общего врага? Теперь я понимаю: вас тревожит не то, что эта девушка ни разу не упомянула о Церкви и говорит только о боге и о себе, а то, что она ни разу не упомянула о феодальной аристократии и говорит только о короле и о себе.

Уорик. Совершенно верно. И эти две мысли — в сущности, одна и та же мысль. Корни ее уходят очень глубоко. Это протест отдельной души против вмешательства священника или сеньора в ее личные отношения с богом. Если бы нужно было найти имя для этой ереси, я бы назвал ее протестантством.

Кошон *(подозрительно смотрит на него)*. Вы удивительно тонко это понимаете, милорд. Поскобли англичанина — и найдешь протестанта.

Уорик *(с изысканной любезностью)*. А мне кажется, монсеньор, что вы не чужды некоторого сочувствия к ложному учению Девы о светской власти. Предоставляю вам самому найти для него название.

Кошон. Вы ошибаетесь, милорд. Я вовсе не сочувствую ее политическим притязаниям. Но мне, как священнику, открыто сердце простых людей; и я утверждаю, что за по-

следнее время в них все больше укореняется еще одна очень опасная мысль. Выразить ее, пожалуй, можно так: Франция – для французов, Англия – для англичан, Италия – для итальянцев, Испания – для испанцев и так далее. У крестьян это получается иногда так узко и ограниченно, что я дивлюсь, как эта крестьянская девушка смогла подняться над требованием – «моя деревня для моих односельчан». Но она смогла. Она это сделала. Когда она грозит выгнать англичан с французской земли, она – это совершенно ясно – думает обо всех владениях, где говорят по-французски. Для нее все люди, говорящие на французском языке, составляют единое целое – то, что Священное писание обозначает как нацию. Эту сторону ее ереси можно, если хотите, назвать национализмом, – лучшего названия я не придумал. Могу только сказать, что это учение в самой своей сути антикатолическое и антихристианское, – ибо католическая Церковь признает только одно царство – царство Христово. Разбейте это царство на отдельные нации, и вы развенчаете Христа. Развенчайте Христа – и кто тогда отведет меч от вашего горла? Мир погибнет среди раздора и кровопролития.

У о р и к. Очень хорошо. Вы сожжете ее за протестантство, а я сожгу ее за национализм. Хотя тут я вряд ли встречу сочувствие у мессира Джона. Англия для англичан – такой девиз, пожалуй, найдет отклик в его сердце.

К а п е л л а н. Конечно, Англия для англичан. Это само собой разумеется. Это простейший закон природы. Но эта женщина хочет отнять у Англии законно завоеванные нами земли, которые бог даровал Англии за то, что она имеет особый талант управлять менее цивилизованными народами ради собственного их блага. Я ничего не понял в том, что вы, милорд, и вы, монсеньор, говорили о протестантстве и национализме, – это слишком учено и слишком тонко для меня, простого клирика. Но мой обыкновенный здравый смысл говорит мне, что эта женщина – мятежница; ну и довольно с меня. Она восстала против природы, ибо носит мужское платье и сражается, как мужчина. Она восстала против Церкви, ибо отвергает божественный авторитет папы. Она восстала против бога, ибо, в преступном союзе с сатаной и подвластными ему бесами, стремится нанести вред нашей армии. И за всеми этими мятежами кроется злейший ее мятеж, худшее ее преступление – то, что она восстала

против Англии! Этого нельзя терпеть. Да погибнет! Сжечь ее! Дабы эта паршивая овца не испортила все стадо. Во имя общего блага пусть одна женщина умрет за народ!

Уорик *(встает)*. Мне кажется, монсеньор, что мы с вами договорились.

Кошон *(тоже встает, но считает нужным заявить о своем несогласии)*. Я не возьму греха на душу. Суд Церкви свершится нелицеприятно. Я до конца буду бороться за душу этой девушки.

Уорик. И мне ее жаль, бедняжку. Не люблю прибегать к таким суровым мерам. Если бы можно было, я бы ее пощадил.

Капеллан *(неумолимо)*. А я бы собственными руками бросил ее в огонь.

Кошон *(благословляя его)*. Sancta simplicitas![1]

---

[1] Святая простота! *(лат.)*

Один из приделов в Реймском соборе; дверь в ризницу. На высоком круглом постаменте – распятие. Под звуки органа молящиеся покидают церковь после коронации. Жанна стоит на коленях перед распятием и молится. Она великолепно одета, но по-прежнему в мужском костюме. Орган умолкает. Из ризницы выходит Дюнуа, тоже в пышном наряде.

Дюнуа. Ну, Жанна! Довольно тебе молиться. Ты столько плакала. Ты простынешь насмерть, если еще будешь стоять тут на коленях. Уже все кончено, собор опустел; а на улицах полно народу, и все требуют Деву. Мы им сказали, что ты осталась в церкви – помолиться в одиночестве, но они хотят, чтобы ты еще раз к ним вышла.

Жанна. Нет. Пусть вся слава достанется королю.

Дюнуа. Он только портит картину, бедняга. Нет, Жанна. Ты его короновала – ты должна все проделать, что полагается.

Жанна отрицательно качает головой.

(Поднимает Жанну.) Пойдем, пойдем! Еще час либо два – и конец. Что, тебе так трудно? На мосту под Орлеаном небось было труднее? А, Жанна?

Жанна. Ах, милый Дюнуа, как бы я хотела опять очутиться на мосту под Орлеаном! Там, на мосту, мы *жили*!

Дюнуа. Да. А кое-кто из нас и умер на этом мосту.

Жанна. Как странно, Джек! Я такая трусиха, перед битвой я вся дрожу от страха. Но потом, когда все кончено и опасность миновала, мне так становится скучно. Так скучно, скучно, скучно!

Дюнуа. Ты должна научиться быть воздержанной в войне, – как ты умеешь быть воздержанной в пище и питье, моя маленькая святая.

Жанна. Милый Джек! Ты любишь меня, правда? Как солдат любит своего товарища.

Дюнуа. Ты в этом нуждаешься, бедное невинное дитя. Господь с тобой! У тебя не слишком много друзей при дворе.

Жанна. Да, почему все эти придворные, и церковники, и ры-

цари так меня ненавидят? Что я им сделала? Я ничего не просила для себя,— только чтобы мою деревню освободили от податей: нам не под силу платить военные налоги. Я принесла им удачу. Я принесла им победу. Я наставила их на истинный путь, когда они делали всякие глупости. Я короновала Карла, сделала его настоящим королем. И все почести, какие он теперь раздает, все досталось им. За что же они меня не любят?

Дюнуа *(подсмеиваясь над ней)*. Ду-ро-чка! Ты ждешь, что глупцы будут любить тебя за то, что ты разоблачила их глупость? Разве старые полководцы, выжившие из ума путаники и тупицы, любят удачливых молодых капитанов, которые отнимают у них командование? Разве искушенные в политике честолюбцы питают нежность к выскочке, который усаживается на их место? Разве архиепископам приятно, когда кто-то оттирает их от алтаря, пусть даже это будет святой? Да будь у меня чуточку больше честолюбия, я тоже стал бы тебе завидовать.

Жанна. Ты здесь лучше всех, Джек. Единственный мой друг среди всей этой знати. Твоя мать, наверно, сама была из простых. Когда я возьму Париж, я брошу все и вернусь к себе в деревню.

Дюнуа. Еще неизвестно, дадут ли тебе взять Париж.

Жанна *(изумлена)*. Что?..

Дюнуа. Я бы сам давно его взял, кабы тут все было чисто. Сдается мне, они бы не прочь, чтобы Париж взял тебя. Так что берегись.

Жанна. Джек, мне несдобровать, я знаю. Если меня не прикончат годдэмы и бургундцы, так это сделают французы. Не будь у меня моих голосов, я бы совсем потеряла мужество. Потому-то я и ушла сюда потихоньку — помолиться наедине после коронации. Послушай, Джек, я тебе что-то скажу... Мои голоса приходят ко мне в колокольном звоне. Не тогда, когда колокола звонят все разом, как сегодня,— это просто трезвон и больше ничего. Но вот здесь, в уголке, где звон как будто нисходит с неба и все полно отголосков... или где-нибудь в поле, когда кругом тихо-тихо и колокола поют вдалеке,— тогда в этом звоне я слышу мои голоса.

Соборный колокол отбивает четверть.

Вот! *(Лицо ее принимает экстатическое выражение.)* Слышишь? «Господь с тобой» — то самое, что ты сказал. А когда они отбивают половину, они говорят: «Смелей,

вперед!»; а когда три четверти, они выговаривают: «Я твой покров». Но когда прошел час и большой колокол вызвонил: «Францию бог хранит», тогда святая Екатерина и святая Маргарита, а иногда и сам архангел Михаил говорят со мной... И я не знаю наперед, что они скажут. И тогда, ах, тогда...

Дюнуа *(перебивает ее ласково, но без всякого сочувствия)*. Тогда мы слышим в колокольном звоне все, что нам хочется услышать. Не нравятся мне, Жанна, эти твои разговоры о голосах. Я бы, право, подумал, что ты немножко не в своем уме, но я уже давно заметил, что, когда мы с тобой разговариваем, ты приводишь вполне здравые объяснения для всех своих поступков, хотя и говоришь другим, что только повинуешься приказу святой Екатерины.

Жанна *(сердито)*. Ты же не веришь в мои голоса, так приходится для тебя подыскивать объяснения. Но я сперва слышу голоса, а объяснения нахожу потом. Хочешь — верь, хочешь — нет.

Дюнуа. Ты рассердилась, Жанна?

Жанна. Да. *(Улыбаясь.)* Нет. На тебя я не могу сердиться. Знаешь, чего мне хочется? Чтобы ты был одним из наших деревенских ребятишек.

Дюнуа. Почему?

Жанна. Я бы могла тебя понянчить.

Дюнуа. Ты все-таки женщина, Жанна.

Жанна. Нет. Даже ни чуточки. Я солдат. А солдаты всегда возятся с ребятишками, когда выпадает случай.

Дюнуа. Это верно. *(Смеется.)*

Король Карл выходит из ризницы, где он разоблачался после коронации. С ним Синяя Борода, по правую руку от него, а Ла Гир — по левую. Жанна незаметно отступает за постамент. Дюнуа остается стоять между Карлом и Ла Гиром.

Итак, ваше величество, вы теперь наконец миропомазанный король! Как себя чувствуете после этой церемонии?

Карл. Ни за что не соглашусь второй раз это вытерпеть, хотя бы меня за это сделали императором солнца и луны. Одни эти одежды — господи, какая тяжесть! А это знаменитое святое миро, о котором столько было разговору, оно еще вдобавок оказалось прогорклым, фффу! Архиепи-

скоп, наверно, чуть жив — его ризы весят добрую тонну. Он еще раздевается там, в ризнице.

Дюнуа *(сухо)*. Вашему величеству следовало бы почаще носить латы. Привыкли бы к тяжелой одежде.

Карл. Вы не можете без насмешек? А я все равно не буду носить латы; драться — это не мое занятие. Где Дева?

Жанна *(выходит вперед, между Карлом и Синей Бородой, и опускается перед королем на колени)*. Ваше величество, я сделала вас королем. Мой труд закончен. Я возвращаюсь к отцу в деревню.

Карл *(удивленно, но с явным облегчением)*. Ах, так? Ну что ж! Хорошо!

Жанна встает, глубоко уязвленная.

(Легкомысленно продолжает.) Ну да! В деревне жизнь куда более здоровая... А?

Дюнуа. Но скучная.

Синяя Борода. Неудобно тебе будет в юбках, после того как ты столько времени их не носила.

Ла Гир. Ты будешь скучать по битвам. Это дурная привычка, но благородная. И отстать от нее очень трудно.

Карл *(с беспокойством)*. Но мы, конечно, не можем тебя удерживать, раз тебе так уж захотелось домой.

Жанна *(с горечью)*. Я знаю, что никто из вас по мне не заплачет. *(Отворачивается от Карла и отходит к более близким ей по духу Дюнуа и Ла Гиру.)*

Ла Гир. Оно конечно, теперь мне будет посвободнее. Можно выругаться, когда захочешь. Но я все-таки буду скучать по тебе, Жанна.

Жанна. Ла Гир, несмотря на все твои грехи и все твой кощунства, мы встретимся с тобой в раю. Я люблю тебя, как любила Питу́, нашу старую овчарку. Питу мог загрызть волка. И ты ведь будешь грызть английских волков и гнать их с нашей земли, пока они не станут опять добрыми псами господними?

Ла Гир. Мы будем грызть их вместе, Жанна.

Жанна. Нет. Я проживу еще только один год.

Все. Что?!

Жанна. Только год. Я почему-то знаю, что так будет.

Дюнуа. Чепуха!

Жанна. Джек, скажи мне. Ты думаешь, тебе удастся их выгнать?

Дюнуа *(со спокойной уверенностью)*. Да. Я их выгоню. До сих пор нас били, потому что мы смотрели на сражение,

как на турнир или как на рынок, где можно выторговать богатый выкуп. Мы играли в войну, а англичане воевали всерьез. Но теперь я кое-чему научился. И я присмотрелся к англичанам. У них здесь нет корней. Я и раньше их бивал и теперь разобью.

Жанна. Ты не будешь жесток с ними?..

Дюнуа. Годдэмы не понимают нежного обращения. Не мы начали эту войну.

Жанна *(внезапно)*. Джек, пока я здесь,— давай возьмем Париж!

Карл *(в испуге)*. Нет, нет! Мы потеряем все, чего добились. Ради бога, не надо больше сражений! Мы сейчас можем заключить очень выгодный договор с герцогом Бургундским.

Жанна. Договор!.. *(Гневно топает ногой.)*

Карл. Ну и что ж такого?.. Почему бы мне теперь и не заключать договоры, раз я уже коронован и миропомазан? Ох, это миро...

Из ризницы выходит архиепископ и присоединяется к разговаривающим. Он останавливается между Карлом и Синей Бородой.

Архиепископ, Дева опять хочет воевать.

Архиепископ. А разве война кончилась? Разве у нас уже мир?

Карл. Да нет. Но разве не довольно того, что мы уже сделали? Давайте заключим договор. Сейчас нам везет, так надо этим пользоваться, пока удача от нас не отвернулась.

Жанна. Удача! Сам господь бог сражался за нас, а ты это зовешь удачей! И хочешь остановиться, когда англичане еще попирают святую землю нашей Франции!

Архиепископ *(строго)*. Жанна! Король обратился ко мне, а не к тебе. Ты забываешься. Ты стала очень часто забываться!

Жанна *(нисколько не смутившись, грубовато)*. Так говорите с ним вы. И скажите ему, что бог не велит ему снимать руку с плуга.

Архиепископ. Я не так часто призываю имя божье, как ты,— ибо когда я толкую его волю, то опираюсь на авторитет Церкви и достоинство моего священного сана. Раньше ты уважала мой сан и не посмела бы так говорить со мной, как говоришь сейчас. Ты пришла сюда, облеченная в смирение. И бог благословил твои начина-

ния. Но теперь ты запятнала себя грехом гордости. Повторяется древняя греческая трагедия: кто превозносится, будет повержен во прах.

Карл. Да, она думает, что лучше всех знает, что надо делать.

Жанна *(расстроена, но в простодушии своем не замечает, какое впечатление производят ее слова)*. Но ведь я же правда знаю это лучше, чем вы. И я совсем не гордая. Я только тогда говорю, когда знаю, что я права.

Синяя Борода, Карл *(вместе)*. Ха! Ха! Вот, вот!

Архиепископ. Откуда ты знаешь, что ты права?

Жанна. Знаю. Мои голоса...

Карл. Ах, твои голоса, твои голоса!.. Почему они не говорят со мной, твои голоса? Кажется, я король, а не ты.

Жанна. Они говорят с тобой, но ты их не слышишь. Ты никогда не сидел вечером в поле, прислушиваясь к ним. Когда звонят к вечерне, ты поднимаешь руку, крестишься — и дело с концом. Но если бы ты помолился от всего сердца и посидел бы еще там долго-долго, слушая, как дрожат в воздухе отголоски, после того как колокола уже умолкли, ты тоже услышал бы мои голоса. *(Резко отворачивается.)* Да какие тебе нужны голоса, когда то же самое может сказать любой кузнец: что надо ковать железо, пока горячо. Я тебе говорю: надо сейчас же двинуться на Компьен и освободить его, как мы освободили Орлеан. Тогда и Париж откроет нам свои двери. А нет, так мы их проломаем! Какая цена твоей короне, если столица твоя в чужих руках!

Ла Гир. И я то же самое говорю. Мы пройдем сквозь их войска, как раскаленное ядро сквозь ком масла. А ты что скажешь, Дюнуа?

Дюнуа. Кабы наши пушечные ядра все были такие же горячие, как твоя голова, да кабы их у нас было вдоволь, мы, без сомнения, завоевали бы весь мир. Пылкость и отвага очень хорошие слуги в бою, но очень плохие господа. И всякий раз, как мы надеялись только на них, они предавали нас в руки врага. Мы не способны вовремя понять, что мы биты,— вот наш главный порок.

Жанна. Вы не способны понять, что вы победили,— это порок еще худший. Вам бы с подзорной трубой ходить на приступ — авось разглядели бы, что англичане еще не отрезали вам всем носы. Вы бы и сейчас сидели запертые в Орлеане — вы с вашими военными советами! — кабы я не заставила вас перейти в наступление. Всегда надо

наступать; и если у вас хватит выдержки, враг дрогнет первый. Вы не умеете завязывать бой и не умеете использовать пушки. А я умею. *(Садится, поджав ноги, на каменную плиту, сердито отвернувшись от остальных.)*

Дюнуа. Я знаю, что́ ты думаешь о нас, генерал Жанна.

Жанна. Не в этом суть, Джек. Скажи им, что́ ты думаешь обо мне.

Дюнуа. Я думаю, что бог был на твоей стороне. Я не забыл, как ветер переменился и как переменились наши сердца, когда ты пришла к нам. И клянусь, я никогда не забуду, что мы победили под твоим знаменем. Но я скажу тебе как солдат: не надейся, что бог станет выполнять за тебя всю черную работу. Он может иной раз вырвать тебя из когтей смерти и поставить опять на ноги, если ты этого достоин, — но когда тебя поставили на ноги, так уж дальше сражайся сам, пусти-ка в ход всю свою силу и все свое умение. Потому что — не забывай! — он должен быть справедлив и к твоему противнику. Ну вот, он поставил нас на ноги под Орлеаном, — в этом ты была его орудием. И это так нас воодушевило, что мы сумели выиграть еще несколько сражений и вот сейчас празднуем коронацию. Но если мы и впредь будем полагаться только на бога и ждать, что он сделает за нас то, что мы должны сделать сами, то нас разобьют. И поделом!

Жанна. Но...

Дюнуа. Подожди, я еще не кончил. Пусть никто из вас не воображает, что в победах, которые мы одержали, полководческое искусство не играло никакой роли. Король Карл! В ваших воззваниях вы ни слова не сказали о моей доле участия в этой кампании. И я не жалуюсь. Для народа важна Дева и ее чудеса, а не то, сколько труда потратил Дюнуа, чтобы достать для нее солдат и прокормить их. Но мне-то совершенно точно известно, что́ тут сделал бог руками своей посланницы и что пришлось сделать мне собственными моими руками. И я вам говорю, что время чудес кончилось и что впредь кто будет вести военную игру по всем правилам, тот и выиграет, — если, конечно, счастье от него не отвернется.

Жанна. Ах! Если, если, если!.. Если бы да кабы да во рту росли грибы! *(Порывисто встает.)* А я тебе скажу, Дюнуа, что все твое военное искусство тут не поможет, потому что ваши рыцари не умеют драться по-настоящему. Война для них — это игра, вроде лапты или еще какой-нибудь из тех игр, которые они так любят; вот они и вы-

думывают правила: так, мол, драться честно, а этак — нечестно; и навешивают на себя все больше лат — и на себя и на своих несчастных коней,— потолще да потяжелей, чтоб как-нибудь стрелой не пробило; так что если рыцарь упадет с коня, то уже и встать не может — лежит дожидается, пока не придут оруженосцы и его не поднимут, а тогда уж начинает торговаться о выкупе с тем человеком, который его выковырнул из седла. Неужели вам не понятно, что теперь все это ни к чему? Куда годятся ваши латы против пороха? А если бы и годились, так разве тот, кто сражается за бога и Францию, станет среди боя торговаться о выкупе, как ваши рыцари, которые большинство только этим и живут? Нет, такой будет биться, чтобы победить, а свою жизнь предаст в руки господа бога своего, как делаю я, когда выхожу на бой. Простые люди это понимают. У них нет денег на латы, и выкуп им не из чего платить, но они, полуголые, идут за мной в ров, на осадную лестницу, на стены! Они так рассуждают: тебе конец или мне конец,— а бог поможет тому, кто прав! Можешь качать головой, Джек, сколько тебе угодно. И Синяя Борода пусть себе задирает нос и крутит свою козлиную бородку. Но вспомните, что было в Орлеане, когда ваши рыцари и капитаны отказались напасть на англичан и даже заперли ворота, чтобы я не могла выйти. А горожане и простые люди пошли за мной, и выломали ворота, и показали вам, как надо драться!

Синяя Борода *(обиженно)*. Жанне мало быть папой, она хочет еще быть Цезарем и Александром Македонским.

Архиепископ. Гордыня ведет к падению, Жанна.

Жанна. Ну, гордыня там или не гордыня, а вы скажите, правда это или нет? Есть тут здравый смысл?

Ла Гир. Это правда. Половина из нас боится, как бы им хорошенький носик не повредили, а другая половина только о том и думает, как уплатить по закладным. Дюнуа! Не мешай ей делать по-своему. Она многого не знает, но глаз у нее зоркий. Воевать теперь нужно не так, как раньше. И случается иной раз, что кто меньше знает, у того лучше выходит.

Дюнуа. Мне все это известно. Я и сам воюю не по-старому. Французы получили хороший урок под Азенкуром, под Креси и Пуатье. И я вытвердил этот урок. Я могу точно рассчитать, во сколько человеческих жизней обойдется мне тот или другой ход; и если я считаю, что стоит того,

я делаю этот ход и оплачиваю расходы. Но Жанна никогда не считает расходов: она бросается в атаку и ждет, что бог ее выручит; она думает — бог у нее в кармане! До сих пор численное превосходство было на ее стороне — и она побеждала. Но я знаю Жанну: когда-нибудь она бросится в бой с десятком солдат, а нужна будет сотня, — и тогда она обнаружит, что бог на стороне больших батальонов. Ее возьмут в плен. И тот счастливец, которому она попадется, получит шестнадцать тысяч фунтов от графа Уорика.

Жанна *(польщена)*. Шестнадцать тысяч фунтов! Неужто они столько за меня назначили? Да таких деньжищ на всем свете нету!

Дюнуа. В Англии есть. А теперь ответьте-ка мне: кто из вас хоть пальцем пошевельнет, чтобы спасти Жанну, если ее захватят? Я скажу первый, от имени армии: с того дня, когда какой-нибудь годдэм или бургундец стащит ее с седла и его не поразит гром небесный; с того дня, когда ее запрут в темницу и святой Петр не пошлет ангела раскрошить в щепы решетку и запоры; с того дня, когда враг убедится в том, что ее можно ранить, как и меня, и что непобедимости в ней не больше, чем во мне, — с этого дня она будет стоить для нас меньше, чем любой солдат. И я ни одним солдатом не пожертвую для нее, хотя от всего сердца люблю ее как товарища по оружию.

Жанна. Я не виню тебя, Джек. Ты прав. Если бог попустит, чтобы меня разбили, я буду стоить меньше любого солдата. Но, может быть, Франция захочет все-таки заплатить за меня выкуп — из благодарности за то, что бог сделал для нее моими руками?

Карл. Я тебе сто раз говорил: у меня нет денег. А с этой коронацией, которую ты сама затеяла, пришлось опять влезть в долги, и это тоже все вылетело, до последнего грошика.

Жанна. Церковь богаче тебя. Я уповаю на Церковь.

Архиепископ. Женщина! Тебя повлекут по улицам и сожгут на костре, как ведьму.

Жанна *(кидается к нему)*. О монсеньор, что вы говорите? Как это может быть? Я — ведьма?

Архиепископ. Пьер Кошон знает свое дело. Парижский университет недавно сжег женщину. А знаешь, в чем была ее вина? Она говорила, что все, что ты сделала, правильно и угодно богу.

Жанна *(ошеломлена)*. Но почему?.. Какой в этом смысл?..

Конечно, то, что я сделала, угодно богу. Не могли же они сжечь эту бедняжку только за то, что она говорила правду?..

Архиепископ. А вот сожгли!

Жанна. Но вы-то знаете, что она говорила правду. Вы не позволите им сжечь меня?..

Архиепископ. А как я этому помешаю?

Жанна. Обратитесь к ним от имени Церкви. Ведь вы же один из князей Церкви. Я ничего не боюсь, если вы осените меня своим благословением.

Архиепископ. У меня нет благословения для тебя, пока ты пребываешь во грехе гордыни и непослушания.

Жанна. Ну как вы можете это говорить?! Я совсем не горда, и непослушания во мне никакого нету. Я бедная простая девушка, ничего не знаю, даже читать не умею. Откуда у меня взяться гордыне? И как можно сказать, что я непослушна, когда я во всем слушаюсь моих голосов, потому что они от бога?

Архиепископ. Голос бога на земле один — это голос воинствующей Церкви. А все твои голоса — это только отзвуки собственного твоего своеволия.

Жанна. Неправда!

Архиепископ *(покраснев от гнева)*. Ты говоришь архиепископу у него же в соборе, что он лжет,— и еще утверждаешь, что неповинна в гордыне и непослушании!

Жанна. Я не говорила, что вы лжете. Это вы все равно что сказали про мои голоса, будто они лгут. А в чем они до сих пор солгали? Ну, пусть вы в них не верите, пусть даже это только отзвуки моего собственного здравого смысла,— но разве неверно, что они всегда правы, а ваши земные советники всегда неправы?

Архиепископ *(возмущенно)*. Я вижу, ты глуха ко всем увещаниям.

Карл. Да это же старая история: она одна права, а все остальные ошибаются!

Архиепископ. Так слушай, что я скажу, и пусть это послужит тебе последним предостережением. Если ты будешь погибать оттого, что собственное разумение поставила выше руководства духовных своих пастырей, Церковь отречется от тебя и предоставит тебя той участи, какую ты навлекла на себя своим самомнением. Дюнуа уже сказал тебе, что если ты вверишься воинскому своему тщеславию и пренебрежешь советами своих начальников...

Дюнуа *(перебивает)*. Точнее говоря, если ты вздумаешь ос-

вобождать компьенский гарнизон, не имея превосходства сил, какое у тебя было в Орлеане.

Архиепископ. То армия отречется от тебя и не окажет тебе помощи. А его величество король уже сказал, что у него нет средств платить за тебя выкуп.

Карл. Ни одного сантима.

Архиепископ. Ты останешься одна — одна как перст! — со своим тщеславием, своим невежеством, своей самонадеянностью, своей кощунственной дерзостью, коя побуждает тебя все эти грехи называть упованием на бога. Когда ты выйдешь через эту дверь на солнечный свет, толпа станет приветствовать тебя. Они принесут тебе маленьких детей, они приведут больных, чтобы ты их исцелила, они будут целовать тебе руки и ноги и сделают все — бедные неразумные души! — чтобы вскружить тебе голову и воздвигнуть в тебе то безрассудное самомнение, которое приведет тебя к погибели. Но и в этот час ты будешь одна, ибо они не спасут тебя. Мы — и только мы — можем стать между тобой и позорным столбом, у которого враги наши сожгли ту несчастную женщину в Париже.

Жанна *(подняв глаза к небу)*. У меня есть лучшие друзья и лучшие советники, чем вы.

Архиепископ. Вижу, что я напрасно трачу слова в надежде смягчить закоснелое сердце. Ты отвергаешь наше покровительство, ты делаешь все, чтобы восстановить нас против себя. Хорошо, пусть так. Отныне ты будешь защищать себя сама; и если потерпишь неудачу — да смилуется господь над твоей душой!

Дюнуа. Это все правда, Жанна. Прими это в расчет.

Жанна. Где сейчас были бы вы все, если бы я принимала в расчет этакую правду? Какой помощи можно ждать от вас, какого совета? Да, я одна на земле. Я всегда была одна. Мой отец велел моим братьям утопить меня, если я не буду сидеть дома и сторожить его овец, пока Франция истекает кровью. Пусть погибнет Франция, лишь бы его ягнята были целы! Я думала, у Франции есть друзья при дворе французского короля, но нахожу лишь волков, которые грызутся над клочьями ее истерзанного тела. Я думала, у господа бога повсюду есть друзья, ибо господь — друг каждому. И в простоте своей я верила, что вы, ныне отвергающие меня, будете мне крепостью и защитой и не допустите, чтобы кто-нибудь причинил мне зло. Но теперь я поумнела. И очень хорошо: немножко

ума еще никому не вредило. Не думайте, что вы очень меня напугали тем, что я одна. Франция тоже одна. И бог – один. Что мое одиночество перед одиночеством моей родины и моего господа? Я понимаю теперь, что одиночество бога – это его сила, – ибо что сталось бы с ним, если бы он слушался всех ваших ничтожных, завистливых советов? Ну что ж, мое одиночество тоже станет моей силой. Лучше мне быть одной с богом: его дружба мне не изменит, его советы меня не обманут, его любовь меня не предаст. В его силе я почерпну дерзновение и буду дерзать, дерзать, дерзать – до последнего моего вздоха! А теперь я пойду к простым людям, и любовь, которую я увижу в их глазах, утешит меня, после той ненависти, что я видела в ваших. Вы бы рады были, чтобы меня сожгли. Но знайте: если я пройду через огонь – я войду в сердце народа и поселюсь там на веки вечные. Итак, да будет господь со мной! *(Уходит.)*

Несколько мгновений все смотрят ей вслед в угрюмом молчании. Затем Жиль де Рэ принимается крутить свою бородку.

Жиль де Рэ. Невозможная женщина! Право, я вовсе не питаю к ней неприязни. Но что делать с таким характером?

Дюнуа. Бог мне свидетель, упади она в Луару, я бы, не задумываясь, кинулся ее вытаскивать – прыгнул бы в воду в полном вооружении! Но если она наделает глупостей под Компьеном и попадет в плен, я вынужден буду сложа руки смотреть, как она гибнет.

Ла Гир. Так вы уж лучше сразу закуйте меня в цепи, потому что, когда она вот так воспламеняется духом, я готов идти за ней хоть в самый ад.

Архиепископ. Да, она и меня несколько вывела из равновесия. В минуты таких вспышек она приобретает опасную власть над людьми. Но пропасть уже разверзлась у ее ног. И к добру или к худу, но мы бессильны отвести ее от края.

Карл. И что ей неймется? Сидела бы смирно; а еще лучше – уезжала бы к себе домой!

Выходят подавленные.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Руан, 30 мая 1431 года. Длинный каменный зал в замке, подготовленный для судебного заседания; но это будет не суд с присяжными, а суд епископа с участием Инквизиции; поэтому на возвышении стоят рядом два кресла — для епископа и для Инквизитора. От них под тупым углом расходятся два ряда стульев — для каноников, докторов теологии и юриспруденции и доминиканских монахов, выступающих в роли асессоров. Внутри угла — стол и табуреты для писцов; там же грубый деревянный табурет для подсудимого. Все это находится в ближнем конце зала. Дальний конец несколькими арками открывается прямо во двор, от которого отделен ширмами и занавесами. Если стать во внутреннем конце зала лицом к выходу во двор, то судейские кресла и стол для писцов будут справа, табурет для подсудимого — слева. В правой и левой стене сводчатые двери. Ясное майское утро; светит солнце.

В сводчатую дверь, что позади судейских кресел, входит Уорик; за ним паж.

Паж *(развязно)*. А вы знаете, ваше сиятельство, что нам здесь быть не полагается? Это церковный суд, а мы всего-навсего светская власть.

Уорик. Да, мне это небезызвестно. Не соблаговолите ли вы, ваше высоконахальство, отыскать епископа города Бовэ и намекнуть ему, что если он хочет поговорить со мною до начала суда, то меня можно найти в этом зале.

Паж *(направляясь к двери)*. Слушаю, милорд.

Уорик. И смотри, веди себя прилично. Не вздумай Пьера Кошона называть преподобный Петрушка.

Паж. Не беспокойтесь, милорд. Я буду с ним очень, очень нежен. Потому что, когда сюда приведут Деву, она преподобному Петрушке подсыплет перцу в ушки.

Из той же двери входит Пьер Кошон в сопровождении доминиканского монаха и каноника; у последнего в руках пачка бумаг.

Его преподобие монсеньор епископ города Бовэ. И еще два преподобных джентльмена.

Уорик. Проваливай! И последи, чтобы нам не мешали.
Паж. Слушаю, милорд! *(Сделав пируэт, исчезает.)*
Кошон. С добрым утром, ваше сиятельство!
Уорик. С добрым утром, ваше преосвященство! А ваших друзей я, кажется, еще здесь не встречал.
Кошон *(представляя монаха, стоящего по его правую руку)*. Разрешите вас познакомить. Милорд,— брат Жан Леметр из ордена святого Доминика, заместитель генерального инквизитора по делам ереси во Франции. Брат Жан,— граф Уорик.
Уорик. Добро пожаловать, ваше преподобие. У нас в Англии, к сожалению, нет инквизиции, хотя она нам до крайности необходима. Особенно в таких случаях, как вот этот.

Инквизитор кланяется с усталой улыбкой. Это пожилой человек, кроткий по виду, однако чувствуется, что при случае он может быть властным и твердым.

Кошон *(представляя каноника, стоящего по его левую руку)*. Каноник Жан д'Эстиве из капитула города Байе. Здесь он выступает как продвигатель.
Уорик. Продвигатель?
Кошон. Это соответствует обвинителю в светском суде.
Уорик. Ага! Обвинитель. Так, так. Понятно. Очень рад с вами познакомиться, каноник д'Эстиве.

Д'Эстиве кланяется. Это человек лет сорока или несколько моложе, с лощеными манерами, но что-то хищное проглядывает сквозь внешний лоск.

Разрешите узнать, в каком положении сейчас это дело? Больше девяти месяцев прошло с тех пор, как бургундцы взяли Деву в плен под Компьеном. Полных четыре месяца с тех пор, как я выкупил ее у бургундцев за весьма солидную сумму, исключительно для того, чтобы ее можно было привлечь к суду. И уже почти три месяца с того дня, когда я передал ее вам, монсеньор епископ, как лицо, подозреваемое в ереси. Не кажется ли вам, что вы очень уж долго размышляете над весьма простым делом? Кончится когда-нибудь этот суд или нет?
Инквизитор *(улыбаясь)*. Он еще и не начинался, милорд.
Уорик. Не начинался? А что же вы, собственно говоря, делали без малого три месяца?
Кошон. Мы не теряли времени зря, милорд. Мы провели

пятнадцать допросов Девы: шесть открытых и девять тайных.

Инквизитор *(все с той же усталой улыбкой)*. Видите ли, милорд, я присутствовал только на двух последних допросах. До сих пор этим делом ведал епископский суд, а не суд Святого Трибунала. И только совсем недавно я пришел к мысли, что и мне – то есть Святой Инквизиции – надлежит принять в нем участие. Вначале я вообще не предполагал тут наличия ереси. Мне казалось, что это дело чисто политическое и что Деву должно рассматривать как военнопленного. Но после того как я присутствовал при двух допросах, я вынужден признать, что это один из наиболее тяжких случаев ереси, с какими мне когда-либо приходилось сталкиваться. Так что теперь все в порядке, и мы можем сегодня же приступить к суду. *(Направляется к судейскому креслу.)*

Кошон. Хоть сию минуту, если это удобно вашему сиятельству.

Уорик *(любезно)*. Весьма утешительно это слышать, господа. Ибо не скрою от вас, что наше терпение начинало уже истощаться.

Кошон. Я так и понял из слов ваших солдат. Они грозились утопить тех из нас, кто вздумает мирволить Деве.

Уорик. Ай, ай, ай! Ну, к вам, монсеньор, это, во всяком случае, не относится.

Кошон *(строго)*. Не знаю. Ибо я сделаю все возможное для того, чтобы эту женщину судили беспристрастно. Суд Церкви это не игрушки, милорд.

Инквизитор *(возвращаясь)*. Следствие велось с величайшим беспристрастием, милорд. Деве не нужны защитники: ее будут судить лучшие ее друзья, одушевленные единственным желанием – спасти ее душу от вечной гибели.

Д'Эстиве. Милорд, я обвинитель в этом процессе. Моя печальная обязанность – изложить перед судом все преступления этой девушки. Но я сегодня же отказался бы от обвинения и поспешил на ее защиту, если бы не знал, что другие, много превосходящие меня по учености, набожности, красноречию и умению убеждать, были уже посланы к ней, чтобы вразумить ее и объяснить, какой опасности она подвергается и с какой легкостью может ее избегнуть. *(Увлекшись, впадает в тон судейской риторики, к неудовольствию Кошона и инквизитора, которые до сих пор слушали его со снисходительным одобрением.)*

Нашлись дерзкие, утверждавшие, что мы действуем из побуждений ненависти. Но господь бог нам свидетель, что это ложь! Разве мы подвергали ее пытке? Нет! Разве мы перестали хоть на минуту увещевать ее? Не призывали ее вернуться в лоно Церкви, как заблудшее, но любимое дитя? Разве мы...

Кошон *(сухо прерывает его)*. Берегитесь, каноник. Это все правильно, что вы говорите, — но если его сиятельство вам поверит, я не отвечаю за вашу жизнь, да и за свою тоже.

Уорик *(укоризненно, но не опровергая его слов)*. О монсеньор, вы обижаете нас, бедных англичан. Но это верно: мы не разделяем вашего благочестивого желания спасти Деву. Скажу вам напрямик: ее смерть — это политическая необходимость, о которой я сожалею, но изменить тут ничего не могу. И если Церковь ее отпустит...

Кошон *(с угрозой, властно и надменно)*. Если Церковь ее отпустит, горе тому, кто тронет ее пальцем, будь он хоть сам император! Церковь не подчинена политической необходимости, милорд.

Инквизитор *(вмешивается, стараясь их умиротворить)*. Не беспокойтесь о приговоре, милорд. У вас есть могучий союзник, который еще с большей настойчивостью, чем вы, толкает ее прямо на костер.

Уорик. И кто же этот столь любезный помощник, смею спросить?

Инквизитор. Сама Дева. Чтобы ее спасти, надо заткнуть ей рот, — ибо всякий раз, как она его открывает, она произносит себе смертный приговор.

Д'Эстиве. Это сущая правда, милорд. У меня волосы встают дыбом, когда я слышу, как столь юное существо изрыгает столь ужасные богохульства!

Уорик. А! Ну в таком случае, конечно, сделайте для нее все возможное, — раз вы уверены, что толку от этого все равно не будет. *(Пристально глядя на Кошона.)* Мне бы очень не хотелось действовать без благословения Церкви.

Кошон *(отвечает ему взглядом, в котором циническое восхищение смешано с презрением)*. А еще говорят про англичан, что они лицемеры! Вы готовы стоять за своих, милорд, даже с риском для собственной бессмертной души. Восхищаюсь такой преданностью, но сам я на нее не способен. Я боюсь вечного проклятия.

Уорик. Если бы мы чего-нибудь боялись, монсеньор, мы не

могли бы управлять Англией. Прислать сюда ваших заседателей?

Кошон. Да. Мы будем очень благодарны вам, милорд, если вы удалитесь и позволите нам начать заседание.

Уорик поворачивается на каблуках и уходит во двор. Кошон занимает одно из судейских кресел; Д'Эстиве садится за стол для писцов и принимается просматривать принесенные с собой бумаги.

Кошон *(небрежным тоном, усаживаясь поудобнее)*. Какие негодяи эти английские лорды!

Инквизитор *(усаживаясь в другое кресло, слева от Кошона)*. Светская власть всегда делает человека негодяем. Они не проходят особой подготовки, и у них нет апостолической преемственности. Наша знать тоже не лучше.

В зал гурьбой входят асессоры; впереди всех капеллан де Стогэмбер и каноник де Курсель, молодой священник лет тридцати. Писцы усаживаются за стол, оставляя незанятым один стул — напротив д'Эстиве. Некоторые асессоры садятся на свои места, другие стоят и болтают между собой, дожидаясь, пока заседание будет официально открыто. Де Стогэмбер упорно стоит, всем своим видом выражая возмущение; каноник де Курсель тоже стоит, справа от него.

Кошон. Доброе утро, мессир де Стогэмбер. *(Инквизитору.)* Капеллан кардинала Английского.

Капеллан *(поправляя его)*. Винчестерского, монсеньор. Ваше преосвященство! Я желаю заявить протест.

Кошон. Вы уже столько их заявляли.

Капеллан. В данном случае я не одинок, монсеньор. Вот этот каноник, сир де Курсель, из Парижского капитула, присоединяется к моему протесту.

Кошон. Ну, что там у вас такое?

Капеллан *(обиженно)*. Говорите лучше вы, мессир де Курсель. Я, как видно, не пользуюсь доверием его преосвященства. *(Надувшись, садится на стул справа от Кошона.)*

Курсель. Мы составили обвинительный акт против Девы — всего шестьдесят четыре пункта. Это стоило нам немалых трудов. А теперь мы узнаем, что его сократили, даже не посоветовавшись с нами.

Инквизитор. Это я виноват, мессир де Курсель. Я восхищаюсь вашим усердием, плодом которого явились эти

шестьдесят четыре пункта. Но в обвинении, как и во всех прочих вещах, что сверх надобности — то лишнее. Вспомните также, что не все члены суда способны к столь тонкому и глубокому мышлению, и многим из них ваша великая ученость может показаться великой бессмыслицей. Поэтому я почел за благо из ваших шестидесяти четырех пунктов оставить двенадцать...

Курсель *(ошеломлен)*. Двенадцать!

Инквизитор. Поверьте мне, для наших целей и двенадцати совершенно достаточно.

Капеллан. Но некоторые из самых важных обвинений сведены почти что на нет. Например, Дева положительно утверждает, что святая Маргарита, и святая Екатерина, и даже архангел Михаил говорили с ней по-французски. Это весьма важный пункт.

Инквизитор. Вы, очевидно, полагаете, что они должны были говорить по-латыни?

Кошон. Нет. Он думает, что они должны были говорить по-английски.

Капеллан. Разумеется, монсеньор.

Инквизитор. Гм! Видите ли, мы как будто все согласны в том, что голоса, которые слышала Дева, были голосами злых духов, старавшихся ее соблазнить и увлечь к вечной погибели. Так не будет ли несколько неучтиво по отношению к вам, мессир де Стогэмбер, и к королю Англии, если мы признаем, что английский язык есть родной язык дьявола? Лучше, пожалуй, на этом не настаивать. К тому же этот вопрос отчасти затронут в оставшихся двенадцати пунктах. Попрошу вас, господа, занять места. И приступим к делу.

Все садятся.

Капеллан. Все равно я протестую. А там — как хотите.

Курсель. Очень обидно, что все наши труды пропали даром. Это еще лишний пример того дьявольского влияния, которое Дева оказывает на суд. *(Садится на стул справа от капеллана.)*

Кошон. Вы что, намекаете, что я нахожусь под влиянием дьявола?

Курсель. Я ни на что не намекаю, монсеньор. Но я вижу что тут есть тайный сговор.... Почему-то все стараются замолчать то обстоятельство, что Дева украла лошадь у епископа Сенлисского.

Кошон *(с трудом сдерживаясь)*. Это же не полицейский уча-

сток! Неужели мы должны тратить время на такую чепуху?

Курсель *(вскакивает, возмущенный)*. Монсеньор! По-вашему, лошадь епископа – это чепуха?

Инквизитор *(мягко)*. Мессир де Курсель, Дева утверждает, что заплатила полную стоимость за лошадь, и если деньги не дошли до епископа, то это не ее вина. И так как нет доказательств, что она не заплатила, то по этому пункту Деву можно считать оправданной.

Курсель. Да, будь это обыкновенная лошадь. Но лошадь епископа! Какие тут могут быть оправдания!.. *(Снова садится, растерянный и удрученный.)*

Инквизитор. Разрешите вам заметить, при всем моем уважении к вам, что если мы станем предъявлять Деве всякие пустяковые обвинения, в которых она без труда сможет оправдаться, то как бы она не ускользнула от нас по главному пункту – по обвинению в ереси, которое до сих пор она сама неуклонно подтверждала. Поэтому попрошу вас, когда Дева предстанет перед нами, ни словом не упоминать о всех этих кражах лошадей, и плясках с деревенскими детьми вокруг волшебных деревьев, и молениях у заколдованных источников, и обо всех прочих пустяках, которые вы столь прилежно исследовали до моего прибытия. Во Франции не найдется ни одной деревенской девушки, которую нельзя было бы в этом обвинить: все они водят хороводы вокруг волшебных деревьев и молятся у заколдованных источников, а иные из них не задумались бы украсть лошадь у самого папы, если бы представился случай. Ересь, господа, ересь – вот то преступление, за которое мы должны ее судить. Мое дело – розыск и искоренение ереси. Я Инквизитор, а не обыкновенный судья. Направьте все свое внимание на ересь. А остальное пусть вас не заботит.

Кошон. Могу добавить, что мы уже посылали к ней на родину наводить справки. Ничего важного за ней не замечено.

Капеллан, Курсель *(вскакивают и восклицают одновременно)*. Ничего важного, монсеньор? Как! Волшебные деревья – это не...

Кошон *(теряя терпение)*. Замолчите, господа! Или говорите по одному.

Курсель, оробев, опускается на стул.

Капеллан *(садится с недовольным видом)*. То же самое нам сказала Дева в прошлую пятницу.

Кошон. Очень жаль, что вы не последовали ее совету. Когда я говорю: ничего важного,— я хочу сказать: ничего такого, что сочли бы важным люди с достаточно широким умом, способные разобраться в том деле, которым мы сейчас занимаемся. Я согласен с моим коллегой Инквизитором. Нас должно интересовать только обвинение в ереси.

Ладвеню *(молодой, но очень исхудалый, аскетического вида доминиканец, сидящий справа от де Курселя)*. Но разве ересь этой девушки так уже зловредна? Может быть, все дело в ее простодушии? Ведь многие святые говорили то же самое, что Жанна.

Инквизитор *(отбросив всякую мягкость, строго и сурово)*. Брат Мартин, если бы вам пришлось столько иметь дела с ересью, как мне, вы не смотрели бы на нее так легко — даже когда она предстает перед нами в самом безобидном, мало того — в привлекательном и благочестивом обличье. Еретиками очень часто становятся люди, как будто стоящие выше других. Кроткая, набожная девушка или юноша, который по завету Христа роздал свое имение бедным, и воздел вретище нищеты, и посвятил свою жизнь умерщвлению плоти, самоуничижению и делам милосердия,— вот кто иной раз становится основателем ереси столь опасной, что она может разрушить Церковь и Государство, если ее вовремя не уничтожить. Летопись инквизиции полна таких примеров, которые мы даже не решаемся обнародовать, ибо ни один честный мужчина, ни одна чистая женщина им не поверит; а начиналось все именно с такой вот святой простоты. Столько уже раз я это видел! Слушайте и запомните: женщина, которая не хочет носить одежду, приличную ее полу, и надевает мужское платье, подобна мужчине, который отказывается нежить тело свое в мехах и одевается, как Иоанн Креститель; а за ними — так же верно, как день за ночью,— следуют толпы неистовых мужчин и женщин, которые не хотят уже носить никакой одежды. Когда девушки не соглашаются ни выйти замуж, ни постричься в монахини, а мужчины отвергают брак и похоть свою выдают за наитие от бога, тогда — так же верно, как после весны приходит лето,— они начинают с многоженства, а кончают кровосмешением. Ересь вначале может казаться невинной и даже похвальной, но кончается она столь чудовищным развратом и противным природе грехом, что и самые кроткие из вас, если бы видели ее, как видел я,

возопияли бы против милосердия Церкви и потребовали для еретиков кары жесточайшей. Уже два столетия борется Святая Инквизиция с этим дьявольским безумием, и мы теперь хорошо знаем, где его истоки: всегда начинается с того, что обуянные гордыней и невежественные люди противополагают личное свое суждение руководству Церкви и мнят себя истолкователями воли божьей. И не впадайте в обычную ошибку – не считайте этих простаков обманщиками и лицемерами. Они честно и искренне принимают наущение дьявола за голос божий. Поэтому будьте настороже – не поддавайтесь естественному чувству сострадания. Не сомневаюсь, что все вы милосердные люди,– иначе как могли бы вы посвятить себя служению нашему милосердному Спасителю? Вы увидите перед собой юную девушку, набожную и целомудренную,– ибо скажу вам прямо, господа: то, что рассказывают о ней наши друзья англичане, не подтверждается очевидцами, и, наоборот, есть многочисленные свидетельства, доказывающие, что если и были у нее излишества, то только излишества в благочестии и добрых делах, а не в суетности и распутстве. Эта девушка не из тех, чьи грубые черты говорят о грубости сердца, чьи бесстыдные взоры и непристойное поведение кричат о виновности еще раньше, чем прочитан обвинительный акт. Дьявольская гордыня, приведшая ее на край гибели, не оставила следов на ее лице и даже, как ни странно, на ее нравственном облике, за исключением тех особых областей духа, в которых и проявляется ее самомнение. Так что вы увидите внушенную дьяволом гордость и природное смирение рядом, в одной и той же душе. Поэтому будьте осторожны. Я не призываю вас – боже меня сохрани! – ожесточить сердца ваши, ибо кара этой девушки, если мы ее осудим, будет столь ужасна, что всякий, кто сейчас хоть каплю злобы допустит в свое сердце, сам навеки потеряет право на милость божью. Но если вам претит жестокость,– а если есть среди вас хоть один, кому она не претит, я повелеваю ему, ради спасения собственной души, немедленно покинуть это святое судилище,– повторяю, если вам претит жестокость, помните, что нет ничего более жестокого по своим последствиям, чем снисхождение к ереси. Помните также, что ни один суд не бывает так жесток, как простые люди по отношению к тем, кого они подозревают в ереси. В руках Святой Инквизиции еретику не грозит насилие, ему обеспе-

чен справедливый суд, и даже будучи виновен, он может отвести от себя смерть, чистосердечно раскаявшись в своих заблуждениях. Жизнь многих сотен еретиков была спасена благодаря тому, что Святая Инквизиция взяла их в свои руки, и благодаря тому, что народ согласился их отдать, зная, что с ними будет поступлено как должно. Раньше, когда еще не было Святой Инквизиции, знаете ли вы, какая участь постигала несчастного, на которого, может быть совершенно несправедливо и ошибочно, пало подозрение в ереси? Знаете ли вы, какая участь постигает его даже и теперь в тех местах, куда не могут поспеть вовремя посланцы Святого Трибунала? Его побивают камнями, разрывают на куски, топят, сжигают вместе с его домом и невинными его детьми; он гибнет без суда, без отпущения грехов, без погребения,— как собака, которую, убив, выбрасывают на свалку. Не мерзость ли это перед господом, не бесчеловечная ли жестокость? Поверьте мне, господа, я сострадателен по природе, равно как и по предписанию моей религии; дело, которое я делаю, только тому может показаться жестоким, кто не понимает, что еще худшей жестокостью было бы оставить его несделанным; и все же я охотнее сам бы взошел на костер, если бы не был твердо уверен в том, что оно праведно, необходимо и милосердно по самой своей сути. Пусть же эта уверенность руководит и вами, когда вы сегодня приступите к суду. Гнев плохой советчик: изгоните гнев из своего сердца. Жалость иногда бывает советчиком еще худшим: забудьте жалость. Но не забывайте о милосердии. Помните только, что справедливость должна стоять на первом месте. Монсеньор, не хотите ли вы еще что-нибудь добавить, прежде чем мы начнем?

Кошон. Вы уже сказали все, что я хотел сказать, и гораздо лучше, чем я мог бы это сделать. Думаю, что не найдется ни одного здравомыслящего человека, который не согласился бы с каждым вашим словом. Добавлю только одно. Грубые ереси, о которых вы нам говорили, ужасны; но они, как чума, свирепствуют недолгое время, а затем стихают,— ибо здравые и разумные люди, как бы их ни подстрекали, никогда не примирятся с наготой, кровосмешением, многоженством и прочими неистовствами. Но сейчас всюду в Европе встает новая ересь, и она вербует себе приверженцев не среди тех, чей ум слаб и мозг болен,— нет. Чем сильнее они умом — тем

упорнее в ереси. Это лжеучение не вдается в нелепые крайности и не потворствует вожделениям плоти, но и оно тоже ставит личный взгляд отдельной, столь склонной к заблуждениям души выше вековой мудрости и опыта Церкви. Мощное здание христианства не рухнет оттого, что толпа голых мужчин и женщин будет предаваться грехам Моава и Аммона, — но его может расшатать изнутри и привести к распаду и запустению эта опаснейшая из всех ересей, которую английский командующий назвал протестантством.

Асессоры *(перешептываются)*. Протестантство? Это что такое? О чем говорит епископ? Какая-то новая ересь? Что это он сказал про английского командующего? Вы когда-нибудь слыхали о протестантстве? *(И т. д.)*

Кошон *(продолжает)*. Да, кстати. Какие меры принял граф Уорик для охраны исполнителей приговора на тот случай, если Дева проявит упорство, а народ ее пожалеет?

Капеллан. Не беспокойтесь, ваше преосвященство. По приказу благородного графа у ворот стоят восемьсот английских солдат в полном вооружении. Дева не ускользнет из наших рук, хотя бы весь город был на ее стороне.

Кошон *(возмущенно)*. Вы не хотите прибавить: дай бог, чтобы она раскаялась и очистилась от грехов?

Капеллан. По-моему, это не очень-то последовательно. Но я, конечно, не смею спорить с вашим преосвященством.

Кошон *(презрительно пожав плечами, отворачивается)*. Заседание суда открыто.

Инквизитор. Введите подсудимую.

Ладвеню *(громко)*. Подсудимую! Введите ее в зал.

Через сводчатую дверь, находящуюся позади табурета для обвиняемого, вводят Жанну под охраной английских солдат. За ними идет палач со своими помощниками. У Жанны на ногах цепи. Ее подводят к табурету снимают с нее цепи; стража становится позади нее. Она в черном костюме пажа. Долгое заключение и допросы предшествовавшие суду, оставили на ней след, но силы ее не сломлены. Она смело оглядывает судей. Торжественная обстановка суда, видимо, не внушает ей того благоговейного страха, на который все здесь рассчитано.

Инквизитор *(мягко)*. Сядь, Жанна.

Она садится на табурет для обвиняемого.

Какая ты сегодня бледная. Ты больна?

Жанна. Нет, ничего, спасибо. Я здорова. Но вчера епископ прислал мне карпа, я поела, и мне стало нехорошо.

Кошон. Безобразие! Я же нарочно велел проверить, чтобы рыба была свежая.

Жанна. Я знаю, вы хотели мне добра, монсеньор. Но мне нельзя есть карпа, я всегда от него делаюсь больна. Англичане решили, что вы хотите меня отравить...

Кошон, Капеллан *(вместе)*. Что-о?.. Нет, нет, монсеньор!

Жанна *(продолжает)*. А они непременно хотят сжечь меня живьем как ведьму. Ну, они послали за врачом, но бросить мне кровь не позволили; они, дурачки, думают, что если ведьме открыть жилу, то все ее колдовство вытечет вместе с кровью. Так что он меня не лечил, а только изругал всякими словами, да и ушел. Зачем вы оставляете меня в руках англичан? Я должна быть в руках Церкви. И зачем меня приковывают за ноги к бревну? Или вы боитесь, что я улечу?

Д'Эстиве *(жестко)*. Женщина! Ты здесь не для того, чтобы спрашивать, а чтобы отвечать на наши вопросы.

Курсель. Когда тебя еще не заковывали, разве не пыталась ты убежать, спрыгнув с башни высотой более шестидесяти футов? Если ты не умеешь летать, как ведьма, почему ты жива?

Жанна. Наверное, потому, что тогда башня еще не была такая высокая. А с тех пор, как вы стали меня допрашивать, она с каждым днем становилась все выше.

Д'Эстиве. Зачем ты спрыгнула с башни?

Жанна. Откуда вы знаете, что я спрыгнула?

Д'Эстиве. Тебя нашли во рву. Зачем ты покинула башню?

Жанна. Кто не покинул бы тюрьму, если бы нашел из нее выход?

Д'Эстиве. Ты пыталась бежать.

Жанна. А как же! Конечно. И не в первый раз. Оставьте дверцу в клетке открытой, и птичка улетит.

Д'Эстиве *(встает)*. Это признание в ереси. Прошу суд это отметить.

Жанна. В ереси! Скажете тоже! Выходит, я еретичка, потому что пыталась убежать из тюрьмы?

Д'Эстиве. Разумеется. Если ты находишься в руках Церкви и пытаешься по доброй воле изъять себя из ее рук, значит, ты отрекаешься от Церкви. А это ересь.

Жанна. Чепуха это, вот что. Это уж совсем глупым надо быть, чтобы такое придумать.

Д'Эстиве. Вы слышите, монсеньор, какие надругательства я терплю от этой женщины при исполнении моих обязанностей? *(В негодовании садится.)*

Кошон. Жанна, я уже предупреждал тебя, что ты только вредишь себе такими дерзкими ответами.

Жанна. Но вы же не хотите говорить со мной как разумные люди! Говорите дело, и я буду отвечать как следует.

Инквизитор *(прерывает их)*. Все это не по правилам. Вы забываете, брат продвигатель, что судоговорение, собственно, еще не началось. Задавать вопросы вы можете лишь после того, как обвиняемая присягнет на Евангелии и поклянется сказать всю правду.

Жанна. Вы мне каждый раз это говорите. И я каждый раз отвечаю: я вам скажу все, что касается до этого суда. Но всю правду я не могу вам сказать: бог не велит мне открывать всю правду. Да вы бы и не поняли, если б я сказала. Есть старая поговорка: кто чересчур часто говорит правду, тому не миновать виселицы. Мне надоел этот спор; вы уже девять раз за него принимались. Довольно я присягала. Больше не буду.

Курсель. Монсеньор, ее надо подвергнуть пытке.

Инквизитор. Ты слышишь, Жанна? Вот что бывает с теми, кто упорствует. Подумай, прежде чем ответить. Ей уже показывали орудия пытки?

Палач. Все готово, монсеньор. Она их видела.

Жанна. Хоть на куски меня режьте, хоть душу мне вырвите из тела, все равно ничего из меня не вытянете сверх того, что я уже сказала. Ну что мне еще сказать, чтобы вы поняли? А кроме того, я боюсь боли. Если вы сделаете мне больно, я что хотите скажу, только б меня перестали мучить. Но потом от всего откажусь. Так какой же толк?

Ладвеню. Это, пожалуй, верно. Лучше действовать мягкостью.

Курсель. Но ведь всегда применяют пытку.

Инквизитор. Нет. Только когда в том есть необходимость. Если обвиняемый по доброй воле сознался в своих заблуждениях, применение пытки неоправданно.

Курсель. Но это же против правил и против обычая. Тем более что она отказалась присягать.

Ладвеню *(с отвращением)*. Вам что, хочется ее пытать ради собственного удовольствия?

Курсель *(удивлен)*. При чем тут удовольствие? Таков закон. Таков обычай. Так всегда делается.

Инквизитор. Вы ошибаетесь, брат продвигатель. Так по-

ступают только те следователи, которые плохо знают законы.

Курсель. Но эта женщина еретичка. Уверяю вас, всегда в таких случаях применяют пытку.

Кошон. Ну а сегодня не будут, если в том не встретится необходимости. И довольно об этом. Я не желаю, чтобы про нас говорили, будто мы силой вынудили у нее признание. Мы посылали к этой женщине наших лучших проповедников и докторов теологии, они увещевали и умоляли ее спасти от огня свою душу и тело. И мы не пошлем к ней палача, чтобы он снова тащил ее в огонь.

Курсель. Конечно, вами руководит милосердие, монсеньор... Но это очень большая ответственность — отступать от принятых форм!

Жанна. Экая ты балда, братец. По-твоему, как в прошлый раз делали, так, значит, и всегда надо?

Курсель *(вскакивает)*. Распутница! И ты смеешь называть меня балдой?..

Инквизитор. Терпение, брат, терпение. Боюсь, что скоро вы будете слишком жестоко отомщены.

Курсель *(бормочет)*. Балда! Хорошенькое дело! *(Садится, очень сердитый.)*

Инквизитор. А пока что не надо обижаться на всякое резкое слово, какое может слететь с языка пастушки.

Жанна. А я вовсе не пастушка. Дома я, конечно, присматривала за овцами, как и все. Но я умею делать и самую тонкую женскую работу — прясть и ткать, не хуже любой горожанки.

Инквизитор. Сейчас не время для суетных мыслей, Жанна. Ты в опасности, в ужасной опасности.

Жанна. Я знаю. За что же я и наказана, как не за свою суетность? Кабы я, выходя на бой, не надела, как дура, свой плащ из золотой парчи, никогда бы тому бургундцу не удалось сдернуть меня с седла. И я сейчас не сидела бы здесь.

Капеллан. Если ты так искусна в женских рукодельях, почему ты не осталась дома делать то, что положено женщине?

Жанна. Потому что то дело может делать любая женщина; но мое дело могу делать только я одна.

Кошон. Довольно, господа. Мы тратим время на пустяки. Жанна! Сейчас я задам тебе очень важный вопрос. Подумай, как на него ответить, ибо от этого зависит твоя жизнь и спасение твоей души. Согласна ли ты за все свои

слова и поступки, хорошие и дурные, безропотно подчиниться приговору Святой Церкви, заместительницы бога на земле? Это в особенности касается тех речей и действий, в коих обвиняет тебя брат продвигатель, выступающий на этом суде: готова ли ты принять то истолкование, которое, по внушению свыше, придаст им Воинствующая Церковь?

Жанна. Я верная дочь Церкви. Я сделаю все, что Церковь мне прикажет...

Кошон *(наклоняясь вперед, с надеждой в голосе)*. Да?..

Жанна. Если только она не потребует невозможного.

Кошон с тяжелым вздохом откидывается в кресле. Инквизитор поджимает губы и хмурится. Ладвеню горестно качает головой.

Д'Эстиве. Она обвиняет Церковь в безумии и сумасбродстве: будто бы Церковь может требовать невозможного!

Жанна. Если вы велите мне признать, что все, что я до сих пор говорила и делала: все видения, которые у меня были, все мои голоса и откровения — все это не от бога,— ну так это невозможно; этого я никогда не признаю. Что я делала по божьему велению, от того я никогда не отрекусь; все, что он мне еще повелит, я сделаю и никого слушать не стану. Вот это я и называю невозможным. И если то, что мне прикажет Церковь, будет противно тому, что мне приказал бог, я на это не соглашусь, что бы оно ни было.

Асессоры *(возгласы изумления и негодования)*. О! Церковь противна богу! Ну что вы теперь скажете? Жесточайшая ересь! Слыхано ли что-нибудь подобное! *(И т. д.)*

Д'Эстиве *(бросает на стол свои бумаги)*. Монсеньор! Каких свидетельств вам еще нужно?

Кошон. Женщина! Ты сказала достаточно для того, чтобы десять еретиков послать на костер. Почему ты не хочешь слушать наших предостережений? Как заставить тебя понять?..

Инквизитор. Воинствующая Церковь говорит тебе, что твои голоса и твои видения были посланы дьяволом, жаждущим твоей погибели. Ужели ты не веришь, что Церковь умнее тебя?

Жанна. Я верю, что бог умнее меня. Его приказ я и выполняю. Все мои преступления, как вы их называете, я совершила потому, что так мне велел бог. Я уже сказала: все, что я делала, я делала по божьему изволению. И ничего

другого сказать не могу. И если какой-нибудь церковник скажет, что это не так, я ему не поверю. Я верю только богу, и ему я всегда покорна.

Ладвеню *(пытается ее уговорить; умоляюще)*. Дитя, ты сама не понимаешь, что говоришь. Зачем ты губишь себя? Послушай. Веришь ли ты, что ты должна покорствовать Святой Церкви, заместительнице бога на земле?

Жанна. Да. Разве я когда-нибудь это отрицала?

Ладвеню. Хорошо. Но не значит ли это, что ты должна покорствовать его святейшему папе, кардиналам, архиепископам и епископам, которых всех замещает здесь сегодня монсеньор епископ?

Жанна. Да. Но сперва богу.

Д'Эстиве. Ах, так, значит, твои голоса приказывали тебе не подчиняться Воинствующей Церкви?

Жанна. Нет, они мне этого не приказывали. Я готова повиноваться Церкви. Но сперва богу.

Кошон. И кто же будет решать, в чем твой долг? Церковь или ты сама, своим умом?

Жанна. Чьим же умом мне решать, как не своим?

Асессоры *(потрясены)*. О!!! *(Не находят слов.)*

Кошон. Собственными устами ты изрекла себе приговор. Мы все делали, чтобы тебя спасти, даже больше, чем имели право: мы снова и снова открывали тебе дверь, но ты ее захлопнула перед нашим лицом и перед лицом бога. Осмелишься ли ты утверждать после всего тобою сказанного, что ты находишься в состоянии благодати?

Жанна. Если нет, то да поможет мне бог его достигнуть. Если да, то да поможет мне бог его сохранить.

Ладвеню. Это очень хороший ответ, монсеньор.

Курсель. Значит, ты была в состоянии благодати, когда украла лошадь у епископа?

Кошон *(встает в ярости)*. Черт бы побрал лошадь епископа и вас вместе с нею! Мы разбираем дело о ереси. И едва нам удалось докопаться до сути, как все опять идет прахом из-за дураков, у которых одни только лошади в голове и ничего больше! *(Дрожит от ярости, но усилием воли заставляет себя сесть.)*

Инквизитор. Господа, господа! Тем, что вы цепляетесь за эти мелочи, вы только помогаете Деве. Не удивляюсь, что монсеньор епископ потерял терпение. Что скажет продвигатель? Настаивает ли он на этих второстепенных пунктах?

Д'Эстиве. По своей должности я обязан настаивать на всех

пунктах обвинения. Но раз эта женщина призналась в ереси, что грозит ей отлучением от Церкви, то какое значение имеет ее виновность в других, гораздо менее важных проступках, за которые полагается и гораздо меньшая кара? Я разделяю взгляд монсеньора епископа на эти второстепенные пункты. Осмелюсь только почтительно указать на два весьма ужасных и кощунственных преступления, в которых Дева виновна, чего она и сама не отрицает. Во-первых, она общалась со злыми духами и, стало быть, повинна в чародействе. Во-вторых, она носит мужское платье, что неприлично, противно естеству и омерзительно. И невзирая на все наши просьбы и увещания, она не соглашается снять мужскую одежду, даже когда принимает причастие.

Жанна. Разве святая Екатерина — злой дух? Или святая Маргарита? Или архангел Михаил?

Курсель. Почем ты знаешь, что это был архангел? Ведь он являлся тебе в голом виде?

Жанна. По-твоему, господь так беден, что не может одеть своих ангелов?

Асессоры невольно улыбаются, особенно довольные тем, что шутка обращена против де Курселя.

Ладвеню. Хороший ответ, Жанна.

Инквизитор. Да, это хороший ответ. Однако какой же злой дух будет таким простаком, чтобы явиться молодой девушке в непристойном и оскорбляющем ее стыдливость виде, если он хочет, чтобы она приняла его за посланца небес? Жанна! Церковь наставляет тебя, говоря: твои видения суть не что иное, как демоны, ищущие погубить твою душу. Повинуешься ли ты наставлениям Церкви?

Жанна. Я повинуюсь вестнику воли божьей. Разве тот, кто верит в Церковь, может его отвергнуть?

Кошон. Несчастная! Вторично спрашиваю тебя: понимаешь ли ты, что ты говоришь?

Инквизитор. Вы тщетно боретесь с дьяволом за ее душу, монсеньор. Она не хочет спасения. Теперь, что касается мужского платья. Жанна, ответь мне в последний раз: согласна ли ты снять этот бесстыдный наряд и одеться, как подобает твоему полу?

Жанна. Нет.

Д'Эстиве *(с насмешкой)*: Грех непослушания, монсеньор!

Жанна *(в расстройстве)*. Но мои голоса велят мне одеваться, как солдату.

Ладвеню. Жанна, Жанна, но ведь это же и доказывает, что твои голоса — голоса злых духов. Почему бы ангел господень стал давать тебе такой бесстыдный совет? Можешь ты указать мне хоть одну разумную причину?

Жанна. Конечно могу. Это же ясно как божий день. Я была солдатом и жила среди солдат. Теперь я пленница, и меня стерегут солдаты. Если б я одевалась, как женщина, они бы и думали обо мне, как о женщине, — и что тогда было бы со мной? А когда я одеваюсь, как солдат, они и думают обо мне, как о солдате, и я могу жить бок о бок с ними, как дома жила бок о бок с моими братьями. Вот почему святая Екатерина не велела мне одеваться в женское платье, пока она не разрешит.

Курсель. А когда она тебе разрешит?

Жанна. Когда вы изымете меня из рук английских солдат. Я уже говорила вам: я должна быть в руках Церкви, а не оставаться день и ночь в одной комнате с четырьмя солдатами графа Уорика. Да что бы со мной было, будь я в юбках!

Ладвеню. Монсеньор, то, что она говорит, конечно, неправильно и нечестиво, но в этом есть крупица житейской мудрости, весьма убедительная для деревенской простушки.

Жанна. Кабы мы в деревне были такими простаками, как вы здесь, в ваших судах и дворцах, так скоро не стало бы пшеницы и не из чего было бы печь вам хлеб.

Кошон. Вот вам благодарность за ваши старания спасти ее, брат Мартин.

Ладвеню. Жанна! Мы все хотим спасти тебя. Его преосвященство всеми силами старался спасти тебя. Инквизитор проявил величайшее беспристрастие; большего он не мог бы сделать и для родной дочери. Но ты ослеплена гордыней и самомнением.

Жанна. Ну зачем вы так! Я ничего плохого не сказала. Я не понимаю.

Инквизитор. Святой Афанасий говорит, что те, кто не понимает, пойдут в ад. Простоты еще мало, чтобы спастись. Даже того, что простые люди зовут добротой, тоже еще мало. Простота помраченного ума не лучше простоты животных.

Жанна. А я вам скажу, что в простоте животных есть иногда

великая мудрость, а в учености ваших мудрецов — великая глупость.

Ладвеню. Мы это знаем, Жанна. Не такие уж мы тупицы, как ты думаешь. Постарайся побороть соблазн, воздержись от дерзких ответов. Знаешь ли ты, кто этот человек, что стоит за твоей спиной? *(Показывает на палача.)*

Жанна *(оборачивается и смотрит на него)*. Ваш палач? Но епископ сказал, что меня не будут пытать.

Ладвеню. Тебя не будут пытать потому, что ты сама призналась во всем, что необходимо для твоего осуждения. Этот человек не только пытает, он и казнит. Палач, отвечай на мои вопросы. И пусть Дева услышит твои ответы. Все ли готово для того, чтобы сегодня сжечь еретичку?

Палач. Да, господин.

Ладвеню. И костер уже сложен?

Палач. Да. На рыночной площади. Англичане сделали очень высокий костер — я не смогу приблизиться к осужденной и облегчить ее смерть. Это будет мучительная смерть.

Жанна *(в ужасе)*. Как? Вы хотите меня сжечь?.. Теперь?.. Сейчас?..

Инквизитор. Наконец-то ты поняла.

Ладвеню. Восемьсот английских солдат ждут у ворот. В ту минуту, когда приговор об отлучении от Церкви будет произнесен твоими судьями, солдаты возьмут тебя и отведут на рыночную площадь. До этого осталось несколько мгновений.

Жанна *(в отчаянии озирается, ища помощи)*. Боже мой!

Ладвеню. Не отчаивайся, Жанна. Церковь милосердна. Ты еще можешь спастись.

Жанна *(с возродившейся надеждой)*. Да, да! Мои голоса обещали, что меня не сожгут. Святая Екатерина велела мне быть смелой.

Кошон. Женщина! Или ты совсем безумна? Разве ты не видишь, что твои голоса обманули тебя?

Жанна. Нет, нет! Этого не может быть!

Кошон. Не может быть? Они прямой дорогой привели тебя к отлучению от Церкви и к костру, который ждет тебя на площади.

Ладвеню *(спеша усилить действие этих доводов)*. Сдержали ли они хоть одно из своих обещаний, после того как ты попала в плен под Компьеном? Дьявол обманул тебя, Жанна! Церковь простирает к тебе руки!

Жанна *(в отчаянии)*.Да, это правда. Это правда: мои голоса обманули меня. Бесы надсмеялись надо мной... Моя вера

сломлена... Я дерзала... я дерзала, как они велели... Но только сумасшедший сам полезет в огонь. Не может быть, чтобы бог этого хотел, а то зачем бы он даровал мне разум?

Ладвеню. Хвала господу! Ибо он спас тебя в последний час. *(Бежит к свободному стулу за столом для писцов и, схватив лист бумаги, садится и начинает торопливо писать.)*

Кошон. Аминь!

Жанна. Что я должна сделать?

Кошон. Подписать торжественное отречение от твоей ереси.

Жанна. Подписать? То есть написать свое имя? Я не умею писать.

Кошон. Но ты ведь раньше подписывала множество писем.

Жанна. Да, но всегда кто-нибудь держал мне руку и водил пером. Я могу поставить свой знак.

Капеллан *(который слушал все это с растущим беспокойством и возмущением)*. Монсеньор, вы что, в самом деле позволите этой женщине ускользнуть от нас?

Инквизитор. Все совершается по закону, мессир де Стогэмбер. А что гласит закон, вы сами знаете.

Капеллан *(вскакивает, багровый от ярости)*. Я знаю, что ни одному французу нельзя верить!

Общий шум.

(Всех перекрикивает.) Я знаю, что скажет мой господин, кардинал Винчестерский, когда услышит об этом! Я знаю, что сделает граф Уорик, когда узнает, что вы хотите его предать! У нас тут восемьсот солдат, и уж они позаботятся о том, чтоб эта мерзкая ведьма была сожжена, наперекор всем вашим хитростям!

Ассессоры *(выкрикивают то один, то другой, пока говорит капеллан)*. Что такое? Что он сказал? Обвиняет нас в измене? Неслыханно! Ни одному французу нельзя верить! Нет, вы слышали? Что за невозможный человек! Да кто он такой? Это в Англии все священники такие? Пьян он, что ли? Или сумасшедший? *(И т. д.)*

Инквизитор *(встает)*. Прошу замолчать! Господа, прошу всех замолчать! Капеллан! Вспомните на мгновение о своих священных обязанностях, о том, кто вы и где вы. Предлагаю вам сесть.

Капеллан *(решительно складывает руки на груди; лицо его все дергается от гнева)*. Не буду сидеть.

Кошон. Брат инквизитор, этот человек уже не первый раз называет меня в глаза изменником.

Капеллан. А вы и есть изменник. Вы все изменники. Что вы тут сегодня делали? Ползали на коленях перед этой гнусной ведьмой и всячески ее умасливали, чтобы она только отреклась!

Инквизитор *(спокойно усаживается на свое место)*. Ну, не хотите сидеть, так стойте. Пожалуйста.

Капеллан. Не буду стоять. *(С размаху садится.)*

Ладвеню *(встает с бумагой в руках)*. Монсеньор, вот я составил отречение. Деве остается только подписать.

Кошон. Прочитайте ей.

Жанна. Не трудитесь. Я и так подпишу.

Инквизитор. Женщина, ты должна знать, к чему прикладываешь руку. Читайте, брат Мартин. А всех остальных прошу молчать.

Ладвеню *(медленно читает)*. Я, Жанна, обычно именуемая Девой, жалкая грешница, признаю себя виновной в следующих тяжких преступлениях. Я ложно утверждала, что получаю откровения от бога, ангелов его и святых угодников, и, упорствуя в своей неправоте, отвергала предостережения Церкви, внушавшей мне, что видения мои суть соблазн дьявольский. Я мерзко кощунствовала перед богом, ибо носила нескромный наряд, осужденный Священным писанием и канонами Церкви. Я также стригла волосы по-мужски, и, отринув женскую кротость, столь приятную богу, я взяла меч и запятнала себя пролитием человеческой крови, ибо побуждала людей убивать друг друга и обманывала их, вызывая злых духов и кощунственно выдавая внушения демонов за волю всевышнего. Я признаю себя виновной в грехе мятежа, в грехе идолопоклонства, в грехе непослушания, в грехе гордости и в грехе ереси. От всех этих грехов я ныне отрекаюсь и отказываюсь, и обещаюсь не грешить больше, и смиренно благодарю вас, докторов и магистров, вновь открывших мне путь к истине и благодати. И я никогда не вернусь к своим заблуждениям, но буду верна Святой Церкви и послушна его святейшеству папе римскому. И во всем том я клянусь богом всемогущим и святым Евангелием и в знак сего подписываю под этим отречением свое имя.

Инквизитор. Ты поняла, Жанна?

Жанна *(безучастно)*. Чего ж тут не понять. Все ясно.

Инквизитор. И ты подтверждаешь, что это правда?

Жанна. Может, и правда. Кабы не было правдой, так костер не ждал бы меня на рыночной площади.

Ладвеню *(взяв перо и книгу, быстро подходит к ней, видимо опасаясь, как бы она опять не сказала лишнего)*. Ну, дитя мое, подпишем. Я буду водить твоей рукой. Возьми перо.

Она берет, и они начинают вместе писать, положив лист на Библию.

И-о-а-н-н-а. Хорошо. Теперь, уже сама, поставь свой знак.

Жанна *(ставит крест и, удрученная, возвращает перо; душа ее восстает против того, на что толкает ее рассудок и телесный страх)*. Вот!

Ладвеню *(кладет перо обратно на стол и с поклоном вручает отречение епископу)*. Восхвалим господа, братие, ибо заблудшая овца вновь приобщена к стаду; и пастырь радуется о ней больше, чем о девяносто девяти праведниках. *(Возвращается на свое место.)*

Инквизитор *(берет отречение у Кошона)*. Объявляем, что этим актом отречения ты избавлена от грозившей тебе опасности отлучения от Церкви. *(Бросает бумагу на стол.)*

Жанна. Спасибо.

Инквизитор. Но так как ты в гордыне своей тяжко согрешила против бога и Святой Церкви, то, дабы не было у тебя соблазна снова впасть в заблуждение и дабы ты могла в молитвенном уединении оплакать совершенные тобой ошибки, и смыть свои грехи покаянием, и в смертный твой час незапятнанной предстать перед богом, мы, ради блага твоей души, осуждаем тебя отныне и до конца твоих дней на земле вкушать хлеб скорби и пить воду горести в вечном заточении.

Жанна *(встает, охваченная ужасом и неудержимым гневом)*. В вечном заточении! Как? Значит, меня не отпустят?

Ладвеню *(кротко изумляется)*. Отпустить тебя, после всех твоих прегрешений?.. Ты бредишь, дитя!

Жанна. Дайте мне эту бумагу. *(Подбегает к столу, хватает отречение и рвет его на куски.)* Зажигайте свой костер! Лучше сгореть, чем так жить — как крыса в норе! Мои голоса были правы.

Ладвеню. Жанна! Жанна!

Жанна. Да. Они сказали мне, что вы все дураки.

Всеобщее возмущение.

И что я не должна слушать ваши сладкие речи и верить вашему милосердию. Вы обещали мне жизнь. Но вы солгали.

Негодующие восклицания.

По-вашему, жить — это значит только не быть мертвым! Хлеб и вода — это мне не страшно. Я могу питаться одним хлебом; когда я просила большего? И разве плохо пить воду, если она чиста? В хлебе нет для меня скорби и в воде нет горести. Но запрятать меня в каменный мешок, чтобы я не видела солнца, полей, цветов; сковать мне ноги, чтоб никогда уже не пришлось мне проскакать по дороге верхом вместе с солдатами или взбежать на холм; заставить меня в темном углу дышать плесенью и гнилью; отнять у меня все, что помогало мне сохранить в сердце любовь к богу, когда из-за вашей злобы и глупости я готова была его возненавидеть,— да это хуже, чем та печь в Библии, которую семь раз раскаляли огнем! Я согласна: пусть у меня возьмут боевого коня; пусть я буду путаться в юбках; пусть мимо проедут рыцари и солдаты с трубами и знаменами, а я буду только смотреть им вслед в толпе других женщин! Лишь бы мне слышать, как ветер шумит в верхушках деревьев, как заливается жаворонок в сияющем весеннем небе, как блеют ягнята свежим морозным утром, как звонят мои милые-милые колокола и голоса ангелов доносятся ко мне по ветру. Но без этого я не могу жить. И раз вы способны отнять все это у меня или у другого человеческого существа, то я теперь твердо знаю, что ваш совет от дьявола, а мой — от бога!

Асессоры *(в страшном волнении)*. Кощунство! Кощунство! В нее вселились бесы! Она говорит, наш совет от дьявола! А ее от бога! Чудовищно! Дьявол среди нас! *(И т. д.)*

Д'Эстиве *(стараясь перекричать шум)*. Она снова впала в ересь! Нераскаявшаяся еретичка, неисправимая, недостойная милосердия, которое мы ей оказали! Я требую ее отлучения!

Капеллан *(палачу)*. Зажигай огонь! На костер ее!

Палач и его помощники торопливо уходят во двор

Ладвеню. Безумная! Если твой совет от бога, почему же бог не освободил тебя?

Жанна. Его пути — не ваши пути. Он хочет, чтобы я пришла к нему сквозь пламя. Я его дитя, а вы недостойны, чтобы я жила среди вас. Вот вам мое последнее слово.

Солдаты хватают ее.

Кошон *(встает)*. Погодите! Еще не время.

Солдаты останавливаются. Наступает мертвая тишина. Кошон обращает к Инквизитору вопросительный взгляд. Тот утвердительно кивает. Оба встают и начинают торжественно возглашать по очереди, как два хора при пении антифона.

Мы объявляем, что ты нераскаявшаяся еретичка, повторно впавшая в ересь.

Инквизитор. Отколовшаяся от единства Церкви.

Кошон. Отрезанная от ее тела.

Инквизитор. Зараженная проказой ереси.

Кошон. Уд сатаны.

Инквизитор. Мы постановляем, что ты подлежишь отлучению от Церкви.

Кошон. И ныне мы извергаем тебя вон, отчуждаем от тела Церкви и передаем в руки светской власти.

Инквизитор. Призывая помянутую светскую власть обойтись с тобой с возможной кротостью без пролития крови и отсечения членов. *(Садится.)*

Кошон. И в случае искреннего твоего раскаяния позволить брату Мартину дать тебе святое причастие.

Капеллан. В огонь ведьму! *(Бросается к Жанне и помогает солдатам вытащить ее из зала.)*

Жанну увлекают во двор. Ассессоры встают в беспорядке и уходят следом за солдатами; все, кроме Ладвеню, который стоит, закрыв лицо руками.

Кошон *(только что собравшись сесть, опять встает)*. Нет, нет, это не по форме! Представитель светской власти должен сам прийти сюда и взять ее у нас.

Инквизитор *(тоже встал)*. Этот капеллан неисправимый осел!

Кошон. Брат Мартин, присмотрите, чтобы все было сделано по правилам.

Ладвеню. Нет, монсеньор, мое место возле нее. Придется вам уж самому распорядиться. *(Поспешно уходит.)*

Кошон. Что за невозможные люди эти англичане! Поволокли ее прямо на костер! Смотрите! *(Показывает на арки,*

выходящие во двор, где ясный свет майского утра уже становится багровым от пронизывающих его отблесков пламени.)

В зале суда остались только епископ и Инквизитор.

Кошон *(направляясь к выходу)*. Надо их остановить.

Инквизитор *(спокойно)*. Да, монсеньор. Но спешить с этим не надо.

Кошон *(останавливаясь)*. Но ведь нельзя терять ни минуты!

Инквизитор. Суд был проведен безукоризненно. Мы ни в чем не погрешили против принятого порядка. А если англичане вздумали теперь его нарушить, так не наше дело их поправлять. Это даже неплохо, что будет какое-то нарушение судебной процедуры, – впоследствии может пригодиться, почем знать! А для этой бедной девушки чем скорее все кончится, тем лучше.

Кошон *(успокаиваясь)*. Это верно. Но, кажется, нам полагается присутствовать при этом ужасе?

Инквизитор. Ничего, привыкаешь. Привычка – это все. Я привык к пламени костров; оно горит недолго. Но, правда, ужасно видеть, как такое юное и невинное существо гибнет, раздавленное этими двумя мощными силами – Церковью и Законом.

Кошон. Невинное! Вы считаете, что она невинна?

Инквизитор. Ну конечно же. Совершенно невинна. Что она знает о Церкви и Законе? Она ни слова не поняла из всего, что мы говорили. Платятся всегда те, кто прост душою. Идемте, а то опоздаем.

Кошон *(направляясь к выходу вместе с Инквизитором)*. Я бы не прочь опоздать. Я не так привычен к этим делам, как вы.

Идут к арке; внезапно навстречу им со двора входит Уорик.

Уорик. Ах, простите. Я думал, все уже кончено. *(Делает вид, что хочет удалиться.)*

Кошон. Не уходите, милорд. Суд кончен.

Инквизитор. Исполнение приговора не в наших руках, милорд. Но желательно, чтобы мы присутствовали при конце. Поэтому, с вашего позволенья... *(Кланяется и выходит во двор.)*

Кошон. Говорят, ваши соотечественники весьма грубо нарушили законные формы, милорд.

Уорик. Говорят, вы не имели права держать суд в этом горо-

де, монсеньор. Он не в вашей епархии. Но если вы отвечаете за это, я отвечу за остальное.

Кошон. Да. Мы оба ответим перед богом. Прощайте, ваше сиятельство.

Уорик. Прощайте, ваше преосвященство.

Мгновенье смотрят друг на друга с нескрываемой враждебностью. Затем Кошон уходит вслед за Инквизитором.

(Оглядывается и, видя, что он один, громко зовет). Эй, кто-нибудь!

Молчание.

Эй, пажи!

Молчание.

Брайан! Куда ты запропастился, дрянной мальчишка!

Молчание.

Караульный!

Молчание.

Все побежали смотреть. Даже этот ребенок.

Тишину нарушают странные звуки — не то рев, не то рыдания; как будто кто-то плачет и вопит во весь голос

Что за черт?..

Со двора, шатаясь, вбегает капеллан; он похож на помешанного, лицо залито слезами, с губ срываются те горестные вопли, которые слышал Уорик. Он натыкается на табурет для обвиняемого и падает на него, захлебываясь от рыданий. Уорик подходит к нему и похлопывает его по плечу.

Что такое, мессир Джон? Что случилось?

Капеллан *(хватая его за руки).* Милорд, милорд! Ради всего святого, молитесь о моей грешной душе!

Уорик *(успокаивает его).* Хорошо, хорошо, я помолюсь Разумеется, помолюсь. Ну, тихо, тихо. Успокойтесь

Капеллан *(жалостно всхлипывая).* Я не злой человек милорд.

Уорик. Ну конечно же, не злой.

Капеллан. Я по неведению... Я не представлял себе, как это будет...

Уорик *(лицо его застывает)*. А! Вы были там?

Капеллан. Я сам не понимал, что делаю. Я глупец, сумасбродный глупец! А теперь я буду проклят за это во веки веков.

Уорик. Вздор. Конечно, все это весьма прискорбно. Но ведь не вы же это сделали.

Капеллан *(жалобно)*. Я это допустил... Если бы я знал, я бы вырвал ее у них из рук. Вы не знаете, вы не видели... Так легко говорить, когда не знаешь... Говоришь, и сам пьянеешь от своих слов, и хочется еще больше подлить масла в пылающий ад своего гнева... Но когда, наконец, понял, когда видишь, что ты наделал, когда это слепит тебе глаза, и душит за горло, и жжет тебе сердце... *(Падает на колени.)* О господи, сделай, чтобы я этого не видел! О Иисусе Христе, погаси этот огонь, ожигающий меня! Она воззвала к тебе из пламени: «Иисусе! Иисусе! Иисусе!» Теперь она в лоне твоем, а я в аду на веки вечные!

Уорик *(бесцеремонно поднимает его на ноги)*. Ну, хватит! Надо все-таки владеть собой. Или вы хотите сделаться сказкой всего города? *(Без особой нежности усаживает его на стул возле стола.)* Если не выносите таких зрелищ, так нечего было туда ходить. Я, например, никогда не хожу.

Капеллан *(примирев)* Она попросила дать ей крест. Какой-то солдат связал две палочки крест-накрест и подал ей Слава богу, это был англичанин! Я бы тоже мог это сделать. Но я не сделал Я трус, бешеная собака, безумец! Но он тоже был англичанин.

Уорик. Ну и дурак Его самого сожгут, если попы до него доберутся

Капеллан *(содрогаясь)* Какие-то люди в толпе смеялись. Они бы и над Христом стали смеяться Это были французы, милорд Я знаю, это были французы

Уорик Тише! Кто-то идет Сдержитесь.

Ладвеню входит со двора и останавливается справа от Уорика. В руках у него епископский крест, взятый из церкви Выражение лица торжественное и строгое.

Я слышал, что все уже кончилось, брат Мартин.

Ладвеню *(загадочно* Как знать, милорд Может быть, только началось.

Уорик. Это что, собственно, значит?

Ладвеню Я взял этот крест из церкви, чтобы она могла его

видеть до самого конца. У нее не было креста, только две палочки, связанные крест-накрест. Она спрятала их у себя на груди. Когда пламя уже охватило ее и она увидела, что я сам сгорю, если еще буду держать перед ней крест, она крикнула мне, чтобы я отошел и не подвергал себя опасности. Милорд! Девушка, которая в такую минуту могла тревожиться за другого, не была научена дьяволом. Когда мне пришлось убрать крест, она подняла глаза к небу. И я верю, что небеса в этот миг не были пусты. Я твердо верю, что спаситель явился ей в сиянии любви и славы. Она воззвала к нему и умерла. Для нее это не конец. Это только начало.

Уорик. Гм. Боюсь, это произвело на толпу нежелательное впечатление.

Ладвеню. Да, милорд, на некоторых. Я слышал смех. Я надеюсь,— простите, милорд, что я так говорю,— но я надеюсь и верю, что это смеялись англичане.

Капеллан *(вскакивает, в отчаянии)*. Нет! Нет! Это не англичане! Там был только один англичанин, опозоривший свою родину,— этот бешеный пес де Стогэмбер! *(С диким криком устремляется к выходу.)* Его надо пытать! Его надо сжечь! Я пойду молиться над ее пеплом. Я не лучше Иуды. Пойду удавлюсь.

Уорик. Брат Мартин! За ним! Скорее! Он что-нибудь сделает над собой. Бегите!

Ладвеню спешит к выходу, понукаемый Уориком. Из двери за судейскими креслами выходит палач, и Уорик, возвращаясь, сталкивается с ним лицом к лицу.

Что тебе здесь нужно, молодчик? Кто ты такой?

Палач *(с достоинством)*. Я не молодчик, ваше сиятельство. Я мастер. Присяжный палач города Руана. Это дело требует высокого мастерства. Я пришел доложить вам, милорд, что ваши приказания выполнены.

Уорик. Мои глубочайшие извинения, мастер палач. Я позабочусь, чтобы вы не потерпели убытка из-за того, что у вас не осталось, так сказать, сувениров для продажи. Но я могу положиться на ваше слово? Да? Никаких останков — ни косточки, ни ногтя, ни волоска!

Палач. Сердце ее не сгорело, милорд. Но все, что осталось, сейчас на дне реки. Вы больше никогда о ней не услышите.

Уорик *(криво усмехается, вспомнив слова Ладвеню)*. Никогда? Гм! Как знать!

Беспокойная ветреная ночь в июне 1456 года; то и дело сверкают зарницы: перед этим долго стояла жара. Король Франции Карл VII, бывший во времена Жанны дофином, а теперь Карл Победоносный (сейчас ему пятьдесят один год), лежит в постели в одном из своих королевских замков. Кровать стоит на возвышении, к которому ведут две ступеньки, и расположена ближе к одному из углов комнаты, чтобы не загораживать высокое стрельчатое окно в середине задней стены. Над кроватью балдахин с вышитыми на нем королевскими гербами. Если не считать балдахина и огромных пуховых подушек, то в остальном кровать напоминает широкую тахту, застланную простынями и одеялами; спинки в изножии нет, и ничто не заслоняет лежащего на кровати. Карл не спит; он читает в постели или, вернее, разглядывает миниатюры Фуке в томике Боккаччо, оперев книгу на поднятые колени, как на пюпитр. Слева от кровати — столик; на нем икона богоматери, озаренная пламенем двух свечей из цветного воска. Стены от потолка до полу завешаны гобеленами, которые по временам колеблются от сквозняка. В этих тканых картинах преобладают желтые и красные тона, и когда ветер развевает их, кажется, что по стенам бегут языки пламени. В стене слева от Карла — дверь, но не прямо против кровати, а наискось, ближе к авансцене. На постели, под рукой у Карла, лежит большая трещотка, вроде тех, что употребляют ночные сторожа, но изящной формы и пестро раскрашенная. Карл переворачивает страницу. Слышно, как где-то вдали колокол мелодично отбивает полчаса. Карл захлопывает книгу, бросает ее на постель и, схватив трещотку, энергично крутит ею в воздухе. Оглушительный треск. Входит Ладвеню. Он на двадцать пять лет старше, чем был во время суда над Жанной, держится очень прямо и торжественно; в руках у него епископский крест, как и в прошлый раз. Карл, видимо, его не ждал; он мгновенно спрыгивает с кровати на ту сторону, что дальше от двери.

Карл. Кто вы такой? Где мой постельничий? Что вам нужно?

Ладвеню *(торжественно)*. Я принес радостные вести. Возрадуйся, о король, ибо смыт позор с твоего рода и пятно с твоей короны. Справедливость долго ждала своего часа, но наконец восторжествовала.

Карл. О чем вы говорите? Кто вы?

Ладвеню. Я брат Мартин.

Карл. А, извините меня, кто это такой – брат Мартин?

Ладвеню. Я держал крест перед Девой, когда она испустила дух среди пламени. Двадцать пять лет прошло с тех пор. Без малого десять тысяч дней. И каждый день я молил бога оправдать дочь свою на земле, как он оправдал ее на небесах.

Карл *(успокоившись, садится в изножии кровати)*. А, ну теперь помню. Слыхал я про вас. У вас еще этакий заскок в голове насчет Девы. Вы были на суде?

Ладвеню. Я давал показания.

Карл. Ну и что там? Кончилось?

Ладвеню. Кончилось.

Карл. А как решили? В желательном для нас смысле?

Ладвеню. Пути господни неисповедимы.

Карл. То есть?

Ладвеню. На том суде, который послал святую на костер как чародейку и еретичку, говорили правду, закон был соблюден; было оказано милосердие даже сверх обычая, не было совершено ни единой несправедливости, кроме последней и страшной несправедливости – лживого приговора и безжалостного огня. На этом суде, с которого я сейчас пришел, было бесстыдное лжесвидетельство, подкуп судей, клевета на умерших, некогда старавшихся честно выполнить свой долг, как они его понимали; трусливые увертки, показания, сплетенные из таких небылиц, что и безграмотный деревенский парень отказался бы в них поверить. И, однако, из этого надругательства над правосудием, из этого поношения Церкви, из этой оргии лжи и глупости воссияла истина, как полуденное солнце на верху горы. Белое одеяние невинности отмыто от сажи, оставленной на нем обугленными головнями; верное сердце, уцелевшее средь пламени, оправдано; чистая жизнь освящена; великий обман развеян, и великая несправедливость исправлена перед людьми.

Карл. Друг мой, да ведь мне что нужно? Чтобы никто больше не мог сказать, что меня короновала ведьма и еретичка. А уж как этого добились – не все ли равно?

Я, во всяком случае, из-за этого волноваться не стану. И Жанна бы не стала; она была не из таких, я ее хорошо знал. Значит, полное оправдание? Я им, кажется, ясно сказал, чтобы чисто было сработано.

Ладвеню. Торжественно объявлено, что судьи Девы были повинны в умышленном обмане, лицеприятии, подкупности и злобе. Четырехкратная ложь.

Карл. Неважно. Судьи все уже умерли.

Ладвеню. Их приговор отменен, упразднен, уничтожен, объявлен недействительным, не имеющим обязательности и силы.

Карл. Очень хорошо. Значит, никто уж теперь не может оспаривать законность моей коронации?

Ладвеню. Ни Карл Великий, ни сам царь Давид не были коронованы более законно.

Карл *(встает)*. Великолепно! Вы понимаете, что это значит для меня?

Ладвеню. Я стараюсь понять, что это значит для нее.

Карл. Ну, где вам. Никто из нас никогда не мог наперед сказать, как она примет то или другое. Она была совсем особенная, ни на кого не похожая. И теперь пусть уж сама о себе заботится, где она там ни есть. Потому что я ничего не могу для нее сделать. И вы не можете; не воображайте, будто можете. Не по вас это дело. Я вам только одно скажу: если б даже вы могли вернуть ее к жизни, через полгода ее бы опять сожгли, хоть сейчас и бьют перед ней поклоны. И вы бы опять держали крест, как в тот раз. Так что *(крестится)* царствие ей небесное, а мы давайте-ка будем заниматься своим делом, а в ее дела не вмешиваться.

Ладвеню. Да не допустит бог, чтобы я не был причастен к ней и она ко мне! *(Поворачивается и выходит, говоря.)* Отныне путь мой будет не ко дворцам и беседа моя будет не с королями.

Карл *(идет за ним к двери и кричит ему вслед)*. И благо вам да будет, святой человек! *(Возвращается на середину комнаты и говорит, посмеиваясь.)* Вот чудак-то! Но как он сюда вошел? И куда подевались все слуги? *(С жестом нетерпения идет к кровати и, схватив трещотку, машет ею в воздухе.)*

В открытую дверь врывается ветер; занавеси развеваются, по стенам бегут волны. Свечи гаснут.

(Кричит в темноте.) Эй, кто-нибудь! Идите сюда, закройте окна! Ветер тут все сметет!

Вспышка молнии. На миг ясно видно стрельчатое окно и на его фоне – темная человеческая фигура.

Кто там? Кто это? Караул! Режут!

Удар грома. Карл кидается в постель и с головой прячется под одеяло.

Голос Жанны. Ну что ты, что ты, Чарли? Зачем так кричать? Все равно никто не услышит. Ведь это все во сне. Ты спишь и видишь сон.

Разливается тусклый, зеленоватый свет; видно, что Жанна уже стоит возле кровати.

Карл *(выглядывая из-под одеяла)*. Жанна! Ты что – привидение?

Жанна. Какой там! Меня же, бедную, сожгли. Я даже привидением не могу быть. Я всего-навсего твой сон.

Свет становится ярче. Теперь оба ясно видны. Карл вылезает из-под одеяла и садится на постели.

Ты, однако, постарел, дружочек.

Карл. Так ведь сколько лет прошло. Я что, на самом деле сплю?

Жанна. Ну да. Заснул над своей глупой книжкой.

Карл. Странно!

Жанна. А что я мертвая, это тебе не странно?

Карл. А ты правда мертвая?

Жанна. Да уж мертвее не бывает. Я теперь один только дух. Без тела.

Карл. Ишь ты! Скажи пожалуйста! И очень это было больно?

Жанна. Что?

Карл. А вот когда тебя сожгли.

Жанна. Ах, это! Да я уж и не помню. Сначала, кажется, было больно, но потом все спуталось, и дальше я уж была вроде как не в себе, пока не высвободилась из тела. Ты только не вздумай поэтому совать руки в огонь – не надейся, что он не горячий! Ну а как тебе тут жилось все эти годы?

Карл. Да ничего себе. Ты, может, не знаешь, а ведь я потом сам водил армии в бой и выигрывал сражения. Сам лазил в ров, по пояс в грязи и в крови, и на осадную лест-

ницу под дождем из камней и кипящей смолы. Как ты.

Жанна. Нет, правда? Значит, мне все-таки удалось сделать из тебя человека, Чарли?

Карл. Я теперь Карл Победоносный. Пришлось быть храбрым, потому что ты была храбра. Ну и Агнес меня немножко подбодрила.

Жанна. Агнес? Это кто такая?

Карл. Агнес Сорель. Одна женщина, в которую я был влюблен. Я часто вижу ее во сне. А тебя никогда не видал до этого раза.

Жанна. Она тоже умерла, как и я?

Карл. Да. Но она была не такая, как ты. Она была очень красива.

Жанна *(весело смеется)*. Ха, ха! Да, уж меня никто бы не назвал красавицей. Я была малость грубовата, настоящий солдат. Почти как мужчина. И жаль, что я не родилась мужчиной — меньше было бы от меня беспокойства. А впрочем, нет: душой я всегда стремилась ввысь, и слава господня сияла передо мной. Так что, мужчина или женщина, а я бы все равно не оставила вас в покое, пока вы сидели, увязнув носами в болоте. Но скажи мне, что произошло с того дня, когда вы, умники, не сумели ничего лучше придумать, как превратить меня в горсточку пепла?

Карл. Твоя мать и твои братья обратились в суд с требованием пересмотреть твое дело. И суд постановил, что твои судьи были повинны в умышленном обмане, лицеприятии, подкупности и злобе.

Жанна. Ну и неверно. Они судили честно. Дураки, конечно, были. Этакие честные глупцы всегда жгут тех, кто поумнее. Но эти были не хуже других.

Карл. Приговор над тобой отменен, упразднен, уничтожен, объявлен недействительным, не имеющим обязательности и силы.

Жанна. Да ведь меня сожгли. Что они, могут меня воскресить?

Карл. Кабы могли, так еще очень бы подумали, раньше чем это сделать. Но они решили воздвигнуть красивый крест на том месте, где был костер, чтобы освятить и увековечить твою память.

Жанна. Не этот крест освятит мою память, а память обо мне освятит этот крест. *(Отворачивается от Карла и отходит, забыв о нем.)* Я переживу этот крест. Обо мне будут

помнить и тогда, когда люди забудут даже, где стоял Руан.

Карл. Вот оно, твое самомнение! Ты, видно, ни чуточки не исправилась. Могла бы, кажется, хоть спасибо мне сказать за то, что я добился в конце концов справедливости.

Кошон *(появляясь у окна между Карлом и Жанной)*. Лжец!

Карл. Благодарю вас.

Жанна. Ба! Да это Пьер Кошон! Как поживаешь, Пьер? Ну что, сладко тебе жилось после того, как ты меня сжег?

Кошон. Нет. Не сладко. Но я отвергаю приговор людского правосудия. Это не правосудие божье.

Жанна. Все мечтаешь о правосудии? А ты вспомни, что твое правосудие со мной сделало, а? Ну ладно. Расскажи лучше, что с тобой-то. Ты жив или умер?

Кошон. Умер. И опозорен. Меня преследовали даже за гробом. Мое мертвое тело предали анафеме, откопали из могилы и выбросили в сточную канаву.

Жанна. Твое мертвое тело не чувствовало ударов лопаты и зловония канавы, как мое живое тело чувствовало огонь.

Кошон. Но то, что сделали со мной, оскорбляет правосудие, разрушает веру, подрывает основы Церкви. Твердая земля колеблется, как вероломное море, под ногами у людей и духов, когда невинных убивают во имя закона и когда их обиды пытаются исправить тем, что клевещут на чистых сердцем.

Жанна. Ну, Пьер, ты уж очень-то не огорчайся. Я надеюсь, что память обо мне будет людям на пользу. А они бы не запомнили меня так крепко, если бы ты меня не сжег.

Кошон. Но память обо мне будет им во вред. Ибо во мне они всегда будут видеть победу зла над добром, лжи над правдой, жестокости над милосердием, ада над небом. При мысли о тебе в них будет возгораться мужество, при мысли обо мне – гаснуть. И, однако, бог мне свидетель,– я был справедлив; я был милосерд, я был верен своим убеждениям, я не мог поступить иначе.

Карл *(сбрасывает с себя одеяло и усаживается на краю постели, как на троне)*. Ну да. Уж это известно. Вы, праведники, всегда больше всех и навредите. А возьмите меня! Я не Карл Добрый, и не Карл Мудрый, и не Карл Смелый. Твои поклонники, Жанна, пожалуй, еще назовут меня Карлом Трусливым за то, что я тогда тебя не вызволил из огня. Но я куда меньше наделал зла, чем вы все. Вы с вашими возвышенными мыслями только и смо-

трите, как бы перевернуть мир вверх ногами. А я принимаю мир как он есть. И всегда говорю: если уж так устроено, значит так лучше. Я-то от земли не отрываюсь. А позвольте вас спросить, какой король Франции больше принес пользы своей стране? И кто из них был более порядочным человеком, чем я на мой скромный лад?

Жанна. А ты теперь по-настоящему король Франции, Чарли? Англичан прогнали?

Дюнуа появляется из-за занавеса слева от Жанны. В то же мгновение свечи снова зажигаются и ярко освещают его латы и плащ.

Дюнуа. Я сдержал слово: англичан прогнали.

Жанна. Благодарение богу! Теперь наша прекрасная Франция — божья страна. Расскажи, как ты сражался, Джек. Ведь это ты вел в бой наши войска, да? Ты был господним полководцем до самой смерти?

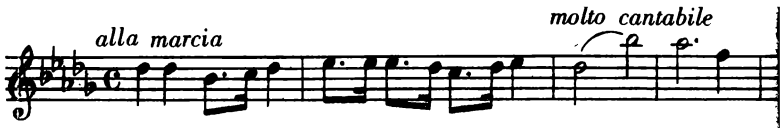
Дюнуа. А я и не умер. Мое тело мирно спит на мягкой постели в Шатодене. Но мой дух явился сюда по твоему зову.

Жанна. И ты воевал по-моему, Джек, а? Не на старый лад — торгуясь из-за выкупа, а так, как воевала Дева: не жалея своей жизни, с отвагой и смирением в сердце, без злобы? Не думая ни о чем, кроме того как сделать Францию свободной и нашей? Ты по-моему воевал, Джек? Скажи!

Дюнуа. Правду сказать, я воевал по-всякому, лишь бы выиграть. Но побеждали мы только тогда, когда воевали по-твоему, — это верно; должен отдать тебе справедливость. Я написал очень красноречивое письмо в твое оправдание и послал его на этот новый суд. Пожалуй, нехорошо, что я в тот раз позволил священникам тебя сжечь. Но мне было некогда, я сражался. И вообще я считал, что это дело Церкви, а не мое. Велика была бы польза, если бы нас обоих сожгли!

Кошон. Да, валите все на священников! Но я, которого уже не может коснуться ни хвала, ни порицание, я говорю вам: не священники и не солдаты спасут мир, а бог и его святые. Воинствующая Церковь послала эту женщину на костер. Но пока она еще горела, багровое пламя костра стало белым сиянием Церкви Торжествующей.

Колокол отбивает три четверти. Слышно, как грубый мужской голос напевает импровизированный мотив.



Рам-там-грам-пам-пам,
Кусок сала рам-там-там.
Святой старец та-ра-рам.
Хвост по ветру рам-пам-пам.
О-о, Мэ-э-ри-Анн!

Английский солдат, забулдыга по внешности и ухваткам, откидывает занавес, маршируя выходит на середину комнаты и останавливается между Дюнуа и Жанной.

Дюнуа. Какой негодный трубадур обучил тебя этой дурацкой песне?

Солдат. Никакой не трубадур. Мы сами ее сочинили на марше. А мы были не какие-нибудь знатные господа и не трубадуры. Так что это вам музыка прямо из сердца народа.

Рам-там-трам-пам-пам,
Кусок сала рам-там-там.
Святой старец та-ра-рам.
Хвост по ветру рам-пам-пам.

Смысла никакого, но шагать помогает. Тут, кажется, кто-то спрашивал святого? Я к вашим услугам, леди и джентльмены.

Жанна. А ты разве святой?

Солдат. Так точно, миледи. Прямо из ада.

Дюнуа. Святой, а из ада?

Солдат. Да, благородный капитан. В отпуску на сутки. Каждый год дают. Это мне полагается за то, что я раз в жизни сделал доброе дело.

Кошон. Несчастный! За все годы твоей жизни ты совершил одно-единственное доброе дело?

Солдат. А я и не старался. Само вышло. Но мне его все-таки засчитали.

Карл. Что же ты сделал?

Солдат. Да так, пустяки. Глупость, собственно говоря. Я...

Жанна *(перебивает его, подходя к кровати, где и усаживается рядом с Карлом)*. Он связал две палочки крест-накрест и подал их бедной девушке, которую хотели сжечь.

Солдат. Правильно. А вы откуда знаете?

Жанна. Неважно, откуда. Ты бы узнал эту девушку, если бы опять встретил?

Солдат. Ну да, как же! Девушек-то много, и каждая хочет, чтобы ты ее помнил, как будто она одна на свете. Но эта-то, видать, была первый сорт, недаром мне за нее каждый год дают отпуск. Так что, пока не пробило полночь, я — святой, к вашим услугам, благородные лорды и прелестные леди.

Карл. А когда пробьет полночь?

Солдат. А когда пробьет, тогда марш обратно, в то самое место, где полагается быть таким, как я.

Жанна *(встает)*. Обратно! Тебе! А ты дал крест этой девушке!

Солдат *(оправдываясь в этом недостойном солдата поступке)*. Так ведь она просила. И ее же собирались сжечь. Что, она не имела права на крест? У тех-то, что ее жгли, крестов было хоть отбавляй, а кто там был главный — они или она? Ну я и дал ей. Важное дело, подумаешь!

Жанна. Чудак! Я же тебя не корю. Но мне больно думать, что ты терпишь муки.

Солдат *(неунывающим тоном)*. Ну, это что за муки! Я привык к худшему.

Карл. Что? Худшему, чем ад?

Солдат. Пятнадцать лет солдатчины на войне с французами. После этого ад одно удовольствие!

Жанна разводит руками, очевидно отчаявшись в человечестве, ищет прибежища перед иконой богоматери.

Солдат *(продолжает)*. Мне даже нравится. Вот в отпускной день поначалу, правда, бывало скучновато,— вроде как в воскресенье, когда дождик идет. А теперь ничего, привык. И начальство не обижает. Сами говорят: бери, мол, выходных дней сколько хочешь и когда захочешь.

Карл. А каково там, в аду?

Солдат. Да не так уж плохо, сэр. Весело. Вроде как ты всегда выпивши, а тратиться на выпивку не надо. Ни хлопот, ни расходов. И компания знатная — императоры, да папы, да короли, да еще разные на ту же стать. Они меня все шпыняют за то, что я дал крест той девчонке. Ну да и я в долгу не остаюсь. Прямо им говорю: «Кабы не было у нее больше прав на этот крест, чем у вас, так она была бы сейчас там же, где и вы». Ну, тут уж им крыть нечем! Скрежещут на меня зубами на адский манер, а

я только смеюсь — и до свиданья! Ухожу себе, распевая нашу старую песенку. Рам-там-трам-па... Эй! Кто там стучит?

Все прислушиваются. Слышен тихий, настойчивый стук в дверь.

Карл. Войдите!

Дверь отворяется. Входит старик священник, седовласый, согбенный, с чуть-чуть безумной, но доброй улыбкой на губах. Торопливыми мелкими шажками идет к Жанне.

Вновь пришедший. Простите меня, благородные господа и дамы. Не хочу вам мешать. Я всего только скромный английский священник, совершенно безобидный старик. Когда-то я был капелланом его высокопреосвященства кардинала Винчестерского. Джон де Стогэмбер, к вашим услугам. *(Вопросительно смотрит на остальных.)* Вы что-то сказали? Я, к сожалению, немножко туг на ухо. И немножко... как бы сказать?.. ну, не в своем уме, что ли. Но мой приход очень маленький — глухая деревушка, горсточка простых людей... Я справляюсь, ничего, справляюсь. И мои прихожане меня очень любят. А мне удается иногда кое-что для них сделать. У меня, видите ли, есть знатная родня, и они мне не отказывают, если я попрошу.

Жанна. Джон! Бедный старик! Как ты дошел до такого жалкого состояния?

Де Стогэмбер. Я всегда говорю своим прихожанам: надо быть очень осторожным. Я им говорю: «Если вы своими глазами увидите то, о чем думаете, вы совсем иначе станете об этом думать. И это будет жестокий удар для вас. Ах, какой жестокий!» А они мне отвечают: «Да, да, отец Джон, мы все знаем, что вы добрый человек, мухи не обидите». И это для меня большое утешение... потому что, уверяю вас, я совсем не жесток по природе.

Солдат. А кто говорит, что ты жесток?

Де Стогэмбер. Я, видите ли, однажды совершил очень жестокий поступок. А все потому, что не знал, как жестокость выглядит на деле... не видал своими глазами. В этом весь секрет: надо увидеть своими глазами! А тогда уже приходит раскаяние и искупление.

Кошон. Разве крестных мук нашего господа Иисуса Христа для тебя было недостаточно?

Де Стогэмбер. О нет, нет! Это совсем не то. Я видел их на картинках, я читал о них в книгах; и все это очень волновало меня,— то есть так мне казалось. Но это меня ничему не научило. И не господь искупил меня, а одна молодая девушка, которую сожгли на костре. Я сам видел, как она умирала. Это было ужасно! ужасно!.. Но это спасло меня. С тех пор я стал другим человеком. Вот только голова у меня бывает иногда не совсем в порядке.

Кошон. Значит, в каждом столетии новый Христос должен умирать в муках, чтобы спасти тех, у кого нет воображения?

Жанна. Ну, если я спасла от его жестокости всех тех, с кем он был бы жесток, если бы не был жесток со мной, так, пожалуй, я умерла не напрасно.

Де Стогэмбер. Вы? О нет, это были не вы! Я уже плохо вижу и не могу разглядеть ваше лицо, но это были не вы, нет, нет! Ту девушку сожгли. Один пепел остался. Она мертва, мертва...

Палач *(выходит из-за полога у изголовья кровати, справа от Карла)*. Она живее, чем ты, старик. Ее сердце не сгорело в огне; оно и в воде не утонуло. Я был мастером в своем ремесле — искуснее, чем палач парижский, чем палач тулузский. Но я не мог убить Деву. Она жива. Она повсюду.

Уорик *(появляется из-за полога с другой стороны и подходит к Жанне слева)*. Сударыня, примите мои искренние поздравления по поводу вашей реабилитации. Боюсь, что должен извиниться перед вами.

Жанна. Ну что вы. Не стоит того.

Уорик *(любезно)*. Ваше сожжение было чисто политической мерой. Лично против вас я решительно ничего не имел. Поверьте мне.

Жанна. Я не держу на вас зла, милорд.

Уорик. Очень мило с вашей стороны, что вы так к этому относитесь. Признак истинной благовоспитанности. Но я все-таки должен принести вам свои глубочайшие извинения. Дело, видите ли, в том, что эта самая политическая необходимость порой оказывается политической ошибкой; и с вами у нас как раз вышел ужасный просчет,— ибо ваш дух победил нас, несмотря на все наши костры. Благодаря вам я войду в историю, хотя наши с вами взаимоотношения носили и не совсем дружественный характер.

Жанна Да, пожалуй, что и не совсем, комик вы этакий!

У о р и к. Тем не менее, если вас сопричислят к лику святых, вы своим венцом будете обязаны мне, так же как этот удачливый монарх обязан вам своей короной.

Ж а н н а *(отворачиваясь от него)*. Ничем я и никому не обязана. Я всем обязана духу божию, который жил во мне. Ну, а насчет святости – куда уж! Что сказали бы святая Екатерина и святая Маргарита, если бы этакую деревенскую простушку да посадили рядом с ними!

Внезапно в углу, справа от присутствующих, появляется клерикального вида г о с п о д и н в черном сюртуке, брюках и цилиндре – по моде 1920 года. Все смотрят на него, потом разражаются неудержимым смехом.

Г о с п о д и н. Почему такое веселье, господа?

У о р и к. Поздравляю вас! Вы изобрели поразительно смешной маскарадный костюм.

Г о с п о д и н. Не понимаю. Это вы все в маскарадных костюмах, а я одет прилично.

Д ю н у а. Э, дорогой мой, ведь всякое платье в конце концов маскарад, кроме только собственной нашей кожи.

Г о с п о д и н. Простите. Я прибыл сюда по важному делу и не могу тратить время на легкомысленные разговоры. *(Достает бумагу и принимает сухой, официальный вид.)* Я прислан объявить вам, что дело Жанны д'Арк, ранее известной под именем Девы, поступившее на расследование в особую комиссию, созванную епископом Орлеанским...

Ж а н н а *(перебивает)*. А! Меня, значит, еще помнят в Орлеане!

Г о с п о д и н *(строго, выражая голосом свое негодование по поводу того, что его прерывают)*. ...епископом Орлеанским, ныне закончено; ходатайство вышеупомянутой Жанны д'Арк о ее канонизации и причислении к лику святых...

Ж а н н а. Да я никогда не подавала такого ходатайства!

Г о с п о д и н *(как выше)*. ...подробно рассмотрено, согласно каноническим правилам, и помянутая Жанна признана достойной вступить в ряды блаженных и преподобных...

Ж а н н а *(фыркает)*. Это я-то преподобная?!

Г о с п о д и н. ...вследствие чего Церковь постановляет: считать, что оная Жанна была одарена особыми героическими добродетелями и получала откровения непосредственно от бога, по каковой причине вышеупомянутая блаженная и преподобная Жанна приобщается отныне

к сонму Церкви Торжествующей под именем Святой Иоанны.

Жанна *(в упоении)*. Святая Иоанна!

Господин. Ежегодно тридцатого мая, в годовщину мученической смерти вышеупомянутой блаженной и благословенной дочери господней, во всех католических церквах от сего дня и до скончания веков будет отправляться особая служба в ее память. Дозволяется и признается законным воздвигать особые часовни в ее память и помещать ее изображение в алтарях таких храмов. И признается законным и похвальным для верующих преклонять колена перед ее изображением, возносить к ней молитвы и просить ее о заступничестве перед престолом всевышнего.

Жанна. Нет, нет! Не они, а святая должна преклонить колена! *(Падает на колени, с тем же выражением экстаза на лице.)*

Господин *(складывает бумагу и, отступив, становится рядом с палачом)*. Составлено и подписано в базилике Ватикана шестнадцатого мая тысяча девятьсот двадцатого года.

Дюнуа *(поднимает Жанну)*. Полчаса потребовалось, чтобы сжечь тебя, милая моя святая, — и четыре столетия, чтобы понять, кто ты была на самом деле!

Де Стогэмбер. Сэр, я когда-то состоял капелланом у кардинала Винчестерского. Французы его всегда почему-то называли кардиналом Английским. Очень было бы приятно и мне и моему господину, если бы у нас, в Винчестерском соборе, тоже поставили статую Девы. Как вы думаете, поставят?

Господин. Так как это здание временно находится в руках приверженцев англиканской ереси, то я ничего по этому поводу не могу вам сказать.

За окном возникает видение Винчестерского собора и помещенной в нем статуи Девы.

Де Стогэмбер. Смотрите! Смотрите! Это Винчестер.

Жанна. Это меня, что ли, они изобразили? Ну, я покрепче стояла на ногах.

Видение исчезает.

Господин. Светские власти Франции просили меня упомянуть о том, что статуи Девы, воздвигаемые на улицах и площадях, становятся, ввиду их многочисленности,

серьезной помехой для транспорта,— что я и делаю из любезности к помянутым светским властям; но должен при этом заметить в защиту Церкви, что конь Девы является не большей помехой для транспорта, чем всякая другая лошадь.

Жанна. Я очень рада, что они не забыли моего коня.

Возникает видение статуи Жанны д'Арк перед Реймским собором.

А эта смешная фигурка — это тоже я?

Карл. Надо полагать, что ты. Ведь это Реймский собор, где ты меня короновала.

Жанна. А кто же сломал мне меч? Мой меч никогда не был сломан, это меч Франции.

Дюнуа. Не беда. Меч можно починить. Но душа твоя никогда не была сломлена. А ты — это душа Франции.

Видение гаснет. Становится видно, что по бокам Кошона стоят архиепископ Реймский и Инквизитор.

Жанна. Мой меч еще будет побеждать,— меч, которым не было нанесено ни одного удара. Люди сожгли мое тело, но я узрила бога в сердце своем.

Кошон *(преклоняя перед ней колена)*. Простые девушки, трудящиеся в поле, прославляют тебя, ибо ты научила их отрывать взор от земли. И они увидели, что нет преград между ними и небом.

Дюнуа *(преклоняя перед ней колена)*. Умирающие солдаты прославляют тебя, ибо ты стала щитом доблести между ними и судом божиим.

Архиепископ *(преклоняя перед ней колена)*. Князья Церкви прославляют тебя, ибо ты вновь возвысила веру, затоптанную в грязь их мирским честолюбием.

Уорик *(преклоняя перед ней колена)*. Хитроумные советники прославляют тебя, ибо ты рассекла узы, коими они опутали свои души.

Де Стогэмбер *(преклоняя перед ней колена)*. Неразумные старики на смертном одре прославляют тебя, ибо грех их против тебя стал им во спасение.

Инквизитор *(преклоняя перед ней колена)*. Судьи, ослепленные и порабощенные законом, прославляют тебя, ибо ты оправдала прозрение и свободу живой души.

Солдат *(преклоняя перед ней колена)*. Грешники в аду прославляют тебя, ибо ты показала им, что огнь неутолимый есть святой огонь.

Палач *(преклоняя перед ней колена)*. Те, кто мучит и кто казнит, прославляют тебя, ибо ты показала, что рука палача неповинна в убиении души.

Карл *(преклоняя перед ней колена)*. Непритязательные прославляют тебя, ибо ты взяла на себя бремя героических деяний, слишком для них тяжелое.

Жанна. Горе мне, если все прославляют меня! Не забывайте, что я святая и что святые могут творить чудеса. Вот я вас спрашиваю: ответьте, хотите ли вы, чтобы я восстала из мертвых и вернулась к вам живая?

Все быстро встают в испуге. Свет внезапно меркнет, стены тонут во мраке, видны только кровать и фигуры стоящих людей.

Как? Значит, если я вернусь, вы опять пошлете меня на костер? И никто не готов меня принять?

Кошон. Еретику лучше всего быть мертвым. А люди земным своим зрением не умеют отличить святую от еретички. Пощади их! *(Удаляется тем же путем, как пришел.)*

Дюнуа. Прости нас, Жанна. Мы еще недостаточно праведны, чтобы жить с тобой. Вернусь-ка я к себе в постель. *(Тоже удаляется.)*

Уорик. Мы искренне сожалеем о нашем маленьком промахе. Однако политическая необходимость хоть и приводит иной раз к ошибке, все же остается главным руководителем наших действий. Поэтому, с вашего позволения... *(Крадучись уходит.)*

Архиепископ. Если ты даже воскреснешь, я от этого не стану таким, каким ты меня когда-то считала. Могу только одно сказать: я не смею благословить тебя, но уповаю, что когда-нибудь ты осенишь меня своей благодатью. Ну, а пока что... *(Уходит.)*

Инквизитор. Я, ныне умерший, признал в тот день, что ты невинна. Но я не мыслю себе, как можно обойтись без Инквизиции при нынешнем порядке вещей. Поэтому... *(Уходит.)*

Де Стогэмбер. Ах нет, нет, не воскресайте! Пожалуйста, не надо! Дайте мне умереть спокойно. Мир твой, о боже, даруй нам при жизни нашей! *(Уходит.)*

Господин. Возможность вашего воскресения не была предусмотрена во время недавних переговоров о вашей канонизации. Я должен вернуться в Рим за новыми инструкциями. *(Чинно кланяется и уходит.)*

Палач. Как мастер в своем ремесле, я не имею права забы-

вать об интересах моей профессии. Да и о жене надо подумать, и о детях. Мне нужно время на размышление. *(Уходит.)*

Карл. Бедная Жанна! Все от тебя убежали. Один этот пропащий остался, которому в полночь надо убираться в пекло. Ну, а я что ж могу сделать?.. Только последовать примеру Дюнуа да лечь спать. *(Укладывается в постель.)*

Жанна *(опечаленная)*. Спокойной ночи, Чарли!

Карл *(бормочет в подушку)*. Спокойн... ноч... *(Засыпает.)*

Кровать тонет во мраке.

Жанна *(солдату)*. А ты — единственный, кто мне остался верен,— чем ты утешишь святую Иоанну?

Солдат. Да разве от них чего хорошего дождешься — от всех этих королей, и капитанов, и епископов, и законников, и всей прочей бражки? Пока ты жив — они оставляют тебя истекать кровью в канаве. А попадешь в пекло — глядь, и они все тут! А ведь как нос-то перед тобой задирали! Я тебе, девушка, вот что скажу: ты их не слушай; небось ты не глупей их, а может, еще и поумнее. *(Усаживается, готовясь пуститься в рассуждения.)* Тут, понимаешь ли, вот в чем все дело: ежели...

Вдалеке слышен первый удар колокола, отбивающего полночь.

Простите... Неотложное свидание... *(Уходит на цыпочках.)*

Теперь уже вся комната погружена во мрак; только на Жанну падают сверху лучи света, окружая ее сияющим ореолом. Колокол продолжает отбивать полночь.

Жанна. О боже, ты создал эту прекрасную землю, но когда же станет она достойна принять твоих святых? Доколе, о господи, доколе?

ТЕЛЕЖКА С ЯБЛОКАМИ

Политическая шутка

1929

THE APPLE CART

Первые представления моей пьесы в Англии и за границей заставили многих критиков с уверенностью предположить, что из печати она выйдет, предваренная трактатом о демократии, подробно разъясняющим, почему я, дотоле отъявленный демократ, переметнулся в противный лагерь и стал заядлым монархистом. В Дрездене спектакль был даже запрещен как хула на демократию.

Из-за чего поднялся весь этот шум? Я написал комедию, где король успешно отражает попытку своего всенародно избранного премьер-министра лишить его права влиять на общественное мнение с помощью печати и публичных выступлений — короче, превратить его в фигуру чисто номинальную. Король, не желая этим довольствоваться, заявляет, что предпочитает в таком случае отречься от престола и самому сделаться всенародно избранным премьер-министром, поскольку шансы пройти на выборах у него явно благоприятные. По мнению тех, кто верит, что наша система всеобщего избирательного права производит на свет парламенты, представляющие народ, это предельно демократичный выход из затруднительного положения. и сам премьер-министр должен был бы с радостью за него ухватиться. Но премьер-министра не проведешь. Он знает, что такой поворот событий восстановил бы против него монархическую, антидемократическую массу избирателей и он приобрел бы соперника в лице единственного общественного деятеля, который для него реально опасен. Комический парадокс ситуации в том, что победу королю приносят вовсе не королевские прерогативы, а его угроза отказаться от короны и принять участие во всеобщих выборах.

То обстоятельство, что большое число критиков, почитающих себя ревностными демократами, восприняли чисто личный триумф законного монарха над выборным премьером как победу самодержавия над демократией, а ее драматическое воплощение — как акт политического отступничества со стороны автора, убеждает меня в том, что наша пресловутая преданность политическим принципам — не что иное, как личина, прикрывающая идолопоклонство перед знаменитыми людьми. «Тележка с яблоками» обнажает нереальность как демократии, так и монархизма в том смысле, как их понимают идеалисты. Наши либералы-демократы верят в фикцию под названием «конституи-

ционный монарх» — некое подобие марионетки, которую приводят в движение только ловкие руки премьер-министра. Они верят и еще в одну фикцию, под названием «подотчетный министр», которую тоже приводят в движение только миллионные руки избирателей. Однако самое беглое знакомство с любыми двумя фигурами из вышеназванных категорий показывает, что они не марионетки, а живые люди и что предполагаемый контроль одного из них над другим, или над обоими со стороны избирателей, есть, по сути дела, не более чем страх перед неясными — и в нормальных условиях весьма отдаленными — последствиями. В нашей политической системе на марионетку больше всего смахивает член кабинета министров, возглавляющий какое-нибудь большое государственное учреждение. Если он не обладает соответствующими знаниями и исключительным умением руководить, он беспомощен в руках своих чиновников. Он вынужден подписывать любой документ, который ему подсовывают, а в ответ на запросы в парламенте повторять слово в слово то, что ему велят, выказывая при этом кротость, которой нельзя требовать от работяги короля. Король находится на своем посту без передышки, в то время как министры пребывают в должности лишь временно. Срок их службы может быть весьма коротким, и часто бывает так, что на в высшей степени ответственную министерскую должность человек попадает впервые в довольно солидном возрасте, не имея при этом ни опыта, ни соответствующей подготовки. Георг III и королева Виктория, в отличие от Елизаветы, не превосходили своих министров ни умом, ни политическим талантом, но во многих сферах государственной жизни безусловно превосходили их опытом, изворотливостью и точным пониманием границ своей ответственности, а следовательно, и границ своей безответственности; короче говоря, они обладали большей властью — и моральной, и практической. Люди весьма незаурядного ума, общаясь с монархами, до такой степени подпадали под их влияние, что нередко приписывали им необычайные качества, которыми те, как теперь очевидно в исторической перспективе, отнюдь не обладали. В столкновениях монархов с министрами — если те и другие в равной мере наделены способностями и здравым смыслом — побеждают всегда монархи.

«Тележка с яблоками» предполагает такое равенство. Оно, правда, замаскировано подчеркнутой несхожестью характеров и поведения, которая дала повод менее разборчивым критикам сетовать на то, что я подтасовал карты, выведя короля мудрым, а министра дураком. Между тем соотношение между

ними совершенно иное. Оба играют на одинаковом уровне, и король выигрывает не потому, что он более искусный игрок, а только благодаря тому, что у него на руках оказался козырной туз и он знает, когда пустить его в ход. Он играет эффектнее своего партнера, и естественно, что симпатии зрителя на его стороне. Однако король не обладает всемогуществом оперной примадонны, и его безбедное существование зависит не от того, насколько выгодно он сумеет продать свой талант, а от того, насколько сам он будет соответствовать общепринятому идеалу королевского достоинства и благовоспитанности. Поэтому король должен быть с малолетства приучен (и должен неустанно совершенствоваться в этом умении!) вести себя по отношению к подданным самым безукоризненным образом и предоставить менее высокопоставленным лицам такую роскошь, как дурной характер, вспыльчивость, раздражительность, угрозы, колкости, бранные слова и пинки — короче говоря, все более грубые и несдержанные проявления власти.

Королевские министры не ограничены столь жесткими рамками. Им дозволяется, в целях экономии времени, добиваться своего любым путем: устраивать сцены, впадать в заранее отрепетированные приступы гнева и подменять обоснованные возражения вульгарной бранью. Если умный министр, воспитанный не по-королевски, окажется вовлеченным в поединок со своим повелителем, он безусловно постарается выбрать любой род оружия — только не тот, которым король владеет лучше него. Скорее он с холодным расчетом противопоставит безупречному монаршему поведению свои намеренно дурные манеры и чисто детские капризы, которые он в нужный момент может отбросить, начав вести себя не менее изысканно, чем сам король, и выставив таким образом два вида оружия против одного. Здесь становятся явными преимущества его собственного воспитания: если он, преуспевающий честолюбец, сумел пробиться из безвестности к славе, значит, он проделал путь, предполагающий использование более решительных и безобразных методов укрощения строптивых, неразумных, робких или глупых — одновременно с трезвым пониманием того, что эти методы небезопасны, если применять их к людям сильным и влиятельным.

В свете всего вышесказанного становится ясно, что в единоборстве короля Магнуса с мистером Джозефом Протеем стиль каждого из противников находится в прямой зависимости от его положения и биографии, а вовсе не выдуман для противопоставления демократии и королевской власти — явно не в пользу первой. Сторонники подобной ошибочной трактов-

ки безнадежно отстали. Они все еще считают демократию слабой, обреченной на поражение стороной. Мне же обреченной стороной представляется в будущем (кстати, пьеса и обращена в будущее) не кто иной, как сам король. Совершенно очевидно, что уже сейчас он побежден по крайней мере наполовину, а теория конституционной монархии молчаливо предполагает, что положение короля надлежит рассматривать как безнадежное уже с конца XVII столетия.

Кроме того, борьба на самом деле происходит вовсе не между королевской властью и демократией. Борьба идет между ними обеими с одной стороны и плутократией с другой — плутократией, которая под завесой демократии насильственно уничтожила королевскую власть, а затем подкупила и проглотила демократию. Нынче говорит капитал, печатью ведает капитал, вещает в эфир капитал, царствует капитал, а короли равно как и лейбористские лидеры, вынуждены санкционировать его декреты и даже (ошеломляющий парадокс!) финансировать его предприятия и гарантировать прибыль. Демократию нынче не подкупают — ее просто обводят вокруг пальца. Министры, даже если они социалисты до мозга костей, в тисках акционерного общества «Ремонт» столь же беспомощны, как и откровенные приверженцы этой компании. С той самой минуты, когда в их руках оказывается то, что по иронии судьбы именуется властью, а на самом деле представляет собой изнурительный, каждодневный труд на плутократов, они не смеют заикнуться о национализации какой бы то ни было отрасли промышленности, даже представляющей для нас жизненный интерес, если плутократия может извлечь из этой отрасли еще хотя бы фартинг наживы — или выжать этот фартинг впоследствии с помощью субсидий.

Незначительная тактическая победа короля Магнуса, которая так акцентируется в пьесе, на самом деле оставляет его в положении куда менее завидном, чем его поверженного противника: премьер-министр всегда может публично заявить, что он лишь орудие воли народа, в то время как несчастный король, делающий отчаянную попытку взять власть в стране на том справедливом основании, что демократия уничтожила все виды ответственности (не случайно Муссолини утверждает, что в каждом европейском государстве есть свободный трон, только и ждущий способного человека), вынужден принять всю ответственность на себя и сделаться мишенью для всевозможных нареканий, от которых может увильнуть министр Протей. Среди королевских министров есть лишь один человек, обладающий мужеством, принципиальностью и истинно хороши-

ми манерами (при условии вежливого с ним обращения), но этот человек — несгибаемый республиканец и соперник короля в борьбе за власть. Необычайно честная и фанатично преданная своему делу Лизистрата ведет себя слишком надменно и бестактно, и пользы от нее мало, а вот если бы мистеру Боэнерджессу добавить опыта по части обращения с влиятельными ведьми (это совсем не то же самое, что руководить массовыми митингами), он мог бы удивить тех, кто видит в нем — поскольку персонаж он явно комический — только карикатуру.

Короче говоря, те из моих критиков, которые воспринимают «Тележку с яблоками» как историю столкновения героя с кучкой проходимцев, глубоко заблуждаются. Оценивать мои пьесы строго по номиналу вообще не стоит: вы рискуете обнаружить в них лишь то, что сами вложите, и в итоге ничего не получите за свои деньги.

Если взять тему демократии в общем плане, мне по существу нечего добавить сверх того, что уже сказано в «Путеводителе по социализму и капитализму для образованных женщин». Здесь есть две главные, неразрывно связанные проблемы: экономическая — как производить и распределять материальные блага и политическая — как выбирать своих правителей, не давая им при этом возможности использовать власть в личных корыстных интересах или в интересах своего класса и своих религиозных верований. Экономическую проблему мы решили, создав капиталистическую систему, которая поднимает производство на недосягаемую высоту, но не желает учитывать социальные нужды и самым смехотворным и чудовищным образом пасует перед проблемой рационального распределения продукции, что ведет к постоянным жалобам этой системы на «перепроизводство» тех самых товаров, в которых отчаянно нуждаются миллионы. Политическую проблему мы решили, учредив всеобщее избирательное право и постановив, что всякая власть, сверху донизу, избирается при помощи голосования. Этот принцип, имевший первоначально целью исключить возможные проявления деспотизма со стороны правителей, исключив для них всякую возможность действовать вообще, привел в конце концов к тому, что вся власть оказалась в руках безответственных частных предпринимателей. Но частные предприниматели не станут делать ничего, что не сулит выгоды их мелким корыстным интересам; следовательно, само существование цивилизации поставлено нынче в зависимость от того, сможем ли мы незамедлительно и беспрепятственно создать такие общественные учреждения, которые заменят частное

предпринимательство, — учреждения не просто прибыльны, а жизненно необходимые всему обществу. При таком положении дел чисто превентивный контроль над деспотизмом оборачивается веревкой на шее демократии. Парламентская машина, партийная система и кабинет министров, старательно усовершенствованные демократией, так преуспели по части препон и рогаток, что с помощью конституционных методов на трехдцатиминутную работу у нас уходит тридцать лет, зато не исключено, что в недалеком будущем нам придется уже неконституционными методами доделывать за тридцать минут все недоделанное за тридцать лет, если только мы не успеем провести билль о коренной реформе всей политической системы. Когда видишь, что достаточно пинка диктатора, чтобы парламент вроде нашего полетел в канаву — неважно, монархия в стране или республика; — глупо дожидаться смерти или падения диктатора, а потом выуживать бедолаг из канавы и пытаться по мере сил соскрести с них грязь. Единственный разумный путь — предпринять определенные шаги, которые помогли бы заблаговременно распознать и исключить опасность возникновения диктатуры, и одновременно создать политическую систему, пригодную для быстрой и эффективной, а не пустопорожней деятельности, систему, которая находилась бы на уровне требований двадцатого, а не шестнадцатого века.

До тех пор, пока мы не поставим перед собой эту задачу и не выполним ее, наши избиратели будут отдавать свои голоса только за то, чтобы лучше вымостить путь к их же собственному уничтожению. Нелепо думать, что в настоящее время парламентские выборы способны обеспечить стране наиболее квалифицированных правителей: даже если бы в течение последних шестидесяти лет в Палату общин попадали исключительно кандидаты, получившие на выборах не наибольшее, а наименьшее число голосов, вряд ли это существенно изменило бы нынешнее положение вещей в ту или другую сторону. В любом случае избиратели были бы лишены фактической возможности избрать своих представителей. Имей они такую возможность, нам пришлось бы столкнуться с парламентом, который состоял бы почти целиком из деятелей типа Тайтуса Оутса или лорда Джорджа Гордона и впридачу к ним кучки генералов и художников, а в кабинетах министров заседали бы сплошь ораторы, умеющие, как принято выражаться, заразить своим энтузиазмом слушателей. На деле все обстоит несколько иначе: такой оратор, осторожно разведав, на что именно аудитория реагирует с энтузиазмом, начинает выдавать этот благо-

дарный материал в непрерывном crescendo[1] *— и в конце концов получается, что не он заражает публику, а она его. Однако на сегодняшний день у избирателей выбора нет: приходится брать, что дают, надеясь при этом в меру своего разумения на лучшее, которое, однако, в свете высшего разумения часто оказывается наихудшим. При благоприятном стечении обстоятельств — поскольку их собственное суждение роли тут не играет — избиратели могут быть представлены в парламенте сравнительно высоким процентом порядочных и честных людей, наделенных общественным темпераментом и вдобавок талантливых ораторов. Прочие же места распределяются между теми, кто имеет для этого достаточные средства, кому просто хочется попасть в парламент или у кого есть какой-либо корыстный интерес.*

В октябре прошлого (1929) года меня попросили выступить перед огромной аудиторией, которую теперь может собрать новомодное изобретение — радио,— и осветить круг тем, связанных с политикой и культурой. Предыдущий оратор объявил мое выступление под рубрикой «Разные точки зрения». Среди предложенных мне тем была и демократия, представленная, как всегда, в абстрактном обличье некоего бесконечно благотворного принципа, в который мы обязаны верить, хотя бы он сулил нам погибель. Но я твердо решил, что на сей раз под маской благопристойности не укрыться ни «всеобщему избирательному праву», ни «выборной сверху донизу власти», и обратился к своим слушателям со следующими словами:

«Ваши величества, ваши королевские высочества, ваши светлости, ваши милости и преподобия, милорды, леди и джентльмены, сограждане всех рангов! Я хочу побеседовать с вами о демократии совершенно объективно, исходя из того простого факта, что она существует, и мы все в равной мере должны с ним считаться, какова бы ни была при этом наша собственная точка зрения. Представьте себе, что мне пришлось бы говорить с вами не о демократии, а о море, которое в известных отношениях напоминает демократию. У каждого из нас свой взгляд на море. Одни его ненавидят и всегда чувствуют себя в море или на морском побережье отвратительно. Другие, наоборот, любят море и бывают по-настоящему счастливы только когда купаются в морских волнах, совершают морские путешествия или наслаждаются морскими видами. Для одних море есть надежнейший оплот Британской империи и ее неотъемлемое владение, а другие мечтают о подводном

---

[1] Нарастании *(итал.)*.

туннеле через Ла-Манш. Но есть у моря и такие свойства, которые не зависят от нашего к нему отношения. Если я выдвину как непреложную истину тот факт, что море существует, никто из вас не станет этого оспаривать. Если я скажу, что море — стихия бурная и коварная и что те, кто хорошо его знает, менее всего склонны ему доверять, вы не станете громогласно выражать свое возмущение и не обвините меня в том, что я не верю в море, что я его злейший враг, что я хочу его отменить, что я собираюсь объявить морские купанья вне закона, что я замышляю положить конец морской торговле, превратить в пустыню приморские курорты и ликвидировать Британский морской флот. И если я скажу вам, что, погрузившись в море, вы не сможете дышать, вы не воспримете это как личное оскорбление и не заподозрите меня в том, что я считаю вас существом более низкой организации, чем рыба. В таком случае, почему вы не хотите столь же разумно отнестись к некоторым конкретным фактам, когда речь идет о демократии? Если я скажу, что демократия — стихия бурная и порою предательски опасная и что те, кто хорошо ее знает — например, профессиональные политики,— меньше всего склонны ей доверять, вы не должны клеймить меня как платного агента Бенито Муссолини, кричать, что я заделался под старость закоренелым консерватором, или обвинять меня в том, что я хочу обмануть доверие избирателей и покончить с парламентом, правом на голосование, свободой слова и публичных выступлений и судом присяжных. Не менее решительно возражал бы я и против того, чтобы вы вскакивали с мест и трижды приветствовали меня громкими возгласами как радетеля за средневековую монархию и феодализм: ни в чем подобном я не повинен. Я только хочу сказать, что независимо от того, демократы мы или тори, католики или протестанты, коммунисты или фашисты, нам всем приходится считаться с некоей реально существующей силой, именуемой демократией. И мы должны понять природу этой силы независимо от того, поддерживаем мы ее или нет. Наша задача состоит не в том, чтобы отрицать опасности, которыми чревата демократия, а в том, чтобы как можно лучше подготовиться к защите от этих опасностей и научиться определять, стоит ли идти на риск, если у нас не обеспечены тылы.

Расхожее представление о демократии, как известно, сводится к тому, что это длинное слово, которое часто пишется с заглавной буквы одни его благоговейно принимают, другие гневно отвергают, но вопросов при этом никто не задает. Между тем не следует ничего принимать с благоговением — пре-

жде надо получить ответ на множество важных вопросов. Первым делом требуется установить личность собеседника и выяснить, где он живет. Если я задам эти вопросы Демократии, то в ответ услышу: «Меня зовут Демос. Я живу в Британской империи, Соединенных Штатах Америки, а также повсюду, где в человеческом сердце горит любовь к свободе. Ты, друг мой Шоу, есть единица Демократии, имя твое тоже Демос, ты — гражданин великого демократического сообщества, потенциальный член Общечеловеческого Парламента и Мировой Федерации». Это сообщение я обычно встречаю громкими одобрительными возгласами, что свидетельствует о восторженности моей натуры. Однако сегодня я поступлю иначе. Я скажу: Не болтай ерунды. Меня зовут не Демос, а Бернард Шоу. И живу я вовсе не в Британской империи или Соединенных Штатах Америки, и вообще не обязательно там, где любовь к свободе горит в человеческом сердце. Я живу на такой-то улице в Лондоне, в доме под номером таким-то, и у нас еще будет время обсудить мою кандидатуру в Общечеловеческий Парламент, когда это достославное учреждение появится на свет. И не верю я в то, что тебя зовут Демос,— нет такого имени; что же касается местожительства, то я подозреваю, что ты нигде не живешь — ты просто бездомный бродяга, если ты вообще существуешь».

Вы, очевидно, заметили, что вежливость не позволяет мне обзывать Демос пустозвоном или утверждать, что он занимается сотрясением воздуха. Кстати о воздухе: если будет позволено, я для начала сравнил бы демократию с большим шаром, наполненным газом или горячим воздухом. Такой воздушный шар запускают в небо: вы следите за ним, задрав голову, а в это время другие очищают ваши карманы. Теперь представьте себе, что примерно раз в пять лет шар возвращается на землю и вам предлагается совершить на нем полет — при условии, что вы предварительно вытолкнете из корзины одного из прочно обосновавшихся там пассажиров. Но поскольку у вас нет на это ни времени, ни денег, и при этом желающих полетать сорок миллионов, а в корзине не более шестисот мест, шар снова поднимается в воздух почти с тем же составом пассажиров, а вы остаетесь на земле. Пожалуй, никто не станет отрицать, что воздушный шар как прообраз демократии вполне согласуется с картиной, наблюдаемой в парламенте.

А теперь рассмотрим другую, более поэтическую концепцию демократии. Она связана с именем Авраама Линкольна, который, как мы привыкли считать, в разгар кровавой битвы в Геттисберге произнес исторические слова о том, что брато-

убийственная война американцев против американцев затеяна лишь для того, чтобы не исчезла с лица земли демократия, определенная им как правительство народа, для народа и из народа.

Разберем повнимательнее это знаменитое изречение и посмотрим, какой в нем таится смысл. (Кстати говоря, на самом деле геттисбергская декларация была провозглашена отнюдь не на поле битвы, и Гражданская война в Америке велась вовсе не в защиту демократии — наоборот, ее цель состояла в том, чтобы подчинить одну половину Соединенных Штатов другой и навязать первой правительство, которого та отнюдь не желала. Но все это несущественно. Я привел этот эпизод с тем, чтобы напомнить вам одну простую истину: видимо, ни один государственный деятель органически не способен произнести речь о демократии и ни один журналист не способен напечатать о ней отчет без того, чтобы не затемнить все это туманом лживых фраз.)

А теперь обратимся к трем пунктам Линкольнова определения демократии. Пункт первый: правительство народа. В том, что народом необходимо управлять, сомнений, по-видимому, нет. Человеческое общество не может существовать без правительства, точно так же, как человек не может жить без координации дыхания и кровообращения. Пункт второй: правительство для народа. Это очень важный момент. Настоятель Индж превосходно это выразил, определив демократию как форму общества, предусматривающую равную заботу обо всех его членах. Он добавил, что это принцип христианский и что, будучи христианином, он в него верит. Верю в него и я. Вот почему я выступаю за равное распределение доходов. Общество не может проявлять одинаковую заботу о человеке, имеющем доход в сто фунтов в год, и о человеке с доходом в сто тысяч. Перейдем, однако, к пункту номер три: правительство из народа. Тут мы видим совершенно иную картину. Все монархи, все диктаторы, все закоренелые консерваторы единодушно признают, что нами должно управлять. Такие демократы, как настоятель Индж и я, признают, что нами должно управлять, проявляя равную заботу обо всех. Но пункт номер три мы отвергаем на том основании, что народ сам управлять не может. Это невозможно физически. Каждый отдельно взятый гражданин не более способен быть правителем, чем каждый отдельно взятый мальчишка способен быть машинистом паровоза или атаманом разбойников. Нация, состоящая из одних премьер-министров или диктаторов, такая же нелепость, как армия из одних фельдмаршалов. Правитель-

ство, осуществляемое народом, невозможно и никогда не будет возможно — это только демократический лозунг для заманивания избирателей. И если вы сомневаетесь в этом, если вы спросите меня: «Почему народ не может сам создавать для себя законы?» — я тоже отвечу вам вопросом: «А почему народ не может сам сочинять для себя пьесы?» Не может — и все тут. Между прочим, написать хорошую пьесу гораздо легче, чем создать хороший закон, и тем не менее в мире едва ли найдется сотня драматургов, способных сочинить пьесу столь высокого качества, чтобы она выдержала долгую и бурную сценическую жизнь — то есть сравнялась бы в жизнеспособности с законом.

Далее напрашивается вопрос: если мы сами не можем управлять собой, что делать, чтобы не попасть в зависимость от тех, кто может управлять нами — нередко отпетых негодяев и мошенников? Проще всего ответить следующим образом: если гнет правителей станет невыносимым, у нас остается возможность — поскольку мы всегда в большинстве — поджечь их дома, а их самих разорвать на куски. Но это не выход из положения. Приличные люди, как правило, этого не делают — разве что совсем потеряют голову. Но уж коли они потеряют голову, вполне может получиться так, что они сожгут не те дома и разорвут на куски не тех, кого следовало бы. Когда мы имеем дело с так называемым народным движением, мало кто из его участников осознает его суть. Как-то я наблюдал в Лондоне настоящее народное движение. Люди в возбуждении мчались по улицам города. Каждый, кто это видел, немедленно включался в общий бег. Люди бежали только потому, что на их глазах бежали другие. Тысячи несущихся во весь опор людей составляли весьма внушительное зрелище. Без сомнения, передо мною было истинно народное движение. Впоследствии я узнал, что начало ему положила корова, которая сбежала по дороге на бойню. Эта корова внесла заметный вклад в мое политическое и философское образование, и смею вас заверить, что если вы будете изучать психологию толпы, а также поведение потерявшихся и охваченных страхом животных и прочее в этом роде — вместо того, чтобы читать книжки и газетные статьи,— вы куда больше узнаете о политике. Всеобщие выборы, как правило, есть не что иное, как массовое паническое бегство от мнимой угрозы. Яркий пример тому — предпоследние выборы в Англии. Угроза на сей раз была русская.

Я думаю, все согласятся с тем, что ни бунтарские действия толпы, ни народные движения не спасают от правительственных злоупотреблений властью. Естественно было бы предположить, что к ним можно прибегнуть как к крайнему

средству, если какой-нибудь правитель лишится рассудка и начнет проявлять неслыханное самодурство и жестокость. Однако история, как ни странно, этого не подтверждает. Возьмите два знаменитых примера — Нерон и русский царь Павел I. Будь Нерон, скажем, простым скрипачом, он как человек был бы не хуже любого музыканта из оркестра Британского радиовещания. И если бы Павел был заурядным лейтенантом пехотного полка, его имя так и осталось бы неизвестным. Когда же они оказались облеченными абсолютной властью над себе подобными, несчастные рехнулись и натворили таких бед, что их пришлось прикончить как бешеных собак. Но покончили с ними отнюдь не восставшие народные массы, а горстка их же собственных телохранителей, действовавших на свой страх и риск. Примером истинно демократической расправы с непопулярными государственными деятелями может служить судьба двух голландцев — братьев Де Витт, растерзанных толпой в XVII веке. Сами они не были ни тиранами, ни самодержцами — напротив, один из них был брошен в тюрьму и подвергся пыткам за сопротивление деспотизму Вильгельма Оранского, а второй пришел встретить брата у тюремных ворот, когда его освободили. Толпа фактически действовала в интересах самодержца. Получается, что если тиран хочет поскорее избавиться от докучливого поборника свободы, то лучший способ — всенародно объявить его антипатриотом и предоставить остальное толпе, предварительно подобрав в качестве вождя народного движения своего человека, хорошо проинструктированного и щедро оплаченного. В наше время все это именуется прямыми действиями революционного пролетариата. Тот, кто уверует в революционный пролетариат, очень скоро убедится, что сам пролетариат никогда не бывает революционным, а контроль за его прямыми действиями (если такие действия вообще допускают контроль) осуществляют, как правило, полицейские агенты.

Демократия, таким образом, не может быть правительством из н а р о д а: она может быть только правительством с согласия управляемых. К сожалению, когда демократические деятели принимаются управлять нами с нашего согласия, они быстро замечают, что мы вообще не жаждем, чтобы нами управляли, и смотрим на всякого рода ренты, налоги, поборы и обложения в пользу государства как на ненавистное бремя. Вопрос сводится к тому, какова та минимальная доля правительственной деятельности, при которой мы сможем существовать, не опасаясь, что ночью нас зарежут в собственной постели. Прежде чем ответить на этот вопрос, следует уточ-

нить, что именно мы понимаем под словом «существовать». Дикари тоже существуют — с грехом пополам. Смутьяны арабы и татары тоже существуют. Главное правило заключается в том, что цивилизованный способ существования требует совместных усилий взамен усилий одного человека, а совместные усилия, в свою очередь, предполагают бóльшую роль управления.

Управление, бывшее когда-то делом сравнительно простым, сейчас вынуждено считаться с небывалым развитием социализма и коммунизма. Промышленность и общественная жизнь функционируют в рамках коммунальной системы дорог, улиц, мостов, водопроводов, электрического освещения, энергоснабжения, трамвайных путей, школ, доков и прочих видов социального обслуживания; государство оплачивает бесчисленную армию полицейских, инспекторов, учителей и чиновников всех рангов, служащих в сотнях учреждений. На горьком опыте мы убедились, что фабрики, заводы и шахты невозможно доверять частным предпринимателям. Только с помощью строгих законов, подкрепленных неусыпным контролем, удалось приостановить чудовищное расточительство человеческих жизней и материальных средств, неизбежное при отсутствии надзора над промышленностью со стороны правительства. Когда во время войны снабжение армии сосредоточилось в руках частных предпринимателей, мы понесли тяжелейшие потери в живой силе и очутились на грани катастрофы. Стоило правительству забрать снабжение из частных рук и передать государственным предприятиям, как все пошло на лад. Частные фирмы продолжали вносить свою посильную лепту, но правительственным служащим пришлось обучать их экономить средства и вести отчетность в надлежащем порядке.

И сейчас крупные капиталистические предприятия при всяком затруднении бросаются за помощью к правительству, как ягненок к овце. Без правительственной дотации они не могут даже построить дополнительную линию лондонского метро. Частный капитал, не получающий поддержки правительства, доживает свой век — он безнадежно устарел по всем линиям. Если бы одним махом отменить действующие у нас социалистические и коммунистические начала — а заодно и налоги на доходы, получаемые от чужого труда и финансирующие эти начала,— наше частное предпринимательство рухнуло бы как сраженный стрелой олень, а мы все перемерли бы через месяц. Как только мистер Болдуин, стремясь к победе на последних выборах, заявил, что социализм провалился везде и всюду, где его пытались внедрить, то социализм проехался по нему как па-

ровой каток и в два счета посадил на его место премьера-социалиста. В войну именно социализм нас и спас, и сейчас совершенно ясно, что только еще более широкое его распространение поможет ликвидировать губительные последствия войны и держаться на уровне все возрастающих требований цивилизации.

Итак, не следует задаваться вопросом, согласны мы на социализм и коммунизм или нет; вопрос стоит иначе: может ли демократия поспевать за развитием этих двух начал в нашей экономике и общественной жизни — развитием, которого требует активизация совместных действий как внутри страны, так и в международном масштабе.

Никакие совместные действия невозможны без органа управления. Таким органом может быть централизованное правительство, муниципальная корпорация, совет графства, окружной или приходский советы. Это может быть и совет директоров акционерной компании или треста, объединяющего несколько акционерных компаний. Такие советы, избираемые посредством голосования пайщиков, представляют собой небольшие государства в государстве, и, надо сказать, многие из них очень могущественны. Вместо законодательств и королей у них есть постановления и председатели. И мы с вами как клиенты этих компаний гораздо больше зависим от милости советов, ими управляющих, чем от милости парламента. Я знаю активных политических деятелей, начинавших как либералы и ставших впоследствии социалистами, которые признавались мне, что обращение их не случайно. Они убедились, что нация вынуждена выбирать отнюдь не между контролем над промышленностью со стороны правительства и контролем со стороны отдельных предпринимателей, которых держит в известных рамках необходимость конкурировать между собой за клиентуру. Контроль у правительства оспаривают не они, а гигантские тресты, имеющие огромную власть, но при этом не несущие никакой ответственности; единственная их цель — выкачать из нас как можно больше денег. В данный момент нашему правительству гораздо больше хлопот доставляют не Франция или Соединенные Штаты Америки, а частные корпорации, ведающие добычей угля и производством хлопчатобумажных тканей. Если говорить об удовлетворении наших повседневных потребностей, то мы целиком зависим от корпораций — государственных и частных. Наша жизнь и смерть в их руках. Тут не стоит долго распространяться — мы все это прекрасно знаем.

Не все, однако, понимают, что объединенные действия лежат и в основе удовлетворения наших религиозных потребностей. Настоятель Индж говорит, что всеобщие выборы превра-

тились в открытые аукционы, где соперничающие партии предлагают закупить наши голоса, и каждая сулит выделить нам бóльшую долю из добычи, награбленной меньшинством. Действительно, картина совершенно верная. Правда, борющиеся партии покуда еще не решаются открыто это формулировать, но суть дела именно такова. Настоятель Индж, сообразно со своей профессией, всегда убеждает прихожан (круг которых не ограничивается приходом собора святого Павла — у него есть приверженцы и по ту сторону Атлантическóго океана) голосовать за партию, обещающую предпринять самые решительные шаги к тому, чтобы те, в чьих руках сосредоточена наиболее значительная собственность, распродали ее в пользу бедных. Подобное мероприятие не под силу частным лицам: сделать это может только правительство. Взять к примеру меня. Я не принадлежу к молодым людям с большим состоянием; я старик, но я плачу подоходный и добавочный налоги в размерах, достаточных для того, чтобы обеспечить пособие нескольким стам безработных или престарелых пенсионеров. Против этой идеи как таковой у меня нет ни малейших возражений: я выступал в ее защиту за много лет до того, как у меня появились доходы, налог на которые выражался бы в достаточно солидной сумме. Но в одиночку при всем желании я не смог бы сделать ничего, если бы мне не помогло правительство. Если допустить, что правительство в один прекрасный день прекратило бы взимать налог с моих доходов и перераспределять мои денежные излишки между людьми, вообще не имеющими доходов, я бы ничего не мог поделать. И правда, что тут можно сделать? Может быть, вы что-нибудь предложите? Я бы мог послать принадлежащие мне облигации военного займа министру финансов, предложив тем самым погасить часть национального долга, а он в самых изысканных выражениях принес бы мне благодарность за патриотизм от имени правительства. Но неимущим эта операция не дала бы ни гроша. Ее единственным следствием было бы то, что другие плательщики добавочного и подоходного налогов и налога на наследство только сберегли бы проценты, которые иначе они должны были бы выплачивать. Мой поступок только сделал бы богачей богаче, а меня самого беднее. Далее, я мог бы сжечь все свои акции и сообщить секретарям соответствующих компаний, чтобы они списали со своего долга определенную сумму. Тогда увеличились бы дивиденды остальных акционеров, а бедняки, как и прежде, остались бы ни при чем. Наконец, я мог бы продать все свои акции и облигации за наличный расчет и, так сказать, вышвырнуть деньги на улицу — в расчете на то, что их подберут. Образовалась бы свалка,

и деньги достались бы в результате не самым бедным, а самым проворным и упитанным. А что было бы, если бы мы все решили продать свои облигации и акции? В принципе и это возможно, поскольку завет Христа обращен не ко мне одному, а ко всем владельцам земных богатств. Тогда все ценные бумаги полностью обесценились бы, а биржа немедленно превратилась бы в рынок, где все бы только продавали и никто не покупал. Поэтому и получается так, что все денежные излишки, которые мне оставляет правительство, я вынужден помещать наиболее надежным образом, в расчете на самый высокий процент — только так я могу быть уверен, что они попадут туда, где в них наибольшая нужда, и найдут быстрое применение. Вот и все, что я могу сделать без помощи правительства — все другие способы распорядиться денежными излишками были бы бессмысленными и безнравственными. Но даже этот единственно возможный способ приведет к тому, что я буду делаться все богаче и богаче, а бедняки, соответственно, все беднее. Таким образом, я не могу даже быть добрым христианином без содействия правительства — и настоятель Индж не может.

А теперь вернемся к нашей главной проблеме. Управлять собою сами мы не можем. Однако если прерогативы современного правительства — всеобъемлющая власть и огромные доходы — попадут в руки абсолютного монарха или диктатора, он рано или поздно лишится рассудка, если только он личность не исключительная и посему очень редко встречаемая. Помимо всего прочего, управление современным государством — дело слишком хлопотное и не под силу одному человеку. Если мы доверим власть какому-нибудь комитету или парламенту из людей выдающихся, они создадут олигархию и станут злоупотреблять властью в своих собственных интересах. Дилемма наша состоит в том, что люди, если брать их в целом, сами управлять собой не в состоянии, а в то же время, как сказал Уильям Моррис, ни один человек не достоин быть господином другого человека. Итак, мы нуждаемся в правителях, а наши правители нуждаются в контроле. Однако мудрейшие правители признают только один вид контроля — со стороны собственной совести, а поскольку мы, управляемые, в свою очередь склонны злоупотреблять дарованной нам возможностью контролировать правителей, наши страсти, наши частные и непосредственные интересы вступают в конфликт с многоопытной мудростью, духом гражданственности и заботой о будущем, которые присущи нашим лучшим правителям.

Допустим, мы не в состоянии эффективно контролировать своих правителей. В таком случае можем ли мы хотя бы

эффективно выбирать их и менять, если они нас не устраивают?

Здесь уместно привести какой-нибудь простой пример демократического выбора. Воображаемые примеры всегда лучше — они никого не задевают. Представьте, что мы живем в деревне и нам нужно выбрать кого-то на должность почтальона. Имеется несколько кандидатур, но один кандидат выгодно отличается от всех остальных: он не раз угощал нас кружкой пива в таверне, пожертвовал шиллинг на деревенскую выставку цветов, у него всегда найдется ласковое слово для ребенка и, кроме того, он жертва притеснений со стороны местного землевладельца, поскольку его покойный папаша с успехом промышлял браконьерством. В результате он одерживает блестящую победу на выборах, утверждается в должности и получает полагающуюся ему форму, красный велосипед и пачку писем для доставки. Но поскольку, добиваясь этого поста, он руководствовался одним честолюбием, он как-то не удосужился подумать о своих будущих обязанностях. И тут впервые ему приходит в голову, что он не умеет читать. Тогда он нанимает мальчишку-сопровождающего, чтобы тот читал ему адреса. Мальчуган прячется на задворках, а почтальон стучится в дом, вручает письма, принимает от благодарных клиентов рождественские подарки и пользуется прочими преимуществами своей профессии. По истечении известного времени он умирает, окруженный ореолом безукоризненной репутации как человек, образцово несший службу, и мы на сходных основаниях выбираем ему преемника — тоже неграмотного. Мальчик к тому времени успевает подрасти и превращается в своеобразный институт. Он придается новому почтальону как уже апробированный и необходимый элемент системы почтового обслуживания в нашей деревне и в качестве такового получает законное признание и жалованье.

Вот вам точный прототип выборного премьер-министра и приданного ему госдепартамента. Такая система вполне способна отлично функционировать, так как почтальон, хоть он и не силен в грамоте, может обладать незаурядными природными данными, а мальчишка-подручный, напротив, может годиться только на то, чтобы читать адреса. Но так бывает не всегда. И независимо от того, так это или не так, описанная система представляет не подлинную демократию, а лишь иллюзию демократии. Мальчишка, если у него хватит ума воспользоваться своим преимуществом, окажется господином положения и всецело подчинит себе почтальона. Лицо, которое мы выбираем для осуществления определенных функций, превра-

щается таким образом в лицо подставное и фактически лишь исполняет распоряжения приставленного к нему постоянного чиновника. Получается, что нами управляют ведомства государственной службы, обладающие властью столь могущественной, что их предписания заменяют парламентские законы, хотя многие из этих предписаний издаются лишь для блага чиновников и ни в коей мере не учитывают благ (и даже прав) народа. А как подбираются государственные служащие? В большинстве случаев — с помощью образовательных тестов, которые под силу только выпускникам самых дорогих частных школ. И ведомства государственной службы — самое могущественное и деятельное правительственное звено — оказываются укомплектованными по классовому признаку, а следовательно, ведомствами самыми безответственными.

Посмотрим теперь, как мы с вами контролируем ведомства государственной службы. У нас есть избирательные права. Я своими не раз уже пользовался, чтобы проникнуть в суть происходящего. Происходит же примерно вот что. Незадолго до выборов два-три субъекта, о которых я ровным счетом ничего не знаю, присылают мне письма, где убеждают меня голосовать за них, прилагая список предвыборных собраний, текст предвыборного обращения к избирателям и свою баллотировочную карточку. Одно из таких обращений смахивает на передовицу из газеты «Морнинг пост» и напечатано на бланке с государственной эмблемой; другое напоминает по тону «Дейли ньюс» или «Манчестер гардиан». Фразеология обоих этих обращений восходит к редакционной мусорной корзине столетней давности. Третье, более злободневное и стилистически более доброкачественное, заставляет предположить, что оно изготовлено для отправителя в штаб-квартире лейбористской партии. Четвертое, самое безнадежно устарелое из всех, содержит взятые наобум выдержки из первых английских изданий «Коммунистического манифеста» 1848 года. Авторство кандидатов ничем не подтверждается: ни одно из этих обращений ничего не говорит мне ни о личности кандидата, ни о его политических способностях. По плохо пропечатанной фотографии на первой странице обращения нельзя судить даже о возрасте кандидата — снимок сделан по меньшей мере лет двадцать назад. Если я отправляюсь на какое-нибудь предвыборное собрание, то застаю всегда одну и ту же картину: школьный актовый зал битком набит публикой, которая рассматривает предложенное зрелище как дешевую замену театрального и расположена повеселиться. На сцене сидят один или два горемыки, которые трудились не покладая рук, чтобы поддержать в этом избирательном округе

популярность своей партии. Им бы и стать кандидатами, но шансов достичь таких высот у них не больше, чем оказаться обладателями роскошного автомобиля «роллс-ройс». Они выступают в качестве «доверенных лиц» и предлагают собравшимся выразить доверие их кандидату. В глубине души, однако, ни они сами, ни тем более публика доверия к нему питать не могут, поскольку никто его практически не знает. Тем не менее они проводят собрание, побуждают публику аплодировать в нужный момент, подсказывают кандидату ответы на вопросы, а иногда, если он придет в полное замешательство, вскакивают и просят у председателя разрешения самим ответить на заданный вопрос — и еще умудряются при этом не нанести ущерба престижу своего кандидата. Все навязшие в зубах партийные лозунги повторяются и повторяются без конца, и единственное, в чем еще можно углядеть смысл и соль, это враждебные выпады по адресу конкурирующей партии, которые неизменно находят радостный отклик у истомившейся аудитории, хотя, по сути дела, являются всего-навсего заурядным проявлением невоспитанности. Стало быть, если я проголосую за одного из представленных мне кандидатов и он (или она) окажется избранным, я должен в силу этого считать, что осуществляю демократический контроль над правительством — правительством, управляющим мною, избранным мною и действующим во имя моего блага. Стоит ли после этого удивляться, что настоятель Индж не верит в подобную чушь? Если бы я сам в нее поверил, меня надо было бы лишить избирательных прав. И если все это именуется демократией, кто решится порицать синьора Муссолини, назвавшего демократию разлагающимся трупом?

Кандидаты могут возразить мне и в свою очередь спросить, что еще они могут сделать для меня как избирателя, кроме как предстать передо мной и ответить на вопросы, буде они у меня возникнут. И тут я вынужден с ними согласиться: действительно, ничего. Однако это не спасает положения. Выход может быть только один: найти эффективный способ проверки их способностей к государственной деятельности. Незадолго до войны один врач из Сан-Франциско сделал удивительное открытие: он показал, что если у кандидата взять каплю крови и поместить ее на кусочек промокательной бумаги, то в течение получаса можно определить, каковы его физические недостатки. Лично я мечтаю об открытии такой реакции, с помощью которой по капле крови или пряди волос можно было бы установить, каковы его умственные достоинства. Тогда мы могли бы составить дифференцированные списки лиц, пригодных

для исполнения разного рода функций в сфере общественной или частной жизни, и не допустили бы, чтобы случайный человек — пусть даже весьма популярный — занимал правительственную должность, не значась в соответствующем списке. На нижней ступени этой шкалы помещались бы лица, пригодные для деятельности в приходском совете, а на верхней — люди, способные возглавлять министерство иностранных дел или министерство финансов. В настоящее время на высшую ступень могло бы претендовать не более двух десятых процента населения. Если бы все это удалось провести в жизнь, нам не надо было бы опасаться, что на должность почтальона попадет человек, не умеющий ни читать, ни писать. Круг рекомендуемых кандидатов, очевидно, при этом существенно сократился бы — но к чему мне свобода парламентских выборов, если выбирать всякий раз приходится из кучи пустозвонов и ослов? Пусть мне предложат двух, но компетентных кандидатов — выбор между ними реально обеспечит разумную меру контроля. Голосование и подсчет голосов должны быть при этом полностью механизированы: мне достаточно будет связаться по телефону с соответствующим учреждением, нажать на кнопку и предоставить все остальное машинам.

Что же нам остается делать, пока открытие американского доктора не получило желаемого завершения? Да жить, как жили до сих пор — с тем правительством, которое порождено нашей системой. Некоторые реформы можно провести и без помощи научных открытий. Парламент в его теперешнем виде безнадежно устарел и к современному государству находится примерно в том же отношении, что галера времен Юлия Цезаря к трансатлантическому лайнеру. На Британских островах необходимо создать два-три добавочных законодательных органа, которые работали бы по системе местных органов управления, а не по парламентской партийной системе. Для координации работы на местах необходима централизованная власть. Следует отменить мелкие внутригосударственные границы, явно отжившие свой век, а органы местного самоуправления следует укрупнить, приведя их в соответствие с достижениями последних лет в области коммуникации и кооперации. Следует обеспечить эффективную работу Британского содружества, а также поставить на твердую основу всю международную деятельность Британии, осуществляемую через посредство Лиги Наций или иными путями; функции кабинета министров следует пересмотреть. Надо безжалостно искоренить всякого рода псевдодемократические, косные процедуры нашего политического аппарата и подойти к общей проблеме упра-

вления с позитивных позиций, вскрыв наконец вопиющее различие между истинным самоуправлением и пресловутым национальным суверенитетом, бессмысленным в силу своей анархической природы.

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что даже после того как будет сделано все возможное для усовершенствования нашей системы управления, судьба цивилизации все равно будет зависеть от совести правителей и управляемых. От природы у нас может быть доброе сердце, но недостатки нашего воспитания сказываются в том, что мы полны предрассудков, снобизма и мелкого антиобщественного честолюбия. Не пора ли нам начать учить своих детей быть лучшими гражданами, чем мы? Пока что мы за это еще не принялись, но зато принялись русские. Вот вам мое последнее слово. Об этом стоит поразмыслить».

* * *

На этом я позволю себе закончить свою радиоречь о демократии и перейти к вопросу об акционерном обществе «Ремонт». Как всякий социалист, знающий толк в своем деле, я необыкновенно остро ощущаю, сколько зла проистекает из парадоксального положения, при котором процветающий у нас частный капитал наживается на разрушении, опустошении и страдании. В самом деле, фирмы, производящие оружие, богатеют на войне, стекольщики преуспевают, если бьются оконные стекла; хирурги добывают своим детям пропитание, оперируя раковых больных, винокуры и пивовары жертвуют на строительство соборов, освящая тем самым барыши, нажитые на спаивании ближних, словом, благоденствие богача оборачивается жестокими лишениями для сотни Лазарей.

Самим названием выведенного в моей пьесе акционерного общества я обязан знакомству с ныне покойным Альфредом Ориком Гетти, человеком поистине гениальным, которого поначалу я знал только как драматурга. Он обладал беспокойным характером и страдал — или вернее, как показало дальнейшее, был одарен от природы — хронической гиперэстезией, то есть чувствовал все необычайно сильно и проявлял свои чувства столь же бурно, порою просто вулканически. Уже после первых встреч у меня создалось впечатление, что недостаток хладнокровия помешает ему преуспеть в драматургии. На несколько лет я потерял его из виду, и, услышав, что он сделал необыкновенно важное изобретение, я просто не поверил и решил, что речь идет о каком-нибудь утопическом проекте. Наш общий друг Генри Мэррей был так раздосадован моим неверием, что

ради него я согласился лично обследовать это знаменитое изобретение — при условии, что Гетти пообещает вести себя разумно. Такое обещание он дал и неукоснительно выполнил — во время осмотра он держался с большим достоинством и не проронил ни слова, предоставив своему помощнику-инженеру давать по ходу дела все необходимые пояснения, сам же ограничился тем, что прочитал краткое резюме, из которого следовало, что принятие его проекта высвободит из промышленности такое количество людей, какого как раз недостает британской армии для решительной победы над Центральными Империями, с которыми в то время шла война.

Поначалу я отнесся к идее обследования весьма скептически. Наш друг упоминал о «мастерских», но мне не верилось, чтобы у Гетти могли быть какие-то мастерские — разве что в его горячечном мозгу. В разговоре была упомянута и «компания». Это уже больше смахивало на правду: компанию может создать кто угодно, хотя ее финансовая база внушала мне серьезные сомнения. Я, однако, покорился своей участи и дал себя отвезти в Бэтерси, где и в самом деле обнаружились мастерские с табличкой над входом гласившей, что здесь помещается «Новая транспортная акционерная компания». Оказалось, что внутри смонтирован отрезок двухколейной железной дороги с железнодорожной платформой. Все это выглядело весьма внушительно. Правда, вместо станционной будки на платформе был только стол с электрическими кнопками. На обеих колеях стояло по вагонетке с плоским стальным верхом. Демонстрация изобретения началась с того, что на одну из вагонеток водрузили кресло и усадили в него меня. Затем у моих ног поставили стакан, до краев наполненный водой. Я даже отдаленно не мог вообразить, для чего мне вода и вообще что здесь готовится; кресло наводило на мысль об электрическом стуле, и я начал нервничать. Гетти с величественным видом уселся за стол на платформе и занес руку над кнопками. Разъяснив, что чудо произойдет в момент, когда моя вагонетка поравняется со второй, идущей ей навстречу, он спросил, хочу ли я, чтобы эксперимент состоялся при первой же встрече вагонеток или попозже, и желаю ли я затем повторить этот опыт и в какой последовательности. К тому времени мне было уже все равно; я ответил, что чем скорее, тем лучше. Вагонетки тронулись с места, и в тот момент, когда встречная вагонетка поравнялась с моей, я, как по волшебству, перенесся на нее вместе с креслом — непролитый стакан стоял у моих ног!

Конец этой истории трагикомичен. Когда я стал извиняться перед Гетти (а я действительно чувствовал себя вино-

ватым, поскольку раньше недооценивал его) и признался, что я и не подозревал, какой он замечательный инженер, считая его заурядным любителем, не имеющим профессиональной подготовки, он ответил, что он действительно не профессионал, как не был профессионалом и сэр Кристофер Рен. Волею обстоятельств он оказался связанным с какой-то фирмой, производившей осветительные приборы, и пришел в ужас, увидев, какое чудовищное количество электрических лампочек разбивается в ящиках при погрузке — еще до перевозки их к месту назначения на грузовиках и по железной дороге. Необходимо было разработать новый метод транспортировки, при котором путь упаковочного ящика от фабричного помещения до кузова грузовика и от кузова грузовика до складского лифта исключил бы бой лампочек от ударов, тряски или неосторожного обращения. Гетти, изобретатель по призванию (хотя сам он ошибочно полагал своим призванием драматургию), без особых усилий решил эту техническую проблему и предложил своим соотечественникам эффективный способ экономии труда — и лампочек. Но соотечественники, вместо того чтобы встретить его с распростертыми объятиями как всеобщего благодетеля, натравили на него компанию «Ремонт». Рабочие-стеклодувы, опасающиеся остаться без места; владельцы многочисленных мастерских по ремонту товарных вагонов (тут уместно напомнить, что при каждой остановке товарного поезда состав сотрясает не менее ста пятидесяти сильнейших толчков,— это могут подтвердить люди, имеющие несчастье жить по соседству с железной дорогой); наконец, станционные грузчики, которые швыряют ящики как попало, бьют лампочки, калечат тару и при этом нередко калечатся сами,— все они увидели в Гетти врага рода человеческого, разорителя домашних очагов и погубителя невинных младенцев Он сражался отважно, но одолеть их ему не удалось. Сроки его патентов вскоре истекли, и он умер непризнанным — как раз в то время, когда весь мир поднимал на щит Неизвестных Солдат и сооружал им надгробные памятники. «Тележка с яблоками» — пока что единственное надгробие, которого удостоился Гетти; но поскольку пьеса не названа его именем, я решил написать о нем в предисловии, надеясь, что рано или поздно имя Гетти займет заслуженное место в почетном списке славных сынов Англии.

Я не буду вводить читателей в заблуждение и не стану утверждать, что Гетти был человеком покладистым или что он вел себя с противниками дипломатично, делая скидку на бюрократическую косность и отсутствие воображения,— ведь чиновники, с которыми он сталкивался, не участвовали, как я,

в эксперименте с вагонетками и потому вполне могли записать его в утописты (категория людей, внушающая особый страх правительственным чиновникам), а следовательно, упустили из виду самое важное — то, что он был гениальным изобретателем. Как многие одержимые люди, он никак не мог взять в толк, почему то, что так ясно ему самому, не кажется столь же очевидным всем другим; ему легче было заподозрить человека в продажности, чем в тупости. Однажды, после того как я долго корил его за недостаток дипломатичности, он принес и не без гордости показал мне письмо, которое собирался отправить в министерство торговли. О существе его изобретения письмо умалчивало, а начиналось оно приблизительно так «Сэр! Если вы честный человек, вы не станете отрицать тот факт, что позорная практика распределения постов в муниципальном совете между вышедшими в отставку сотрудниками министерства торговли относится к числу самых безобразных злоупотреблений, порожденных нашим развращенным веком». Что и говорить, нелегко министерству торговли найти общий язык с изобретателем, который вместо того, чтобы предлагать им новые машины, предлагал им осознать собственную несостоятельность и незамедлительно заняться самоупразднением.

Последний раз мы виделись, когда он зашел ко мне поделиться своим новым замыслом — по его словам, гораздо более важным, чем усовершенствование погрузочно-разгрузочных работ. Действительно, он рассказал мне массу интересного. Начал он с очень образного описания речных пиратов, которыми до сооружения доков кишела Темза — вниз по течению от Лондонского моста. Я узнал заодно, что лондонские доки первоначально служили не товарной пристанью, а чем-то вроде крепости, где суда с грузами могли укрыться от пиратов. Далее он заявил, что в настоящее время баснословно ценные земельные участки, на которых построены доки, используются нерационально и всю работу доков следует организовать по-новому. Тут же он показал мне план пирса, который можно соорудить в середине русла Темзы, связав его посредством железных и шоссейных дорог с морским побережьем и главными магистралями страны. Суда смогут причаливать к пирсу, и с помощью простой системы лебедок грузы из трюмов будут подниматься и перемещаться (как я вместе с креслом) непосредственно на грузовики или в товарные вагоны — без участия человеческих рук, что даст надежную гарантию от повреждений. План этот был так совершенен и при всей его технической сложности так прост, так убедительно практичен и так ценен в социальном отношении, что я принял его всерьез и стал вслух размышлять, какие шаги

можно предпринять, чтобы заинтересовать им влиятельных людей. И я немало удивился, когда лицо моего собеседника приняло разочарованное, а потом и негодующее выражение.

— Вы, очевидно, не совсем меня поняли,— сказал он.— Всю эту техническую петрушку я показал вам просто для иллюстрации. А посоветоваться я пришел вовсе не об этом, а о мелодраме, которую я хочу написать. Время действия — семнадцатый век, место действия — лондонская заводь, как раз там и водились пираты.

Ну что поделаешь с таким человеком? Он был искренне изумлен, когда я рассмеялся, и простился со мной, далеко не убежденный, что его проект, благодаря которому территория доков сможет использоваться для застройки, существенно ускорится проход судов по Темзе, сэкономится масса опасной черной работы, а портовый грузчик с грошовым заработком превратится в высокооплачиваемого электрика, короче, что этот его проект — дело несравненно более важное, чем какая-то смехотворная мелодрама. Он не оспаривал моих доводов, но я видел, что душа его больше лежит к мелодраме.

Поскольку было ясно, что официальным путем ему ничего не добиться — чиновники корчились от его оскорблений и были уязвлены полным отсутствием почтения к сильным мира сего, да к тому же они, как и все наши правительственные учреждения, были связаны по рукам и ногам финансовыми обязательствами перед компанией «Ремонт»,— я уговорил нескольких более независимых общественных деятелей прокатиться в вагонетках Гетти и удостовериться, что они реально существуют и действуют. Здесь снова напрашивается параллель между Гетти и его знаменитым предшественником, сэром Кристофером Реном. Рену мало было заново спроектировать и перестроить собор святого Павла — он хотел перестроить весь Лондон. Сама по себе это была прекрасная мысль, и потери, которые мы понесли, не дав ему осуществить свой замысел, неисчислимы. Точно так же Гетти мало было усовершенствовать погрузочные работы на железной дороге: он не пожелал бы с вами разговаривать, если бы у вас не хватило широты ума понять срочнейшую необходимость построить на Фарингдон-Маркет новое здание Центральной расчетной палаты и соединить его со всеми железными дорогами страны при помощи широкой системы туннелей. Он был безусловно прав: огромная сумма, в которую обошелся бы нам проект Гетти, бледнеет по сравнению с убытками, которые мы уже понесли, работая по старинке. Правда, в то время еще шла война, и не было ни сил, ни средств для воплощения этого смелого плана. Расчетная пала-

та, так же как и пирс на Темзе, осталась на бумаге, а Гетти лежит в могиле. Но я считал и продолжаю считать, что есть нечто поистине великое в человеке, который не только создал эти проекты в своем воображении, но подробно разработал их техническую основу и, не утратив мужества, когда его планы были отвергнуты, воскликнул «Пропади пропадом вся эта техническая мура — лишь бы пьеса получилась, хоть плохонькая!»

Надеюсь, что рассказанная здесь история поможет читателю понять, какие реальные обстоятельства легли в основу изображения в моей пьесе акционерного общества «Ремонт» и чем вызвана отчаянная речь госпожи министра энергетики. До тех пор пока это общество само не пойдет на слом, оно не прекратит поставлять нам материал и не перестанет служить нам уроком

Эйот-Сент-Лоренс,
март 1930 г.

Приемная в королевском дворце. Справа и слева — два письменных стола, поставленные таким образом, что между ними остается много свободного места. Перед каждым столом кресло для посетителей. Посредине задней стены — дверь. Часы показывают начало двенадцатого; видно по освещению, что дело происходит ясным солнечным утром. Сампроний, щеголеватый и еще сравнительно молодой, сидит в профиль к зрителю за столом слева и разбирает королевскую почту. Памфилий, более пожилой, сидит за столом справа, тоже профилем к зрителю, и, откинувшись в кресле, читает утреннюю газету, которую он взял из лежащей перед ним объемистой пачки. Некоторое время оба молча занимаются своим делом. Затем Памфилий откладывает газету и, пристально поглядев на Сампрония, начинает разговор.

Памфилий. Кем был ваш отец?

Сампроний *(удивленный)*. А?

Памфилий. Кем был ваш отец?

Сампроний. Мой отец?

Памфилий. Да. Кем он был?

Сампроний. Ритуалистом.

Памфилий. Не о том речь. Меня не интересует его религия. Меня интересует его профессия и его политические взгляды.

Сампроний. Он был ритуалист по профессии, ритуалист в политике, ритуалист в религии — неистовый, страстный, твердолобый ритуалист с головы до ног.

Памфилий. Иными словами, он принадлежал к духовенству?

Сампроний. Ничего подобного. Его специальностью была организация парадных зрелищ. Он устраивал церемониальные карнавальные шествия, торжества по поводу избрания лорд-мэра, военные смотры, массовые процессии и тому подобное. Он был распорядителем двух последних коронаций. Благодаря этому я и получил место во дворце. Все члены королевского дома отлично его знали: он ведь находился за кулисами, вместе с ними.

Памфилий. Находился за кулисами и тем не менее верил в реальность королей!

Семпроний. Да вот, представьте. Верил от всей души.

Памфилий. Несмотря на то, что он сам изготовлял их?

Семпроний. Именно. Что ж, по-вашему, пекарь, который сам выпекает священные облатки, не может искренне верить в святое причастие?

Памфилий. Никогда не задумывался над этим.

Семпроний. Мой отец мог бы зарабатывать миллионы в театре или в кино, но он об этом и слышать не хотел, потому что на сцене и на экране изображается то, чего на самом деле никогда не было. Он еще мог согласиться на постановку крестин Елизаветы в «Генрихе VIII» Шекспира, поскольку они действительно происходили когда-то. И потом тут все-таки празднество в честь царственной особы. Но оформлять какой-нибудь романтический вымысел — это уж нет, ни за какие деньги.

Памфилий. А вы никогда не спрашивали, что он в глубине души обо всем этом думает? Хотя едва ли: отцу не задают вопросов личного свойства.

Семпроний. Дорогой Пам, мой отец вообще никогда не думал. Он даже не знал, что значит думать. Впрочем, это мало кто знает. Он умел смотреть — да, да, попросту смотреть обоими глазами; и у него было своеобразно ограниченное воображение. Понимаете, он не способен был вообразить то, чего никогда не видел; но уж то, что он видел, легко становилось в его воображении и божественным, и священным, и всеведущим, и всемогущим, и непреходящим, и наделенным всеми самыми невероятными качествами,— было бы только блеску побольше да погромче звучал бы орган или гремела медь полковых оркестров.

Памфилий. Вы хотите сказать, что он жил только впечатлениями, полученными извне?

Семпроний. Совершенно верно. Он никогда не узнал бы никаких чувств, если б в детстве ему не пришлось любить родителей, а в зрелых годах — жену и детей. Он никогда не приобрел бы никаких знаний, если бы его не обучили кое-чему в школе. Он не умел сам себя занять и должен был платить кучу денег разным людям, которые занимали его играми и развлечениями такого сорта, что я бы, кажется, сбежал в монастырь, только бы спастись от них. Все это, так сказать, входило в ритуал; он каждую зиму ездил на Ривьеру, точно так же как каждое воскресенье ходил в церковь.

Памфилий. А кстати, он жив еще? Я бы хотел с ним познакомиться.

Семпроний. Он умер в тысяча девятьсот шестьдесят втором году, от одиночества.

Памфилий. То есть как это от одиночества?

Семпроний. Он не мог ни минуты оставаться один; это для него было смертельно. Ему требовалось, чтобы вокруг него всегда были люди.

Памфилий. Вот как! Это очень приятная, очень трогательная черта! Значит, что-то настоящее в нем все же было.

Семпроний. Ни в малой степени. Он никогда не разговаривал со своими знакомыми. Он только играл с ними в карты. Обмениваться мыслями у них было не в обычае.

Памфилий. Чудаковатый, видно, был старик.

Семпроний. Не настолько, чтобы это бросалось в глаза. Таких, как он, миллионы.

Памфилий. Но как все-таки случилось, что он умер от одиночества? Уж не угодил ли он в тюрьму?

Семпроний. Нет. Его яхта наткнулась на риф и затонула где-то к северу от Шотландии; ему удалось выплыть, и его прибило к необитаемому острову. Все его спутники погибли, и прошло целых три недели, прежде чем его подобрали. За это время бедняга успел впасть в тихое помешательство, от которого так и не оправился, — просто из-за того, что ему не с кем было сыграть в карты, некуда было пойти в воскресенье к обедне.

Памфилий. Дорогой мой Сем, на необитаемом острове не страдают от одиночества. Помню, еще в детстве матушка ставила меня на стол и заставляла читать наизусть стихи на эту тему. *(Декламирует.)*

Лежать у волн, сидеть на крутизне,
Уйти, мечтая, в дикие просторы,
Где жизнь вольна в безлюдной тишине,
Куда ничьи не проникали взоры,
По козьим тропкам забираться в горы,
Где грозен шум летящих в бездну вод,
Подслушивать стихий мятежных споры, —
Нет, одиноким быть не может тот,
Чей дух с природою один язык найдет.

Семпроний. А вот это-то и было в моем отце самое удивительное. Все, что называется природой, — ну там лесная тишь и тому подобное — для него не существовало. Только искусственное оказывало действие на его чувства. Природа всегда казалась ему нагой; а нагота вызывала

в нем отвращение. Он бы и не взглянул на лошадь, мирно пасущуюся на лугу; но та же самая лошадь в роскошном чепраке и сбруе, гарцующая под всадником на параде, могла привести его в восхищение. То же и с людьми: он попросту не замечал их, если они не были разодеты в пух и прах, набелены, нарумянены, украшены париками и титулами. Святость духовной особы заключалась для него в пышности облачения, красота женщины — в роскоши ее наряда и блеске драгоценностей; сельскому ландшафту придавали прелесть в его глазах не холмы и рощи, не синий дымок, зимним вечером вьющийся над хижинами, а храмы, дворцы, беседки, узорные ограды парков и портики загородных вилл. Представьте же, каким ужасным местом должен был показаться ему этот остров! Пустыня! Он там чувствовал себя глухим, слепым, немым и беспомощным! Встреться ему хоть павлин во всем великолепии своего распущенного хвоста, это могло бы спасти его рассудок; но из птиц там водились только чайки, а в чайках нет ничего декоративного. Наш король мог бы провести на этом острове тридцать лет, живя лишь собственными мыслями. Вам для полного благоденствия понадобилась бы только удочка, мяч и набор клюшек для гольфа. Я, подобно посетителю картинной галереи, наслаждался бы зрелищем восходов и закатов, сменой времен года, вечным чудом постоянно обновляющейся жизни. Разве можно соскучиться, глядя, как сбегают ручьи с гор? Но мой отец умудрился сойти с ума среди красот природы, потому что для него они были лишены смысла. Говорят, там, где ничего нет, король теряет власть. Моему отцу пришлось убедиться, что там, где ничего нет, человек теряет разум и гибнет.

Памфилий. Позвольте к этому добавить, что здесь, во дворце, если королевская почта не разобрана к двенадцати часам дня, секретарь теряет место.

Семпроний *(поспешно принимаясь за работу)*. В самом деле, какого черта вы меня заставили разболтаться, когда я еще не кончил своей работы? Вам-то хорошо: все, что от вас требуется, это делать вид, будто вы прочитываете за короля все газеты; и если вы ему скажете: «Ваше величество, сегодня ничего интересного», он ответит только: «Слава богу!» А вот мне стоит пропустить какую-нибудь записку от одной из королевских тетушек, набивающейся на приглашение к чаю, или письмецо от Оринтии Возлюбленной с пометкой «совершенно секретно; его ве-

личеству в собственные руки» — и уже не оберешься неприятностей. Вчера на его имя пришло шесть любовных писем; а когда я ему доложил об этом, ответ был: «Снесите их королеве». Он воображает, что ей очень интересно читать эти письма. А я уверен, что они ей так же осточертели, как и мне.

Памфилий. А письма Оринтии тоже передаются королеве?

Семпроний. Что вы, боже упаси! Даже я не читаю писем Оринтии. Правда, по инструкции мне полагается читать все, но эти письма я всегда предусмотрительно забываю вскрыть. И что-то ни разу еще не получал выговора за свою небрежность.

Памфилий *(задумчиво)*. Я полагаю...

Семпроний. Придержите язык, Пам. Я никогда не справлюсь, если вы не замолчите.

Памфилий. Я только хотел сказать, что я полагаю...

Семпроний. Что-нибудь насчет Оринтии? Отставить! Не советую вам изощряться в предположениях на эту тему, а то смотрите, как бы *вам* не потерять место, старина.

Памфилий. Не вступайтесь за Оринтию раньше, чем ее обидят, молодой человек. Я хотел сказать вот что: я предполагаю, вам известно, что этот горлопан Боэнерджес только что введен в состав кабинета в качестве министра торговли и сегодня должен явиться сюда, во дворец, чтобы выложить королю свои соображения, — или то, что он считает своими соображениями, — по поводу правительственного кризиса.

Семпроний. А что королю правительственный кризис? С тех пор как он взошел на трон, у нас каждые два месяца правительственный кризис, но он всегда отлично с ними справляется. Он даст Боэнерджесу накричаться вволю, а потом возьмет и вывернет его наизнанку.

Входит Боэнерджес, в косоворотке на русский лад и в кепке, которую он, войдя, не снимает. Это пятидесятилетний мужчина массивного сложения, напористо самоуверенный.

Боэнерджес. Эй, послушайте! У нас с королем была назначена встреча на без четверти двенадцать. Долго мне еще дожидаться?

Семпроний *(с обворожительной любезностью)*. Доброе утро. Если не ошибаюсь, мистер Боэнерджес?

Боэнерджес *(ворчливо, но чуть-чуть растерявшись)*. Ну,

доброе утро. Говорят, вежливость – это точность королей...

Семпроний. Как раз наоборот, мистер Боэнерджес: точность – это вежливость королей, и король Магнус может служить образцом в этом отношении. По всей вероятности, его величеству просто не доложили о том, что вы здесь. Я сейчас все улажу. *(Поспешно уходит.)*

Памфилий. Присаживайтесь, мистер Боэнерджес.

Боэнерджес *(садится в кресло у стола Памфилия)*. Хорошенькая компания нахальных молокососов у вас тут подобралась, мистер... э... э?..

Памфилий. Меня зовут Памфилий.

Боэнерджес. А, да; я слышал про вас. Вы один из личных секретарей короля.

Памфилий. Совершенно верно. А чем провинились перед вами наши молокососы, мистер Боэнерджес?

Боэнерджес. Ну как же! Я там одному велел пойти сказать королю, что я пришел, да поживее. А он уставился на меня, словно дрессированного слона увидел, потом пошептался с другим таким же холуем и смылся куда-то. Тогда подходит ко мне этот другой и спрашивает, как обо мне доложить,– притворяется, понимаете ли, что он меня не знает! «Голубчик! – говорю я ему.– Это вас можно не знать, а меня не знать нельзя. Вы знаете, кто я такой, так же хорошо, как я сам это знаю. Ступайте и скажите королю, что я здесь и жду его. Понятно?» Он это проглотил и тоже смылся. Я ждал, ждал, пока мне не надоело, потом толкнул первую попавшуюся дверь и вот очутился здесь.

Памфилий. Ах, бездельники! Ну ничего, мой друг мистер Семпроний сейчас все устроит.

Боэнерджес. А, так этот, что тут сидел, это Семпроний? Про него я тоже слышал.

Памфилий. Да вы, как видно, обо всех слыхали. Это вам поможет освоиться во дворце теперь, когда вы сделались членом кабинета министров. Кстати, разрешите поздравить вас с вашим назначением – хотя, пожалуй, мне скорей следовало бы поздравить с этим кабинет!

Семпроний *(вернувшись)*. Король! *(Отходит к своему столу и берется за кресло, готовясь поставить его туда, куда укажет король.)*

Памфилий встает. Боэнерджес, не вставая, поворачивается лицом к двери. Входит король Магнус, высо-

кий, интеллигентного вида джентльмен лет сорока пяти; он быстрым шагом проходит через всю комнату и, остановившись перед Боэнерджесом, приветливо протягивает ему руку.

Магнус. Рад видеть вас в моем маленьком дворце, мистер Боэнерджес. Садитесь, пожалуйста.

Боэнерджес. А я и так сижу.

Магнус. Да, верно, мистер Боэнерджес. Я как-то не заметил. Прошу извинить меня — сила привычки, знаете ли. *(Знаком указывает Семпронию, что желает сесть рядом с Боэнерджесом, справа.)*

Семпроний ставит кресло на указанное место.

Вы позволите мне сесть?

Боэнерджес. Садитесь, милейший, садитесь. Вы у себя дома; а церемонии мне ни к чему.

Магнус *(с чувством)*. Благодарю вас.

Король садится. Памфилий садится. Семпроний проходит к своему месту за столом и тоже садится.

Мне весьма приятно наконец познакомиться с вами, мистер Боэнерджес. Я с интересом слежу за вашей карьерой уже двадцать пять лет — с тех пор, как вы первый раз выставляли свою кандидатуру в Нортгемптоне.

Боэнерджес *(самодовольно и доверчиво)*. Еще бы, король Магнус! Я таки вас ошарашил разочек-другой, а?

Магнус *(улыбаясь)*. Ваш голос заставлял сотрясаться основания трона гораздо чаще.

Боэнерджес *(кивком головы указывая на секретарей)*. А что, эти двое так и будут тут сидеть? И все слушать, о чем бы ни говорилось?

Магнус. Это мои личные секретари. Вас смущает их присутствие?

Боэнерджес. Меня-то ничего не смущает. По мне, так наш разговор может происходить хоть посреди Трафальгарской площади или даже передаваться по радио.

Магнус. Это было бы прекрасное развлечение для моих подданных, мистер Боэнерджес. Жаль, что мы не подумали об этом раньше.

Боэнерджес *(значительно и с некоторой угрозой)*. Да, но отдаете ли вы себе отчет в том, что я собираюсь говорить вам такие вещи, какие еще никогда не говорились королям?

Магнус. Заранее благодарен вам, мистер Боэнерджес. Все то, что обычно говорится королям, я, пожалуй, уже слышал. Так что мне будет очень приятно услышать кое-что новенькое.

Боэнерджес. Должен вас предупредить, что ничего приятного вы не услышите. Я человек простой, Магнус, без всяких там красот.

Магнус. Нет, почему же... уверяю вас...

Боэнерджес *(с возмущением)*. Я вовсе не о своей наружности говорю!

Магнус *(веско)*. И я тоже. Не обманывайте себя, мистер Боэнерджес. Вы отнюдь не простой человек. Для меня лично вы всегда оставались загадкой.

Боэнерджес *(он удивлен и чрезвычайно польщен; настолько, что не может сдержать самодовольной улыбки)*. Что ж, пожалуй, во мне и в самом деле есть кой-что загадочное. Пожалуй, что так.

Магнус *(смиренно)*. Как бы мне хотелось разгадать вас, мистер Боэнерджес. Но я не обладаю вашей проницательностью. Так что попрошу уж вас говорить со мной прямо.

Боэнерджес *(окончательно убежденный в своем превосходстве)*. Это насчет правительственного кризиса? Ну что ж, я затем сюда и пришел, чтобы говорить прямо. И первое, что я вам прямо скажу, — это что страной должны управлять не вы, а ваши министры.

Магнус. Я им только буду признателен, если они избавят меня от этой весьма хлопотливой и неблагодарной обязанности.

Боэнерджес. А это вовсе и не ваша обязанность. Это обязанность ваших министров. Вы всего лишь конституционный монарх. Знаете, как это называют в Бельгии?

Магнус. Если не ошибаюсь — каучуковый штемпель. Так?

Боэнерджес. Именно так, король Магнус. Каучуковый штемпель — вот что вы такое, и не забывайте об этом.

Магнус. Да... Вот чем нам обоим частенько приходится быть, и вам и мне.

Боэнерджес *(оскорбленный)*. То есть как это — и вам и мне?

Магнус. Нам подают бумагу. Мы ставим свою подпись. Еще вам хорошо: вы подписываете не читая. А я вот должен все читать. И бывает, что я не согласен, но все равно приходится подписывать: тут уж ничего не поделаешь. Взять хотя бы смертные приговоры. Мало того

что подписываешь смертные приговоры тем, кого, по-твоему, казнить не следует, но еще и не можешь приговорить к смерти многих, кого, по-твоему, давно пора казнить.

Боэнерджес *(язвительно)*. А вам небось хотелось бы самому говорить: «Отрубить ему голову!»

Магнус. Есть много людей, которые даже и не заметили бы, что лишились головы,— настолько невелико ее содержимое. Но все же казнить человека — дело нешуточное; так по крайней мере самоуверенно воображают те, кому предстоит казнь. Мне лично кажется, что если бы встал вопрос о моей казни...

Боэнерджес *(зловеще)*. А что ж, может и встать когда-нибудь. Я слышал такие разговоры.

Магнус. Вполне допускаю. Я не забыл о голове короля Карла Первого. Но надеюсь, что в этом случае вопрос будут решать живые люди, а не каучуковые штемпели.

Боэнерджес. Его будет решать ваш министр внутренних дел, член законного демократического правительства.

Магнус. Такой же каучуковый штемпель!

Боэнерджес. Сейчас, может быть. Но когда министром внутренних дел стану я — дудки! Никому не удастся превратить в каучуковый штемпель Билла Боэнерджеса, ручаюсь вам.

Магнус. Ну, разумеется, разумеется. А ведь забавно, до чего люди склонны идеализировать своих властителей. Когда-то, в старые времена, король почитался богом — бедняга! Его и называли богом и поклонялись ему, как существу всеведущему и непогрешимому. Ужасно...

Боэнерджес. Не ужасно, а глупо; просто глупо.

Магнус. Но, пожалуй, не глупей, чем наша отговорка, будто бы он всего лишь каучуковый штемпель, а? Божественный император Древнего Рима не обладал ни безграничной мудростью, ни безграничными знаниями, ни безграничной властью; но кое-что он смыслил, знал и мог, пожалуй, даже не меньше, чем его министры. Это был живой человек, а не неодушевленный предмет. Кто смел приблизиться к королю или министру, взять его со стола и приложить к бумаге, как берут и прикладывают предмет из дерева, металла и резины? А вот несменяемые чиновники вашего министерства будут норовить именно так обращаться с вами. И девятнадцать раз из двадцати вы это стерпите, потому что вы не можете все знать; а если бы вы даже и знали все, то во всяком слу-

чае не могли бы сами все делать и всюду поспевать. Но что случится на двадцатый раз?

Боэнерджес. На двадцатый раз они увидят, что имеют дело с Биллом Боэнерджесом.

Магнус. Вот именно. Теория каучукового штемпеля не оправдается, мистер Боэнерджес. Старая теория о божественной природе королевской власти оправдывалась, потому что в любом из нас есть божественная искра; и даже самый глупый, самый незадачливый король или министр — бог не бог, а какое-то подобие бога, потуга на божественность, пусть даже очень отдаленное подобие и очень слабенькая потуга. А вот теория каучукового штемпеля всегда в критический момент оказывается несостоятельной, потому что короли и министры — это не штемпели, а живые души.

Боэнерджес. Ах, вот как? Короли, оказывается, еще верят в существование души!

Магнус. Я пользуюсь этим термином для удобства — он краток и привычен. Но если вы не хотите, чтобы вас называли живой душой, можно назвать и иначе: скажем, одушевленной материей — в отличие от неодушевленной.

Боэнерджес *(не слишком довольный этим предложением)*. Да нет уж, если вам непременно нужно меня как-нибудь называть, называйте лучше живой душой. А то это выходит, как будто во мне самое главное — мясо. Положим, мяса во мне многовато, это я и сам знаю: доктор говорит, что не мешало бы сбросить фунтов пятнадцать-двадцать; но все ж таки есть и еще кое-что. Называйте это душой, если угодно, только не в каком-нибудь там сверхъестественном смысле, понимаете?

Магнус. Превосходно. Так вот, видите, мистер Боэнерджес, хотя наша беседа длится всего каких-нибудь десять минут, вы уже втянули меня в спор на отвлеченные темы. Разве это не доказывает, что мы с вами не просто парочка каучуковых штемпелей? Вы ориентируетесь на мои умственные способности, как бы скромны они ни были.

Боэнерджес. А вы — на мои.

Магнус *(любезно)*. Без всякого сомнения.

Боэнерджес *(подмигивая)*. Как бы скромны они ни были, а?

Магнус. Подобную оговорку я могу делать только в отношении самого себя. Кроме того, вы достаточно проявили свои способности. Заурядный человек не мог бы достигнуть таких высот, каких достигли вы. Я стал королем

лишь потому, что я племянник своего дяди, и еще потому, что оба моих старших брата умерли. Будь я самый безнадежный идиот во всей Англии, я все равно стал бы королем. Мое положение – не моя личная заслуга. Если бы я родился, как вы, под... под...

Боэнерджес. Под забором. Договаривайте, не стесняйтесь. Да, меня подобрал полисмен у подножия статуи капитана Корема. А полисменова бабушка, дай ей бог здоровья, усыновила меня и воспитала.

Магнус. Воображаю, что бы вышло из *меня*, если бы я был воспитан полисменовой бабушкой!

Боэнерджес. Да, вот то-то же. Хотя что-нибудь, может, и вышло бы. Вы человек неглупый, Магнус, говорю вам по совести.

Магнус. Вы мне льстите!

Боэнерджес. Чтобы я льстил королю?! Никогда! От Билла Боэнерджеса вы этого не дождетесь.

Магнус. Полно, полно. Королю льстят все. Но не все обладают вашим тактом и – если позволите сказать – вашим добросердечием.

Боэнерджес *(сияя самодовольством)*. Пожалуй, вы правы. Но не забывайте, что я все-таки республиканец.

Магнус. Должен сказать, что меня это всегда удивляло. Неужели вам не кажется, что человеку не подобает такая полнота власти, какой облечены президенты республиканских государств? Ведь им всякий честолюбивый король позавидует.

Боэнерджес. Вы это о чем? Я что-то не понимаю.

Магнус *(улыбаясь)*. Меня не проведете, мистер Боэнерджес. Я знаю, почему вы республиканец. Если английский народ вздумает прогнать меня и учредить республику, у вас больше, чем у кого-либо, шансов стать первым английским президентом.

Боэнерджес *(чуть ли не краснея)*. Ну, разве?

Магнус. Полно, полно. Вы сами это не хуже меня знаете. Так вот, если это произойдет, у вас будет в десять раз больше власти, чем когда-либо было у меня.

Боэнерджес *(с сомнением)*. Как же это может быть? Вы ведь король.

Магнус. А что такое король? Идол, созданный кучкой плутократов, чтобы им удобнее было управлять страной, пользуясь королем как марионеткой и козлом отпущения. А президентов избирает народ, которому нужна Сильная Личность, способная защитить его от богачей.

Боэнерджес. Что ж, я сам вроде Сильная Личность и потому скажу, что какая-то доля правды тут есть. Но признайтесь по совести, Магнус, неужто вы бы лучше хотели быть президентом, чем тем, что вы есть?

Магнус. Я этого не говорил; а если бы я сказал, вы бы мне не поверили — и были бы правы. Понимаете, мое положение удобно тем, что оно прочно и надежно.

Боэнерджес. Хороша надежность! Вы же сами недавно признались, что даже такая скромная особа, как я, не один раз заставляла шататься ваш трон.

Магнус. Совершенно верно. Вы правы, напоминая мне об этом. Я знаю, что монархии в любую минуту может прийти конец. Но пока она существует — заметьте, *пока* она существует, — мое положение прочно. Я избавлен от противной, развращающей предвыборной возни. Мне не нужно угождать избирателям. Министры приходят и уходят; я же всегда остаюсь на месте. Ужасная непрочность вашего положения...

Боэнерджес. То есть как? Почему это мое положение непрочно?

Магнус. Вас могут провалить на выборах. Ведь вы прошли в парламент в качестве представителя тред-юнионов, не так ли? Теперь вообразите, что Федерация рабочих гидроэлектростанций от вас отказалась, — что тогда?

Боэнерджес *(уверенно)*. Никогда они от меня не откажутся. Вы не знаете рабочих, Магнус; вы ведь сами никогда не были рабочим.

Магнус приподнимает брови.

(Продолжая свою мысль.) Ни один король на свете не сидит так крепко на своем месте, как функционер тред-юниона. Есть только одна причина, по которой функционера могут уволить, — пьянство. И то уж если он совсем на ногах не держится. Я толкую членам тред-юниона о демократии. Я им объясняю, что им дано право голоса и что их есть царствие, и сила, и слава. Я им говорю: «Ваша власть, используйте ее». Они говорят: «Правильно; укажи, что нам делать». Я и указываю. Я им говорю: «Используйте свое право голоса самым разумным образом: голосуйте за меня». И они голосуют. Вот это и есть демократия — самый лучший способ посадить кого нужно куда нужно....

Магнус. Великолепно! Никогда не слыхал лучшего объясне-

ния. У вас светлая голова, мистер Боэнерджес. Вам бы следовало написать книгу о демократии. Вот только...

Боэнерджес. Что «только»?..

Магнус. Вдруг откуда-нибудь появится человек, который способен перекричать вас. Болван, пустомеля, выскочка, но – набивший себе руку в разных предвыборных трюках, рассчитанных на обман масс.

Боэнерджес. Вы имеете в виду Айки Джекобуса? Так ведь он болтун, и только. *(Прищелкнув пальцами.)* Вот – большего он не стоит!

Магнус. Я никогда не слыхал о мистере Джекобусе. Но вы напрасно говорите «болтун, и только». Болтуны серьезные соперники, когда речь идет о популярности у масс. Массы понимают тех, кто занимается болтовней. Тех, кто занимается делом, они не понимают. Я имею в виду то дело, которым заняты мы с вами, – работу мысли.

Боэнерджес. Это верно. Но я умею болтать не хуже Айки. Даже лучше.

Магнус. Счастливец! У вас все козыри на руках. Я вот не обладаю вашими способностями, а потому я очень доволен, что Айки не может сбросить меня с трона, поскольку я племянник своего дяди.

В комнату бурно врывается молодая особа, одетая для прогулки.

Молодая особа. Папа! Я никак не найду адрес...

Магнус *(перебивая ее)*. Нет, нет, нет, дорогая моя! Только не сейчас. Уходи, пожалуйста. Ты же видишь: я занят важным разговором с министром торговли. Уж вы извините мою своенравную дочку, мистер Боэнерджес. Позвольте вас познакомить. Моя старшая дочь Алиса. Дорогая, это мистер Боэнерджес.

Алиса. Как! Вы тот самый великий Боэнерджес?

Боэнерджес *(встает, зарумянившись от удовольствия)*. Ну, я-то себя так не называю, понятно. Но вроде это название, как говорится, в ходу. Очень рад познакомиться с наследной принцессой.

Пожимают друг другу руки.

Алиса. Что это за гадость на вас надета, мистер Боэнерджес?

Магнус *(укоризненно)*. Дорогая моя!..

Алиса *(не обращая внимания)*. Не могу же я выйти на прогулку с человеком в таком костюме. *(Указывает на косоворотку.)*

Боэнерджес. Это мундир Труда, ваше королевское высочество, я горжусь им.

Алиса. Слыхали, слыхали, мистер Боэнерджес. Но вам он вовсе не к лицу, этот мундир. На вас только взглянуть, так сразу видно, что вы по своей природе принадлежите к правящему классу.

Боэнерджес *(пораженный ее словами)*. В известном смысле — может быть. Но было время, когда я кормился своим трудом. Правда, я не простой рабочий. Я квалифицированный механик, вернее — был квалифицированным механиком до того, как Англия призвала меня руководить ею.

Магнус *(Алисе)*. Дорогая моя, ты прервала чрезвычайно интересную беседу, в которой лично для меня было очень много поучительного. Теперь уж нам не удастся продолжить эту беседу, мистер Боэнерджес; придется мне идти искать то, что понадобилось моей дочери, хоть я, грешным делом, подозреваю, что ее привело сюда просто желание посмотреть на моего замечательного нового министра. Но мы еще увидимся; вы, вероятно, знаете, что премьер-министр должен прибыть сюда сегодня вместе с несколькими коллегами,— включая, надеюсь, и вас,— чтобы обсудить вопрос о правительственном кризисе. *(Берет Алису под руку и поворачивается к дверям.)* Вы меня извините?

Боэнерджес *(любезно)*. Пожалуйста, пожалуйста.

Король и принцесса уходят, по-видимому очень довольные.

(Семпронию и Памфилию.) Нет, что ни говори, а король неглуп. Особенно если умеешь к нему подойти.

Памфилий. Разумеется, тут все зависит от подхода.

Боэнерджес. И девушка ничего, не слишком избалована. Мне приятно было в этом убедиться. Она как будто и не знает о том, что она наследная принцесса.

Семпроний. Было бы странно, если б она вздумала держаться заносчиво с таким человеком, как вы.

Боэнерджес. Как? Разве она не всегда такая?

Семпроний. Еще бы! Далеко не каждый встречает у нее такой прием. Надеюсь, вы удовлетворены результатами своего посещения?

Боэнерджес. Что ж, я как будто сумел показать Магнусу, что к чему. Вы не находите?

Семпроний. Он, во всяком случае, остался доволен. Вы умеете обходиться с людьми, господин министр.

Боэнерджес. Пожалуй, что так. Пожалуй, что так.

Входят шеренгой пятеро министров, сверкая шитьем парадных мундиров. Посредине идет Протей — премьер-министр; по левую его руку — министр финансов Плиний, миролюбивый и добродушный, и министр иностранных дел Никобар, ехидный и придирчивый; по правую руку — министр колоний Крассус, немолодой и опасливый, и министр внутренних дел Бальбус, грубый и бесцеремонный.

Бальбус. Мать честная! Поглядите-ка на Билла! *(Боэнерджесу.)* Беги скорей домой, старик, да оденься поприличнее.

Никобар. Вы, видно, забыли, где вы находитесь.

Крассус. Вы, видно, забыли, кто вы такой.

Плиний *(щупая его косоворотку)*. Где вы это купили, Билл?

Боэнерджес *(ощерившись на них, как затравленный медведь)*. Если уж на то пошло, так это вы все, видно, забыли, кто вы такие!

Протей *(примирительно)*. Не обращайте на них внимания, Билл; им просто досадно, что они сами до этого не додумались. Ну, как вы тут сошлись с королем?

Боэнерджес. Так, что лучше некуда, Джо. Короля вы предоставьте мне. У меня к нему правильный подход. Если б я на три месяца раньше вошел в кабинет, не было бы никакого кризиса.

Никобар. Надо думать, он у вас все выпытал?

Боэнерджес. Что это значит — выпытал? Что тут, полицейский участок?

Плиний. В этом дворце умеют не только выпытывать, но и пытать, голубчик. *(Памфилию.)* А хозяйка тоже помогала?

Памфилий. Нет, но заходила принцесса Алиса. Министр торговли произвел на нее большое впечатление.

Все оглушительно хохочут.

Боэнерджес. Что вы тут, черт побери, нашли смешного?

Протей. Не обращайте на них внимания, Билл. Они просто рады подразнить новичка. Ну, друзья, повеселились, и хватит; займемся делом. *(Берет кресло, в котором сидел король.)*

Семпроний и Памфилий поспешно встают и уходят, захватив с собой часть своих бумаг. Плиний усаживается в кресло Боэнерджеса, Бальбус занимает место Семпрония, Боэнерджес — место Памфилия, а Никобар и Крассус берут кресла, стоящие у стены, и придвигают их к письменным столам, один слева, другой справа от премьер-министра.

Итак, для начала я хочу задать вам вопрос: отдаете ли вы себе отчет в том, что хотя на последних выборах мы разбили в пух и прах прочие партии и уже три года находимся у власти, все это время страной управляет король?

Никобар. Я этого не считаю. Мы...

Протей *(нетерпеливо)*. Ах, ну тогда, ради бога, или подавайте в отставку и не мешайте людям, которые умеют взглянуть фактам в лицо, или садитесь на мое место и руководите нашей партией вместо меня.

Никобар. Вся ваша беда в том, что вы никак не можете уразуметь один факт: что быть премьер-министром еще не значит быть господом богом. Король делает только то, что мы ему советуем. Как он может управлять страной, если вся власть у нас, а у него никакой власти нет?

Боэнерджес. Не говорите глупостей, Ник. Теория каучукового штемпеля ничего не стоит. Где это видано, чтобы можно было подойти к королю или министру, взять его со стола и приложить к бумаге, как прикладывают предмет из дерева, металла и резины? Король — живой человек; и вы тоже, со всеми вашими премудрыми советами.

Плиний. Хо-хо, Билл! Вам, я вижу, кто-то основательно вправил мозги.

Боэнерджес. Почему это? Разве я не говорил всегда то же самое?

Протей *(окончательно теряя терпение)*. Да перестаньте же вы, наконец, пререкаться! Что мы скажем королю, когда он придет? Если вы будете держаться дружно и говорить одно и то же — или, еще лучше, говорить буду я один,— ему придется уступить. Но помните, он хитер как бес. У него найдется, чем подковырнуть каждого из вас. Если вы начнете ссориться, и браниться, и кричать все зараз — а ему только того и надо,— дело кончится, как всегда, тем, что он поставит на своем, потому что один умный человек, который знает, чего хочет, легко перешибет десятерых дураков, которые не знают, чего хотят.

Плиний. Возьмите себя в руки, премьер-министр. У вас нервы сдают.

Протей. Тут и с ума сойти недолго. Прошу извинить меня.

Плиний *(желая переменить разговор)*. А где Манди?

Никобар. И Лиззи?

Протей. Опаздывают, как всегда. Ну, за дело, друзья, за дело, за дело!

Боэнерджес *(громовым голосом)*. К порядку, к порядку!

Протей. Король восстанавливает против нас прессу. Король произносит речи. Дальше так идти не может. Вчера, на открытии нового здания Торговой палаты, он заявил, что право королевского вето – последняя защита народа против продажных законодателей.

Боэнерджес. И правильно, черт побери! Какая ж у него еще есть защита? Демократия? Пфа! Знаем мы, чего стоит демократия. Сильная Личность – вот что нам требуется.

Никобар *(с издевкой)*. Вроде вас, например.

Боэнерджес. Уж во всяком случае, если б у нас была республика и народ мог выбирать свободно, я имел бы больше шансов, чем вы. И позвольте вам сказать, что президент республики могущественнее короля, потому что народ знает: только Сильная Личность по-настоящему защитит его от гнета богачей.

Протей *(в отчаянии откидывается на спинку кресла)*. Еще того не легче. Две лейбористские газеты вышли сегодня утром с передовицами в поддержку короля; а теперь оказывается, что новый член кабинета – королевский приспешник. Я подаю в отставку!

Все в смятении, исключая Никобара, всем своим видом показывающего, что его это нимало не трогает, и Боэнерджеса, который выпрямляется в кресле с каменной физиономией.

Плиний, Бальбус, Крассус *(вместе)*. Нет, нет, Джо! Пожалуйста, не надо! Как? Сейчас? Не можете. Не имеете права. Что вы, что вы! Об этом и речи быть не может.

Протей. Уговоры бесполезны. *(Вставая.)* Подаю в отставку, и никаких. Черт с вами со всеми! Я лишился здоровья, я едва не лишился рассудка, стараясь сплотить кабинет воедино перед лицом такого коварного врага, какого еще не знало ни одно народное правительство. Хватит с меня. *(Снова садится.)* Подаю в отставку.

Крассус. Но не в такой же острый момент, как сейчас. Во время переправы лошадей не меняют.

Никобар. Можно и переменить, если лошадь задурила.

Боэнерджес. Особенно когда она не одна в упряжке.

Протей. Вот, вот, вот! Совершенно верно. Садитесь на мое место, Ник. Вакансия открыта, Билл. Желаю вам успеха.

Плиний. Ну, ну, ну, ребята! Уймитесь. Мы же не можем до прихода Магнуса сформировать новый кабинет. Что там у вас в кармане, Джо? Давайте это сюда. Прочтите им.

Протей *(вынимает из кармана бумагу)*. Я предлагаю — а там как хотите, можете не соглашаться — предъявить Магнусу ультиматум.

Крассус. Отлично!

Протей. Или он подпишет эту бумагу, или...

Многозначительная пауза.

Никобар. Или что?

Протей *(возмущенно)*. Нет, я от вас с ума сойду!

Никобар. Так вы ведь уже сошли, по вашим собственным словам. А я только спрашиваю, что будет, если он откажется подписать ваш ультиматум?

Протей. Называете себя членом кабинета министров и не можете ответить на такой вопрос!

Никобар. Нет, не могу. И требую, чтобы на него ответили вы. Вы сказали: или он подпишет, или... Я спрашиваю: что «или»?

Протей. Или мы все уйдем в отставку и скажем народу, что мы не можем управлять страной от имени короля, когда наш авторитет подрывают.

Бальбус. Ну, дело верное. Тут уж ему не отвертеться.

Крассус. Да, этим мы его припрем к стене.

Протей. Значит, предложение принято?

Плиний
Крассус
Бальбус } *(вместе)*. Да, да, да! Принято, принято, принято.

Боэнерджес. Я пока воздерживаюсь. Читайте ваш ультиматум.

Никобар. Да, да, читайте.

Протей. Проект соглашения между...

Входит король, а вместе с ним Аманда — министр связи, жизнерадостная дама в мундире, и Лизистрата — министр энергетики, степенная дама в академической мантии. Все встают. Премьер-министр мрачнеет.

Магнус. Добро пожаловать, джентльмены. Надеюсь, я не слишком рано? *(Заметив надутую физиономию премьер-министра.)* Я не помешал?

Протей. Я протестую. Это недопустимо. Я созываю экстренное совещание кабинета для выработки позиции в вопросе о прерогативе, а обе наши дамы, министр связи и министр энергетики, вместо того чтобы быть на своем посту и совещаться со мной, ведут в это время приватные переговоры с вашим величеством.

Лизистрата. Не вмешивайтесь не в свое дело, Джо.

Магнус. Нет, нет, дорогая Лизистрата, пожалуйста, не становитесь на такую точку зрения. Это наше прямое дело — вмешиваться в чужие дела. Такова уж профессия премьер-министра. И короля тоже.

Лизистрата. Что ж, если верно говорят, что кто чужими делами занимается, тот своих не делает, так для Джо это самая подходящая профессия. *(Берется за кресло, стоящее у стены, одним махом перебрасывает его к столу Семпрония и становится рядом, дожидаясь, когда сядет король.)*

Протей. Вот, не угодно ли? И это приходится сносить человеку, у которого уже началось нервное расстройство! *(В изнеможении опускается в кресло и закрывает лицо руками.)*

Аманда *(подходит к нему и ласково треплет по плечу)*. Ну, ну, Джо, не устраивайте сцен. Честное слово, вы сами виноваты.

Никобар. Конечно, незачем было раздражать Лиззи. Вы же знаете ее характер.

Лизистрата. Мой характер здесь совершенно ни при чем. Просто я не намерена терпеть кривляния Джо; и чем скорее он это уразумеет, тем лучше у нас пойдет работа.

Боэнерджес. Я протестую. Давайте, знаете ли, держаться с бóльшим достоинством. Давайте, знаете ли, уважать друг друга и уважать короля. Что это за Билл, Ник, Джо, Лиззи? Можно подумать, что мы сидим где-нибудь в кабачке за бутылкой пива. Премьер-министр — это премьер-министр и никакой не Джо. Министр энергетики — никакая не Лиззи, а Ли-зи-стра-та.

Лизистрата. Глупости, Билл. Говорите «Лиззи»; произносить легче.

Магнус *(ласково)*. Леди и джентльмены, прошу садиться.

Боэнерджес поспешно вскакивает и тотчас же садится

снова. Король опускается в кресло Плиния, остальные мужчины и Лизистрата рассаживаются по местам, только Плиний и Аманда остаются без места. Аманда подходит к стене, берет по креслу в каждую руку и ставит их рядом, между королем и столом Памфилия.

Аманда. Садитесь, Плин. *(Усаживается ближе к столу.)*

Плиний. Вы душка, Манди. Простите, я должен был сказать «Аманда». *(Садится рядом с королем.)*

Аманда. Ничего, милый, пожалуйста.

Боэнерджес. К порядку, к порядку!

Аманда посылает ему воздушный поцелуй.

Магнус. Премьер-министр, ваше слово. Чему я обязан несравненным удовольствием, которое вы мне доставляете, осуществляя все зараз свое конституционное право доступа к королю?

Лизистрата. А что, разве у меня нет такого права?

Магнус. Безусловно есть.

Лизистрата. Вы слышали, Джо?

Протей. Я...

Бальбус. Да не спорьте вы с ней, ради бога, Джо! Так мы никогда не сдвинемся с места. Давайте говорить о кризисе.

Никобар, Крассус, Плиний *(вместе)*. Да, да, о кризисе! Да, да, давайте! С кризиса и начинайте!

Бальбус. Где у вас ультиматум? Предъявляйте ультиматум.

Магнус. Ах, вот как, ультиматум? Из вчерашних вечерних газет я узнал, что назрел правительственный кризис — очередной правительственный кризис. Но ультиматум — это что-то новенькое. *(Протею.)* Вы хотите предъявить мне ультиматум?

Протей. Вчерашняя речь вашего величества, в которой вы упомянули о королевском вето, явилась каплей, переполнившей чашу.

Магнус. Пожалуй, это было несколько неделикатно. Но беда в том, что ваши постоянные упоминания о правах — о главенстве парламента, о голосе народа и тому подобное — совершенно отучили меня даже от той незначительной деликатности, которая мне была присуща. Если вам можно метать громы и молнии, почему бы мне в кои-то веки не пальнуть из своего игрушечного пистолета?

Никобар. Такими вещами не шутят...

Магнус *(торопливо, перебивая его)*. Я шутить и не собираюсь, мистер Никобар. Но мне действительно хотелось бы, чтобы мы обсудили наши разногласия в мирном, дружеском тоне. Или вы предпочитаете, чтоб я вышел из себя, устроил сцену?

Аманда. Нет уж, пожалуйста, ваше величество. Хватит с нас сцен, которые устраивает Джо...

Протей. Я про...

Магнус *(предостерегающе кладет премьер-министру руку на плечо)*. Берегитесь, премьер-министр, берегитесь, не поддавайтесь на провокации, — ведь ваш коварный министр связи хочет заставить вас свидетельствовать против самого себя.

Все прочие смеются.

Протей *(хладнокровно)*. Благодарю за предостережение, ваше величество. Министр связи до сих пор не может простить мне, что я не назначил ее морским министром. У нее три племянника во флоте.

Аманда. Ах, вы... *(Проглатывает эпитет и ограничивается тем, что грозит премьер-министру кулаком.)*

Магнус. Чш... чш... чш!.. Спокойно, Аманда, спокойно. Прекрасные молодые люди все трое, они вам делают честь.

Аманда. Я вовсе и не хотела, чтобы они шли в морскую службу. Могла отлично пристроить их по почтовой части.

Магнус. Если оставить в стороне семейные дела Аманды, можно считать, что я имею дело с единодушным кабинетом?

Плиний. Нет, сэр. Вы имеете дело с кабинетом, раздираемым склоками; но в конституционных вопросах мы единодушны, так как знаем, что в единении наша сила.

Бальбус. Именно.

Никобар. Правильно! Правильно!

Магнус. О каких конституционных вопросах идет речь? Вы что, отказываетесь признавать право королевского вето? Или только возражаете против того, что я напомнил своим подданным о его существовании?

Никобар. Мы хотим сказать, что король не должен напоминать своим подданным ни о каких конституционных правах иначе, как с ведома премьер-министра, и в выражениях, предварительно проконтролированных и одобренных премьер-министром.

Магнус. Но каким премьер-министром? В вашем кабинете их много.

Боэнерджес. Вот! Так вам всем и надо! Небось стыдно стало? А меня это ничуть и не удивляет, Джозеф Протей. Я прямо говорю: если ты премьер-министр, так умей быть премьер-министром. Почему вы всякий раз позволяете им перехватывать у вас слово?

Протей. Если его величеству угодно иметь кабинет из бессловесных манекенов — моя партия для этого не годится.

Бальбус. Правильно, правильно, Джо!

Магнус. Боже упаси! Нет ничего интересней и поучительней, чем разнообразие точек зрения среди министров. Так кто же сегодня будет говорить от имени кабинета?

Протей. Мне известно мнение вашего величества обо мне, но позвольте...

Магнус *(перебивая)*. Позвольте мне высказать это мнение со всей откровенностью. Вот оно: я считаю, что нет человека, который бы лучше знал, когда нужно говорить самому, а когда позволять другим говорить за себя; когда устраивать истерики и грозить уйти в отставку, а когда сохранять невозмутимое спокойствие.

Протей *(не совсем недовольный этой характеристикой)*. Что ж, сэр, пожалуй, я и в самом деле не так глуп, как считают некоторые глупцы. Может быть, я не всегда умею совладать со своими чувствами, но если б вы знали, какой напор чувств мне порой приходится выдерживать, вас бы это не удивляло. *(Выпрямляется и продолжает с ораторским пафосом.)* В данный момент, ваше величество, речь идет не о моих чувствах, а о чувствах всего моего кабинета, которые мне надлежит вам выразить. То, что говорили здесь министр иностранных дел, министр финансов и министр внутренних дел,— совершенно верно. Если мы призваны управлять страной от вашего имени, мы не можем допустить, чтобы вы произносили речи, отражающие не нашу точку зрения, а вашу собственную. Мы не можем допустить, чтобы вы создавали впечатление, будто всякое законодательное мероприятие, имеющее какой-либо смысл, исходит не от нас, а от вас. Мы не можем допустить, чтобы вы внушали народу, будто единственной его защитой против политических происков крупного капитала служит ваше право вето, а мы только занимаемся склоками и головотяпством. С этим нужно покончить раз и навсегда.

Бальбус
Никобар } *(вместе)*. Правильно! Правильно!

Протей. Вопрос ясен?

Магнус. Я сам не рискнул бы высказаться яснее, мистер Протей. Вот только одна маленькая подробность. Как понимать «с этим нужно покончить»? Значит ли это, что отныне я должен соглашаться с вами, или что вы должны соглашаться со мной?

Протей. Это значит, что если вы с нами не согласны, то вы должны держать свое несогласие при себе.

Магнус. Вы меня ставите в очень затруднительное положение. А вдруг я увижу, что вы завели страну на край пропасти, — что же, я не могу предостеречь своих подданных?

Бальбус. Это наш долг — предостерегать их, а не ваш.

Магнус. Но, предположим, вы не выполняете своего долга? Предположим, вы сами не замечаете опасности? Бывали такие случаи. И, наверно, будут еще.

Крассус *(вкрадчиво)*. Мне кажется, мы, как демократы, должны исходить из предположения, что таких случаев быть не может.

Боэнерджес. Чушь! Они были и будут, пока не найдется человек, у которого хватит пороху положить этому конец.

Крассус. Да, да, я понимаю. Но как же демократия?

Боэнерджес. Подите вы с вашей демократией... *(Не договаривает.)* Я тридцать лет имею дело с демократией, как и большинство из вас. Этим все сказано.

Бальбус. Если вы хотите знать мое мнение — вся беда в том, что заработная плата слишком высока. Сейчас у нас каждый может заработать от пяти до двадцати фунтов в неделю, а если он безработный, то получает солидное пособие. А какой англичанин станет интересоваться политикой, пока он в состоянии иметь свой автомобиль?

Никобар. Сколько избирателей участвовало в последних выборах? Не больше семи процентов.

Бальбус. Да и эти семь процентов — горстка простачков, которых выборы занимали как игра. Для демократии, о которой хлопочет Крассус, нужны лишения, нищета.

Протей *(с пафосом)*. А мы покончили с лишениями и нищетой. Именно поэтому мы пользуемся доверием народа. *(Королю.)* И именно поэтому вам придется уступить нашим требованиям. Мы опираемся на английский народ — народ, который живет в довольстве, спокойной, обеспеченной буржуазной жизнью.

Магнус. Неправда; вовсе не мы покончили с лишениями и нищетой. Это сделали наши дельцы, представители крупного капитала. Но как им это удалось? А вот как: они стали вывозить капитал за границу, туда, где еще существуют нищета и лишения, — иными словами, туда, где дешев труд. За счет прибылей с этого капитала мы и живем в довольстве. Все мы теперь — леди и джентльмены.

Никобар. И прекрасно. Чего ж вам еще надо?

Плиний. Вы словно попрекаете нас, сэр, тем, что страна процветает!

Магнус. Я не хочу, чтобы это процветание оказалось кратковременным.

Никобар. А почему оно должно оказаться кратковременным? *(Встает.)* Скажите лучше прямо: вам было бы приятнее знать, что народ бедствует, и разыгрывать из себя его защитника и спасителя, чем быть вынужденным признать, что народу живется лучше при нашем правительстве — правительстве склочников и головотяпов, как вы изволили выразиться.

Магнус. Это не я так выразился, это премьер-министр.

Никобар. Не передергивайте; он только цитировал подкупленную вами прессу. Суть дела в том, что мы стоим за высокую заработную плату, а вы постоянно нападаете на тех, из чьего кармана она идет. Ну, а избирателям нравится получать высокую заработную плату. Они отлично понимают, что для них хорошо; а вот чем вы недовольны, они не понимают, и потому все ваши попытки натравить их на нас ни к чему не приведут. *(Садится на место.)*

Плиний. Ну, ну, Ник, зачем так напирать на это? Все мы тут добрые друзья. Никто не возражает против того, чтобы страна процветала.

Магнус. А вы уверены, что она будет процветать и впредь?

Никобар. Еще бы!

Плиний. Помилуйте, сэр! Что это вы?

Бальбус. Уверены ли мы! Да возьмите хоть мой избирательный округ — северо-восточный Бирмингам. Четыре квадратные мили одних кондитерских фабрик! Известно ли вам, что по производству рождественских конфет-хлопушек Бирмингам может считаться кузницей мира?

Крассус. А Гейтсхед и Мидлсборо! Известно ли вам, что за последние пять лет в тех местах забыли, что такое безработица, и что выпуск шоколадной помадки достигает там двадцати тысяч тонн в день?

Магнус. Приятно, конечно, сознавать, что, в случае мирной блокады со стороны Лиги Наций, мы целых три недели можем продержаться, питаясь шоколадной помадкой отечественного производства.

Никобар. Тут нет ничего смешного. Мы не одни конфеты выпускаем, но и более солидную продукцию. Где вы найдете клюшки для гольфа лучше английских?

Бальбус. А производство фарфора? Посуда марки Дерби, марки Челси! А ковроткацкая промышленность! Ведь изделия гринвичских фабрик совсем вытеснили с рынка французские гобелены.

Крассус. Не забывайте о наших гоночных яхтах и автомобилях, сэр,— лучшие модели на свете, и притом выпуск только по особому заказу. Дешевой серийной продукцией не занимаемся!

Плиний. А наше животноводство! Английские пони для игры в поло — лучшие в мире!

Аманда. А английские горничные? На всех международных конкурсах красоты они выходят победительницами.

Плиний. Ах, Манди, Манди! Нельзя ли без пошлостей?

Магнус. Боюсь, что английские горничные — единственная реальная статья в активе вашего баланса.

Аманда *(торжественно)*. Ага! *(Плинию.)* Шли бы вы домой спать, дедушка, да перед сном подумали бы над тем, что сказал его величество.

Протей. Так как же, сэр? Убедились вы, что на нашей стороне самый высокооплачиваемый пролетариат в мире?

Магнус *(серьезно)*. Я опасаюсь революции.

Все мужчины встречают эти слова оглушительным хохотом.

Боэнерджес. Ну, тут уж я должен присоединиться к остальным, сэр. Насчет шоколадных помадок я вполне согласен с вами: у меня от них желудок портится. Но революция — в Англии!!! Выкиньте это из головы, сэр. Этого не будет, хотя бы вы изорвали в клочья Великую хартию вольностей на глазах у всего Лондона или вздумали сжечь на костре всех до одного членов палаты общин.

Магнус. Речь идет не о революции в Англии. Речь идет о тех странах, с которых мы взимаем дань, обеспечивающую наше благополучие. Что, если они вдруг раздумают платить эту дань? Такие случаи бывали.

Плиний. Ни, ни, ни, сэр! Этого быть не может. Ведь им же нужно торговать с нами.

Магнус. Ну, я думаю, они в крайнем случае могут обойтись без рождественских хлопушек.

Крассус. Вы рассуждаете, как ребенок.

Магнус. Дети при всей своей наивности рассуждают иногда очень здраво, господин министр колоний. Когда я вижу, какого рода процветание вы создали, отдав ведущие отрасли нашей промышленности на откуп крупным капиталистам, лишь бы они затыкали вашим избирателям рот высокой зарплатой, — мне кажется, что я сижу на вулкане.

Лизистрата *(до сих пор только слушавшая с бесконечным презрением, вдруг вмешивается в разговор низким замогильным контральто)*. Правильно! Правильно! Мое министерство уже готово было приступить к использованию энергии морского пролива на севере Шотландии и отлично справилось бы с этим делом, а вы, дураки, взяли да и отдали все в руки Пентланд-Форт-Синдиката; и вот теперь, пока мы тут разводим склоки и головотяпство, эта шайка иностранных капиталистов будет наживать миллиарды за народный счет. А все дело обстряпал Крассус. Председатель синдиката — его дядя.

Крассус. Ложь! Бессовестная ложь! Он мне даже не родня. Он всего лишь тесть моего пасынка.

Бальбус. Я требую, чтобы мне разъяснили это выражение — склоки и головотяпство. Слишком уж много раз мы его сегодня слышали. В конце концов, кого тут имеют в виду? Если билль о фабриках — головотяпский билль, я здесь ни при чем. Всем вам известно, что, когда я стал министром, этот билль уже лежал у меня на столе с пометками его величества на полях.

Протей. Хотел бы я знать, долго еще вы будете тут играть на руку его величеству и затруднять мое положение?

Все виновато молчат.

(Продолжает уверенным и авторитетным тоном.) Речь идет сейчас вовсе не о наших способностях или нашем поведении. Его величество не станет заострять этот вопрос, потому что иначе мы будем вынуждены поднять вопрос о нравственности его величества.

Магнус. Что-о?

Бальбус. Браво, Джо!

Крассус *(тихо, Аманде)*. Ага, проняло!

Магнус. Я должен принять эту угрозу всерьез, мистер Протей?

Протей. Если вы попытаетесь осложнить чисто конституи-

ционный вопрос выпадами личного характера, мы в долгу не останемся. В этом поединке перчатка брошена нами, и, следовательно, вам предоставляется выбор оружия. Угодно вам выбрать скандал – отлично, мы будем действовать теми же методами. Впрочем, я лично был бы огорчен таким выбором. Что хорошего, если мы начнем перемывать друг другу косточки у всех на глазах? А вы не стройте себе на этот счет никаких иллюзий. Заявляю вам прямо: я поставлю все точки над i. Вы скажете, что Крассус – взяточник...

Крассус *(вскакивает)*. Я...

Протей *(свирепо наступает на него)*. Сидите смирно. Предоставьте все мне.

Крассус *(садится)*. Я взяточник! Каково?

Протей *(продолжая)*. Вы скажете, что я не должен был вручать портфель министра внутренних дел такому хаму, как Бальбус...

Бальбус *(напуганный участью Крассуса, не может, однако, удержаться от протеста)*. Но послушайте, Джо...

Протей. Молчите, Берт. Тем более что это правда.

Бальбус утихает, беспомощно пожав плечами.

Но к чему это приведет? Не ждите, что мы станем что-либо отрицать, оправдываться, каяться. Как ни ловко подстроена ловушка, мы в нее не попадемся. Просто Крассус при случае назовет вас вольнодумцем. А Бальбус намекнет на ваше распутство в личной жизни.

Все мужское большинство кабинета испускает вздох восторженного изумления.

Вот, король Магнус. Наши карты открыты. Что вы на это скажете?

Магнус. Превосходный маневр! Люди часто удивляются, каким образом вы, находясь в окружении столь незаурядных личностей, продолжаете считаться единственным, кто достоин занимать пост премьер-министра, – несмотря на все ваши истерики и скандалы, вашу уклончивость и вашу сверхъестественную лень...

Бальбус *(злорадно)*. Правильно! Правильно! Вот и вам досталось, Джо!

Магнус *(продолжает)* Но когда наступает решительный час, всякому становится ясно, что вы человек выдающийся.

Протей. Ничего выдающегося во мне нет. Любой член каби-

нета, мужчина ли, женщина ли, справляется со своим делом гораздо лучше, чем справился бы я на его месте. Я занимаю пост премьера потому же, почему занимали его все мои предшественники: потому, что ни на что другое я не годен. Но я умею быть последовательным, когда это мне выгодно. И я сумею заставить вас быть последовательным, сэр, независимо от того, выгодно ли это вам.

Магнус. Во всяком случае, вы не из тех, кто льстит королям. Что ж, в данном случае король только благодарен вам за это.

Протей. Мы с вами прекрасно знаем, сэр, что обычно короли льстят министрам и тем удерживают их в подчинении; а поскольку вы единственный король, уцелевший еще в цивилизованной половине Европы, природа, очевидно, вложила в вас весь тот запас льстивости, который она когда-то распределяла между полудюжиной королей, тремя императорами и одним султаном.

Магнус. Да с какой стати король будет льстить своему подданному?

Аманда. А если это хорошенькая женщина, сэр?

Никобар. А если это богатый человек, а у короля с деньгами туго?

Протей. А если это премьер-министр, и вы не можете обойтись без его совета?

Магнус *(улыбаясь самой своей обворожительной улыбкой)*. Ах, вот тут вы попали в точку. Что ж, видно, приходится сдаваться. Я побежден. Вы все оказались слишком умны для меня.

Боэнерджес. Вот это по-честному, ничего не скажешь.

Плиний *(потирая руки)*. Вы истинный джентльмен, сэр. И мы не станем злоупотреблять своей победой.

Бальбус. Можете рассчитывать на мою дружбу. У меня правило — лежачего не бить.

Крассус. Пусть я даже взяточник, но невеликодушным противником меня никто не назовет.

Боэнерджес *(в неожиданном наплыве чувств, встает и запевает громовым голосом)*.

Забыть ли старую любовь
И дружбу прежних дней...

Аманда разражается неудержимым хохотом. Король смотрит на нее укоризненно, хотя сам с трудом сохраняет серьезность. Остальные понемногу начинают подпевать Боэнерджесу, но тут в бешенстве вскакивает Протей.

Протей. Вы что, пьяны, что ли?

Гробовое молчание. Боэнерджес поспешно садится на место. Прочие певцы усиленно делают вид, что вовсе не сочувствовали вокальным упражнениям Боэнерджеса.

Вы с королем играли в старую игру – кто кого перетянет, и ставка в этой игре – ваше существование. Вам кажется, что вы перетянули. Ничего подобного. Король просто нарочно поддался вам, и вы, потеряв равновесие, полетели вверх тормашками. А он теперь смеется над вами. Посмотрите на него! *(Садится с презрительной гримасой.)*

Магнус *(не пытаясь дольше скрывать свое веселье)*. Аманда, выручайте! Ведь это вы меня рассмешили.

Аманда *(улыбаясь во весь рот)*. Это было нетрудно, сэр. *(Боэнерджесу.)* Билл, как можно быть таким олухом!

Боэнерджес. Ничего не понимаю. Ведь его величество признал свое поражение, и признал, можно сказать, по-хорошему. Почему ж бы нам, одержав верх, не отнестись к этому, как пристало джентльменам?

Магнус. Разрешите мне объяснить. Я весьма ценю то бескорыстное великодушие – я бы сказал, истинно английское великодушие, – с которым вы все приняли мою маленькую уступку; особенно вы, мистер Боэнерджес. Но право же, это не меняет существа дела. Мне и в голову никогда не пришло бы затеять кампанию взаимных попреков и обвинений, о которой тут говорил премьер-министр. Ведь он прав: моя репутация весьма и весьма уязвима. Незапятнанная репутация – недоступная роскошь для короля. В Англии были миллионы безупречных лавочников, но не было ни одного безупречного государя. Мои подданные принадлежат к различным религиозным сектам, которых столько, что и не перечесть. Чтобы управлять беспристрастно и справедливо, сам я не должен входить ни в какую секту; но ведь в глазах сектанта каждый, кто не принадлежит к его секте, – вольнодумец и безбожник. Среди придворных дам есть несколько вполне добродетельных жен и матерей, которые почему-то жаждут, чтобы их считали падшими женщинами. Ради того, чтобы прослыть любовницей короля, любая из них готова на все, кроме разве одного – дать бедному королю приятную возможность подтвердить справедливость ее притязаний. Но есть и другие, которые и в самом деле склонны пренебрегать запретами морали.

Эти так заботятся о своем добром имени, что при всяком удобном случае готовы с возмущением рассказывать, как они отстаивали свою несокрушимую добродетель, на которую, впрочем, никто и не думал посягать. Вот и немудрено, что король всегда считается распутником; а поскольку это, как ни странно, немало способствует его популярности, он и не спорит, чтобы не разочаровывать своих подданных.

Все хмуро молчат. Король оглядывает все лица в тщетной надежде заметить хоть проблеск сочувствия.

Лизистрата *(сурово)*. Мы не можем входить в подробности личной жизни вашего величества.

Аманда громко фыркает. Магнус бросает на нее укоризненный взгляд.

Аманда *(изо всех сил стараясь состроить серьезную мину)*. Простите!

Крассус. Согласитесь, ваше величество, что не одних королей обливают грязью и не к ним одним эта грязь пристает. Стоит любому болвану пустить слух, что такой-то министр взяточник...

Бальбус. Или головотяп.

Крассус. Да, или головотяп,— и, глядишь, все поверили. Взяточничество и бездарность — вот два обвинения, которые особенно крепко пристают к министрам, даже самым бескорыстным и талантливым. И если вы можете утешаться мыслью, что чем сильней ваша репутация подмочена дамами, тем больше вас любит народ, то мы лишены этого преимущества.

Боэнерджес *(вдруг)*. Премьер-министр! Прошу ответить на мой вопрос: почему министр связи все время хихикает?

Аманда. Мы, кажется, живем в свободной стране, Билл. Никому не возбраняется обладать чувством юмора. И потом, меня все время кто-нибудь смешит — не король, так вы.

Боэнерджес. Это шутка? Я ее не понимаю.

Аманда. Если б вы умели понимать шутки, Билл, вы не были бы столь прославленным оратором.

Боэнерджес. Уж во всяком случае я не имею привычки скалить зубы без причины, как некоторые.

Аманда. Вы очень любезны, милый Билл. Послушайте, Джо, не пора ли вам подтянуть нас всех? Где ваш ультиматум?

Магнус *(качая головой)* Изменница!

Протей. Зачем спешить? Все, что говорит его величество, очень поучительно и интересно, а ваша перебранка, как видно, и вам и ему доставляет удовольствие. Но ультиматум при мне; и я не уйду отсюда, пока не получу от его величества письменного заверения в том, что условия этого ультиматума будут соблюдаться.

Всеобщее внимание.

Магнус. А что это за условия?

Протей. Первое: король не произносит больше никаких речей.

Магнус. Как! Даже продиктованных вами?

Протей. Даже продиктованных нами. Ваше величество умеет с таким видом развернуть заготовленный текст и так подмигнуть при этом...

Магнус. Подмигнуть?!

Протей. Вы отлично знаете, о чем я говорю. Самую блестящую речь можно прочитать так, что она будет встречена смехом. Мы уже видели это. Так что отныне — никаких речей.

Магнус. Значит, король должен быть нем?

Протей. Мы не возражаем против всякого рода парадных речей — скажем, при закладке зданий или открытии памятников. Но что касается политики — да, нам нужен немой король.

Плиний *(желая смягчить впечатление)*. Конституционный король.

Протей *(непреклонно)*. Немой король.

Магнус. Гм... Ну, дальше что?

Протей. Второе: прекращается всякий нажим на прессу со стороны дворца.

Магнус. Но вы отлично знаете, что пресса мне не подчинена. Пресса в руках людей, которые гораздо богаче меня, и эти люди не напечатают ни единой строчки себе во вред, даже если материал будет прислан им по моему указанию и за моей собственноручной подписью.

Протей. Это все верно. Однако люди, о которых вы говорите, хоть и богаче вас, но не умнее. Они получают занимательные статейки, приправленные пикантными дворцовыми сплетнями и как будто весьма далекие от политики. А немного спустя оказывается, что акции, на которые они возлагали больше всего надежд, упали на пятнадцать пунктов, что самые многообещающие их начинания не

привлекают капитала, а некоторые серьезнейшие мероприятия, намеченные программой нашей партии, приобретают вид сомнительных махинаций.

Магнус. Что же, по-вашему, эти статьи пишу я?

Никобар. Их пишет ваш клеврет Семпроний. Я его по почерку узнаю.

Крассус. И я тоже. Когда он берется за меня, он всегда начинает фразу словами: «Как это ни странно...»

Плиний *(посмеиваясь)*. Это его фабричное клеймо: «Как это ни странно». Хе-хе!

Магнус. А скажите, для другой стороны ограничения не предусмотрены? Я вот, например, замечал, что в одной газете, которая специализировалась на выпадах против короны, передовая всегда заканчивается фразой, содержащей выражение: «Раз и навсегда». Интересно, чье это фабричное клеймо?

Протей. Мое.

Магнус. Вы откровенны, мистер Протей.

Протей. Я откровенен, когда это мне выгодно. Этот трюк я перенял у вашего величества.

Аманда давится смехом.

Магнус *(с легким упреком)*. Что вы тут нашли смешного, Аманда? Удивляюсь вам.

Аманда. Джо — и откровенность! Когда хочешь знать, что он задумал, нужно спрашивать об этом у вашего величества!

Лизистрата. Очень правильное замечание. Кабинет, который не имеет своей политики! Каждый играет на свой страх и риск.

Никобар. Как в карты.

Бальбус. Только в карты иногда играют с партнером, а среди нас партнеров нет.

Лизистрата. Если не считать Крассуса и Никобара.

Плиний. Браво, Лиззи! Хи-хи-хи!

Никобар. Что вы этим хотите сказать?

Лизистрата. Вы отлично знаете, что я хочу сказать. Когда вы наконец поймете, Никобар, что меня не запугаешь? Я начала свою самостоятельную жизнь школьной учительницей, и я сама могу запугать любого из вас, да и вообще всякого, кто сдуру вздумает со мной в этом состязаться.

Боэнерджес. К порядку! К порядку! Почему премьер-министр допускает эти безобразные личные выпады?

Протей. Они дают мне время подумать, Билл. Вот когда у вас будет такой большой парламентский опыт, как у меня, вы узнаете, что иногда такие помехи бывают кстати. Так разрешите продолжать?

Все молчат.

Его величество желает знать, ограничивает ли ультиматум право использования прессы только для одной стороны. Я верно понял ваш вопрос, сэр?

Магнус кивает головой.

На этот вопрос я должен ответить утвердительно.

Бальбус. Здорово!

Магнус. Есть еще условия?

Протей. Да, еще одно. Больше никаких упоминаний о вето. Это, если угодно, может относиться к обеим сторонам. Вето умерло.

Магнус. Но разве нельзя ссылаться на исторических покойников?

Протей. Нет. Если я лишен возможности брать на себя известные политические обязательства и выполнять их, я не могу управлять от имени короля страной. А чего стоят мои обязательства, когда избирателям каждый день напоминают, что король вправе наложить свое вето на любое решение парламента? Уж не прикажете ли вместо всяких обязательств каждый раз говорить: «Спросите короля»?

Магнус. Но я ведь должен говорить: «Спросите премьер-министра».

Плиний *(утешая его)*. Это и есть конституция, тут уж ничего не поделаешь.

Магнус. Верно. Я упомянул об этом, только чтобы показать, что премьер-министр вовсе не хочет убивать вето. Он только хочет переселить его в соседний дом.

Протей. В соседнем доме живет народ. И на дверной дощечке надпись: «Общественное мнение».

Магнус *(серьезным тоном)*. Очень остроумно, господин премьер-министр. Остроумно, но не верно. Я гораздо больше вас должен считаться с общественным мнением, потому что у вас благодаря широко распространенной вере в демократию всегда есть отговорка, будто бы вы исполняете волю народа,— хотя народ и во сне не видал того, о чем идет речь, а если бы видал, то не понял бы; король же за все свои поступки отвечает сам целиком и пол-

ностью. Демагог хоть коня укради, а король и в окошко чужое не заглядывай.

Лизистрата. Сейчас это уже, пожалуй, не так, сэр. Меня по крайней мере ругают за любые неполадки в моем ведомстве.

Магнус. Так ведь вы тоже настоящий самодержец, Лизистрата! Но предположим, народ давно уже раскусил, что демократия – блеф и что она ведет не к созданию ответственного правительства, а к его отмене; разве вам не ясно, что это значит?

Боэнерджес *(шокированный)*. Тише, тише! Я не могу допускать, чтобы в моем присутствии демократию называли блефом. Простите, ваше величество, но, при всем моем уважении к вам, я это должен прекратить.

Магнус. Мистер Боэнерджес, вы правы, как всегда. Демократия есть нечто вполне реальное, и элементов блефа в ней гораздо меньше, чем во многих более давних общественных установлениях. Но демократия не означает, что страной правит народ; она означает лишь, что и власть и право вето принадлежат теперь не королям и не демагогам, как таковым, а просто всякому, у кого хватит ума захватить то и другое в свои руки.

Лизистрата. Например, вам, сэр?

Магнус. Ну что ж, у меня тоже есть кое-какие шансы. Потому-то я и не считаю себя обязанным принимать ваш ультиматум. Приняв его, я тем самым откажусь от участия в игре. А зачем мне отказываться?

Бальбус. Затем, что вы король, вот зачем.

Магнус. Не вижу связи.

Протей. Когда двое сидят на одной лошади, один должен сидеть сзади.

Лизистрата. Который?

Протей *(резко повернувшись к ней)*. Что вы спросили?

Лизистрата *(терпеливо, но настойчиво, и притом с подчеркнутой обстоятельностью)*. Я спросила: который? Вы сказали, что, когда двое сидят на одной лошади, один должен сидеть сзади. Я спросила: который? *(Поясняя.)* Который из двух должен сидеть сзади?

Аманда. Ну как, Джо, теперь поняли?

Протей. Именно этот вопрос и должен быть здесь сейчас разрешен.

Аманда. «Раз и навсегда».

Все смеются, кроме Протея, который в ярости срывается с места.

Протей. Хватит с меня этого балагана! Лучше быть бездомной собакой, чем премьер-министром в стране, где население умеет относиться серьезно только к двум вещам: к футболу и к закуске. Валяйте, подлизывайтесь к королю; больше от вас нечего ждать. *(Стремглав вылетает из комнаты.)*

Бальбус. Ну вот, допрыгались, Манди! Можете гордиться своими успехами.

Магнус. Собственно говоря, Аманда, вы теперь должны пойти за ним и уговорить его вернуться. Но, видно уж, как всегда, придется мне взять это на себя. Прошу извинить меня, леди и джентльмены.

Король встает. Все остальные тоже встают. Король выходит из комнаты.

Боэнерджес. Я же вам говорил. Я предупреждал, что, если вести себя на совещании с королем, как на общедоступном утреннике, ничего хорошего из этого не получится. Безобразие! *(Бросается снова в кресло.)*

Бальбус. Мы совсем было загнали старую лису в угол; и нужно ж было Аманде своими дурацкими смешками все испортить. *(Садится.)*

Никобар. Что же нам теперь все-таки предпринять?

Аманда *(она неисправима)*. Давайте споем хором. *(Начинает дирижировать обеими руками.)*

Никобар. Ну и ну! *(Садится, насупившись.)*

Аманда, тихонько фыркнув, садится тоже.

Крассус *(задумчиво)*. Ничего, друзья. Джо знает, что делает.

Лизистрата. Можете в этом не сомневаться. Вам простительно, Билл, потому что вы всего только первый день в кабинете. Но остальным пора бы уже знать, что Джо никогда не бесится без задней мысли. Если вы этого не уразумели, значит вы безнадежны. *(Садится с презрительным выражением лица.)*

Боэнерджес *(настолько величественно, насколько это для него возможно)*. Да, сударыня, я, конечно, новичок в вашей среде; но ведь ничто сразу не делается. Готов выслушать любые доводы и согласиться, если они мне покажутся убедительными. Мне лично кажется, что премьер-министр вел совещание весьма умело и решительно и почти довел его до успешного разрешения вопроса. Но вдруг, в припадке ребячьей обиды, он срывает совещание

и уходит, а мы остаемся ни с чем, как дураки. Вы говорите, что он это сделал нарочно. Но какая ему от этого выгода? Объясните.

Лизистрата. А он сейчас обо всем договорится с королем за нашей спиной. Именно этого он всегда и добивается, правдами и неправдами.

Плиний. Признайтесь, Манди, уж не столковались ли вы с ним заранее?

Аманда. А зачем? Джо вовсе не нужно с кем-либо столковываться, он и так может быть уверен, что не тот, так другой из нас сболтнет что-нибудь, что даст ему повод разозлиться и убежать.

Крассус. Что касается меня, леди и джентльмены, то я считаю, что мы свое сделали, а остальное уже дело Джо. Вопрос достиг такой остроты, когда кабинет и король должны решить что-либо одно: да или нет? А в таких случаях самое верное дело – это комиссия из двух человек; лучше этого разве только комиссия из одного. А ведь нас семеро – совсем как в стихотворении Вордсворта.

Лизистрата. Не семеро, а восьмеро.

Крассус. Это все равно; важно, что для решительной схватки слишком много. Двое, если они говорят по существу, стоят восьмерых, болтающих без толку. Итак, мое предложение – сидеть спокойно и ждать, когда Джо вернется и скажет нам, что́ они там решили. А пока, может быть, Аманда споет нам что-нибудь для развлечения. *(Усаживается на прежнее место.)*

Входит король и вместе с ним Протей, у которого довольно мрачный вид. Все встают. Король и Протей молча садятся. Остальные тоже.

Магнус *(чрезвычайно серьезным тоном)*. Премьер-министр любезно согласился продолжить обсуждение наедине со мной, и теперь можно считать вопрос совершенно ясным. Если я откажусь принять ультиматум, кабинет во главе с премьер-министром подаст в отставку и из объяснений, которые будут даны в палате общин, страна узнает, что ей предлагается выбор между конституционным образом правления и самодержавием. Причем должен сказать откровенно, что меня вовсе не устроит, если выбор будет сделан в мою пользу, так как я не могу управлять страной без совета министров, наличие которого дает английскому народу иллюзию самоуправления.

Аманда фыркает.

Крассус *(шепотом)*. Да молчите же вы!

Магнус *(продолжая)*. Естественно, что мне хотелось бы предотвратить конфликт, при котором победа пойдет мне во вред, а поражение сделает меня беспомощным. Но из ваших слов явствует, что единственный путь к этому – согласиться на условия, по которым я становлюсь чем-то вроде министра двора, но не облеченного даже полагающейся тому по чину неограниченной властью над театром. Вы хотите, чтобы я опустился ниже последнего из моих подданных, сохранив одну только привилегию – получить пулю в лоб от какой-нибудь жертвы правительственного произвола, ищущей отмщения в террористическом акте. И как же мне защищаться? Вас много, а я должен бороться в одиночку. Когда-то король мог рассчитывать на поддержку аристократии и просвещенной части буржуазии. Сейчас среди людей, занимающихся политикой, не осталось ни одного аристократа, ни одного представителя свободных профессий, ни одного крупного финансиста или дельца. Все они стали еще богаче, еще могущественнее, приобрели еще больше опыта и знаний. Но никто не хочет тянуть нудную лямку государственного управления, бесконечно трудиться на благо общества – бесконечно, потому что ведь мы не успеваем завершить одно дело, как из него уже выросло десять новых. А благодарности тоже ждать не приходится, так как в девяносто девяти случаях из ста народ попросту не знает о наших трудах, а в сотом негодует, усмотрев в них посягательство на личную свободу или на карман налогоплательщика. Пяти-шести лет государственной деятельности достаточно, чтобы измотать самого крепкого мужчину и даже самую крепкую женщину. Причем обычно эта деятельность почти замирает в то время, когда мы только что вернулись из отпуска и готовы взяться за нее со свежими силами; но зато захлестывает нас бурным потоком в случае какой-либо непредвиденной катастрофы, когда мы уже дошли до полного нервного истощения и нам бы только отдыхать или спать. Да притом не забудьте, что профессия государственного деятеля – единственная в Англии, где еще не изжита потогонная система. Мой цивильный лист обрекает меня на нищенское существование в среде архимиллионеров. Любой делец, отличающийся коммерческими или админи-

страторскими способностями, может заработать в Сити в десять раз больше того, что составляет ваш министерский оклад. История говорит нам, что первый лорд-канцлер, сменивший свое председательское место в палате лордов на кресло директора торговой компании, вызвал бурю удивления в стране. Теперь бы все точно так же удивились, узнав, что человек с его данными вздумал предпочесть это председательское место в качестве трамплина для карьеры хотя бы табурету конторского рассыльного. Наша деятельность уже не вызывает даже уважения. Люди выдающиеся относятся к ней свысока, как к черной работе. Какой великий актер захочет покинуть сцену, какой крупный адвокат откажется от выступлений в суде, какой знаменитый проповедник расстанется с церковной кафедрой ради убогой политической арены, на которой нам приходится сражаться с тупым упорством парламентских фракций и с невежеством избирателей? Ученые не желают иметь с нами ничего общего, потому что воздух политики не тот, которым дышит наука. Даже политическая экономия – наука, решающая судьбы цивилизации, занята только объяснением прошлого, тогда как нам приходится решать проблемы настоящего; она освещает каждый уголок пройденного нами пути, но двигаться вперед мы должны ощупью, в полном мраке. Все умное и талантливое в стране находится на откупе у нетрудового капитала и, пользуясь отравленными деньгами богачей, живет куда лучше, чем мы, отдающие себя служению родине. Политика, некогда служившая центром притяжения для людей одаренных, честолюбивых и склонных к общественной деятельности, теперь сделалась прибежищем кучки любителей митингового ораторства и фракционной борьбы, не находящих для себя иного поприща либо по недостатку средств, способностей или образования, либо же – спешу оговориться – потому, что они не сочувствуют угнетению и несправедливости и гнушаются недобросовестными и лицемерными приемами тех, кто привык торговать своим призванием. История повествует об одном государственном муже благородного происхождения, утверждавшем, что подобные люди вообще не могут управлять страной. Не прошло и года, как жизнь показала, что они справляются с этим делом не хуже всех тех, кто соглашался за него взяться. Тогда-то и начался отход старого правящего класса от политики, приведший в конце концов к тому,

что в любом правительстве, будь оно консервативным или прогрессивным, большинство стало принадлежать той партии, которая во времена этого опрометчивого в суждениях деятеля именовалась «рабочей» или лейбористской. Не поймите меня превратно: я вовсе не хочу, чтобы старый правящий класс снова встал у власти. Он правил настолько своекорыстно, что наверняка загубил бы страну, если бы демократия не оттерла его от политической жизни. Но при всех своих недостатках он по крайней мере не подчинялся тирании народного невежества и народной нищеты. В наши дни один лишь король свободен от этой тирании. Вы подвластны ей целиком, и это очень опасно. Вопреки всем моим доводам и настояниям, вы до сих пор не посмели взять под свой контроль школу и добиться того, чтобы вашим несчастным детям перестали набивать головы предрассудками и суевериями, которые каменной стеной преграждают человечеству путь вперед. Так разумно ли с вашей стороны заставлять и меня так же рабски подчиниться этой тирании, как подчиняетесь вы сами? Если я не останусь свободным от нее, мое существование теряет всякий смысл. Я выступаю за будущее и прошлое, за потомство, которое еще не имеет голоса, и за память предков, которые его никогда не имели. Я выступаю за великие абстрактные ценности: за совесть и честь, за вечное и непреходящее против того, что диктуется злобой дня; за разумное удовлетворение потребностей против хищнического обжорства; за чистоту воззрений, за человечность, за спасение промышленности от торгашества и науки от деляческого духа — за все то, что вы желали бы не меньше меня, но к чему вы не смеете стремиться из страха перед прессой, которая может поднять против нас все силы невежества и мракобесия, легковерия и тупости, простодушия и ханжества, натравить на вас толпу избирателей, разжигая в ней злобные преследовательские инстинкты, и отшвырнуть вас от кормила правления за одно лишь слово, способное встревожить или рассердить авантюристов, держащих прессу в своих руках. Сейчас между вами и этой кучкой деспотов стоит королевский трон. Я выборов не боюсь; а если какой-нибудь газетный магнат посмеет оскорбить меня, то его светская супруга и ожидающие женихов дочки быстро сумеют внушить ему, что королевская немилость все еще равносильна смертному приговору во всех гостиных в районе Сент-Джеймского

дворца. Подумайте только, сколько есть дел, за которые вам нельзя браться! Сколько лиц, которых вы не смеете задевать? А ведь король, если он не робкого десятка, может все это делать за вас. Королевские плечи способны выдержать тяжесть ноши, которая вам переломила бы спинной хребет. Но для этого нужно, чтобы король был королем, а не марионеткой. За марионетку вам придется отвечать, не забывайте об этом. А до тех пор, пока при вашей поддержке король остается самостоятельным и независимым элементом государственного устройства, он для вас очень удобный козел отпущения, когда мы проводим какие-либо разумные законодательные мероприятия, то вся заслуга приписывается вам, а когда мы противимся требованиям невежественной черни, то все недовольство отводится на меня. Прошу вас, прежде чем сделать решительный ход и покончить со мной, подумайте, каково вам придется без меня. Подумайте хорошенько; ведь победа, которая вам обеспечена, если вы будете настаивать на своем, для вас опаснее поражения.

Лизистрата. Бесподобно!

Аманда. Сэр, этой речью вы превзошли самого себя.

Бальбус *(ворчливо)*. Все это прекрасно; но что скажет мой шурин Майк?

Лизистрата *(вне себя)*. А ну его к черту, вашего шурина Майка!

Боэнерджес. К порядку, к порядку!

Лизистрата. Прошу извинить меня, ваше величество; но право же, в такую минуту... *(Теряется, не находя слов.)*

Магнус *(Бальбусу)*. Если бы не я, мистер Бальбус, ваш шурин был бы членом кабинета, несмотря на все старания премьер-министра.

Бальбус *(вызывающе)*. А почему бы ему и не быть членом кабинета?

Аманда. Грешки, Бальби, грешки мешают. Насчет выпивона слаб!

Бальбус *(задиристо)*. Кто это говорит?

Аманда. Я говорю, миленький.

Бальбус *(более миролюбивым тоном)*. А вот если хотите знать, так Майк пьет меньше меня.

Аманда. На вас это не так заметно, Берт!

Плиний. Майк не умеет остановиться вовремя.

Крассус. Для него остановиться вовремя — это значит не начинать.

Лизистрата *(порывисто)*. Какие вы все свиньи — вы, муж-

чины! Король предложил нам на разрешение серьезнейший принципиальный вопрос, а вы вместо этого пускаетесь в спор о том, сколько может выпить пьянчужка, который, когда на него найдет, готов пить не только чистый виски, как Бальбус, но и денатурат, и бензин, и все, что под руку попадется.

Бальбус. Лизистрата права. Какая разница, что и сколько пьет Майк? Какая разница вообще, пьет он или нет? Если б Майк был членом кабинета, это только укрепило бы правительство, потому что Майк представляет Ремонтный трест, крупнейшую промышленную корпорацию в Англии.

Лизистрата *(дав волю своему негодованию)*. Вот, вот! Ремонтный трест! В нем все дело! Выслушайте меня, сэр, и тогда вы поймете, почему я так близко принимаю к сердцу все то, о чем вы говорили. Я — министр энергетики вашего правительства. В моем ведении находится учет и распределение всех энергетических ресурсов страны. Я обращаю на благо народа силу ветра и морского прилива, энергию, скрытую в нефтяных источниках и угольных пластах. Мое дело заботиться о том, чтобы каждая штепсельная розетка, дающая ток швейной машинке на Гебридских островах, пылесосу в Маргейте или бормашине в Зетленде, действовала так же безотказно, как и гигантские динамомашины, которые питают наши промышленные предприятия. Я выполняю свою задачу; но это обходится вдвое дороже, чем следовало бы. Почему? А потому, что Ремонтный трест скупает и кладет под сукно все новые изобретения. Ведь любая поломка, любая авария, любые перебои или неполадки служат для него источником новых доходов. Если бы не Ремонтный трест, мы давно уже имели бы небьющееся стекло, нержавеющую сталь, не знающие износа ткани. Если бы не Ремонтный трест, не приходилось бы возвращать в депо товарные вагоны, которые едва не разбиваются в щепы от толчков при отправлении и остановке поезда. Ремонт ежегодно стоит нашей стране сотни и сотни миллионов фунтов. Я могу назвать вам десятка два изобретений, которые во много раз сократили бы число поломок и аварий; но Ремонтный трест готов заплатить любому изобретателю гораздо больше, чем тот получил бы от реализации своего изобретения; а покупает он только для того, чтобы похоронить навсегда. Если изобретатель беден и не умеет отстоять себя, с ним поступают еще

проще. Устраивают инсценировку испытания, а потом заявляют, что идея не оправдала себя на практике. В меня два раза стреляли доведенные до отчаяния изобретатели им казалось, что в их злоключениях виновата я,— как будто я в силах противостоять этому чудовищу, которое ворочает миллионами, держит в кулаке прессу и не пропускает ни одного жирного куска. Ужасно! Ведь я люблю свое дело, я больше всего на свете хочу, чтобы оно шло хорошо; это для меня дороже всех личных привязанностей, дороже того счастья, о котором мечтают обыкновенные женщины. Я согласилась бы лишиться правой руки, только бы узнать, что Ремонтный трест обанкротился, что заправилы его пошли под суд, а из его предприятий половина ликвидирована за ненадобностью, а другая половина передана государственным ремонтным конторам, где на убытках страны не наживаются частные лица. Это и ваше желание, сэр, и я поддерживала бы вас до последней капли крови, если бы только смела. Но что я могу поделать? Стоит мне лишь заикнуться об этом вслух, и газеты целых два года будут каждодневно трубить о том, как плохо работают наши правительственные учреждения, особенно те, во главе которых, как в министерстве энергетики, стоит женщина. Ремонтный трест не остановится даже перед тем, чтобы вытащить на свет божий похороненные им изобретения и объявить, что это по моей вине им не был дан ход. Нанятые им сыщики будут день и ночь шпионить за мной и вынюхивать какой-нибудь предлог обвинить меня в безнравственности. Один из членов правления не постеснялся сказать мне как-то в лицо, что достаточно ему поднять палец, и толпа перебьет все стекла в моем доме; а чтобы вставить новые, мне придется обратиться к Ремонтному тресту. И это верно. Это позор, это унизительно, но если я попытаюсь бороться, меня сразу же оттеснят от всякой общественной деятельности, а на мое место посадят пьянчугу Майка, который будет управлять министерством к их выгоде — иначе говоря, развалит всю работу и Джо придется продать все наши предприятия Ремонтному тресту по цене железного лома. Я... я... нет, это выше моих сил! *(Падает в кресло.)*

Водворяется неловкое молчание. Его нарушает премьер-министр, внушительным тоном обращаясь к королю.

Протей. Вы слышали, сэр? Единственная ваша сторонница

в совете министров откровенно признала, что ей не под силу справиться с тем положением, которое создалось в промышленности. Не хочу хвалиться, будто я пользуюсь влиянием на моих коллег женского пола; но, во всяком случае, ни одна из них не решится поддерживать вас.

Аманда *(вскочив с места)*. Что такое? Я не решусь? Хотите пари, что я поеду в избирательный округ пьянчуги Майка и выскажу там все то, что здесь сейчас говорила Лиззи, и даже больше, если только захочу. Заметьте, в мои дела ваш Ремонтный трест никогда не вмешивается. И не советую ему пробовать.

Магнус. Боюсь, это лишь потому, что директоры Ремонтного треста заинтересованы в бесперебойной работе связи не меньше всего прочего населения.

Аманда. Пустяки! Они могли бы избавиться от меня, не трогая моего министерства. Все дело в том, что они меня боятся, именно меня, Аманды Почтельстоп.

Магнус. Вы, наверно, кокетничаете с ними!

Аманда. Еще новости! Нужно им мое кокетство! Найдется немало женщин и помоложе и покрасивее меня, которые за деньги охотно станут кокетничать с ними. Нет, с такой публикой кокетством ничего не возьмешь. Припугнуть их надо; вот это на них действует.

Лизистрата *(голосом, еще срывающимся от волнения)*. Ах, если б я могла припугнуть их!

Магнус. Но почему Аманда может, а вы не можете?

Аманда. Я вам скажу, почему. Она не умеет передразнивать людей. Она не умеет петь веселые песенки. А я умею и то и другое; именно это — не сочтите за дерзость, сэр, — делает меня настоящей королевой Англии.

Боэнерджес. Вы с ума сошли! Позор! Безобразие!

Аманда. Лучше не злите меня, Билл, не то я в два месяца выживу вас из вашего избирательного округа.

Боэнерджес. Ах, вот как? Как же вы это сделаете, хотел бы я знать?

Аманда. А так же, как я выжила из своего избирательного округа председателя Ремонтного треста, когда он явился туда, чтобы оттягать у меня мое место в парламенте.

Магнус. Меня очень удивило тогда, что он сдался без боя. Как вы этого добились?

Аманда. Очень просто. Он начал свою избирательную кампанию с того, что в одну прекрасную субботу собрал пять тысяч человек в клубе Ревнителей домашнего уюта

и обратился к ним с пышной речью, направленной против меня. Неделю спустя в том же самом помещении и перед теми же людьми выступила я. Полемикой я не занималась. Я просто стала передразнивать его. Выбрала из его речи самые высокопарные места и давай повторять их, подражая его голосу и манере, так что вся пятитысячная аудитория за бока держалась от хохота. После этого я предложила спеть им, и тут поднялся такой рев восторга, что в зале едва не обрушился потолок. Я спела две песенки, обе с припевом для хора. Одна начиналась так: «Я от нее полетел кувырком, в субботу вечерком, в субботу вечерком». А другая: «Тра-ля-ля, тра-ля-ля, где Аманда, там и я». И в следующий его приезд весь город распевал эти песенки у него под окнами. Он отменил уже назначенное предвыборное собрание и обратился в бегство. Вот, сэр, какими методами ваша покорная слуга управляет Англией. И счастье для Англии, что королева Аманда в сущности славный малый, несмотря на кое-какие мелкие недостатки. *(Садится на свое место с торжествующе-самодовольной улыбкой.)*

Бальбус. Счастье для Англии, что у нас только одна Аманда,— вот что я на это скажу.

Аманда посылает ему воздушный поцелуй.

Магнус. Но ваше величество, разве королева не должна поддерживать короля?

Аманда. Прошу прощения, сэр, но в моем королевстве нет места для двух монархов. Я принципиально ваша противница, потому что талант имитатора не передается по наследству.

Протей. А что же остальные молчат? Мы уже знаем, почему обе наши дамы отказывают королю в поддержке. Но, может быть, его поддержит кто-нибудь из мужчин?

Молчание.

Магнус. Так. Ну, видно, мне не удалось вас убедить. Я не в претензии, леди и джентльмены, потому что я понимаю всю затруднительность вашего положения. Но как найти выход из этого положения, вот в чем вопрос.

Никобар. Очень просто: подпишите ультиматум.

Магнус. Я не уверен, что это выход. Вот шурин министра внутренних дел готов был подписать обязательство не употреблять больше спиртных напитков, если я дам ему министерский портфель. Но мы на это не согласились;

мы не сомневались в том, что он подпишет обязательство, но, зная о его природных слабостях, сомневались, что он его выполнит. У меня тоже есть кое-какие слабости. Не опасаетесь ли вы, мистер Протей, что я подпишу ультиматум, а потом моя природа возьмет свое и я опять вернусь к прежним привычкам?

Протей *(теряя терпение)*. Что толку в этих разговорах? Вы точно осужденный на казнь, который всячески растягивает предсмертные молитвы, чтобы отдалить неминуемый конец. Все ваши рассуждения ничего не изменят. Вы ведь знаете, что должны подписать. Так подпишите, и дело с концом.

Никобар. Молодец, Джо! Вот это слова!

Бальбус. Давно бы так.

Плиний. Глотайте пилюлю, сэр! Оттого, что вы ее держите за щекой, она слаще не сделается.

Лизистрата. Ради бога, сэр, подпишите скорей. Я больше не могу выносить эту пытку.

Магнус. Леди и джентльмены, я вижу, что ваше терпение истощается. Не буду его больше испытывать. Вы были очень снисходительны ко мне, благодарю вас за это. Давайте прекратим сейчас спор; но мне нужен некоторый срок, чтобы обдумать свое решение. В пять часов вечера, если до этого времени я не найду иного выхода, ваш ультиматум будет подписан. *(Встает. Все остальные тоже встают. Он выходит из комнаты.)*

Протей. Последняя увертка. Но вы не беспокойтесь, он у нас в руках. Что ж, пойдем завтракать? Страшно есть хочется. Лиззи, вы мне составите компанию?

Лизистрата. Не обращайтесь ко мне! *(Вконец расстроенная, выбегает из комнаты.)*

Аманда. Бедненькая Лиззи! Нелегко быть таким чистокровным твердолобым консерватором! Мне бы ее ум и образование! Или ей — мой мюзик-холльный талант! Какая была бы королева! Вторая Елизавета Английская, честное слово! Не огорчайтесь, Джо, я вам составлю компанию, раз уж вы так настаиваете.

Крассус. Пошли завтракать все вместе. Я угощаю.

Аманда. Какая щедрость! А денег у вас хватит?

Крассус. Ремонтный трест заплатит. У дирекции открытый счет в ресторане Ритца; это ей обходится до пяти тысяч в год.

Протей. Великолепно! Ограбим грабителей!

Боэнерджес *(с достоинством древнего римлянина)*. Мой

завтрак стоит полтора шиллинга, и я заплачу за него сам. *(Величественно выходит из комнаты.)*

Аманда *(кричит ему вслед.)*. Не валяйте дурака, Билл!

Протей. Пошли, пошли! Время не ждет.

Все гурьбой спешат к выходу. На пороге сталкиваются с Семпронием и Памфилием, которым приходится посторониться, чтобы дать дорогу. Протей, ведущий под руку Аманду, увидя их, останавливается.

Осмелюсь спросить, вы что же, подслушивали тут?

Памфилий. Согласитесь, что было бы несколько неудобно, если бы о том, что здесь происходило, нам пришлось потом узнавать стороной.

Семпроний. Раз и навсегда, мистер Протей: личные секретари короля должны все слышать, все видеть и все знать.

Протей. Как это ни странно, мистер Семпроний, я против этого решительно ничего не имею. *(Уходит.)*

Аманда *(в дверях)*. До свидания, Семми! Привет, Пам!

Семпроний } *(садятся каждый за свой стол* Уа-а-а-а-ффф!
Памфилий } *и немилосердно зевают).*

ИНТЕРМЕДИЯ

Будуар Оринтии. Тот же день, половина четвертого. Оринтия сидит у письменного столика и торопливо что-то пишет. Она романтически прекрасна и прекрасно одета. Столик стоит вплотную к стене, почти у самого угла, так что входящему в комнату видна только ее спина. Входная дверь расположена в противоположном по диагонали углу. Посреди комнаты широкая тахта. Король входит и останавливается на пороге.

Оринтия *(не оглядываясь, сердито)*. Кто там?

Магнус. Его величество король.

Оринтия. Я не желаю его видеть.

Магнус. Вы надолго заняты?

Оринтия. Я разве сказала, что я занята? Передайте королю, что я просто не желаю его видеть.

Магнус. Как вам будет угодно. *(Проходит в комнату и усаживается на тахте.)*

Оринтия. Уходите.

Пауза.

Я не стану разговаривать с вами.

Снова пауза.

Раз ко мне врываются без спросу только потому, что мои апартаменты находятся во дворце, а король не умеет вести себя как джентльмен, я должна переехать отсюда. Вот я уже написала в посредническое агентство, чтобы мне подыскали дом.

Магнус. Мы сегодня из-за чего ссоримся, возлюбленная?

Оринтия. Спросите у своей совести.

Магнус. Там, где дело касается вас, у меня нет совести. Придется уж вам сказать мне.

Оринтия встает, взяв со стола какую-то книгу, затем величественно приближается к тахте и бросает книгу королю.

Оринтия. Вот!

Магнус. Что это?

Оринтия. Страница шестнадцатая. Откройте и посмотрите.

Магнус *(читает заглавие на корешке)*. «Песни наших прапрадедов». Какая, вы сказали, страница?

Оринтия *(сквозь зубы)*. Шест-над-цатая.

Магнус *(раскрывает книгу, находит страницу и сразу улыбается, как бы увидев нечто знакомое)*. А! «Пилигрим любви»!

Оринтия. Прочтите вслух первые три слова, если у вас хватит смелости.

Магнус *(наслаждаясь звучанием произносимой фразы)*. «Оринтия, моя возлюбленная».

Оринтия. И вы утверждали, что специально придумали это имя для меня, единственной женщины в мире, когда на самом деле вы его откопали в мусорной корзине у торговца подержанными книгами! А я еще считала вас поэтом!

Магнус. Разве имя, найденное одним поэтом, не может стать священным для другого? Для меня в имени «Оринтия» есть какая-то волшебная прелесть. Ее не было бы, если бы я придумал это имя сам. Впервые я услышал его в детстве, на концерте старинной музыки, и с тех самых пор оно мне дорого.

Оринтия. У вас всегда найдется оправдание. Король лжецов и обманщиков — вот вы кто такой! Вам даже не понять, как меня оскорбляет подобная фальшь.

Магнус *(покаянно простирает к ней руки)*. Возлюбленная, молю о прощении!

Оринтия. Спрячьте руки в карманы; они больше никогда до меня не дотронутся.

Магнус *(повинуясь)*. Не нужно притворяться, что вам больно, дорогая, если на самом деле вы не чувствуете боли. Ведь это ранит мое сердце!

Оринтия. С каких это пор у вас завелось сердце? Может быть, вы и его купили подержанным, по случаю?

Магнус. Есть же во мне что-то, что судорожно сжимается, когда вам больно или когда вы притворяетесь, что вам больно.

Оринтия *(презрительно)*. Это правда: достаточно мне вскрикнуть, как вы уже готовы подхватить меня на руки и гладить, точно собачонку, которой отдавили лапу. *(Садится на тахту, но на расстоянии вытянутой руки от короля.)* И это все, что я получаю от вас вместо любви, которой жаждет мое сердце. Уж лучше бы вы меня били.

Магнус. А мне подчас очень хочется прибить вас, когда вы особенно несносны. Но я бы не сумел вам всыпать как следует. Боялся бы причинить вам боль.

Оринтия. Зато если б вам нужно было подписать мне смертный приговор, вы бы сделали это не поморщившись.

Магнус. Пожалуй, тут есть доля правды. У вас удивительно четко работает мысль — в пределах вашего кругозора.

Оринтия. Ну, разумеется, у меня кругозор ограничен по сравнению с вашим!

Магнус. Не знаю. До известной точки у вас и у меня мысль работает в одном направлении, но потом то ли вы просто дальше не идете, то ли направление меняется, и вы забираете выше, а я остаюсь на прежнем уровне. Трудно сказать, но, во всяком случае, мы перестаем понимать друг друга.

Оринтия. И тогда вы возвращаетесь к вашим Амандам и Лизистратам, этим жалким созданиям, которые не знают иной любви, кроме чиновничьей преданности своему министерству, и которым поэзию заменяют пухлые тома ведомственных отчетов в синих обложках.

Магнус. Да, их мысли не заняты постоянно тем или иным мужчиной. Но, на мой взгляд, подобное расширение интересов можно лишь приветствовать. Какое мне дело до любовника Лизистраты — если у нее есть любовник. Да она бы мне до смерти надоела, если б говорила только

об этом и ни о чем ином. А вот дела ее министерства меня чрезвычайно интересуют. И так как она очень горячо относится к своей работе, то у нас никогда не иссякают темы для разговора.

Оринтия. Вот и ступайте к ней; я вас не задерживаю. Но не вздумайте уверять ее, будто со мной ни о чем нельзя говорить, кроме как о мужчинах, потому что это неправда, и вы сами это отлично знаете.

Магнус. Это неправда, и я это знаю; но ведь я этого и не говорил.

Оринтия. Вы это думали. Подразумевали. Когда мы с вами находимся в обществе этих дурацких политиков в юбках, вы только с ними и разговариваете все время. Для меня у вас и словечка не находится.

Магнус. Как и у вас для меня. Нам с вами не о чем беседовать на людях; то, что мы могли бы сказать друг другу, не предназначено для чужих ушей. Зато когда мы одни, у нас всегда находится о чем поговорить. Разве вам хотелось бы, чтоб было наоборот?

Оринтия. Вы увертливы, как угорь; но все-таки от меня вам не увернуться. Посмотрите, кто составляет ваше ближайшее окружение — политиканствующие педанты, сварливые кумушки в допотопных нарядах, лишенные дара обыкновенной человеческой речи, способные рассуждать только о своих скучнейших ведомственных делах, о своих политических пристрастиях и о том, у кого какие шансы на выборах. *(В нетерпении встает.)* Какой может быть разговор с подобными людьми? Если бы не те ничтожества, которых они таскают с собой в качестве жен или мужей, то у вас там вообще не с кем было бы слово сказать. Да и эти знают только две темы для разговора: о прислуге и о детях. *(Вдруг снова садится.)* Слушайте, Магнус! Почему вы не хотите сделаться настоящим королем?

Магнус. Это как же, возлюбленнейшая?

Оринтия. Прогоните прочь всех этих болванов. Пусть не докучают вам своей министерской возней и управляются сами, как прислуга, которая подметает полы и вытирает пыль в дворцовых залах. А вы будете жить истинно королевской жизнью, благородной и прекрасной, со мною. Ведь для того, чтоб быть настоящим королем, вам недостает настоящей королевы.

Магнус. Но у меня есть королева.

Оринтия. О, как вы слепы! Хуже, чем слепы, — у вас низ-

менные вкусы. Небеса посылают вам розу, а вы цепляетесь за капусту.

Магнус *(со смехом)*. Очень удачная метафора, возлюбленная. Но всякий разумный человек, если ему предложат выбор: жить без роз или жить без капусты – несомненно предпочтет капусту. Кроме того, все старые жены, которые теперь относятся к разряду капусты, были когда-то розами; вы, молодежь, не помните этого, а мужья помнят и не замечают перемены. И наконец – вам это должно быть известно лучше, чем кому-либо, – никогда муж не уходит от жены потому только, что она постарела или подурнела. Новая жена очень часто и старше и безобразнее прежней.

Оринтия. А почему это мне должно быть известно лучше, чем кому-либо?

Магнус. Да потому, что у вас у самой было два мужа, и оба они сбежали от вас к женщинам, не обладавшим ни вашей красотой, ни вашим умом. Когда я просил вашего последнего мужа хотя бы ненадолго вернуться ко двору, он мне ответил, что жить с вами под одной крышей – это свыше сил человеческих. А между тем в свое время ваша красота свела его с ума. Ваш первый муж был женат на превосходной женщине и буквально принудил ее к разводу, чтобы жениться на вас; и что же – не прошло и двух лет, как он вернулся к старой жене и умер у нее на руках, бедняга.

Оринтия. А хотите, я вам скажу, почему эти люди не могли со мною ужиться? Потому что я существо высшей породы, а они – посредственность. Им нечего было поставить мне в упрек: я была верной женой, я прекрасно вела дом, я кормила их так, как они никогда в жизни не ели. Но я была на голову выше их, и дотянуться до меня оказалось для них непосильной задачей. Вот они и предпочли вернуться к кочнам капусты, жалкие людишки. И я их не удерживала. Вы видели эту развалину, с которой теперь живет Игнаций? По ней можно судить о том, чего он сам стоит.

Магнус. Весьма достойная женщина. Игнаций с ней очень счастлив. Он стал совершенно другим человеком.

Оринтия. Да, она ему как раз под пару. Мещанка, обывательница, сама ходит с корзинкой за покупками. *(Встает.)* Я витаю в надзвездных высях. Обыкновенным женщинам туда не подняться, а обыкновенные мужчины чувствуют себя там не на месте и спасаются бегством.

Магнус. Как приятно, должно быть, сознавать себя богиней, ни разу ни в чем не проявив своей божественности.

Орintия. Найдите мне занятие, достойное богини, и я ее проявлю. Я даже готова снизойти до занятий королевы, если вы разделите со мною трон. Но не выдумывайте, будто люди становятся великими потому, что совершают великие дела. Они совершают великие дела — если случится — потому, что они великие люди. И они остаются великими, даже если им и не случается совершать великих дел. Я могу совсем ничего не делать, сидеть вот в этой комнате, пудриться и объяснять вам, сколько глупости в вашей умной голове, — и все равно я буду неизмеримо выше миллионов обыкновенных женщин, которые приносят себя в жертву, занимаются домашним хозяйством, управляют министерствами или тратят время еще на какие-нибудь пошлости в этом роде. Разве вся эта ваша скучнейшая государственная деятельность делает вас лучше или умнее? Я наблюдала вас и до и после тех политических акций, которыми вы так гордитесь, — и каждый раз видела, что вы ни в чем не изменились, как не изменились бы ни для меня, ни для самого себя и в том случае, если бы этих акций не было. Нет! Слава богу, моя уверенность в себе — чувство неизмеримо более утонченное, чем пошлое самодовольство человека, кичащегося тем, что он что-то сделал. Вы должны поклоняться мне, а не делам моим. А если вам нужны дела, так и отправляйтесь к тем, кого вы называете людьми дела, к этим вашим приятелям и приятельницам, которые сговорились считать себя великими потому лишь, что они действуют как автоматы, бессмысленно подвергают риску свои никчемные жизни или же тридцать лет подряд встают в четыре часа утра и трудятся по шестнадцать часов в сутки, точно коралловые полипы. Для чего существуют они, эти унылые рабы? Чтобы расчищать мне путь, чтобы я могла царить над ними в своей красоте, точно небесное светило, ослепляя их, даря им утешение в их рабской доле, до которой мне нет дела, и позволяя им подчас забывать ее в восторженных мечтах обо мне. Разве я не стою этого? *(Она садится, глядя на короля так, словно хочет заворожить его.)* Посмотрите мне в глаза и скажите правду. Стою или не стою?

Магнус. В моих глазах — да, потому что я люблю красоту. А вот послушали бы вы, что говорит Бальбус по поводу назначенного вам содержания.

Оринтия. И по поводу моих долгов. Не забудьте мои долги, мои закладные, мою описанную мебель и все те тысячи, которые я заняла у ростовщиков, чтобы спасти свое имущество от аукциона, не прибегая к услугам друзей. Можете сделать мне очередное внушение на эту тему, но не смейте уверять, будто народ неохотно дает мне деньги. Народ счастлив этим, счастлив моей так называемой расточительностью.

Магнус *(более серьезным тоном)*. Кстати, Оринтия, я подозреваю, что когда ваша портниха составляла последний счет на ваши туалеты, она исходила из предположения, что вы рано или поздно сделаетесь королевой.

Оринтия. Допустим. Что же из этого?

Магнус. А то, что едва ли ей самой пришла бы в голову подобная мысль. Уж не вы ли намекнули ей?

Оринтия. Вы считаете меня на это способной, Магнус? Не ожидала от вас подобной низости.

Магнус. Напрасно, я, как и всякое живое существо, являю собой смесь высокого с низким. Но ваше благородное негодование ни к чему, возлюбленнейшая. Вы действительно способны на все. Ведь были такие разговоры? Попробуйте-ка отпереться!

Оринтия. Как вы смеете требовать, чтобы я от чего-то отпиралась? Я никогда не отпираюсь. Да, конечно, такие разговоры были.

Магнус. Я так и думал.

Оринтия. Фу, до чего вы глупы! Вам бы лавочником быть, а не королем. Что же, вы воображаете, что эти разговоры вела я? Да ведь это носится в воздухе, олух вы несчастный! Когда моя портниха завела об этом речь, я ей сказала, что если еще раз услышу от нее что-нибудь подобное, то не закажу у нее больше ни одного платья. Но не в моих силах помешать людям видеть то, что ясно как божий день. *(Снова встает.)* Все знают, что настоящая королева — я. Все и относятся ко мне как к настоящей королеве. На улице меня встречают приветственными кликами. Народ валит толпами, чтобы увидеть, как я перерезаю ленточку на художественной выставке или подаю знак к спуску на воду нового судна. Меня природа создала королевой, и люди это понимают. А если вы не понимаете, значит вас природа не создала королем.

Магнус. Прелестно! Лишь истинное вдохновение может придать женщине подобную дерзость.

Оринтия. Вы правы... относительно вдохновения, но дер-

зость тут ни при чем. *(Садится на прежнее место.)* Послушайте, Магнус, когда вы наконец решитесь устроить мою и свою судьбу?

Магнус. А как же моя жена, королева? Куда денется моя бедная милая Джемайма?

Оринтия. Ах, ну пристрелите ее или утопите! Пусть ваш шофер завезет ее в пруд Гайд-парка и пустит ко дну вместе с машиной. Эта женщина делает вас смешным.

Магнус. Что-то мне не нравится такой план. И потом, это могут счесть бесчеловечным.

Оринтия. Ах, вы отлично понимаете, о чем я говорю. Разведитесь с ней. Заставьте ее дать вам развод. Тут нет ничего трудного. Когда Ронни решил жениться на мне, он именно так и сделал. Все так делают, когда хотят переменить обстановку.

Магнус. Но я не представляю себе, как я буду существовать без Джемаймы.

Оринтия. А другие не представляют себе, как вы существуете с ней. Впрочем, никто вас и не просит существовать без нее. Когда мы поженимся, можете видеться с ней хоть каждый день, если вам угодно. Я не собираюсь устраивать вам по этому поводу сцены ревности.

Магнус. Очень великодушно с вашей стороны. Но боюсь, что это еще не разрешение вопроса. Джемайма едва ли захочет сохранить со мной прежнюю близость, если я буду женат на вас.

Оринтия. Что за женщина! Разве это чем-нибудь хуже моего теперешнего положения?

Магнус. Нет.

Оринтия. Ах, вот как! Значит, для нее вы считаете неподходящим то положение, в которое не задумывались поставить меня?

Магнус. Оринтия, я вовсе не ставил вас в это положение. Вы сами себя в него поставили. Я не мог противиться вам. Вы меня подхватили, как ветер песчинку.

Оринтия. А вы хотели противиться?

Магнус. Ничуть. Я никогда не противлюсь соблазнам, так как давно уже заметил — то, что мне во вред, меня не соблазняет.

Оринтия. Да, так на чем мы остановились?

Магнус. Забыл. Кажется, я вам объяснял, что вам с моей женой никак нельзя поменяться ролями.

Оринтия. А почему собственно?

Магнус. Не знаю, как вам объяснить. Вы ведь в сущности

никогда не были замужем, хотя дважды вам случилось вести к алтарю намеченную жертву; и от одной из этих жертв у вас даже есть дети. Быть вашим мужем — это просто должность, которую может занимать любой мужчина и от которой его можно уволить через бракоразводный суд при условии предупреждения за полгода. Быть моей женой — совсем другое дело. Малейшая попытка задеть достоинство Джемаймы подействовала бы на меня как пощечина. А вот о вашем достоинстве я почему-то не забочусь.

Оринтия. Мое достоинство божественно, и потому его ничто задеть не может. Ее же достоинство — простая условность; вот вы за него и дрожите.

Магнус. Ничего подобного. Это потому, что она часть меня самого, моего житейского, будничного «я». А вы — существо из сказочного мира.

Оринтия. Вдруг она умрет. Что ж, и вы тоже умрете?

Магнус. Вероятно, нет. Придется мне как-нибудь существовать без нее, хотя мне страшно даже подумать об этом.

Оринтия. Но, может быть, в программу существования без нее входит женитьба на мне?

Магнус. Дорогая моя Оринтия, я скорей женился бы на самом дьяволе. Быть женой — не ваше амплуа.

Оринтия. Вам так кажется, потому что вы начисто лишены воображения. Вы меня даже не знаете, ведь я никогда не принадлежала вам по-настоящему. Я дала бы вам такое счастье, какого не знал еще ни один мужчина на земле.

Магнус. Сомневаюсь, чтобы вы могли дать мне большее счастье, чем то, которое я нахожу в наших причудливо-невинных отношениях.

Оринтия *(нетерпеливо, вскочив)*. Вы говорите как ребенок! Или как святой. *(Повернувшись к нему.)* Я могу открыть вам новый мир, о котором вы и представления не имели прежде. Я могу подарить вам прекрасных, замечательных детей. Видали вы другого такого красавчика, как мой Бэзил?

Магнус. Ваши дети очень красивы; но ведь это эльфы и феи, а у меня уже есть несколько своих, вполне реальных детей. Развод не уберет их с пути, который ведет в сказочную страну.

Оринтия. Все ясно: час блаженства настал для вас, перед вами раскрываются двери рая,— а вы боитесь вылезть из своего хлева!

Магнус. Что же, если я свинья, так хлев для меня самое подходящее место.

Оринтия. Я отказываюсь понимать это. Правда, все мужчины при ближайшем рассмотрении глупы и трусливы. Но вы все-таки менее глупы и трусливы, чем другие. В вас даже есть некоторые задатки первоклассной женщины. Когда я отрываюсь от земли и уношусь на просторы вечности, туда, где мое настоящее место, вы в состоянии следовать за мною. С вами я могу беседовать так, как не могу ни с кем другим; и вы можете говорить мне вещи, от которых ваша глупая жена попросту ударилась бы в слезы. У меня больше общего с вами, чем с кем-либо из окружающих меня мужчин. У вас больше общего со мной, чем с кем-либо из окружающих вас женщин. Мы рождены друг для друга. В книге судеб написано, что вы должны быть моим королем, а я — вашей королевой. Как вы можете колебаться? Что вам ваши заурядные, простодушные увальни-дети, ваша заурядная домохозяйка-жена? Что вам вся эта свора синих чулков, выскочек, шутов и интриганов, воображающих, будто они управляют Англией, тогда как на самом деле они только препираются с вами? Посмотрите на меня. Посмотрите хорошенько. Разве я не стою миллиона таких, как они? Разве жизнь со мной не прекраснее жизни с ними настолько же, насколько солнце прекраснее грязной лужи?

Магнус. Да, да, да, да, разумеется. Вы прекрасны, вы божественны.

Она торжествующе вскидывает голову.

И вы необыкновенно смешны.

Этот неожиданный разряд действует на Оринтию, как ушат холодной воды; но она слишком умна, чтобы не оценить его по достоинству. Разочарованно махнув рукой, она снова усаживается на тахту и с терпеливо-страдальческим видом слушает молча нижеследующую тираду.

Быть может, когда-нибудь природа сумеет скрестить розу с капустой и сделать всех женщин такими же пленительными, как вы,— вот-то радостно и легко будет житься тогда! Но пока что я прихожу сюда, чтобы насладиться беседой с вами, когда мне хочется отдохнуть от тяжести короны, когда я устал от моей глупой жены, или мне надоели мои увальни-дети, или меня замучили мои

чересчур беспокойные министры, – одним словом, когда я, как говорят врачи, нуждаюсь в перемене обстановки. Видите ли, дорогая, нет на свете таких идеальных жен, таких милых детей и таких тактичных министров, которые бы время от времени не утомляли человека. У Джемаймы, как вы справедливо заметили, есть свои недостатки. А у меня – свои. Так вот, если бы наши недостатки полностью совпадали, мне не нужно было бы других собеседников, кроме нее, а ей – кроме меня. Но таких совпадений не бывает, а потому все идет у нас так же, как и у других супружеских пар: есть известные темы, которых нам нельзя касаться в разговоре, потому что это все равно, что наступить на больную мозоль. Есть люди, о которых мы избегаем упоминать, потому что одному из нас они нравятся, а другому – нет. Это касается не только отдельных людей, но и определенных человеческих типов. Вот хотя бы тот тип, к которому принадлежите вы. Моя жена не любит людей вашего типа, она их не понимает, чувствует к ним недоверие и даже боится их. И не без основания, потому что такие женщины, как вы, опасны для жен. А мне они не внушают неприязни; я их понимаю, потому что во мне самом есть кое-что от этого типа. И уж во всяком случае я не думаю их бояться. Зато жена моя хмурится, чуть только о них заведешь речь. И потому, когда мне хочется беспрепятственно поговорить на такие темы, я прихожу к вам. Вероятно, и она говорит со своими друзьями о людях, о которых никогда не заговаривает со мной. У нее есть друзья-мужчины, которые дают ей то, чего не могу дать я. Если б этого не было, ей со мной всегда не хватало бы чего-то, и в конце концов она бы меня возненавидела. Потому-то я и забочусь, чтобы ее приятели чувствовали себя у нас непринужденно.

Оринтия. Образцовый супруг и образцовое супружество! А когда от образцового супружества становится слишком скучно, тогда ищут развлечения у меня!

Магнус. Чего же еще вы можете требовать? Не будем впадать в распространенное заблуждение насчет единого духа и единой плоти. У каждого светила своя орбита; и хотя мы знаем, что между двумя соседними светилами действует сила притяжения, мы знаем и то, что расстояние между ними огромно. А когда притяжение становится настолько сильным, что преодолевает расстояние, эти два светила не сливаются в одно – они сталкиваются

и гибнут. У каждого из нас тоже есть своя орбита, и мы должны держаться на огромном расстоянии друг от друга, чтобы не погибнуть, столкнувшись. Сохранять должное расстояние — это и значит уметь держать себя; а там, где люди не умеют держать себя, человеческое общество невыносимо.

Оринтия. Ну какая другая женщина могла бы переносить ваши поучения и даже находить в них известную прелесть?

Магнус. Оринтия, мы с вами просто дети, увлеченные игрой, и вы должны удовлетворяться своей ролью сказочной королевы. А теперь *(вставая)* меня ждут дела.

Оринтия. Какие дела могут быть для вас важнее, чем свидание со мной?

Магнус. Никакие.

Оринтия. Так садитесь на место.

Магнус. К сожалению, как это ни глупо, но нужно управлять государством. А сегодня у нас очередной правительственный кризис.

Оринтия. Но ведь кризис отложен до пяти; мне все рассказал Семпроний. Зачем вы так распускаете этого хитрого жадюгу Протея? Он морочит вас. Он морочит всех. Он морочит даже самого себя, а в первую очередь — все это правительство, которое вас просто позорит. Оно напоминает битком набитый вагон третьего класса. Почему вы позволяете, чтобы подобный сброд отнимал у вас попусту время? В конце концов, за что вам платят деньги? За то, чтоб вы были королем; иначе говоря — чтоб вы плевали на простой народ.

Магнус. Так-то так, но в наше время представления о королевском бизнесе, как выражаются американцы, совершенно перепутались с представлениями о демократии, и потому половина Англии ждет, что я буду плевать на моих министров, а другая половина рассчитывает, что я позволю министрам наплевать на меня. Вот в пять часов и должно решиться, кому быть плевательницей.

Оринтия. И вы не погнушаетесь бороться за власть с Протеем?

Магнус. Что вы! Я никогда не борюсь. Но иногда одерживаю победы.

Оринтия. Если вы только позволите этому позеру, этому комедианту побить вас, не смейте мне больше никогда на глаза показываться.

Магнус. Протей неглуп, а иногда в нем даже проявляются

симпатичные черты. Не вижу ничего приятного в том, чтобы побить его; я вообще не люблю никого бить. А вот перехитрить его — это, пожалуй, доставило бы мне кое-какое невинное удовольствие.

Оринтия. Магнус, вы просто размазня. Настоящий мужчина был бы рад сделать из него котлету.

Магнус. Настоящие мужчины не годятся в короли. Я ведь только идол, сокровище мое, и все, что я могу,— это не быть чересчур кровожадным идолом. *(Смотрит на часы.)* Но мне в самом деле пора. Au revoir![1]

Оринтия *(смотрит на свои часы)*. Да ведь сейчас только двадцать пять минут пятого. У вас еще масса времени до пяти.

Магнус. Да, но мы всегда пьем чай в половине пятого.

Оринтия *(извернувшись, как змея, хватает его за локоть)*. Бог с ним, с чаем! Я вас напою чаем здесь.

Магнус. Немыслимо, возлюбленная. Джемайма не любит, когда ее заставляют ждать.

Оринтия. К черту Джемайму! Вы не уйдете от меня к вашей Джемайме. *(Дергает его с такой силой, что он падает на тахту рядом с ней.)*

Магнус. Дорогая, я должен идти.

Оринтия. Пойдете в другой раз. А сегодня останетесь здесь. Послушайте, Магнус, у меня к вам есть очень важное дело.

Магнус. Нет у вас никакого дела. Вам просто хочется, чтобы я опоздал к чаю и Джемайма рассердилась. *(Пытается встать, но она тянет его назад.)* Пустите, слышите?

Оринтия *(продолжая держать его)*. Почему вы так боитесь жены? Весь Лондон смеется над вами. Все говорят, что вы у нее под башмаком, бедненький.

Магнус. У нее под башмаком! А вот это как называется, по-вашему? Моя жена по крайней мере не применяет ко мне физического насилия.

Оринтия. Я не хочу, чтоб вы покидали меня ради вашей старухи.

Магнус. Ну, Оринтия, хватит глупостей. Вы же знаете, что я должен идти. Будьте благоразумны.

Оринтия. Еще десять минут, не больше.

Магнус. Уже и так половина пятого.

Он снова пытается встать, но она удерживает его.

---

[1] До свидания *(франц.)*.

(Переводя дух.) Вы ведь это делаете только со злости. У вас такая крепкая хватка, что я не могу вырваться, не причинив вам боли. Что же мне, позвать стражу?

Оринтия. Зовите, зовите! Завтра утром об этом будут трубить все газеты!

Магнус. Демон! *(Собрав все свое королевское величие.)* Оринтия! Я вам приказываю.

Оринтия хохочет.

(В бешенстве.) Ну, погоди же, дьявол, я тебя заставлю отпустить. *(Снова пытается вырваться, на этот раз уже пуская в ход силу.)*

Оринтия обхватывает его обеими руками за шею и держит, злорадно усмехаясь. В дверь стучат, но ни он, ни она не слышат стука. Ему удается оторвать ее руки, но в ту же минуту она обхватывает его снова, поперек туловища. Оба сваливаются с тахты и катаются по полу. Входит Семпроний. На мгновение останавливается, наблюдая эту неприличную сцену, затем торопливо выскальзывает из комнаты и, прикрыв за собой дверь, начинает шумно кашлять и сморкаться; наконец, стучит снова, громко и настойчиво. Противники прекращают военные действия и поспешно вскакивают на ноги.

Войдите.

Семпроний *(на пороге)*. Сэр, ее величество послала меня сказать, что чай уже на столе.

Магнус. Благодарю вас. *(Быстро выходит из комнаты.)*

Оринтия *(запыхавшаяся, но чрезвычайно довольная собой)*. Когда король со мной, он забывает все на свете. Да и я тоже. Мне, право, очень жаль, что он опоздал к чаю.

Семпроний *(сухо)*. Объяснений не требуется. Я все видел. *(Выходит.)*

Оринтия. Скотина! Наверно, подсматривал в замочную скважину. *(Вызывающе вскидывает голову и, пританцовывая, возвращается к своему письменному столу.)*

Несколько позже. Дворцовая терраса с низкой балюстрадой, выходящая в сад. Вдоль балюстрады ряд плетеных кресел. Посреди террасы несколько стульев, стоящих в беспорядке,— видимо, на них только что сидели. Из сада можно подняться на террасу по широким каменным ступеням в центре.

Король и королева сидят на террасе у самых ступеней: королева — справа от короля. Он читает вечернюю газету; она вяжет. Рядом с ней стоит рабочий столик, на нем небольшой гонг.

Королева. Почему ты велел оставить стулья на террасе, а не убрать их вместе с чайным столом?

Магнус. Я буду принимать здесь министров.

Королева. Здесь? Почему?

Магнус. Надеюсь, что свежий воздух и предзакатное освещение подействуют на них умиротворяюще. Им тут трудней будет ораторствовать, чем в четырех стенах.

Королева. А ты уверен? Когда Роберт спросил Боэнерджеса, где он научился произносить такие великолепные речи, тот ответил: «В Гайд-парке».

Магнус. Да, но там его вдохновляло присутствие толпы.

Королева. Роберт говорит, что ты совершенно приручил Боэнерджеса.

Магнус. Неправда, вовсе я не приручал его. Я только преподал ему кое-какие правила поведения. Мне приходится нянчиться со всеми новичками в политике, но это совсем не значит, что я их приручаю. Я просто учу их разумно использовать свои силы, вместо того чтобы растрачивать их попусту, валяя дурака. Потом, когда приходится сталкиваться с ними, мне же от этого хуже.

Королева. Благодарности ты все равно не видишь. Им кажется, что ты морочишь их.

Магнус. Да на первых порах так оно и бывает. Но когда доходит до дела, тут уж их не заморочишь: они сами очень быстро перенимают эту науку.

Памфилий входит на террасу с той стороны, где сидит королева.

(Взглянув на часы.) Ах ты боже мой! Неужели явились? Ведь еще нет пяти.

Памфилий. Нет, сэр. Прибыл американский посол.

Королева *(с оттенком неудовольствия)*. Разве ему назначена аудиенция?

Памфилий. Нет, ваше величество. Он, видимо, чем-то взволнован. Я ничего не мог от него добиться. Он желает немедленно видеть его величество.

Королева. Желает!! Американец *желает* немедленно видеть короля, не испросив предварительно аудиенции! Ну, знаете ли!

Магнус *(вставая)*. Просите его сюда, Пам.

Памфилий выходит.

Королева. На твоем месте я предложила бы ему ходатайствовать об аудиенции в письменной форме, а потом заставила бы дожидаться недельку-другую.

Магнус. Что? Когда мы до сих пор не расплатились с Америкой по военным долгам? И когда в Белом доме сидит такой оголтелый империалист, как Боссфилд? Нет, ты бы этого не сделала, дорогая моя. Ты была бы с ним заискивающе любезна — так же как сейчас буду я, чтоб ему провалиться!

Памфилий *(появляясь вновь)*. Его превосходительство американский посол, мистер Ванхэттен.

Памфилий скрывается. На террасу входит чрезвычайно оживленный Ванхэттен; с видом человека, не сомневающегося в том, что его приходу очень рады, он сразу же устремляется к королеве и так долго и энергично жмет ее руку, что она, озадаченная этим затяжным рукопожатием, в конце концов беспомощно оглядывается на короля.

Магнус. Что с вами такое, мистер Ванхэттен? Этак вы у ее величества все кольца стрясете.

Ванхэттен *(отпуская руку королевы)*. Ее величество извинит меня, когда узнает, какое дело меня сюда привело. Король Магнус, мы стоим на пороге великого исторического события, быть может величайшего во всей прошлой и будущей истории.

Магнус. Не хотите ли чаю?

Ванхэттен. Чаю! Кто в такую минуту думает о чае!

Королева *(довольно холодно)*. Нам трудно разделить ваши

восторги, поскольку мы до сих пор не знаем, чем они вызваны.

Ванхэттен. Вы совершенно правы, мэм. Действительно, нелепо с моей стороны. Но сейчас вы все узнаете и сможете судить сами, преувеличиваю ли я все значение, всю неслыханную важность того, что не поддается преувеличению.

Магнус. Милосердный боже! Да вы садитесь, пожалуйста.

Ванхэттен *(берет стул и ставит между креслами короля и королевы)*. Благодарю вас, ваше величество. *(Садится.)*

Магнус. Вы, по-видимому, хотите сообщить нам какое-то экстраординарное известие. В официальном или в частном порядке?

Ванхэттен. В самом официальном. Будьте уверены. Можете рассматривать то, что я вам скажу, как заявление правительства Соединенных Штатов Америки правительству Британской империи.

Королева. Может быть, мне уйти?

Ванхэттен. Нет, нет, мэм! Пожалуйста, останьтесь! Как супруга царствующей особы вы, может быть, несколько ограничены в своих привилегиях, но как англичанка вы имеете полное право знать то, что я пришел сообщить.

Магнус. Черт побери, Ванхэттен, да в чем же дело в конце концов?

Ванхэттен. Король Магнус! Ваша страна связана с нашей страной определенными долговыми отношениями.

Магнус. Стоит ли говорить об этом сейчас, когда наши английские капиталисты вложили столько денег в американские предприятия, что вам приходится ежегодно выплачивать нам два миллиарда долларов – после уплаты самим себе процентов по долгу?

Ванхэттен. Король Магнус! Забудем пока о цифрах. Итак, наши страны связаны между собой долговыми отношениями; но в то же время они разделены границей – границей, на которой не увидишь ни одной пушки и ни единого солдата и через которую американские граждане каждый день обмениваются рукопожатиями с канадскими подданными вашей державы.

Магнус. Да, но есть еще морская граница, которую за наш общий счет охраняет Лига Наций, и это обходится несколько дороже.

Ванхэттен *(встает, чтобы придать своим словам больше*

внушительности). Ваше величество, долга больше нет. Граница перестала существовать.

Королева. То есть как?

Магнус. Мистер Ванхэттен, уж не хотите ли вы сказать, что в результате какого-то грандиозного катаклизма Атлантический океан поглотил североамериканский материк?

Ванхэттен. Нет, но произошло нечто еще более достойное удивления. Британская империя в некотором роде поглотила Атлантический океан.

Магнус. Мистер Ванхэттен, я вас очень прошу по возможности вразумительно рассказать нам, что же все-таки произошло? Садитесь, пожалуйста.

Ванхэттен *(усаживаясь на прежнее место).* Как вам известно, сэр, было время, когда Соединенные Штаты Америки составляли часть Британской империи.

Магнус. Да, таково предание.

Ванхэттен. Не предание, сэр, а неоспоримый исторический факт. В восемнадцатом столетии...

Магнус. Ну, это давние дела.

Ванхэттен. Что значит какое-нибудь столетие в жизни великой державы, сэр? Позвольте напомнить вам притчу о блудном сыне.

Магнус. Ох, мистер Ванхэттен, это дела еще более давние. А тут, насколько я понимаю, что-то важное произошло не далее как вчера.

Ванхэттен. Произошло, король Магнус. Произошло, и очень важное.

Магнус. Так рассказывайте, что именно. У меня сейчас нет времени заниматься восемнадцатым столетием и блудным сыном.

Королева. У короля через десять минут заседание кабинета, мистер Ванхэттен.

Ванхэттен. Любопытно, какие лица сделаются у ваших министров, король Магнус, когда они услышат то, что я имею вам сообщить.

Магнус. Очень любопытно. Но, к сожалению, я не смогу сказать им, в чем дело, поскольку я сам этого не знаю.

Ванхэттен. Ваше величество, блудный сын возвращается домой. Но на этот раз он вернется не бедняком, изголодавшимся и одетым в рубище, как это было в древности. О нет. Теперь он принесет с собою в отчий дом все богатства земли.

Магнус *(вскакивает с кресла).* Послушайте, неужели...

Ванхэттен *(тоже встает, наслаждаясь эффектом своих*

слов). Именно, сэр! Декларация независимости отменена. Договоры, скреплявшие ее, разорваны. Мы приняли решение вернуться в состав Британской империи. Разумеется, мы войдем на правах самоуправляющегося доминиона и мистер Боссфилд останется нашим президентом. Так что в скором времени я буду иметь честь посетить вас снова, но уже не в качестве посла иностранной державы, а в качестве правительственного уполномоченного по величайшему из ваших доминионов и верноподданного вашего величества.

Магнус *(падая в кресло)*. Черта с два! *(Пытается проникнуть взглядом в будущее, и впервые за все время в этом взгляде появляется растерянность.)*

Королева. Какое замечательное событие, мистер Ванхэттен!

Ванхэттен. Я не сомневался, мэм, что вы именно так его оцените. Такого события еще не было в мировой истории. *(Садится на прежнее место.)*

Королева *(тревожно поглядывая на короля)*. Ведь правда, Магнус?

Магнус *(с видимым усилием овладевая своими чувствами)*. Скажите, пожалуйста, мистер Ванхэттен, кому принадлежит эта... этот... эта блестящая политическая идея? Откровенно говоря, я привык считать вашего президента одним из тех государственных деятелей, которые больше работают языком, чем головой. Не может быть, чтобы он сам удумал такую штуку. Признайтесь, кто подсказал ему?

Ванхэттен. Ваше критическое суждение о мистере Боссфилде я вправе принять лишь со всеми необходимыми оговорками; но могу сказать вам, что у нас в Америке эту приятную новость будут, вероятно, связывать с недавним посещением наших берегов президентом Ирландского свободного государства. Мне не выговорить его имя так, как оно произносится официально, по-гэллльски,— а как оно пишется, у нас во всем посольстве знает только одна машинистка,— но друзья называют его Мик О'Раферти.

Магнус. Ах, прохвост! Джемайма, нам придется жить в Дублине. Англии пришел конец.

Ванхэттен. В известном смысле — пожалуй. Но это не означает, что Англия погибнет. Она просто сливается — да, именно сливается — с другим предприятием, более мощным и более процветающим. Я забыл упомянуть, сэр, что вы теперь будете императором; таково одно из наших условий. Этот маленький островок мог обходить-

ся королем; но раз уж в дело вступаем мы, тут требуется нечто более грандиозное.

Магнус. Этот маленький островок! «Сей малый перл в серебряной оправе моря!» А не приходило ли вам в голову, мистер Ванхэттен, что мы можем не захотеть превратиться в какой-то довесок к мощному американскому предприятию? Что, если вместо того, чтобы согласиться на это, мы кликнем старый боевой клич синфейнеров и будем драться до последней капли крови за свою независимость?

Ванхэттен. Меня бы очень огорчило подобное возрождение варварских нравов прошлого. К счастью, это невозможно. Не-воз-мож-но! Старый боевой клич не вдохновит разноплеменный экипаж Атлантического флота Лиги Наций. Этот флот подвергнет вас блокаде, сэр. Нам, пожалуй, придется объявить вам бойкот. И плакали тогда ваши два миллиарда долларов в год.

Магнус. Но континентальные державы? Неужели вы думаете, что они хоть на миг допустят подобную перемену в международной расстановке сил?

Ванхэттен. А что тут особенного? Ведь это перемена чисто номинальная.

Магнус. Номинальная! Вы называете слияние Британского содружества наций с Соединенными Штатами номинальной переменой! Хотел бы я знать, как назовут это Франция и Германия!

Ванхэттен *(снисходительно покачивая головой)*. Франция и Германия? Эти устарелые географические названия, которыми вы пользуетесь по укоренившейся семейной привычке, нас нимало не волнуют. Под Германией вы, очевидно, подразумеваете ряд советских или почти советских республик, расположенных между Уральским хребтом и Северным Морем? Но здравомыслящие политики Москвы, Берлина и Женевы стараются сейчас объединить их в федерацию, и у нас имеется полная договоренность, что, если мы не будем мешать их действиям, они не станут препятствовать нашим. А то, что вы называете Францией,— то есть, очевидно, правительство в Новом Тимгаде,— чересчур занято своими африканскими делами, чтобы интересоваться событиями по ту сторону Ламаншского туннеля. Пока в Париже достаточно американцев, а у американцев достаточно денег, с французской точки зрения на Западе все спокойно. В числе развлечений, которые Париж может предложить американцам,

одно из самых популярных – экскурсия в Старую Англию. И французы хотят, чтобы мы себя здесь чувствовали как дома. Что же, мы так себя и чувствуем. И это вполне естественно. В конце концов мы же здесь действительно дома.

Магнус. То есть, простите, почему же?

Ванхэттен. А потому, что нас здесь окружает все свое, привычное: американские промышленные изделия, американские книги, пьесы, спортивные игры, американские религиозные секты, американские ортопеды, американские кинофильмы. То есть, короче говоря, – американские товары и американские идеи. Политический союз между нашими странами явится лишь официальным признанием совершившегося факта. Так сказать – гармония сердец.

Королева. Мистер Ванхэттен, вы забываете, что у нас есть своя великая национальная традиция.

Ванхэттен. Соединенные Штаты, мэм, восприняли все великие национальные традиции и, сплавив их воедино с собственной славной традицией Свободы, получили в результате нечто поистине оригинальное и универсальное.

Королева. У нас есть своя самобытная английская культура. Я не хочу сказать, что она выше американской, но, во всяком случае, она иная.

Ванхэттен. Так ли? Ведь эта культура нашла себе воплощение в произведениях английского изобразительного искусства, в загородных замках вашей знати, в величественных соборах, воздвигнутых нашими общими предками для служения богу. А что вы сделали со всем этим? Продали нам, американцам. Я вырос под сенью Элийского собора – мой папочка перевез его из графства Кембридж в штат Нью-Джерси и тем положил начало своей карьере крупного специалиста. Сооружение, которое теперь стоит на месте этого собора в Англии, тоже очень недурно в своем роде, отличный образец железобетонной архитектуры двадцатого века. Но проект его был сделан американским архитектором, а строил Международный трест синтетических строительных материалов. Поверьте мне, истинные англичане, которые судят о жизни по реальным фактам, а не по тому, что пишется в книгах, гораздо лучше чувствуют себя среди нас, чем среди обветшалых английских традиций, искусственно поддерживаемых американскими туристами. Если вы встретите где-нибудь в сельской глуши почтенного джентльмена, свято соблюдающего все рождественские

обычаи, можете быть уверены, что это — американец, недавно купивший поместье. И англичане разводят вокруг него всю эту чепуху потому, что он им за это платит деньги, а вовсе не потому, что это нужно им самим.

Королева *(со вздохом)*. Ах, так много представителей самых лучших семейств уезжает теперь в Ирландию. Следовало бы запретить англичанам ездить в Ирландию. Они никогда оттуда не возвращаются.

Ванхэттен. Что же тут удивительного, мэм? При таком климате, как у вас...

Королева. Нет, это не из-за климата. Это из-за Конской ярмарки.

Король в глубоком раздумье поднимается с кресла; видя это, Ванхэттен тоже встает.

Магнус. Я должен обдумать ваше сообщение. Собственно, я уже давно чувствовал, что к тому идет. Более того: когда я был молод и находился под влиянием семейных предрассудков, — а надо сказать, что у нас в семье никогда не признавали самостоятельности отложившихся американских колоний, — я сам мечтал воссоединить под эгидой Британской империи все народы, говорящие на английском языке, и поставить эту империю во главе цивилизации.

Ванхэттен. Прекрасно! Замечательно! Вот ваши мечты и сбылись!

Магнус. Не совсем. Теперь, умудренный годами и жизнью, я должен сказать, что в мечтах все это казалось привлекательней, чем на деле.

Ванхэттен. И это все, что я могу передать президенту, сэр? Он будет разочарован. Признаюсь, я и сам несколько смущен.

Магнус. Да, пока все. Может быть, это и в самом деле гениальная идея...

Ванхэттен. Безусловно, безусловно.

Магнус. А может быть, это ловушка, рассчитанная на погибель Англии.

Ванхэттен *(ободряюще)*. Ну зачем же так мрачно! В конце концов ведь ничто не вечно под луной — в том числе добрая старая Англия. Прогресс, сэр! Сами понимаете — прогресс, прогресс!

Магнус. Именно, именно. Мы можем уцелеть только в виде сорок девятой звезды на вашем флаге. И тем не менее мы цепляемся за те жалкие остатки самостоятельности,

которые вы нам до сих пор позволяли сохранять. Может быть, нам и придется слиться — или, как вы сказали, влиться, — но все-таки кое-кто из нас постарается продержаться, пока хватит сил. *(Королеве.)* Дорогая...

Королева ударяет в гонг, стоящий на ее столике. Входит Памфилий.

Вы получите мой ответ после заседания кабинета. Сегодня не ждите, оно может закончиться очень поздно. А вот завтра с утра я вас извещу о принятом решении. Благодарю вас за то, что вы сообщили мне новость до того, как она попала в газеты: в наше время это бывает редко. Памфилий, проводите его превосходительство. До свидания. *(Подает Ванхэттену руку.)*

Ванхэттен. Я тоже благодарен вашему величеству. *(Королеве.)* До свидания, мэм. Надеюсь, что скоро буду иметь удовольствие явиться к вам в придворном мундире.

Королева. Он вам очень пойдет, мистер Ванхэттен. До свидания.

Посол и Памфилий уходят.

Магнус *(с мрачным видом расхаживает по террасе из угла в угол)*. Ах мерзавцы! Этот жулик О'Раферти! Эта безмозглая трещотка Боссфилд! Ремонтному тресту, видите ли, заблагорассудилось отремонтировать Британскую империю.

Королева *(спокойно)*. А по-моему, это прекрасная идея. Из тебя получится превосходный император. И мы постепенно приобщим этих американцев к цивилизации.

Магнус. Для этого мы сами еще недостаточно цивилизованны. А они относятся к нам так, как к какому-нибудь племени краснокожих. Англия будет низведена на положение резервации.

Королева. Ты говоришь глупости, милый! Они вполне отдают себе отчет в нашем прирожденном превосходстве. Достаточно взглянуть, как американки ведут себя при дворе: чувствуется настоящая любовь и уважение к царственным особам. А от наших английских аристократок простой вежливости не дождешься, если уж они вообще удостоят двор своим появлением.

Магнус. Что ж, дорогая, мне не раз уже приходилось в угоду тебе делать то, чего я в жизни не сделал бы по своей воле; так что, может быть, я и в американские импера-

торы пойду – только чтобы доставить тебе удовольствие.

Королева. Магнус, когда я тебя о чем-либо прошу, то лишь для твоей же пользы. Ты сам не всегда знаешь, что тебе полезно.

Магнус. Ну, ну, ну, ладно, дорогая! Пусть будет по-твоему. Но где же эти окаянные министры? Они опаздывают.

Королева *(смотрит в сад)*. Вон Семпроний ведет их сюда.

Кабинет министров в полном составе поднимается на террасу. Мужчины по дороге снимают шляпы. На Боэнерджесе блестящий придворный мундир, который он себе за это время успел раздобыть. Процессию возглавляют Протей с Семпронием, за ними следуют обе дамы. Королева встает навстречу Протею. Семпроний проворно отодвигает ее столик в сторону, а кресло, в котором она сидела, ставит на середину – для короля.

(Подает руку премьер-министру.) Здравствуйте, мистер Протей.

Протей. Ваше величество, разрешите представить вам министра торговли, мистера Боэнерджеса.

Королева. Я, кажется, уже однажды видела мистера Боэнерджеса; это было на открытии Летнего дворца транспортных рабочих. Вы тогда были в костюме, который вам удивительно шел. Отчего вы перестали его носить?

Боэнерджес. Да принцесса сказала, что у меня в этом костюме дурацкий вид.

Королева. Как это нехорошо со стороны принцессы! Он вам был очень к лицу. Впрочем, вам любой костюм к лицу. Ну, не буду мешать вашему заседанию. *(Уходит в дом.)*

Семпроний несет за нею ее вязанье.

Магнус *(усаживаясь в кресло)*. Леди и джентльмены, прошу садиться.

Министры кладут шляпы на балюстраду и берут кто стул, кто плетеное кресло. Рассаживаются в таком порядке: Никобар, Крассус, Боэнерджес, Аманда, король, Протей, Лизистрата, Плиний, Бальбус. Пауза. Протей ждет, чтобы король начал разговор. Но король молчит, погруженный в свои мысли. Молчание становится томительным.

Плиний *(нарочито непринужденным тоном)*. Хорошая погода стоит последнее время.

Аманда фыркает.

Магнус. С запада надвигается туча, мистер Плиний. *(Протею.)* Вы слыхали, что придумали американцы?

Протей. Да, сэр.

Магнус. Надеюсь, мои министры выскажут мне свои соображения по этому поводу.

Протей. С разрешения вашего величества, мы сперва займемся вопросом об ультиматуме.

Магнус. А так ли уж важен будет этот ультиматум, если столица Британского содружества наций переместится в Вашингтон?

Никобар. Почему в Вашингтон, а не в Мельбурн, Монреаль, Иоганнесбург?

Магнус. Потому что ни в одном из этих мест она бы не удержалась. Столица может удержаться только там, где находится центр тяжести государства.

Протей. Согласен с вами. Если уж столицу придется переносить, она будет перенесена либо на Запад, в Вашингтон, либо на Восток, в Москву.

Боэнерджес. Москва очень много воображает о себе. А может ли Москва научить нас чему-нибудь, чему мы не научились бы и сами? Москва руководствуется английской историей, написанной в Лондоне Карлом Марксом.

Протей. Правильно; а английский король опять заставил вас уклониться от основного вопроса. *(Магнусу.)* Так как же с ультиматумом, сэр? Вы обещали сообщить нам свое решение в пять часов. Сейчас уже четверть шестого.

Магнус. Вы, значит, непременно хотите довести спор до его логического завершения? Это, знаете, даже как-то не по-английски.

Протей. Мои предки были выходцами из Шотландии.

Лизистрата. Очень жаль, что они в Шотландии не остались. Что касается меня, я англичанка до мозга костей.

Боэнерджес *(громогласно)*. Я тоже!

Протей. Плохо пришлось бы Англии, если бы за нее не думали шотландцы.

Магнус. Что на это скажут другие члены кабинета?

Аманда. У всех у них предки были выходцами откуда-нибудь, сэр, — не из Шотландии, так из Ирландии, из Уэльса, из Иерусалима. Так что на английский патриотизм вы тут не рассчитывайте.

Крассус. Англичане, если хотите знать мое мнение, не созданы для политики.

Магнус. И потому я, единственный, как видно, англичанин, пытающийся заниматься политикой, должен быть превращен в пустое место?

Протей *(резко)*. Да. Вам не удастся запугать нас и сбить с позиции, какими бы мрачными красками вы эту позицию ни расписывали. Я ведь тоже могу сгустить краски, если понадобится. Короче говоря, мы требуем от вас безоговорочной капитуляции. Если вы откажетесь, я распущу парламент и назначу новые выборы, предоставив избирателям решать, быть Англии абсолютной монархией или же конституционной. В этом вопросе мы единодушны; никто из правительства в отставку не подаст. У меня имеются письменные заявления отсутствующих членов кабинета; а те, кто сейчас здесь, выскажутся сами.

Все министры-мужчины. Согласны, согласны!

Протей. Итак — ваш ответ?

Магнус. Век абсолютных монархий миновал. Вы думаете, что можете обойтись без меня; а я без вас обойтись не могу и знаю это. И потому, само собою разумеется, я — за конституционную монархию.

Министры-мужчины *(с радостью и облегчением)*. Правильно! Правильно!

Магнус. Но погодите, это не все.

Все смолкают и недоверчиво настораживаются.

Протей. Ах, вот как? Тут, значит, есть подвох?

Магнус. Ну почему же подвох? Просто вы сами заставили меня признать, что я в конституционные монархи не гожусь. У меня нет той способности стушевываться, которая тут необходима.

Аманда. Что верно, то верно. Мы с вами в этом отношении пара, сэр.

Магнус. Спасибо на добром слове. Итак, я безоговорочно принимаю провозглашенный вами конституционный принцип, но ультиматум ваш подписать не могу, потому что это значило бы для меня дать обещание, заранее зная, что я его нарушу,— нарушу в силу свойств своей натуры, которую никакие конституционные рамки не властны обуздать.

Бальбус. Но как же так — раз вы отказываетесь подписать ультиматум, значит вы фактически и принцип не признаете?

Магнус. О, это противоречие разрешить нетрудно. Когда честный человек чувствует, что не может справиться со своими обязанностями, он подает в отставку.

Протей *(в испуге)*. В отставку! Что вы еще задумали?

Крассус. Король не может подать в отставку.

Никобар. Это все равно, что сказать: «Я отрублю себе голову». Вы же не можете сами себе отрубить голову.

Боэнерджес. Правда, это могут сделать другие.

Магнус. Не будем спорить о словах, джентльмены. Подать в отставку я не могу, но я могу отречься от престола.

Все *(вскакивая со своих мест)*. Как отречься от престола? *(Смотрят на него в полной растерянности.)*

Аманда выразительно свистит нисходящую минорную гамму. Садится.

Магнус. Ну да, отречься от престола. Лизистрата, вы ведь были учительницей истории. Разъясните вашим коллегам, что такие случаи бывали и раньше. Возьмите хотя бы императора Карла Пятого...

Лизистрата. К черту Карла Пятого! Это был никудышный король. Ваше величество, я вас поддерживала, как только могла. Умоляю вас, не оставляйте меня. Не отрекайтесь от престола. *(В отчаянии садится на место.)*

Протей. Вы не можете отречься иначе, как по моему совету.

Магнус. А я и следую вашему совету.

Протей. Вздор! *(Садится.)*

Бальбус. Чушь! *(Садится.)*

Плиний. Вы, верно, шутите. *(Садится.)*

Никобар. Вы просто хотите, как говорится, опрокинуть нашу тележку с яблоками! *(Садится.)*

Крассус. Я бы сказал, что это даже непорядочно! *(Садится.)*

Боэнерджес *(с апломбом)*. А почему, собственно? Почему? Я весьма уважаю его величество – как Сильную Личность, поскольку в качестве старого республиканца я не могу питать к нему уважения как к представителю королевской власти. Но все же на нем свет клином не сошелся. Давно уже пора покончить с монархическим предрассудком и сделать Британское содружество наций такой же республикой, как и все прочие великие державы. *(Садится.)*

Магнус. Позвольте, мистер Боэнерджес, об этом речи не было. Я отрекаюсь не для того, чтобы уничтожить монархию, а для того, чтобы ее спасти. Мое место займет

мой сын Роберт, принц Уэльский. Из него выйдет отличный конституционный монарх.

Плиний. Ну, ну, сэр. Вы несправедливы к мальчику. Не так уж он глуп.

Магнус. Что вы! Что вы! Я совсем не хотел сказать, что он глуп; напротив, он гораздо умнее меня. Но мне так и не удалось привить ему вкус к парламентской или политической деятельности. Его интересы лежат в интеллектуальной сфере.

Никобар. Как бы не так! Бизнес — вот что его интересует.

Магнус. Совершенно верно. Он постоянно твердит, что не понимает, зачем я теряю с вами время, делая вид, будто управляю страной, когда на самом деле страной управляет Ремонтный трест. И вы знаете — на это довольно трудно ответить.

Крассус. Все они теперь такие. Вот мой сын рассуждает точно так же.

Лизистрата. Лично у меня отношения с принцем очень хорошие, но я не чувствую в нем интереса к тому, чем я занимаюсь.

Бальбус. А у него и нет к этому интереса. Не мешайте ему, и он вам не будет мешать. Самый подходящий для нас король. Не упрям, не назойлив и считает, что все, что мы делаем, не стоит выеденного яйца. Верно я говорю, Джо?

Протей. Что ж, пожалуй. Если со стороны вашего величества это серьезно...

Магнус. Совершенно серьезно, уверяю вас.

Протей. Должен признаться, что такого оборота я не предвидел — хотя следовало бы. Предложение вашего величества позволяет разрешить вопрос самым прямым, разумным и честным образом. А в политике меньше всего приходится рассчитывать на такое решение вопроса. Но я не учел личных качеств вашего величества. И теперь чем больше я думаю о вашем предложении, тем яснее для меня, что вы правы, — это для вас единственный выход.

Крассус. А я с самого начала так и считал, Джо.

Бальбус. И я тоже. Да, это безусловно правильный выход.

Никобар. У меня лично возражений нет.

Плиний. Все короли одинаково хороши.

Боэнерджес. Или одинаково плохи. Противно смотреть, как вы кидаетесь то в одну сторону, то в другую по первому знаку Джо. Не кабинет, а стадо овец.

Протей. Что же, попытайтесь указать этому стаду лучший путь. Можете вы предложить что-нибудь?

Боэнерджес. Да так, сразу, что же предложишь. Надо было дать нам время подумать. Но, пожалуй, король должен поступить так, как он считает правильным.

Протей. Ага, значит, козел не отстает от стада; ну тогда все в порядке.

Боэнерджес. Кого это вы называете козлом?

Никобар. А кого это вы называли овцами, если на то пошло?

Аманда. Тише, дети, тише! *(Королю.)* В общем, вы нас обошли, сэр, как и всегда!

Протей. Я считаю, что больше говорить не о чем.

Аманда. Значит, еще на полчаса хватит.

Боэнерджес. Послушайте, вы! Сейчас не время для ваших шуточек!

Протей *(внушительно)*. Билл совершенно прав, Аманда. *(Становится в традиционную позу парламентского оратора.)*

Министры-мужчины приготовляются слушать в благоговейном внимании, как слушают церковную проповедь; но у Лизистраты на лице презрительная гримаса, а у Аманды — веселая улыбка.

Леди и джентльмены. В этот знаменательный час разрушаются узы многолетней давности. Лично я готов без ложного стыда признать, что меня эти узы кое-чему научили.

Одобрительный ропот в группе министров-мужчин.

Для меня и, я думаю, для многих собравшихся здесь это был не просто политический союз, но узы искренней дружбы.

Снова одобрительный ропот. Волнение нарастает.

Случались у нас разногласия — у кого их не случается? — но это были просто, так сказать, семейные ссоры.

Крассус. Верно. Никак не более.

Протей. Если можно, я бы даже сказал — любовные ссоры.

Плиний *(утирая навернувшуюся слезу)*. Можно, Джо. Говорите.

Протей. Друзья мои, мы пришли сюда для беседы с королем. Увы, эта беседа оказалась прощальной.

Крассус всхлипывает.

Грустно сознавать, что приходится расставаться, но во всяком случае мы расстаемся друзьями.

Плиний. Правильно, правильно!

Протей. Мы удручены, но мы не поддадимся унынию. И если мы с грустью оглядываемся на прошлое, то наш взор, устремленный в будущее, исполнен надежды. Есть в этом будущем и свои сложности и свои опасности. Оно выдвинет перед нами новые проблемы; оно поставит нас лицом к лицу с новым королем. Но ни новые проблемы, ни новый король не вытеснят из нашей памяти того, кто так долго был нашим государем, нашим советчиком и — надеюсь, он не станет возражать против такого определения — нашим другом.

Отдельные возгласы: «Правильно, правильно!»

Не сомневаюсь, что мои слова встретят самый горячий отклик в сердцах присутствующих, если я скажу в заключение: при любом короле...

Аманда. Наш Джо будет флюгером.

Шум. Протей, вне себя от негодования, падает в кресло.

Бальбус. Безобразие!

Никобар. Вот сте...

Плиний. Всякая шутка должна иметь границы!

Крассус. Стыдно, Аманда! Вы забываетесь!

Лизистрата. Она имеет право говорить то, что думает. А вы просто скопище сентиментальных дураков.

Боэнерджес *(встает)*. Тише! К порядку!

Аманда. Прошу прощения.

Боэнерджес. И правильно делаете. Разве так ведут себя? Где вы воспитывались? Король Магнус! Мы должны расстаться, но мы расстаемся, как и подобает Сильным Личностям, — по-дружески. Премьер-министр правильно выразил здесь наши общие чувства. Я призываю присутствующих выразить эти чувства по доброму старому английскому обычаю. *(Запевает зычным голосом.)* Что-о за-а...

Министры-мужчины *(дружно подтягивают)*.

...па-арень разудалый,
И смельчак и весельчак,
И смельчак и ве...

Магнус *(повелительно)*. Хватит! Хватит!

Водворяется настороженная тишина. Все в некоторой растерянности рассаживаются по местам.

Весьма признателен за ваши добрые чувства: но, кажется, тут вышло недоразумение. Мы с вами не расстанемся. Я вовсе не собираюсь отойти от политической деятельности.

Протей. То есть как?!

Магнус. Вы с поистине трогательным волнением говорите обо мне как о человеке, политическая карьера которого окончена. А я склонен считать, что моя политическая карьера только начинается. Я еще ничего не сказал вам о своих планах.

Никобар. Каких планах?

Бальбус. Король, отрекшийся от престола, должен забыть о планах и карьерах.

Магнус. А почему? Я, напротив, предвкушаю очень много интересного и веселого. Поскольку, отрекаясь, я, разумеется, распущу парламент, первым номером программы будут всеобщие выборы.

Боэнерджес *(в испуге)*. Позвольте, но меня же только что выбрали! Что, это выходит – две избирательные кампании в один месяц? Мне не выдержать таких расходов.

Магнус. Ну, расходы безусловно возьмет на себя государство.

Боэнерджес. Государство? Плохо же вы осведомлены о том, как проводятся выборы в Англии!

Протей. Вы получите свою долю из избирательного фонда партии, Билл, а если никаких дополнительных источников у вас не найдется, придется вам обойтись теми голосами, которые вы соберете без подкупа. Ваше величество, продолжайте, пожалуйста: нас очень интересуют ваши планы.

Магнус. Своим последним королевским указом я лишу себя всех титулов и званий, чтобы сразу спуститься до положения рядового гражданина.

Боэнерджес. Вы хотите сказать – подняться? Рядовой гражданин не ниже, а выше всякой титулованной особы.

Магнус. Вот поэтому я и решил стать рядовым гражданином, мистер Боэнерджес.

Плиний. Что ж, это вам делает честь.

Крассус. Не каждый из нас был бы способен на подобную жертву.

Боэнерджес. Благородный жест, сэр! Благородный жест, не могу не признать этого.

Протей *(подозрительно)*. А с каких это пор ваше величество стали делать жесты? Что за этим кроется, хотел бы я знать?

Боэнерджес. Стыдитесь, Джо!

Протей. Молчите вы, простофиля! *(Королю.)* Так что же все-таки за этим кроется?

Магнус. Я не собираюсь вас обманывать, премьер-министр. За этим кроется очень простое соображение: когда я вернусь к политической жизни, мне выгоднее быть простым гражданином, чем титулованной особой. Я буду добиваться места в палате общин.

Протей. Вы — в палате общин?!

Магнус *(любезно)*. Да, я думаю выставить на ближайших выборах свою кандидатуру по королевскому избирательному округу Виндзора.

Все, кроме Боэнерджеса и обеих женщин, в ужасе вскакивают на ноги.

Протей. Это предательство!

Бальбус. Жульнический трюк!

Никобар. Неслыханная подлость!

Плиний. Ему обеспечена победа на выборах.

Крассус. Еще бы! Это будет победа без боя.

Бальбус. Вот теперь мы видим, чего стоят дружеские улыбки и ласковое обхождение!

Никобар. Лицемер!

Крассус. Плут!

Лизистрата. От души желаю вашему величеству удачи!

Аманда. Правильно, правильно! Давайте по-честному, друзья. Почему бы ему не стать таким же членом парламента, как мы все?

Боэнерджес. Да, вот именно. Почему?

Прочие министры-мужчины. Ну-у-у... *(Садятся, всем своим видом выражая крайнее негодование.)*

Протей *(мрачно)*. А если вы пройдете в парламент, что дальше?

Магнус. Дальше есть несколько возможностей. Я, разумеется, постараюсь образовать свою партию. Мой сын, король Роберт, должен будет поручить формирование правительства руководителю одной из партий, способному обеспечить себе большинство в палате общин. Он может обратиться к вам. А может обратиться и ко мне...

Аманда, прерывая общее угрюмое молчание, принимается насвистывать национальный гимн.

Но что бы там ни было, подумайте, как это приятно, что мы теперь сможем во всеуслышание высказывать свое истинное мнение друг о друге. До сих пор вы не могли откровенно говорить английскому народу, что вы обо мне думаете: короля критиковать не полагается. Да и я не мог с полной откровенностью разбирать способности и личные свойства каждого из вас. Но теперь уже не нужно будет сдерживать себя, притворяться, скрывать свои истинные чувства – что так утомительно и так противоестественно. Вероятно, этот поворот в наших отношениях радует вас не меньше, чем меня.

Лизистрата. Я просто в восторге, сэр! Вы поведете за меня борьбу с Ремонтным трестом.

Аманда. Вот-то потеха будет.

Боэнерджес. Ну, премьер-министр, мы ждем вашего слова. Что вы на это скажете?

Протей *(говорит медленно, сосредоточенно хмуря брови)*. Ваше величество, ультиматум при вас?

Магнус достает бумагу из внутреннего кармана и подает ему. Протей двумя рассчитанными движениями разрывает бумагу на четыре части и швыряет в сторону.

(Произносит раздельно и подчеркнуто.) Никакого отречения. Никаких всеобщих выборов. Никакого ультиматума. Все остается как было. Правительственный кризис миновал. *(Королю, злобно отчеканивая каждое слово.)* Я вам никогда этого не прощу. Вы украли у меня из рук главный козырь. *(Берет шляпу и удаляется через сад.)*

Боэнерджес *(встает)*. Это была очень некрасивая выходка со стороны премьер-министра, сэр. Такое поведение недостойно Сильной Личности. Но я ему укажу на это. Можете положиться на меня. *(Берет шляпу и неторопливым, величественным шагом уходит вслед за Протеем.)*

Никобар. Я уж лучше оставлю свои мысли при себе. *(Хочет взять шляпу, но его останавливают обращенные к нему слова короля.)*

Магнус. Как видите, мистер Никобар, я не опрокинул тележки с яблоками.

Никобар. А мне все равно, можете опрокидывать, если хотите. Я кончил заниматься политикой. Политика – занятие для дураков. *(Уходит.)*

Крассус *(с видимой неохотой поднимается и берет шляпу)*. Что ж, я от Ника не отстану. Как он, так и я.

Магнус. Неужели вы решитесь отойти от политики, мистер Крассус?

Крассус. С превеликим удовольствием, если только Ремонтный трест согласится. Они меня сюда посадили, они мне и другое место найдут, если захотят. *(Уходит.)*

Плиний *(берется за шляпу все с тем же неизменным благодушием)*. Слава богу, все обошлось. В нашем кабинете всегда все обходится. Ну, погорячились немножко, так вы на это не обращайте внимания, сэр. Завтра они все опять будут шелковые. *(Уходит.)*

Бальбус *(взяв шляпу)*. Теперь, когда и они ушли, я позволю себе заметить, что при всех моих недостатках я, пожалуй, не такой уж плохой министр внутренних дел, – это на тот случай, если с монархией что-нибудь выйдет не так и вашему величеству придется подбирать себе кабинет уже в качестве президента республики.

Магнус. Не премину учесть это. Кстати, если догоните премьер-министра, напомните ему, пожалуйста, что мы совсем забыли решить один пустяковый вопрос: о предложении Америки аннексировать Британское содружество наций.

Бальбус. Ах ты черт! Ведь в самом деле! Вот это номер! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! *(Уходит, весело смеясь.)*

Магнус. Не понимают они, Лиззи; совершенно не понимают. А ведь это равносильно столкновению с другой планетой. Мы потеряем все – царствие, и силу, и славу – и останемся нагие, лицом к лицу с самими собой.

Лизистрата. И тем лучше, если под «самими собой» вы разумеете англичан старого закала, которые были не похожи ни на кого другого. Теперь ведь все люди в мире похожи друг на друга, как ресторанные меню. Не нужно изображать дело так, будто это Америка времен Георга Вашингтона готовится поглотить Англию времен королевы Анны. Сегодняшний американец – это просто космополит, разыгрывающий из себя отца-пилигрима. Он такой же дядя Сэм, как вы – Джон Булль.

Магнус. Да, мы живем в космополитическом мире, где все нации и расы смешиваются друг с другом; и когда падут все границы, Лондон может оказаться на выборах в худшем положении, чем штат Теннесси и разные другие места, где, по глупости нашей, образование все еще нахо-

дится на уровне сельской школы восемнадцатого столетия.

Лизистрата. Не бойтесь, сэр. Исход борьбы будет решаться не численностью невежественных масс, а мощностью электростанций; без электростанций обойтись нельзя, а их не приведешь в действие шовинистическими песенками и разжиганием вражды к иностранцам, запугиванием и краснобайством – всем тем, чем приводится в действие национализм. Но как жаль, что вы не войдете в парламент, чтобы вместе с нами отстаивать Старую Англию, и не создадите новую партию для борьбы с Ремонтным трестом. *(У нее на глазах слезы.)*

Магнус *(ласково треплет ее по плечу, утешая)*. А хорошо бы, верно? Но я для этого чересчур устарел. Пусть эту комедию доигрывают те, кто помоложе.

Аманда *(берет Лизистрату под руку)*. Пойдемте, дорогая. Я вам спою такие песенки, что вы волей-неволей развеселитесь. Пошли.

Лизистрата прячет платок в карман, порывисто пожимает королю обе руки и выходит вместе с Амандой. Король, оставшись один, погружается в раздумье. Входит королева.

Королева. Что же ты, Магнус? Пора переодеваться к обеду.

Магнус *(не на шутку расстроенный)*. Нет, нет. Мне нужно обдумать очень важный вопрос. Я не буду обедать.

Королева *(властно)*. Не будешь обедать? Это невозможно! К тому же тебе прекрасно известно, что, когда ты думаешь после семи вечера, ты потом не можешь заснуть.

Магнус *(с досадой)*. Но, право, Джемайма...

Королева *(подходит к нему и берет его под руку)*. Ну, ну, ну, без капризов. Обедать нужно вовремя. Будь умницей, и пойдем к столу.

Король с гримасой беспомощной нежности покорно следует за женой.

ГОРЬКО, НО ПРАВДА

Политический гротеск

1931

Вечер. Роскошная спальня в роскошной вилле на окраине богатого английского города. На кровати спит очень бледная молодая леди. У изголовья — столик, на нем пузырек с лекарством, мензурка, коробочка с пилюлями, термометр в стакане с водой, недочитанная книга, заложенная носовым платочком, пуховка, ручное зеркало и груша электрического звонка на шнуре. Судя по всему, молодая леди — прикованная к постели больная. Обстановку спальни составляют: изящный туалетный стол, на нем щетки с серебряными ручками и другие туалетные принадлежности, пестрая подушечка для булавок, подставка для колец и открытый ящичек из черной стали, через край которого свешивается небрежно брошенная нитка жемчуга; письменный стол в стиле Людовика XV с чернильницей, пресс-папье и бюваром; монументальный гардероб, нарядная кушетка, высокая китайская ширма и роскошный ковер. Все убранство комнаты указывает на то, что владелица ее располагает достаточными средствами, чтобы покупать самые дорогие вещи в самых дорогих магазинах, рассчитанных на вкус самого богатого покупателя.

Кровать выдвинута почти на середину комнаты, чтобы сиделка могла свободно проходить между ее спинкой и стеной; ступни больной обращены прямо на нас; дверь (снизу плотно заделанная мешочками с песком, чтобы ни одно дуновение свежего воздуха не проникло в щель) находится в стене справа; кушетка — у той же стены, в глубине комнаты; окно (задернутые занавески и спущенная темно-зеленая штора не пропускают ни проблеска лунного света) — в середине левой стены; справа от окна стоит гардероб, слева — письменный стол, ширма — под прямым углом к гардеробу, туалетный стол у стены, против нас, между кроватью и кушеткой. Кроме кресла перед письменным столом есть еще кресло возле ночного столика и два стула по сторонам туалетного стола. Электрическая арматура состоит из лампочек, скрытых за карнизом, двух лампочек на туалетном столике и лампы на письменном столе. Сейчас свет выключен; комната осве-

щена только лампой на ночном столике, тщательно затененной зеленым абажуром.

Больная погружена в тяжелый сон. Возле нее, в кресле, сидит Чудовище. Ростом и очертаниями оно напоминает человека, но тело его представляет собой прозрачную желеобразную массу; виден черный пунктир скелета. Чудовище сидит согнувшись, подперев голову руками, и, по-видимому, чувствует себя отвратительно.

Чудовище. Ох-ох-ох! Как мне скверно! Как мне тошно! Ох, хоть бы умереть скорей! Почему она не умирает, избавила бы меня от мучений. Какое право она имеет болеть и мучить меня своей болезнью? Корь — вот чем она больна. Корь. И меня заразила, бедного невинного микроба, который не сделал ей ничего дурного. А она говорит, что это я ее заразил. Ох! Справедливо ли это? Ох, как мне плохо! Хотел бы я знать, какая у меня температура,— у нее полчаса назад вынули градусник из-под языка. *(Оглядывает столик и находит термометр в стакане с водой.)* Вот градусник; его не стряхнули — чтобы доктор посмотрел сам. Если температура выше ста, я погиб. Даже боюсь посмотреть. Неужели я умираю? Надо взглянуть. *(Смотрит и со стоном опускает термометр в стакан.)* Сто три! Все кончено! *(В изнеможении падает в кресло.)*

Дверь открывается: входят пожилая леди и молодой врач. Леди, преисполненная тревоги за больную, на цыпочках подходит к постели. Врач невозмутим, но старается держать себя, как полагается в комнате тяжелобольной, хотя, в отличие от своей спутницы, явно не считает случай столь серьезным. Пожилая леди подходит к кровати с левой стороны. Врач подходит справа и наклоняется над больной.

Пожилая леди *(шепотом, способным разбудить мертвого)*. Она спит.

Чудовище. Еще бы! Этот дуралей доктор закатил ей такую дозу модного снотворного, что петух в майское утро проспал бы до обеда.

Пожилая леди. Ах, доктор, скажите, есть какая-нибудь надежда? Перенесет она это новое страшное осложнение?

Чудовище. Корь! А он решил, что это грипп.

Пожилая леди. И так неожиданно! Я просто в отчаянии! А как я ее берегла! Она мое единственное оставшееся

в живых дитя. Моя любимица, мое сокровище. Почему все мои дети умирают? А я ведь следила за малейшим недомоганием. Моя дочь с самого рождения находилась под постоянным наблюдением врачей.

Чудовище. У нее лошадиное здоровье, а то бы она тоже давно умерла.

Пожилая леди. Ах, доктор, дорогой, как вы думаете? Конечно, вам лучше знать, но я так беспокоюсь. Не прописать ли ей новое лекарство? Я столько надежд возлагала на последнюю микстуру, но ведь от нее она заболела корью.

Врач. Дорогая миссис Мопли, могу вас заверить, что микстура не имеет никакого отношения к кори. Это очень слабое тоническое средство...

Чудовище. Стрихнин!

Врач. Я давал его, чтобы поддержать силы больной.

Пожилая леди. Но после этого она заболела корью.

Врач. Это инфекция. Бактерия... понимаете ли, микроб.

Чудовище. То есть я! Вали все на меня!

Пожилая леди. Но как он попал сюда? Я ведь плотно закрываю окна, а дверь завешена простыней, намоченной в карболке.

Чудовище *(в слезах)*. Ни глотка свежего воздуха! Дышать нечем!

Врач. Кто его знает! Он, может быть, скрывался здесь с тех пор, как строили этот дом. Неизвестно. Но вы не волнуйтесь. Ничего серьезного нет. Форма очень легкая, скорей краснуха, чем корь. Положитесь на меня, мы ее выходим.

Пожилая леди. Просто утешение слушать вас, доктор! Чем я отблагодарю вас за все, что вы для нас сделали?

Врач. О, это долг врача. Делаю, что могу.

Пожилая леди. Да, конечно. Но есть ужасные врачи. Хотя бы этот доктор в Фокстоне – совершенно невозможный человек. Он откинул занавеску и впустил в комнату ослепительный солнечный свет, хотя она не выносит его без зеленых очков. Распахнул окно и впустил холодный утренний воздух. Я сказала ему, что он убийца! И как вы думаете, что он мне ответил? «Одну гинею, пожалуйста». Я уверена, что это он впустил микроба.

Врач. Три месяца тому назад! Нет, это не то.

Пожилая леди. Так как же это могло случиться? Скажите, вы наверное знаете, что не нужно нового лекарства?

Врач. Так я ведь уже прописал новое лекарство.

Чудовище. Три раза прописывал!

Пожилая леди. Знаю, знаю, доктор, вы очень внимательны. Но ведь оно не помогло, напротив, ей стало хуже.

Врач. Но, дорогая миссис Мопли, она же заболела корью. Мое лекарство тут ни при чем.

Пожилая леди. О конечно! Я ни минуты не сомневаюсь, что все, что вы делаете, к лучшему. Но все-таки...

Врач. Ну, хорошо, хорошо, сейчас напишу рецепт.

Пожилая леди. Ах, благодарю, благодарю вас! Я так и знала, что вы согласитесь. Новое лекарство, знаете ли, иногда творит чудеса.

Врач. Я считаю, что, когда она поправится, перемена воздуха...

Пожилая леди. Нет, нет, и не говорите! Она должна быть там, где есть врач, хорошо знающий ее организм. Покойный доктор Ньюленд знал ее с самого рождения.

Врач. К сожалению, Ньюленд умер.

Пожилая леди. Да, но его практика перешла к вам. Я не буду знать ни минуты покоя, если вас не будет поблизости. Вы уговорили меня увезти ее в Фокстон. А что из этого вышло? Нет, нет, ни за что!

Врач. Ну, как хотите. *(Покорно пожимает плечами и подходит к ночному столику.)* А как температура?

Пожилая леди. Дневная сиделка измеряла. Я не решилась посмотреть.

Врач *(смотрит на термометр)*. Гм!

Пожилая леди *(дрожа)*. Что, поднялась? Ах, доктор!

Врач *(торопливо сбивая ртуть)*. Нет, нет, ничего. Почти нормальная.

Чудовище. Врет и не краснеет!

Пожилая леди. Какое счастье!

Врач. Все же будьте осторожны. Не думайте, что она уже здорова. Не спускайте ее с постели. Малейшая простуда может оказаться роковой.

Пожилая леди. Доктор, скажите мне, вы ничего от меня не скрываете? Почему она всегда болеет, несмотря на то, что я истратила целое состояние на ее лечение? Тут должна быть какая-нибудь глубокая, серьезная причина. Скажите мне все, не щадите меня. Я всю жизнь боялась этого. Может быть, мне следовало сразу сказать вам всю правду, но я не могла решиться. Дело в том, что отчим ее дяди умер от расширения сердца. У нее то же самое?

Врач. Господи боже мой, конечно нет! Что вам пришло в голову?

Пожилая леди. Но ведь у нее и раньше бывала сыпь.

Чудовище. Прыщи! Объедалась шоколадными конфетами.

Врач. Пустяки. Легкое нарушение обмена веществ. С этим мы справимся.

Пожилая леди. А вы уверены, что легкие не задеты?

Врач. Дорогая миссис Мопли, ее легким позавидовала бы морская чайка.

Пожилая леди. Тогда, значит, это сердце. Не обманывайте меня. У нее перебои. А вчера она мне сказала, что, когда эта противная сиделка ей нагрубила, сердце у нее остановилось на пять минут.

Врач. Глупости! Если бы сердце остановилось хоть на пять секунд, она бы умерла. Все органы у нее в порядке. Просто хрупкий организм, вот и все. Мы дадим ей усиленное питание. Побольше хорошего свежего мяса, полбутылки шампанского к завтраку, стакан портвейна к обеду — и она станет другим человеком. Основательный бифштекс, слегка недожаренный, в некоторых случаях прекрасно помогает.

Чудовище. Я умру от несварения желудка. Но и она умрет. Это все-таки утешение.

Врач. Вы не волнуйтесь из-за кори. Уверяю вас, форма очень легкая.

Пожилая леди. О, вы меня не знаете. Я никогда не волнуюсь по пустякам. Вы не забудете про рецепт?

Врач. Сейчас напишу. *(Достает перо, блокнот и садится за письменный стол.)*

Пожилая леди. Благодарю вас. А я пойду взглянуть, где эта новая сиделка пропадает. Наверно, никак не кончит чай пить. *(Подходит к двери, берется за ручку, потом останавливается в нерешительности и возвращается.)* Доктор, я знаю, вы не верите в прививки. Но мне все-таки кажется, что ей нужно сделать прививку. Это очень помогает.

Врач *(теряет терпение)*. Дорогая миссис Мопли, никогда я не говорил, что не верю в прививки. Но какой смысл делать прививку, когда больная и так заражена?

Пожилая леди. Я на себе испытала, как это полезно. Мне сделали прививку от гриппа три года назад, и с тех пор я болела только четыре раза. А сестра моя болеет каждую весну. Пожалуйста, ради меня, сделайте ей прививку. Я так боюсь, что мы что-нибудь упустим в ее лечении.

Врач. Ну хорошо. Я подумаю. Она получит и новую микстуру и прививку. Это вас успокоит?

Пожилая леди. Благодарю вас, благодарю. Вы просто камень сняли с моей души. Я уверена, что это ей очень поможет. А теперь извините меня на минутку, я пойду позову сиделку. *(Выходит.)*

Врач. Вот надоедливая баба!

Чудовище *(встает и подходит к врачу сзади)*. Что верно, то верно.

Врач *(изумленно оглядывается)*. Что? Кто здесь?

Чудовище. Никого нет, кроме меня и больной. А вы вкатили ей такую дозу снотворного, что она и через десять часов не заговорит. Когда-нибудь это плохо кончится.

Врач. Ерунда! Она думала, что принимает снотворное, а на самом деле это просто аспирин в растворе эфира. Но с кем я разговариваю? Пьян я, что ли?

Чудовище. Вовсе нет.

Врач. Так кто вы такой? Или что вы такое? И где вы? Что это, фокус?

Чудовище. Я только несчастный, больной микроб.

Врач. Больной микроб?

Чудовище. Да. Вам, вероятно, никогда не приходило в голову, что и микроб может заболеть.

Врач. А чем вы больны?

Чудовище. Корью.

Врач. Вздор! Микроб кори еще не открыт. Если есть такой микроб, так это не корь, а паракорь.

Чудовище. Господи боже ты мой! Что это такое — паракорь?

Врач. Паракорь так похожа на корь, что отличить невозможно.

Чудовище. Если микроба кори не существует, почему вы сказали старухе, что ее дочь заразилась корью от микроба?

Врач. Теперь все пациенты помешались на микробах. Скажи я, что микроба кори нет, она перестала бы мне верить, и я потерял бы пациентку. В тех случаях, когда микроба нет, я его выдумываю. Так, значит, вы и есть неоткрытый микроб кори и вы заразили мою пациентку?

Чудовище. Нет. Она заразила меня. Эти твари, называемые людьми, носят в себе столько отвратительных болезней! Они заражают ими нас, бедных микробов. А вы, врачи, утверждаете, что это мы заражаем их. Я бы всем врачам запретил практиковать.

Врач. Нам и запретили бы, если бы мы заговорили, как вы.

Чудовище. Ох, как мне скверно! Пожалуйста, вылечите меня от кори.

Врач. Не могу. Я ни от одной болезни вылечить не могу. Я только тем и спасаюсь, что пациенты сами вылечиваются. Когда она выздоровеет – и вы будете здоровы.

Чудовище. Она не может выздороветь, потому что и вы и ее мать точно сговорились погубить ее. Ни глотка свежего воздуха. От природы она здорова, как носорог. К черту ваши микстуры и прививки! Выбросьте все это и лечите ее внушением, верой, как христианские медики.

Врач. Я так и делаю. Неужели вы думаете, что я верю в микстуры? Но мои пациенты верят – и вылечиваются.

Чудовище. Шарлатан – вот вы кто.

Врач. Вера и держится шарлатанством, но она помогает.

Чудовище. Так зачем же вы называете это наукой?

Врач. Потому что люди верят в науку. И христианские медики называют свое знахарство наукой.

Чудовище. Христианские медики предоставляют своим пациентам вылечиваться самим. Почему вы этого не делаете?

Врач. Я именно это и делаю. Но я им помогаю. Понимаете, гораздо легче верить в микстуры и прививки, чем в самого себя и в таинственную силу, которая дает нам жизнь и о которой никто ничего не знает. Люди верят в микстуры, и они совершенно растерялись бы, заговори вы с ними начистоту. Значит, в микстурах все дело. Мои пациенты почти всегда выздоравливают. За исключением тех случаев, когда им пора помирать. А это никого не минует.

Чудовище. В ее-то годы! Вовсе ей не пора помирать, но вы ее замучаете до смерти. Уверяю вас, она может вылечиться сама и меня вылечить, только оставьте ее в покое.

Врач. А я вас уверяю, что ей это будет очень трудно. Зачем ей утруждать себя, когда она может заплатить за то, чтобы вместо нее трудились другие? Не чистит же она свои ботинки и не моет полы. Она платит деньги, и кто-то делает это за нее. Зачем ей самой вылечиваться, что гораздо труднее, чем чистить ботинки или мыть пол, когда она может заплатить доктору? Это выгодно и ей и мне. Простая логика, мой друг. А теперь, с вашего разрешения, я удеру отсюда, пока не вернулась старуха и не ввела меня в соблазн свернуть ей шею. *(Встает.)* Помяните мое слово: когда-нибудь кто-нибудь стукнет ее по

голове. Не врач, а кто-нибудь, кто может себе это позволить. Меня она уже свела с ума: я даже слышу голоса и разговариваю с ними. *(Выходит.)*

Чудовище. Напротив, дурень, ты разумнее многих своих коллег. Они воображают, что ключи жизни и смерти у меня в кармане. А у меня нет ничего, кроме отчаянной головной боли. О господи, господи!

Чудовище медленно уходит за ширму. Больная, оставшись одна, начинает шевелиться. Она поворачивается на другой бок и капризным тоном зовет.

Больная. Сестра! Мама! Что же это, никого нет? *(Плачет.)* Эгоисты! Звери! Все меня бросили. *(Сердито хватается за грушу звонка, висящую возле ее правой руки, и несколько раз нажимает кнопку.)*

Пожилая леди и сиделка вбегают в комнату. Сиделка молода, проворна, энергична и очень недурна собой Миссис Мопли подходит к ночному столику, сиделка подходит к больной справа от кровати.

Пожилая леди. Что такое, деточка? Ты проснулась? Снотворное не действует? Тебе хуже? Что с тобой? А где же доктор?

Больная. Мне ужасно скверно. Я тут лежу целую вечность, звоню и звоню, и никто не идет. Никому нет дела, жива я или умерла.

Пожилая леди. Ну как можно так говорить, деточка! Здесь же оставался доктор. Я вышла только на минуточку. Мне нужно было сговориться с новой сиделкой и дать ей указания. Вот она. И, ради бога, прикрой плечо, деточка. Ты простудишься, и тогда все пропало. Сестра, смотрите, чтобы она всегда была укрыта. Как вы думаете, не положить ли грелку к плечу, чтобы согреть его? Оно очень холодное, деточка?

Больная *(раздраженно)*. Как лед.

Пожилая леди. Да что ты? А кругом только и слышишь что о воспалении легких. Какая досада, что доктор ушел. Он послушал бы твои легкие...

Сиделка *(трогает плечо больной)*. Совсем теплое.

Больная *(заливаясь слезами)*. Мама, убери эту противную женщину. Она хочет убить меня.

Пожилая леди. Да нет же, дорогая. У нее прекрасные рекомендации. Я сейчас не достану другой сиделки, уже

поздно. Прошу тебя, ради меня постарайся не ссориться с ней. Потерпи до утра, пока придет дневная сиделка.

Сиделка. Давайте я поправлю постель и уложу вас поудобней. Вы тут задохнетесь. Четыре тяжелых одеяла и пуховая перина! Не удивительно, что вы раздражены.

Больная *(кричит)*. Не трогайте меня! Уходите! Вы меня убьете. Никому нет дела, жива я или умерла.

Пожилая леди. Ах, деточка, не говори так. Ты отлично знаешь, что это неправда. А мне так больно это слушать.

Сиделка. Не надо обращать внимания на слова больной, сударыня. Шли бы вы лучше спать, а я займусь больной. Вы совсем замучились. *(Подходит к миссис Мопли и ласково, но твердо берет ее под руку.)*

Пожилая леди. Это верно, что я измучена. Еле на ногах стою. Очень мило с вашей стороны, что вы это заметили! Но как я могу оставить ее в таком состоянии?

Сиделка. В комнате больной не должно быть лишних людей. Вы сами видите, как это раздражает и волнует ее.

Пожилая леди. Ах, вы совершенно правы. Доктор говорит, что ей необходим покой.

Сиделка *(подводит ее к двери)*. А вам нужно хорошенько выспаться. Можете положиться на меня, я все сделаю, что нужно.

Пожилая леди *(шепотом)*. Я, пожалуй, пойду. Какая вы добрая! Вы позовете меня, если что-нибудь?..

Сиделка. Ну конечно. Обещаю вам разбудить вас, если что-нибудь случится. Спокойной ночи, сударыня.

Пожилая леди *(вполголоса)*. Спокойной ночи. *(Выходит на цыпочках.)*

Сиделка, оставшись одна с больной, словно забывает о ее присутствии. Она идет прямо к окну, отдергивает занавески и поднимает штору, отчего целый поток лунного света вливается в комнату; потом открывает окно. После этого она направляется к двери, где находится выключатель.

Больная *(кутаясь в одеяло)*. Что вы делаете? Закройте окно, спустите штору и задерните занавеси, слышите? Вы что, хотите убить меня?

Сиделка зажигает полный свет.

(Прикрывая глаза руками.) Ой, ой, не могу! Потушите свет!

Сиделка тушит свет.

Как вы невнимательны!

Сиделка опять зажигает свет.

Не надо, не надо. Глаза режет.

Сиделка тушит свет.

Нет, нет. До чего вы бестолковы! Оставьте немного света. Я хочу почитать. Лампочки слишком мало! Неужели вы сами не видите?

Сиделка опять зажигает свет и невозмутимо возвращается к постели.

Не понимаю, как можно быть такой невнимательной, такой бестолковой. Мне ужасно плохо. Закройте окно и потушите половину лампочек, слышите?

Сиделка грубо стаскивает с постели перину, рывком выдергивает из-под больной подушку и удобно располагается в кресле у постели.

Как вы смеете брать мою подушку? Что за наглость!

Сиделка, сидя в кресле, вынимает из кармана страницу, вырезанную из иллюстрированного журнала, и начинает сосредоточенно изучать ее.

Что же, долго вы будете так сидеть и ничего не делать? Сейчас же закройте окно.

Сиделка *(грубо)*. Ну вас, спите уж. *(Снова погружается в изучение листка, который держит в руках.)*

Больная. Не смейте так разговаривать со мной! Я просто не верю, что вы настоящая, опытная сиделка.

Сиделка *(невозмутимо)*. Конечно нет. Я и за пять тысяч в год не пошла бы в сиделки. Но я знаю, как обращаться с такими, как вы, потому что я раз лежала в больнице, а там женщины часто скандалили, и я видела, как сиделки справляются с ними. Насмотрелась я там и кое-чему выучилась. *(Вынимает из кармана бумажный пакетик и открывает его на ночном столике. В пакетике около полуфунта поваренной соли.)* Вы знаете, что это такое и что с этим делают?

Больная. Это что, лекарство?

Сиделка. Да. Лекарство от криков, слез и капризов. Когда больная начинает беситься, она первым делом разевает

рот, и тогда сиделка просто-напросто запихивает ей в рот горсть этого лекарства. Обыкновенная поваренная соль. Не орать, понятно?

Больная *(решительно)*. Нет, не выйдет! *(Тянется к звонку.)*

Сиделка *(проворно опережая ее)*. Нет, нет, выйдет! *(Забрасывает шнур вместе со звонком за кровать.)* Теперь нам никто не помешает. Никаких звонков. А если вы раскроете рот пошире, получите горсть соли. Ясно?

Больная. Вы думаете, здесь больница, а я несчастная больная, над которой можно издеваться как угодно? Вы знаете, что с вами будет завтра утром, когда придет мама?

Сиделка. Утром, дорогая, меня с собаками не сыщешь.

Больная. И вы хотите, чтобы я, тяжело больная, провела с вами ночь с глазу на глаз?

Сиделка. Вовсе не с глазу на глаз. Я кое-кого жду.

Больная. Кое-кого ждете?..

Сиделка. Моего друга. Я сказала ему, что он может зайти ко мне, если свет потухнет два раза.

Больная. Так вот почему...

Сиделка. Вот почему.

Больная. И вы спокойно заявляете, что сюда придет ваш приятель, и собираетесь любезничать с ним всю ночь у меня на глазах?

Сиделка. Вы можете спать.

Больная. И не подумаю! Придется вам вести себя прилично в моем присутствии.

Сиделка. Об этом не беспокойтесь. Он придет по делу. Он мой компаньон, а вовсе не кавалер.

Больная. А более подходящего места для ваших дел, чем моя комната, да еще среди ночи, у вас не нашлось?

Сиделка. Вы еще не знаете, какое у нас с ним дело. Это можно сделать только здесь и только ночью. Да вот и он, кажется.

В окно влезает вор, элегантно одетый, в резиновых перчатках и белой полумаске, закрывающей нос. Ему немногим больше тридцати лет, у него приятная наружность и необыкновенно благозвучный голос.

Вор. Все в порядке, Цыпка?

Сиделка. Все в порядке, Попси.

Вор бесшумно закрывает окно, задергивает занавеси; минуя сиделку, проходит к постели.

Вор. Черт, она не спит. Разве ты не дала ей снотворного?

Больная. Вы хотите, чтобы я спала, когда вы в моей комнате? Кто вы такой? И зачем вы нацепили маску?

Вор. Исключительно ради того, чтобы вы меня не узнали, если нам доведется встретиться еще раз.

Больная. Не имею ни малейшего желания встречаться с вами, поэтому можете спокойно снять маску.

Сиделка. Я ей не сказала, Попси, зачем мы пришли.

Больная. Я не знаю и знать не желаю, зачем вы пришли. Могу вам только сказать, что, если вы сейчас же не уйдете отсюда и не пришлете ко мне маму, я заражу вас корью.

Вор. Мы оба переболели ею, дорогая леди. Боюсь, что мы еще немного побеспокоим вас своим присутствием. *(Сиделке.)* Ты узнала, где?

Сиделка. Нет, не успела. Туалетный стол вон там. Пойди поищи.

Вор обходит кровать спереди и направляется к туалетному столу.

Больная. Что вам нужно на моем туалетном столе?

Вор. Очевидно, ваш знаменитый жемчуг.

Больная *(срывается с постели, мощным прыжком достигает туалетного стола и грудью встает на защиту своего ожерелья)*. И не думайте!

Вор *(подходит к ней)*. Разрешите, пожалуйста.

Больная. Получите! *(Держась за край стола обеими руками, она поднимает ногу под прямым углом и сильным движением наносит ему сокрушительный удар в солнечное сплетение.)*

С душераздирающим стоном он, скорчившись, падает на кровать и скатывается на ковер по другую сторону. Сиделка, обежав изголовье кровати, бросается на больную Больная хватает ее за ноги, приподнимает и швыряет. Сиделка с грохотом падает навзничь на кушетку. Больная тяжело переводит дух, шатается, спотыкаясь добирается до постели и валится на нее Сиделка, ошеломленная атлетической силой своей пациентки, но невредимая, вскакивает с кушетки.

Сиделка. Живо, Попси, свяжи ей ноги. Она в обмороке

Вор издает жалобный стон и переворачивается на живот.

Скорей, скорей, слышишь?

Вор *(пытаясь встать)*. Ой! ой!

Сиделка *(подбегает к нему и трясет его за плечи)*. Ну и дурак же ты, Попси. Помоги мне, пока она не очнулась. Я одна с ней не справлюсь.

Вор. Ой! Дай мне умереть.

Сиделка. Долго ты будешь здесь валяться? Не убила же она тебя.

Вор *(пытается приподняться)*. Почти. Ох, Цыпка моя, почему ты мне сказала, что она беспомощная больная, когда это чемпион в тяжелом весе?

Сиделка. Молчи. Ищи жемчуг.

Вор *(с трудом вставая)*. Что-то мне не хочется никакого жемчуга. Она мне под вздох попала. Очень сожалею, что оказался таким плохим помощником, но, Цыпочка моя, природа отнюдь не предназначала нас для карьеры взломщиков. Наша первая попытка безнадежно провалилась. Давай извинимся и уйдем.

Сиделка. Болван! Нельзя быть таким грусом. *(Наклоняется над больной.)* Слушай, Попси, — по-моему, она спит.

Вор. Пусть спит. Не пробуждай во львице гнев.

Сиделка. Идиот ты несчастный! Как ты не понимаешь, что мы можем связать ей ноги и заткнуть рот, пока она не проснулась, и унести жемчуг. Это проще простого, только нужно вместе и поскорей. Ну, давай.

Вор. Не обольщайся, душа моя. Это так же легко, как доставить самку гориллы в зоологический сад. Нет, не стану я красть этого жемчуга. Честность — лучшая политика. У меня возникла другая идея, еще более гениальная. Предоставь все мне. *(Подходит к туалетному столу.)*

Сиделка *(идет за ним)*. Что ты опять выдумал, глупый?

Вор. Сейчас увидишь. *(Вертит в руках ящичек.)* Домашний сейф; открывается при помощи условной расстановки букв. Это такая же канитель, как набирать номер телефона, поэтому их никогда никто не запирает. Вот и жемчуг. Ах, черт! Если тут нет поддельных жумчужин, это должно стоить около двадцати тысяч фунтов. Ух! Вот кольцо с брильянтом — голубой, огромный. Если настоящий — стоит четыре тысячи фунтов. Цыпка, мы будем купаться в золоте до конца наших дней!

Сиделка. Какая нам польза от голубых брильянтов, если мы не украдем их?

Вор. Погоди, сейчас увидишь. Ступай садись в кресло и что есть сил изображай милую, ласковую сиделку.

Сиделка. Но..

Вор. Делай что тебе говорят. Верь, верь в твоего Попси!

Сиделка *(повинуясь)*. Ну, как знаешь. Ты просто рехнулся.

Вор. Никогда в жизни не поступал так здраво. Постой... Как она зовет своих домашних?.. У нее должен быть электрический звонок. Где же он?

Сиделка *(поднимая звонок с пола)*. Вот. Я зашвырнула его подальше от нее.

Вор. Положи его на постель, возле ее руки.

Сиделка. Попси, ты спятил. Она...

Вор. Слушай, Цыпка, в нашей фирме — я голова, а ты — руки. На сей раз нам предстоит небывалый успех. Слушайся и не рассуждай.

Сиделка *(сдаваясь)*. Пожалуйста! *(Кладет грушу звонка, как велел вор.)* Я умываю руки. *(Надув губы, садится в кресло.)*

Вор *(подходя к постели)*. Кстати сказать, к роли спящей красавицы она мало подходит; у нее скверный цвет лица и дыхание далеко не благовонное. Но если выпустить ее на подножный корм, она может похорошеть. И если кулак у нее действует не хуже ноги, из нее выйдет незаменимый телохранитель для нас, слабосильных... при условии, что я уговорю ее присоединиться к нам.

Сиделка. Присоединиться к нам? Что это значит?

Вор. Ш-ш-ш. Потише. Надо разбудить ее осторожно. *(Наклоняется к уху больной и шепчет.)* Мисс Мопли.

Больная *(протестующе бормочет)*. М-м-м.

Сиделка. Что она говорит?

Вор. Она говорит: «О, не буди меня, дыхание весны». *(Обращаясь к больной, чуть громче.)* Это не матушка ваша, мисс Мопли, это вор.

Больная угрожающе привстает.

(Падает на колени и поднимает руки.) Мисс Мопли, дорогая мисс Мопли! Я в вашей власти. Звонок на постели, у вас под рукой: посмотрите сами. Вам стоит только нажать кнопку, чтобы выдать меня вашей матушке и полиции...

Она хватается за звонок.

...и остаться убогой калекой до конца ваших дней.

Она нерешительно выпускает звонок из рук.

Не очень-то приятная перспектива, правда? Выслушайте меня. Я хочу сделать вам серьезное предложение. При-

мите его, и вы станете другим человеком; вы в корне измените свою судьбу. Ничто не мешает вам слушать меня в полном спокойствии: в любую минуту вы можете позвонить или выкинуть нас в окно, если вам это больше нравится. Я прошу только пять минут.

Больная *(все еще воинственно и настороженно)*. Ну?

Вор *(вставая с колен)*. Разрешите дать вам еще одно доказательство моего доверия. *(Снимает маску.)* Смотрите, можно ли бояться такого лица? Похож я на взломщика?

Больная *(смягчаясь, почти добродушно)*. Нет, вы похожи на церковного служку.

Вор *(несколько обиженный)*. Только не на церковного служку. Надеюсь, что я по крайней мере похож на приходского священника. Но вы необыкновенно проницательны: я в самом деле духовное лицо. Только, прошу вас, никому не открывайте этой тайны: мой отец атеист, и если он узнает, непременно лишит меня наследства. Посвящение мое совершилось тайно, когда я был в Оксфорде.

Больная. Боже, какая нелепость! Все это мне снится. Должно быть, новое снотворное действует. Но это восхитительно, потому что мне снится, что я совершенно здорова. Никогда в жизни мне не было так хорошо. Продолжайте, Попс, пусть длится мой сон. Самое замечательное в этом сне то, что я в вас влюблена. Красавец мой Попс, золото, радость моя, вы идеальный киногерой, только с манерами английского джентльмена. *(Посылает ему воздушный поцелуй.)*

Сиделка. Черт знает что такое!

Вор. Ш-ш-ш-ш! Не рассеивай чар.

Больная *(с глубоким вздохом удовлетворения)*. Не надо будить меня. Я в раю. *(Блаженно откидывается на подушку.)* Продолжайте, Попс. Расскажите еще что-нибудь.

Вор. Отлично. *(Придвигает стул от туалетного стола и удобно усаживается возле кровати.)* Мы чудесно проведем ночь. Слушайте. Представьте себе изумительный июльский день. Шотландия. Суровые скалы отражаются в зеркальной глади озера, а на озере лодка... или, скажем, челн.

Больная *(в экстазе)*. Челн! О Попси!

Вор. На корме сидит Цыпка, а я удобно разлегся, и голова моя покоится у нее на коленях.

Больная. Можете пропустить Цыпку, Попс. Ее любовные переживания меня не интересуют.

Вор. Вы ошибаетесь. Цыпкины мысли были далеко от меня. Она думала о вас.

Больная. Вот наглость! Это похоже на нее. А что она знает обо мне?

Вор. А вот что. Ее лилейная рука держала номер «Дамского журнала». Там помещено иллюстрированное описание ваших драгоценностей. Можете вы догадаться, что сказала мне Цыпка, зачарованная красотой заката, любуясь мягкой и величавой линией гор?

Больная. Могу. Она сказала: «Попси, мы должны спереть этот жемчуг».

Вор. Правильно. Слово в слово. А теперь догадайтесь, что я ответил.

Больная. Должно быть, вы сказали: «В самую точку, Цыпка» — или что-нибудь такое же вульгарное.

Вор. Ошибаетесь. Я сказал: «Если у этой девушки голова на плечах, она сама украдет жемчуг».

Больная. О-о! Это становится интересно. А как же я могу украсть свой собственный жумчуг?

Вор. Продайте его. А вырученные деньги прокутите. Узнайте жизнь! Жизнь! Лежать больной в постели — это не жизнь, правда?

Больная. Чем же это не жизнь? Я еще не умерла. Конечно, наяву я ужасно слабенькая...

Вор. Слабенькая! Всего пять минут назад вы сшибли меня с ног и швырнули Цыпку через всю комнату. Если вы так умеете драться за нитку жемчуга, которую вам никогда не приходится надевать, почему не подраться за вольную жизнь, за свободу делать все, что вздумается, имея полные карманы денег, которые откроют вам доступ ко всем развлечениям необъятного мира. Черт возьми! Неужели вам не хочется быть молодой, красивой, дышать полной грудью, быть чемпионом тенниса, пользоваться всеми благами жизни, вместо того чтобы прозябать здесь и терпеть приставания вашей глупой матушки и врачей, которые кормятся ее глупостью? Где ваша совесть, что вы так постыдно растрачиваете божьи дары? Вы думаете, что пребываете в немощах? Неверно: вы пребываете во грехе. Продайте жемчуг и на вырученные деньги купите свое спасение.

Больная. Теперь я вижу, что вы действительно духовное лицо, Попс. Но я не знаю, как продать жемчуг.

Вор. А я знаю. Позвольте мне продать его для вас. Конечно, за приличные комиссионные.

Б о л ь н а я. Вот тут-то и загвоздка. Как доверить вам продажу жемчуга? А вдруг вы присвоите всю сумму?

В о р. Цыпка, у мисс Мопли задатки весьма деловой женщины. *(Обращаясь к больной.)* Рассудите, Мопс. Будем для краткости звать друг друга Мопс и Попс. Если я украду ваш жемчуг, мне придется продавать его как краденый, и моему покупателю будет отлично известно, что этот жемчуг я украл. Я буду рад, если удастся выручить за него четверть его стоимости. Если же я буду продавать открыто, как агент законного владельца, я получу его рыночную цену полностью. Деньги будут выплачены вам А комиссионные вы мне заплатите, я вам доверяю. Мы с Цыпкой вполне удовольствуемся пятьюдесятью процентами.

Б о л ь н а я. Пятьдесят процентов! Ого!

В о р *(с твердостью)*. Согласитесь, что мы заслужили эту сумму. Учтите нашу работу, риск, которому мы оба подвергаемся, и бесценное благо, которое вы приобретете: избавление от этого мерзкого дома. По рукам, Мопс?

Б о л ь н а я. Это баснословная цена. Но в мире грез щедрость ничего не стоит. Вы получите свои пятьдесят процентов Ваше счастье, что я сплю. Если я проснусь, мне никогда не уйти от моих родных и от моего общественного положения. Хорошо вам, преступникам,— вы можете делать все что угодно. Будь вы людьми моего круга, вы бы знали, как трудно не делать того, что делают все.

В о р. Простите, но, я думаю, вы будете лучше чувствовать себя с нами, если я сообщу, что мы именно люди вашего круга. Мой род, которым я отнюдь не кичусь, знатнее, чем ваш. Можете посмотреть в справочнике Бурка или Дебретта. Ваши предки наживали деньги торговлей. Мои предки жили на доходы со своих поместий или управляли британскими колониями. Цыпка стояла бы на высшей ступени общественной лестницы, если бы не то грустное обстоятельство, что ее родители, хоть и соединенные перед лицом господа, не удосужились сочетаться законным браком. По крайней мере, так она говорит

С и д е л к а *(сердито)*. Я говорю то, что есть. *(Обращаясь к больной.)* Мы с Попси ничуть не хуже тех, с кем вы водитесь.

Б о л ь н а я. Неправда, Цыпка. Вы просто продувная девчонка и жулик. Но вы меня забавляете. Будь вы настоящая леди, в вас не было бы ничего забавного: вы боялись бы вести себя не так, как подобает леди.

Вор. Правильно. Ну, признавайтесь: с нами веселей, чем с вашей дражайшей заботливой матушкой, вкупе с приходским священником и всей вашей любящей родней? Правда ведь? Ну конечно правда.

Больная. Меня возмущает, что вы двое, которым место в тюрьме, живете в свое удовольствие, а я, только потому, что я респектабельная леди, живу как в тюрьме.

Вор. Разве вам не хочется уйти с нами?

Больная *(спокойно)*. Я и намерена уйти с вами. Я хочу выжать из моего сна все, что можно. Не забывайте, Попс, что я люблю вас. Весь мир перед нами. Вы с Цыпкой провели неделю в стране озер и гор за семь гиней, включая чаевые. А теперь вы проведете вечность с вашей Мопс в самом райском уголке земного шара, какой только удастся найти, и притом даром.

Сиделка. А я что же?

Больная. Вы будете моей компаньонкой.

Сиделка. Компаньонкой! Хватает у вас нахальства, нечего сказать.

Больная. Знаете что: вы будете графиней. Мы поедем за границу, там никто не догадается. У вас будет пышный иностранный титул: графиня Вальбриони. Соблазняет вас?

Сиделка. Черта с два! Уступаю вам эту честь.

Вор. Постой, Цыпка. У меня новая идея. Совершенно потрясающая. Давайте инсценируем похищение.

Сиделка. Что это значит «инсценируем похищение»?

Вор. Это очень просто. Мы похищаем Мопс. То есть мы прячем ее в горах Корсики, или Истрии, или Далмации; можно в Греции, Ливии,— где угодно, только подальше от Скотланд Ярда. Мы прикинемся разбойниками. Любящая мать выложит пять тысяч, чтобы выкупить ее. Выкуп мы поделим пополам: пятьдесят процентов Мопс, двадцать пять тебе, двадцать пять мне. Слушайте, Мопс: вы реализуете стоимость не только своего жемчуга, но и собственной особы. Гениальный финансовый ход!

Больная *(в волнении)*. Греция! Далмация! Похищение! Разбойники! Выкуп! *(Слабеющим голосом.)* Ах, не искушайте меня, безумцы: вы забыли про корь.

Чудовище неожиданно появляется из-за ширмы. Оно преобразилось: из распухшего, умирающего Калибана оно превратилось в цветущего Ариеля.

Чудовище *(подхватывая последнюю реплику больной)*. Да и вы сами забыли. Никакой кори: потасовка из-за жемчуга вылечила вас и вылечила меня. Ха, ха! Я здоров, здоров, здоров! *(Прыгает от радости и в конце концов, взобравшись на подушки, вползает в постель и ложится рядом с больной.)*

Сиделка. Если вы могли выскочить из постели и расправиться с Попси и со мной, то вы можете одеться и бежать с нами. Только закутайтесь получше, нас ждет машина.

Вор. Это не опаснее отправки в больницу, Мопс. Боритесь за свободу. Вставайте! *(Вдвоем они стаскивают ее с кровати.)*

Больная. Я не умею одеваться без горничной.

Сиделка. А вы пробовали?

Вор. Даем вам пять минут. Если вы не будете готовы, мы уйдем без вас. *(Смотрит на ручные часы.)*

Больная бросается к шкафу и выхватывает меховое манто, шляпу, платье, комбинацию, пару чулок, черные шелковые трусики, туфли. Все это она швыряет на пол. Сиделка собирает большую часть вещей, остальные подбирает больная, и они вдвоем скрываются за ширмой. В это время вор выходит вперед, становится в ногах кровати и — не то аукционист, не то проповедник — начинает ораторствовать.

Меховое манто. Котик. Не очень модное, но сорок пять гиней стоит. Шляпа. Строгая и элегантная. Платье-костюм. Комбинация: шелк с шерстью. Настоящие шелковые чулки без стрелок. Трусики: последний крик моды! Туфли: каблуки не выше двух дюймов, но для ходьбы по горам не годятся. Какая тема для проповеди! Благовоспитанная девица восстала против респектабельной жизни. Алчущая душа покидает родной дом, о котором недаром сказано, что он для девушки — темница, а для женщины — каторга. Назойливая опека нежных родителей, неотвязные заботы домашнего священника о ее спасении и домашнего врача о ее здоровье; навязчивая любовь докучливых братьев и сестер; отвратительная привычка дальних родственников, претендующих на близость, называть ее по имени; ежеминутное вторжение в личную жизнь бестактными расспросами, где была и что делала; шепот за ее спиной относительно шансов на замужество; непрерывное поругание той священной ауры, которая всегда

окружает живую душу, подобно тому, как нимб окружает головы святых на картинах. Против всех этих способов замучить ее до смерти в ней подымается, как кипящее молоко в кастрюле, сокровеннейшая, наивысшая жизнь и кричит: «Долой вас всех! Прочь от меня! Ныне и впредь врата открыты для настоящей жизни, что бы она ни принесла! Ибо в чем смысл нашего мира случайностей, катастроф, порывов и побед, если это не арена для приключений непреходящей жизни? Тщетно уродуем мы наши улицы надписями, вещающими: осторожность превыше всего! Тщетно народы взывают: безопасность, безопасность, безопасность! Те, кто кричит об осторожности, никогда не переходят улицу. Государства, которые приносят жизнь в жертву безопасности, находят ее в могиле. Мой девиз: осторожность – последнее дело! И вперед, вперед, всегда впе...»

Сиделка *(выходя из-за ширмы)*. Заткни фонтан, Попси: она готова.

Больная, в манто, в туфлях, задыхаясь, выходит следом за сиделкой и становится по левую руку вора.

Больная. Вот и я, Попс. Один поцелуй, и я следую за вами.

Вор. Согласен. Ваш цвет лица еще оставляет желать многого, но *(целуя ее)* дыхание ваше сладостно, это дыхание свободы.

Чудовище. Что ее цвет лица! Посмотрите на мой!

Вор *(выпуская больную и поворачиваясь к сиделке)*. Ты что-то сказала?

Сиделка. Нет. Поторапливайся, слышишь?

Вор. Это, должно быть, ваша матушка храпит, Мопс. Не скоро вы опять услышите эту мелодию. Пролейте слезу.

Больная. Ни единой. Будущее женщины не подле ее матери.

Сиделка. Если и вы начнете проповедовать, как Попси, то молочник придет раньше, чем мы уйдем отсюда. Не забудьте, мне еще нужно переодеться внизу. Попси, не бродит ли под окнами полисмен? Выгляни-ка. Осторожность превыше всего. *(Торопливо выходит.)*

Вор. На сей раз, в виде исключения, пусть будет так. *(Подходит к окну.)*

Больная. Глупый, полиция вас не тронет, если я заступлюсь. Это я рискую, что меня мама поймает.

Вор. Правильно. У вас, против всяких ожиданий, необыкновенно ясная голова. Дай бог, чтобы ваше похищение оказалось мне по зубам. Идем. *(Выбегает из комнаты.)*

Б о л ь н а я. А жемчуг забыл!!! Слава богу, он дурачок, очаровательный дурачок. Я буду вертеть им, как захочу. *(Подбегает к туалетному столу, засовывает ожерелье в футляр и уходит, унося его с собой.)*

Ч у д о в и щ е *(садится в постели)*. Пьеса, собственно, на этом кончается. Но действующие лица будут подробно обсуждать ее еще целых два акта. Впрочем, все выходы из зала открыты. Спокойной ночи. *(Закутывается в одеяло и засыпает.)*

Морской берег в гористой местности. Гряда песчаных дюн скрывает лежащую за ней равнину; видны только вершины далекого горного хребта. Деревянный барак с электрическим сигнальным рожком на стене говорит о том, что перед нами военный лагерь. Против барака — палатка-купальня из полосатого холста, у входа в нее — складной стул. Если смотреть со стороны берега, то барак приходится направо, а палатка налево. Финиковая пальма, растущая близ барака, отбрасывает длинную тень, ибо время — раннее утро.

В тени этой пальмы, в шезлонге, сидит полковник британской службы и мирно читает еженедельное приложение к газете «Таймс»; однако снаряжение его включает револьвер. Легкое плетеное кресло, предназначенное для посетителей, стоит тут же, возле барака. Хотя полковнику сильно за пятьдесят, он все еще строен, благообразен, подтянут — военный с головы до пят. Полностью его чин и звание гласят: полковник Толбойс, кавалер креста Виктории и ордена «За примерную службу». Эти отличия он получил, еще когда командовал ротой, и с тех пор не терялся. Мирное чтение газеты нарушает серия оглушительных взрывов, указывающих на то, что со стороны, противоположной бараку, приближается мощный мотоцикл с явно неисправным глушителем.

Толбойс. Черт подери, какой шум!

Незримый мотоциклист слезает с машины и быстро ведет ее, причем она издает невыносимый треск.

(Сердито.) Остановите мотоцикл, слышите?

Шум прекращается. Мотоциклист, поставив машину на место, сняв перчатки и очки, появляется из-за палатки и подходит к полковнику; в руке у него пакет.

Это весьма заурядного вида нижний чин в запыленной одежде; его обветренное лицо тоже в пыли и песке. Все остальное безупречно: мундир и обмотки надеты точно по форме; он отвечает быстро и без запинки. Но полковник, уже рассерженный шумом мотоцикла и вынуж-

денным перерывом в чтении газеты, разглядывает его сурово и немилостиво, ибо в облике этого солдата есть какой-то необъяснимый, раздражающий изъян. На голове у него белый тропический шлем с покрывалом, которое сбоку производит впечатление незаправленного подола рубашки, а спереди похоже на вуаль, накинутую на кудрявую женскую головку, что уже никак не приличествует солдату. Сложен он как семнадцатилетний юноша, а удлиненный череп и веллингтоновский нос и подбородок он, видимо, позаимствовал у кого-то со специальной целью позлить полковника. К счастью для мотоциклиста, все эти недочеты не могут быть внесены в штрафной лист и переданы на рассмотрение военному прокурору, и это еще усугубляет досаду полковника. Мотоциклист, по-видимому, отдает себе отчет, что его наружность производит странное впечатление: хотя свои ответы он отчеканивает с военной краткостью и точностью, неуловимая улыбка иногда придает его лицу ироническое выражение, словно он разыгрывает какую-то веселую шутку. Мотоциклист отдает честь, вручает полковнику пакет и вытягивается в струнку.

Толбойс *(беря в руки пакет)*. Это что такое?

Мотоциклист. Меня посылали в горы с письмом к старшине туземной деревни, сэр. Это его ответ, сэр.

Толбойс. Первый раз слышу. Кто вас послал?

Мотоциклист. Полковник Саксби, сэр.

Толбойс. Полковник Саксби только что уехал в штаб, он серьезно заболел. Вместо него принял командование я, полковник Толбойс.

Мотоциклист. Это мне известно, сэр.

Толбойс. Так что же, это частное письмо, которое нужно переслать ему, или это официальная бумага?

Мотоциклист. Официальная бумага, сэр. Служебный документ, сэр. Можете распечатать.

Толбойс *(поворачиваясь в шезлонге и с гневным сарказмом в упор глядя на мотоциклиста)*. Благодарю вас. *(Окидывает его взглядом от башмаков до переносицы.)* Ваша фамилия?

Мотоциклист. Слаб, сэр.

Толбойс *(брезгливо)*. Как?

Мотоциклист. Слаб, сэр: эс, эл, а, бэ.

Толбойс с омерзением смотрит на него, затем вскрывает

пакет. Пока он в недоумении разглядывает письмо, царит тягостное молчание.

Толбойс. На местном диалекте. Позовите переводчика.

Слаб. Там ничего важного нет, сэр. Письмо было послано только для того, чтобы поразить старшину.

Толбойс. Ах, вот как? Кто дал вам это поручение?

Слаб. Сержант, сэр.

Толбойс. Для передачи письма, адресованного полковником Саксби старшине туземной деревни, ему следовало выбрать кого-нибудь чином постарше и способного поразить. Что это ему вздумалось назначить вас?

Слаб. Я сам вызвался, сэр.

Толбойс. Вот как? Вы считаете себя способным поражать? Вы, вероятно, думаете, что за вас говорит престиж Британской империи?

Слаб. Нет, сэр. Но я знаю местность. И немного говорю на здешнем диалекте.

Толбойс. Блистательно! А почему при таких талантах вы даже не в чине капрала?

Слаб. Не имею соответствующего образования, сэр.

Толбойс. Неграмотный! И не стыдно вам?

Слаб. Нет, сэр.

Толбойс. Даже гордитесь этим, а?

Слаб. Ничего не поделаешь, сэр.

Толбойс. А каким образом вы узнали эту страну?

Слаб. До службы в армии я в некотором роде бродяжничал, сэр.

Толбойс. Ну, попадись мне сержант, который занес вас в список рекрутов, я показал бы ему. Вы позорите армию.

Слаб. Так точно, сэр.

Толбойс. Ступайте, пошлите ко мне переводчика. А сами не возвращайтесь. Не мозольте мне глаза.

Слаб *(нерешительно)*. Э-э...

Толбойс *(повелительно)*. Ну? Вы приказ слышали? Пришлите переводчика.

Слаб. Дело в том, полковник...

Толбойс *(негодуя)*. Как вы смеете называть меня «полковник» и говорить мне, в чем дело! Выполняйте приказ и придержите язык.

Слаб. Слушаю сэр. Виноват, сэр. Переводчик — это я.

Толбойс вскакивает. Он, словно башня, высится над Сла-

бом, который от этого кажется еще меньше ростом. Для вящей внушительности скрестив руки на груди, полковник готов разразиться уничтожающей отповедью, но вдруг опускает руки и с покорным вздохом снова садится.

Толбойс *(устало и почти дружелюбно)*. Отлично. Если вы переводчик, то переведите мне это письмо. *(Протягивает письмо.)*

Слаб *(не беря его)*. Не нужно, благодарю вас, сэр. Старшина не мог сочинить письмо, сэр. Пришлось мне это сделать за него.

Толбойс. Откуда вы знали, что́ писал полковник Саксби?

Слаб. Я прочел письмо старшине, сэр.

Толбойс. Он просил вас об этом?

Слаб. Так точно, сэр.

Толбойс. Он не имел права сообщать содержание такого письма нижнему чину. Он, должно быть, сам не понимал, что делает. Вы, вероятно, выдали себя за офицера? Ведь так?

Слаб. Для него это одно и то же́, сэр. Он величал меня владыкой Западных островов.

Толбойс. Вас? Такую козявку? В письме же, вероятно, указано, что оно посылается через обыкновенного рядового, не имеющего никаких полномочий. Кто составил письмо?

Слаб. Полковой писарь, сэр.

Толбойс. Позовите его. Скажите, чтобы он захватил запись распоряжений полковника Саксби. Слышите? Перестаньте гримасничать. И пошевеливайтесь. Позовите полкового писаря.

Слаб. Дело в том...

Толбойс *(грозно)*. Опять!!

Слаб. Виноват, сэр. Полковой писарь — это я.

Толбойс. Что? Так вы сами написали и письмо и ответ?

Слаб. Так точно, сэр.

Толбойс. Значит, либо вы сейчас врете, либо соврали, когда сказали, что вы неграмотный. Так как же?

Слаб. Очевидно, я не способен выдержать экзамен, когда дело доходит до моего производства. Нервы, должно быть, сэр.

Толбойс. Нервы! Какие у солдата могут быть нервы? Вы хотите сказать, что вы плохой солдат и поэтому вас суют куда попало, подальше от военных действий?

Слаб. Так точно, сэр.

Толбойс. Надеюсь, в следующий раз, когда вас пошлют с письмом, вы попадете в руки разбойников, и надолго.

Слаб. Никаких разбойников нет, сэр.

Толбойс. Нет разбойников? Вы говорите, нет разбойников?

Слаб. Так точно, сэр.

Толбойс. Вы знакомы с воинским уставом?

Слаб. Я слышал, как его читали вслух, сэр.

Толбойс. Вы поняли, что там сказано?

Слаб. Думаю, что понял, сэр.

Толбойс. Вы думаете! Ну, так подумайте хорошенько. Вы служите в экспедиционном отряде, посланном для подавления деятельности разбойников этой местности и для спасения английской леди, за которую они требуют выкуп. Это-то вы знаете? Не думаете, а знаете, а?

Слаб. Так говорят, сэр.

Толбойс. И еще вы знаете, что, по уставу, каждый, кто, состоя в действующей армии, заведомо совершает поступок, могущий помешать успехам армии его величества или части таковой, подлежит смертной казни. Вы понимаете? Смертной казни.

Слаб. Так точно, сэр. Закон об армии, часть первая, раздел четвертый, параграф шестой. А может быть, вы имеете в виду раздел пятый, параграф пятый, сэр?

Толбойс. Вот как? Будьте так добры и процитируйте раздел пятый, параграф пятый.

Слаб. Слушаю, сэр. «Распространяет устные слухи, рассчитанные на то, чтобы вызвать необоснованную тревогу или уныние».

Толбойс. Счастье ваше, рядовой Слаб, что в законе ничего не сказано о нижних чинах, вызывающих уныние одним своим видом. Иначе ваша жизнь не стоила бы и ломаного гроша.

Слаб. Так точно, сэр. Прикажете зарегистрировать письмо и ответ с приложением перевода, сэр?

Толбойс *(рвет письмо на клочки)*. По вашей милости все это превратилось в буффонаду. Что сказал старшина?

Слаб. Он только сказал, что теперь здесь очень хорошие дороги, сэр. Круглый год оживленное автомобильное движение. Последний разбойник ушел на покой пятнадцать лет тому назад, ему сейчас девяносто лет.

Толбойс. Обычная ложь! Этот старшина в стачке с разбойниками. Сам, наверное, не без греха.

Слаб. Не думаю, сэр. Дело в том...

Толбойс. Опять «дело в том»!

Слаб. Виноват, сэр. Тот старый разбойник и есть старшина. Он послал вам в подарок барана и пять индеек.

Толбойс. Немедленно отправить обратно. Отвезите их на вашем мерзком мотоцикле. Объясните ему, что английские офицеры не азиаты, они не берут взяток у местных властей, в чьих владениях они обязаны восстановить порядок.

Слаб. Он этого не поймет, сэр. Он не поверит, что вы облечены властью, если вы не примете подарков. Да они еще и не прибыли.

Толбойс. Так вот, как только прибудут его гонцы, отправьте их обратно вместе с бараном и индейками и приложите записку о том, что преданностью и усердием можно завоевать мое расположение, но купить его нельзя.

Слаб. Они не посмеют вернуться обратно ни с подарками, ни с запиской. Они украдут барана и индеек и передадут дружеский привет от вас. Лучше оставьте себе мясо и птицу, сэр. Это будет приятное разнообразие после армейского рациона.

Толбойс. Рядовой Слаб!

Слаб. Слушаю, сэр.

Толбойс. Если когда-нибудь на вас возложат командование этой экспедицией, вы, разумеется, будете придерживаться своих убеждений и своих моральных принципов. А пока что будьте любезны повиноваться моим приказам и не пререкаться.

Слаб. Слушаю, сэр. Виноват, сэр.

Слаб отдает честь, поворачивается на каблуках и сталкивается лицом к лицу с сиделкой, выходящей из палатки; на ней изумительный купальный костюм, поверх которого накинут пестрый шелковый халат. За нею следует больная в обличье туземной служанки; от ее прежнего болезненного вида не осталось и следа, могучая мускулатура обрисовывается под кожей, загорелой до цвета терракоты и лоснящейся от масла. Она костюмирована под «belle sauvage»[1]*; на ней головной убор, парик, украшения из тех, что можно увидеть только в русском балете; в руках у нее зонтик и циновка.*

Толбойс *(галантно, вставая с шезлонга)*. А-а, дорогая графиня! Счастлив видеть вас! Как это мило, что вы пришли.

---

[1] Красавицу-дикарку *(франц.)*.

Графиня *(протягивая ему кончики пальцев)*. Как делишки, полковник? Ужасно жарко, правда? *(Говорит с каким-то нелепым акцентом, без разбору копируя всех лакеев-иностранцев, с которыми ей когда-либо приходилось работать.)*

Толбойс. Садитесь, садитесь. *(Берет шезлонг за спинку и пододвигает его графине.)*

Графиня. Спасибо. *(Сбрасывает с себя халат, который подхватывает больная, и, с элегантной небрежностью развалившись в шезлонге, зовет.)* Мистер Слаб. Мистер Сла-а-аб!

Слаб молодцевато поворачивается, подходит к ней и козыряет.

Мои туалеты наконец прибыли из Парижа. Если бы вы были так милы и доставили их как-нибудь в мое бунгало. Я, конечно, заплачу все, что нужно. И еще – можете вы получить мне деньги по аккредитиву? Триста фунтов, мне пока хватит.

Слаб *(без тени смущения, невольно меняя солдатскую выправку на манеры джентльмена)*. Сколько ящиков, графиня?

Графиня. Боюсь, что шесть. Очень трудно будет?

Слаб. Понадобится верблюд.

Графиня. Хоть целый караван. Расходы – это пустяки. А как насчет аккредитива?

Слаб. Очень сожалею, графиня, но у меня при себе только двести фунтов. Остальные вы получите завтра. *(Вручает ей пачку банкнот, она дает ему аккредитив.)*

Графиня. Вы всегда все можете! Спасибо. Вы так любезны.

Толбойс *(слушавший диалог между ними с возрастающим изумлением)*. Довольно! Ступайте!

Слаб вытягивается, отдает честь, поворачивается налево кругом и уходит беглым шагом.

Графиня, это очень нехорошо с вашей стороны.

Графиня. А что я сделала?

Толбойс. В военном лагере нельзя ни на минуту забывать о субординации. Мы стараемся не подчеркивать этого, но она всегда присутствует и всегда необходима. Этот человек – рядовой. Никакие взаимоотношения на равной ноге, даже намек на фамильярность с вашей стороны недопустимы.

Графиня. Но разве нельзя обращаться с ним как с человеком?

Толбойс. Ни в коем случае. Ваше желание естественно и говорит о вашем добром сердце; но обращаться с рядовым как с человеком — это пагубно для него же самого. Он забывается, слишком много себе позволяет. А в результате попадает в беду и дорого расплачивается за это, подвергаясь соответствующему дисциплинарному взысканию, которое учит его знать свое место. Я прошу вас быть особенно осмотрительной с этим Слабом. Он явно придурковат — носит с собой все свои деньги. Если вам еще случится с ним говорить, дайте ему почувствовать, что разговор с вами — это разговор между высоким начальством и очень низко стоящим подчиненным. Никогда не разрешайте ему заговаривать первым или называть вас иначе, как «миледи». Мы всегда будем рады помочь вам чем только можем, но вы должны обращаться за помощью ко мне.

Больная, в восторге от нахлобучки, которую получила Цыпка, кладет циновку и зонтик на песок и, ухмыляясь до ушей, ставит для полковника плетеное кресло справа от графини, потом сама садится на циновку и, обхватив руками колени вместе с зонтиком, прислушивается к их беседе, стараясь как можно больше походить на туземку.

Спасибо. *(Садится.)*

Графиня. Очень сожалею. Но когда я прошу не его, все только беспомощно разводят руками и говорят: «Вы бы обратились к Слабу».

Толбойс. Конечно, на него все взваливают, потому что у бедного парня не все дома. Итак, мы с вами условились: впредь вы будете обращаться ко мне, а не к Слабу.

Графиня. Непременно, полковник. Мне очень жаль, я вполне вас понимаю. Ну, я получила и головомойку и прощение, да?

Толбойс *(благосклонно)*. У нас это называется выговор. Но вы, в сущности, ни в чем не виноваты. Я не имею никакого права выговаривать вам. Напротив, я виноват перед вами.

Графиня. Да ладно уж.

Больная предостерегающе кашляет.

(Торопливо.) Вульгарное выражение, правда, полковник? Но мне оно нравится.

Толбойс. Я не знал, что оно считается вульгарным. Очень выразительное!

Графиня. Конечно, ничего особенно вульгарного в нем нет. Но все-таки оно какое-то мещанское.

Больная стучит зонтиком по креслу графини.

(Торопливо.) Есть какие-нибудь новости о разбойниках, полковник?

Толбойс. Никаких. Но матушка мисс Мопли совсем потеряла голову, бедняжка, — да и не удивительно! — и так-таки прислала мне выкуп: она умоляет внести его и освободить ее дочь. Она боится, что разбойники, при малейшем намеке на враждебные действия с моей стороны, отрежут девушке пальцы и будут присылать их один за другим, пока мы не уплатим выкупа; она даже предполагает, что они могут начать с ушей и изуродуют ее на всю жизнь. Конечно, такая возможность не исключена, подобные случаи бывали... И бедная леди с полным основанием указывает, что я не смогу вернуть ее дочери уши, если даже уничтожу всех разбойников до единого. А я, безусловно, так и сделаю. Пусть только посмеют тронуть английскую леди! Но я не могу потворствовать столь дерзкому преступлению.

Заговорщики обмениваются взглядами, полными ужаса.

Я известил леди Мопли радиограммой, что об уплате выкупа не может быть и речи, но что английское правительство предлагает значительное вознаграждение за информацию.

Графиня *(в волнении вскакивает со стула)*. Фью-у! Вознаграждение сверх выкупа?

Больная с ожесточением тычет в нее зонтиком.

Толбойс *(удивленно)*. Нет, вместо выкупа.

Графиня *(опомнившись)*. Понятно... как это глупо с моей стороны! *(Садится и продолжает в раздумье.)* А если бы эта туземка могла разузнать что-нибудь, она получила бы вознаграждение?

Толбойс. Конечно, получила бы. А ведь это мысль, а?

Графиня. Правда, полковник?

Толбойс. Кстати, графиня, я вчера видел троих людей, которые вас очень хорошо знают.

Больная *(забывшись и стремительно приподнявшись на колени.)* Но...

Графиня *(хлопая ее рукой по губам)*. Молчи, ты! Как ты

смеешь прерывать полковника? Садись на свое место и помалкивай.

Больная смиренно повинуется; пока полковник из деликатности смотрит в другую сторону, она грозит графине кулаком.

Толбойс. Среди них была одна леди. Я случайно назвал вашего брата; она вся просияла и говорит: «Милейший Обри Бэгот! Я очень дружна с его сестрой. Мы все трое вместе росли».

Графиня. Это, должно быть, милейшая Флоренс Дорчестер. Надеюсь, она сюда не явится? Мне нужен полный покой. Никого не хочу видеть... кроме вас, полковник.

Толбойс. Гм! Весьма польщен.

Из палатки выходит вор. На нем очень элегантный купальный костюм, черный в белую полоску, и черный шелковый халат с отворотами из белого шелка,— стиль клерикальный.

(Продолжает.) А-а, Бэгот! Купаться? Я сейчас говорил графине, что видел вчера ваших друзей. Подумать только, набрести на них здесь, в этой глуши! Как мир, в сущности, мал. *(Встает.)* А теперь я пойду осматривать склады. Наблюдается недостача хлопушек, что меня очень удивляет.

Графиня. Как жалко! Я очень люблю хлопушки: внутри такие вкусные конфеты!

Толбойс. Это не то, что вы думаете. Хлопушки — это ракеты. Они взрываются с громким шумом. Для сигнализации.

Графиня. А-а! Это такие штуки, которые пускали во время войны, когда были воздушные налеты?

Толбойс. Вот именно. Итак, au revoir![1]

Графиня. Au revoir, au revoir!

Полковник галантно дотрагивается до козырька и быстро уходит.

Больная *(встает, обуреваемая жаждой мщения)*. Если вы еще раз посмеете ударить меня по лицу, я вас пристукну, хоть бы пришлось раскрыть всю эту комедию.

Графиня. А вы в другой раз держите свой зонтик при себе. Что вы думаете — у меня дубленая кожа?

---

[1] До свидания *(франц.)*.

Обри *(становясь между ними)*. Тише, тише, дети! Что случилось?

Больная. Эта сукина дочь...

Обри. Ой-ой-ой! Мопс! Черт возьми, вы же леди! Что случилось, Цыпка?

Графиня. Как вы можете так выражаться? Для простой девушки это еще куда ни шло, но от вас я этого не ожидала.

Обри. Мопс, вы шокируете Цыпку.

Больная. А меня, вы думаете, она не шокирует? Это ходячее землетрясение, а не женщина! Ну, а что мы будем делать, если эти люди, о которых говорил полковник, явятся сюда? Должно быть, есть настоящая графиня Вальбриони.

Графиня. Это еще неизвестно. Вы думаете, мы трое — единственные жулики на белом свете? Достаточно придумать себе громкий титул, и все прихвостни на пятьдесят миль в окружности будут клясться, что вы их лучший друг.

Обри. Первое правило, моя дорогая, которое должен затвердить каждый мошенник, заключается в том, что нет ничего действеннее лжи. Выскажите любую истину, которая всегда колола всем глаза, и мир восстанет и будет с пеной у рта оспаривать ее. И если вы не уступите и не раскаетесь — тем хуже для вас. Но скажите потрясающе глупую ложь — и, хотя все будут знать, что это ложь, со всех концов земного шара поднимется одобрительный шепот. Если бы Цыпка отрекомендовалась тем, что она есть и что для всех очевидно, а именно бывшей горничной в отеле, ставшей преступницей по убеждению, под влиянием проповедей бывшего армейского священника — то есть моих! — с которым ее связывала сильная, но весьма мимолетная страсть,— ей бы никто не поверил. Но стоило ей пустить в ход совершенно немыслимую ложь, выдать себя за графиню, а бывшего священника — за своего сводного брата, достопочтенного Обри Бэгота, как сонмы свидетелей подтверждают полковнику Толбойсу, что это святая истина. Поэтому, дорогая, не бойтесь разоблачения. А ты, Цыпка моя, лги, лги, лги, пока твое воображение не лопнет.

Больная *(сердито бросаясь в шезлонг)*. Интересно, все мошенники такие любители проповедей, как вы?

Обри *(любовно склоняясь к ней)*. Не все, дорогая. Я проповедую не потому, что я мошенник, а потому, что у меня такой дар — божий дар.

Больная. Откуда он у вас взялся? Что, ваш отец епископ?

Обри *(выпрямляется и говорит тоном оратора)*. Разве не говорил я вам, что мой отец атеист и, как все атеисты, неумолимый моралист? Он считал, что я могу стать проповедником только при условии, если уверую в то, что проповедую. Это, разумеется, вздор. Мой дар проповедника не ограничен моей верой: я могу проповедовать все что угодно — и ложь и истину. Я словно скрипка, на которой можно исполнять любую музыку, от Моцарта до джаза. *(Меняя тон.)* Но старику никак нельзя было вдолбить это. Он решил, что самое подходящее для меня — стать адвокатом. *(Подбирает с земли циновку, кладет ее слева от больной и разваливается в ленивой позе.)*

Графиня. Мы разве не пойдем купаться?

Обри. А ну его, купанье! Не хочется лезть в воду. Примем солнечную ванну.

Графиня. Вот лентяй! *(Переносит поближе складной стул, стоящий у палатки, и с недовольным видом садится.)*

Больная. Ваш отец был совершенно прав. Если ваша совесть не участвует в том, что вы проповедуете, то трибуна адвоката — самое подходящее для вас место. Но так как ваша совесть не участвует также и в том, что вы делаете, вы, должно быть, кончите свою карьеру на скамье подсудимых.

Обри. Весьма вероятно. Но я прирожденный проповедник, а не адвокат. Принцип судоговорения состоит в том, чтобы заставить двух лгунов изобличить друг друга, и тогда правда откроется. Это мне не подходит. Я терпеть не могу, когда мне возражают. А единственное место, где человеку не грозят возражения, — это церковная кафедра. Я ненавижу споры. Во-первых, это дурной тон, а во-вторых, всякий спор сбивает с толку слушателей. Кроме того, юриспруденция слишком много внимания уделяет грубым фактам и слишком мало — духовным явлениям. А меня занимают только движения духа: тут-то я и могу дать волю моему дару проповедника.

Больная. А проповедовать то, во что не веришь, это тоже движение духа?

Обри. Полегче, Мопс! Мой дар от бога. Он не ограничен моими узкими личными убеждениями. Это не только красноречие, но и ясность мысли. Ясность — драгоценнейший дар, дар учителя, дар разъяснения. Я могу любому разъяснить все что угодно. И мне это нравится. А кро-

ме того, это мой долг, если только доктрина увлекает меня своей стройностью, утонченностью и красотой. В глубине души я, может быть, и знаю, что это бессмысленный вздор, но если представляется возможность выжать из нее драматический эффект и прочесть блистательную проповедь, мой дар овладевает мной и принуждает меня это сделать. Цыпка, принеси мне, пожалуйста, подушку, будь другом.

Больная. Не ходите, Цыпка. Пусть сам за собой поухаживает.

Графиня *(вставая)*. Да он там все пораскидает, пока найдет, что ему нужно. Терпеть не могу беспорядка в доме. *(Уходит в палатку.)*

Больная. Как странно, Попс. У нее психология горничной, а не женщины.

Обри. Порядок для нее — святое дело, Мопс, а это уже кое-что. У других вообще ничего святого нет.

Графиня *(возвращается с шелковой подушкой и с размаху бросает ее на голову Обри)*. На! А теперь я требую расчета. Мне здесь надоело.

Обри *(удобно укладываясь на подушку)*. Тебе всегда все надоедает.

Больная. По-видимому, это означает, что вам наскучил Толбойс?

Графиня *(беспокойно расхаживая взад и вперед)*. Он мне так осточертел, что иногда я готова выйти за него замуж. Тогда это будет все равно что утром вставать, умываться, одеваться, есть и пить — все, что обязательно нужно делать, хочешь не хочешь, и что не смеет надоесть, иначе сойдешь с ума. Давайте уедем куда-нибудь и поживем настоящей жизнью.

Больная. Настоящая жизнь! Хотела бы я знать, где она! Мы в два месяца истратили около шести тысяч фунтов на поиски этой настоящей жизни. Деньги, которые мы выручили за жемчуг, когда-нибудь да кончатся.

Обри. Цыпка, придется тебе потерпеть, пока мы не получим выкуп. И не о чем больше говорить!

Графиня. Я сделаю так, как мне хочется, а не как ты велишь. Словом — повторяю: дайте мне расчет. Мне все это надоело. Я хочу чего-нибудь нового.

Обри. Что же нам с ней делать, Мопс? Вечно подавай ей новое, новое, новое!

Графиня. Я люблю видеть новые лица.

Обри. А я рад бы жить, как будда в храме, — вечно созерцая

свой собственный пуп, в обществе старого жреца, который каждый день вытирал бы меня тряпкой. Но Цыпке каждую неделю требуется новое лицо. Был даже такой случай, когда она на одной неделе влюбилась дважды. *(Поворачиваясь к ней.)* Женщина, чувствуешь ли ты величие постоянства!

Графиня. Вероятно, чувствовала бы, будь я настоящая графиня. Но я только горничная из отеля, и мы так привыкаем видеть все новые лица, что под конец уже не можем обойтись без этого. *(Садится на складной стул.)*

Обри. Чем чаще меняются лица, тем больше чаевых, а?

Графиня. Это не важно, хотя тоже кое-что. Вся беда в том, что мужчины страшно милы в первые несколько дней, но и только. Поэтому лучше почаще менять их. По-моему, каждая любовная связь должна быть медовым месяцем. А единственный способ добиться этого — менять любовников, потому что никакого мужчины не хватит надолго. За всю свою жизнь я знала только одного мужчину, который остался верен себе до самой смерти.

Больная *(с интересом)*. А-а! Значит, это все-таки возможно?

Графиня. Да. Этот человек женился на моей сестре, вот почему я это знаю.

Обри. И пыл его никогда не остывал? Изо дня в день, пока смерть не разлучила их, он был все тот же, что в день свадьбы? Неужели правда, Цыпка?

Графиня. Правда. Он побил ее в день свадьбы, а потом каждый день бил ее так же нещадно. Я заставила ее потребовать развода, но она вернулась к нему, потому что никто другой не обращал на нее внимания.

Обри. Почему ты мне этого раньше не сказала? Я избивал бы тебя до полусмерти, лишь бы не потерять тебя. *(Садится.)* Поверите ли, Мопс, я был влюблен в эту женщину! Безумно влюблен! Она была ниже меня по духовному развитию, и мне приходилось учить ее прилично сидеть за столом. Но наши низшие инстинкты с необычайной силой толкали нас друг к другу. И когда через десять дней она бросила меня ради другого, только настойчивый голос рассудка, моя решимость не преступать законов цивилизации и страх перед полицией удержали меня от убийства и самоубийства.

Графиня. Но тебе, по крайней мере, есть что вспомнить, правда? У многих и этого не остается. А кроме того,

Попси, ты отлично знаешь, что это для тебя же лучше. Ведь мы с тобой не пара.

Обри. У тебя было неодолимое влечение к коммивояжерам. Трех образцов хватало тебе только на неделю. Я невольно восхищался такой переменчивостью чувств. Мне приходилось слышать, как теноры воют со сцены: «Сердце красавицы склонно к измене», и я всегда считал, что самое страшное в женщинах — это их неумолимое постоянство. Но ты! Какое уж тут постоянство!

Графиня. Но и коммивояжеры, знаешь ли, были ничуть не лучше.

Обри. Не лучше? Скажи — не хуже. Переменчивость означает подвижность, а подвижность — признак цивилизации. Ты должна гордиться этим, не то потеряешь уважение к себе. Я не выношу женщин, которые себя не уважают.

Графиня. Что уж нам с тобой толковать об уважении! Ты вор, я воровка. Я еще похуже тебя; да и ты был бы такой же, будь ты женщиной. Не ломайся, Попси, хоть со мной-то.

Обри. Хоть с тобой! Цыпка, вот эта твоя забота о моей нравственной чистоте говорит о том, что ты все еще любишь меня.

Графиня. Ни о чем она не говорит. С тобой у меня все кончено, дружок. И полковник мне не по вкусу: слишком старый и слишком важный.

Обри. Все-таки лучше, чем ничего. Кто же тут еще?

Графиня. А сержант? Может быть, у меня низменный вкус, но сержант мне нравится, а полковник нет.

Больная. Вы что, Цыпка, влюбились в сержанта Филдинга?

Графиня. Да, если вам угодно так называть это.

Обри. А можно узнать, позондировала ты его по этому вопросу?

Графиня. Как же я могу это сделать? Ведь я графиня, а он простой сержант. Стоит мне показать, что я знаю о его существовании, и полковник заподозрит неладное. Я могу только глядеть на него. И то чтобы никто не заметил. А мне хочется броситься ему на шею. *(Разражается слезами.)*

Обри. Ради всего святого, не плачь.

Больная. Цыпка, а вдруг у сержанта есть жена и он души в ней не чает?

Графиня. Это не может помешать мне любить его. Я так одинока. Здесь тоска смертная, ни кино, ни танцулек. Нечего делать, кроме как разыгрывать важную леди.

И единственный стоящий мужчина пропадает задаром! Лопнуть можно!

Больная. Ну что ж, и мне не лучше.

Графиня. Нет, лучше. Вы настоящая леди. Вам на роду написано скучать. А потом — у вас есть Попси. И все думают, что вы наша служанка. Когда он вам надоест, вы можете обшарить весь лагерь, вы можете подцепить любого солдата. Что вам мешает?

Больная. Вероятно, принципы морали, подобающие леди.

Графиня. А ну их к бабушке! Я думала, вы бросили всю эту чепуху, когда ушли с нами.

Больная. Хотела бросить, пыталась. Но ничего не поделаешь — вы шокируете меня, Цыпка, как только рот откроете.

Графиня. Вы только не воображайте, что вы более добродетельная женщина, чем я. Потому что это неправда.

Больная. Я и не воображаю. Но могу сообщить вам, что мое увлечение Попси, которое, как я теперь понимаю, и толкнуло меня на сумасбродное бегство из дому, до сих пор вполне невинного свойства. Можете вы этому поверить, Цыпка?

Графиня. И очень даже. Дайте Попси поговорить, и больше ему ничего не нужно. А вам я прямо скажу: какова бы я ни была, а одного мужчины зараз мне достаточно.

Больная. Вы намекаете, что у меня шашни с двумя мужчинами?

Графиня. Я ни на что не намекаю. Я всегда прямо говорю, что думаю. А если вам не нравится, то не взыщите. Может быть, вы влюблены в Попси. Но вам нравится рядовой Слаб. И что вы нашли в этом высохшем сморчке? Хоть убейте меня, не понимаю!

Больная. А вы не заметили, дорогая моя Цыпка, что этот высохший сморчок вертит вашим великолепным сержантом?

Графиня. Это только пока, потом я буду им вертеть. А вы будьте осторожны, послушайте моего совета: не больше одного мужчины зараз. Я говорю для вашей же пользы, ведь вы новичок в этом деле. А то, что вам кажется любовью или увлечением и тому подобное, на самом деле вовсе не любовь. На три четверти это любопытство. Я сама через это прошла, я знаю. Теперь, когда я люблю кого-нибудь, то это любовь в чистом виде и больше ничего. И это очень хорошо — пока не разлюблю. Мой очаровательный сержант ничуть для меня не любопытен:

я наизусть знаю, что он скажет и что сделает. И этого мне только и нужно.

Больная *(встает с возмущением)*. Слушайте, Цыпка! С меня довольно. Несомненно, вы правы. И так и нужно говорить об этом, как вы,— прямо и открыто. Я восхищаюсь вами и завидую циничному спокойствию, с которым вы все это выкладываете. Может быть, со временем я и привыкну к вашему тону, но сейчас это выше моих сил. Мне придется просто-напросто уйти, если вы не перемените разговор. *(Садится в плетеное кресло спиной к ним.)*

Обри. Вот Цыпка в своем настоящем виде. У нас у всех — как бы это выразиться поделикатнее — имеются высшие и низшие инстинкты. Наши низшие инстинкты действуют; они действуют со страшной силой, и эта сила иногда разрушает нас; но они безмолвствуют. Речь — это сфера высших инстинктов. В поэзии, в литературе всего мира говорят высшие инстинкты. Во всех благопристойных беседах говорят высшие инстинкты, даже когда они молчат, даже когда лгут. Но низшие инстинкты неотступно при нас, словно тайная вина, которую мы знаем за собой, хотя они и безгласны. Я помню, как я спросил своего учителя в колледже: что, если бы чей-нибудь низший инстинкт вдруг заговорил,— пожалуй, эффект получился бы больший, чем когда заговорила Валаамова ослица? В ответ он рассказал мне с десяток сальных анекдотов, чтобы показать, что он человек без предрассудков. Я больше не возвращался к этой теме, до встречи с Цыпкой: Цыпка и есть Валаамова ослица.

Графиня. Выражайся повежливее, Попси, или...

Обри *(вскакивая со стула)*. Женщина! Я сказал тебе комплимент. Валаамова ослица была умнее Валаама. Надо внимательней читать Библию. Вот это-то и делает Цыпку почти сверхчеловеческим существом. Ее низшие инстинкты говорят. После войны низшие инстинкты обрели голос. И это было страшнее землетрясения, ибо они высказывают истины, которые всегда замалчивались, истины, от которых творцы наших отечественных устоев пытались отмахнуться. А теперь, когда Цыпка повсюду кричит о них, все наши устои трещат, шатаются, рушатся. У нас не осталось ни места в жизни, ни прочных основ, ни сколько-нибудь пригодной морали, ни неба, ни ада, ни заповедей, ни бога.

Больная. А как же «свет в наших душах», о котором вы так

красноречиво вещали третьего дня, когда выпили бутылку шампанского за обедом?

Обри. У большинства из нас, по-видимому, нет души; или если и есть, то ей не за что ухватиться. А тем временем Цыпка продолжает кричать. *(Садится в шезлонг.)*

Графиня *(встает)*. Что ты плетешь? Вовсе я не кричу. Я была бы хорошей женщиной, не будь это так скучно. Если будешь хорошей, непременно станешь жертвой. Кто такие хорошие женщины? Те, которым нравится нагонять скуку и приносить себя в жертву. У них нет желаний. Жизнь их пропадает зря, они не умеют ею пользоваться.

Больная. Ну, а вы, Цыпка? Как вы пользуетесь жизнью?

Графиня. Я ищу сильных ощущений. Вот возьмите нас с Попси. Мы постоянно строим планы грабежа. Я, конечно, знаю, что это чаще всего одно воображение, но самое интересное – это планы и ожидание. Даже если бы мы на самом деле кого-нибудь ограбили и засыпались, как увлекательно было бы стоять перед судом, попасть во все газеты. Помните бедного Гарри Смайлера, который убил полисмена в Кройдоне? Когда он пришел к нам и рассказал об этом, Попси предложил ему достать цианистый калий, – потому что можно было не сомневаться, что его изловят и вздернут. «Что? – сказал Гарри. – Не испытать, как тебя судят и приговаривают к смертной казни? Пусть меня лучше повесят». Ну и повесили... И по-моему, стоило испытать это, ведь он все равно бы умер и, может быть, мучительной смертью. Гарри был, собственно, неплохой человек, но он не выносил скуки. У него была замечательная коллекция пистолетов, он начал собирать их еще мальчишкой; во время войны он много набрал – просто так, ради интереса; ничего дурного он не замышлял. Но ему ни разу не пришлось воспользоваться ими; и в конце концов он не устоял перед искушением – пошел и застрелил полисмена. Просто ради ощущения, что он разрядил пистолет и убил кого-то. Когда Попси спросил его, зачем он это сделал, он ничего не мог ответить, кроме того, что это было некое завершение. Вот что-то в этом роде я и имею в виду *(Снова садится, облегчив душу своей тирадой.)*

Обри. Это говорит только о недостатке Жизненной силы. Вот был человек, перед которым раскрывались все чудеса мироздания и все тайны человеческих судеб. Какой еще пищи для ума и воображения ему нужно было? А он по-

шел и застрелил ни в чем не повинного полисмена, потому что не мог придумать ничего более интересного. За это стоило повесить. И всех зевак, которые не могли найти ничего более увлекательного, как ломиться в залу суда, чтобы поглядеть на него, когда ему будут читать смертный приговор, тоже стоило бы повесить. И тебя, Цыпка, когда-нибудь повесят, потому что у тебя нет того, что называется умственным багажом. Я пытался развивать тебя...

Графиня. Да, давал мне книги читать. Но я не могла осилить их, меня тошнило от скуки. Я пробовала разгадывать кроссворды, чтобы отвлечь свои мысли от планов грабежа, но разве это может сравниться с залезанием в чужой карман? Не говоря уже о том, что на кроссворды не проживешь. Ты хотел научить меня пить, чтобы я угомонилась. Но я не люблю пьянства. И на что я стала бы похожа? Десять бутылок шампанского не могут заменить ощущения, с каким проходишь мимо полисмена, зная, что достаточно ему остановить тебя и обыскать — и упрячут тебя на три годика.

Больная. Попс, неужели вы в самом деле приучали ее пить? Какой вы все-таки отъявленный негодяй!

Обри. С ней гораздо приятней, когда она подвыпьет. Вы же слышите, что́ она говорит в трезвом состоянии.

Больная. Скажите мне, Цыпка, вам на самом деле так хорошо живется? Вы начали с того, что грозились бросить наше увлекательное предприятие, потому что вам скучно.

Обри. Что ж, она свободна. У нее сержант на примете. А кроме того, она всегда надеется на счастливый случай. Ведь она знает, что в любую минуту может ухватиться за него, не сбрасывая оков и не разрушая стен, за которыми заточена респектабельная женщина.

Больная. Ну, а я?

Обри *(с недоумением)*. Что — вы? Вы свободны. Разве нет?

Больная *(медленно встает и, обойдя его сзади, присаживается на ручку шезлонга, берет его левую руку в свои и не выпускает во все время своей речи)*. Мой ангел, вы избавили меня от респектабельности так основательно, что я последний месяц жила как горная серна. Я отделалась от моей заботливой матери, словно младенец, отлученный от груди, и я перестала ненавидеть ее. От рабства, в котором держали меня повара, без передышки пичкавшие меня рыбой, мясом и дичью, осталось одно грустное воспоминание: я питаюсь финиками, хлебом,

водой и сырым луком, когда это есть. А когда нет — пощусь; и благодаря этому я забыла, что такое болезни Если я вздумаю убежать, ни один из вас меня не догонит. А если бы и догнал, я могу одолеть вас обоих одной рукой. Я с упоением созерцаю то, что вы называете чудесами мирозданья: прелестные зори, очаровательные закаты, изменчивые узоры облаков, цветы, животных и их повадки, птиц, букашек и ползучих гадов. Каждый мой день — это день удивительных приключений: это смена прохлады и зноя, света и тьмы, это круговорот подъемов и падений жизненных сил, голода и сытости, это жажда действия, которая переходит в сонливость, и мечтательное раздумье о возвышенном, которое внезапно сменяется волчьим аппетитом.

Обри. Чего еще может пожелать смертный?

Больная *(хватая его за уши)*. Лгунишка!

Обри. Благодарю. Вы, по-видимому, хотите сказать, что все это вас не удовлетворяет: вам нужен еще и я.

Больная. Вы!! Вы!!! Подлый, эгоистичный, медоточивый лентяй! *(Отпуская его.)* Нет, я внесла вас в рубрику животных и их повадок, вместе с Цыпкой и сержантом

Графиня. Цыпку и ее сержанта оставьте в покое, понятно? Хватит с меня ваших шуток.

Больная *(встает, берет графиню за подбородок и поворачивает ее голову к себе)*. Это не шутка, Цыпочка, я говорю очень и очень серьезно. Я назвала Попси лгуном, потому что всего того, о чем я говорила, недостаточно. Маломальски деятельный человек и недели не проживет одними чудесами природы, если только он не ботаник, не физик, не художник или еще что-нибудь в этом роде. Я хочу разумного дела. Хорошо живется бобру, потому что он должен выстроить себе плотину и вырастить свое потомство. Я хочу делать свое маленькое дело, как бобер. Если я буду только созерцать вселенную, в которой так много жестокого, страшного, злого, порочного, а еще больше гнетуще астрономического, беспредельного, непостижимого и немыслимого, я заболею буйным помешательством и меня за волосы поволокут обратно к маме. Бесспорно, я свободна, я здорова, я счастлива. И я бесконечно несчастлива. *(Обращаясь к Обри.)* Слышите? Бесконечно несчастлива.

Обри *(теряя терпение)*. А я, как вы думаете? Торчать здесь и только и делать, что таскаться с двумя дурами и уговаривать их.

Графиня. Им и того хуже. Приходится слушать тебя.

Больная. Я презираю вас. Ненавижу. Вы... вы... вы.. джентльмен-вор! Какое право имеет вор быть джентльменом? Цыпка, видит бог, тоже не ангел, она вульгарна, низменно хитра, вечно старается обмануть кого-нибудь или обольстить мужчину,— но она по крайней мере женщина, она реальна. В мужчинах нет ни на грош реальности, только болтовня, болтовня, болтовня...

Графиня *(привстав)*. А вы полегче, слышите?

Больная. Еще одно нахальное слово, Цыпка, и я так вас отделаю, что вы целый час пищать будете.

Цыпка утихает.

Мне хочется поколотить кого-нибудь. Мне хочется убить кого-нибудь. Кончится тем, что я убью вас обоих. Что такое мы трое, мы, отважные искатели приключений? Мы просто три негодных удобрителя.

Обри. Ради всего святого, что вы хотите сказать?

Больная. Да. Негодные удобрители. Мы превращаем хорошую пищу в плохой навоз, и только. Мы ходячие фабрики плохого удобрения, вот мы что!..

Графиня *(вставая)*. Как хотите, а я не намерена сидеть здесь и слушать такие разговоры. Постыдились бы!

Обри *(тоже встает, он шокирован)*. Мисс Мопли, есть неаппетитные истины, которые ни одна леди не позволит себе бросить в лицо своему ближнему.

Больная. Я уже не леди. Я теперь вольна говорить все, что мне вздумается. Ну как, нравится вам?

Графиня *(примирительно)*. Послушайте, милочка, чего вы расходились? Вы...

Больная наступает на нее, графиня вскрикивает.

Ай-ай-ай! Попси, она сумасшедшая. Спаси меня! *(Убегает.)*

Обри. Что с вами такое? Спятили вы, что ли? *(Пытается удержать мисс Мопли, но она одним ударом сбивает его с ног.)*

Больная. Нет. Я только наслаждаюсь моей свободой. Свободой, которую вы проповедовали. Свободой, которую вы мне добыли. Вам не нравится, когда кричат низшие инстинкты Цыпки. Что ж, теперь вы слышите, как кричат мои высшие инстинкты. И, по-видимому, вам это тоже мало нравится.

Обри. Мопс, это все истерика. Час назад вы чувствовали себя

отлично, и не пройдет и часу, как вы опять будете чувствовать себя отлично. Все будет хорошо, резвитесь на воле.

Больная. Ну и что? Заблудившийся пес резвится на воле, иначе он не отстал бы от хозяина. Но он самое жалкое существо на свете. Я заблудившийся пес, бездомный бродяга. Мне нечего делать, мне некуда идти. Цыпка, и вы, и я — все мы несчастливы. И я сейчас так изобью вас, что вы костей не соберете. *(Бросается на Попси.)*

Попси увертывается и убегает. В эту минуту Толбойс и Слаб выходят из-за угла барака. Больная, не сдержав стремительного бега, с размаху налетает на полковника.

Толбойс *(строго)*. Что такое? Что ты здесь делаешь? Почему ты шумишь? Не смей сжимать кулаки в моем присутствии!

Она покорно опускает голову.

Что случилось?

Больная *(кланяясь, нараспев)*. Акчево сан у алыб.

Толбойс. По-английски говоришь?

Больная. Нет, не англис.

Толбойс. А по-французски?

Больная. Не франсус, туан. Алеб генс йынрог отч.

Толбойс. Ну, хорошо, чтобы этого больше не было! А теперь ступай!

Она, кланяясь, пятится к палатке. Толбойс садится в шезлонг.

(Слабу.) Эй, послушайте! Вы сказали, что вы переводчик. Вы поняли, что говорила эта женщина?

Слаб. Так точно, сэр.

Толбойс. Какое это наречье? Мне показалось, что не то, на котором говорят местные жители.

Слаб. Так точно, сэр. И я так говорил в детстве. Школьный жаргон, сэр.

Толбойс. Школьный жаргон? О чем вы говорите?

Слаб. Слова наоборот; и расстановка слов обратная, сэр. Значит, она эти две фразы знает наизусть.

Толбойс. Туземка? Как это может быть? Я сам бы не сумел.

Слаб. Значит, она не туземка, сэр.

Толбойс. Но это нужно расследовать. Удалось вам разобрать, что она говорила?

Слаб. Только «акчево сан», сэр. Это нетрудно. А дальше уже легко было догадаться.

Толбойс. А что такое «акчево»?

Слаб. Овечка, сэр.

Толбойс. Она назвала меня овечкой?

Слаб. Нет, сэр. Она только сказала: «Была у нас овечка». А когда вы спросили ее, говорит ли она по-французски, она, понятно, ответила: «что горный снег бела».

Толбойс. Так это же наглость.

Слаб. Зато она вышла из затруднения, сэр.

Толбойс. Нешуточное дело. Эта женщина выдает себя перед графиней за прислужницу-туземку.

Слаб. Вы так думаете, сэр?

Толбойс. Я не думаю, я знаю. Не валяйте дурака. Подтянитесь и отвечайте поумней, если можете.

Слаб. Да, сэр. Нет, сэр.

Толбойс *(сердито рычит на него)*. «Бэ-бэ-бэ, черный мой баран, дай побольше шерсти». – «Да, сэр, нет, сэр, ничего не дам». Не смейте говорить мне: да, сэр, нет, сэр.

Слаб. Слушаю, сэр.

Толбойс. Пойдите верните эту женщину. Только, смотрите, ни слова ей о том, что я разгадал ее. Когда я с ней покончу, вы дадите мне объяснения по поводу хлопушек.

Слаб. Слушаю, сэр. *(Уходит в палатку.)*

Толбойс. Пошевеливайтесь! *(Удобно усаживается в шезлонге и вынимает портсигар.)*

Графиня выглядывает из-за угла палатки, проверяя, миновала ли опасность. Обри делает такую же разведку из-за угла барака.

Графиня. А вот и я опять. *(Дарит полковника чарующей улыбкой и садится на свое прежнее место.)*

Обри. Moi aussi.[1] Разрешите... *(Ложится на циновку.)*

Толбойс *(выпрямляясь и пряча портсигар обратно в карман)*. Как раз вовремя. Я только что собирался послать за вами. Я сделал очень важное открытие: эта ваша туземная служанка вовсе не туземка. Ее наречие – просто галиматья, обман. Она англичанка.

Обри. Да что вы!

Графиня. Этого быть не может!

---

[1] И я тоже *(франц.)*.

Толбойс. Никаких сомнений, она обманщица. Берегите свои брильянты!.. Или – а я именно это и подозреваю – она шпионка!

Обри. Шпионка! Но ведь сейчас нет войны.

Толбойс. Лига Наций повсюду имеет своих шпионов. *(Графине.)* Прошу вас разрешить мне немедленно осмотреть ее вещи, пока она не узнала, что я разоблачил ее.

Графиня. Но у меня ничего не пропало. Я уверена, что она не воровка. Что вы хотите искать в ее вещах?

Толбойс. Хлопушки.

Графиня и Обри *(в один голос)*. Хлопушки?

Толбойс. Да, хлопушки! Я сегодня обследовал склады: хлопушки исчезли. А они мне очень нужны: когда я ухожу писать, меня хлопушкой зовут обедать. Я, знаете, большой любитель акварельной живописи... Ни одной хлопушки не осталось, а было пятнадцать штук...

Обри. Я знаю, где они. У одного из ваших солдат, у Слаба. Он разъезжает на мотоцикле с колючей проволокой и целым мешком хлопушек. Сказал, что разведывает местность; он явно хотел поскорей отделаться от меня. Я и не стал допытываться. Но это объясняет исчезновение хлопушек.

Толбойс. Ничего не объясняет. Это очень серьезное дело. Слаб – полуидиот, которого не следовало принимать в армию, он как ребенок. Эта женщина могла заставить его сделать все что угодно.

Графиня. Но на что ей хлопушки?

Толбойс. Не знаю. Экспедиция была послана без санкции Лиги Наций. Мы всегда забываем согласовать вопрос с Лигой, когда речь идет о чем-нибудь серьезном, – может быть, эта женщина – эмиссар Лиги Наций? Может быть, она работает против нас?

Графиня. А хоть бы и так, что она может нам сделать?

Толбойс *(похлопывая рукой по револьверу)*. Дорогая леди, вы что – думаете, это игрушка? Как вы не понимаете, что горы здесь кишат враждебными племенами и мы в любую минуту можем ждать набега? Видите вон там электрический клаксон? Если он начнет давать гудки, берегитесь: это сигнал, что на нас движется отряд туземцев.

Графиня *(испуганно)*. Если бы я это знала, ноги бы моей здесь не было. Попси, это верно?

Обри. Верно-то верно. Но это пустяки, они нас боятся.

Толбойс. Да, боятся. Но только потому, что они не знают,

что нас здесь всего горсточка. А если эта женщина поддерживает с ними связь и командует этим несчастным идиотом Слабом, они могут налететь на нас, как осы. Это очень скверная история. Я должен досконально расследовать дело, и как можно скорей. А-а, вот и она.

У входа в палатку появляется Слаб. Он вежливо сторонится, пропуская больную, и остается стоять на месте.

Слаб. Полковник желал бы поговорить с вами, мисс.

Обри. Вы поосторожней с ней, полковник. Она бегает, как олень; и мускулы у нее железные. Я советовал бы вызвать охрану, прежде чем браться за нее.

Толбойс. Бросьте! Эй, ты!

Больная подходит к полковнику с видом ангельской невинности, падает на колени, подняв ладони, и стукается лбом о землю.

Говорят, ты очень быстрая. Но пуля быстрее тебя. *(Похлопывает рукой по револьверу.)* Понимаешь?

Больная. Акчево сан у алыб, алеб генс йынрог отч...

Толбойс *(язвительно)*. И кто бы ни окликнул...

Больная *(подхватывая)*. К тому бежит она. Раскусили меня, полковник! Какой вы догадливый! Ну, в чем же дело?

Толбойс. Вот это я намерен выяснить. Вы не уроженка..

Больная. Уроженка, но только графства Сомерсет.

Толбойс. Вот именно. Для чего этот маскарад? Почему вы скрывали от меня, что говорите по-английски?

Больная. Ради шутки.

Толбойс. Это не ответ. Зачем вы выдавали себя за прислужницу-туземку? Быть служанкой вовсе не шутка. Отвечайте. И не пытайтесь изворачиваться. Зачем вы выдавали себя за служанку?

Больная. Знаете, полковник, в наше время не хозяйка командует в доме, а прислуга.

Толбойс. Оригинально. Вы, пожалуй, скажете, что нижний чин может лучше командовать воинской частью, чем полковник?

Клаксон издает пронзительные гудки. Полковник выхватывает револьвер и со всех ног бежит вверх по песчаному склону, но Слаб опережает его и, добравшись до вершины начинает отдавать команду, словно это само собой разумеется, не обращая внимания на окаменевшего от

изумления полковника. Обри, вскочив на ноги, идет за ними посмотреть, что происходит. Цыпка в паническом страхе хватает больную за руку и тащит ее к палатке, но больная резко отталкивает ее и, как только начинается пальба, бежит на звук выстрелов.

Слаб. К оружию! Заряжай! Приготовить ракеты! Сколько их, сержант, как вы думаете? Какая дистанция?

Сержант Филдинг *(за сценой)*. Сорок всадников. Около девятисот ярдов.

Слаб. Готовьсь! Прицел тысяча восемьсот, поверху, без попаданий! Десять залпов. Огонь!

Залп.

Ну как?

Голос сержанта. Продолжают идти, сэр.

Слаб. Первый ракетный взвод, приготовиться! Контакт!

Оглушительный взрыв справа.

Ну как?

Голос сержанта. Остановились.

Слаб. Второй ракетный взвод, приготовиться! Контакт!

Взрыв слева.

Ну как?

Голос сержанта. Ускакали, сэр, все до единого.

Слаб, снова в роли незаметного рядового, спускается с дюн, за ним идет Обри. Они становятся один справа другой слева от полковника.

Слаб. Все в порядке, сэр. Простите за беспокойство.

Толбойс. Ах, вот как? И это все, по-вашему?

Слаб. Так точно, сэр. Вам не о чем тревожиться. Разрешите составить донесение, сэр? Серьезное столкновение, враг разбит, английские войска потерь не имели. Могут представить к ордену «За примерную службу», сэр.

Толбойс. Рядовой Слаб! Простите мою дерзость, но позвольте спросить, кто командует этой экспедицией, вы или я?

Слаб. Вы, сэр.

Толбойс *(пряча револьвер)*. Вы мне льстите. Благодарю вас. Позвольте задать вам еще один вопрос: кто разрешил вам перетащить весь полковой запас ракет на дюны и взорвать их под носом у противника?

Слаб. Это обязанность связиста. Связист – это я. Мне нужно было убедить противника, что окрестные горы ощетинились британскими пушками. Теперь он в этом уверен. Больше он нас не потревожит.

Толбойс. Интересно. Полковой писарь, переводчик, связист. Еще какое-нибудь звание, о котором я не осведомлен?

Слаб. Нет, сэр.

Толбойс. Вы уверены, что вы не фельдмаршал?

Слаб. Совершенно уверен, сэр. Никогда не поднимался выше полковника.

Толбойс. Вы были полковником? Как это понять?

Слаб. Только для почета, сэр. По особому распоряжению, ради приличия, в тех случаях, когда мне приходилось принимать командование.

Толбойс. А почему вы сейчас рядовой?

Слаб. Я предпочитаю не иметь чина, сэр. Руки развязаны. И общество в офицерском собрании мне не по душе. Я всегда ухожу в отставку и вновь записываюсь рядовым.

Толбойс. Всегда? Сколько раз вы получали офицерский чин?

Слаб. Точно не помню, сэр. Кажется, три.

Толбойс. Черт знает что!

Больная. Ах, полковник! А вы-то принимали этого военного гения за полуидиота!!!

Толбойс *(с апломбом)*. Ничего удивительного. Симптомы в точности те же. *(Слабу.)* Можете идти.

Слаб козыряет и молодцевато уходит.

Обри. Ну и ну!

Графиня. Ах, черт его... *(Спохватившись.)* Tiens, tiens, tiens. [1]

Больная. Как вы поступите с ним, полковник?

Толбойс. Сударыня, секрет командования и в армии и вне ее состоит в том, чтобы никогда не терять времени на дело, которое можно поручить подчиненному. Я увлекаюсь акварельной живописью... До сих пор командование полком мешало мне предаваться любимому занятию,— отныне я всецело посвящу себя искусству и предоставлю руководство экспедицией рядовому Слабу. И поскольку вы все, по-видимому, на более короткой ноге с ним, чем я смею претендовать, то сделайте мне одолжение и сооб-

[1] Скажите пожалуйста! *(франц.)*.

щите ему – так, мимоходом, понимаете? – что я уже имею орден «За примерную службу» и в настоящее время интересуюсь орденом Бани – вернее, интересуется моя жена. Ибо в данную минуту меня занимает только одна мысль: написать мне это небо берлинской лазурью или кобальтом.

Графиня. Как вы можете тратить время на какие-то картинки?

Толбойс. Графиня, я пишу картины, чтобы остаться в своем уме. Имея дело с людьми – все равно, с мужчинами или женщинами, – я чувствую себя помешанным. Человечество всегда обманывало меня; природа – никогда.

Узкий проход в песчанике, изрытом естественными гротами, ведет к берегу. На переднем плане песок и огромные камни. К двум из гротов можно добраться по камням, образующим подобие ступеней. Солдаты ради забавы придали этим гротам вид примитивных архитектурных сооружений и придумали для них названия. Грот, который находится слева от зрителей,— высокий и узкий, украшен естественной колонной и камнем, похожим на алтарь; впечатление готического храма усиливается чем-то вроде заостренной арки, которую какой-то шутник выдолбил в каменном своде; над аркой надпись: «Собор святого Павла». Грот справа — гораздо просторнее, в нем свободно помещается скамейка на двоих. Он освещен лампочками, обернутыми в розовую бумагу; над входом кто-то вывел красным мелком надпись: «Приют любви», а еще ниже — надпись белым мелком: «Пользоваться электричеством не обязательно». В данный момент «Приют любви» занят сержантом. Это статный, видный мужчина лет сорока. Он сидит на скамейке и со страстным вниманием изучает две книги: сравнивает текст.

«Собор святого Павла» тоже занят: высокий худой старик,— судя по осанке и костюму, состоятельный английский джентльмен,— сидит на камне, положив локти на алтарь и подперев голову руками. Он в глубоком трауре, и поза его выражает безграничное отчаяние. Цыпка, в полном туалете, с недовольным и скучающим видом медленно спускается по проходу. На берегу она не находит ничего интересного, но внимание ее нечаянно привлекает сержант, который, наткнувшись в своих книгах на особенно разительное совпадение или противоречие, с азартом бьет кулаком по одной из них. Цыпка тотчас же оживляется, проворно взбирается к гроту и становится рядом с сержантом, справа от него; но он так увлечен своими книгами, что не замечает ее.

Цыпка *(впиваясь в него глазами)*. К-хм!

Сержант поднимает голову. Увидев, кто это, он вскакивает и становится навытяжку.

(Просто.) Можно и не вставать ради меня.

Сержант *(церемонно)*. Прошу прощения, ваше сиятельство. Я не заметил, как вы подошли.

Цыпка. Бросьте эти глупости, сержант. *(Садится на скамейку справа от него.)* Давайте не терять времени. И вы и я пропадаем от скуки. Не лучше ли нам подружиться и повеселить друг друга?

Сержант *(строго и презрительно)*. Нет, миледи, не лучше. Я все это видел во время войны: смазливые дамочки, которые снуют по госпиталям, влюбляются как дуры и только зря тревожат ребят; я этого не признаю. Держитесь своего класса, а я буду держаться своего.

Цыпка. Мой класс! Липа! Никакая я не графиня. И мне надоело прикидываться важной леди. Неужели вы не догадались?

Сержант *(садясь на свое место, запросто)*. Стану я ломать себе голову. В наше время любая красотка может стать графиней, стоит ей только подцепить графа.

Цыпка. Значит, по-вашему, я красивая?

Сержант. Послушайте, если вы не графиня, то кто вы такая? И в чем, собственно, дело?

Цыпка. А дело такое, душка моя, что вы мне приглянулись. Я вас люблю.

Сержант. Подумаешь! Такого мужчину, как я, всякая полюбит.

Цыпка. Только не здесь, дорогой. Здесь, кроме меня, никого не найдешь, хоть пятьдесят миль скачи. Есть еще одна белая женщина, но та настоящая леди; она на вас и не посмотрит.

Сержант. Вот это, пожалуй, верно.

Цыпка *(придвигаясь к нему)*. Правда?

Сержант *(не протестуя, но сам не двигаясь с места)*. Здешний климат действует на мужчину, хоть бы он ни о каких глупостях и не думал.

Цыпка *(беря его под руку)*. Так это же естественно. Брось ломаться.

Сержант. Все-таки не такой я человек, чтобы видеть в женщине одну только необходимость, как другие военные. Для них женщина не больше чем банка с вареньем,— поел и отставил. Я держусь другого мнения. Конечно, есть и эта сторона, и для людей, которые ничего лучшего не знают,— просто скоты, можно назвать их,— этим все начинается и все кончается. Но для меня совсем не это важно. Я люблю узнавать мысли женщины. Я люблю

изучать ее душу, не только тело. Когда вы заговорили со мной, я читал вот эти две книжицы. Я всегда ношу их с собой. Я с каждой женщиной делюсь сомнениями, которые они во мне вызывают.

Цыпка *(с возрастающим недоверием)*. А что это за книжки?

Сержант *(указывая сначала на одну, потом на другую)*. Библия. «Путь паломника из этого мира в мир грядущий».

Цыпка *(в ужасе; порываясь встать)*. О господи!

Сержант *(крепко прижимая локтем ее руку)*. Нет, не уйдешь. Сиди смирно. И не поминай всуе имени господа бога твоего. Если ты веришь в него – это богохульство; если не веришь – бессмыслица. Ты должна выучиться упражнять свой ум: что для мужчины женщина, ум которой бездействует? Только одно из удобств жизни.

Цыпка. Мне хватает упражнений для ума, когда я свои дела устраиваю. А от тебя, дорогой, я жду развлеченья

Сержант. Понятно. Но когда мужчина и женщина сходятся только для развлеченья, они всегда просчитываются, потому что появляются пункты, о которых они не договаривались. У мужчины и женщины имеется не только подвал, но и чердак; один без другого не сдается. Люди постоянно пытаются разделить их, но из этого ничего не выходит. Ты выбрала не только мое тело, но и душу, и тебе придется изучить ее. За моим красивым лицом и статной фигурой ты искала гориллу. Теперь ты видишь, что ошиблась. Вот и все.

Цыпка. Ох, пусти меня. Я сыта по горло такими разговорами. Знай я, что ты набожный, я бы и близко не подошла к тебе, можешь не сомневаться. Ну, пусти меня!

Сержант. Подожди! Может быть, природа пользуется мной как приманкой, чтобы пробудить в тебе интерес к духовной жизни. Может быть, природа пользуется твоим приятным животным теплом, чтобы усилить работу моего ума. Мне нужен твой совет. Я не уверен, последую ли я ему, но он может помочь мне. Как видишь, я в тупике

Цыпка. Ну какой же это тупик, это грот.

Сержант. Да я не про то. Мой ум в тупике, в смятении Я всегда был верующим, а теперь меня одолевают сомнения.

Цыпка. Спасибо и на этом.

Сержант. Видишь эти две книги? Я верил каждому слову, написанному в них, потому что мне казалось, что они не имеют никакого отношения к подлинной жизни. Но вой-

на сделала эти старые сказки доподлинными; и тут-то начинаются сомнения. Посмотри вот это место. *(Показывает пальцем на страницу в «Пути паломника».)* На самой первой странице: «Я знаю, что город наш будет сожжен огнем небесным, и в этом страшном бедствии мы, и я и ты, жена моя, вместе с невинными чадами нашими погибнем безвозвратно, если не найдем пути к спасению». Так вот, Лондон, и Париж, и Берлин, и Рим, и другие столицы будут сожжены огнем небесным в будущую войну; это факт. Все они Грады Разрушения. А наши правители, с грузом мертвецов и долгов на спине, мечутся и кричат: «Что нужно сделать, чтобы спастись?» Вот это оно и есть: не рассказ из книги, как бывало, а святая истина в действительном, доподлинном мире. И единственная их надежда: «Беги грядущего гнева». А куда им бежать? Вот они и заседают в Женеве или судачат по воскресеньям на вилле у премьера, спрашивая друг друга: «Куда нам бежать?» И никто не может дать ответа. Человек в этой книге говорит: «Видишь ты свет, который светит вдали?» В наше время света хоть отбавляй. И в парламенте свет, и в газетах, и в церквах, и в книгах, которые называются Основы; Основы истории, Основы науки и еще всякие Основы; и, несмотря на всю эту болтовню, мы сидим здесь, во Граде Разрушения, как агнцы, приведенные на заклание, и ждем грядущего гнева. Этот малограмотный лудильщик говорит мне, что путь спасения прямо передо мной и так тесен, что сбиться с него нельзя. Но он называет этот мир пустыней, а в пустыне нет дорог, их нужно прокладывать. Все прямые дороги проложены солдатами; и привели их эти дороги вовсе не на небо, чаще всего они попадали совсем в другое место. Нет, Джон, ты хорошо умел рассказывать сказки, и, говорят, ты был солдатом, но, когда солдат вместо службы начинает рассказывать сказки, его сажают в кутузку; и тебя посадили. Двенадцать лет Бедфордской тюрьмы ему припаяли: в тюрьме он читал Библию и...

Цыпка. А что же там еще читать? Есть тюрьмы, где ничего другого не дают.

Сержант. А ты откуда знаешь?

Цыпка. Это мое личное дело. Тебя не касается.

Сержант. Не касается? Нет, пташка, ты меня не знаешь. Другой мужчина тут же спровадил бы тебя, а для меня нет ничего интереснее, как поговорить с женщиной, кото-

рая просидела взаперти много лет подряд, читая одну только Библию.

Цыпка. Много лет подряд! Что ты мелешь? Никогда больше девяти месяцев не отсиживала. А если какая тварь скажет, что я просидела хоть на один день больше, так это враки.

Сержант *(кладя руку на Библию)*. Эту книгу можно прочесть от корки до корки за девять месяцев.

Цыпка. Да от нее можно впасть в тихое помешательство! А меня она и вовсе подвела. Священник спросил, за что я в тюрьме. А я ответила: «За то, что обобрала египтян, смотри книгу «Исхода», главу такую-то, стих такой-то». А он, свинья такая, нажаловался на меня! Из-за него лишнюю неделю просидела.

Сержант. И поделом тебе! Я не стою за ограбление египтян. До войны обирать египтян считалось священным делом. А теперь мне ясно, что это просто воровство.

Цыпка *(шокированная)*. Как ты грубо выражаешься! Но только почему Моисею можно, а мне нельзя?

Сержант. Если Библия так повлияла на твой ум, то это плохое влияние. Там есть хорошие вещи: будь справедлив, возлюби милосердие, смирись перед богом. Это может убедить человека, если только изложить это точно и ясно, как в воинском уставе. Но все остальное — грабить врагов и не давать пощады, приносить человеческие жертвы, думать, что можно сделать с другим народом все что угодно, потому что мы, дескать, богом избранный народ и только мы одни правы, а все другие виноваты, — как все это выглядит, когда не читаешь про это, а целых четыре года в этом варишься на самом деле? Нет, к черту! Мы цивилизованные люди. Может быть, это и годилось для древних евреев, но это не религия. А если так, то на чем же мы стоим? Вот что я хотел бы знать.

Цыпка. И это все, что тебя интересует? Сидеть в этом гроте и думать о таких вещах?

Сержант. Кто-нибудь должен же думать, иначе — что нас ждет? Офицеры не желают ни о чем думать. Полковник малюет. Лейтенанты стреляют птиц и зверей или играют в поло; им и в голову не приходит бежать грядущего гнева. Когда им не хочется выполнять служебные обязанности, это делаю за них я. То же самое и с религиозными обязанностями. Это дело священника, не мое; но когда нападешь на настоящего верующего священника, оказы-

вается, что в старые басни он не верит; а если это вылощенный джентльмен, то он изо всех сил старается показать вам, что он душа-человек, а не постный церковнослужитель. Вот и приходится самому разгадывать все загадки.

Цыпка. Да поможет бог той женщине, которая за тебя выйдет; вот все, что я могу сказать. Ты и не мужчина вовсе. *(Быстро встает и пытается бежать от него.)*

Сержант *(тоже встает и крепко обнимает ее)*. Не мужчина, а? *(Целует ее.)* Ну, что ты теперь скажешь?

Цыпка *(вырываясь, но не слишком решительно)*. Ну, пусти меня. Ты мне теперь не нужен.

Сержант. Еще как стану нужен, если поцелую тебя разочек-другой. Такова человеческая природа, и религии приходится с этим считаться.

Цыпка. Ну ладно, целуй уж. По крайней мере перестанешь говорить о религии.

Старик *(выскакивает из грота на каменную площадку)*. Остановитесь, безумцы! Вы, сэр, не невежда: вы знаете, что мир обречен на гибель.

Цыпка *(прижимается к сержанту)*. Сумасшедший!

Старик. В этом мире помешанных я один сохранил разум!

Сержант *(отстраняя Цыпку)*. Странное дело, как бы мне ни хотелось поцеловать женщину, я скорей дам себя расстрелять, чем поцелую ее при ком-нибудь.

Старик. Сэр, женщины предполагают, что они важнее всего на свете. Но это неверно. Когда мир рушится, пусть женщины молчат, а мужчины пусть станут выше поцелуев.

Сержант, заинтересованный и оробевший, тихо садится на скамейку и сажает Цыпку подле себя. Старик продолжает ораторствовать с фанатическим пылом.

Да, сэр. Мир Исаака Ньютона, который триста лет стоял несокрушимой твердыней современной цивилизации, рухнул перед критической мыслью Эйнштейна, как иерихонские стены. Мир Ньютона был оплотом детерминизма: звезды двигались по своим орбитам, послушные незыблемым законам; и когда, оставив безмерность небесных светил, мы обращались к бесконечно малым атомам, мы убеждались, что электроны движутся по своим орбитам, послушные тем же законам. Во времени каждое мгновение определяло последующее и само определялось предшествующим. Все поддавалось исчислению; все свершa-

лось потому, что должно было свершиться. Десять заповедей были стерты со скрижалей божественного закона, их место заняла космическая алгебра, математические уравнения. В этом была моя вера, в этом я обрел догмат непогрешимости, — я, который равно презирал католиков, с их бреднями о свободной воле и ответственности, и протестантов, притязающих на право личного суждения. А теперь, теперь... что осталось от всего этого? Орбита электрона не подвластна закону, он избирает один путь и отвергает другой; он так же своенравен, как планета Меркурий, которая отклоняется от своего пути, чтобы погреться на солнце. Все — прихоть! Мир, поддававшийся исчислению, оказался без меры и числа. Под видом промысла и предопределения самые дикие предрассудки воскресли из мертвых, чтобы сбросить с пьедестала великие умы и увенчать бумажными коронами хвастливых глупцов. Когда, бывало, ссоры с женой или неприятности в делах удручали меня, я искал утешения и бодрости в наших биологических музеях, где я мог забыть житейские заботы, дивясь многообразию форм и окраски птиц, рыб и животных, созданных не единой сознательной волей, а силой естественного отбора. А теперь я не дерзаю переступить порог аквариума, ибо в этих смешных и страшных чудищах, населяющих недра морские, я вижу только творения какого-то демонического художника; мне мерещится некий Зевс-Мефистофель с палитрой и пластилином в руках, старающийся превзойти самого себя в создании причудливых и нелепых тварей, чтобы заселить ими игрушечный Ноев ковчег на забаву своему младенцу. И я, чтобы не потерять рассудок, выбегаю из музея и кричу, как герой этой книги: «Что мне делать, чтобы спастись?» Ничто не может спасти нас от стремительного падения в бездонную пропасть, кроме крепкого фундамента догмы. Но едва мы убеждаемся в этом, как оказывается, что единственная неоспоримая догма — это отрицание догмы. И вот я, стоящий здесь перед вами, падаю в пропасть, падаю, падаю, падаю... Все мы падаем в пропасть. И наш затуманенный мозг не в силах породить ничего, кроме безумия. Моя жена умерла, проклиная меня. А я не знаю, как жить без нее: ведь мы сорок лет были несчастливы друг с другом. Мой сын, которого я воспитал стойким, благочестивым атеистом, стал вором и мошенником. И я ничего не могу сказать ему, кроме: «Иди, сын мой, погибни

в мерзости, ибо ни отец твой, ни кто иной не может сказать тебе, ради чего стоит быть честным человеком».

Он поворачивается к ним спиной и уже готов неистово устремиться прочь, но тут из-за «Собора святого Павла» появляется Обри в легком белом костюме и небрежным тоном окликает своего родителя.

Обри. Хэлло, папаша, так это в самом деле вы? То-то мне почудился старый знакомый тромбон; ошибиться я не мог. Каким ветром вас сюда занесло?

Старик *(сержанту)*. Это мой блудный сын.

Обри. Я не блудный сын. Блудный сын был мот и бездельник, который дошел до того, что ел помои вместе со свиньями. Я не нищий, я купаюсь в деньгах. Я никогда никому не должаю. Я примерный сын. Но должен сказать, что вы, к сожалению, отнюдь не примерный отец.

Старик. Какое, сударь, ты имеешь право это говорить? В чем я виноват перед тобой?

Обри. Вы пытались воспрепятствовать моему явному призванию. Природа предназначила меня для церкви. Мне пришлось тайно принять сан.

Старик. Принять сан? И ты осмелился это сделать без моего ведома?

Обри. Разумеется. Ведь вы же возражали. Как же я мог это сделать с вашего ведома? Вы перестали бы высылать мне деньги.

Старик *(в изнеможении опускается на ближайший камень)*. Мой сын – священник! Я этого не переживу!

Обри *(спокойно садится на другой камень, справа от старика)*. Ничего, ничего! Отцы многое могут пережить. В университете я стал летчиком. Когда началась война, я, естественно, продолжал это занятие в военно-воздушном флоте. В качестве аса я заслужил довольно аляповатую серебряную медаль за содеянные зверства, несовместимые с саном христианского служителя церкви. После ранения мои нервы сдали, и я стал полковым священником. Мне пришлось говорить смертельно раненным солдатам, что они умирают, осененные благословением божьим, и отправляются прямо в рай, хотя на самом деле они умирали, содеяв смертный грех, и отправлялись в совсем иное место. Дабы искупить это кощунство, я старался по возможности находиться под самым огнем Но и этого мои нервы не выдержали. Я получил трехме-

сячный отпуск и провел его в госпитале. И тут меня настиг мой рок.

Старик. Какой такой рок? К моему стыду и горю, ты жив и здоров.

Обри. Выражаясь точнее, я встретился с Цыпкой. Познакомьтесь.

Цыпка. Очень рада познакомиться с отцом Попси.

Старик. Моего сына звали Попси в раннем детстве. Когда ему пошел шестой год, я из принципа запретил это. Странно слышать это имя из ваших уст после такого большого перерыва.

Цыпка. Я всегда спрашиваю мужчин, как мама звала их. Тогда они сразу перестают выпендриваться.

Обри *(продолжая свой рассказ)*. Худшей сиделки, чем Цыпка, быть не могло: смертность среди больных повысилась на десять процентов.

Цыпка. Вот уж неправда! Больные умирали из-за других сиделок. Будили их в шесть утра и начинали мыть! Половина больных умирала от простуды.

Обри. Но ты не станешь отрицать, что сиделки красивей тебя там не было?

Цыпка. Ты, во всяком случае, так думал.

Старик. Довольно, замолчите. Я не выношу разговоров на сексуальные темы.

Обри. Во время войны выяснилось, что для раненых и контуженных солдат сексуальный момент не менее важен, чем хороший уход. Вот хорошеньким женщинам и разрешили изображать сиделок, чтобы они присаживались на койки и предохраняли больных от умопомешательства. Цыпка не спасла меня от умопомешательства — наоборот, она свела меня с ума. Я видел в Цыпке не только идеал красоты, но и воплощение всех добродетелей. И она отвечала мне взаимностью. Когда я ушел из госпиталя, она ушла вместе со мной. Меня выписали — как выздоровевшего — третьего числа. Ее выгнали первого того же месяца. Видавший виды персонал госпиталя многое мог вынести, но Цыпки он все-таки не вынес.

Цыпка. Просто все мне завидовали, ты это отлично знаешь

Обри. Знаю. Как бы то ни было, мы с Цыпкой поселились вместе, и целых десять дней она была мне верна. Рекордная цифра для нее.

Цыпка. Скажи, Попси, ты собираешься рассказывать всю историю или только часть ее? Графиню Вальбриони это очень интересует.

Обри. Нам незачем скрывать свои поступки, пока это не угрожает нашему карману. Но, может быть, вам надоело слушать меня?

Старик. Доканчивай свою исповедь, сударь. Ты сказал, что поселился вместе с этой леди. Могу я истолковать это в том смысле, что вы муж и жена?

Цыпка. Так бы оно и было, если бы мы могли надеяться на вашу поддержку. Но выйти замуж за полкового священника, без гроша за душой, кроме жалованья? Да еще папаша — атеист!

Обри. Так вот какой у тебя был расчет, Цыпка? А мне и в голову не приходило, что кто-нибудь из нас может думать о браке. Я, во всяком случае, не думал. Я стал жить с тобой просто потому, что без тебя жить не мог. По неправдоподобию этого признания можете судить о степени моей влюбленности.

Цыпка. Нечего ехидничать. Плохо тебе было со мной, скажи?

Обри. Как в раю. Это тоже звучит неправдоподобно, но тем не менее это святая истина.

Старик. Не мысли отделаться от меня шутками, несчастный. Ты сказал, что никому ничего не должен и купаешься в деньгах. Откуда эти деньги?

Обри. Я украл очень ценный жемчуг и вернул его владелице. Она щедро наградила меня. Вот источник моего богатства. Честность — лучшая политика... иногда.

Старик. Хуже даже, чем священник! Вор!

Обри. Зачем поднимать крик из-за пустяков?

Старик. По-твоему, кража жемчужного ожерелья — пустяк?

Обри. Меньше, чем пустяк, — ничто по сравнению с тем, что я делал с вашего одобрения. Я был еще почти мальчиком, когда в первый раз сбросил бомбу на спящую деревню. Я после этого всю ночь проплакал. Потом я прошел на бреющем полете вдоль улицы и выпустил пулеметную очередь по толпе мирных жителей: женщины, дети и прочее. В этот раз я уже не плакал. А теперь вы мне читаете проповедь из-за кражи жемчуга! Вам не кажется, что это несколько комично?

Сержант. То была война, сэр.

Обри. То был я, сержант! Я! Нельзя делить мою совесть на департамент войны и департамент мира. Неужели вы думаете, что человек, совершающий убийство из политических побуждений, остановится перед тем, чтобы совершить кражу из личных побуждений? Вы думаете, что

можно сделать человека смертельным врагом шестидесяти миллионов его ближних, не сделав его при этом менее щепетильным по отношению к ближайшему соседу?

Старик. Ничего я не одобрял. Будь я призывного возраста, я из принципа отказался бы идти в армию.

Обри. О, вы от всего отказывались из принципа, даже от бога. Но моя мать была энтузиасткой: вот почему вы так плохо с ней ладили. Она заставила бы меня пойти на войну, если бы я сам не пошел. Она заставила пойти моего брата, хотя он не верил ни одному слову из той лжи, которой нас пичкали, и не хотел идти. Он погиб. И когда потом оказалось, что он был прав и что мы, как дураки, убивали друг друга ни за что ни про что, у нее не хватило сил продолжать жить, и она умерла.

Сержант. Ну, знаете, сэр, я никогда бы не позволил своему сыну так разговаривать со мной. Не давайте ему воли. Покажите, что вы детерминист, сэр.

Старик *(порывисто вставая)*. Детерминизм погиб, разрушенный, погребенный вместе с сотнями мертвых религий, рассеянный вместе с бурями миллиона забытых зим. Наука, в которую я верил, потерпела крах: ее басни бессмысленней всех чудес церкви, ее жестокости страшнее пыток инквизиции. Не просвещение распространяла она, а губительный яд. Ее заветы, которым надлежало водворить рай на земле, довели Европу до самоубийства. А я – я, который верил в науку, как ни один фанатик не верит в религиозные суеверия!.. Ради нее я помогал разрушать веру миллионов людей, исповедующих сотни разных религий. Смотрите на меня и созерцайте величайшую трагедию атеиста, утратившего веру – веру в атеизм, за которую погибло больше мучеников, чем за все вероучения вместе взятые. Вот я стою, немой, перед моим сыном-негодяем. Ибо, друг мой, это так: ты самый обыкновенный негодяй, и больше ничего.

Обри. Ну и что же? Если я сделаюсь честным человеком, я буду бедняком. Никто не станет уважать меня, никто не похвалит, никто не поблагодарит. И наоборот, если я буду дерзок, нагл, жаден, удачлив, богат – все будут уважать меня, хвалить, охаживать, улещать. Тогда я, конечно, смогу позволить себе роскошь быть честным. Эту истину я постиг благодаря моему религиозному воспитанию.

Старик. Как ты смеешь говорить о религиозном воспитании? От этого, по крайней мере, я тебя уберег.

Обри. Это вы только так думали, папаша. Но вы забыли про мою мать.

Старик. Что такое?

Обри. Вы запретили мне читать Библию, но моя мать заставляла меня заучивать по три стиха в день и била меня, если я путал слова. Она грозилась еще сильнее избить меня, если я расскажу вам об этом.

Старик *(словно пораженный громом)*. Твоя мать!!!

Обри. Так я затвердил урок: шесть дней трудись, на седьмой отдыхай. Я потружусь еще шесть лет, а потом уйду на покой и стану святым.

Старик. Святой! Лучше скажи — погибший сын неисправимо суеверной матери. Уйди сейчас из жизни, которую ты осквернил. Вот море. Иди утопись. На этом кладбище нет лживых эпитафий. *(Возвращается в свой грот и снова предается глубочайшему отчаянию.)*

Обри *(невозмутимо)*. Лучше мне стать святым. Тысячу-другую на больницы — и любая политическая партия из своих фондов купит мне венчик размером с Цыпкину шляпу. Вот моя программа. Что вы можете возразить против нее?

Сержант. Нельзя назвать это программой джентльмена, сэр, насколько я понимаю.

Обри. В наши времена, сержант, нельзя быть джентльменом меньше, чем на пятьдесят тысяч в год.

Сержант. В армии можно, уверяю вас.

Обри. Да. Потому что в армии сбрасывают бомбы на спящие деревни. И даже там, чтобы быть джентльменом, нужно иметь офицерский чин. Вы джентльмен?

Сержант. Нет, сэр. Это обошлось бы мне слишком дорого. Не по карману.

Шум за сценой. Слышны жалобы и причитания. Это голос пожилой леди — миссис Мопли. Она преследует полковника Толбойса, идущего через проход к берегу; в состоянии полной невменяемости она цепляется за его руку, пытаясь удержать его; он, тоже вне себя, вырывается от нее. Она в черном туалете, словно на прогулке в окрестностях Лондона, но на голове у нее пробковый шлем. У него через плечо ящик с красками, под мышкой — мольберт, в правой руке — небрежно свернутый внушительных размеров зонтик, оранжевый, с красной каймой.

Миссис Мопли. Не хочу иметь терпение! Не хочу успокоиться! Мое дитя убивают!

Толбойс. Говорят вам, никто ее не убивает. Убедительно прошу вас извинить меня, я должен заняться неотложным делом.

Миссис Мопли. Ваше дело спасти мою дочь! Она голодает.

Толбойс. Глупости. Никто здесь не голодает. Повсюду растут финики. Убедительно прошу вас...

Миссис Мопли. И вы думаете, что моя дочь может жить одними финиками? Ей нужна камбала к завтраку, чашка питательного бульона в одиннадцать часов, отбивная котлета и телячья печенка к обеду, пинта мясного экстракта к чаю, курица и холодная баранина или телятина...

Толбойс. Я вас убедительно прошу...

Миссис Мопли. Моя бедная, слабенькая девочка — и вдруг — питаться финиками! А она последнее оставшееся мне дитя; они все были слабенькие...

Толбойс. Простите, но мне пора. *(Вырывается от нее и бежит по берегу мимо «Приюта любви».)*

Миссис Мопли *(бросаясь за ним вдогонку)*. Полковник, полковник! Вы могли бы хоть для приличия выслушать убитую горем мать. Полковник! Моя дочь умирает! Может быть, она уже умерла... И никто ничего не делает, никто об этом не думает. О боже мой, да послушайте же!.. *(Голос ее замирает в отдалении.)*

Пока все безмолвно смотрят вслед удаляющейся чете, в проходе появляется больная, все в том же наряде туземной рабыни, но несколько более пышном.

Больная. Мой сон превратился в кошмар: моя мать настигла меня на этом пустынном берегу. Я не могу отвергнуть ее; ни одна женщина не может отвергнуть свою мать. Не должно бы быть матерей. Должны быть только женщины, сильные женщины, способные стоять на ногах, ни за кого не цепляясь. Я убила бы всех слабых женщин. Матери цепляются, дочери цепляются... Мы все словно пьяницы, цепляющиеся за фонарный столб. Никто из нас на ногах не держится.

Старик. Величайшее утешение, если есть за кого цепляться Величайшее одиночество — стоять одному.

Больная. Что? *(Вскарабкивается на площадку и заглядывает в «Собор святого Павла».)* Ого! Отшельник, изрекающий истины. *(Обращаясь к Обри.)* Кто это?

Обри. Некто, не многим лучше матери: отец.

Старик. Глубоко несчастный отец.

Обри. Короче говоря – мой отец.

Больная. Если бы у меня был отец, который ограждал бы меня от забот моей матери! Ах, почему я не сирота!

Сержант Будете, мисс, если старая леди не отстанет от полковника. Она пристает к нему все утро, с самого своего приезда; а я знаю полковника, он с норовом: когда вспылит, взрывается не хуже бомбы. Вот увидите, он ее убьет, если она очень доймет его.

Больная. Пусть убьет. Я молодая и сильная. Мне нужен мир без родителей; в моих снах для них нет места. Я хочу основать секту сестер.

Обри. Отлично, Мопс! Офелия, иди в монастырь.

Больная. Не обязательно монастырь, если мужчины способны не испортить все сразу. Но в нашей секте все женщины должны быть богаты, угрюмой бедности не должно быть места. Среди нас немало богатых женщин, которые, как я, не хотят, чтобы их заедали паразиты.

Обри. Довольно. Ваше воображение всегда подсказывает вам тошнотворные образы. Я не выношу интеллектуальной грубости. Я могу простить и даже оценить Цыпкину вульгарность. Но вы говорите отвратительные вещи, которые застревают в моей памяти и угнетают меня. Я больше не могу. *(Сердито встает и хочет пройти мимо «Приюта любви»).*

Цыпка. Какой нежный, скажите пожалуйста! Если бы горничные были такие нежные, как ты, тебе пришлось бы самому выливать ночную посуду.

Обри *(отпрянув от нее с возгласом отвращения)*. Не тычь ею мне в лицо, дрянь ты этакая! *(Обиженно садится на прежнее место.)*

Старик. Молчи, сын мой. Это житейская мудрость. Тебе полезно послушать. *(Обращаясь к больной.)* Разрешите узнать, в каких отношениях вы с моим сыном? Вы, по-видимому, знаете друг друга.

Больная. Попси украл мой жемчуг и уговорил меня бежать с ним; он сказал замечательную речь о свободе, о солнце и красотах природы. Цыпка заставила меня все это записать и продать одному туристскому агентству в качестве рекламы. А потом меня стали заедать паразиты – туристские агентства, пароходные общества, железнодорожные компании, автомобильные фирмы, содержатели отелей, портные, прислуга – все хотели выдоить из меня

деньги: продавали мне совершенно ненужные вещи или гоняли по всему земному шару, чтобы я полюбовалась «чужими небесами», как они выражаются, хотя отлично знают, что всюду одно и то же небо. При этом за меня делалось все то, что я, для сохранения своего здоровья, должна была бы делать сама. Они терзали меня, как хищники свою добычу, они уверяли, что дают мне счастье, а я только при помощи пьянства и наркотиков,— накачиваясь коктейлями и кокаином,— могла выносить эту жизнь.

Обри. Мне очень жаль, Мопс, но я должен сказать, что в вас нет задатков настоящей леди. *(Встает и садится на другой камень, поодаль.)*

Больная. Глупости! Леди — это вещь, не существующая в природе. У меня задатки хорошей экономки. Я хочу очистить этот захламленный мир и держать его в чистоте. Должно быть, есть и другие женщины, которые хотят того же. В Крымскую кампанию именно это побудило Флоренс Найтингел пойти в сестры. Она мечтала об ордене сестер, но такого не оказалось.

Старик. Их было несколько. Но, к несчастью, они все погрязли в суеверии.

Больная. Да, они придерживаются идей, в которые я не верю. Чтобы примкнуть к ним, нужно отстраниться от всех других женщин. Я не хочу ни от кого отстраняться. Я хочу, чтобы в мою секту вступали все женщины, а остальных надо удушить.

Старик. Падают! Падают! Даже молодые сильные, богатые, красивые чувствуют, что их увлекает в бездонную пропасть.

Сержант. Простите меня, мисс, но ваш круг — это только маленький уголок мира. Если вам не по вкусу общество офицеров, вы можете водить компанию с рядовыми. Посмотрите на Слаба! Он мог бы стать императором, если бы захотел, но он предпочитает оставаться рядовым: ему так больше нравится.

Больная. Я не принадлежу к сословию бедных и не желаю принадлежать. Я всегда знала, что на свете есть тысячи бедняков; и меня научили верить, что их бедность — это божья кара за то, что они грязные, нечестные, пьяные и не умеют читать и писать. Но я не знала, что богатые несчастны. Не знала, что я несчастна. Не знала, что наша респектабельность — высокомерие и снобизм, а наше благочестие — алчность и себялюбие и что они иссушили

мою душу. Теперь я это знаю. Я постигла самое себя — во сне.

Старик. Вы молоды. Вы можете встретить достойного человека, который исцелит вас и даст вам несколько лет счастья. Когда вы полюбите, жизнь покажется вам сладостной.

Больная. Я полюбила. Вот этого субъекта. И хотя я никогда не была горничной в отеле, он надоел мне скорей, чем Цыпке. Любовь приносит людям затруднения, а не устраняет их. Не хочу больше возлюбленных, хочу содружество сестер. С тех пор как я здесь, мне хочется вступить в армию, как Жанна д'Арк. Это тоже своего рода содружество.

Сержант. Да, мисс, это именно так. В армии, бывало, наслаждаешься душевным покоем, какого не найти нигде на свете. Но война положила этому конец. Видите ли, мисс, я считаю, что основной принцип военного дела заключается в том, что люди, которые знают, что надо, убивают тех, кто не знает, что надо. Этим держится мир. Когда солдат поступает согласно этому принципу, он выполняет волю божью, чему меня всегда учила моя мать. Но совсем другое дело убивать человека только потому, что он немец, или быть убитым только потому, что ты англичанин. В тысяча девятьсот пятнадцатом году мы не убивали тех, кого следовало; даже нельзя сказать, что мы убивали тех, кого не следовало: просто люди убивали друг друга ни за что ни про что.

Больная. Ради забавы?

Сержант. Нет, мисс, это была плохая забава: не смех, а слезы.

Больная. Тогда, значит, из озорства?

Сержант. Из озорства дьяволов, которые управляют этим миром. А у тех, кто убивал, даже и такой радости не было: что за удовольствие вставлять запал или дергать шнур, когда вся дьявольщина произойдет на расстоянии от трех до сорока миль и ты даже знать не будешь, просто ли ты сделал яму в земле или взорвал люльку вместе с ребёнком, как две капли воды похожим на твоего собственного? Это не озорство, а несчастье. Нет, мисс, военное дело уже не имеет настоящей почвы. Я понимаю, что хочет сказать этот джентльмен, когда говорит о падении в бездонную пропасть. У меня тоже такое чувство.

Старик. Все мы заблудшие души.

Больная. Нет, всего только заблудившиеся псы. Не унывай, старик. Заблудившийся пес всегда находит дорогу домой

За сценой снова слышен голос пожилой леди.

Ох, это опять она!

Миссис Мопли все еще преследует полковника; Толбойс молча и решительно уходит от нее, губы его сжаты, и все лицо угрожающе неподвижно.

Миссис Мопли. Вы мне даже не отвечаете. Это возмутительно. Я пошлю правительству телеграмму с жалобой на вас. Вы назначены сюда, чтобы освободить мою дочь из рук этих ужасных разбойников. Почему ничего не делается? В каких вы отношениях с этой невозможной графиней, с которой давно пора содрать графскую корону? Вы все сговорились убить мое последнее любимое дитя Вы в заговоре с разбойниками. Вы...

Полковник оборачивается как затравленный зверь, и со всего размаха опускает свой зонтик на шлем бедной миссис Мопли.

Ай! Ай! Ай! Ай! *(С коротким, отрывистым криком, пошатываясь и спотыкаясь она плетется вдоль берега, пока не скрывается из виду.)*

Общее смятение. Все с ужасом смотрят на Толбойса Сержант от изумления встает со скамьи и вытягивается перед полковником.

Больная. О, если бы кто-нибудь сделал это двадцать лет назад, какое у меня было бы детство! Но надо посмотреть, что с бедной старушкой. *(Бежит за матерью.*

Обри. Полковник разрешите выразить вам наше полное, искреннее и безоговорочное сочувствие. От души благодарим вас. Но это не меняет того факта, что мужчина, поднявший руку на женщину, недостоин называться британцем.

Толбойс. Я это отлично знаю, сэр. Можете не напоминать Миссис Мопли имеет право требовать моих извинений Она их получит.

Старик. А вы не думаете, что возможен серьезный ущерб..

Толбойс *(обрывая его)*. Мой зонтик не пострадал, благодарю вас. Инцидент исчерпан. *(Садится перед «Собором святого Павла» на камень, который раньше занимал Обри*

Его поведение так решительно, что никто не осмеливается продолжать разговор на эту тему.)

Пока они, потрясенные разразившейся катастрофой, сидят в тягостном молчании, то ища, то избегая взглядов друг друга, издали доносится шум, похожий на трескотню пулеметной очереди; по мере приближения он становится все громче и отрывистей. Все затыкают уши. Шум слегка утихает, потом внезапно нарастает до оглушительного дребезжания и обрывается.

Слаб!

Обри. Слаб!

Цыпка. Слаб!

Старик. Что это? Почему вы все говорите «слаб»?

Слаб, весь в грязи и пыли, с сумкой, полной бумаг, энергичными шагами идет по проходу.

Толбойс. Скажите, Слаб, вы не можете обойтись мотоциклом нормальной мощности? Вам непременно нужно мчаться со скоростью восемьдесят миль в час?

Слаб. Я привез вам приятную новость, полковник, а приятные новости торопятся.

Толбойс. Мне?

Слаб. Награждение орденом Бани, сэр. *(Передает бумагу.)* Постановление получено радиограммой.

Толбойс *(обрадованный, встает с места и берет бумагу)*. А-а! Ну, поздравляйте меня, друзья! Наконец-то моя Сара стала леди Толбойс! *(Садится и углубляется в изучение бумаги.)*

Обри, Сержант, Цыпка *(вместе)*. Великолепно! Вы заслужили эту награду, сэр! Я так рада за вас!

Старик. Смею ли узнать, сэр, за какие заслуги вы удостоены столь высокой награды?

Толбойс. Я выиграл битву хлопушек. Я подавил деятельность здешних разбойников. Я вырвал из их рук английскую леди. Правительство готовится ко всеобщим выборам, и мои скромные достижения должны послужить ему во славу.

Старик. Разбойники? И много их здесь?

Толбойс. Ни одного.

Старик. Так как же... А английская леди, которую вы вырвали из их рук?..

Толбойс. Она все время была в моих руках, в полной безопасности.

Старик *(все с бóльшим недоумением)*. О-о! А битва хлопушек...

Толбойс. Ее выиграл рядовой Слаб. Я тут совершенно ни при чем.

Обри. Разбойников и английскую леди выдумал я. *(Обращаясь к Толбойсу.)* Кстати, полковник, представительный старец у алтаря – мой отец.

Толбойс. Вот как! Рад познакомиться, сэр, хотя по поводу вашего сына не могу сказать вам ничего лестного, разве только, что вы произвели на свет такого бессовестного лгуна, какого я в жизни не видел.

Старик. А позвольте спросить, сэр, намерены ли вы не только простить моему сыну обман, но и воспользоваться им, чтобы принять награду, которой вы не заслужили?

Толбойс. Я заслужил ее, сэр, десять раз заслужил! Вы думаете, если разбойников, за усмирение которых меня наградили, не существует, то я никогда не усмирял разбойников? Вы забываете, что, хотя это сражение, успех которого приписывается мне, выиграно моим подчиненным, – я тоже выигрывал сражения и видел, как все почести доставались какому-нибудь генералу, даже не знающему, в чем дело. В армии всегда так, и в конце концов получается одно на одно: награда за заслуги приходит со временем. Справедливость – всегда справедливость, хотя она приходит с опозданием, и то по ошибке. Сегодня мой черед; завтра настанет черед рядового Слаба.

Старик. А пока что мистер Слаб, этот скромный и достойный воин, останется бедным и безвестным солдатом, в то время как вы будете кичиться своим орденом Бани.

Толбойс. Как я ему завидую! Взгляните на него и взгляните на меня! Я несу все бремя ответственности, между тем как руки у меня связаны, тело расслаблено, мозг иссушен, потому что полковник не должен делать ничего, кроме как отдавать приказания и иметь значительный вид, хотя бы голова его в это время была как пустой котел! А он волен приложить руку ко всему, к чему захочет, и иметь вид идиота, когда он чувствует себя таковым! Меня довели до акварельной живописи, потому что мне запрещено делать повседневное полезное дело. Командующий воинской частью не должен делать того, не должен делать другого, не должен делать третьего, он

не должен делать ничего, кроме как заставлять делать все это своих людей. Даже общаться с ними не должен. Я вижу, как солдат Слаб делает все, что естественно делать настоящему мужчине: плотничает, красит, копает землю, таскает тяжести, помогает себе и всем окружающим, а я, обладающий большей физической силой и не меньшей энергией, должен скучать и томиться, потому что мне разрешается только читать газеты и пить коньяк с водой, чтобы не сойти с ума. Если бы не живопись, я спился бы с круга. С какой радостью я променял бы свой оклад, свой чин, свой орден Бани на бедность Слаба, на его безвестность!

Слаб. Но, дорогой полковник... виноват — сэр... я хочу сказать, что и вы можете стать рядовым. Ничего нет легче. Я делал это неоднократно. Вы подаете в отставку, меняете свою фамилию на какую-нибудь очень распространенную, красите волосы и на вопрос сержанта, записывающего новобранцев, о возрасте отвечаете: двадцать два. И все! Можете выбрать себе любой полк.

Толбойс. Не следует искушать начальство, Слаб. Вы, бесспорно, превосходный солдат. Но скажите, подвергалось ли ваше мужество последнему, тягчайшему испытанию?

Слаб. Какому, сэр?

Толбойс. Вы женаты?

Слаб. Нет, сэр.

Толбойс. Тогда не спрашивайте меня, почему я не подаю в отставку и не превращаюсь в свободного, счастливого солдата. Жена не допустит этого.

Графиня. А почему бы вам не стукнуть ее зонтиком по голове?

Толбойс. Боюсь. Бывают минуты, когда я мечтаю о том, чтобы это сделал кто-нибудь другой. Но только не при мне. Я убил бы его.

Старик. Все мы рабы. Но, по крайней мере, ваш сын честный человек.

Толбойс. Да? Рад слышать. Я не видел его с начала войны: он уклонился от службы в армии и занялся подрядами. Он так чудовищно разбогател, что я не могу позволить себе поддерживать с ним знакомство. И вам незачем поддерживать знакомство с вашим сыном. Кстати, он выдает себя за сводного брата этой леди, графини Вальбриони.

Цыпка. К черту Вальбриони! Меня зовут Сюзэн Симпкинс. Мало радости быть графиней. Ни разнообразия, ни

сильных ощущений. Я хочу только одного: дайте сержанту месячный отпуск. Дадите, полковник?

Толбойс. Зачем?

Цыпка. Это не важно. Можно и двухнедельный, сейчас я не могу сказать точно. В нем есть что-то успокаивающее; а ведь мне когда-нибудь надо остепениться.

Толбойс. Глупости! Сержант — человек набожный, он вам не пара. Правда, сержант?

Сержант. Видите ли, сэр. Мужчине нужна женщина, чтобы он поменьше думал о женщинах. Нельзя читать без помехи Библию, если мысли разбегаются и перед глазами всякие видения. А набожному человеку лучше не брать набожную жену: оба в одном ремесле — ладу не бывать; а кроме того, у детей будет односторонний взгляд на жизнь. Жизнь, сэр, штука сложная: не все в ней благочестие и не все в ней веселье. У этой молодой женщины нет совести, но моей хватит на двоих. У меня нет денег, но у нее как будто хватит на двоих. Заметьте: я не связываю себя, но я все же могу сказать, что я не окончательно против. В этом суетном мире — а нам, как-никак, приходится в нем жить, сэр, — меня влечет к ней.

Обри. Берегитесь, сержант. Цыпка постоянством не отличается.

Сержант. А я что? Я человек военный, холостяк, женщины так и льнут. Если я женюсь на ней, другие уж не сунутся. А мне надоело путаться то с одной, то с другой.

Цыпка. Откровенно говоря, и мне надоело. Мы созданы друг для друга, сержант. Правда?

Сержант. Ну, что ж, Сюзэн, я не прочь попробовать. Увидим, как мы с тобой поладим.

Слышен голос миссис Мопли. Она говорит решительным и даже угрожающим тоном, звук ее голоса быстро приближается.

Миссис Мопли *(за сценой)*. Отстаньте от меня! Никто не просил вас вмешиваться. Убирайтесь.

Лица присутствующих выражают страх и уныние. Миссис Мопли появляется на берегу и энергичным шагом приближается к ним. Она подходит прямо к полковнику и хочет заговорить с ним, но он с твердостью встает со своего места и заговаривает первым.

Толбойс. Миссис Мопли, я должен немедленно исполнить

свой долг по отношению к вам. Во время нашей последней встречи я вас ударил.

Миссис Мопли. Ударили? Вы проломили мне голову. Вы это имеете в виду?

Толбойс. Если вы считаете, что я неточно выразился, я готов согласиться с вами. Допустим, что я проломил вам голову. Так вот, я кругом виноват и приношу вам свои извинения. Если желаете, я могу это сделать в письменной форме.

Миссис Мопли. Хорошо. Раз вы выражаете свое сожаление, больше, я думаю, говорить не о чем.

Толбойс *(нахмурившись)*. Простите, я принес свои извинения, но сожаления я не выражал.

Обри. Ради бога, полковник, не связывайтесь с ней. Не комментируйте свои извинения.

Миссис Мопли. А вы кто такой? Извольте молчать!

Толбойс. Я ничего не комментирую. Я признаю, что кругом виноват, и принес свои извинения. Миссис Мопли имеет на это право: мой поступок ничем нельзя оправдать. Но ни одна дама, ни одно живое существо не имеет права принудить меня ко лжи: я не сожалею о том, что сделал. Я не могу припомнить ни одного поступка, который принес бы мне такое полное, глубокое удовлетворение. Когда я был ротным командиром, я однажды зарубил противника во время боя; не заруби я его, он зарубил бы меня. Это не принесло мне удовлетворения: я чуть ли не испытывал стыд. Я никогда никому об этом не говорил. Но на этот раз я ударил с полным удовольствием. Я даже благодарен миссис Мопли: я обязан ей одной из редчайших, приятнейших минут моей жизни.

Миссис Мопли. Нечего сказать! Как вам нравится такое извинение?

Толбойс *(твердо)*. Я ничего не могу прибавить, сударыня.

Миссис Мопли. Ну, ладно, старый хрен, я вас прощаю.

Сенсация. Все в ужасе смотрят друг на друга. Входит больная.

Больная. Мне очень жаль, полковник Толбойс, но должна сказать вам, что вы повредили мозги моей матери: она не верит, что я ее дочь. Я просто не узнаю ее.

Миссис Мопли. Вот как? А ты знаешь, какая я по-настоящему? Мне всегда лгали — и мне приходилось делать вид, что я совсем другая, чем на самом деле.

Толбойс. Кто вам лгал, сударыня? Я не давал таких распоряжений.

Миссис Мопли. Я не о вас говорю. Моя мать лгала мне. Моя няня лгала мне. Моя гувернантка лгала мне. Все лгали мне. Мир совсем не такой, каким они его изображали. Я совсем не такая, какой они меня изображали,— приходилось быть такой. Я думала, что нужно делать вид, а вовсе не нужно было.

Старик. Еще одна жертва! И она тоже падает в бездонную пропасть!

Миссис Мопли. Я не знаю, ни кто вы такой, ни что вы хотели сказать, но вы попали в самую точку: я просто не знаю, на каком я свете. Почему мне говорили, что дети не могут жить без лекарств и должны есть мясо три раза в день? Знаете ли вы, что я погубила двоих детей только потому, что мне так говорили! Своих собственных детей! Просто-напросто убила их!

Старик. Медея! Медея!

Миссис Мопли. Это не идея, это сущая правда. Никому больше верить не буду. Я убила бы своего последнего оставшегося в живых ребенка, если бы она не сбежала от меня. Мне говорили, что я должна жертвовать собой, жить для других. И я так и делала, видит бог. Мне говорили, что все будут любить меня за это; и я думала, что так оно и будет. Но моя дочь сбежала от меня — после того как я стольким жертвовала ради нее, что иногда желала ей смерти, лишь бы хоть немного передохнуть. А теперь оказывается, что не только моя дочь ненавидела меня, но что все мои друзья, постоянно выражавшие мне сочувствие, просто жаждали дать мне зонтиком по голове! Бедняга полковник сделал только то, что сделал бы любой из них, если бы посмел. Я чистосердечно сказала, что прощаю вас; я вам даже признательна. *(Целует Толбойса.)* Но что же мне теперь делать? Как жить в мире, в котором все не так, как мне говорили, а совсем наоборот?

Больная. Успокойся, мама, успокойся! Сядь вот сюда. *(Поднимает тяжелый камень и кладет его возле «Приюта любви».)*

Миссис Мопли *(садясь на камень)*. Не называйте меня мамой. Разве моя дочь могла бы таскать такие глыбы? Ведь она звала сиделку, когда хотела взять на колени свою собачонку. Вы подлизываетесь ко мне, выдавая себя за мою дочь; но это только доказывает вашу глу-

пость, потому что я ненавижу мою дочь и моя дочь ненавидит меня – за то, что я жертвовала собой ради нее. Она была противная, себялюбивая девчонка, вечно больная, капризная; сколько ни старайся, ничем ей не угодишь. За всю свою жизнь она только раз поступила разумно, когда украла свой собственный жемчуг, продала его и сбежала, чтобы истратить деньги на себя. Она, вероятно, где-нибудь лежит в постели, а дюжина сиделок и полдюжины врачей пляшут вокруг нее. Слава богу, вы ничуть на нее не похожи, вот почему вы мне и нравитесь. Поедем ко мне, дорогая. У меня куча денег, и мне нужно наверстать шестьдесят лет испорченной жизни, – так что вы со мной не соскучитесь. Вы будете моей спутницей, и давайте забудем, что на свете существуют матери и дочери.

Больная. Но какая польза будет нам друг от друга?

Миссис Мопли. Никакой, слава богу! Ничто не помешает нам разойтись, если не уживемся.

Больная. Идет! Возьму вас на испытание, а пока осмотрюсь немного и решу, что мне делать. Но помните – только на испытание.

Миссис Мопли. Понятно, дорогая! Мы обе будем на испытании. Итак, решено.

Больная. А теперь, мистер Слаб, как насчет моего поручения, которое вы обещали исполнить? Принесли паспорт?

Графиня. Ваш паспорт? Зачем?

Обри. Что вы затеяли, Мопс? Вы хотите бросить меня?

Слаб выходит вперед, высыпает из своей сумки на песок целую груду паспортов, становится на колени и начинает искать паспорт больной.

Толбойс. Что это значит? Чьи это паспорта? Что вы с ними делаете? Откуда вы их взяли?

Слаб. На пятьдесят миль в окружности все просят достать им визу.

Толбойс. Визу? В какую страну?

Слаб. В Беотию, сэр.

Толбойс. Беотия?

Слаб. Так точно, сэр. Федеративное Объединение Разумных Общин – ФОРО. Все стремятся туда, сэр.

Графиня. Вот это да!

Старик. А что же будет с нашим несчастным отечеством, если все жители покинут его ради какой-то чужой страны, где даже собственности не уважают?

Слаб. Не бойтесь, сэр: они нас не хотят. Они больше не будут пускать к себе англичан, сэр. Они говорят, что их сумасшедшие дома уже переполнены. Я ни для кого не мог достать визы. Только одну *(обращаясь к полковнику)* — для вас.

Толбойс. Для меня? Какая наглость! Я же не просил.

Слаб. Так точно, сэр. Но там у всех столько свободного времени, что они только и думают, чем бы заняться, чтобы от безделья не натворить чего-нибудь. Они хотят организовать у себя единственное английское учреждение, которым они восхищаются.

Старик. Какое же именно?

Слаб. Английскую школу акварельной живописи, сэр. Они видели работы полковника, и, если он захочет обосноваться там, его сделают начальником парков культуры и отдыха.

Толбойс. Это неправда, Слаб. Ни одно правительство не способно на такой разумный шаг.

Слаб. Правда, сэр! Уверяю вас.

Толбойс. Но моя жена...

Слаб. Так точно, сэр, я сказал им. *(Укладывает паспорта в сумку.)*

Толбойс. Ну, что же, нам остается только вернуться на родину.

Старик. А может наша родина вернуться к разумной жизни, сэр? Вот в чем вопрос.

Толбойс. Спросите Слаба.

Слаб. Ничего не выйдет, сэр: все английские рядовые хотят стать полковниками, а для выскочек спасенья нет. *(Обращается к Толбойсу.)* Прикажете отправить экспедиционный отряд в Англию, сэр?

Толбойс. Да. И достаньте мне два тюбика краплака и пузырек белой китайской туши.

Слаб *(уходя)*. Слушаю, сэр.

Старик. Стойте! В Англии существует полиция. Что там будет с моим сыном?

Цыпка *(вставая)*. Сделайте из него проповедника, старикан. Только дайте нам раньше уйти.

Старик. Проповедуй, сын мой, сколько твоей душе угодно. Делай что хочешь, только не воруй и не оправдывай свои гражданские прегрешения прегрешениями военными. Пусть люди называют тебя «ваше преподобие», пусть называют по-всякому — лишь бы не вором.

Обри *(вставая)*. Я позволю себе воспользоваться случаем...

Всеобщая паника. Все вскакивают со своих мест, за исключением больной, которая восторженно аплодирует злорадно поощряя оратора.

Миссис Мопли, Цыпка, Старик *(вместе)*. Молчите, молодой человек! О, боже! Мы пропали! Молчаливое покаяние больше приличествовало бы тебе, сударь!

Больная. Говорите, говорите, Попс! Вы только это и умеете

Обри *(продолжает)*. Для меня ясно, что, хотя мы все, по-видимому, спокойно расходимся с намерением заняться весьма обыденными делами: Цыпка и сержант – собираются сочетаться браком...

Сержант торопливо выскальзывает из грота, делая Цыпке знаки следовать за ним; оба убегают вдоль берега.

...полковник – вернуться к своей жене, к своей живописи, к своему ордену Бани...

Полковник бесшумно удирает в противоположную сторону.

Наполеон-Александр Слаб намерен отправить экспедиционный отряд обратно на родину...

Слаб убегает по проходу.

Мопс, подобно святой Терезе, – основать орден сестер, где мать ее будет поварихой и экономкой...

Миссис Моп. и торопливо уходит за сержантом таща за собой больную, которая зачарованно слушает Обри.

Но все они, подобно моему отцу, падают, падают, бесконечно и безнадежно, сквозь пустоту, где им не за что удержаться.

Старик исчезает в «Соборе святого Павла», предоставляя своему сыну проповедовать в одиночестве.

В них во всех есть что-то фантастическое, что-то нереальное и противоестественное, что-то неблагополучное. Они слишком нелепы, чтобы можно было поверить в их существование. Но они и не вымысел: в газетах только и пи-

шут, что о них. Какой рассказчик, будь он самый бессовестный лжец, осмелился бы выдумать таких неправдоподобных героев, как люди с обнаженной душой? Обнаженное тело уже не шокирует нас: с обложек летних номеров иллюстрированных журналов на нас, весело ухмыляясь, смотрят купальщики — голей гола. Но страшного зрелища обнаженной души мы все еще не в состоянии вынести. Вы можете сорвать с себя последний лоскут вашего купального костюма, и это не смутит меня и не вызовет краски на вашем лице. Вы можете даже снять наружные покровы с вашей души: хорошие манеры, правила морали, приличия,— богохульствуйте, сквернословьте, пейте коктейли, целуйте, обнимайте, тискайте цветущих восемнадцатилетних девушек, которые к двадцати двум годам превратятся в затасканных полудев. Все это, к ужасу своих отсталых довоенных родителей, делало задорное поколение победы,— и только себе же принесло этим вред. Но как вынести эту новую, страшную наготу — наготу душ, которую люди до сих пор скрывали от своих ближних, драпируясь в возвышенный идеализм, чтобы как-то выносить общество друг друга? Железные молнии войны выжгли зияющие прорехи в этих ангельских одеждах, так же как они пробили бреши в сводах наших соборов и вырыли воронки в склонах наших гор. Наши души теперь в лохмотьях; и молодежь, заглядывая в прорехи, видит проблески правды, которая до сих пор оставалась скрытой. И она не ужасается: она в восторге, что раскусила нас; она выставляет напоказ свои собственные души; а когда мы, старшие, судорожно пытаемся залатать нашу рвань старыми тряпками, молодые накидываются на нас и срывают с нас и эти последние отрепья. Но когда они разденут догола и себя и нас — вынесут ли они это зрелище? Вы видели, как я пытался обнажить душу перед моим отцом; но когда обе молодые женщины сделали это с большей смелостью, чем я, когда старухе сшибли маску с души и она возликовала, вместо того чтобы умереть,— я содрогнулся от этих разоблачений. Меня словно обдало ветром, несущим из неведомых просторов будущего новое дыхание — дыхание жизни, быть может,— но эта жизнь мне не по силам, и ее дыхание для меня смертельно. Я стою на полпути между юностью и старостью, подобно человеку, опоздавшему на поезд: для отошедшего — поздно, для следующего — рано. Так что же мне делать? Что я такое? Солдат, испу-

гавшийся войны? Вор, при первой же крупной краже решивший, что лучшая политика честность, и вернувший добычу владельцу? Природа не предназначила мне быть солдатом или вором: я проповедник от природы и по призванию. Я новый Экклезиаст. Но у меня нет библии, нет символа веры: война выбила то и другое из моих рук. Война была для нас жаркой теплицей, где мы сразу созрели, как цветы поздней весной после лютой зимы. И к чему же это привело? А вот к чему: мы переросли нашу религию, переросли наш политический строй, переросли наши собственные силы – силы ума и сердца. Роковое словечко «не», как бы по волшебству, внедрилось во все наши верования. В поруганных храмах, где мы преклоняли колена, шепча «верую», мы стоим теперь не сгибая колен, а пуще того – не сгибая шеи, и кричим: «Вставайте, все вставайте! Способность стоять прямо – признак человека. Пусть низшие существа ползают на четвереньках, мы не преклоним колен, мы не веруем». Но что же дальше? Разве одного «не» достаточно? Для мальчика – да, для взрослого – нет. Разве мы менее одержимы верой, когда отрицаем ее, чем когда мы ее утверждали? Нет, чтобы проповедовать, я должен утверждать, иначе молодые не станут слушать меня,– ибо и молодые устают от отрицания. Глашатай отрицания отступает перед солдатом, перед человеком действия, перед бойцом, черпающим силу в старых непоколебимых истинах, которые дают ему твердую опору, внушают чувство долга, уверенность в исходе. Воинственный дух, живущий в нем, может наносить смертельные удары, не смущаемый доводами разума. Его путь прям и верен; но это путь смерти, а проповедник должен указывать путь жизни. Если бы я мог найти его!

Из-под его ног поднимается белый туман и наполовину скрывает его.

Я в полном неведении, я потерял мужество, но одно я знаю твердо: я должен найти путь жизни для себя и для нас всех, иначе мы погибли. А пока что мой дар владеет мной: я должен проповедовать и проповедовать, хоть час и поздний, хоть день быстротечен, хоть мне и нечего сказать...

Туман окутал его, проход и гроты скрылись из вида, массивные камни превратились в белые клочья облаков, остался только туман, непроницаемый туман. Но неиспра-

вимый проповедник не желает отказаться от финального эффекта, который, если бы мы слышали его явственно, прозвучал бы, вероятно, так:

..А быть может, как в день Пятидесятницы, огненный язык откровения почиет на мне, и я, исполнившись Духа, провозглашу благую весть, которая прозвучит по всей земле и откроет нам Царство, Силу и Славу на веки веков. Аминь.

Публика расходится (или читатель откладывает книгу), находясь, чисто по-английски, под впечатлением огненных языков Пятидесятницы и отголосков «Отче наш». Но соловья баснями не кормят. Впрочем, избранные умы знают, что пламя Пятидесятницы никогда не гаснет для тех, кто в состоянии выдержать его страшную силу. Они вспомнят также, что его сопровождает великий ветер и что любой мерзавец, который к тому же еще ветрогон и краснобай, может болтать о нем сколько угодно, не приближаясь к нему и не рискуя быть опаленным. Автор, хоть и болтун по ремеслу, не верит, что мир может быть спасен одной болтовней. Он дал последнее слово негодяю, но ему лично больше всех нравится энергичная женщина, которая начала с того, что чуть не вышибла дух из негодяя, а кончила бодрой уверенностью, что заблудившиеся псы всегда находят дорогу домой. И найдут, должно быть, если женщины выйдут искать их.

КОММЕНТАРИИ

Авторы послесловий к пьесам – Н. Я. Дьяконова («Назад к Мафусаилу», «Святая Иоанна») и А. А. Долинин («Назад к Мафусаилу», «Тележка с яблоками», «Горько, но правда»). Автор примечаний ко всем предисловиям Шоу и к пьесе «Назад к Мафусаилу» – С. Л. Сухарев, примечаний к пьесам «Святая Иоанна», «Тележка с яблоками» и «Горько, но правда» – А. Н. Николюкин.

После первой мировой войны заметно меняется общее направление творчества Шоу. Если ранее драматург, ниспровергая привычные условности и расширяя тематический диапазон современного театра, обычно пользовался его жанровыми стереотипами («камерная» бытовая комедия, мелодрама, историческая пьеса) как объектами для пародирования и иронического переосмысления, то теперь он начинает разрабатывать принципиально новые жанры – «фантазии» («Дом, где разбиваются сердца»), «политические экстраваганцы» («Тележка с яблоками», «Горько, но правда»), драматические памфлеты («Женева», «На мели»).

Особое место в этом ряду, да и особое место во всем творческом развитии Шоу, занимает грандиозная философская пенталогия «Назад к Мафусаилу». Ее общий замысел начал складываться у писателя еще в начале 1918 г., когда он приступил к работе над пьесой-утопией, действие которой должно было охватить многие десятки веков. К лету 1918 г., по свидетельству самого Шоу, пьеса была закончена, но драматург остался недоволен ею и решил «превратить каждый акт в отдельную пьесу».[1] Работа над пенталогией растянулась на три года. Первоначально задуманная и написанная Шоу пьеса составила ее вторую и третью части, затем он начал работать над четвертой, бросил ее, написал первую часть, завершил четвертую и, наконец, весной 1920 г. закончил последнюю.[2] Дополненная огромным, как никогда, предисловием,[3] в котором Шоу изложил целую систему философских, экономических и социальных воззрений, пенталогия с одинаковой силой выразила его гнев, презрение, разочарование в человеке, каков он есть, и надежды на человека, каким он может стать. Это одновременно и обвинительный акт, и программа, обличение реальности и утопия фантастического будущего.

Никогда еще не было задумано и осуществлено произведение большего масштаба. Время и пространство здесь предельно раздвинуты. Перед нами весь земной шар, и его история развивается на протяжении десятков тысячелетий, переходя от простейших отношений первых людей к сложным, невиданным формам грядущего.

Как почти всегда у Шоу, в «Мафусаиле» синтезируются разнородные течения умственной жизни Европы за последнее столетие, с одной стороны, и не менее разнородные художественные влияния, испытанные им на протяжении долгой жизни, – с другой. По общему

---

[1] См.: Пирсон Х. Бернард Шоу. М., 1972, с. 341.

[2] По свидетельству Л. Кромптона, рукописи пенталогии, хранящиеся в Британском музее, датированы следующим образом: II часть – начата 19 марта 1918 г., закончена 9 апреля 1918 г., III часть – закончена 16 мая 1918 г.; IV часть – начата 21 мая 1918 г., закончена 15 марта 1920 г.; I часть – закончена 14 февраля 1919 г.; V часть – начата 16 марта 1920 г., закончена 27 мая 1920 г. См.: Crompton L. Shaw the dramatist. Univ. of Nebraska Press., 1969, p. 252, n. 2.

[3] В наст. издании публикуется в сокращенном виде.

мнению критиков, Шоу-художник оказывается прежде всего учеником пуританина XVII в. Джона Беньяна, автора знаменитой аллегорической повести «Путь паломника», в которой жизнь человеческая описана как странствие, ведущее от греха и страдания через благодать в город вечной радости; но не менее обязан он оперной трилогии Вагнера «Кольцо нибелунга», которой увлекался с юности и о которой написал трактат «Совершенный вагнерианец», где предпринял попытку соединить вагнерианское мифотворчество с марксистским анализом истории.[1]

Еще более сложно переплетение идейных источников пенталогии Шоу. Исследователи называют среди них книгу Шопенгауэра «Мир как воля и представление», «Симпозиум» и «Республику» Платона, «Капитал» Карла Маркса, утопический роман Булвера Литтона «Грядущее племя людей», «Творческую эволюцию» Анри Бергсона, а также многочисленные биологические сочинения последнего столетия, и в первую очередь работы Ламарка и Сэмюэля Батлера – английского писателя и биолога-дилетанта, который подверг ожесточенной критике Дарвина и дарвинизм. Сочетание, бесспорно, очень пестрое. Если же прибавить к этому, что писатель явно ориентировался на традиции свифтовской сатиры и что в пенталогии ведется открытая и скрытая полемика с десятками мыслителей, поэтов, ученых и социологов, то станет ясно, какой огромный интеллектуальный материал синтезировал Шоу в «Мафусаиле».

Главным стимулом к созданию пенталогии послужило убеждение Шоу в том, что первая мировая война обнаружила перед лицом всего мира полное банкротство политической и религиозной мысли целой эпохи. Как вспоминал сам Шоу впоследствии, «если бы мне сказали, что в один прекрасный день я напишу цикл пьес, столь же невероятный по всем канонам нашей профессии, как вагнеровское «Кольцо» в 1866 г. в Германии [...] я бы поднял на смех этого пророка и счел бы его самым экстравагантным безумцем в мире. Но [...] когда младенческое безрассудство наших государственных деятелей достигло своей высшей точки в оргии кровавой резни и разрушения, смерти и проклятий, которая именовала себя войной ради прекращения всех войн [...] я написал не одну пьесу, а целых пять».[2]

Убежденный противник войны, Шоу в своих статьях и речах гневно выступал против тупого шовинизма официальной британской пропаганды, разоблачал ее псевдопатриотические мифы, с негодованием писал о лицемерии тех, кто объявляет грызню обезумевших от алчности империалистов священной битвой за спасение цивилизации от варваров-гуннов. Как объяснял Шоу десять лет спустя в статье «Что я на самом деле написал о войне», он, в сущности, протестовал против «отравления человеческой души ненавистью, против затемнения человеческого ума – ложью, против ожесточения

---

[1] Сам Шоу неоднократно сопоставлял «Мафусаила» с «Нибелунгами», считая, что ему приходится преодолевать те же препятствия, что и Вагнеру. См., например, его замечание о том, что, подобно Вагнеру, он во имя своего замысла может «не обращать внимания на то, что зрителю, который не улавливает всего комплекса тем, скучно» (Шоу Дж. Б. Письма. М., 1971, с. 166).

[2] Цит. по: Shaw. An autobiography. 1898–1950. The playwright years. Selected from his writings by S. Weintraub. N. Y. 1970, p. 138.

человеческого сердца — резней, разрушением и голодом».[1] Бессмысленная бойня, обнажившая все самое дурное в человеке и показавшая полный крах западной цивилизации, убедила Шоу в том, что «мир нуждается в новой редакции».[2] Вопреки всеобщей ненависти, вопреки всеобщему помрачению разума, он считает себя обязанным утвердить новую систему ценностей и выдвинуть программу совершенствования рода человеческого, его облагораживания и возвышения. Воплощением этой программы и стала пенталогия. Хотя многие, во всяком случае основные ее идеи высказывались драматургом и ранее, еще на грани, разделяющей столетия, хотя даже начатки новых форм, в ней разработанных, можно найти и в более ранних пьесах, но только в «Мафусаиле» они находят полное, завершенное выражение.

Вопросы, которые Шоу ставит и пытается разрешить в пенталогии, носят поистине глобальный характер — что есть человек? что есть прогресс? неизбежна ли смерть? В чем причина зла и страданий? — причем рассматриваются все они с точки зрения биологической эволюции. Такой подход к проблеме был для Шоу уже не новым. За много лет до «Мафусаила», в 1887 г., в неопубликованной лекции, рукопись которой сохранилась в архивах Британского музея, Шоу говорил о том, что социальный прогресс невозможен без прогресса биологического,[3] а в «Человеке и сверхчеловеке» впервые прославил ту Жизненную силу, которая, как считал драматург, является причиной и двигателем биологической эволюции. В этом смысле «Интермедия в аду» один из героев которой, Дон Жуан, провозглашает неизбежную победу жизни и разума над силами зла и разрушения, может считаться прямой предшественницей «Мафусаила». Творческое, разумное начало, по убеждению Шоу, восторжествует в человеке, изменит его и превратит в «сверхчеловека», то есть выведет на новый этап эволюции. Ницшеанская терминология прилагается здесь к идее, в корне отличной от антисоциальной концепции немецкого философа: у Шоу речь идет не о преобладании одной личности над другими, но об образовании целой породы «сверхлюдей».[4]

Однако лишь в пенталогии эволюционные идеи Шоу были развиты в единую стройную систему — все, что в «Человеке и сверхчеловеке» было едва намечено, высказано бегло, в вызывающе парадоксальной, фарсовой форме, приобрело здесь пророческий характер. Проблема эволюции из периферийной превратилась в центральную; она стала тем идейно-смысловым стержнем пенталогии, который скрепил воедино все ее разрозненные части; к ней протянулись нити лейтмотивов, при помощи которых Шоу строит многомерную и многослойную картину бытия человека в истории. Как писал сам драматург его главная мысль на этот раз состояла не в том, «чтобы дать героев в комическом освещении... а в том, чтобы показать развитие церкви, брака, семьи парламента... в широком жизненном охвате».[5]

---

[1] Цит. по: Crompton L. Op. cit., p. 175.

[2] Shaw B. The complete prefaces. London 1965, p. 846.

[3] См.: Crompton L. Op. cit. p. 175.

[4] Roppen G. Evolution and poetic belief. Oslo Univ. Press, 1956, p. 363.

[5] Шоу Дж. Б. Письма, с. 166.

В предисловии к пенталогии Шоу с особенной детальностью и тщательностью объясняет свои цели и намерения.[1] Чудовищное злодеяние мировой войны показало иллюзорность излюбленного представления буржуазных социологов о непрерывности общественного прогресса. Если государства, почитающие себя демократическими и культурными, допустили превращение половины Европы в развалины и обрекли вторую половину на муки голода, это значит, что средствами политическими, экономическими, административными, общественными, которыми так гордятся современные люди, не только нельзя добиться успеха, но нельзя и предотвратить катастрофу. Следовательно, рассуждает Шоу, необходимо подумать о способе усовершенствовать не общество, не государственную машину, не методы управления, как делалось до сих пор, а самого человека.

Рассуждения, очень близкие этим, звучали в статьях, письмах и стихах писателей гораздо более ранних времен. Звучали они, например, в сочинениях английских романтиков, отчаявшихся в эффективности политических преобразований. Но у Шоу эти рассуждения принимают иное направление. Почитатель великих естественников XIX в., наследник философов-просветителей и материалистов XVIII столетия, Шоу думает о совершенствовании человека не в отвлеченно идеальных, но в научных, прежде всего биологических категориях. Для того чтобы возвыситься над своим нынешним состоянием, человек должен получить в распоряжение больше времени для развития своих природных данных. По словам самого Шоу, его пенталогия дает драматическое воплощение тезису о том, что наше поведение определяется не только прошлым, но и ожидаемым опытом и жизнь наша в настоящее время недостаточно длинна для того, чтобы мы могли принимать ее всерьез.

Если бы человек мог в течение ста лет учиться, сто лет управлять и сто лет играть роль оракула и пророка, он имел бы возможность в полной мере проявить свои способности и участвовать в организации разумного и достойного существования. Триста лет жизни, с точки зрения Шоу, и есть минимальный срок, необходимый для улучшения рода человеческого.[2] Добиться такого долголетия можно, только если, осознав необходимость его, люди страстно пожелают продлить свою жизнь. Осознанная потребность порождает напряженное желание, и оно, будучи биологически целесообразно, постепенно осуществляется.

Вслед за своим учителем Батлером, который обрушился на Дарвина за то, что тот изгнал из вселенной сознание,[3] Шоу в своем предисловии резко и в целом неосновательно критикует «механистичность» и «бездушие» дарвиновского учения о борьбе за сущест-

[1] Одним из первых читателей этого предисловия был В. И. Ленин, которому Шоу послал свою пенталогию с почтительной надписью. Многочисленные пометки Ленина на полях рукописи показывают, как живо он оценил обличительный антибуржуазный пафос драматурга и вместе с тем уловил уязвимость его теоретических построений (см.: Иностранная литература, 1957, № 4, с. 27—32).

[2] Эта идея, вероятно, заимствована из «Грядущего племени людей» Булвера Литтона (1871), где столетние герои пребывают в расцвете сил и здоровья.

[3] Идеи Батлера изложены в его нашумевших в свое время трактатах: «Жизнь и привычка» (1878), «Эволюция старая и новая» (1879), «Бессознательная память» (1889), «Удача или умение» (1887).

вование и выживание наиболее приспособленных особей, ибо по этому учению развитие совершается со слепой необходимостью. между тем как все организмы обладают известной степенью сознательности, памяти, воли, и, если они пытаются развить какой-нибудь орган или какое-нибудь свойство, они в этом непременно через некоторое время преуспевают и таким образом способствуют образованию нового и более высокого качества.[1]

Для разработки нового органа или новых его функций Шоу, как и Батлер, придает значение наследственности – та или иная функция, то или другое умение «вспоминаются», поскольку они уже до рождения данного индивида были усвоены его предками и потому передаются ему в виде неосознанного воспоминания. Как и Батлер, Шоу в своей борьбе против Дарвина ссылается на авторитет опровергнутого Дарвином Ламарка и объявляет его создателем истинно плодотворного эволюционного учения. Характерно, что из всего наследия Ламарка Батлер ухватился только за идею о наследовании приобретенных признаков. Если под влиянием необходимости родители развивают какие-либо свойства (например, особенную силу или ловкость), ее наследуют и дети. В этом Ламарк видел указатель целесообразности процессов развития, его телеологической оправданности, – то есть как раз то, что полностью отрицал Дарвин, показавший на огромном материале отсутствие сознательной цели в эволюционном процессе.

В споре с Дарвином Шоу следует именно ламарковской телеологической концепции эволюции и видит в ней постепенное осуществление воли развивающегося индивида и заключенной в нем Жизненной силы. Этот термин принял Батлер, а за ним и Шоу, восхищенный тем, что, вопреки железным и слепым законам, которыми оперировал Дарвин и его последователи, в учение о развитии вводятся субъективные факторы – стремление, вера, энергия осознанного желания. Он убежден в том, что в ходе творческой эволюции «ты воображаешь то, чего желаешь, ты хочешь то, что воображаешь, и наконец, ты создаешь то, что хочешь». Жизнь мыслится Шоу как «неутомимая сила, которая неизменно влечется вперед и вперед... перерастая изнутри под давлением собственной неизъяснимой энергии во все более высокоорганизованные формы».[2] Шоу наивно полагал, что теории Дарвина и более поздних естествоиспытателей – такие же умозрительные построения, как те, что возводились старыми натуралистами, и так же могут быть опровергнуты с помощью других умозрительных построений, вроде Жизненной силы и Отбора Силою Обстоятельств.

В отличие от Батлера, Шоу сближает Жизненную Силу с интеллектом. Просветительская «влюбленность в мысль»,[3] страстный интеллектуализм заставляют его искать главный двигатель сущего в разуме.[4] Однако вместе с Батлером Шоу нападает на дарвинистов, особенно на так называемых неодарвинистов. Как и Батлер, он недостаточно ясно отделяет Дарвина и его последователей – сторонников эволюции в биологии – от буржуазных социологов (социал-

[1] Irvine W. The universe of George Bernard Shaw. N.Y., 1949, p. 313.

[2] Shaw B. The perfect Wagnerite. – Цит. по: Roppen G. Op. cit., p. 354.

[3] Ромм А. С. Шоу-теоретик. Л., 1972, с. 39.

[4] Roppen G. Op. cit., p. 355.

дарвинистов), прилагавших естественнонаучные понятия к социальной действительности и считавших общественные явления – неравенство, эксплуатацию, угнетение, несправедливость – такими же фатально неотвратимыми как установленные Дарвином законы природы Не понимая, что в общественных отношениях господствуют гораздо более сложные – и просто другие – закономерности, социал-дарвинисты подменяли классовую борьбу «всеобщей борьбой за существование», якобы оправдывающей капиталистический строй в его самых неприглядных формах. Шоу утверждал поэтому, что именно неодарвинисты повинны в ужасах войны: объявляя борьбу за существование важнейшей закономерностью любого общества, они тем самым оправдывали своекорыстие, хищничество и захватническую политику правящих классов, которые и были конечной причиной кровопролитных сражений 1914–1918 гг.

Силам хаоса и нравственного распада Шоу стремится противопоставить новую религию, свободную от догматизма христианства и мрачных пророчеств Ветхого завета. Этой новой религией должна, по его мнению, стать «творческая эволюция» – термин, выдвинутый в одноименной работе французского философа Анри Бергсона, но переосмысленный Шоу для обозначения его концепции рационального преобразования природы человека.[1]

«Назад к Мафусаилу» состоит из пьес, связанных между собой только единством общей организующей мысли, единством идеи о необходимости и условиях биологического прогресса. Шоу задумал написать историю мира от сотворения его до того далекого будущего, которое теряется за пределами, доступными мысли. Разумеется. «Мафусаил» представляет собой очень специфическую историю, которая уходит одним концом в миф, а другим в утопию. В этом смысле пенталогия Шоу становится одним из первых в западной литературе XX в. мифотворческих построений, граничащих с расширенной философской притчей. Художественные приемы такого произведения по необходимости должны быть совершенно новыми, в корне отличными от традиционно реалистических, и в соответствии с огромными масштабами как бы укрупненными, сверхнаглядными броскими, ярко эффектными. Вместе с тем, сохраняя разработанные у Шоу принципы интеллектуальной, дискуссионной драмы, «Мафусаил» в большой мере публицистичен, наполнен до явного излишества теоретическими, отвлеченными беседами, сводящими драматическое действие почти к нулю.

В первой части пенталогии изображаются первые люди в раю. В согласии с библейской легендой, они внимают поучению змеи

[1] Несмотря на свои принципиальные расхождения с Бергсоном по вопросу о соотношении интуиции и разума, Шоу, очевидно, сочувственно отнесся к некоторым идеям, высказанным французским философом в «Творческой эволюции». Во всяком случае, в пенталогии ощутимо воздействие бергсонианской критики дарвинизма, основанной на положении, что «жизнь есть изобретение, подобно сознательной деятельности, что, подобно последней, она есть непрерывное творчество» (Бергсон А. Творческая эволюция. М.– Спб., 1914, с. 21). Ср. также: «Нет сомнения, что жизнь, в своем целом, есть эволюция, т. е. непрестанное преображение [...]. Наследственность передает не только признаки; она передает также порыв, в силу которого признаки изменяются а этот порыв и есть сама жизненность» (там же, с. 207).

и совершают первое грехопадение. Но легенда преображается. От змеи Ева узнает великую тайну бытия, тайну Жизненной силы – воображения, воли, претворяющейся в действие и в целесообразные трансформации.

В духе интеллектуальной драмы Шоу строит свою на скрытой и явной литературной и философской полемике. Переосмысляется не только библейская легенда, не только христианское толкование греха – оно всегда претило Шоу, – но и концепция «Потерянного рая» в поэме Мильтона: вместо прекрасной идиллии в райском саду Шоу изображает Адама, который с одинаковым ужасом взирает на смерть и на перспективу вечной жизни, и Еву, которая ворчит на мужа как самая обыкновенная из земных жен. В свою очередь, сын Адама и Евы – Каин представляет любопытную пародию на знаменитого героя одноименной мистерии Байрона: вместо величественного мрачного образа первого бунтаря против миропорядка, убившего брата во внезапной вспышке справедливого гнева и сразу осознавшего неумолимую трагедию бытия, в силу которой всякая борьба, даже в защиту добра, оборачивается злом, появляется веселый наглый убийца, влюбленный в себя и уничтожение и подвергающий опасности основы существования на земле. Шоу видит в нем воплощение определенного типа поведения и мышления, возникшего на заре существования человечества, воспринятого цивилизацией и опасного для творческой эволюции. Для драматурга воинская доблесть Каина – это внешнее проявление «стремления к смерти», которое, как проклятье, тяготеет над человечеством, не позволяя ему сделать «эволюционный скачок». Для замысла Шоу важно, что Каина отвергает родная мать, ибо она – символ животворящей силы, побеждающей смерть.

В указаниях для театров Шоу всячески подчеркивал связь образа Каина с современностью. Каин, писал он, должен напоминать кавалерийского офицера, но отнюдь не дикаря: «В отличие от Адама, он цивилизован, он джентльмен».[1] Так, уже в «райском эпизоде» вводится тема современной цивилизации, для которой война и воинственность столь же типичны, как и для Каина. Уже здесь намечен основной конфликт всей пенталогии – конфликт между Жизненной силой и «стремлением к смерти»; уже здесь вырисовывается общая картина эволюции человечества: от примитивного, природного бытия Адама к мнимой цивилизации Каина и дальше, в пока еще слабо различимое грядущее. И поэтому закономерно, что вторая часть пенталогии – «Евангелие братьев Барнабас» – переносит читателя или зрителя в двадцатый век – к следующему порогу, за которым начинается новый этап эволюции.

Мотив преодоления смерти, центральный в первой части, сохраняет организующее значение и здесь, но конкретизируется, облекается в религиозную форму и освящается авторитетом науки. «Благая весть» – буквальный перевод слова «Евангелие» – о даровании людям трехсотлетней жизни в целях совершенствования их природы – исходит от двух братьев – бывшего священника и политика Франклина и ученого-биолога Конрада. Сочетание это символизирует союз науки и новой религии и одновременно отказ от прежней. Братья опираются, с одной стороны, на данные науки, которая устами Вейсмана предположила возможность для человека продлить

[1] Цит. по: Crompton L. Op. cit., p.175.

свою жизнь, и с другой стороны – на острую необходимость новой веры взамен подорванной злодеяниями прошлых лет старой веры.

Новая вера, в отличие от прежней, должна быть не источником бесплодных ограничений, зачастую лицемерных или продиктованных корыстолюбием власть имущих, но, напротив, стимулом невиданных порывов и дерзаний. Эти дерзания порождаются потребностью, в свою очередь рожденной дискредитацией и обесцениванием всего политического механизма, который регулирует современную действительность.

«Евангелие», возвещенное братьями Барнабас, органично вырастает из сатиры, которая по остроте и безжалостности приближается к театру Шоу во времена его расцвета. Страдания и преступления войны остаются здесь за сценой, но они кажутся тем менее простительными, что их ценою покупается благополучие бессовестных и бесстыдных политиканов. Министры Генри Гопкинс Лубин и Джойс Бердж являются откровенными карикатурами на двух крупных деятелей времен первой мировой войны Асквита и Ллойд Джорджа.

По давно испытанному методу сатирической характеристики Шоу придает обоим противникам ровно столько индивидуализирующих их облик черточек, сколько необходимо для того, чтобы ясно увидеть, как ничтожно различие между ними: если Лубин, бывший премьер, любезен, изыскан в обращении, полон светских талантов и классической образованности, то Бердж резок, грубоват, неотесан; если Лубин ленив, пассивен и предпочитает карточную игру исполнению своих прямых обязанностей, то Бердж деятелен, энергичен, всегда готов пуститься в любую интригу и борьбу. Один оттеняет и как бы комментирует свойства другого, они составляют комический дуэт, хорошо понятный осведомленным в политике современникам. Но чем более подчеркивается различие, чем более оно усилено взаимными обличениями, тем более очевидна единая внутренняя основа столь различных внешних проявлений: каждый со всей силой праведного гнева критикует в другом собственные недостатки.

Единство этой основы определяется общей для них обоих беспринципностью, леностью мысли, моральной и политической безответственностью. Во время войны они, равнодушные к переживаемым миллионами мучениям и утратам, думают только о том, чтобы усидеть в удобных правительственных креслах и использовать повороты в исторических судьбах Европы для хитроумной парламентской комбинации. Полный цинизм обоих ни в чем так не ясен, как в проницательной тождественности их взаимных обвинений: они показывают, что каждый видит в другом зеркальное отражение собственной низости.

Прожженный хитрец Лубин негодует по поводу иллюзий, которые Бердж использует как пучок морковки, чтобы заставить «тупого британского осла» голосовать за него, а Бердж возмущен бесчестной парламентской игрой Лубина, его праздностью и дешевым красноречием. Ни один из них не изображен у Шоу как человек злой или желающий зла. Ужас заключается в полной интеллектуальной и нравственной незрелости лиц, облеченных властью; она-то и ведет возглавляемое ими государство прямым путем к катастрофе, которую они, даже если бы желали, не могли бы предотвратить. В понимании Шоу их личные качества – демагогов, актеров на политической сцене, баловней привилегированного воспитания, так до старости не

повзрослевших и не возвысившихся до государственного мышления, — совершенно соответствуют выдвинувшей их негодной и лживой общественной системе.

Весь механизм современной демократии подвергается у Шоу убийственной критике: парламент в руках ловких политиков превращается в средство не делать ровно ничего: всякий, кто хочет прийти к власти, должен прежде всего отказаться от принципов и мириться с тем, что станет во главе «шайки, где социалисты смешаются с несоциалистами, джингоисты и империалисты со сторонниками Англии без колоний, железобетонные материалисты с восторженными квакерами... синдикалисты с бюрократами, где, короче говоря, люди будут свирепо и неисправимо расходиться во всех принципах, определяющих общество и судьбы человеческие».

В качестве противодействия братья Барнабас могут предложить только один рецепт: продлить жизнь жалким существам, которые умирают как раз в тот момент, когда они только начинают кое-что смыслить. Для того, чтобы справиться с угрозой войны — «с предшествующими ей гигантскими вооружениями и жуткими орудиями уничтожения, с сопутствующей ей системой принуждения и неодолимой силой полиции», для того чтобы предотвратить нищету и голодную смерть несметного множества детей, — для этого нужна мудрость, недоступная нынешнему человеку.

Доказательство правоты биологических прогнозов братьев Барнабас мы находим в III части — «Свершилось!», где действие отнесено на 250 лет вперед, к 2170 г. Такая временная дистанция нужна для того, чтобы показать, как мало в пределах существующего биологического вида разрешимы стоящие перед человеком социальные проблемы. Хотя, по-видимому (Шоу воздерживается от уточнений и конкретизации), новое общество основано на социалистических началах, в нем господствуют те же безответственные и безастенчивые политики. Мнимая антитеза Берджа и Лубина здесь привела к комическому сочетанию: премьер-министр 2170 г. носит двойную фамилию Бердж-Лубин, подчеркивающую отсутствие принципиального разногласия между политическими деятелями, казалось бы, противоположной ориентации.

Циничное равнодушие британских политиков к судьбам отечества зашло так далеко, что они передали бразды правления иностранцам, неграм и китайцам. Парламент по-прежнему пополняется хорошими ораторами, «недостаточно безумными для какой бы то ни было деятельности, кроме парламентской». Зато появились первые долгожители из числа наименее, казалось бы, интересных персонажей II части. Прожитые ими столетия расширили их опыт, углубили знания, придали мудрость и значительность их словам. Ненависть и страх, которые они внушают окружающим, приводят их к решению удалиться от света и положить начало племени долгожителей; новые люди будут неспособны питать столь слепые и злобные чувства. Эта часть связана с общим замыслом очень формально и существует только для того, чтобы подготовить великое чудо IV части («Трагедия пожилого джентльмена»), где долгожителей, как показывает Шоу, стало уже так много, что они ведут обособленное существование и оторваны от людей, обреченных на жалкие три четверти века.

Хотя действие происходит в 3000 г., через 800 лет, все политические злоупотребления и несовершенства, свойственные миру

«краткожителей», цветут ярким цветом. Обман, фарисейство, пошлый снобизм, напыщенная фразеология, прикрывающая уродливо разросшееся корыстолюбие, – все осталось прежним. Отдаленный потомок Каина – Каин Адамсон Карл Наполеон, император Турании, – олицетворяет бедствия и преступления войны, которая так же обрекает миллионы на страх и смерть, как тысячу лет назад; наследник политического авантюризма Лубина и Берджа, посланник из Багдада, так же лжив, угодлив, низок и ограничен, как его предшественники. Шоу считает важным довести до сознания своих читателей, с какой неизбежностью и спустя две тысячи лет повторяются у людей, не поддавшихся биологическому «скачку», старые безумства и старые заблуждения. Напротив, долгожители ведут осмысленное и рациональное существование. Материальные основы его не ясны, но Шоу позволяет уловить очень высокую степень развития техники и человеческих отношений.

Немногие комические эпизоды пьесы обусловлены полным отсутствием взаимопонимания между теми, кто осужден на разные сроки жизни. Долгожители лишены юмора, не видят никакого смысла в метафорах, не знают толка в поэзии, традиции, в оттенках чувств и переживаний; они деловиты, практичны, уверены в себе и в непоколебимой разумности своего мира. «Краткожители» между тем суетны, тщеславны, склонны к фразе и всяческой пышности словоупотребления. Смехотворные недоразумения между ними говорят о полной разобщенности их внутренних миров. Долгожители у Шоу занимают по отношению к своим менее удачливым современникам позицию двусмысленную: устраивая для людей старого типа великолепные, поражающие ужасом зрелища, чтобы внушить им доверие к своим пророчествам, высокоорганизованные новые люди спокойно обдумывают возможность ликвидации «краткожителей».

Безусловные неудачи этой части заключены в ее непомерных длиннотах и в удивительной непривлекательности и бесчеловечности созданных драматургом образов долгожителей. В число приписанных им совершенств Шоу «забыл» включить гуманность, терпимость, снисхождение к ближним. Они невозмутимо обсуждают убийство неудачных экземпляров из себе подобных и с плохо скрываемым отвращением общаются с пришельцами из старого мира. Когда пожилой джентльмен умирает под безжалостным взглядом оракула – умирает потому, что не хочет и не может больше вернуться к своим и жить ложью, которой они опутаны, – читателю остается неясным, какие духовные ценности долгожителей вызвали восхищение гостя.

Недоумение не только не рассеивается, но и углубляется в последней части пенталогии, озаглавленной «За пределами, доступными мысли». Забавна истинно свифтовская точность, которой обозначено время действия: 31920 год! Долгожители уже давно завладели всей планетой; жизнью правит наука, не допускающая такого варварства, как деторождение; новое потомство появляется на свет уже взрослым и проводит четыре безоблачно бездумных года в любовных и музыкальных играх, танцах и увеселениях, пока не наступает пора зрелости и возрастающего интеллектуализма. Эмоции вытесняются, чувственность преодолевается, «древние» предаются высоким радостям чистой мысли и мечтают об освобождении от бренной оболочки и слиянии с бесплотным миром разума.

Таким образом, идеалом оказывается отвлечение от всякой субстанции, отождествление личности с раскрепощенным от материи

духом, то есть фактически переход человека в нечеловеческое состояние и тем самым отрешение от обычного земного счастья; вместе с тем в конкретном художественном воплощении «древние» настолько отталкивают своим внешним безобразием и холодной умственностью, не допускающей ни одного естественного, спонтанного движения души, что они воспринимаются скорее как предупреждение, чем вожделенная цель не то длительной эволюции, не то мгновенного «скачка». Хотел Шоу того или не хотел, но у его «древних» есть заметное семейное сходство со свифтовскими Струльдбругами, хотя Шоу, в отличие от своего предшественника, награждает их ясным и не затемненным годами умом, устремленным к познанию бесконечности.

В отождествлении совершенства с отрешенностью от земного, в нетерпеливом ожидании того счастливого дня, когда «людей не будет и будет только мысль» и тем самым «жизнь вечная», Шоу, вольно или невольно, отвергает не только социального человека, но и человека как известную нам биологическую особь. Если идеал Шоу оказывается настолько удаленным от реальных возможностей человеческой природы, если он означает разрыв с реально воображаемыми формами ее существования, то вполне очевидно, будущее связывается для писателя с появлением породы людей настолько новых, что их соблазнительно назвать антилюдьми.

Эти «антилюди» (в пьесе они «древние») и представляются самой большой неудачей пенталогии. Хотя она одушевлена верой в возможность возрождения, в создание нового и подлинно высокого строя жизни, однако этот строй и те, кто представляет его, настолько отрицают самую сущность человеческую, какой воспринимается она нашим сознанием, что нельзя не увидеть в ней полного неприятия того биологического вида, который мы привыкли называть Homo sapiens. Остается только утешаться тем, что Шоу уповает на безграничные силы духа, мысли, на энергию вечного стремления и неудовлетворенности, которым, по законам чистого идеализма, суждено породить новую материальную действительность «В конце концов воображение само создает реальность».[1]

Мир, встающий на страницах пьесы Шоу, свободен от проклятия войны и угнетения человека человеком, но он удивительно безрадостен и механически регламентирован. Вслед за Платоном Шоу изгоняет из него поэтов и творцов; в 31 920 г. они, правда, еще существуют, но играют жалкую роль. Музыка звучит только как аккомпанемент юношеских игр будущих долгожителей; скульптура нужна для изготовления красивых игрушек («кукол»), а попытки мастера запечатлеть уродливые черты мыслящих «древних» вызывают отвращение молодых.

По правильному замечанию Кромптона, изображение прекрасных безмозглых существ в изысканных одеждах, которые на фоне стилизованного античного пейзажа предаются пению и пляскам, пародирует романтический эллинизм, модный в английской литературе XIX в.[2] Эстетские тенденции этой литературы, искусство, посвященное красоте и стремящееся к восполнению утраченной красоты жизни, осмеиваются Шоу. «Ради искусства для искусства я не

---

[1] Roppen G. Op. cit., p. 390.
[2] Crompton L. Op. cit., p. 186.

написал бы ни единой строчки», — вызывающе заявлял он еще в 1903 г.[1]

В «Мафусаиле» преклоняющаяся перед прекрасным Экрасия — фигура безусловно комическая: Шоу потешается над нею за то, что она с глубокой серьезностью относится к картинам, статуям, театру с его «преображенными куклами», за то, что объявляет их священными, а слова, вложенные в их уста, самыми высокими и благородными. В ответ на ее декламацию о счастье, недоступном жизни и обретаемом в искусстве, в его волшебных тайнах, «древняя» отвечает: «Да, дитя, искусство есть волшебное зеркало... Но мы, те, что старше, не пользуемся ни зеркалами, ни творениями искусства. У нас непосредственное ощущение жизни. Когда вы овладеете им, вы отбросите свои статуи, игрушки и куклы». С точки зрения Шоу, искусство может быть потребностью испорченного, безнравственного или обездоленного общества, но оно вредно или в лучшем случае бесполезно для общества будущего совершенства.

«Назад к Мафусаилу» начинается во времена седой древности и устремляется в невидимую даль веков. Кольцо сюжета замыкается, словно кольца змеи, поучения которой открывают историю первых людей. В эпилоге они вновь возникают, и итоги подводит праматерь Адама и Евы — Лилит. Ее монолог представляет собой один из самых блестящих образцов публицистического дара Шоу: в нем концентрированы и философски обобщены все мотивы пьесы в целом.

Лилит выносит окончательный приговор XX в. и предсказывает грядущую победу света над мраком. Она говорит о «младенцах, которые мнят себя древними» и которые покончили с общественным злом, и в заключение называет главный двигатель и залог непрерывного обновления: это неудовлетворенность, ибо она толкает древних к освобождению от плоти, к водовороту, очищенному от материи, к «вихрю чистого интеллекта». Формулируется и главная опасность, подстерегающая обитателей земли: это стагнация, омертвение. Только неподвижность страшна и непоправима, только власть материи над душой гибельна.

Как бы смутны ни были пути будущего, — а Шоу не мог не сознавать, что его утопия страдает неясностью и неопределенностью, — самым главным ему представляется вечное движение к далекой цели, к туманным и вечно удаляющимся очертаниям того, что пребывает по ту сторону доступного воображению — beyond (за пределами).

Этим словом в оригинале завершается пенталогия.

Подведем итоги. Нет сомнения, что «Назад к Мафусаилу» отражает судорожные искания Шоу в переломный, кризисный период его длительного, никогда не останавливавшегося духовного развития. Отражает пьеса горькие размышления стареющего драматурга об участи и природе человека, осуждение не только нынешнего состояния его, но и предвидимых в ближайшем будущем видоизменений. Шоу приходит к печальному выводу, что все задачи человечества могут быть решены и все противоречия, его раздирающие, устранены, только если человек превратится в призрак самого себя, в чистую мысль. «Рано или поздно тело всегда становится обузой», —

[1] Shaw B. Epistle dedicatory to «Man and Superman». Complete prefaces, p. 165.

говорит скульптор Марцелл, – ничто не пребывает в красоте и значительности, кроме мысли, ибо мысль есть жизнь».

Таким образом, приобщение к царству разума невозможно, пока человек не обратился в чистый разум, то есть в нечто уже не человеческое. Отвлеченность мысли драматурга уничтожает самое плоть искусства. Совершается это с завидной последовательностью: повторно и четко сформулированное теоретическое осуждение «игры в куклы» сопровождается и практическим ее устранением: Шоу доводит свою драму до той грани, когда она как факт искусства едва ли не перестает существовать. Если древний мудрец, рупор автора, презрительно называет театр сборищем переодетых кукол, то отсюда уже совсем недалеко до пуританской злобы против всякого театрального зрелища и требования разрушить его живое грешное очарование.

За свою иконоборческую расправу с театром Шоу заплатил дорого: его пенталогия оказалась самым непопулярным его произведением, хотя он считал ее значительнейшим из всего им написанного. Пенталогию почти не ставили: впервые она шла в 1922 г. в Нью-Йорке на сцене театра «Гилд», где зрителям приходилось посещать три вечерних и два утренних представления; затем в октябре 1923 г. ее показал Бирмингамский репертуарный театр, причем постановкой вместе с Барри Джексоном руководил сам Шоу. Здесь спектакль игрался пять вечеров кряду и выдержал лишь четыре представления. В феврале 1924 г. спектакль Бирмингамского театра был показан в Лондоне – премьера состоялась на сцене театра «Корт».[1] Эти спектакли пользовались известным, хотя и не кассовым успехом, но успех этот был скорее данью восхищения гражданскому мужеству автора, чем восторгом благодарных зрителей. Что же касается критиков, то они писали в основном о предельной несценичности пьесы и осуждали драматурга за грубые личные выпады против английских политических деятелей.[2] В дальнейшем пьесу решились исполнить лишь однажды, на Малвернском фестивале 1929 г.: технические трудности казались чрезмерными и преодоление их сулило слишком мало радостей.

Нет ничего легче, чем критиковать «Мафусаила». Недостатки его очевидны, нарочиты, возведены в принцип и даже в программу. Пьеса немилосердно растянута, перегружена длинными, явно несценическими философскими монологами, лишена действия и драматизма. Она страдает абстрактностью и холодно отстраняет все, что может вызвать у публики сопереживание, ощущение соучастия и вовлечен-

[1] Побывавший на премьере английский писатель А. Беннет записал в своем дневнике 19 февраля 1924 г.: «Вчера в театре «Корт» первый вечер премьеры «Назад к Мафусаилу». Перед входом – аншлаг. Все очень торжественно, но премьера не совсем обычная. Каменные стены ложи выкрашены в черный цвет. Видны пустая оркестровая яма и нагота Адама и Евы. О подъеме занавеса оповещает что-то вроде звука цимбала. Мне пьеса показалась очень скучной. Я в ней не обнаружил ничего – ни действия, ни характеров, ни пафоса, ни остроумия... Во втором акте заснул; меня разбудили, потому что боялись, что храп услышат на сцене» (Bennett A. The Journals. Selected and edited by Frank Swinnerton. Harmondsworth (Penguin Books), 1971, p. 474).

[2] См. полемику по этому поводу: The Times, 1924, 25 Febr., p. 13.

ности. Драматургу, который убеждает зрителей, что они даже не приблизились к человеческому облику, что они в лучшем случае стоят на уровне отвратительных кукол-автоматов, вызванных к жизни союзом науки и искусства и тут же по общему приговору уничтоженных при температуре миллион градусов,— трудно рассчитывать на благодарность и популярность.

Шоу не раз признавался, что любую, самую неприятную правду он говорит в шутку,— поэтому ему все сходит с рук. Этому правилу он хочет следовать в «Мафусаиле» и, развивая старую мысль, замечает: «Если что-то тебе смешно, ищи в нем скрытую истину». Но по точному слову Ирвина, Шоу был слишком рассержен, для того чтобы шутить весело и остроумно.[1] Отдельные смешные словечки, реплики, даже сценки не спасают положения. Не спасают его и мелкие удачи, вроде забавного упоминания ученого джентльмена 3000 г. об «отце исторической науки Фукидиродоте Маколибекле», хорошо передающего, как сливаются в памяти потомков даже великие и крайне несхожие имена прошлых веков. Не помогают и полные злой иронии выпады китайского бюрократа Конфуция против английской политической системы. Крупицы прежнего остроумия тонут в океане слов и теоретических выкладок.

Тем не менее, оценивая пенталогию, надо помнить, что к ней не приложимы обычные мерки и критерии, ибо ставит она не обычные, а сверхобычные цели: найти путеводную нить смысла в мировой бессмыслице, дать общий взгляд на историю вселенной и перспективы ее эволюции, указать на заложенные в мироздании силы творческой энергии, которым суждено раскрепостить человека.

И если не удовлетворяют обрисованные в пенталогии Шоу пути мирового развития, то надежду внушает самая бесконечность открываемой им перспективы, ее противостояние безотрадным социальным предсказаниям и антиутопиям, а также концепциям «вечного круговорота» в истории, утомительно повторяющей одни и те же безумства и ошибки.

Подсказанные мужеством отчаяния драматургические эксперименты Шоу выразили в крайне острой гипертрофированной форме одну из господствующих тенденций литературы XX в.— стремление к интеллектуализму и неустанным поискам.

Мафусаил — согласно Ветхому завету, один из патриархов — правнук Адама, внук Каина, сын Еноха. Правнук Мафусаила — Ной. Имя Мафусаила стало нарицательным для обозначения долгожителя: «Всех же дней Мафусаила было девятьсот шестьдесят девять лет».— Бытие, 5, 27.

Стр. 7. *Буффон* — неправильное написание и произношение фамилии Бюффон и в то же время игра на созвучии ее со словом буффон — шут. Бюффон, Жорж Луи Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель. Основной труд — «Естественная история» в 36 томах (1749—1788), в котором Бюффон описал множество животных и высказал идею о единстве растительного и животного мира. Отстаивал концепцию изменяемости видов под влиянием условий внешней среды (климата, питания и т.п.).

«Человек и сверхчеловек» — пьеса Б. Шоу (1901—1903). Шоу намекает на элемент буффонады в этой пьесе.

Закон об образовании — имеется в виду так называемый закон Форс-

[1] Irvine W Op. cit., p. 310.

гера (по имени члена парламента У. Форстера) – закон, принятый в 1870 г. и положивший начало государственной системе обязательного обучения детей от 5 до 12 лет в общеобразовательной школе.

Эзоп (VI в. до н. э.) – легендарный древнегреческий баснописец.

Дарвин, Чарлз Роберт (1809–1882) – английский естествоиспытатель, основоположник эволюционного учения. В своем фундаментальном труде «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь» (1859) вскрыл движущие силы развития и становления биологических видов. По Дарвину, эволюция живых организмов осуществляется в результате сложного и длительного взаимодействия трех главных факторов изменчивости, наследственности и естественного отбора.

Неодарвинисты – последователи эволюционной концепции, выдвинутой в 80–90-х гг. XIX в. немецким зоологом Августом Вейсманом (1834–1914). Неодарвинисты, развивая теорию эволюции, защищали гипотезу о зачатковом отборе, подчеркивали роль хромосом («зародышевой плазмы») в наследственности и отрицали наследование приобретенных признаков.

Стр. 8. *Аллен, Грант* (1848–1899) – английский философ, психолог и писатель.

...галилеево доказательство оброненного Леонардо да Винчи замечания... – Галилей, Галилео (1564–1642) – итальянский ученый, один из основателей точного естествознания. Обвиненный судом инквизиции в ереси, был вынужден отречься от учения Николая Коперника, утверждавшего гелиоцентрическую систему мира. Леонардо да Винчи (1452–1519) – итальянский художник, архитектор, ученый. Один из наиболее широко одаренных деятелей эпохи Возрождения. Проводил экспериментальные исследования в области математики, естественных наук и механики.

Ньютоновский закон всемирного тяготения... – Ньютон, Исаак (1643–1727) – английский математик, механик и астроном, основоположник классической физики.

Дэви, Хамфри (1778–1829) – английский химик и физик, один из основателей электрохимии.

Ницше, Фридрих (1844–1900) – немецкий философ, филолог и писатель. Резкая критика буржуазной мещанской морали сочетается у Ницше с культом «сверхчеловека», прославлением стихийно иррациональной «жизненной мощи» и проповедью «имморализма».

Беньян, Джон (1628–1688) – английский пуританский проповедник, писатель. В книге «Жизнь и смерть мистера Бэдмена» (1680) сатирически изображен изворотливый и лицемерный стяжатель-буржуа. Наиболее известен аллегорический роман Беньяна «Путь паломника» (1684).

Шопенгауэр, Артур (1788–1860) – немецкий философ-идеалист. В основной работе Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (1819) сущностью мира провозглашается слепая неразумная воля, исключающая закономерность развития природы и общества.

Кромвел, Оливер (1599–1658) – видный деятель Английской буржуазной революции XVII в., выступавшей под знаменем религиозной идеологии пуританства.

Вагнер, Рихард (1813–1883) – немецкий композитор, преобразователь оперного искусства, создатель «музыкальной драмы».

Уистлер, Джеймс (1834–1903) – американский живописец, в творчестве которого заметно влияние французского импрессионизма.

Мольер (псевдоним Жана Батиста Поклена; 1622—1673) — французский комедиограф, реформатор сценического искусства.

Диккенс, Чарлз (1812—1870) — английский писатель-романист.

Стр. 9. *Фабианское общество* — английская буржуазно-интеллигентская организация, названная по имени Фабия Максима Кунктатора (cunctator — лат. «медлитель»), римского полководца (275—203 до н. э.). Пропагандировало идеи постепенного и целенаправленного преобразования капиталистического общества в социалистическое путем реформ. Шоу вступил в Фабианское общество осенью 1884 г.

Стр. 10. *Уэбб, Сидней* (1859—1947) и *Беатриса* (1858—1943) — супруги с 1892 г., английские экономисты, историки рабочего движения, идеологи тред-юнионизма и так называемого фабианского социализма.

Смит, Адам (1723—1790) — шотландский экономист и философ, автор книги «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776), представляющей собой значительный вклад в развитие классической политической экономики как науки.

Стр. 11. *Генрих VII* (1457—1509) — английский король с 1485 г., первый из династии Тюдоров. Вступил на престол, одержав победу над Ричардом III.

Ричард III (1452—1485) — английский король с 1483 г., последний из династии Йорков, узурпатор престола, отличавшийся жестокостью и коварством.

Вольтер (псевдоним Франсуа Мари Аруэ; 1694—1778) — французский писатель, философ, историк. Готовился к профессии юриста, окончил иезуитский колледж Людовика Великого.

Стр. 12. *Батлер, Сэмюэл* (1835—1902) — английский писатель-романист. Сын сельского священника. Учился в Кембридже, однако оставил университет и отказался от духовной карьеры. Отрицательно относился к учению Дарвина, считая его теорию эволюции чрезмерно механистичной.

...Байрону и Шелли пришлось бежать в Италию... — Травля со стороны реакционных кругов и ханжески настроенного светского общества заставила великих английских поэтов-романтиков Джорджа Гордона Байрона (1788—1824) и Перси Биш Шелли (1792—1822) навсегда покинуть родину. Байрон оставил Англию в апреле 1816 г. после тяжелой семейной драмы и жил сначала в Швейцарии, а в октябре 1817 г. уехал в Италию, где провел шесть лет. Шелли подвергся преследованиям за безнравственность после вступления в гражданский брак с Мэри Годвин, поселился в Италии в 1818 г.

Каслрей, Роберт Стюарт (1769—1822) — министр иностранных дел Великобритании в 1812—1822 гг., сторонник реакции, приверженец Священного союза.

Элдон, Джон Скотт (1751—1832) — английский государственный деятель, лорд-канцлер Великобритании.

Руссо, Жан Жак (1712—1778) — французский философ, писатель, деятель Просвещения. «Вольнодумство» и неортодоксальность воззрений Руссо навлекали на него гонения со стороны властей и духовенства многих стран Европы.

Сохо — район в Лондоне, где в прошлом веке обитала беднейшая часть городского населения, включая иммигрантов.

Раскин, Джон (1819—1900) — английский писатель, историк, социолог, теоретик искусства.

Стр. 13. *«Изыди от меня, сатана!»* — подразумевается евангельский эпизод искушения Иисуса Христа в пустыне: «Тогда Иисус говорит

ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». – Евангелие от Матфея, 4, 10.

Стр. 15. *Петри, Уильям Мэтью Флиндерс* (1853 – 1942) – английский археолог и египтолог.
«Будем есть и пить, пока живы» – Ср. Исайя, 22, 13
«Доколе, о Господи, доколе?» – Ср. псалом 81

Стр. 16. *Вейсман* – см. примеч. к с. 7 *(неодарвинисты)*.

Стр. 17. *Пятикнижие* – первые пять книг Ветхого завета, составляющие его основную часть (в иудаизме так называемая Тора): Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие (IX – VII вв. до н. э.).
Ламарк, Жан Батист Пьер Антуан де Моне (1744 – 1829) – французский естествоиспытатель, провозгласивший принцип эволюции всеобщим законом живой природы. Согласно концепции Ламарка, виды животных и растений постоянно изменяются в результате как влияния условий внешней среды, так и некоего внутреннего стремления всех организмов к усовершенствованию.

Стр. 19. *Рекапитуляция* (от лат. recapitulatio – повторение) – под этим термином понимается повторение признаков далеких предков в индивидуальном развитии современных организмов.

Стр. 20. *Рафаэль Санти* (1483 – 1520) – итальянский живописец и архитектор Высокого Возрождения.

Стр. 21. *Платон* (ок. 427 – ок. 347 до н. э.) – древнегреческий философ, основоположник объективного идеализма.
Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646 – 1716) – немецкий философ-идеалист, математик, физик.
Виктория (1819 – 1901) – королева Великобритании с 1837 г.
Карл X (1757 – 1836) – французский король с 1824 г., свергнут Июльской революцией 1830 г.
Гете, Иоганн Вольфганг (1749 – 1832) – немецкий поэт и романист, выдающийся представитель Просвещения в Германии, натуралист и мыслитель. В своих работах по естествознанию явился, по словам Фридриха Энгельса, «предтечей новейшей теории развития».
Кювье, Жорж (1769 – 1832) – французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных. Не признавал изменяемости видов, выдвинув для объяснения смены ископаемых фаун теорию катастроф.
Сент Илэр, Огюст де (1799 – 1853) – французский естествоиспытатель и путешественник.
Эдуард VI (1537 – 1553) – английский король с 1547 г., из династии Тюдоров. Ввиду малолетия короля во время его правления у власти стояли регенты.
Эдуард VII (1841 – 1910) – английский король с 1901 г.

Стр. 22. *Деизм* – философское учение, признающее существование бога в качестве безличной первопричины мира.
Агностицизм – философское учение, отрицающее полностью или частично возможность познания мира.
Витализм – идеалистическое течение в биологии, объясняющее жизнедеятельность организмов наличием особых нематериальных факторов, якобы управляющих жизненными процессами.
Кенсингтон – фешенебельный район на юго-западе центральной части Лондона.
...миссионерскую деятельность господ Муди и Сэнки... – Американский евангелист Дуайт Лиман Муди (1837 – 1899) в сотрудничестве с

Айрой Давидом Сэнки (1840—1908) выступал с многочисленными проповедями в Англии и США в 1870—1880 гг.

Стр. 23. *Брэдло, Чарлз* (1833—1891) — английский общественный деятель, оратор и публицист. В 1880 г. был избран в парламент, но исключен из числа его членов за отказ принести традиционную присягу, религиозную по форме. Добился восстановления в своих правах только спустя шесть лет, в 1886 г.
Секуляризм — движение за освобождение от церковного влияния в общественной и духовной жизни.

Стр. 24. *Магомет* (Мухаммед, ок. 570—632) — основатель ислама, почитается как пророк.

Стр. 25. *Бромптонская часовня* — римско-католическая церковь в итальянском стиле в Лондоне, построена в 1884 г.

Стр. 26. *Пэйли, Уильям* (1743—1805) — английский философ и богослов, автор книги «Естественная теология, или Свидетельства существования и признаков божества, основанные на явлениях природы» (1802). Рассматривал неизменность природы и человеческого организма как главное доказательство существования бога.

Стр. 27. *Гельмгольц, Герман Людвиг Фердинанд* (1821—1894) — немецкий ученый, автор фундаментальных трудов по физике, биофизике, физиологии и психологии.

Стр. 28. *Мальтус, Томас Роберт* (1766—1834) — английский экономист. Сформулировал так называемый «естественный закон народонаселения», согласно которому несоответствие между ростом населения и ростом средств существования обусловлено законами природы.

Стр. 30. *Слово каждодневно облекается плотью...* — Ср.: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». — Евангелие от Иоанна, I, 14.

Стр. 31. *...воспоминания мистера Фестинга Джонса о Сэмюэле Батлере...* — Книга Х. Ф. Джонса «Сэмюэл Батлер» в двух томах вышла в Лондоне в 1919 г.
Плимутское братство — религиозная секта протестантского толка, образовалась в английском городе Плимуте около 1830 г.

Стр. 32. *Оселок* — шут, персонаж комедии Шекспира «Как вам это понравится» (1599). Приведенные слова Оселка см.: акт III, сц. 1.

Стр. 33. *Унитаризм* — левое рационалистическое течение в протестантизме, отрицающее вместе с догматом о Троице учение о грехопадении и церковные таинства.

Стр. 35. *Оксфорд-стрит* — одна из главных торговых улиц в центре Лондона.

Стр. 36. *Остров Мэн* — расположен в Ирландском море, входит в состав Великобритании.

Стр. 37. *Нерон* (37—68 н. э.) — римский император с 54 г. Отличался изощренной жестокостью.

Стр. 40. *...теологические взгляды Бланко Поснета...* — Свою пьесу «Разоблачение Бланко Поснета» (1909) Шоу называл «религиозным трактатом». Экземпляр пьесы Шоу послал Льву Толстому, который в своем ответе упрекал драматурга за «несерьезность» в трактовке религиозных проблем (см. т. 3 наст. издания, с. 644—646).

Стр. 41. *Святой Антоний* (251—356) — основатель христианского монашества, отшельник. Канонизирован католической церковью.

Святой Франциск (Франциск Ассизский, 1181 или 1182 – 1226) – итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев.
Оуэн, Роберт (1771 – 1858) – английский социалист-утопист. Придавал решающее значение влиянию на человека социальной среды; построение «нового нравственного мира» связывал с моральным перевоспитанием, устранением невежества и образованием идеальных промышленных общин, а также опытных коммунистических колоний.

Стр. 42. *...в книге Льюиса «Жизнь Гете»...* – Перу английского писателя Джорджа Х. Льюиса (1817 – 1878) принадлежит ряд биографий, среди которых наибольшей популярностью пользовалась «Жизнь Гете» (1855).
Итон – одна из девяти привилегированных мужских средних школ, основана в 1440 г.
Харроу – одна из девяти привилегированных мужских средних школ, находится в пригороде Лондона. Основана в 1571 г.
Питт – очевидно, имеется в виду Уильям Питт Младший (1759 – 1806), премьер-министр Великобритании в 1783 – 1801 гг., лидер так называемых новых тори, проводивший реакционную и экспансионистскую политику.
Фокс, Чарлз Джеймс (1749 – 1806) – лидер радикального крыла вигов в английском парламенте, непримиримый противник Питта.
Рассел, Джон (1792 – 1878) – премьер-министр Великобритании в 1846 – 1852 и 1865 – 1866 гг., лидер вигов.
Керзон, Джордж Натаниэл (1859 – 1925) – министр иностранных дел Великобритании в 1919 – 1924 гг., консерватор, один из организаторов антисоветской интервенции.
Черчилль, Уинстон (1874 – 1965) – английский политический деятель, премьер-министр Великобритании в годы второй мировой войны.
Сесил, Роберт (1864 – 1958) – английский политический деятель. Поддерживал план интервенции против Советской России, участвовал в создании Лиги Наций.

Стр. 43. *Лайель, Чарлз* (1797 – 1875) – английский естествоиспытатель, геолог, автор книги «Принципы геологии» (1833), которая подорвала авторитет библейского учения о происхождении мира.
Архиепископ Ашер (Ушер) – ирландский архиепископ, который в 1654 г. на основе изучения Священного писания «установил» дату сотворения мира – 4004 г. до н. э.
Стр. 44. *Laisser-faire* (франц. – более обычно laissez faire) – безучастность, равнодушие к окружающему.
Бастиа, Фредерик (1801 – 1850) – французский экономист. В своей книге «Экономические гармонии» (1846) выдвинул концепцию примирения интересов труда и капитала.
deus ex machina (лат.) – неожиданная развязка, наступающая по воле внешних сил.
Тиндаль, Джон (1820 – 1893) – английский физик, ирландец по происхождению.

Стр. 45. *Блейк, Уильям* (1757 – 1827) – английский поэт и художник.
Бог поругаем не бывает... – «Не обманывайтесь; Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». – Послание к Галатам, 6, 7.
Робеспьер, Максимилиан (1758 – 1794) – деятель Великой французской революции, один из руководителей якобинцев, установивших культ Верховного Существа.
...если Бог не существует, его следовало бы выдумать ("Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer") – строка из вольтеровского «Посла-

ния к автору новой книги о трех самозванцах» (1769), ставшая крылатым выражением. Вольтер писал, что испытывает к этому стиху «отцовскую нежность».

Стр. 46. *«...никнет честь, коль деньги верх берут...»* – строка из поэмы английского писателя О. Голдсмита (1728–1774) «Путешественник» (1765).

Стр. 47. *Великая хартия вольностей* – грамота, подписанная в 1215 г. английским королем Иоанном Безземельным; она ограничивала власть монарха.

Петиция о правах – была представлена палатой общин королю Карлу I; программный документ буржуазии во время английской буржуазной революции XVII в.

Уолпол, Роберт, граф Орфорд (1676–1745) – премьер-министр Великобритании в 1721–1742 гг., лидер вигов.

Кэмпбл-Баннерман, Генри (1836–1908) – премьер-министр Великобритании в 1905–1908 гг., лидер либеральной партии.

Стр. 49. *Георг III* (1738–1820) – третий английский король Ганноверской династии (с 1760 г.).

Тимур (Тамерлан, 1336–1405) – полководец, завоеватель, создал государство со столицей в Самарканде, эмир с 1370 г. Совершал грабительские походы в Индию, Закавказье, страны Малой Азии и др.

Стр. 50. *"Ad majorem Dei gloriam"* – девиз Ордена иезуитов, основанного в 1560 г.

Стр. 52. *Мысль, впервые высказанная Миллями...* – Милль, Джон Стюарт (1806–1873) – английский философ, экономист и публицист. Его отец Джеймс Милль (1773–1836) – английский философ, историк и экономист.

Стр. 53. *Христос партеногенетически произведен на свет девственницей...* – Партеногенез (биол.) – вид полового размножения, при котором женская половая клетка развивается без оплодотворения.

Стр. 54. *Парс* – член религиозной общины зороастрийцев (огнепоклонников) в Западной Индии.

...позор, возглашаемый петухами со всех сторон христианского мира... – Ср.: «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И, вышед вон, плакал горько». – Евангелие от Матфея, 26, 75.

Стр. 55. *...хроники о царе Давиде.* – Имеются в виду Книги царств – раздел Библии, повествующий о правлении создателей израильского царства, одним из которых являлся Давид (1012–972 до н. э.).

Стр. 56. *Афанасий Александрийский* (ок. 295–373) – церковный деятель и богослов.

Агиология – свод знаний о жизнеописаниях святых.

Архимед (ок. 287–212 до н. э.) – древнегреческий ученый – математик и механик.

Дженнер, Эдуард (1749–1823) – английский врач, впервые ввел оспопрививание.

Стр. 57. *Сократ* (ок. 469–399 до н. э.) – древнегреческий философ. В юности отбывал воинскую повинность в качестве гоплита (тяжеловооруженного пехотинца).

Колридж, Сэмюэл Тейлор (1772–1834) – английский поэт-романтик, критик. Будучи студентом Кембриджского университета, завербовался

рядовым в драгунский кавалерийский полк, откуда был выкуплен старшим братом.

Милль, Джон Стюарт – см. примеч. к с. 52.

К стр. 58. *Джотто ди Бондоне* (1266 или 1267–1337) – итальянский живописец.

Карпаччо, Витторе (ок. 1455– ок. 1526) – итальянский живописец.

Хилтон, Уильям (1786–1839) – английский художник.

Хейдон, Бенджамин Роберт (1786–1846) – английский художник, тяготевший к монументальности. Писал картины на исторические и мифологические сюжеты.

Лессировка – тонкие прозрачные слои красок, наносимые на просохший слой масляной живописи для обогащения колорита.

Ужели слава всех побед, триумфов
Здесь уместилась? –

Шекспир, «Юлий Цезарь» (акт III, сц. 1), пер. Мих. Зенкевича.

Стр. 59. *Уайлд, Оскар* (1854–1900) – английский писатель, автор комедий «Веер леди Уиндермир» (1892), «Идеальный муж» (1895), «Как важно быть серьезным» (1895) и др.

Джонсон, Сэмюэл (1709–1784) – английский писатель и лексикограф. Цитируемые слова приводятся в биографической книге Джеймса Босуэла «Жизнь Сэмюэла Джонсона» (1791) – запись 1783 г.

Холиншед, Рафаэль (ум. 1580) – один из авторов «Хроник Англии, Шотландии и Ирландии», известных как «Хроники».

Плутарх (ок. 45 – ок. 127) – древнегреческий писатель и историк. Из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха Шекспир заимствовал сюжеты трагедий «Кориолан», «Юлий Цезарь», «Антоний и Клеопатра».

Стр. 60. *...монолог о Семи Возрастах человека или монолог о Самоубийстве...* – Имеются в виду монолог Жака в комедии «Как вам это понравится» (акт II, сц. 7) и монолог Гамлета «Быть или не быть» в трагедии «Гамлет» (акт III, сц. 1).

Микеланджело Буонарроти (1475–1564) – итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт эпохи Возрождения.

Бетховен, Людвиг ван (1770–1827) – немецкий композитор.

...афинские трагические поэты... – Имеются в виду три великих драматурга Древней Греции – Эсхил (ок. 525–456 до н. э.), Софокл (ок. 496–406 до н. э.) и Еврипид (ок. 480–406 до н. э.).

«Как мухам дети в шутку...» – Шекспир, «Король Лир» (акт IV, сц. 1), пер. Б. Пастернака.

Конгрив, Уильям (1670–1729) – английский драматург, автор блестящих, остроумных, нередко циничных комедий.

Шеридан, Ричард Бринсли (1751–1816) – английский драматург, автор комедии «Школа злословия» (1780).

Стр. 61. *Стриндберг, Август Юхан* (1849–1912) – шведский драматург, оказавший заметное влияние на европейский театр.

Эвмениды (Эриннии) – в греческой мифологии богини мщения, хранительницы связей материнского рода, неотступно преследующие преступника и доводящие его до безумия (см. трилогию Эсхила «Орестея», 456 до н. э.).

«Кесарь и галилеянин» – пьеса Генрика Ибсена на сюжет из римской истории об Юлиане Отступнике (1873).

Стр. 62. *Юм, Давид* (1711–1776) – английский философ, психолог, историк. Основной труд – «Исследования о человеческом разуме» (1748).

Стр. 63. *...в 1901 году я обратился к легенде о Дон Жуане...* — Шоу говорит о своей пьесе «Человек и сверхчеловек» (1901—1903), которую сам называл «комедией с философией».

Стр. 83. *...вопиет от земли...* — Ср.: «Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли». — Бытие, 4, 10.

Стр. 84. *Все четыре реки красны от крови.* — Согласно Библии, по саду Эдема протекала река, которая за пределами рая разделялась на четыре главные реки мира — Фисон, Гихон, Хиддекель (древнее название реки Тигр) и Евфрат.

Стр. 88. *Голос думал, что я всего лишь сторож брату моему.* — На вопрос бога: «Где Авель, брат твой?» — Каин отвечал: «Разве я сторож брату моему?» — Бытие, 4, 9.

Каинова печать. — По Библии, бог после убийства Авеля сделал Каину «знамение», отметив его печатью как первого убийцу на земле. — Бытие, 4, 15.

Стр. 95. *«Где был дворянин, когда Ева пряла и Адам пахал?»*

When Adam delv'd, and Eve span,
Who was then the gentleman? —

двустишие, приписываемое английскому народному проповеднику Джону Боллу (казнен в 1381 г.), одному из вождей крестьянского восстания, возглавленного Уотом Тайлером.

Стр. 96. *«Человек жив не хлебом единым».* — Второзаконие, 8, 3.

Стр. 99. *Первые послевоенные годы* — то есть после первой мировой войны 1914—1918 гг.

Хемстед Хис — лесопарк на северной окраине Лондона.

Чипендейловские стулья — мебель в стиле рококо с обилием тонкой резьбы, по имени известного английского краснодеревщика Томаса Чипендейла (1718—1779).

Стр. 101. *...ходить пред Богом, как Енох...* — «И ходил Енох пред Богом». — Бытие, 5, 22.

Стр. 103. *Гоццоли, Беноццо* (1420—1497) — флорентийский живописец, представитель раннего Возрождения.

Стр. 105. *Джойс Бердж.* — Под этим именем Шоу изображает в карикатурном виде одного из лидеров либеральной партии Дэвида Ллойд Джорджа (1869—1945), который в 1916—1922 гг. являлся премьером коалиционного (в союзе с консерваторами) кабинета министров.

Стр. 106. *...нет пророка в своем семействе...* — ироническая парафраза Нового завета: «Ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве». — Евангелие от Иоанна, 4, 44.

Стр. 107. *Мидлсборо* — город в Великобритании, в устье реки Тис (графство Йоркшир).

Стр. 109. *«Когда-нибудь растают, словно дым...»* — Шекспир, «Буря» (акт IV, сц. 1), пер. Мих. Донского.

Стр. 110. *Стрэнд* — одна из фешенебельных улиц в центре Лондона, на которой расположены многие театры и магазины.

Я хочу возделывать свой сад... — ставшие крылатыми слова из философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759): «Надо возделывать свой сад» (гл. 30).

Лорд Данрин (ниже он назван Мими) — предположительно Эндру Бонар Лоу (1858—1923), лидер консерваторов в 1911—1922 гг., в

конце 1922 и начале 1923 г. премьер-министр, преемник Ллойд Джорджа на этом посту.

Стр. 111. *Гунны* – кочевой народ, сложившийся в Приуралье и возглавивший захватническое нашествие азиатских племен на Европу в IV–V вв. н. э. Во время первой мировой войны оскорбительное прозвище гуннов английская националистическая пропаганда давала немцам.

Стр. 112–113. *С 1885 г. они ничего не забыли и ничему не научились...* – В 1885 г. консерваторы вынудили уйти в отставку второй кабинет лидера либеральной партии У. Гладстона (1809–1898). В том же году английские войска потерпели тяжелое поражение в Восточном Судане, где был убит генерал Гордон.

Стр. 113. *Плимутские братья, «огненные столпы»* – пуританские нонконформистские (т. е. отвергающие государственную англиканскую церковь с ее обрядностью и епископством) секты.
Котерия (франц. coterie) – узкий круг людей, объединенных общими склонностями.

Стр. 114. *Лубин* – очевидно, под этим именем Шоу изобразил в карикатурном виде лидера либеральной партии премьер-министра Великобритании в 1908–1916 гг. Герберта Генри Асквита (1852–1928).

Стр. 115. *Мэншен Хаус* – официальная резиденция лондонского лорд-мэра.
...сотой годовщины мира с Америкой... – Имеется в виду Гентский договор от 24 декабря 1814 г., положивший конец англо-американской войне 1812–1814 гг.
...митинг по венесуэльскому вопросу... – В 1902–1903 гг. имел место международный конфликт, известный под названием венесуэльского кризиса. Англия, Германия, Италия и США потребовали от Венесуэлы уплаты долгов и возмещения ущерба, причиненного иностранцам в ходе гражданской войны в Венесуэле в 1899–1902 гг. После отказа правительства выполнить эти требования Германия и Англия объявили Венесуэле морскую блокаду, однако встретили резкое противодействие со стороны США, которые усмотрели во вмешательстве европейцев нарушение доктрины Монро.

Стр. 118. *Шодди* (англ. shoddy) – дешевая подделка; дешевка с претензией.

Стр. 119. *...танцы в тунике...* – танец, введенный американской танцовщицей Айседорой Дункан (1878–1927). Отрицая условности классического балета, Дункан использовала древнегреческую пластику, выступала на сцене в хитоне и без обуви.
Тридцать девять статей – свод догматов англиканской церкви, составленный в 1571 г. по указанию Елизаветы I.
Квинт Гораций Флакк (65–8 до н. э.) – древнеримский поэт.

Стр. 122. *Морли, Джон* (1838–1923) – английский историк, публицист и политический деятель.

Стр. 123. *Чеширский кот* – персонаж книги Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес» (1865): Кот исчезал постепенно, «начиная с хвоста», последней исчезала его улыбка.

Стр. 124. *Константин I Великий* (ок. 285–337) – римский император. Всемерно поддерживал христианскую церковь.

Стр. 125. *Безденежье и прохудившиеся подметки – это атрибуты младших сыновей.* – В соответствии с принятой в Англии системой

майората (передача собственности, особенно недвижимой, по наследству старшему из сыновей), младшим сыновьям приходилось самим заботиться о карьере.
Голландцы его не выдадут... – Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941), германский император в 1888–1918 гг.; после ноябрьской революции 1918 г. бежал в Нидерланды.

Стр. 131. *Чемберлен, Джозеф* (1836–1914) – английский политический деятель, сначала либерал, затем консерватор. Министр колоний Великобритании в 1895–1903 гг., идеолог и вождь британской колониальной экспансии.

Стр. 134. *Мечников, Илья Ильич* (1845–1916) – русский биолог и патолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии. Выдвинул теорию преждевременного старения человеческого организма, согласно которой укорочение продолжительности жизни обусловлено вредным действием бактерий в толстой кишке.

Стр. 136. *«Его есть сила и слава во веки веков»* – слегка измененные слова христианской молитвы «Отче наш». – Евангелие от Матфея, 6, 13.

Стр. 137. *Лестница Иакова.* – Библейскому патриарху Иакову привиделась во сне лестница, достигающая верхушки неба, по которой всходили и нисходили ангелы. – Бытие, 28, 11–13.
Сноуден – самая высокая вершина Уэльса (1085 м).

Стр. 138. *Филогенезис бластодермы* (биол.) – историческое развитие зародыша человека как представителя биологического рода в целом, а не как индивидуального организма.
Армия спасения – влиятельная филантропическая организация, построенная по военному образцу. Основана в 1865 г.

Стр. 139. *Поправка Каупер-Темпла* – Имеется в виду § 14 Закона о начальном образовании 1870 г., согласно которому учитель обязан был осуществлять в школе религиозное воспитание, читая детям Библию, а священнослужитель – преподавать религиозные догматы в часы, свободные от классных занятий.
Пилтдаунец – так называемый эоантроп, ископаемый человек, останки которого будто бы были найдены близ города Пилтдауна на юге Англии в 1911 г. Впоследствии оказался подделкой.
Оуэнз-колледж – естественно-исторический музей в Лондоне (часть Британского музея), основанный известным зоологом Ричардом Оуэном (1804–1892).
«Путь паломника» – см. примеч. к с. 8 *(Беньян)*.

Стр. 140. *...природа не делает скачков* (Natura non facit saltus – лат.) – изречение, обычно приписываемое немецкому философу Готфриду Вильгельму Лейбницу (1646–1716) или же шведскому естествоиспытателю Карлу Линнею (1707–1778), однако сама мысль восходит еще к Аристотелю (384–322 до н. э.).

Стр. 141. *Даунинг-стрит* – улица в центральной части Лондона, на которой находится резиденция премьер-министра.
Мастодонты – вымершие млекопитающие отряда хоботных, предки слонов.
Мегатерии – род ископаемых млекопитающих отряда неполнозубых, гигантские наземные ленивцы.

Стр. 142. *Унция* – мера веса, в аптекарской системе равная 31,1 г.; в торговой – 28,35 г.

Стр. 144. *Передняя скамья* – места в палате общин английского парламента, справа от спикера – для членов правительства, слева от него – для членов «теневого кабинета» (лидеров оппозиции).

Стр. 146. *О. М.* – кавалер ордена «За заслуги» (Order of Merit), учрежденного английским королем Эдуардом VII в 1902 г. Число награжденных, не считая иностранцев, не должно превышать 24 человек.

Стр. 152. *Серпентайн* (букв. змеевидное) – узкое искусственное озеро в лондонском Гайд-парке.

Стр. 155. *Монфор, Симон де, граф Лестер* (ок. 1208–1265) – английский политический деятель, уроженец Франции, возглавлял баронскую оппозицию королю Генриху III. Созвал первый английский парламент. Погиб в сражении с королевскими войсками.

Стр. 156. *Habeas Corpus Act* – Закон о неприкосновенности личности, принятый в 1679 г. Наряду с другими актами, составляет основу английской конституционной практики.

Звездная палата – высшее судебное учреждение в Англии в 1487–1641 гг., выступавшее орудием абсолютизма. Заседало в зале с потолком, украшенным звездами.

Стр. 157. *...не чуждым логике шотландцем...* – Имеется в виду казненный по приговору парламента Карл I Стюарт (1600–1649), английский король с 1625 г., по происхождению шотландец.

Стр. 164. *Метемпсихоз* (от греч. metempsýchosis – переселение душ) – религиозно-мифологическое представление о перевоплощении души после смерти тела в новое тело, в растения, животных и т. д.

Стр. 170. *Собор св. Павла* – главный собор англиканской церкви, находится в Лондоне; построен архитектором Кристофером Реном в 1675–1710 гг. Место погребения многих великих людей Англии.

Беннет, Арнолд (1867–1931) – английский писатель. Имеется в виду его роман «Заживо погребенный» (1908).

Стр. 174. *В числе сочинений классика двадцатого столетия Уэллса...* – Подразумеваются роман Герберта Джорджа Уэллса (1866–1946) «Пища богов» (1904) и его рассказ «Страна слепых».

Стр. 177. *«Альманах старого Мура»* – ежегодный астрологический журнал, публикующий предсказания о различных событиях. Издание его по типу календаря начато в 1700 г. английским астрологом Фрэнсисом Муром (1657–1715).

Стр. 182. *Я пришел призвать не грешников...* – ироническая парафраза слов Иисуса: «Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». – Евангелие от Матфея, 9, 13.

Стр. 184. *Не презирай меня за черноту:*
Ливреей темной я обязан солнцу –

Шекспир, «Венецианский купец» (акт II, сц. 1), пер. Т. Щепкиной-Куперник.

Стр. 199. *Восточный остров* – то есть Англия.

Стр. 200. *Бэджер Блубин* – комическое обыгрывание фамилий Бэрдж и Лубин. To badger (англ.) – изводить.

Стр. 202. *...они потомки аборигенов здешнего побережья, называвших себя О'Маллигенами* – О'Маллиген – типичная ирландская фамилия.

Стр. 207. *...напоминает о старинном предании про некоего Иосифа...* – Согласно библейскому преданию, Иосиф, сын Иакова, был продан братьями в рабство в Египет. Жена его господина – военачальника

Потифара (Пентефрия) безуспешно пыталась соблазнить юношу.— Бытие, 39.

Блопс Буби — booby (англ.) — болван, олух.

Стр. 208. *Хенгист Хорза Блубин* — Хенгист и Хорза — легендарные предводители датского племени ютов, высадившихся около 449 г. в Британии, что положило начало завоеванию ее англосаксами.

Стр. 211. *«Прах еси, и во прах отыдеши».* — Бытие, 3, 19.

Стр. 212. *Бэкон, Роджер* (ок. 1214—1292) — английский философ и естествоиспытатель, монах-францисканец.

Стр. 215. *...фраза о том, как жутко потрясает естество мечта...* —

Так жутко потрясаешь естество
Мечтой, для наших душ недостижимой. —

Шекспир, «Гамлет» (акт I, сц. 4), пер. М. Лозинского.

Стр. 216. *Образы, образы, образы!* — ироническая парафраза известного восклицания шекспировского героя «Слова, слова, слова!» — «Гамлет» (акт II, сц. 2), пер. М. Лозинского.

Стр. 218. *Блисеринджем, Тош, Спифкинз* — по-английски эти фамилии обозначают: blitherinjam — пустомеля, болтун; tosh — вздор, ерунда; spiffkins (сленг.) — франтик, пижон.

Стр. 220. *Киплинг, Джозеф Редьярд* (1865—1936) — английский поэт и писатель, прославлявший «цивилизаторскую миссию» белого человека. Здесь Шоу иронизирует над мыслью Киплинга о невозможности сближения Запада и Востока. Эта идея неоднократно подчеркивается в творчестве Киплинга, например в его «Балладе о Востоке и Западе»:

Запад есть Запад, Восток есть Восток,
и с места они не сойдут.

(Пер. Е. Полонской)

Стр. 225. *...изречение китайского мудреца Ди Нина* — аллюзия на слова Кандида (см. примеч. к с. 110).

Стр. 236. *Памятник Фальстафу* — подразумевается сэр Джон Фальстаф, действующее лицо в пьесах Шекспира «Генрих IV» (1597—1598), «Генрих V» (1598) и «Виндзорские проказницы» (1602) — толстый обжора, бездельник и кутила, известный своей трусостью и бахвальством, но вместе с тем блеском и остротой ума.

...война, получившая название войны за прекращение войн — то есть первая мировая война, которую империалистическая пропаганда воюющих сторон лживо изображала последней войной человечества.

Стр. 241. *Салют из ста одного орудия* — согласно дипломатическому протоколу, такой салют дается только в честь прибытия главы другого государства.

Стр. 243. *Фукидиродот Маколебокль* — ироническая контаминация имен древнегреческих историков Фукидида (ок. 460—400 до н. э.) и Геродота (между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.), прозванного «отцом истории», а также английских историков Томаса Бабингтона Маколея (1800—1859) и Генри Томаса Бокля (1821—1862).

Град божий — идея теократического государства, «царства божьего на земле», выдвинутая одним из «отцов церкви» Аврелием Августином Блаженным (354—430) в его сочинении «О граде божием» (ок. 426).

Джонгоббснокс — ироническая контаминация имен английского философа-материалиста Томаса Гоббса (1588—1679), который в своем со-

чинении «Левиафан» (1651) уподоблял государство библейскому морскому чудовищу Левиафану, и Джона Нокса (1505 или ок. 1514–1572), шотландского церковного реформатора, сторонника кальвинизма, основателя пресвитерианской церкви в Шотландии.

Стр. 244. *«Вот, Ты дал мне...»* – Псалтырь, 38, 6.

Стр. 246. *Пифия? Значит, она – змея?* – Непереводимая игра слов. Англ. pythoness (пифия) может быть истолковано и как самка питона (python).

Стр. 248. *Полпинты* – 0,28 литра.

Стр. 251. *«Волшебная флейта»* (1791) – опера немецкого композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791).
Восточный ветер – по-английски эти слова созвучны фамилии Истуинд (Eastwind).

Стр. 273. *Это легенда о сверхъестественном существе, которое именовалось архангелом Михаилом...* – ироническая контаминация христианского мифа с реальной биографией знаменитого итальянского скульптора Микеланджело Буонарроти, который был назван в честь этого архангела.
Он отыскал в самом центре земли храм, сооруженный в честь Медитерранеи... – Центр земли – Рим, где находится Сикстинская капелла, плафон которой украшен фресками Микеланджело на библейские темы. Медитерранея (англ. Mediterranean Sea) – Средиземное море, название которого превращается у Шоу в имя богини.

Стр. 277. *Пиг* – фамильярное сокращение имени Пигмалион (Pygmalion): Pyg созвучно английскому слову pig (поросенок).
..«вдохнул в лице его дыхание жизни»... – Бытие, 2, 7.
...гуляет по саду и учит его возделывать... – пародийно-ироническое смешение мифов и реальных исторических фактов. Сказание об Эдеме контаминируется у Шоу со знаменитой фразой из вольтеровского «Кандида» – «Надо возделывать свой сад», а христианский бог предстает в обличье языческого Юпитера и Вольтера, известного своей непримиримой борьбой против религиозного фанатизма.

Стр. 286. *Я – Озимандия...* – цитата из сонета английского поэта-романтика Перси Биш Шелли «Озимандия» (1817), перевод К. Бальмонта.

Стр. 296. *Гомункул* (лат. homunculus – человечек) – по представлениям средневековых алхимиков, существо, подобное человеку, которое якобы можно получить искусственным образом (в пробирке).

Стр. 302. *Чем же ты хочешь быть? – Вихрем.* – Здесь и далее Шоу излагает идеалистически перетолкованную им натурфилософию французского философа Рене Декарта (1596–1650). Декарт обосновал космогоническую теорию, согласно которой основной формой движения космической материи является вихревое движение ее частиц. Вращательное движение вихря материи привело к образованию солнца, звезд и планет.

Стр. 304. *Брось женщин и займись математикой.* – Здесь Шоу сливает воедино три «исповеди»: «Исповедь» (ок. 400) Августина Блаженного (см. примеч. к с. 243), «Исповедь англичанина-опиомана» (1822) английского писателя-романтика Томаса де Квинси (1785–1859) и «Исповедь» (1766–1770) французского писателя-моралиста и философа-просветителя Жан Жака Руссо (1712–1778). В части II своей книги Руссо рассказывает о том, как в 1743 г., будучи секретарем

французского посла в Венеции, он повздорил со своей любовницей Джульеттой, девицей не слишком строгих нравов, которую попрекнул ее физическим недостатком – сосками разных размеров, – на что она в сердцах ответила: «Zanetto, lascia le donne e studia la matematica» (итал.) – «Дзанетто, брось женщин и займись математикой».

СВЯТАЯ ИОАННА

Шоу начал писать новую пьесу после того, как узнал о появлении новой католической святой: 16 мая 1920 г. папа Бенедикт XI канонизировал Жанну д'Арк. Но причины обращения драматурга к истории Орлеанской девы были, разумеется, более глубоки. Еще в 1913 г., когда Шоу путешествовал по Франции, где видел многочисленные изображения Жанны и убедился, насколько жива память о ней, он решил сделать ее героиней пьесы. Быть может, образ ее ассоциировался также с образами других христианских мучеников (правда, гораздо более ранней эпохи), которым он посвятил драму «Андрокл и лев» (1912). Однако трагические события войны 1914–1918 гг., последовавшие за нею катаклизмы европейской жизни, победа революции в России и бурный отклик на нее во многих странах мира отвлекли Шоу от давно занимавшей его воображение темы. Только после того как отшумели социальные бури, определившие облик нового века, наступило время философских раздумий и художественных обобщений.

В годы после войны Шоу переживает не только крушение своей веры в разум – он потрясен и тем, как мало он и другие защитники передовых идеалов преуспели в неустанных попытках воздействовать на общественное мнение. Подводя скорбный итог своей деятельности, направленной на просвещение человечества, Шоу писал, что перебрал все темы – трущобы, свободную любовь, проституцию, милитаризм, брак, историю, текущую политику, христианство, национальный и индивидуальный характер, парадоксы общественных условностей, вопросы совести – и все же не решил поставленной перед собой задачи. Поиски нового решения продолжаются в «Святой Иоанне». Здесь он как бы снимает привычный грим и обращается к зрителю с той самой серьезностью, в недостатке которой когда-то упрекал его Л. Н. Толстой в известных письмах по поводу «Человека и сверхчеловека».

Трагедия Жанны, человека, опередившего свое время, испытывающего горькую досаду от преследующей его глупости и в то же время раздражающего всех вокруг своим неоспоримым превосходством, это трагедия, которую тяжело переживал сам Шоу. Любопытно, что в предисловии он характеризует свою героиню словами, применимыми к нему самому: «Она покровительствовала королю... она поучала государственных деятелей и прелатов. Она презрительно отвергала планы военачальников...» Почти так же писали о драматурге его биографы.

Образ воительницы-Девы, которая, повинуясь высокому патриотическому порыву, увлекла за собой народ и властителей Франции, вдохновила их на сопротивление победоносному английскому оружию и добилась решающего перелома в истории Столетней войны 1337–1453 гг., – этот образ порожден двумя взаимно конфликтными сторонами мысли Шоу. С одной стороны, он отражает

давние стремления писателя обрести новый человеческий тип, новый образец личности, воплощение той самой Жизненной силы, которой посвящена пенталогия «Назад к Мафусаилу». Торжество Жизненной силы он видит в Жанне д'Арк – в обаянии ее непосредственности, в ее кипучей молодой энергии, животворном воображении, убежденности, способной сдвинуть горы и стать источником великого национального подъема и возрождения.

С другой стороны, конкретные социальные черты Иоанны, ее нерушимая связь с народом, природой, крестьянством Франции, без сомнения, обусловлены в пьесе не столько историческими фактами XV в., сколько недавними фактами великой революции XX в.; ведь она принесла победу тем, кто сумел повести за собой крестьянство, стать выразителем его чаяний и исторических требований. Соответственно, в изображении Шоу глубочайшая близость Жанны к любимой ею французской земле придает ясность и простоту ее мысли, побуждает в грозный час к спасительному действию и возвышает над бесплодно умствующими военачальниками и деятелями церкви.

Как и у Цезаря в ранней исторической пьесе Шоу, героизм Жанны чужд всяких внешних атрибутов. Он проявляется в разумной гуманности, в понимании конкретных практических задач, в умении решать их, преодолевая нелепые условности изживающей себя социальной системы. Жанне поэтому недоступны утеснительные принципы феодальной иерархии, хитросплетения политических интриг, замысловатые стратегические планы французского командования. Она не постигает интересов враждующих династий, но твердо знает, что англичанам нечего делать на чужой земле, что бог не велел ни одному народу нарушать покой другого народа, а раз такое зло совершилось, против него нужно бороться и стоять насмерть. Однако трагедия народной героини заключается в том, что ее торжество лишь предвещает ее гибель: повергая во прах врагов, она вселяет страх в сердца тех, кого она привела к победе. Умирая от их руки, она обретает бессмертие.

Героиня Шоу с самого первого появления на сцене окружена солдатами, они верят ей и готовы идти за ней на край света. Она прямо называет себя девушкой из народа и заявляет, что ей известны его помыслы: «Я знаю народ, – говорит она королю, – настоящий народ, тот, что выращивает для тебя хлеб». Она гордится своими хозяйственными способностями больше, чем победами. «Кабы мы в деревне были такими простаками, как вы здесь в ваших судах и дворцах, так скоро не сталось бы пшеницы и не из чего было бы печь вам хлеб». По словам Жанны, во время битвы не рыцари, а «городской люд и простой народ» (the townfolk and common people) пошли за нею и показали, как надо драться всерьез.

Впечатления о начатой в октябре 1917 г. великой битве классов обусловили и резко расставленные в пьесе Шоу социальные акценты. Жанна быстро убеждается в том, как мало может она рассчитывать на своих высоких покровителей: «Я пойду к простым людям, – говорит она, – и любовь, которую я увижу в их глазах, утешит меня после той ненависти, что я видела в ваших. Вы бы рады были, чтобы меня сожгли. Но знайте: если я пройду через огонь – я поселюсь в сердце народа на веки вечные». Неизменно подчеркнуто противостояние простолюдинки Жанны столпам феодальной знати и церкви. В этом драматург следует истории: по замечанию Маркса, «для королевской и аристократической партии [...] крестьянская девуш-

ка была бельмом на глазу».[1] Крестьянка Жанна ведет за собой народ и потому представляет смертельную опасность для церковной и феодальной иерархии. Именно правота ее дела, смелость ее задач, вера в торжество здравого смысла и очевидной справедливости ставят ее в положение противника всяческого угнетения. Тем самым Жанна вызывает к себе ненависть власть имущих.

Все эти идеи правильно выражают суть исторической ситуации, но выросли они из размышлений писателя о современности. Об этом говорится в предисловии к пьесе, сопоставляющем события XV и XX веков: церковь и инквизиция судили Жанну более справедливо, чем официальный светский суд наших дней судил бы обвиняемого такого рода; Кошон был гораздо добросовестнее, чем любой английский судья в политическом процессе, в котором затронуты его партийные и классовые предрассудки; клевета на Жанну тогда была не сильнее, чем клевета на Ленина теперь; разнузданные преследования русских в Америке в условиях паники, распространившейся после «русской большевистской революции 1917 года», значительно превосходят преследования средневековых инквизиторов. Так история Жанны д'Арк переосмысляется Шоу в свете новейших политических переворотов. Прежние, всею жизнью выработанные идеи сливаются с позднейшими переживаниями и наблюдениями.

Одной из стойких тенденций всего творчества Шоу была его антиромантическая направленность; то есть открыто провозглашенная им самим враждебность всяческой фальшивой идеализации, выспренности, псевдопоэтическим иллюзиям, маскирующим прозаическую реальность. Поэтому он и в предисловии и в самом тексте пьесы решительно разделывается со своими предшественниками, грешившими, по его убеждению, сентиментальной патетикой в изображении Жанны. Особенно достается Шиллеру, автору трагедии «Орлеанская дева», идеализм которой представляется Шоу не многим менее вредным, чем приторно-слащавые официальные католические легенды, сложившиеся вокруг имени Жанны: наделение ее красотой и романтическими страстями отодвигает, как полагает Шоу, подлинный исторический смысл ее деятельности. Поэтому он проходит мимо гуманистического содержания трагедии Шиллера и духовного величия его героини. По этим же причинам он осмеивает и воссоздание ее образа у Марка Твена («Личные воспоминания о Жанне д'Арк», 1896) и у шотландского писателя и ученого Эндру Ланга («Дева Франции», 1908).

Вместе с тем Шоу полемизирует и с цинически разоблачительной трактовкой Жанны в «Орлеанской девственнице» Вольтера и отчасти в «Жизни Жанны д'Арк» Анатоля Франса. Он утверждает, что оба писателя заняты не ею самой, а лживым изображением ее в реакционной клерикальной литературе. Франс, по мнению Шоу, потому видит в ней слепое орудие церковников и военачальников, что руководствуется своими антипатиями к мистицизму, духовенству и военщине, но к самой Жанне его антипатии не имеют никакого отношения.

Работая над пьесой, Шоу опирался на отчеты о суде над Жанной и о ее реабилитации, опубликованные Жюлем Кишера.[2] Под влиянием судебных отчетов Шоу стремится воспроизвести ее подлинный облик, успехи героини объяснить реалистически. Решающей

[1] Архив Маркса и Энгельса. М., 1939, т. VI, с. 328.

[2] Quicherat J. E. Procès de condamnation et de réabilitation de Jeanne d'Arc, dite La Pucelle, 5 vol., 1841—1849. О текстуаль-

он считает одержимость Жанны великой задачей – изгнать врага с родной земли, укрепить расшатанную власть короля, добиться мира и порядка. Врожденный здравый смысл, свежесть души, инстинктивная мудрость решений и поступков возвышают ее над окружающей испорченностью и банальностью. Шоу настаивает на том, что видения и голоса, которые, по словам набожной Жанны, подсказывают ей, как следует вести себя, на самом деле являются отзвуками здорового нормального восприятия мира и разумной необходимости: религиозную, в духе средневековья, мотивировку обретают трезвые действия, военные и политические.

Шоу стремится не только дать рациональное, не мистическое объяснение успехов Девы, но и лишить ее героического ореола, который придает ей недоступное обыкновенным людям величие. Он неоднократно говорит о невежестве, простодушии своей героини, ее некрасивости, которая, однако, только оттеняет ее внутреннюю красоту. Нескладная, грубоватая, с резкими манерами и простонародной речью, она не садится, а «шлепается», «кидается», «вскакивает», «неуклюже приседает». Она вспыльчива, невежлива, нетерпелива. В пику литературной традиции, Шоу отнимает у Жанны привлекательность и женственность; о последней он вспоминает только чтобы лишний раз показать ее слабость: она сама с досадой признается, что в плен попала только потому, что захотела щегольнуть золотым шитьем нового плаща. Из-за этого ее заметили и стащили с лошади. Эти слабости придают только бóльшую достоверность мужеству и благородству Жанны; простые смертные могут надеяться стать такими, как она.

Труднейшую для художника задачу – раскрыть миру красоту истины, не прикрашенной и не идеализированной, – Шоу разрешает, настоятельно подчеркивая глубочайшую естественность Жанны – любовь к свободе, страх перед болью, женское тщеславие, раздражительность, нетерпимость к глупости, посредственности и малодушию – словом, естественные движения здоровой, одаренной натуры, сталкивающейся с противоестественным принуждением, с фальсификацией всех понятий, с не менее противоестественной необходимостью скрывать свое превосходство и приспосабливаться к мертвой букве утративших смысл установлений.

Таким образом, давний интерес Шоу к психологии недюжинной личности, самая недюжинность которой оказывается противоречащей обычным представлениям о необыкновенном человеке, в этой пьесе принимает новые формы. Новизна обусловлена тем, что Жанна в изображении Шоу выполняет благородную историческую роль и осуществляет свою миссию, оказывая огромное нравственное воздействие на всех вокруг, не пребывая в полной от них изоляции, как это бывало в других пьесах Шоу. Когда ей говорят, что в битве никто не пойдет за нею, она отвечает: «А я не стану оборачиваться и смотреть, пошел ли кто-нибудь за мною». И сила примера так велика, что люди идут, – идут простые солдаты, идут и рыцари.

В дни борьбы она увлекла за собою воинов и прелатов, вдохнула мужество в короля, физически и морально слабого; во время суда она вызвала к себе сочувствие и уважение со стороны своих судей; а во время страшной и позорной казни сила духа ее

ной близости Шоу к книге Кишера и его верности историческим фактам см.: Schirmer Imhoff R. Saint Joan – die Quelle und ihre Bearbeitung "Anglia", 1956, N 1, s. 121, 125 и др.

была так велика, что потрясла, перевернула душу ее заклятого врага, английского капеллана фанатика Джона Стогэмбера, который навек стал противником жестокости; грубый английский солдат, вняв ее предсмертной просьбе, подал ей на костер крест, связанный из двух палок, и тем заслужил право раз в год получать день отпуска из ада, куда попал за свои грехи. Сама Жанна робко надеется, что люди, которые будут помнить о ней, станут лучше. Она говорит, что если спасла всех тех, к кому Стогэмбер был бы жесток, не стань он свидетелем ее смерти, то взошла на костер не напрасно. Так осуществляется одна из центральных идей писателя — идея о заражающей и вдохновляющей силе высокого примера.

Ни в одной из своих пьес, ни ранних, ни поздних, Шоу не строил такого сложного образа и не рисовал такой гаммы реакций на поведение и судьбу героини, не достигал такого взаимодействия не только между нею и второстепенными персонажами, но и между индивидуальными чертами героини и ее идейной и исторической функцией. В образе Жанны Шоу достигает замечательного художественного равновесия: чередование религиозного экстаза с делами чисто практическими, соединение высоты духа с поразительной наивностью, сочетание жертвенной жажды подвига и живого поэтического чувства с полным отсутствием сентиментальности и комической непочтительностью к лицам, облеченным духовной и светской властью, — все это уничтожает высокопарную идеализацию, столь обычную при изображении исторической героини. Не раз Шоу выставляет ее в смешном свете, как, например, в первой сцене, когда она деловито высчитывает, во сколько франков обойдется ей снаряжение для подвига во славу Франции. Смешит зрителей и ее непонимание грубости, издевательского тона противников. Вместе с тем, истолковывая их слова в самом благоприятном смысле, она из всех стычек с ними выходит победительницей. Забавное недоразумение оказывается следствием нечувствительности к булавочным уколам, самозабвенного увлечения всепоглощающим делом. Цельность ее стремлений и величие взятой на себя освободительной миссии, ее близость к трудовому народу, по-хозяйски любящему свою землю, придают ей подлинно героические черты.

Конечно, сочетание высокого и низкого в образе героини не является открытием Шоу. Но когда и то и другое взаимодействует с творческим началом, с Жизненной силой, которая, воплощаясь в Жанне, превращает ее в человека нового типа — из тех, что, по мысли Шоу, способны спасти человечество, — в изображении его появляются как бы новые критерии прекрасного, принципиально отличные от традиционных, действующих в произведениях эпигонов романтизма, как, например, в мелодраме Тома Тейлора «Иоанна д'Арк» (1871) и в пьесе Перси Мак Кея «Жанна д'Арк» (1906).

Своеобразная «дегероизация» исторического персонажа, которая лишь выявляет подлинную сущность его героизма, не фальсифицированную банальными иллюзиями, приводит также к отказу от возвышения Жанны за счет ее врагов — церковников, приговоривших ее к сожжению. У Шоу они не чудовища, не романтические злодеи. И в предисловии и в самой пьесе писатель, отступая от исторической точности, не устает указывать на добросовестность судей Жанны, на упорство их попыток спасти если не жизнь, то хотя бы душу ее. Шоу пишет: «Гнусный епископ и жестокий инквизитор Марка Твена и Эндру Ланга заурядны, как карманные воры;

они и Жанну низводят до уровня заурядного персонажа, у которого обчистили карманы. Я изобразил их одаренными и красноречивыми представителями церкви воинствующей и церкви судействующей: только так я могу удержать мою драму на уровне высокой трагедии и не дать ей превратиться в сенсацию из уголовного суда».

Возмущение трибуналом инквизиции было непременной частью множества официальных биографий Жанны и непременным условием ее канонизации католической церковью. Но Шоу не хотел прибегать к испытанному приему, с помощью которого благородство Жанны воспринимается тем сильнее, чем более подчеркивается низость ее палачей. Он не хотел, чтобы сентиментальное сочувствие невинно убиенной мученице мешало оценить серьезное содержание ее деятельности.

Шоу понимал, что мелодраматическое изображение казни Жанны как акта единичного злодейства лишает ее трагедию социального смысла, не позволяет осознать ее как исторически закономерный факт, неизбежный результат столкновения враждебных идей, мировоззрений, систем. Соответственно он изображает не жертву бессмысленной жестокости, а исторически детерминированную гибель той, которая в рамках неправедного строя не только не желает мириться с духовным принуждением, но и пытается вести за собой других, тоже способных мыслить и действовать самостоятельно, вопреки господствующим понятиям.

По мысли Шоу, злодейство как таковое не страшно в жизни и не интересно как предмет художественного изображения потому, что представляет единичный, отклоняющийся от нормы случай, тогда как внимание писателя должно быть сосредоточено на возведенном в норму зле. Равнодушие, тупость, трусость – все то, что поощряет возникновение таких «норм», – вот истинное зло. «Самое страшное преступление против ближнего – не ненависть, а равнодушие к нему: в этом заключена сущность бесчеловечности».[1]

Те самые люди, которые, не дрогнув, дали Жанне умереть мучительной смертью, через четверть века добились ее реабилитации и осуждения ее судей, и свидетели реабилитации так же равнодушно внимали потоку использованных для этого лжесвидетельств и клятвопреступлений. Та же фальшь и та же низость, которые понадобились, чтобы погубить ее, понадобились потом, чтобы воскресить ее имя.[2] Здесь возникает характерный для Шоу парадокс: осуждение невинной Жанны было по понятиям того времени плодом серьезного рассмотрения – и великая несправедливость свершилась по приговору законному и закономерному в пределах господствующей системы; оправдание ее восстановило попранную справедливость, но это восстановление в пределах той же системы могло служить только корыстным политическим интересам и неизбежно потребовало окольных, кривых путей. Парадокс поистине мрачный!

Глубокой мрачностью дышит и эпилог пьесы. Шоу придавал ему такое значение, что на просьбу загородных зрителей переделать и сократить его в соответствии с действующим расписанием поездов

[1] Epigrams of Bernard Shaw. Little blue book, N 180. Ed. by E. Haldeman Julius, p. 5.

[2] Ср. запись К. Маркса: Архив Маркса и Энгельса, т. IV, с. 329; «Впоследствии Карл VII и его канальи были вынуждены ради народа сделать кое-что для «восстановления чести» Жанны. Sit divis, dum non sit vivus» (пусть будет божественной, лишь бы не живой. – *лат.*).

ответил: «Переделайте расписание». В прежних пьесах герои и героини Шоу выходили из борьбы либо победителями, либо примирившимися с неизбежным компромиссом. Жанна не только гибнет на главной площади Руана, но гибнет, так сказать, дважды: когда в эпилоге она объявляет о своем намерении совершить чудо и вернуться в мир живых, ее оставляют все прежние участники драмы. «Значит, мне снова идти на костер?» — спрашивает она. И ответ недвусмыслен: она воскресла лишь для того, чтобы ее снова обрекли на смерть. Ничто не изменилось и через пятьсот лет. Мертвую ее канонизировали, живую ее снова уничтожат. Пьеса завершается полным отчаяния возгласом Жанны: «О боже, ты создал эту прекрасную землю! Но когда же станет она достойна принять твоих святых? Доколе, о господи, доколе?»

Этот пессимистический финал раскрывает, быть может, название пьесы. Оно выражает иронию по адресу священнослужителей, сперва замучивших, а потом канонизировавших народную героиню, и вместе с тем серьезную мысль. Для Шоу Жанна и в самом деле святая, хотя, разумеется, далеко не в общепринятом смысле. Страстный антиклерикал и враг любой официальной церкви, Шоу, во всяком случае во вторую половину жизни, не чужд религиозных настроений, очень расплывчатых, но в целом близких учению Л. Н. Толстого. У каждого человека живет в душе свой бог, и любой из нас несет в себе частицу божества, частицу животворной Жизненной силы; царство божие внутри нас, и никаких посредников между богом и человеком не может и не должно быть. И в этом смысле мироощущение героини Шоу передает мироощущение ее создателя. Он уверял, что пьеса написана самой Жанной: «Я только подготовил ее для сцены... Она именно так говорила и поступала».[1]

В пьесе Жанна еретичка и за это приговорена к смерти. Сама того не ведая, она, подобно ранним протестантам, англичанину Джону Уиклифу и чеху Яну Гусу, выражает принципы предреформационной ереси, отрицавшей прерогативы католической церкви. Жанна искренне не понимает, когда ей приказывают склониться перед церковью и отречься от голосов святых — Маргариты, Екатерины и Михаила. Она твердо верит, что выполняет их приказания — ведь воля бога выше воли любых его земных истолкователей. Парадокс здесь заключается в том, что, объективно ниспровергая основы католического мировоззрения, Жанна субъективно считает себя набожной католичкой.

Так же как большая часть парадоксов писателя, этот парадокс передает существенные черты действительности: протест против церковной догматики прозвучал с особенной силой в устах искренне веровавших и желавших привести церковь в соответствие с религиозно-этическими идеалами.

Верность Шоу исторической истине проявляется и в характеристике общественного и политического смысла деятельности героини и центральных проблем эпохи. Проницательность его концепции, выходящая за пределы ранних исторических пьес драматурга, очевидна, несмотря на допускаемые неточности и на использование таких испытанных «антиисторических» приемов, как установление прямых параллелей между средневековой Францией и современной Англией, между деятелями XV и XX вв. Но в «Святой Иоанне» они

[1] Henderson A. Bernard Shaw. Playboy and prophet. N. Y.— London, 1932, p. 543.

означают не пренебрежение к реальным фактам истории, а лишь упрощение, нужное для того, чтобы приблизить их к современности и заставить служить тем более ясным к ней комментарием. Шоу не хочет сосредоточиваться на специфике эпохи, чтобы она не заслоняла сущности исторического процесса, не скрывала приводящие его в движение пружины, не мешала прошлому служить наглядным уроком настоящему и, напротив, облегчала понимание вопросов, волнующих человечество сегодня. Драматурга интересуют не столько конкретные формы угнетения, сколько то, что во все времена человек был угнетен и во все времена его борьба против гнета требовала жертв — из числа доблестных и славных. «Я изучаю только одну историю — историю настоящего [...], — говорил Шоу, — как драматург я могу понять только те черты исторического и иного лица, которые являются и моими чертами [...]. Человек, который пишет о себе и своем времени, — единственный человек, который пишет про все народы и все времена».[1]

Поэтому и в этой наиболее историчной из своих исторических пьес Шоу, отвергая традиционный для представлений такого жанра «местный колорит» и величественную архаику, изображает английского военачальника графа Уорика, его приближенных и прелатов в полном облачении, совершенно как многословных участников современного политического совещания. Результатом является сознательная комическая модернизация, уничтожение ореола ложной романтики и благоговения как перед прошлым, так и перед настоящим. Одно высмеивается с помощью другого. Этому служит подчеркнуто современная речь героев, пересыпанная терминами политического и делового языка XX в. Персонажи говорят об «авторитете церкви», об «организации сожжения», о «военной рутине», о церкви как «политическом орудии», об «английских интересах», о «проведении политики», о «социальных структурах». Английский капеллан, совершенно в духе империалистических политиков, возмущается тем, что Жанна отказывает Англии в законных правах, дарованных ей богом, — в силу ее особой подготовленности править менее цивилизованными народами для их собственного блага. К тому же в речи средневековых персонажей звучит фразеология современного разговорного языка: граф Уорик просит епископа Кошона «выбросить из головы церковь», рыцарь Дюнуа объясняет, что епископам вовсе не нравится, когда «их отпихивают от собственных алтарей», Жанна уверяет Дюнуа, что он «из всей команды лучший», английский солдат про казнь Девы говорит, что это «ее хозяйское дело».

Такое обильное применение идиоматики имеет для Шоу принципиальный смысл: стремясь покончить с ходульной торжественностью, принятой при изложении истории, он заставляет всех действующих лиц говорить с той простотой и непринужденностью, с какой, по мнению Шоу, в любые времена говорили все люди, выражаясь на обыденном языке своего века и, естественно, употребляя живые, простонародные обороты, ему свойственные. Поскольку для позднейшей эпохи такие обороты либо непонятны, либо приобретают иной, архаический и тем самым приподнятый тон, Шоу заменяет их просторечными и образными выражениями современного языка, создающими неизбежный комический эффект.

---

[1] Shaw B. The sanity of art. Major critical essays. London, 1947, p. 284.

Сопоставление двадцатого века с пятнадцатым нужно Шоу для ниспровержения официального оптимизма и постыдного самодовольства правящих классов. Пороки настоящего переносятся в прошлое для того, чтобы позволить современникам увидеть их вне привычных условий, в которых они кажутся естественными и само собой разумеющимися. Передвинутые в иной временной план, общественные установления, воспринимаемые некритически, обнаруживают свою подлинную природу и освещаются светом беспощадной истины.

Выработанные Шоу принципы построения исторической драмы оказали огромное влияние на дальнейшее развитие этого жанра. По пути, проложенному им, пошли Брехт, Жироду, Ануй, Болт, Осборн, Арден, Дюрренматт и многие другие. Все они обращались к истории давних времен только для того, чтобы она помогла прочесть страницы истории нового времени; все они видели в истории урок собственным современникам. В большинстве случаев эти драматурги идут гораздо дальше Шоу. Если он пренебрегает исторической спецификой, за этим стоит желание постигнуть и сформулировать ее основные, вечно действующие закономерности, затемненные, с его точки зрения, конкретными и индивидуальными обстоятельствами, которые не позволяют разглядеть основные движущие силы истории. В отличие от Шоу, исторический нигилизм его последователей был не мнимым, а подлинным: история нисколько не занимает их и рассматривается ими как миф или притча, рассказанные только в поучение современным слушателям, без всякой попытки проникнуть в ее истинный смысл.

Чисто современное значение имеют и пьесы, по примеру Шоу посвященные Жанне: две драмы французских драматургов – Клоделя – «Жанна д'Арк на костре» (1934–1939) и Ануя – «Жаворонок» (1953) и две пьесы Бертольта Брехта. В «Святой Иоанне скотобоен» (1929–1932) героиня гибнет, тщетно пытаясь помочь бедствующим во время кризиса рабочим и погасить их вражду с капиталистами; в «Снах Симоны Машар» (1942–1943) служанка гостиницы за свой патриотический подвиг приговорена к смертной казни судом, состоящим из предателей народа. В обеих пьесах события нашего века лишь ассоциируются с образом и победами национальной героини Франции, и история составляет только фон для вполне актуального сюжета. Брехту принадлежит также обработка радиопьесы Анны Зегерс «Суд над Жанной д'Арк в Руане в 1431 году» (1952).

Как бы ни отличались друг от друга драматурги, шествующие по стопам Шоу, как бы далеко ни отходили они от уроков своего учителя, нет сомнений в том, что он положил начало новому истолкованию исторических сюжетов. Но, парадоксально, развивая на протяжении всей своей долгой творческой жизни историческую тематику и постепенно поднимаясь к глубокой ее трактовке в «Святой Иоанне», Шоу неожиданно сближается с тем, с кем неуклонно враждовал, кому не раз объявлял войну, кого провозглашал устаревшим и даже вредным писателем, – с Уильямом Шекспиром! Как справедливо пишет И. К. Черникова в статье «Святая Иоанна» Бернарда Шоу»,[1] сам жанр хроники, обозначенный в подзаголовке, указывает на память о великих хрониках Шекспира. Даже поверх-

[1] Научные труды. Сб. 259. Проблемы жанра в зарубежной литературе. Свердловский государственный педагогический институт. Свердловск, 1976.

ностный взгляд обнаруживает много общего между драмой Шоу и историческими трагедиями его соперника: тот же тип организации действия, совпадающий с ходом событий (в той мере, в какой он был известен авторам), то же отсутствие единого сюжетного центра, единого драматического конфликта, то же передвижение кульминации от центра пьесы к развязке – в сущности, совпадение ее с самой развязкой, как в сцене казни Жанны или смерти Ричарда III, – та же острая актуальность, тот же напряженный драматизм, тот же общенациональный масштаб, та же непочтительность по отношению к высоким, даже коронованным лицам, то же понимание трагической противоречивости мироустройства и исторического развития и тот же выход за пределы конкретно-исторического в сферы общечеловеческого и вечного. Даже возмущаясь вульгарной трактовкой Жанны в первой части хроники «Генрих VI» (авторство Шекспира остается спорным), Шоу использовал выраженное в ней представление о Деве как о ведьме, шлюхе и сообщнице дьявола, приписав его своему персонажу – английскому капеллану Стогэмберу.[1]

Любопытно, что модернизированная речь исторических персонажей, которая прозвучала так свежо в драмах Шоу, была характерна для Шекспира, заставившего афинских ремесленников, римских патрициев и древних британцев говорить на языке елизаветинской Англии. В устах его персонажа XV в. короля Генриха V звучат просторечные слова и обороты XVII в. «До чего я прост, – говорит он французской принцессе, – так прост, как будто мне пришлось продать хозяйство, чтобы купить корону... Так по рукам, что ли?» (акт V, сц. 2). От этого эпизода не так уж далеко до вызывающих нарушений исторически точного словоупотребления в «Святой Иоанне». Шоу хвалит Шекспира за то, что он населил Афины ремесленниками времен королевы Елизаветы, и следует его примеру, но превращает модернизацию в сознательный, хорошо рассчитанный прием.[2]

Для XX столетия, переломного, грозного, нескончаемо разнообразного, Шоу сделал то же, что Шекспир для своего века, – превратил театр в великую духовную силу, изобразил прошлое в интересах настоящего. Несмотря на стремление Шоу оттолкнуться от своего предшественника, несмотря на различие между ними – различие между гениальным художником, пьесы которого были волнующим всенародным зрелищем, и создателем интеллектуальной драмы, – автор «Святой Иоанны», быть может против своей воли, оказался близок Шекспиру.

Хроника, посвященная национальной героине Франции, занимает совершенно особое место в творчестве Шоу. Она подвела итоги всем главным тенденциям его развития – критическим, аналитическим, историческим, реалистическим, обличительным и просветительским Только здесь удалась Шоу идеальная героиня, не бесплотное, а живое, человечное выражение идеала. Только в этом образе достигается единство величия и простоты, комического и трагического, духовной самостоятельности и стихийной силы личности, кровно связанной с народом. Вместе с тем, подводя итоги прошлому, «Святая Иоанна» обозначает поворот Шоу к новому типу крупномасштабной пьесы,

[1] Crompton L. Shaw the dramatist, p. 195.

[2] Shaw B. The sanity of art. Major critical essays, p. 284.

публицистической, плакатной, острозлободневной, устремленной к решению новых общественных задач.

«Святая Иоанна» имела долгую сценическую жизнь, более долгую, чем почти все другие пьесы Шоу, и принесла ему в 1926 г. Нобелевскую премию.

Впервые она была поставлена 28 декабря 1923 г. нью-йоркским театром «Гилд» в театре «Гаррик». Критика приняла ее холодно, но публика – восторженно, и пьеса выдержала 214 представлений. Жанну играла известная актриса Уинифред Ленихен. В Лондоне хроника Шоу впервые была поставлена 26 марта 1924 г. в театре «Нью». В главной роли с необычайным успехом выступила Сибил Торндайк. Шоу с самого начала предназначал Жанну именно для нее, долго работал с нею и три раза прочел ей всю пьесу от начала до конца. Сибил Торндайк была лучшей исполнительницей героини Шоу и получила за нее титул «Дамы Британской Империи». Пьеса была в первый же год представлена 244 раза.

В последующие годы она многократно возобновлялась в Лондоне: в театрах «Риджент» (1925), «Лицеум» (1926), «Глобус» (1930), «Театр Его Величества» (1931), «Олд Вик» (1934, 1939, 1960, 1961), «Стритхэм Хилл» (1939), «Кинг» (1945, 1946), «Нью» (1947), «Артс» (1954). В 1964 г. «Святая Иоанна» исполнялась на Эдинбургском фестивале, в 1970-м – в театре «Мермейд».

По общему мнению, ни одна из английских исполнительниц (Мери Ньюэмбер, Констанция Кемингс, Энн Кэсон, Селия Джонсон, Сиобан Маккенна, Барбара Джефорд) не смогла сравниться с Сибил Торндайк.

Из иностранных актрис в роли Жанны с успехом выступали Элизабет Бергнер (Германия), Аннемари Штейнзик (Австрия), Людмила Питоева (Франция), Эмма Грамматика (Италия), Маргарита Хиргу (Испания), Вассо Манолиду (Греция). Особенно отличилась в этой роли американская актриса Кэтрин Корнелл. Впервые спектакль с ее участием состоялся 9 марта 1936 г. в театре Мартина Бека (Нью-Йорк) и был повторен 380 раз.

В СССР «Святая Иоанна» не раз появлялась на сцене – например, ленинградского театра Академической драмы (1924), Московского Театра имени Ленинского комсомола (1958), в театрах Харькова, Свердловска и других городов. Особенный интерес вызвала постановка пьесы А. Я. Таировым в Камерном театре (1924), где заглавную роль исполнила знаменитая актриса Алиса Коонен.

В 1961 г. лондонский театр «Олд Вик» показал «Святую Иоанну» в Ленинграде и Москве.

Стр. 311. *...крестового похода против гуситов...* – Гуситское движение в Чехии, входившей тогда в состав Священной Римской империи, носит имя выдающегося деятеля Реформации Яна Гуса (1371–1415), который был осужден церковным собором в Констанце и предан сожжению. Гуситские войны явились концентрированным выражением народной борьбы против социального гнета и господства католической церкви за национальное освобождение. Феодально-католические силы Европы во главе с папой Мартином V и императором Сигизмундом I при поддержке Франции провели в 1420–1431 гг. пять безуспешных походов против гуситов, и только в 1437 г. восстание было разгромлено окончательно.

Кристина Августа (1626–1689) – королева Швеции с 1632 г. Отреклась от престола в 1654 г., перейдя в католичество. Славилась образованностью, покровительствовала ученым.

Эраузо, Каталина де – испанская монахиня, жившая в XVII в. Бежала из монастыря, переодевшись в мужскую одежду, завербовалась на военную службу и получила звание поручика. Апокрифическая автобиография Каталины де Эраузо, изданная в Испании не ранее 1809 г., была переведена на французский язык поэтом-парнасцем Жозе Мария де Эредиа (1842–1905).

Она покровительствовала своему королю и требовала от английского короля покаяния... – Карл VII (1403–1461) – французский король с 1422 г., коронован в Реймсе в 1429 г. при содействии Жанны д'Арк. Генрих VI (1421–1471) – английский король с 1422 г., из династии Ланкастеров.

Стр. 312. *Кассий* – римский государственный деятель, один из организаторов заговора республиканцев и убийства Юлия Цезаря в 44 г. до н. э. После поражения при Филиппах в 42 г. до н. э. покончил с собой.

Елизавета I (1533–1603) – английская королева с 1558 г., последняя из династии Тюдоров.

Даже Сократ... не сумел защитить себя на суде... – Обвиненный в «поклонении новым божествам» и «развращении молодежи», Сократ отстаивал свои взгляды в защитительной речи перед афинским судом присяжных. Приговоренный к смерти, отказался от попытки к бегству и выпил чашу с ядом цикуты.

Стр. 313. *Ирод I Великий* (ок. 73–4 до н. э.) – царь Иудеи, которому приписывается «избиение младенцев» при известии о рождении Христа.

Понтий Пилат – римский наместник Иудеи в 25–36 г. н. э. Согласно евангелию, приговорил Иисуса Христа к распятию.

Анна и Кайафа – согласно Новому завету, первосвященники в Иудее (Евангелие от Луки, 3, 2). После пленения в Гефсиманском саду Христос, отведенный сначала к Анне – тестю Кайафы, предстал затем перед Кайафой, который способствовал осуждению Христа. – Евангелие от Иоанна, 18, 12–28.

Стр. 316. *«В судьбе мужчин любовь не основное...»* – Байрон, «Дон Жуан» (песнь первая, 194), пер. Т. Гнедич.

Вашингтон, Джордж (1732–1799) – первый президент США (1789–1797), главнокомандующий армией колонистов в войне за независимость в Северной Америке 1775–1783 гг.

Стр. 317. *Домреми* – деревня на реке Маасе в Лотарингии, родина Жанны д'Арк.

Стр. 318. *...комендант крепости Вокулер* – капитан Роберт де Бодрикур, у которого Жанна д'Арк требовала эскорт, оружие и лошадей, для того чтобы отправиться к Карлу VII.

...о поражении войск дофина в «битве селедок»... – Дофин – титул наследника французского престола. Карл VII именовался дофином до своей коронации в 1429 г. «Битва селедок» – в 1428 г. жители Орлеана, осажденного англичанами, совершили вылазку с целью воспрепятствовать доставке провианта (соленых селедок) противнику.

Стр. 319. *Сократу... бывали видения и слышались голоса...* – Сократ многие свои поступки объяснял велением даймония (демона) – своего гения, внутреннего голоса, подобного оракулу.

Лютер, Мартин (1483–1546) – деятель Реформации в Германии. Перевод Лютером Библии имел огромное значение для дальнейшего развития немецкого языка и немецкой литературы. Известен рассказ

Лютера о том как он бросил чернильницу в дьявола, якобы явившегося соблазнять его.

Сведенборг, Эмануэль (1688—1772) — шведский ученый-натуралист, философ. Под влиянием нервного потрясения и галлюцинаций впал в мистику. Теософское учение Сведенборга о потусторонней жизни и о поведении бесплотных духов изложено в его книгах «Небесные тайны» (1749—1756), «О небе, аде и мире духов» (1758).

Блэйк, Уильям — см. примеч. к с. 45. С детских лет отличался пылким, мистически окрашенным воображением: по его словам, ему нередко приходилось видеть ангелов, сидящих на деревьях. «Видения», побуждавшие Блейка к творчеству, сопровождали его до конца жизни

Святой Франциск — Франциск Ассизский (настоящее имя — Джованни Бернардоне, 1181 или 1182—1226) — итальянский религиозный деятель, проповедник, основатель Францисканского ордена. Автор религиозных поэтических произведений.

Ньютон, Исаак — см. примеч. к с. 8.

Пифагор Самосский (VI в. до н. э.) — древнегреческий мыслитель, религиозный и политический деятель, математик.

Коперник, Николай (1473—1543) — польский астроном, создатель гелиоцентрической картины мира.

...его поразительная «Хронология»... — Историческому сочинению «Хронология древних царств с присоединением кратких хроник от первых упоминаний о событиях в Европе до завоевания Персии Александром Великим» (1728) Ньютон посвятил сорок лет своей жизни (переписывал рукопись 80 раз). Стремясь поддержать авторитет Священного писания, Ньютон пытался в этой книге согласовать исторические факты с библейскими мифами, в результате чего многие действительные события, весьма произвольно датированные, получали субъективное истолкование.

В связи с одиннадцатым рогом зверя, виденного пророком Даниилом... — Один из четырех ветхозаветных пророков Даниил обладал даром предвидения (например, на пире Валтасара, последнего вавилонского царя, предсказал гибель его царства). В Книге пророка Даниила повествуется о его «видениях ночных» следующим образом: «...и вот — зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный.. и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще один небольшой рог и три из прежних рогов исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно» (7, 7—10).

Стр. 321. *...брокенские привидения.* — С горной вершиной Брокен на Гарце связан ряд немецких народных преданий и поверий, согласно которым на Брокене происходили шабаши ведьм (ср. «Вальпургиеву ночь» в гетевском «Фаусте»).

Стр. 322. *Святая Екатерина* — считается покровительницей молодых девушек. Согласно легенде, когда святой Екатерине было семь лет, ей предстал во сне Христос и назвал ее своей невестой.

Святой Михаил — согласно евангельской традиции, архангел Михаил — предводитель небесного воинства. Ср.: «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». — Откровение святого Иоанна Богослова, 12, 7.

Пастер, Луи (1822—1895) — французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии.

Берт, Поль (1833—1886) — французский ученый-физиолог и политический деятель, убежденный антиклерикал.

Галилей, Галилео – см. примеч. к с. 8.

Святая Тереза (1515–1582) – монахиня кармелитского монастыря в Испании, известная своими мистическими видениями. Канонизирована католической церковью.

Стр. 323. *Прерафаэлиты* – английские поэты и художники, объединившиеся в 1848 г. в группу «Прерафаэлитское братство», в которую входили Д. Г. Россетти, Х. Хант, Дж. Э. Милле и др. Эстетическая программа прерафаэлитов, отчасти сложившаяся под влиянием воззрения Джона Раскина, выражала стремление к совершенным и непосредственным («наивным») формам искусства раннего Возрождения (до Рафаэля).

Гадаринские свиньи – имеется в виду изгнание бесов – известный эпизод из Нового завета: «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. [...] Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, и их было около двух тысяч; и потонули в море». – Евангелие от Марка, 5, 1, 11–13.

Стр. 324. *Найтингел, Флоренс* (1820–1910) – английская сестра милосердия, организатор и руководитель отряда санитарок во время Крымской войны 1853–1856 гг.

Ла Гир (ок. 1390–1444) – капитан французской армии, участвовал в освобождении Орлеана. Пытался похитить Жанну д'Арк из тюрьмы в Руане.

Уорик, Ричард Бьючемп (1382–1439) – английский дипломат, комендант Руана во время оккупации в 1431 г. Осуществлял верховный надзор над процессом Жанны д'Арк.

Стр. 325. *Гальтон, Фрэнсис* (1822–1911) – английский психолог и антрополог, один из создателей евгеники – теории о способах «улучшения» человеческой породы.

Маас (Мёз) – река во Франции, протекающая также по территории Бельгии и Нидерландов.

Стр. 326. *Де Рэ, Жиль* (1404–1440) – французский военачальник, один из главных распорядителей коронации Карла VII в Реймсе, получил звание маршала. Казнен за садистские убийства детей, связанные с занятиями черной магией. Историческая традиция закрепила за де Рэ прозвище Синяя Борода; он стал прототипом известной сказки Шарля Перро.

Дюнуа, Жак (1402–1468) – французский военачальник, незаконнорожденный (Бастард) сына герцога Орлеанского, брата короля Карла VI. Возглавлял гарнизон осажденного англичанами Орлеана, способствовал изгнанию захватчиков из Франции после смерти Жанны д'Арк.

Королева Виктория уговорила военное министерство послать Робертса в Трансвааль... – Виктория (1819–1901) – королева Великобритании с 1837 г., последняя из Ганноверской династии. Подразумевается захватническая война Великобритании против бурских республик Южной Африки – Оранжевого Свободного государства и Трансвааля (1899–1902). Фредерик Робертс (1832–1914) – английский фельдмаршал, главнокомандующий британскими вооруженными силами в период англо-бурской войны (с декабря 1899).

Боннер, Роза (1822–1899) – французская художница.

Санд, Жорж – псевдоним французской писательницы-романистки Авроры Дюпен, по мужу Дюдеван (1804–1876). Выступала в защиту прав женщины, отстаивала принципы свободной морали, чем навлекла

на себя гонения со стороны ханжески настроенного буржуазного общества. С великим польским композитором Фредериком Шопеном (1810–1849) и французским поэтом-романтиком Альфредом де Мюссе (1810–1857) Жорж Санд связывали близкие отношения.

Стр. 327. *...женщина-солдат организовала боеспособный полк амазонок...* – Имеется в виду женский «батальон смерти» – добровольческое воинское формирование, созданное в 1917 г. в России. Одна из рот Первого петроградского женского батальона, которым командовала М. В. Бочкарева, приняла участие в обороне Зимнего дворца на стороне Временного правительства, но после выстрела «Авроры» сложила оружие. В конце ноября 1917 г. женский батальон был расформирован. Ср. строки из поэмы Владимира Маяковского «Хорошо!» (1927):

«В политику...
начали...
баловаться...
Куда
против нас
бочкаревским дурам?!
Приказывали б на штурм».

Олдершот – место постоянного расположения военного лагеря в графстве Хэмпшир (Великобритания).

Нелсон, Горацио (1758–1805) – английский вице-адмирал. Одержал победу над Наполеоном в морском сражении при Трафальгаре, во время которого был смертельно ранен.

Шканцы – часть верхней палубы военных кораблей, где совершаются все официальные церемонии.

Стр. 328. *Иерихон* – древнейший из городов мира (VII–II тысячелетия до н. э.) в Палестине. Согласно Библии, иерихонские стены рухнули от звука священных труб завоевателей-израильтян (Книга Иисуса Навина, 6).

Стр. 330. *Трилогия о Генрихе VI* – ранние исторические хроники Шекспира, созданные в 1590-е гг. Вместе с хроникой «Ричард III» образуют тетралогию о войнах Алой и Белой Розы.

Герцог Бургундский – Филипп Добрый (1396–1467), состоял в то время в союзе с англичанами против Карла VII.

«Орлеанская девственница» («La pucelle d'Orléans») – поэма Вольтера (анонимно издана в 1755 г.), внесенная папой римским в индекс запрещенных книг. Задумана Вольтером как пародия на тяжеловесную эпическую поэму французского поэта-классициста Ф. Шаплена (1595–1674) «Девственница, или Освобожденная Франция».

Стр. 331. *Пексниф* – персонаж романа Чарлза Диккенса «Приключения Мартина Чезлвита» (1844), олицетворение ханжества и лицемерия.

Батлер, Сэмюэл – см. примеч. к с. 12. Автор прозаического перевода поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея».

Сорель, Агнес (1422–1450) – фаворитка Карла VII.

Кишера, Жюль (1814–1882) – французский историк и археолог. В 1841 г. опубликовал подлинные протоколы допросов Жанны д'Арк.

Твен, Марк (настоящее имя Сэмюэл Клеменс, 1835–1910) – американский писатель. Твену принадлежит книга «Личные воспоминания о Жанне д'Арк» (1896).

Ланг, Эндру (1844–1912) – шотландский писатель, филолог, фольклорист и историк, автор книги «Дева Франции» (1908).

Франс, Анатоль (псевдоним Анатоля Франсуа Тибо, 1844—1924) — французский писатель. В двухтомном историческом труде «Жизнь Жанны д'Арк» (1908) опровергал официальную церковную версию о святой Деве как о спасительнице нации, действовавшей согласно божественным предписаниям.

Стр. 332. *Ной* — библейский патриарх Ной спасся с семьей от всемирного потопа в выстроенном по велению бога ковчеге (Книга Бытия, 7—8).

Баярд, Пьер де Террайль (1475—1524) — французский рыцарь, храбростью и великодушием снискавший себе прозвище Рыцарь без страха и упрека.

Эстер Самерсон — персонаж романа Чарлза Диккенса «Холодный дом» (1853), воплощение добродетели.

Стр. 333. *Альбигойцы* — участники еретического движения в Южной Франции XII—XIII вв., предшественники протестантов.

Гуситы — см. примеч. к с. 311.

Кошон, Пьер (ум. 1442) — епископ города Бовэ, впоследствии перешедший на сторону англичан. На оправдательном процессе в 1456 г. был признан единственным виновником смерти Жанны д'Арк, и его тело было выброшено из могилы.

Стр. 334. *Кэвелл, Эдит* (1865—1915) — английская сестра милосердия, возглавлявшая сестер милосердия в оккупированном Брюсселе. Расстреляна немцами за организацию побегов военнопленных.

Кейсмент, Роджер (1864—1916) — английский дипломат. Во время первой мировой войны казнен по обвинению в государственной измене.

Стр. 335. *Пэнкхерст, Сильвия Эстелла* (1882—1960) — деятель английского рабочего движения. В годы первой мировой войны стояла на пацифистских позициях, затем выступала с осуждением империалистической интервенции держав Антанты против Советской России. В 1921 г. была принята в компартию Великобритании, но позднее исключена за отказ подчиниться требованиям партийной дисциплины.

«Странные люди» — христианская секта, основанная в 1838 г. и пытавшаяся лечить болезни с помощью божественной благодати.

Стр. 336. *Уиклиф, Джон* (1324?—1384) — английский проповедник, предшественник Реформации.

...Жанна всегда, подобно миссис Эдди, готова была подменить собою святого Петра... — Святой Петр — в Новом завете один из апостолов, первым провозгласивший Иисуса мессией — спасителем человечества. В христианской иконографии изображается старцем с ключами у врат небесного царства. Мэри Бейкер Эдди (1821—1910) — американская теософка, основательница движения «христианская наука». См. также примеч. к с. 351.

Стр. 337. *...процедура, проделанная с Кромвелом реакционными сторонниками Реставрации...* — Оливер Кромвел (1599—1658) — видный деятель Английской буржуазной революции XVII в., лорд-протектор. После реставрации монархии в Англии в 1660 г. труп Кромвела был выброшен из Вестминстерского аббатства и вздернут на виселицу.

Карл Победоносный — речь идет о французском короле Карле VII, получившем прозвище «Победоносный», потому что во время его царствования окончилась Столетняя война 1337—1453 гг.

Стр. 338. *Святая Клара* (1193—1253) — аббатиса женского монастыря, основательница монашеского ордена. Канонизирована католической церковью.

Стр. 340. *Церковь... была уже глубоко развращена примитивным калибанизмом (в браунинговском смысле)...* — Речь идет о стихотворении английского поэта Роберта Браунинга (1812—1889) «Калибан о Сетебос, или Естественная теология на острове», входящем в состав сборника «Dramatis personae» (1864). Опираясь на сюжет пьесы Шекспира «Буря» (1612), Браунинг, выступавший против религиозного принуждения и отождествлявший понятие бога со свободно осознанной нравственностью, сатирически переосмысляет взаимоотношения двух главных персонажей — повелителя острова, мага и волшебника Просперо, и его слуги, грубого дикаря Калибана, олицетворяющего невежественное и животное начало. Пытаясь просветить суеверный ум, браунинговский Просперо внушает Калибану основы церковных вероучений различного толка, однако в примитивном сознании Калибана языческий бог вытесняется другим — еще более грозным и беспощадным, жестокой власти которого слепо подчиняется раздавленная страхом рабская натура Калибана.

Стр. 341. *Францисканский орден* — церковный орден, основанный в Италии в 1207—1209 гг. Франциском Ассизским.

Доминиканский орден — церковный нищенствующий орден, основанный в 1215 г. испанским монахом Домиником.

Лаодикианизм — отсутствие интереса к вопросам религии и политики Понятие возникло от названия города в Малой Азии, существовавшего в эллинистическую эпоху, жители которого отличались крайним равнодушием к событиям внешнего мира.

Самый фанатичный из ольстерских оранжистов или из лестерских буржуа-евангелистов... просто Галлион по сравнению с Макиавелли... — Ольстер — историческая провинция в Северной Ирландии. Лестер — главный город графства Лестершир в Великобритании. Оранжисты — сторонники принца Вильгельма Оранского (1533—1584), лидера антииспанской дворянской оппозиции во время Нидерландской буржуазной революции XVII в. Евангелисты — протестантская секта, близкая к баптистам. Галлион — римский правитель Ахайи, провинции Южной Греции: «Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахайи, напали единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал Иудеям: Иудеи! если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении, и об именах, и о законе вашем, то разбирайте сами; я не хочу быть судьею в этом. И прогнал их от судилища. А все Еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем; и Галлион нимало не беспокоился о том». — Деяния Апостолов, 18, 12—17. Макиавелли, Никколо (1469—1527) — итальянский писатель, историк, политический деятель эпохи Возрождения. Осуществление республиканского идеала Макиавелли связывал с деятельностью властителя, который вправе пренебрегать нормами морали и использовать любые средства ради достижения великой цели.

Стр. 342. *Иов* — в Библии благочестивый праведник, которого бог подверг тяжким испытаниям, чтобы убедиться в его богобоязненности (Книга Иова).

Стр. 343. *Морибундус* (moribundus — лат.) — умирающий; здесь Шоу имеет в виду историю кардинала Монтальто, искусно притворившегося больным калекой, чтобы быть избранным на папский престол (Сикст V).

...ибсеновский закон перемены.. — Ибсен, Генрик (1828—1906) — великий

норвежский драматург. Ибсен неоднократно выражал убежденность в неизбежности поступательного развития человечества.

Стр. 344. *Эбернети, Джон* (1764—1831) — английский врач-хирург, автор работ по анатомии и физиологии. Его лекции пользовались большой популярностью.
Лод, Уильям (1573—1645) — архиепископ Кентерберийский с 1633 г., один из ближайших советников английского короля Карла I. Во время Английской буржуазной революции XVII в. казнен по обвинению в государственной измене.

Стр. 345. *...буллы папы Льва* — Римский папа Лев X (1475—1521, из рода Медичи) в 1520 г. отлучил своей буллой от церкви Мартина Лютера, основателя крупнейшего направления в протестантизме — лютеранства.
...В батлеровском Едгине... — Название романа С. Батлера «Едгин» («Erewhon», 1872), носящего характер сатирической утопии, представляет собой анаграмму слова nowhere (нигде).

Стр. 347. *Звездная палата* — см. примеч. к с. 156.

Стр. 350. *«Черно-пегие»* — специальные террористические формирования, с помощью которых английские власти пытались подавить национально-освободительную войну ирландского народа в 1918—1923 гг.

Стр. 351. *Месмеристы* — последователи системы, предложенной немецким врачом Ф. Месмером (1733—1815), в основе которой лежит понятие о «животном магнетизме».
Хиромантия — гадание по ладони с целью определить характер человека и предсказать его судьбу.
...последователи «христианской науки»... — приверженцы идеалистического учения, признающего веру в бога единственным средством избавления от болезней.

Стр. 352. *Бетельгейзе* — сверхгигантская звезда в созвездии Ориона.

Стр. 353. *...не больше, чем Шекспир знал о Фолконбридже и герцоге Австрийском или о Макбете и Макдуфе...* — Фолконбридж, Филипп (Бастард) — незаконный сын английского короля Ричарда I Львиное Сердце из династии Плантагенетов (годы царствования 1189—1199); эрцгерцог Австрийский, граф Лиможский — персонажи исторической хроники Шекспира «Король Иоанн» (1594—1597). Макдуф — шотландский вельможа, противник Макбета в трагедии Шекспира «Макбет» (1606). Макбет — шотландский король (годы царствования 1040—1057).

Стр. 354. *Гант, Джон* — герцог Ланкастерский (1351—1399) — третий сын Эдуарда III, дядя Ричарда II, отец Генриха IV. Обладал большим политическим влиянием. Персонаж исторической хроники Шекспира «Ричард II» (1597).
Дрэйк, Фрэнсис (1540—1596) — английский мореплаватель. Совершил второе после Магеллана кругосветное плавание. В 1588 г. после разгрома испанской «Непобедимой армады» получил звание вице-адмирала.

Стр. 357. *Ланг, Мэтисон* (1879—1948) — английский актер, исполнявший многие романтические роли.
«Вечный Жид» — авантюрный роман французского писателя Эжена Сю (1804—1857), изображающий странствия легендарного Агасфера и направленный против иезуитов.

Стр. 359. *Обер-Аммергау* — небольшой город на реке Аммер близ

Мюнхена в Южной Германии. В конце XIX – начале XX в. здесь устраивались театральные представления, стилизующие жанр средневековых мистерий,– например, постановка «Мистерии страстей Господних». Посетивший Обер-Аммергау во время своего путешествия по Европе М. А. Волошин описал свои впечатления в статье «В Обер-Аммергау» (Русский Туркестан, 1900, 1 окт.).

Мидлсекс, Сэррей – графства в Великобритании.

Стр. 365. *Осада Орлеана* – англичане осадили город Орлеан в 1428 г., а 8 мая 1429 г. отряд французских войск во главе с Жанной д'Арк освободил город (отсюда ее прозвище – Орлеанская дева).

Стр. 366. *Святая Екатерина* – см. примеч. к с. 322.

Святая Маргарита – королева Шотландии (ок. 1045–1093), канонизирована в 1250 г.

Стр. 368. *Герцог Бургундский* – см. примеч. к с. 330.

Английский король – Генрих VI (1421–1471); ввиду малолетства короля регентом Англии был его дядя Гамфри Глостер.

Герцог Бедфордский, Джон Плантагенет (1389–1435) – один из младших сыновей английского короля Генриха IV; во время несовершеннолетия Генриха VI был регентом Франции (1422–1435), заключив союз с Бургундией, он овладел большей частью Франции. Появление Жанны д'Арк положило конец его победам. Суд над пленной Жанной и ее казнь были делом рук Бедфорда.

Шинон – городок в центральной Франции, резиденция Карла VII, где он принял Жанну д'Арк.

Королева отрицает законнорожденность собственного сына. – Мать Карла VII Изабелла Баварская (1370–1435) была на стороне англичан и отказывалась признать его сыном своего мужа Карла VI. Во французском народе распространилось поверье, что Франция, погубленная развратной женщиной, будет спасена чистой девушкой. Подобные пророчества содействовали успехам Жанны д'Арк.

Она ведь выдала дочь за английского короля. – Дочь Изабеллы Баварской принцесса Екатерина вышла замуж за английского короля Генриха V (1387–1422), что укрепило притязания Англии на французские земли.

Дюнуа, Жак – см. примеч. к с. 326.

Монтаржис. – В 1427 г. в битве при Монтаржисе Дюнуа разбил англичан во главе с графом Уориком.

Стр. 370. *Реймский собор* – собор Нотр-Дам в городе Реймсе на северо-востоке Франции, знаменитый памятник зрелой готики; построен в 1211–1311 гг., место коронации французских королей.

Стр. 371. *Святой Дени* – первый парижский епископ, живший в III в., казнен римлянами, считается покровителем Франции.

Черный Принц – Эдуард, принц Уэльский (1330–1376), старший сын короля Эдуарда III, прозванный так по цвету своих доспехов и потому, что внушал всем страх.

Отец английского короля – Генрих V, английский король в 1413–1422 гг., известный своими победами над французами в Столетней войне. После женитьбы на дочери французского короля Карла VI стал согласно мирному договору 1420 г. наследником французского престола.

Стр. 374. *Куры несутся как сумасшедшие* – характерная для Шоу буффонада по поводу «чудес» Жанны д'Арк.

Стр. 376. *Де Рэ, Жиль* – см. примеч. к с. 326.

Стр. 378. *Карл Мудрый* – прозвище французского короля Карла V (1337–1380), деда Карла VII, в царствование которого Франция одерживала победы в войне.

Стр. 387. *Сын Людовика Святого.* – Карл вспоминает своего предка короля Людовика IX (1214–1270), возглавлявшего 7-й и 8-й крестовые походы (во время последнего умер от чумы).

Стр. 389. *Людовик Одиннадцатый* (1423–1483) – французский король с 1461 г., успешно боролся против феодалов за создание централизованного государства.

...с косой полоской в гербе – геральдическое обозначение незаконнорожденности владельца герба.

Стр. 393. *Мария в голубых лентах.* – Имеются в виду ленты, которыми повязывали волосы молодые незамужние женщины.

Стр. 398. *Жарго, Мен, Божанси* – города на Луаре, близ Орлеана. После сдачи Орлеана англичане пытались закрепиться здесь, но малочисленные гарнизоны этих городов, деморализованные победами Жанны д'Арк, вскоре сдались.

...нашу армию искрошили возле Патэ, и сэр Джон Талбот взят в плен. – Прославленный английский военачальник Джон Талбот (1390–1453) шел со своим войском на помощь англичанам, стоявшим на Луаре. 18 июня 1429 г. он потерпел поражение при Патэ, небольшом городке близ Орлеана, и был взят в плен Жанной д'Арк и Дюнуа.

...я родился в Англии. – Здесь Шоу высмеивает высокомерие англичан.

Стр. 399. *...эти бургундцы, и бретонцы, и гасконцы, и пикардийцы тоже начинают называть себя французами, как наши земляки начинают звать себя англичанами.* – В XV в. происходил процесс формирования французской и английской наций, усилился рост национального самосознания.

Вильгельм Завоеватель (1027–1087) – предводитель нормандских феодалов, завоевавших Англию в 1066 г.

Стр. 400. *Кардинал Винчестерский* – Генри Бофорт (1377–1447), епископ и кардинал в древнем английском городе Винчестере, сводный брат короля Генриха IV.

Стр. 402. *...с белым знаменем в руках* – знамя Жанны д'Арк было белого цвета с изображением двух ангелов.

Стр. 406. *Гус, Ян* – см. примеч. к с. 311.

Уиклиф, Джон – см. примеч. к с. 336.

Стр. 407. *...арабский погонщик верблюдов.* – Имеется в виду Магомет (ок. 570–632), под руководством которого мусульмане создали обширное государство.

Он слышал голос архангела Гавриила – по преданию, когда Магомету было 40 лет, его посетил на горе Хира около Мекки архангел Гавриил и повелел ему проповедовать новую религию.

Архангел Михаил – в христианской мифологии один из высших ангелов, окружающих трон бога, владеющий секретом всесильного «слова», посредством которого бог создал небо и землю.

Стр. 408. *Крестоносец, побывав в Святой земле, сам становится наполовину сарацином.* – В результате крестовых походов западноевропейских феодалов на Восток в 1096–1270 гг., проходивших под лозунгом освобождения христианских святынь в Палестине из-под власти мусульман (или сарацин, как их называли в Европе), крестоносцы

нередко возвращались домой, избавившись от религиозного фанатизма, с которым отправлялись в эти походы.

Стр. 409. *...делаете королей* – называя графа Уорика «делателем королей», Шоу прибегает к анахронизму. «Делателем королей» называют другого графа Уорика, Ричарда Невилля (1428–1471), возведшего на трон Эдуарда IV в 1461 г. и восстановившего на троне Генриха VI в 1470 г.

Йорк или Ланкастер в Англии – английские феодальные роды, между которыми в XV в. велась ожесточенная борьба за престол (война Алой и Белой Розы: в гербе Ланкастеров – алая роза, в гербе Йорков – белая роза).

Ланкастер или Валуа во Франции – английская королевская династия Ланкастер оспаривала в XV в. у французской королевской династии Валуа (1328–1589) власть над Францией.

Стр. 410. *Воля к власти* – Шоу иронически обыгрывает формулу философии Фридриха Ницше (1844–1900), назвавшего так свою оставшуюся незаконченной книгу.

Стр. 412. *Sancta simplicitas!* (Святая простота!) – слова, которые будто бы произнес Ян Гус (см. примеч. к с. 311) на костре, когда увидел, как какая-то старушка подбросила хворосту в огонь.

Стр. 414. *Мои голоса приходят ко мне...* – Жанна д'Арк утверждала, что голоса архангелов и святых давали ей указания для всех действий.

Стр. 418. *Древняя греческая трагедия.* – Имеется в виду трагедия Эсхила «Прикованный Прометей» (V в. до н. э.).

Компьен – крепость севернее Парижа, где в 1430 г. Жанна д'Арк была взята в плен бургундцами, союзниками англичан.

Стр. 420. *Воевать теперь нужно не так, как раньше.* – Во время Столетней войны вошло в употребление огнестрельное оружие, что существенно изменило весь характер военных действий.

Азенкур – деревня в северной Франции, место разгрома французского рыцарства английскими войсками Генриха V 25 октября 1415 г.

Креси – город на северо-востоке Франции, в районе которого 26 августа 1346 г. лучники английского короля Эдуарда III одержали решительную победу над французской рыцарской конницей Филиппа VI.

Пуатье – 19 сентября 1356 г. около города Пуатье на западе Франции произошла одна из крупнейших битв Столетней войны, в ходе которой английские войска Черного Принца разбили французские войска короля Иоанна II Доброго, который был взят в плен.

Стр. 421. *Бог на стороне больших батальонов* – выражение Вольтера из его письма Леришу 6 февраля 1770 г., означающее, что победа не на стороне справедливости, а на стороне более сильной армии.

Стр. 425. *Руан* – город на севере Франции, где 30 мая 1431 г. была сожжена Жанна д'Арк.

Стр. 426. *Орден святого Доминика* – см. примеч. к с. 341. В 1232 г. в руки доминиканцев была передана папством инквизиция, с помощью которой они подавляли выступления народных масс против феодалов.

Стр. 427. *Суд святого Трибунала* – суд по делам еретиков в католической церкви (инквизиция), существовавший в XIII–XIX в. Созванный папой Иннокентием III 4-й Латеранский собор (1215) установил особый протокол преследования еретиков, достаточным основанием для которого считались порочащие слухи.

Стр. 429. *Апостольская преемственность* – согласно учению католи-

ческой церкви, преемственность в передаче епископского сана от первых апостолов.

Стр. 431. *Волшебные деревья.* – В окрестностях родной деревни Жанны находился громадный бук, который, по преданию, посещали феи. Жанна верила этим легендам и рассказывала о них.

Стр. 432. *Государство* – имеется в виду Священная Римская империя германской нации, основанная в X в. королем Оттоном I.
Иоанн Креститель – согласно евангельской мифологии, ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший его пришествие; жил в пустыне, обличал пороки общества и призывал к покаянию.

Стр. 435. *Моав и Аммон* – по библейскому преданию, трансиорданские племена, враждебные израильтянам, которые приписывали им грех кровосмешения.
...для охраны исполнителей приговора. – Церковный суд лишь выносил смертный приговор; из-за своего «милосердия» церковь не могла взять на себя его исполнение и выдавала приговоренного светским властям.

Стр. 439. *Воинствующая Церковь* – речь идет о католической церкви, призывающей бороться против зла на земле, в отличие от Церкви Торжествующей – святых и апостолов, достигших блаженства и бессмертия.

Стр. 442. *Святой Афанасий* – Афанасий Александрийский (ок. 295–373), церковный деятель и богослов, епископ Александрии с 328 г. Ему приписывается «Символ веры», на слова из которого ссылается Инквизитор.

Стр. 446. *...пастырь радуется о ней больше, нежели о девяноста девяти праведниках.* – Евангелие от Луки, XV, 7.

Стр. 453. *1456* год – в этом году папа римский Каликст III провозгласил невиновность Жанны д'Арк.
Фуке, Жан (ок. 1420–1481) – французский живописец, один из основоположников искусства раннего Возрождения во Франции. Книжные миниатюры Фуке, в том числе к французскому переводу «Жизни знаменитых мужчин и женщин» Дж. Боккаччо (1458), отличаются реалистическим изображением и мягкостью колорита.

Стр. 457. *Агнес Сорель* – см. примеч. к с. 331

Стр. 458. *Мое мертвое тело предали анафеме...* – см. примеч. к с. 333 *(Кошон)*.
Карл Добрый – французский король Карл VI (1368–1422), отец Карла VII.
Карл Мудрый – см. примеч. к с. 378.
Карл Смелый (1433–1477), герцог Бургундский, сын Филиппа Доброго – см. примеч. к с. 330.

Стр. 465. *Англиканская ересь.* – Имеется в виду английское протестантство. Англиканская церковь как государственная национальная церковь, возглавляемая королем, была провозглашена Генрихом VIII в «Акте о супрематии» (1534).

Стр. 466. *Кто же сломал мне меч!* – Имеется в виду статуя Жанны д'Арк со сломанным мечом в руке, находящаяся перед Реймским собором.

Политическая шутка или, точнее, политическая экстраваганца «Тележка с яблоками»[1] была первой пьесой, написанной Б. Шоу после длительного перерыва, и ею открывается новый, заключительный этап в творчестве драматурга. От поставленной в 1923 г. «Святой Иоанны» ее отделяет промежуток в пять лет, единственным творческим итогом которых явилась лишь большая публицистическая книга Шоу «Справочник по социализму и капитализму для образованной женщины», воспринятая современниками как его идеологическое завещание. Непосредственной причиной, заставившей семидесятидвухлетнего писателя снова обратиться к драматургии, послужила инициатива известного английского режиссера Барри Джексона, объявившего об организации в курортном городке Малверн ежегодных летних театральных фестивалей, в программе которых основное место отводилось постановкам различных пьес Шоу. Встретившись осенью 1928 г. с Джексоном, Шоу обещал ему написать «что-нибудь новенькое» для открытия первого Малвернского фестиваля и, предположительно, в ноябре этого же года приступил к работе над «Тележкой с яблоками».

На выбор темы для новой пьесы большое влияние оказали давние друзья Шоу по Фабианскому обществу Беатриса и Сидней Уэбы, которые настоятельно советовали драматургу создать сатирическую комедию, высмеивающую английскую парламентскую систему, и в частности политику лейбористской партии. Как это следует из одного письма Шоу к Беатрисе Уэбб, «Тележка с яблоками» (и более ранняя «Профессия миссис Уоррен») была написана по ее заказу.[2]

Как указывают биографы писателя,[3] Шоу работал над «Тележкой» не более восьми недель, так что, по-видимому, уже к середине января 1929 г. она была завершена. Во всяком случае, 2 февраля 1929 г. в письме к американской актрисе и художнице Молли Томпкинс Шоу писал: «Когда эта бесконечная книга [«Справочник...»] была закончена, я думал, что конец пришел и мне. Но когда Барри Джексон сообщил, что в августе в Малверне состоится фестиваль моих пьес и самые свежие из них — это «Иоанна», «Мафусаил» и «Дом, где разбиваются сердца», я взорвался, как вулкан, и из меня буквально изверглась новая пьеса, по вдохновению названная «Тележкой с яблоками».[4] Известно также, что в феврале 1929 г. Шоу читал «Тележку» в доме леди Астор.[5]

---

[1] Название пьесы восходит к английскому идиоматическому выражению «to upset somebody's applecart» (перевернуть тележку с яблоками), которое означает: расстроить планы, устроить переполох, опрокинуть общепризнанные представления и т. п.

[2] Это письмо, датированное 5.IX.1929 г., частично опубликовано в кн.: Henderson A. George Bernard Shaw. Man of the century. N. Y., 1956, p. 650.

[3] См., например: Purdom C. B. A Guide to the plays of Bernard Shaw. London, 1963, p. 285.

[4] To a young actress. The Letters of Bernard Shaw to Molly Tompkins. Ed. by P. Tompkins. N. Y., 1960, p. 131.

[5] Это явствует из переписки Шоу со Стеллой Патрик Кэмпбел. См.: Bernard Shaw & Mrs. Patrick Campbell. Their correspondence. London, 1952, p. 283.

По свидетельству самого драматурга, его первоначальный замысел претерпел существенные изменения в процессе работы над пьесой и только во вступительной сцене «Тележки» (диалог между секретарями короля Магнуса, Памфилием и Семпронием) сохранились мотивы, которые должны были бы стать ее тематическим ядром. «Семпрония-отца я вытащил совершенно напрасно,— писал Шоу в письме к Сетро.— У меня, видите ли, была такая идея: изобразить две борющиеся партии: «ритуалистов» и «квакеров». Король науськивает их друг на друга и в конце концов разделывается и с той, и с другой. Но этот вариант не подошел: слишком много возни. Начало я все же оставил. Подобно моцартовской увертюре, оно прекрасно вводит публику в курс дела и настраивает на должный лад — тут-то и начинается потеха. Вообще говоря, это не пьеса, а устрашающий набор трюков, затасканных уже во времена Софокла».[1]

Таким образом, нам остается лишь гадать, какое развитие в пьесе могло бы получить намеченное в ее «увертюре» противопоставление двух типов мышления: «ритуалистского», для которого знаковость сугубо социальна, и романтического, для которого уже сама природа обладает языком. Вместо борьбы двух партий центральным конфликтом пьесы стала борьба короля с правительством, причем Шоу и на этот раз использует принципы простого парадокса при расстановке и оценке персонажей. Драматург как бы выворачивает наизнанку традиционные политические представления, заставляя своих персонажей занимать позиции, обратные ожидаемым. Так, король — в английской парламентской демократии фигура условная, символическая, пассивная — оказывается здесь самым активным участником интриги, защитником прогрессивных идей, бунтарем-радикалом, подлинным политическим лидером нации, тогда как члены правительства — жалкие марионетки, прислужники крупного капитала, «склочники и головотяпы», безразличные к судьбам народа,— выглядят рядом с ним подчеркнуто травестийно. Политические парадоксы в «Тележке» позволяют драматургу создать замкнутую фарсово-зеркальную ситуацию, удобную для организации сценического диспута о проблемах государственной власти и капиталистической экономики.

Когда пьеса была закончена, ее дальнейшая судьба неожиданно осложнилась из-за конфликта между Шоу и актрисой Стеллой Патрик Кэмпбел, которая послужила драматургу прототипом для образа Оринтии, платонической возлюбленной короля Магнуса. Как неоднократно говорил Шоу, будуарная интермедия «Тележки» носит отчетливо автобиографический характер, а ее пикантная концовка (драка на ковре) имеет соответствие в реальном эпизоде из истории его сложных личных отношений со Стеллой Кэмпбел.[2] Узнав об этом, Кэмпбел потребовала, чтобы Шоу прочел ей соответствующую сцену комедии, угрожая ему в противном случае шантажом, публичными разоблачениями или даже судебным иском. «Пьесу нельзя ставить без моего разрешения,— писала она драматургу.— Я привлеку Вас к ответственности за беззаконные действия».[3] Под различными предлогами

[1] Цит. по: Пирсон Х. Бернард Шоу, с. 359.

[2] См.: Пирсон Х. Бернард Шоу, с. 360. Кроме того, интермедия «Тележки», как указал английский исследователь Эрвин, имеет и литературный первоисточник — сцену из раннего романа Шоу «Неразумный брак». См. об этом: Ervine St. John. Bernard Shaw. His life, work and friends. London, 1956, p. 83—84.

[3] Bernard Shaw & Mrs. Patrick Campbell. Op. cit., p. 277.

Шоу долго оттягивал встречу с «любимейшей Стеллой», успокаивая ее заверениями в том, что интермедия «Тележки» – фантазия, в которой видны лишь «проблески правды».[1] Наконец, уже после того, как 14 июня 1929 г. в варшавском «Театре Польском» с большим успехом прошла мировая премьера «Тележки с яблоками» (режиссер – Арнольд Шифман), а 1 июля Барри Джексон начал репетиции спектакля для Малвернского фестиваля, решительное объяснение Шоу с Патрик Кэмпбел все же состоялось. Судя по всему, Кэмпбел восприняла интермедию как личное оскорбление и потребовала внести в текст серьезные изменения, потому что уже через несколько часов после встречи Шоу отправляет ей записку с новыми вариантами нескольких реплик Магнуса и Оринтии, а на следующий день, 12 июля 1929 г., пишет ей успокоительное письмо, где объясняет: «Сцена не содержит «личностей» в узком смысле слова. [...] Я написал великолепный Ваш портрет, да простит мне бог! И Вы должны подчиниться правилам игры. [...] Не относитесь к этой сцене, как если бы она звучала в вакууме. Нельзя допустить, чтобы мы вошли в историю под знаком сплетни и ядовитой клеветы. Пусть мир над нами смеется, но пусть это будет веселый смех, а не грязный. Наши роли – прекрасные роли».[2]

Однако примирительный жест Шоу не удовлетворил Кэмпбел: «...я никогда не смогу молчаливо сносить ни подтекст этой сцены Вашей пьесы, ни ее злонамеренную вульгарность и лживость, – отвечала она Шоу. – [...] Если бы у меня в руках был ее текст, то я бы обсудила вопрос о ней с адвокатом. Я уверена, что в этой сцене достаточно грязных намеков, чтобы признать ее клеветой, не подлежащей постановке. Разорвите ее и перепишите заново...»[3] В ответ на этот ультиматум Шоу пришлось пойти на уступки и внести в интермедию более существенные поправки. В письме от 28 июля, укоряя Кэмпбел в непоследовательности, он сообщает, что ее требования выполнены: «Любимейшая! Как Вы несносны! Когда я говорю, что Вы – Оринтия, Вы отрицаете сходство как великое оскорбление. Когда я ввожу подробности, ее от Вас отличающие, Вы требуете, чтобы я все исправил и сделал портрет точным и узнаваемым. Ну хорошо, зато теперь я смогу объявить, что текст выправлен лично Вами и некоторые лучшие места написаны под Вашу диктовку».[4]

Уладив свой конфликт с Кэмпбел, Шоу устранил последние препятствия для постановки «Тележки» на английской сцене, и 19 августа в Малверне состоялась премьера пьесы, которая была восторженно встречена зрителями.[5] В главных ролях выступили знаменитые актеры Седрик Хардвик (король Магнус) и Эдит Эванс (Оринтия). «С самого начала и до самого конца «Тележка с яблоками» шла под рев зала», – сообщал Шоу в письме к Беатрисе Уэбб с Малвернского фестиваля.[6] Однако реакция театральных критиков была несколько более сдержанной. Единодушно отмечая блестящую игру актеров и отдавая должное зрелищности комедии, остроумию и легкости ее диалога, а также

---

[1] Bernard Shaw & Mrs. Patrick Campbell. Op. cit., p. 276.

[2] Шоу Дж. Б. Письма, с. 243–244.

[3] Bernard Shaw & Mrs. Patrick Campbell. Op. cit., p. 289–290.

[4] Шоу Дж. Б. Письма, с. 245.

[5] Днем раньше в Малверне был устроен закрытый просмотр «Тележки».

[6] Цит. по: Henderson A. Op. cit., p. 650.

тому непринужденному изяществу, с которым в ней подана типично «шовианская» дискуссия на серьезные темы, рецензенты все же усмотрели в «Тележке» немало погрешностей и слабостей. Особые нарекания у них вызвала интермедия с участием короля Магнуса и Оринтии. «Невозможно себе представить,— писал после премьеры театральный обозреватель газеты «Таймс»,— что могло заставить Шоу написать эту сцену, настолько она скучна и бессмысленна».[1] Как и подавляющее большинство критиков, он дал комедии в целом положительную оценку, но добавил при этом, что «она может сравниться с лучшими творениями драматурга только в отдельных риторических фрагментах».[2]

После четырех спектаклей в Малверне труппа Барри Джексона переехала в Лондон, где «Тележка с яблоками» давала большие сборы на протяжении всего нового театрального сезона. Начиная с 17 сентября спектакль демонстрировался на сцене театра «Куин» в течение десяти месяцев и выдержал 250 представлений.

Как проницательно заметил лондонский корреспондент американского театрального журнала «Тиэтр Артс Мансли» Эшли Дьюкс, своим успехом у зрителей «Тележка с яблоками» была во многом обязана «удачно выбранному моменту своего появления».[3] Дело в том, что после состоявшихся в мае 1929 г. парламентских выборов к власти в Великобритании пришло лейбористское правительство большинства, и современники безошибочно угадывали в травестийных персонажах пьесы точные и смешные карикатуры на ведущих деятелей лейбористской партии. Так, в Протее не без оснований видели злую пародию на тогдашнего премьер-министра Рамсея Макдоналда, Боэнерджес напоминал о видном члене парламента, известном ораторе Джоне Бернсе, а Лизистрата обнаруживала некоторое сходство с Маргарет Грейс Бонфилд — первой женщиной в истории Англии, получившей пост министра.[4] Поместив действие пьесы в воображаемое будущее, Шоу лишь усилил ее злободневность: грядущий мир в «Тележке» — это не столько пророчество и предостережение, как, например, в мрачных эсхатологических антиутопиях О. Хаксли или Дж. Оруэлла, сколько весьма абстрактная социально-политическая модель современного общества, в которой определенные стороны исторически конкретной реальности представлены в гротескно-искаженных, остраненных формах. Шоу не пытается вообразить «прекрасный новый мир», который зарождается в недрах настоящего, его не интересует ни угроза тоталитаризма, ни формирование массового сознания, ни трагичность существования частного человека, ибо главная его задача — развенчивать и осмеивать, а не предсказывать и провидеть. Поэтому-то не следует переоценивать значение отдельных прогнозов Шоу, степень точности (и серьезности) которых представляется сегодня весьма сомнительной.[5] Они лишь создают в пьесе условный, вневременной

---

[1] The Times, 1929, 20 Aug., p. 10.

[2] Ibid.

[3] Theatre Arts Monthly', 1930, N 1, p. 28.

[4] О Макдоналде и Бернсе как о реальных прототипах персонажей «Тележки» говорится в кн.: Ervine St. John. Op. cit., p. 517.

[5] Тем не менее нужно отметить два поразительно точных предсказания Шоу в тех случаях, где речь идет о возникновении в странах Восточной Европы социалистических государств, а также об открытии источников энергии в шельфе Северного моря.

фон, а на первый план в ней выходят те конфликты и противоречия, которые в конце 1920-х гг. находились в центре внимания как самого драматурга, так и его леворадикального окружения. С резко антикапиталистических позиций Шоу затрагивает в «Тележке» ряд проблем, составляющих, по его глубокому убеждению, подлинную суть эпохи. Пользуясь приемами, характерными для традиций английской политической сатиры, он строит комедию как развернутую аллегорию, где бичуются всевозможные общественные пороки, прямо не названные, но обозначенные иносказательно. Превращение тред-юнионов в пособников крупного капитала, повышение благосостояния трудящихся за счет грабежа колоний, рост потребительского сознания и политической апатии масс, подчинение правительства диктату монополий («Ремонтный трест»), ослабление мировой роли Великобритании и превращение ее в младшего партнера США, кризисная ситуация в Германии и Франции[1] — все эти тревожные симптомы, так или иначе, получают в «Тележке» свое аллегорическое воплощение.

Однако наибольшие споры среди современников вызвала основная парадоксальная коллизия пьесы — столкновение конституционного монарха, выступающего в роли защитника интересов народа, и демократически избранного правительства, которое на деле подчинено всемогущему «Ремонтному тресту». Тот факт, что главным положительным героем «Тележки» является король с диктаторскими замашками и претензиями, которому безоговорочно отданы все авторские симпатии, встревожил многих левонастроенных друзей и единомышленников Шоу, обвинивших его в антидемократических и даже монархистских тенденциях. И без того вызывавшая нарекания шовианская концепция «сильной власти», согласно которой автократия всегда лучше «фальшивого народовластия», показалась им выраженной в комедии особенно двусмысленно, так как Шоу придал королю Магнусу определенное сходство с царствующим монархом Великобритании Георгом V.[2] Во многом случайное и поверхностное, сходство это было сильно преувеличено в восприятии современников, что привело к существенным деформациям при оценке пьесы.

Как свидетельствует биограф Шоу Х. Пирсон, в замысел драматурга отнюдь не входило создать сочувственный портрет Георга V. «Встретившись с Джи-Би-Эс на лондонском представлении «Тележки»,— пишет Пирсон,— я спросил его, правда ли то, о чем все говорят,— что король Магнус в его комедии — завуалированный портрет царствующего монарха Георга V. Он ответил дипломатично: если людям хочется так думать, он ничего не имеет против.

---

[1] Интересно, что, предсказывая гибель Франции как европейского государства, Шоу повторяет пророчества, имевшие широкое хождение в конце XIX в. Так, о неизбежном переселении французов в Африку писал со ссылкой на французского историка Прево-Парадоля еще К. Леонтьев. См. об этом в его статье «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» (Леонтьев К. Собр. соч., т. VI. М., 1912, с. 70—71).

[2] Известно, например, что Георг V, как и его пародийный «двойник», пытался усилить свое влияние на правительство при помощи «тихой дипломатии». Так, в 1924 г., после прихода к власти первого лейбористского кабинета, он провел более двадцати частных консультаций с новыми министрами (ср. сцену знакомства Боэнерджеса с королем в первом акте «Тележки»).

— А все-таки? — допытывался я.

— Ну, есть король на троне и есть король в моей пьесе. Случилось так, что король на троне ведет себя на манер короля у меня в пьесе. Значит, они друг на друга похожи.

Я ввернул:

— Ничуть не бывало — чем это они похожи друг на друга?!

Тут Шоу и объявил:

— Истинный король Магнус сидит сейчас перед вами. Мне никто не предлагал трона — я его сам захватил...»[1]

Разумеется, эти слова Шоу нельзя понимать буквально, хотя доля истины в них все же имеется. Крайне презрительно относясь к ценностям парламентской демократии и утверждая, что лишь пять процентов человечества способны принимать разумные и ответственные политические решения, Шоу, безусловно, относил самого себя к этой потенциальной элите просвещенных властителей. В этом смысле образ короля Магнуса представляет собой автопортрет или, вернее, автопроекцию идеала разумного единовластия, еще одно воплощение пресловутой Жизненной силы, которую Шоу был склонен отождествлять с собственным рационализмом. Как справедливо отмечает американский критик Э. Бентли, «король Магнус — это король-философ, это, по сути дела, Шоу собственной персоной».[2]

Основной конфликт «Тележки с яблоками», следовательно, можно интерпретировать как борьбу «идеального автократа», наделенного идеями и чертами характера самого писателя, с буржуазной демократией, в которой Шоу видит главное препятствие для социального прогресса. Здесь обнаруживается сильная связь комедии с многочисленными выступлениями Шоу конца 20-х гг., посвященными проблемам политической власти. Так, например, в одном из них Шоу сравнивал демократию с «воздушным шаром, наполненным газом или горячим воздухом, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас в карманах»,[3] а в «Справочнике по социализму и капитализму для образованной женщины» заявлял: «Совершенно очевидно, что демократия или народовластие, осуществляемое через всеобщее голосование, никогда полностью не существовали в действительности; а в тех случаях, когда они, хотя и в крайне урезанном виде, все же становились реальностью, их ожидала гибель. Тех, кто возлагал нелепые надежды на дальнейшее ее развитие, постигло разочарование... Конечно, и сейчас кое-где могут найтись безумцы, которые надеются распространить всеобщее избирательное право на детей или животных, дабы завершить демократическую структуру. Но подавляющему большинству демократия наконец-то обрыдла, это ясно. [...] Чем больше власти получает народ, тем настоятельней становится необходимость подчинить его некоей разумной, хорошо информированной сверхвласти...» [4]

Этот комплекс политических воззрений, лежащий в основе «Тележки» и представляющий собой причудливую эклектическую смесь социалистических идей с ницшеанской «волей к власти» и карлейлевским культом героев, во многом обусловил рецепцию комедии

---

[1] Пирсон Х. Бернард Шоу, с. 359.

[2] Bentley E. Bernard Shaw. Norfolk, Conn., 1947, p. 205.

[3] Цит. по: Henderson A. Op. cit., p. 630.

[4] Shaw B. The intelligent woman's guide to socialism and capitalism. London, 1928, p. 452—453, 454.

Шоу у современников. Нельзя не заметить, что отрицание буржуазной демократии иногда перерастает у Шоу в отрицание любых форм демократии, в преклонение перед автократией и диктатурой, и эта тенденция, заметная в «Тележке», повлекла за собой известное смещение акцентов в расстановке персонажей комедии. В контексте эпохи выпады против буржуазно-демократической традиции были восприняты как выражение симпатий к фашизму, а некоторые необдуманные полемические высказывания Шоу, который в те годы несколько раз с одобрением отзывался о политическом курсе Муссолини,[1] сильно ослабляли и затрудняли его позицию. Весьма симптоматичной в этой связи была судьба «Тележки» в Германии, где на рубеже третьего и четвертого десятилетий вопросы демократии и диктатуры приобретали особую остроту. Среди горячих сторонников пьесы[2] там оказался бывший кайзер Вильгельм II, который писал о ней: «Великая пьеса величайшего сатирика нашего времени. Какой гений! Какой юмор!»,[3] тогда как левосоциалистические круги отнеслись к ней враждебно. Дрезденский муниципалитет даже запретил постановку «Тележки» в городском театре, мотивируя свое решение тем, что она «подрывает республиканские идеалы».[4] Недоброжелательные отклики «Тележка с яблоками» вызвала и в США, где ее поставил нью-йоркский театр «Гилд» (премьера состоялась 24 февраля 1930 г., режиссер – Филип Мюллер, в главных ролях – Том Пауэрс и Вайолет Кэмпбел Купер).

Полемика, вспыхнувшая вокруг «Тележки с яблоками» как в Англии, так и за ее пределами, вскоре достигла такого накала, что Шоу был вынужден публично выступить с разъяснением своих взглядов. 22 марта 1930 г. еженедельник «Уик-энд ревью» напечатал его статью «Демократия и «Тележка с яблоками»,[5] которая впоследствии вошла в текст предисловия к отдельному изданию пьесы, вышедшему в свет несколько месяцев спустя. В ней Шоу, защищаясь от обвинений в измене идеалам социализма, доказывал, что осуждению и осмеянию в «Тележке» подвергается не демократия как таковая, а ее фальсификация в буржуазном обществе, и что его сатира направлена исключительно против капитализма, «этого главного врага и демократии, и монархии».

Несмотря на политически скандальный характер «Тележки с яблоками» (а отчасти и благодаря ему), она оказалась последней из пьес Шоу, которая имела прочный и длительный успех у зрителей. Все критики, независимо от их отношения к автократической направ-

---

[1] См. об этом: Chappelow A. Shaw – "The Chucker-out". London, 1969, p. 183–187. По мнению исследователя, «Шоу импонировала мнимая способность автократии делать дело быстро и эффективно, без неразберихи и проволочек, неизбежных при демократии. [...] Нет никакого сомнения в том, что Шоу благосклонно относился не к фашизму, а к автократии...» (p. 185).

[2] «Тележка с яблоками» была поставлена в Германии выдающимся театральным режиссером Максом Рейнгардтом под названием «Император всея Америки». Это была последняя его работа в берлинском «Немецком театре» (премьера состоялась 28 октября 1929 г.).

[3] Цит. по: Ervine St. John. Op. cit., p. 110.

[4] Сообщение об этом см.: Theatre Arts Monthly, 1930, N 3, p. 184

[5] Shaw G. B. Democracy and "The Apple Cart". – The Weekend Review, 1930, 22 March.

ленности пьесы, единодушно признают, что она обладает всеми необходимыми для хорошей комедии качествами и может лечь в основу живого и увлекательного театрального действа. В последующие годы «Тележка с яблоками» неоднократно ставилась и в Великобритании (1935, 1936, 1949, 1960), и во многих других странах мира.

В СССР «Тележка с яблоками» была поставлена Ленинградским академическим театром комедии (премьера – 28 марта 1972 г., режиссер – В. Голиков, в роли Магнуса – С. Коковкин, Оринтии – О. Волкова). По вполне понятным причинам постановщикам спектакля пришлось допустить некоторую вольность – передвинуть действие пьесы еще дальше в будущее, в восьмидесятые годы нашего столетия.[1] Критика достаточно высоко оценила работу театра. «По остроте мысли, по праздничной, откровенной театральности, – писал один из рецензентов, – спектакль «Тележка с яблоками» заставляет вспомнить о лучших акимовских спектаклях».[2]

Стр. 472. *Георг III* (1738–1820) – английский король с 1760 г., из Ганноверской династии. Во время его правления Англия продолжала политику колониальной экспансии и вела борьбу с восставшими североамериканскими колониями. В 1811 г. ввиду психического заболевания Георга III было назначено регентство его сына, принца Уэльского (позднее Георга IV).

Виктория – см. примеч. к с. 21.

Елизавета I (1533–1603) – английская королева с 1558 г., последняя из династии Тюдоров. Всемерно укрепляя позиции абсолютизма, восстановила англиканскую церковь и проводила политику широкой колонизации. Разгром испанской «Непобедимой армады» в 1588 г. и развитие торговых сношений при Елизавете способствовали росту влияния Англии. Правление Елизаветы отмечено также расцветом культурной и духовной жизни страны.

Стр. 474. *Фартинг* – самая мелкая разменная английская монета, равнявшаяся одной четверти пенни. Вышла из обращения в 1961 г.

Стр. 479. *Линкольн, Авраам* (1809–1865) – шестнадцатый президент США с 1861 г., один из организаторов республиканской партии, выступившей против рабства. Убит агентом плантаторов.

...в разгар кровавой битвы в Геттисберге... – Геттисберг – город в штате Пенсильвания (США). При Геттисберге во время Гражданской войны в США армия северян отразила наступление армии южан, что привело к перелому в ходе войны в пользу северян.

Стр. 480. *Индж, Уильям Ральф* (1860–1954) – настоятель собора св. Павла в Лондоне, английский религиозный и общественный деятель, публицист.

Стр. 482. *Нерон* – см. примеч. к с. 37.

Павел I (1754–1801) – российский император с 1796 г. Насаждал в стране военно-полицейский режим, проявлял самодурство. Убит заговорщиками-дворянами.

---

[1] См. об этом интервью В. Голикова: Театральный Ленинград, 1972, № 8, с. 9.

[2] Пляцковская Н. «Тележка с яблоками». – Театр, 1973, № 1, с. 86. См. также: Калмановский Е. Зачем смеяться? – Смена, 1972, 8 июня, № 133, с. 3; Ромм А. «Тележка с яблоками». – Вечерний Ленинград, 1972, 22 апр., № 95, с. 3.

Братья Де Витт – Ян Де Витт (1625–1672) – голландский государственный деятель, фактический правитель Соединенных провинций (Нидерландов) с 1650 г. 20 августа 1672 г. толпа, подстрекаемая оранжистами (сторонниками Вильгельма Оранского), растерзала Яна Де Витта и его брата Корнелия на центральной площади Гааги.

Стр. 483. *Болдуин, Стэнли* (1867–1947) – премьер-министр Великобритании в 1923–1924, 1924–1929, 1935–1937 гг., консерватор. В 1927 г. правительство Болдуина разорвало отношения с СССР.

Стр. 486. *Моррис, Уильям* (1834–1896) – английский художник, поэт и писатель, теоретик искусства. Социалистические взгляды Морриса привели его в ряды участников английского рабочего движения.

Стр. 488. *«Морнинг пост»* – ежедневная газета консервативного направления. Основана в 1772 г., в 1937 г. слилась с газетой «Дейли Телеграф».
«Дейли ньюс» – ежедневная лондонская газета, отражала взгляды либеральной интеллигенции. Была основана в 1846 г. Ч. Диккенсом, в 1930 г. слилась с «Ньюс Кроникл».
«Манчестер Гардиан» – название газеты «Гардиан» до 1959 г., ежедневной газеты либерального направления, основанной в 1821 г.

Стр. 491. *Гиперэстезия* – болезненная кожная чувствительность. *Мэррей, Джеймс Огастес Генри* (1837–1915) – английский филолог и лексикограф, редактор «Оксфордского словаря английского языка».

Стр. 492. *...для решительной победы над Центральными Империями...* – Имеется в виду первая мировая война, в которой Англия участвовала на стороне Антанты против «Тройственного союза» трех монархий – Германии, Австро-Венгрии и Италии.
Бэтерси – парк в Лондоне на южном берегу Темзы.

Стр. 493. *Рен, Кристофер* (1632–1723) – английский архитектор, математик и астроном. По его проекту построен собор св. Павла в Лондоне.

Стр. 497. *Ритуалист* – знаток церковных обрядов, защитник обрядности.

Стр. 499. *Лежать у волн, сидеть на крутизне...* – строки из поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (песнь II, строфа XXV), пер. В. Левика.

Стр. 502. *Точность – вежливость королей* – выражение это приписывается французскому королю Людовику XVIII.

Стр. 505. *«Отрубить ему голову»* – фраза карточной королевы из популярной сказки английского писателя Л. Кэррола (1832–1898) «Алиса в стране чудес» (1865). В сказке Кэррола содержатся сатирические намеки на консервативное английское общество второй половины XIX в.

Стр. 507. *Корем, Томас* (1668–1751) – филантроп, основатель воспитательного дома для подкидышей в Лондоне.

Стр. 521. *Великая хартия вольностей* – грамота, подписанная английским королем Иоанном Безземельным в 1215 г. и охранявшая интересы феодалов от злоупотреблений королевской власти. Английские буржуазные историки изображают Великую хартию вольностей как гарантию английской «свободы» и «демократии».

Стр. 524. *Забыть ли старую любовь*
И дружбу прежних дней... –

слова из «Застольной» (1788) великого шотландского поэта Роберта Бернса (1759—1796).

Стр. 532. *А ведь нас семеро — совсем как в стихотворении Вордсворта.* — Речь идет о стихотворении английского романтика У. Вордсворта (1770—1850) «Нас семеро» (1798).

Стр. 533. *Цивильный лист* — в конституционных монархиях утвержденный парламентом бюджет монарха и его двора.

Стр. 559. *...было время, когда Соединенные Штаты Америки составляли часть Британской империи.* — Имеются в виду XVII—XVIII вв., когда часть территории нынешних Соединенных Штатов была колонией Англии. В результате войны за независимость (1775—1783) американские колонии отделились от Англии.

Стр. 561. *«Сей малый перл в серебряной оправе моря»* — слова Джона Гонта об Англии в пьесе Шекспира «Ричард II» (действие II, сц. 1). *Синфейнеры* — члены ирландской политической партии, основанной в 1902 г. и объединявшей буржуазных сторонников независимости Ирландии.

правительство в Новом Тимгаде. — Тимгад — крупный древнеримский город в Северной Африке, называемый «африканскими Помпеями».

Стр. 571. *...па-арень разудалый,*
И смельчак и весельчак... —
слова из популярной английской застольной песни.

Стр. 575. *Георг Вашингтон* (1732—1799) — американский политический деятель периода борьбы североамериканских колоний Англии за независимость (1775—1783); первый президент США (1789—1797). *Отцы пилигримы* — первые английские колонисты в Америке (XVII в.).

ГОРЬКО, НО ПРАВДА

Бернард Шоу приступил к работе над своей второй «политической экстраваганцей», получившей впоследствии название «Горько, но правда»,[1] 3 марта 1931 г., во время путешествия по Средиземному морю. Первоначально предполагалось, что пьеса будет показана уже на очередном Малвернском фестивале в августе, но по ряду причин эти планы осуществить не удалось. Первая, черновая редакция новой комедии была закончена лишь 30 июня 1931 г., за несколько дней до начала исторической поездки Шоу в Советский Союз. Как кажется, этот вариант пьесы вызвал у драматурга определенные сомнения, и ее дальнейшая судьба представлялась ему в самом мрачном свете. Еще в начале июля в одном из писем к Стелле Патрик Кэмпбел он предсказывал, что «Горько, но правда» не ожидает — в противоположность «Тележке с яблоками» — «ни быстрая постановка, ни всеобщий успех».[2]

---

[1] К сожалению, русский перевод может только частично передать смысл английского названия пьесы: "Too True to Be Good", которое представляет собой вывернутое наизнанку языковое клише "Too good to be true" (слишком хорошо, чтобы быть правдой), т. е. означает буквально: «слишком правдиво, чтобы быть приятным».

[2] Bernard Shaw & Mrs. Patrick Campbell. Their correspondence, p. 295.

После возвращения из СССР всю осень и начало зимы 1931/32 г. Шоу продолжал дорабатывать пьесу, внося сначала в рукопись, а затем и в отпечатанный для участников будущей постановки текст многочисленные поправки и уточнения. Эта в общем-то не свойственная драматургу взыскательность, по-видимому, объясняется прежде всего огромной сложностью задачи, которую он поставил перед собой, когда задумывал «Горько, но правда» как своего рода программный манифест, как широкую панораму духовных исканий послевоенного «потерянного поколения», как своего рода реплику на новые веяния в англоязычной литературе 1920-х гг., и в первую очередь на «Опустошенную землю» Т. С. Элиота и «Фиесту» Э. Хемингуэя. Никогда прежде героями Шоу не были люди с кризисным, нигилистическим мироощущением, которое принципиально враждебно его рационалистическим концепциям,— люди, которые утратили веру в бога, низвергли традиционную мораль, восстали против разума, уничтожили прежние идеалы и теперь «падают, падают, бесконечно и безнадежно, сквозь пустоту, где им не за что удержаться». Однако, в отличие от своих более молодых предшественников — Т. С. Элиота, Э. Хемингуэя, О. Хаксли, И. Во, Т. Г. Лоренса и др., произведения которых тематически близки к «Горько, но правда», Шоу смотрит на «потерянное поколение» извне, со стороны, не скрывая своего страха перед «новой, страшной наготой — наготой душ», и поэтому ему удается лишь зафиксировать внешние проявления всеобщего распада, но не понять и объяснить его. Описывая крах «детерминистской вселенной», писатель помещает своих героев в алогичный, абсурдный универсум, где рушатся все опоры человеческого существования и где ничто — ни церковь, ни государство, ни наука, ни творчество, ни внутренние ресурсы личности — уже не в состоянии наделить его смыслом. Соответственно и сама пьеса строится как некое подобие коллажа, составленного из разнородных, даже сюжетом не связанных между собою частей, в каждом из которых возникает еще один лик всеобщего безумия.

В этот хаос голосов и масок, в это переплетение нелепостей и несуразиц Шоу последовательно вводит все новые и новые мотивы, все новый и новый материал, стремясь как можно шире охватить круг представлений и идей, входящих в культурный словарь эпохи. Он заставляет своих персонажей обсуждать модные теории Фрейда и Эйнштейна, он упоминает о резерфордовской модели атома и предсказывает грядущую мировую катастрофу, он размышляет о сексуальной свободе и о психологических травмах фронтовиков,— словом, он всеми силами дает понять, что ни на шаг не отстал от своего времени. Однако все эти «цитаты» из идейного репертуара 1920-х гг. недостаточно органично вписываются в контекст обычных шовианских тем и фарсовых трюков. Действующие лица пьесы, снова, как и всегда у Шоу, выполняющие эмблематичную функцию, с трудом выдерживают возложенную на них нагрузку. Они произносят страстные, полные горечи и отчаяния монологи, которые должны проиллюстрировать умонастроения «потерянного поколения», но в них не хватает той личной причастности, которая отличает молодую литературу 1920-х гг. Собственно говоря, в исканиях своих новых героев Шоу отмечает лишь торжество «низших инстинктов» и душевный эксгибиционизм, и авторская позиция в пьесе часто сближается с точкой зрения Обри — этого «Экклезиаста без библии», который утверждает, что «глашатай отрицания отступает... перед человеком действия... черпающим силу в старых непоколебимых истинах...». Бунт «потерянного

поколения» понятен и близок драматургу только когда он совпадает с его критическим отношением к социальной действительности, когда он разоблачает ложь общепринятых истин, но его глубинный личностный, экзистенциальный смысл остается для Шоу темной, пугающей загадкой. Не случайно наибольшие авторские симпатии в пьесе отданы персонажам, близким к его идеалу Жизненной силы и резко полемическим по отношению к гедонистическому нигилизму, – «людям дела» Слабу и Больной.

Решаемые Шоу задачи потребовали от него некоторых изменений в комедиографической технике по сравнению с «Тележкой с яблоками». С точки зрения поэтики «Горько, но правда» напоминает скорее близкую ей по тональности пьесу «Дом, где разбиваются сердца», чем предыдущую «политическую экстраваганцу» Шоу, ибо для создания комического эффекта драматург использует здесь не только обычные фарсовые «гэги», но и бергсонианские мотивы постоянного несоответствия между социальной ролью персонажа и его человеческим лицом, между функцией и призванием, между механическими движениями автомата и живой жизнью, между видимостью и сущностью. В структуре комедии каждый из ее героев получает два взаимоисключающих набора признаков, причем один из них совпадает с внешней, социальной его оценкой, а другой – с внутренним, скрытым самосознанием. Так, Больная в действительности оказывается не просто здоровой, но сверхъестественно здоровой и сильной девицей, под маской грабителя и циника прячется моралист-проповедник, рядовой Слаб скрывает в себе таланты полководца, а полковник Толбойс – таланты живописца и т. п.

Особого внимания заслуживают два персонажа пьесы – Старик и Слаб, так как, по замыслу Шоу, зрители должны были узнать в них реальных личностей, которых он считал весьма типичными порождениями кризисной эпохи. Подробная авторская ремарка в начале третьего акта не оставляет никаких сомнений в том, что под видом «высокого худого джентльмена», который восседает у «пещеры святого Павла» в позе, выражающей «безграничное отчаяние», драматург хотел изобразить известного английского теолога, кембриджского профессора и настоятеля собора святого Павла У. Р. Инджа (1860–1954), который за свои мрачные, проникнутые отчаянием проповеди получил прозвище «угрюмый Декан». Современники без особого труда определяли реальное лицо и под шутовской маской рядового Слаба – простака, который не так прост, как кажется. Его прототипом был легендарный авантюрист, разведчик, путешественник, летчик, мотогонщик и писатель Т. Е. Лоуренс (1888–1935), знаменитый Лоуренс Аравийский, автор книги «Семь столпов мудрости» и близкий друг самого Шоу.[1] Широкоизвестные факты бурной биографии Лоуренса, который, имея звание полковника, после выхода в отставку, инкогнито, под псевдонимом Шоу (!), служил рядовым в авиации, были использованы драматургом для создания одной из наиболее парадоксальных ситуаций комедии.

Кроме всего прочего, Лоуренсу суждено было стать первым и, пожалуй, самым доброжелательным критиком пьесы. Еще в июне 1931 г. Шоу прочел ему второй акт «Горько, но правда», где

[1] Истории взаимоотношений Шоу и Лоуренса посвящена специальная монография: Weintraub S. Private Shaw and public Shaw. A dual portait of Lawrence of Arabia and G. B. S. N. Y., 1963.

появляется рядовой Слаб, и Лоуренс с похвалой отозвался о своем «портрете», сделав лишь мелкие стилистические замечания. Затем, в начале января 1932 г., Лоуренс познакомился с полным текстом пьесы и откликнулся на нее восторженным письмом к жене драматурга, в котором он дал довольно подробный анализ каждого из трех действий комедии. «Благодаря третьему акту, – писал он, – «Горько, но правда» становится в один ряд с «Домом, где разбиваются сердца» и представляется мне замечательной пьесой. [...] По сравнению с «Домом, где разбиваются сердца» в ней больше разнообразия, а от контраста между отдельными частями она только выигрывает. Первый акт – это Моцарт-Шоу, потому что именно так и на такие темы Шоу уже писал прежде. [...] Второй акт – бесподобен, других слов у меня нет. Его реализм безукоризненно контрастирует с классицизмом первого акта. Когда я дочитал его до конца, у меня создалось впечатление, что после него любой третий акт должен прозвучать как снижение тона. Ведь к этому моменту пьеса достигает такой высокой ноты, что в ней уже не остается места для финала. Но как же я ошибался! Конец третьего акта буквально ошеломил меня. Этот заключительный монолог Обри даст сто очков вперед шекспировской «Буре»! Не знаю, как он прозвучит со сцены, но при чтении он потряс меня сильнее, чем гениальный монолог Мафусаила, [...] Конечно, я ничего не смыслю в театре, но думаю, что лучше чем «Горько, но правда», Шоу для сцены никогда ничего не писал».[1]

К письму Лоуренса был приложен небольшой перечень предложений и замечаний по тексту пьесы, большинство из которых Шоу учел при подготовке окончательного сценического варианта «Горько, но правда», вскоре изданного ограниченным тиражом для участников английской постановки.

Впервые новая комедия Шоу была, однако, показана не на Британских островах, а в США, где ее поставил нью-йоркский театр «Гилд» (режиссер – Лесли Бэнкс, в главных ролях: Обри – Хью Синклер, Цыпка – Беатрис Лилли, рядовой Слаб – Лео Кэррол). Премьера состоялась 29 февраля 1932 г. в Бостоне, затем спектакль демонстрировался в Вашингтоне, Буффало и Питтсбурге, а 4 апреля театр открыл им свой весенний сезон на Бродвее. Пьеса встретила весьма прохладный, а порой и откровенно враждебный прием как у широкой публики, так и у большинства критиков и очень быстро сошла со сцены. Рецензенты единодушно отнесли провал спектакля главным образом на счет драматурга, обвинив его в «безразличии к форме», а пьесу – в «отсутствии композиции» и «бессвязности».[2] Так, например, известный американский критик Джон Хатчинс отметил, что комедия страдает крайней бесформенностью, и особо подчеркнул, что на этот раз Шоу не удалось как-то компенсировать слабости композиции, ибо в «Горько, но правда» не чувствуется ни богатства мысли, ни остроты сатиры, присущих его предшествующим произведениям, и в частности «Тележке с яблоками». «Когда Шоу бьет мимо цели,

---

[1] Цит. по: Weintraub S. Op. cit., p. 213. С. Вайнтрауб приводит также более позднее письмо Лоуренса, датированное 27 января 1932 г., где тот сообщает, что с наслаждением перечитал «Горько, но правда», и делает несколько дополнительных замечаний по тексту пьесы. См.: Ibid., p. 218–219.

[2] См.: Ervine St. John. Bernard Shaw, p. 526.

что и произошло с «Горько, но правда»,— писал он,— его ждет полнейший провал. Раз уж в последние годы мистер Шоу стал обращаться с театром только как со средством для выражения множества собственных мнений, то ему нечего надеяться, что театр спасет его, когда он нарушает законы, им же самим и введенные. Уступки, на которые ради него шел театр, принимая и его беззастенчиво пренебрежительное отношение к профессиональному мастерству, и его манеру обращаться с персонажами так, будто они служат ему марионетками или рупорами, а не живут собственной жизнью,— все эти уступки легко могут превратиться в серьезные претензии к нему. Стоит только ослабнуть силе его риторики, стоит лишь померкнуть блеску его речей, и вся структура пьесы рушится со звуком рассыпающегося папье-маше.

Почти до самого конца «Горько, но правда» [...] ковыляет по заезженной шовианской территории, что приносит пьесе немало вреда. Впрочем, само по себе это еще полбеды. Хотя нам давным-давно известны все эти идеи и мнения, мы бы, несомненно, в очередной раз с удовольствием выслушали знакомые колкости по адресу армии, церкви, британского общества, секса и медицины, будь они отточенно остры, как в лучшие времена. Но здесь, в рамках сюжета, который невероятно, неправдоподобно жидок даже для Шоу, они звучат тяжело и натужно, будто куплеты какого-нибудь либреттиста в жалкой оперетке, и былая легкость язвительных эпиграмм уступает место плеоназмам, а живая энергия — вялому бурчанию».[1]

Единственной удачей пьесы критик называет лишь заключительные монологи третьего акта, в которых, как он признает, «ритмы обретают величественность, а слово наполняется страстью и движением».[2]

Без особого успеха «Горько, но правда» прошла и в Польше, где премьера пьесы в Варшаве, состоявшаяся 4 июня 1932 г., неожиданно закончилась крупным политическим скандалом; по настоянию присутствовавшего на спектакле польского министра внутренних дел текст последнего действия пьесы был сильно купирован, а монолог Сержанта, в котором предсказана грядущая мировая война, почти полностью изъят из постановки.[3]

Летом 1932 г. началась подготовка спектакля «Горько, но правда» для Малвернского фестиваля, во время которого пьеса должна была наконец-то предстать перед английской аудиторией. Как и обычно, Шоу присутствовал на всех репетициях и вместе с режиссером Барри Джексоном руководил работой труппы. Премьера состоялась в Малверне 6 августа 1932 г. и первые зрители, судя по отзывам прессы, в общем-то благожелательно приняли комедию. Как писал после премьеры корреспондент газеты «Манчестер Гардиан» Айвор Браун, «широкая публика капитулировала перед Шоу, и, возможно, она примет эту новую порцию проповедей так же, как приняла «Тележку с яблоками», хотя в «Горько, но правда» отсутствует то тематическое единство, та легко доступная пониманию направленность сатиры, которыми отличалась ее предшественница».[4]

---

[1] Hutchens J. End of a season. Broadway in review.— Theatre Arts Monthly, 1932, N 6, p. 437—438.

[2] Ibid., p. 438.

[3] См. об этом: Ervine St. John. Op. cit., p. 527—528.

[4] Brown I. The new Shaw play.— Manchester Guardian, 1932, 8 Aug., p. 9.

Несмотря на то что сам Шоу демонстративно отказался обсуждать «Горько, но правда»,[1] критики без особого труда разгадали его основной замысел. По словам того же Айвора Брауна, герои пьесы – это «молодые люди, для которых не существует ничего романтичного, и в этом смысле они настоящие шовианцы. Когда говорят их «низшие инстинкты» (это цитата из Шоу), они не скрывают ни одного факта. Они обнажаются целиком, подобно загорающим на пляже. И все же за душой у них пустота. Их мир рушится, падает в небытие, они перестали романтизировать войну, ибо реальная война открыла им глаза... Но они не свободны от войны. Для них существуют лишь секс без красоты и война без идеала. Они – нигилисты, исповедующие антиромантическое кредо, но слишком ленивые для того, чтобы создать нечто позитивное...»[2]

Однако, по мнению большинства критиков, замысел Шоу не получил в пьесе адекватного воплощения, так как ему не удалось создать целостное драматургическое единство, где авторская мысль претворилась бы в художественную реальность. Так, один из наиболее ярых сторонников драматургии Шоу критик Дезмонд Маккарти писал в своей рецензии: «... я внимательный театральный зритель, но я не могу объяснить вам, о чем повествует пьеса, которую я только что посмотрел на Малвернском фестивале. [...] В «Горько, но правда» затронуто огромное множество тем. Я перезабыл уже девять десятых из того, что мне понравилось, потому что здесь просто не на чем сосредоточиться – все разбросано в беспорядке, нет центра, куда стягивались бы все нити. Когда я сидел в своем кресле, я то и дело восклицал: «Ага, как это глубоко сказано! Об этом стоит поразмыслить». Но потом мне так и не удалось понять, к какому же выводу я (или, вернее, сам Шоу) все-таки пришел. Мне показалось, что пьеса представляет собой серию моментальных фотоснимков послевоенного состояния умов – фотоснимков, сделанных в разных ракурсах. Но общая картина этого состояния умов так и не возникла, не воплотилась в пьесе...»[3]

Обеспокоенный в целом негативными оценками критики, Шоу продолжил работу над пьесой в перерывах между спектаклями (в Малверне труппа Джексона сыграла «Горько, но правда» восемь раз) и сумел «на ходу» устранить наиболее очевидные слабости. После окончания фестиваля спектакль в течение трех недель демонстрировался в Бирмингаме, а затем был перенесен в Лондон, где 13 сентября 1932 г. им открылся театральный сезон на сцене театра «Нью». В составе исполнителей особо выделялись Седрик Хардвик (Обри), Ленора Корбет (Больная), Эллен Полок (Цыпка) и Уолтер Хад, исполнявший роль рядового Слаба и заслуживший похвалу самого Лоуренса Аравийского, портретного сходства с которым он добился.[4]

Но, несмотря на все усилия драматурга и участников спектакля, критики не переменили своего резко отрицательного отношения к пьесе. Так, например, обозреватель газеты «Таймс», отмечая определенные сдвиги в лучшую сторону по сравнению с малверн-

---

[1] См. краткое сообщение об этом: Manchester Guardian, 1932, 8 Aug., p. 10.

[2] Brown I. Op. cit., p. 10.

[3] Цит. по: MacCarthy D. Shaw. London., 1951, p. 190.

[4] См.: Weintraub S. Op. cit., p. 224–225.

ской премьерой, утверждал, что и в лондонской постановке пьеса «Горько, но правда» все же не изменилась в главном и остается «тем, чем и была – вереницей пылающих островов в океане фарса»,[1] а журнал «Спектейтор» обвинял Шоу в том, что он беззастенчиво пользуется типично английской традицией терпимости по отношению к «глупым шуткам великих людей».[2] «Шоу-пророк безмолвствует,– писал рецензент газеты «Манчестер Гардиан».– Как и прежде, со сцены звучит весьма велеречивая болтовня, но ей явно не хватает былой простоты и былой задиристости формулировок. Впрочем, это неудивительно, потому что Шоу уже нечего нам сказать. Как и прежде, его проповеди длинны, но в них больше нет той мощи, которая когда-то так восхищала нас. «Горько, но правда» – это и не пьеса, и не философия, а сплошное надувательство. [...] Пренебрежение к законам драматургии, которое сходило Шоу с рук, когда он мог сказать нам нечто новое и важное, становится совершенно непростительным, когда его доводы теряют логику, когда померк блеск его языка, когда эпиграммы перестали разить наповал и когда повсюду видны знаки усталости и утомления...»[3]

Нападки критиков, по-видимому, сказались на репутации «Горько, но правда» у зрителей. Лондонский спектакль очень быстро перестал давать сборы, и уже через шесть недель после премьеры, к величайшему огорчению драматурга, его пришлось снять со сцены. В интервью, данном журналу «Обсервер», С. Хардвик, исполнитель роли Обри, назвал несколько причин провала пьесы: в первую очередь, ее крайне небрежную, непродуманную композицию, а также нежелание обыкновенного зрителя выслушивать упреки и проповеди, когда он приходит в театр, чтобы развлечься и потешиться. «Не следует забывать и о том,– добавил Хардвик,– что пьеса была написана год назад. Если бы ее тогда и поставили, то она лучше соответствовала бы пессимистическим настроениям тех дней. Но теперь, когда (по крайней мере, в узком лондонском мирке) люди стали с несколько большим оптимизмом смотреть на жизнь, они не желают слушать, если им говорят, что нас ждет упадок и гибель. Обратите внимание, что в Бирмингаме – промышленном городе, еще переживающем последствия экономического кризиса, где мы гастролировали до Лондона, пьеса пользовалась колоссальным успехом. Люди там стояли в проходах на каждом спектакле».[4]

И по сей день «Горько, но правда» остается, пожалуй, одной из самых непопулярных пьес Б. Шоу: после провала спектакля 1932 г. ни один английский театр так и не решился поставить ее во второй раз. А между тем, как справедливо заметил в 1962 г. британский исследователь творчества Шоу А. Вильямсон, «она заслуживает того, чтобы ей дали вторую попытку, ибо Шоу был пророком, всегда опережавшим свое время лет этак на тридцать. [...] Сейчас мы приблизились к его героям, потому что после двух мировых войн мы скорее готовы признать его правоту. Тогда он писал для немногих, главным образом для горстки интеллектуалов; теперь же – для всего нашего общества».[5]

---

[1] The Times, 1932, 14 Sept., p. 8.

[2] Weintraub S. Op. cit., p. 226.

[3] The Manchester Guardian, 1932, 18 Oct., p. 11

[4] Цит. по: Weintraub S. Op. cit., p. 229.

[5] Williamson A. B Shaw: Man and writer London, 1963, p. 201–202.

Своего постановщика, своего театра «Горько, но правда» еще ожидает и в СССР, где эта пьеса Шоу показывалась лишь однажды, 12 июля 1933 г., труппой Первого московского рабочего театра.

Стр. 596. *Скотланд Ярд* – управление лондонской уголовной полиции, находившееся с 1842 по 1890 г. на небольшой улице Скотланд Ярд, от которой и получило свое название.

Стр. 616. *...эффект получился бы больший, чем когда заговорила Валаамова ослица.* – Имеется в виду библейский миф о языческом волхве Валааме, ослица которого вдруг заговорила.

Стр. 630. *«Путь пилигрима из этого мира в мир грядущий»* (1678) – произведение английского писателя Джона Беньяна. См. примеч. к с. 8.

Стр. 631. *Двенадцать лет Бедфордской тюрьмы ему припаяли.* – Сержант говорит о Беньяне, который провел двенадцать лет в тюрьме небольшого городка Бедфорда, где служил проповедником.
Ограбление египтян – библейское выражение. Шоу имеет в виду захватническую политику британских колонизаторов в Египте.

Стр. 633. *...рухнул... как иерихонские стены.* – Согласно библейскому мифу, неприступные стены древнего города Иерихона в Палестине рухнули от звука труб осаждавших его врагов.
Детерминизм – философское учение о взаимосвязи всех явлений и их причинной обусловленности.

Стр. 641. *Офелия, иди в монастырь.* – Шекспир, «Гамлет» (акт III, сц. 1).

Стр. 642. *Флоренс Найтингел* – см. примеч. к с. 324.

Стр. 650. *Медея* – героиня трагедии Еврипида, убившая своих детей, чтоб отомстить бросившему ее мужу.

Стр. 651. *Федеративное Объединение Разумных Общин* – ФОРО. – Шоу имеет в виду СССР.

Стр. 656. *День Пятидесятницы* – древнееврейский религиозный праздник в честь «дарования народу закона при горе Синай»; праздновался на пятидесятый день после пасхи; у христиан – Троица.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗАД К МАФУСАИЛУ 5
Перевод Ю. Корнеева

ПОЛВЕКА БЕЗВЕРИЯ 7
Перевод С. Сухарева

СВЯТАЯ ИОАННА 309
Перевод О. Холмской

ПРЕДИСЛОВИЕ 311
Перевод Н. Рахмановой

ТЕЛЕЖКА С ЯБЛОКАМИ 469
Перевод Е. Калашниковой

ПРЕДИСЛОВИЕ 471
Перевод А. Ставиской

ГОРЬКО, НО ПРАВДА 577
Перевод В. Топер

КОММЕНТАРИИ 657

Шоу Б.

Ш81 Полное собрание пьес в шести томах. Т. 5. Пер с англ./Ред. тома Н. Я. Дьяконова. Послесл. Н. Я. Дьяконовой, А. А. Долинина. Примеч. С. Л. Сухарева, А. Н. Николюкина.— Л., Искусство, 1980.— 725 с., портр.

В пятый том Полного собрания пьес Бернарда Шоу вошли четыре произведения: «Назад к Мафусаилу», «Святая Иоанна», «Тележка с яблоками», «Горько, но правда», а также предисловия Шоу к пьесам «Назад к Мафусаилу», «Святая Иоанна» и «Тележка с яблоками». Все предисловия переведены на русский язык впервые.

Том снабжен комментариями, раскрывающими творчество и сценическую историю пьес английского драматурга.

Ш $\frac{70600\text{-}122}{025(01)\text{-}80}$ подписное

ББК 84.34(Вл)
И(Англ)

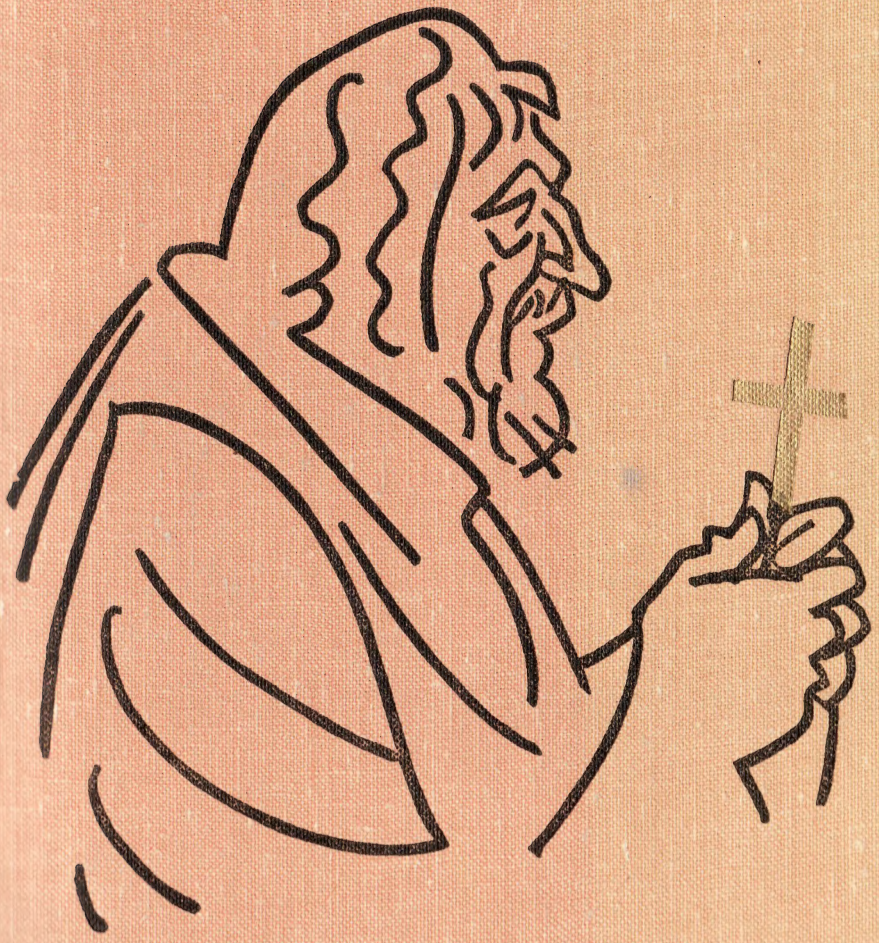
БЕРНАРД ШОУ

Полное собрание пьес
в шести томах

Том 5

Редактор И. В. Кудрова. Художественный редактор А. И. Приймак. Технический редактор Л. Н. Чешейко. Корректоры Л. Н. Борисова и Н. Д. Кругер.

ИБ № 996

Сдано в набор 15.02.80. Подписано в печать 17.11.80 Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл.-печ. л. 38,33. Уч.-изд. л. 41,34 Тираж 80 000 экз. Изд. № 410 Зак. тип. № 1172. Цена 3 руб. Издательство «Искусство», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский, 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

3р.